ИНОСТРАННАЯ
литература

12
1958

ИНОСТРАННАЯ Литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Гравюра мексиканской художницы Андреа Гомес «Индианка с Юга»

Содержание

ЯНА ШТРОБЛОВА — Из первой книги... (Стихи) 3

ЛЭНГСТОН ХЬЮЗ — Симпл предъявляет счет (Рассказы) 6

ТИТУС ПОПОВИЧ — Земля (Роман. Окончание) 31

. . . . . и. Вступле- 137

Джим (Ро- 145

КРИТИКА

НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ ПИСАТЕЛЕЙ

ДЖЕК ЛИНДСЕЙ — Мировое значение советской литературы 200

А. ЧАКОВСКИЙ — Восемьдесят тысяч километров вокруг самого себя (По поводу выступлений Альбера Камю) 206

Р. САМАРИН — Вопросы литературы на IV Международном съезде славистов 212

ДУМИТРУ МИКУ — Новый успех румынской прозы 218

П. ПАЛИЕВСКИЙ — «Счастливчик Джим» Кингсли Эмиса 226

Л. ЗОНИНА — О почтительном произволе (Наследие Роже Мартен дю Гара и его толкователи) 230

И. СЕРЕБРЯКОВ — Новая работа о Калидасе 236

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 240

ПУБЛИЦИСТИКА

ДИНА РИНАЛЬДИ — Долина Чистилища (Письма итальянских детей) 247

12

1958

ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЯ“ МОСКВА

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

СЕДРИК БЕЛФРЕЙДЖ — «Великий шелковый путь» снова открыт 257

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Говорят читатели 260

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

И. ЦАГАРЕЛЛИ — Вайне Аалтонен 277

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Р. Белоусов — Стихи о героях-строителях. ◇ С. Тураев — Сатира Адольфа Глассбреннера. ◇ Г. Полонская — Скрипка и другие вопросы. ◇ Д. Урнов — Сборник статей о Шекспире. ◇ А. Брагинский — По лабиринтам истории кино. ◇ Е. Кривякина — Классик венгерской литературы. ◇ А. Левинтон — Вольф Пагель среди волков. ◇ Л. Черная — «Поэзо-проза» и ее издатели 284

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) . . . 295

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . 313

Содержание журнала «Иностранная литература» за 1958 год (№№ 1—12) 314

Яна Штроблова

ИЗ ПЕРВОЙ КНИГИ...

Перевод с чешского Н. Грудининой

ЛЮБЛЮ ВАС, ТОПОЛЯ

Люблю вас, тополя.

Не потому ли, что, мечте подвластны,
Вы пробудились, чтобы взглядом ясным
Объять ручьи, бегущие в поля,
Где прорастают молодые травы.
Певец бродячий, ветер шаловливый
Вам на лету расчесывает гривы,
И, как бы ни корила вас земля,
Шуметь вам где-то там, под самым небом!
Люблю за то, что, отдаваясь маю,
Вы не боитесь, что, быть может, злая
Вас молния сожжет и заболят
Обугленные пни последней болью...

Люблю вас, тополя.

Люблю за то, что вы однажды ночью
Стояли там, где, счастье нам пророча,
В зеленом сумраке цвели поля,
Бросая под ноги ковер росистый,
А полночь звездам расставляла сети,
Как рыбкам золотым. Минуты эти
Рассыпались и больше не болят...
Как тополя, мы были там, под небом!
Искать, терять... Быть может, так и надо?
Есть в жизни то, о чем и плакать рада,—
Извечное, как воздух и земля...
Пусть будут грозы — я пойду за счастьем!

Люблю вас, тополя.

ЛЮДИ

Бывают люди,
схожие с цветами,
чьи чаши, как малиновое пламя,
недвижны в зной.
Стань капелькой росы, коснись несмело
их лепестков, от солнца онемелых,—
и зазвенят струной...

Есть люди,
схожие с тугим бутоном,
что ровно дышит на стебле зеленом
и видит сны.
Погладь бутон, погладь ладонью полдня —
и станет спящий алой чашей, полной
голубизны.

Есть люди —
как цветок с опавшей чашей,
чей стебель, кровью лепестков окрашен,
кричит, зовет...
Найди, найди живой источник горный,
его водой смочи больные корни —
пускай живет!

Целебный ключ —
холодный он и жгучий,
ищи его в пещерах гор могучих,
на дне чистейших рек.
Прохлада и огонь — его приметы.
Ищи его в краях, где ранним летом
охотится на зверя
человек.

ДВЕ ПЕСНИ

1

Бежит луна, бросая
В деревья пеной блеклой,
И ветер, спать мешая,
Шумит, врываясь в окна.

Хочу лежать росою
На ниве до рассвета,
Хочу войти босою
В мое земное лето.

Пускай любовь-отрава
Погибель мне пророчит —
Врасту я сердцем в травы,
Омоюсь влагой ночи.

2

Расшит погасший запад
В монеты звезд узорно.
В цветах и мрак и запах
Ночной воды озерной.

Узнай, вода немая,
Что завтра утром ранним
С горячим ветром мая
Солью свое дыханье.

Шагну из ночи в день я —
И взвоет ночь шакалом.
Боюсь воды осенней
В слезах закатов алых.

ВОДОПАД

Меня пугает озеро лесное
Молчанием и сумраком своим,
Ему не засверкать голубизною,
Не стать ему прозрачным и живым.

Кувшинок неподвижных мне не надо
На темном глянце илистой воды.
Люблю я реку, белым водопадом
Сорвавшуюся в пропасть с высоты.

Она летит, как буря, как погоня,
Утесы рассекая на пути,
И скачут волны — вспененные кони,
Серебряные гривы распустив.

Есть красота, чей облик вечно светел,—
Такую не разлюбишь никогда.
Летит река, перегоняя ветер,
Поет, шумит бродячая вода.

А там, на самых пиках горных высей,
Там, где ключи из-под каменьев бьют,
Цветут на солнце желтые нарциссы
И запах свой реке передают.

К ее истокам путь крутой и длинный,
Не всякому дано туда дойти,
Но я дойду. Сорву цветок с вершины.
Река, ты слышишь? Я уже в пути!

Лэнгстон Хьюз

Симпл предъявляет счет

ГОЛЬФ И ГУФ

— Эх, приятель, и надоело же мне день-деньской трудиться, как негр, чтобы вечером проводить время, как белые,— сказал Симпл.— Вот было бы здорово, если бы ввели сокращенный рабочий день, а платили, как за полный. Иногда мне хочется сойти за белого. Но, сказать по правде, будь у меня достаточно светлая кожа и сумей я действительно сойти за белого, я бы опасался, что и сосед мой тоже цветной, да только выдает себя за белого. В наше время так много цветных со светлой кожей. Я знаю одного цветного, что живет напротив, так он прямо-таки совсем белый.

— Откуда же тогда вам известно, что он цветной?

— Потому что он баптист. И, кроме того, живет в Гарлеме и любит есть требуху... Но кожа у него белая, волосы светлые, глаза серые, и если б только он захотел, то мог бы выдать себя за белого, как это делают множество негров. В наше время, будь я белый, я опасался бы, что семья из соседней квартиры только выдает себя за белую.

— Вы хотите сказать, что, будь вы белым, у вас были бы предрассудки и вы бы не захотели жить рядом с цветными?

— Конечно, у меня были бы предрассудки,— сказал Симпл.— А почему бы и нет? Меня бы так воспитали, и я бы не мог думать иначе.

— Не понимаю ваших доводов.

— Это оттого, что вы цветной.

— Оба мы цветные, потому-то я и считаю, что вы рассуждаете нелогично.

— Я говорю на основе собственного опыта.

— Но вы же никогда не были белым,— сказал я.

— Да, но иногда мне хочется сойти за белого. По крайней мере, я получил бы тогда хорошую работу. Устал я так надрываться.

— По-моему, у вас от этой усталости ум за разум заходит. Почему бы вам не взять отпуск и не съездить во Флориду, как, бывало, ездил Трумен, когда уставал от государственных дел?

— Трумен — единственный человек, который купается в очках,— сказал Симпл.— Но, перестав быть президентом, он больше не ездит во Флориду, и я этому рад. Вот только бы еще Эйзенхаузер перестал

Все рассказы, входящие в сборник «Симпл предъявляет счет», одинаковы по форме: они представляют собой своеобразный диалог между главным героем и его собеседником. Этот герой Лэнгстона Хьюза, так сказать, официально именуется автором — Джесс Б. Семпл. Вместе с тем Хьюз все время называет его «Симпл», что можно перевести как «Простак». Символическая замена имени в данном случае является вовсе не только «игрой слов»: по мысли Хьюза, такая замена должна особо подчеркнуть типическую характерность и социальную обобщенность «простоватых» высказываний Симпла.

играть в гольф в Джорджии. И Флорида и Джорджия — не американские штаты, потому что там царит Джим Кроу *. А Эйзенхаузер любит Джорджию. Пожалуй, из всех президентов, каких я знаю, он самый заядлый любитель гольфа и гуфа.

— Почему вы говорите о гуфе? — спросил я.— Разве президент совершает ошибку, если он, при таком бремени забот, как у него, для поправки здоровья немножко отдохнет на свежем воздухе?

— О, отдыхает он совсем не немножко. И всякий раз едет не куда-нибудь, а в Джорджию! Лучше бы он не ездил туда для гуфа.

— Вы хотите сказать — для *гольфа*.

— Я считаю, что ездить в Джорджию — значит совершать промах, вот почему я и говорю: для гуфа. Гуф — значит промах,— пояснил Симпл.

— Но Джорджия пока еще входит в состав Соединенных Штатов,— сказал я.

— Разве? — спросил Симпл.— А я думал, она входит в Диксилэнд **.

— Теперь вы сами совершаете промах. Вам не хуже меня известно, что Джорджия находится в США.

— В Свободном мире? — спросил Симпл.

— Предполагается, что да,— сказал я.

— Ага, вы отступаете! Правильно — только *предполагается*. В Джорджии я даже не имею права зайти в уборную при вокзале, если на ней нет вывески: «Для цветных». А в уборных для цветных никаких удобств и в помине нет. По-моему, в Свободном мире удобства должны быть в каждой уборной. А вы знаете, что заявила Джорджия, когда Верховный суд разрешил всем детям цветных посещать школу наравне с детьми белых? Джорджия заявила, что закроет школы. Будь я президентом, я бы не стал играть в гольф в таком штате. Я бы нашел себе площадку для гольфа где-нибудь севернее, где мог бы при желании сыграть с Шугером Рэем Робинсоном. В Джорджии Шугера Рэя даже не пустили бы на площадку, где играет президент,— разве что вместо мальчика, который подает мячи. Но для этого он слишком ловок.

— Почему вас так беспокоит, где президент играет в гольф? — спросил я.

— Я не считаю, что играть в гольф за пределами Свободного мира полезно для здоровья, вот почему,— сказал Симпл.— Если бы я играл в гольф там, где не могут играть десять миллионов моих сограждан, я бы вконец расстроил себе нервы.

— Если вы имеете в виду негров, то нас насчитывается шестнадцать миллионов.

— Я не считаю детей и большинство женщин.

— Ну, если вам хочется таким способом уменьшить цифру, то вы можете сократить ее еще больше. Не так уж много негров играют в гольф.

— Правильно, но негры, которые играют в гольф, должны иметь право играть везде, где играет президент,— сказал Симпл.— Мы оба знаем, что в Джорджии негру лучше не соваться туда, где белые играют в гольф. Разве что для оказания каких-нибудь услуг. Поэтому, раз уж Эйзенхаузер — президент и белых и цветных, нечего ему играть в гольф в Джорджии, где плантаторы были бы рады, чтобы я вообще

---

* Джим Кроу, по одной из существующих версий,— американский плантатор-рабовладелец, отъявленный расист; от этого имени и произошло слово «джимкроуизм», которым названа вся система расистских мероприятий по угнетению и дискриминации негров в США.

** Так именуется американский Юг, где особенно сильно свирепствуют расисты.

не голосовал, если только это от них зависит. На Севере для игры много свободного места.

— Да, но зимой там холодно, а в гольф играют на открытом воздухе.

— И кроме того — богачи. Все говорят, что республиканская партия — партия богачей. Говорят также, что это — партия Авраама Линкольна. Не так ли? Держу пари, что Линкольна никто никогда бы не застал за игрой в гольф в Джорджии.

— Линкольн,— сказал я,— не любил гольфа.

— А также и гуфа,— сказал Симпл.

С БЛАГОРАЗУМНОЙ НЕТОРОПЛИВОСТЬЮ

— Губернаторы некоторых штатов, как я вижу, все еще твердят, что скорее вообще упразднят всю школьную сеть, чем позволят негритянским детям учиться вместе с белыми.

— Я тоже наткнулся в газетах на подобный вздор,— сказал Симпл, ставя пивную кружку на стойку.— Важно не то, что говорят губернаторы, а то, что делают белые южане. Кое-кто из этих губернаторов испокон веку проклинает смешение рас, утверждая, будто сам господь бог отделил людей друг от друга. А едва наступит ночь, эти самые губернаторы только и делают, что занимаются смешением рас. Да что говорить, я сам ходил в школу с одним губернаторским сынком, у которого мать была негритянка. Губернаторы возражают против смешанных браков, но ни словом не упоминают о смешанном сожительстве, а это, в сущности, и есть то самое, о чем свидетельствует немалое число мулатов. Да и у вас кожа довольно светлого оттенка.

— Мы ведем разговор насчет образования, а не насчет сожительства,— сказал я.— Вам попросту хочется поддеть меня?

— О вашей мамаше я не сказал ни слова. Возможно, в вашей семье светлый оттенок завелся еще в далеком прошлом.

— Не будем углубляться. Совместное обучение — вот что должно интересовать сейчас нас. Поверьте, здравомыслящие американцы желают, чтобы все прошло гладко.

— Гладко все не пройдет,— сказал Симпл,— так как большинство американцев не способны мыслить здраво — слишком долго они мыслили шиворот-навыворот.

— Надо надеяться, что демократия всех нас научит мыслить здраво.

— Ну и надейтесь себе на здоровье!

— Так я и сделаю. Сфера демократии постоянно расширяется. Раз уж в воду брошен камешек — в данном случае решение Верховного суда относительно школ,— круги от него начинают расходиться все шире, очистительные воды заливают берега предрассудков и размывают мели нетерпимости.

— Здорово сказано!

— Разумеется, нужно какое-то время, чтобы все утряслось, но раз уж юридический барьер сломлен, то неминуемо придет час, когда все школы в нашей стране будут едиными, даже в штате Миссисипи.

— Такая утряска непременно превратится в кутерьму, особенно в Миссисипи,— сказал Симпл.— В первый же день заварится такая каша!.. Ох и смелым же должен быть цветной ребенок, который отважится пойти в это утро в школу для белых! Кое-кто войдет туда на цыпочках, а обратно вылетит пулей.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил я.

— Я хочу сказать, что цветные детишки войдут в школу чинно и благородно и вести себя будут примерно, да только придется им вылететь оттуда, не успев даже вымолвить: «Извините меня!» Если вы никогда не жили на Юге, вы даже не представляете себе, до чего бесцеремонны некоторые из тамошних белых. У них нет и в помине тех тонких манер, о которых пишется в книге «Унесенные ветром», а на законы, которые им не по нраву, они и вовсе не обращают никакого внимания.

— Вы, дружище, слишком давно живете на Севере, в Гарлеме, и кое о чем судите по своим воспоминаниям, а ведь им от роду уже пятнадцать-двадцать лет. Но Юг, судя по тому, что пишут газеты, изменился и с каждым днем меняется все быстрее.

— Какую газету вы читаете? — спросил Симпл.

— «Нью-Йорк таймс».

— Ну, я ее почти не читаю,— сказал Симпл.— Да если б и читал, не верил бы ни одному слову. А касательно того, что я живу в Гарлеме уже пятнадцать-двадцать лет, так прежде чем я вернусь к себе на Юг, мне придется прожить здесь еще лет пятнадцать-двадцать. Мои дети будут учиться в Гарлеме, где не требуется для этого решения Верховного суда и где мне не придется ежедневно ходить с ними в школу, пока дело будет постепенно налаживаться. А если бы я жил у себя на родине и имел ребенка, которому надо было идти в школу для белых, то и мне пришлось бы идти вместе с ним. А я не могу отпрашиваться с работы, чтобы ходить с ребенком в школу. Но живи я на Юге, пришлось бы! И ходил бы в школу вместе с ним.

— Значит, вы думаете, что на коренном Юге всем родителям-неграм придется сопровождать своих детей в школу?

— Так будет вернее. Да не мешало бы им на всякий случай запастись быстрыми ногами или же огнестрельным оружием.

— Вы, как обычно, смотрите на все очень мрачно,— сказал я,— и всегда ищете во всем теневые стороны.

— Да, и это будет до тех пор, пока наша *благоразумная неторопливость* * не сравняется в скорости хотя бы с улиткой! Но белые плантаторы там, на Юге, нуждаются в образовании больше, чем мы. Только мне не хотелось бы упоминать, кто будет их учителями.

— А кто все-таки? — спросил я.

— Насер, Неру и Чжоу Энь-лай,— сказал Симпл.

— Да ведь эти азиаты даже не христиане!

— Разве? — спросил Симпл.— А вот южане в Миссисипи объявляют себя христианами, но, судя по их делам, этого никак не скажешь. Южане ведут себя так, будто сроду не слыхали о Христе. Таким христианам вовсе не пристало учить кого бы то ни было. Не удивительно, что белые дети на Юге, у которых такие учителя, совсем не умеют вести себя. Но придет время, когда египтяне, и индусы, и африканцы, а заодно и китайцы кое-чему научат мистера Чарли. Дайте только срок!

— А скоро ли это случится? — спросил я.

— Все идет с *благоразумной неторопливостью*,— сказал Симпл.— А пока пусть куклускланновцы на Юге продолжают позориться на глазах у всего света. Ей-богу, уже занимается заря того дня, когда с них собьют эту спесь.

— Вы думаете, народы Азии и Африки объявят Америке войну?

— Надеюсь, что нет,— ответил Симпл,— мне не хочется, чтобы меня подстрелили.

— А что же тогда, по-вашему, произойдет?

---

* Многие американские политики, объявляющие себя чуть ли не борцами за улучшение условий существования негров на Юге, в то же время призывают проводить такого рода реформы с «благоразумной неторопливостью».

— По-моему, эти народы просто доведут Даллеса, и Толмэджа, и дядюшку Сэма, и губернатора Миссисипи до такого бешенства, что они испустят дух, когда начнут ломать себе голову, что бы им такое ответить. Видите ли, американец, если он белый, не привык, чтобы цветные народы никак с ним не считались. И вот в один прекрасный день, когда цветной Египет, и темнокожая Индия, и черная Африка просто-напросто, по примеру Китая, вовсе перестанут замечать американцев и не проявят к ним ни малейшего уважения, белый человек так разъярится, что совсем потеряет возможность владеть собой, затрясется, как в лихорадке, изо рта у него пойдет пена, голова закружится, и он брякнется в обморок перед той самой школой, куда он не пускает негров. Тогда негры запросто войдут в школу, усядутся и начнут учиться.

— А у вас богатая фантазия,— сказал я.

— Для наших южан это будет не фантазией, а кошмаром. Сейчас эти люди и впрямь живут в мире фантазий, воображая, что они намного приличнее, умнее и лучше, чем я. А я на это говорю: пусть себе воображают, ведь они забрались на высоченное здание, воздвигнутое на обмане. А когда они глянут вниз и почувствуют, что падают, вот тогда-то их фантазия и превратится в кошмар. Тогда-то они брякнутся оземь и цветные ребятишки, по дороге в школу, будут вежливо переступать через них. И тот день будет для них в самом деле кошмарным. Тут позовут меня на помощь, но я буду слишком занят изучением арифметики.

— Я вижу, вы не считаете, что за зло надо платить добром.

— Считаю,— сказал Симпл,— но платить надо с *благоразумной неторопливостью*. Я бы заставил южан проваляться несколько лет на холодной-прехолодной земле, пусть они приобретут выдержку. Чтобы помочь им подняться, я бы ни за что не пошел ни на какие крайние меры — ведь Эйзенхаузер выступил против крайних мер. Я бы сказал: «В таком деле нельзя торопиться. Пусть представители обеих рас, люди доброй воли, поищут решения, а вы пока поваляйтесь в грязи».

— При всей туманности вашей притчи из нее можно понять, что вы считаете южных расистов существами хилыми, а негров — людьми здоровыми и энергичными, способными разделать их под орех. И все это, по-вашему, произойдет в результате объединения каких-то внешних сил.

— Да, черных, желтых и коричневых сил,— сказал Симпл,— и не путем войны, а просто из-за потери уважения. Южный плантатор скорей согласится, чтобы его расстреляли, чем станет терпеть неуважение со стороны тех, кого он ставит ниже себя. Индусов, египтян и китайцев он ставит почти так же низко, как и негров. Так что если эти страны совместно проявят к мистеру Чарли неуважение, он так разозлится, что начнет чертыхаться на чем свет стоит. И когда он израсходует всю свою желчь и все запасы брани — вот тогда-то цветные, которым незачем беспокоиться о Суэцком канале, о Тайване или Пакистане, вот тогда-то мой народ свободно войдет в школу и с легким сердцем возьмется за ученье. Я тоже снова пойду учиться и начну с того, на чем остановились белые. Попробую немного заняться тем, как себя следует вести. Попробую извлечь что-нибудь хорошее из их же собственных книг.

— А что будет, когда южане очнутся от обморока, придут в себя от кошмара и всяких других напастей, которых вы им пожелали?

— Тогда Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения войдет, как обычно, с ходатайством в Верховный суд и опять выиграет дело,— отвечал Симпл.— А я буду просто посиживать в школе и с *благоразумной неторопливостью* распевать «Не сдвинусь я с места», и попрошу южан, что стоят снаружи, дружно подтягивать мне. А потом я приглашу их в школу, чтобы и они тоже чему-нибудь подучились, ведь нынче они еще сущие невежды. Вот и все.

ПРАВО И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

— А вы читали, сэр, в газетах, что во Флориде отменили Неделю братства, так как, согласно программе, цветной и белый священники должны были вместе читать проповедь, а хор предполагался смешанный? — спросил Симпл.

— Нет,— сказал я.— По каким же все-таки мотивам?

— Ее отменили «в интересах братства»! Уверяю вас, белые южане, особенно во Флориде, что-то замышляют: сначала не пустили негров-республиканцев на банкет, который устраивала их же партия, а затем отменили Неделю братства — ничего себе братство у них получается!

— Да уж эта последняя их выходка прямо какая-то нелепость!

— Сущая нелепость,— сказал Симпл.— Южане ведут себя порой на редкость вздорно. В наш демократический век так поступать нельзя. Если белому и цветному священнику даже не разрешают одновременно произносить проповеди, а белому и цветному хору вместе петь, то как же, скажите на милость, христиане смогут вообще объединиться? В газетах пишут, что родители — белые родители — даже посылали в школу с детьми записки: они-де не желают принимать участия в Неделе братства совместно с цветными. Такие родители внушали своим детям дурные мысли; не будь этого — дети, возможно, поступили бы правильно. Ведь сказано же в библии: «Если не будете, как дети...» — что, по словам моей тетки Люси, означает: «невинны, как дети»,— «...то не войдете в царствие небесное». Просто не представляю себе, каким образом белые флоридцы вообще могут войти в царствие небесное?

— Я тоже, разве что они родятся вновь.

— Ну, если уж они родятся вновь, то пусть на этот раз появятся на свет божий стариками и постепенно становятся детьми. Может — по мере того как они будут становиться моложе — немного поумнеют, а то сейчас, старея, они становятся все глупее и глупее. Во всяком случае, каждому было бы приятно родиться семидесятилетним, лысым, со вставными зубами, а потом постепенно идти назад, к детству, и вместо того чтобы стареть, делаться все моложе и моложе. Может, к тому времени, когда белому южанину стукнет десять лет, он будет лучше и чище и даже станет добрым, как дитя. А когда он превратится в младенца, ему не придется мучиться и умирать. Он попросту уйдет обратно туда, откуда пришел, и даже не узнает об этом — ведь младенец в утробе матери еще ничего не знает о нашем мире. Так что смерть в этом возрасте не была бы страшна.

— Фантастическая идея,— сказал я.

— Но отличная,— возразил Симпл.— В самом деле, было б здорово, если бы каждый — хоть белый, хоть черный — рождался стариком и молодел, вместо того чтобы рождаться младенцем и всю жизнь стариться. Подумать только: если бы я с каждым днем становился все моложе, до чего бы роскошное будущее ожидало меня! С другой стороны, я мог бы оглянуться назад, на ту пору, когда мне было сорок и когда я не в меру выпивал, слишком много курил, частенько мучился от ревматизма и зубной боли, страдал от перепоя и ломоты в пояснице. И я мог бы сказать: все это уже проходит, проходит, а вот уже и совсем прошло. С каждым днем я становлюсь все моложе. В скором времени я, по малости лет, брошу пить, а если и закурю сигарету, то закашляюсь, и никогда больше не испытаю ни болей в пояснице, ни зубной боли, и так как я буду холост, то не узнаю никаких других напастей. Я предвижу, что стану мальчишкой, которому

незачем волноваться из-за женщин, и даже разведусь с моей первой женой, не платя ей ни цента — что взять с мальчишки! Я даже смогу не возвращать вам пять долларов, которые должен сейчас,— ведь я дойду до возраста, когда не делаешь никаких долгов. О дружище, как замечательно было бы расти назад, а не вперед, не стареть, а делаться все моложе!

А до чего здорово обернулось бы все это для южан! Старые расисты могли бы начисто избавиться от своих предрассудков, потому что росли бы назад, навстречу тому времени, когда никто еще не разбирался в цвете кожи. Они бы так могли беспрепятственно дорасти до идеи братства, даже во Флориде. Подумать только, как жилось бы тогда в Майами! Белые и цветные загорали бы рядышком на одном и том же пляже, дети пели бы в одном хоре одной и той же церкви, полностью объединенной, и славный, юный, белый священник, всего пяти лет от роду, говорил бы: «Ах, все поистине чудесно!». И я, цветной четырехлетний малыш, отвечал бы ему: «Благодарю вас, отец!» А в Атланте какой-нибудь двухлетний Толмэдж держал бы такую речь: «Все мы братья, все без исключения — и белые и черные,— и не только в Неделю братства, но и в любую другую неделю». На это я ответил бы: «Аминь!» Вскоре и вся Америка снова стала бы молодой страной, какой она была до того, как позабыла, что означает братство. В самом деле, давайте расти назад!

— Итак, если мы встанем на этот путь, то сумеем, по-вашему, решить расовую проблему. А как насчет детской преступности?

— Ведь наш брат, пожилой человек, белый или черный, ведет себя лучше, чем нынешняя молодежь, не так ли? — сказал Симпл.— Ей-богу, это так! Вот вам пример: в годы моего детства ребята обычно тузили друг друга кулаками, боролись, гонялись друг за другом, а иной раз кто-нибудь мог и швырнуть камнем в приятеля. В худшем случае — в самом худшем случае — мальчишка, если он был совсем уж испорченный, вытаскивал нож, но редко пускал его в ход. А теперь все эти подростки, да и дети то и дело стреляют, и притом так, чтобы обязательно убить. Чем, по-вашему, объяснить все это?

— Когда мы были маленькими, люди воевали при помощи винтовок. А теперь — при помощи атомных бомб. Войны стали ожесточеннее.

— Когда я был маленький,— сказал Симпл,— если меня заставали за курением сигаретки, то тут же начинали пороть. А нынче курение сигареты — сущий пустяк. Ребята курят папиросы с наркотиками и пускают дым прямо в физиономию мамаше. Чем, по-вашему, объяснить все это?

— Когда вы были маленький,— сказал я,— взрослые считали себя страшными кутилами, если, бывало, посидят в компании за кружкой пива и возвратятся домой в полночь. А нынче, если не пьешь скотч-виски, грог, джин или водку, то считается, что попусту теряешь время. И начинают пить теперь, пожалуй, только в полночь. Теперь все стали какие-то необузданные.

— Первую похабную картинку,— сказал Симпл,— я увидел, когда мне было двадцать пять лет. А теперь я читаю в газетах, что ими открыто торгуют возле школ.

— Когда вы были маленький,— сказал я,— то «Подлинные признания» припрятывали подальше, чтобы книга не попалась на глаза бабушке. Но так поступали до того, как наши бабушки начитались Микки Спиллейна, а комиксы сейчас вообще продают в каждом киоске.

— Когда я был мальчишкой, комиксы были в самом деле комичные,— сказал Симпл.— Помните «Матта и Джеффа», «Воспитание папаши» и «Подгулявших ребят»? А теперь комиксы ничуть не комичны. В них одна уголовщина да всякая чушь — чудовища, психи, шпионы и тому подобное. Не удивительно, что ребята больше не стремятся, скажем, получше одеться, а стараются стать преступниками. В кино, бывало, показывали, как швыряются пирогами, и про любовь, и про вампиров, и про чикагских гангстеров, которых в конце фильма обычно подстреливали. А теперь в кино стреляют не только гангстеры. Нынче в фильмах пистолет у каждого. Должно быть, мы живем в Век пистолета. Я-то думал, что для ношения оружия требуется разрешение. А в кино я ни разу не видал, чтобы кто-нибудь вытаскивал из кармана разрешение. Зато все вытаскивают пистолеты. Бах! И кого-то укокошили! В картине, которую я недавно видел, произошло шесть убийств. То же самое в телевидении и по радио. В постановке обычно бывает одно убийство в начале, два в середине и три в конце, иначе это вовсе и не боевик. Ну как тут упрекать детей? По-моему, ребята думают, что без стрельбы и жить не стоит.

— Конечно, все развлекательные зрелища полны насилия. Но, в конце концов, это ведь все лишь выдумки. Я думаю, даже дети понимают, что все это понарошку.

— Но это настолько захватывает, что детям хочется попробовать все по-настоящему,— сказал Симпл.

— Значит, вы считаете, что жизнь подражает искусству? Лично я думаю, что дело обстоит наоборот. Жизнь полна преступлений, и потому везде их так много — и в радиовещании, и в телевидении, и в кино Возможно, все это какой-то порочный круг.

— Но слава богу,— сказал Симпл,— что в этом кругу, по крайней мере, не одни только негры. Теперь все поголовно стреляют и убивают. И мы — негры — меньше всех. По радио никогда не услышишь, чтобы кого-нибудь убил негр, убивают лишь белые. И в телевидении самые крупные и самые шикарные преступления тоже совершают белые.

— Ни одна раса не имеет монополии на преступление. К чему же и здесь заводить разговор о цвете кожи?

— Потому что я цветной,— ответил Симпл.— Мои предки были цветные, и дети мои будут цветные. Почему бы мне не говорить о цвете кожи?

— К такой социологической проблеме, как преступление, цвет кожи, по-моему, не имеет никакого отношения.

— Был бы я слоном, я бы говорил о слонах,— сказал Симпл.— Будь я львом, говорил бы о львах. А раз я негр, то и говорю о неграх. Я не хочу сегрегации, даже когда речь идет о преступлениях. Никакой сегрегации — ни в жизни, ни в кино, ни в телевидении. Я хочу равноправия и требую его.

— Насилие и преступление — зло. Вы хотите иметь право творить зло?

— Я хочу иметь все права, какие только существуют,— воскликнул Симпл.— А тогда я выберу себе право поступать правильно. Каждый должен иметь право совершать зло, чтобы располагать правом творить добро, не так ли?

— Ваши доводы противоречат здравому смыслу,— сказал я.

— Ну, так возьмите себе здравый смысл, а мне оставьте права,— сказал Симпл.— А тем временем я намерен расти назад, чтобы непрерывно молодеть.

ПОХОРОНЫ ДЖИМА КРОУ

— Хотел бы я, чтобы можно было помереть как-нибудь так, чтобы не умирать,— сказал Симпл,— просто отделаться от того, что тебе досаждает, а все хорошее сохранить — и самому остаться в живых. Взять, к примеру, мою старую тетку Люси, ту, что страдала артритом, отчего иногда становилась совсем несносной, хоть и была добрейшая душа. Пусть бы вместо нее умер артрит — тогда все было бы в порядке! Или возьмем президента Рузвельта: если бы умер не он, а его хвори, то мир, может, выглядел бы сейчас по-другому.

— Иначе говоря,— заметил я,— по-вашему, было бы чудесно, если бы погибали болезни, а не хорошие люди, которые от них страдают. Ваше рассуждение ошибочно хотя бы уж потому, что не все люди хороши. Есть люди больные, а вдобавок еще и плохие.

— Вот я и хочу, чтобы умирало все плохое, что в них есть,— сказал Симпл.— Будь я судьей, я бы никого не приговаривал к смерти. Я бы просто выносил смертный приговор этому плохому.

— К сожалению, человечество еще не открыло надежного способа отделять зло от человека или человека от зла. Ведь смертная казнь существует для того, чтобы, предавая смерти человека, уничтожать и присущее ему зло. Это своего рода законное убийство. Но беда-то в том, что зло присуще не отдельному человеку, а обществу в целом. Им заражено множество людей. Сегодня казнят на электрическом стуле убийцу, а в тот же самый момент в другом месте совершает убийство кто-то другой. Казнить человека — еще не значит убить преступление. Умирает только человек. Следует добраться до глубинных корней зла, подобно тому как врач стремится добраться до основных причин болезни.

— Об этом я и толкую. Удалять надо больной корень, а не зеленое дерево все целиком.

— Это, положим, спорно,— сказал я.— Бывает, что болезнь перешла уже из корня на все зеленое дерево, как вы выразились. И вот листья больше не зеленеют, они поблекли и увяли, ветви засохли; в таком случае, по мнению некоторых, остается срубить все дерево целиком.

— Но я ведь завел речь о больных людях, а вовсе не о деревьях и не про убийство и зло. О тех, кто страдает от самых обыкновенных болей в пояснице, от мигрени и желудочных недугов, ведь по этой причине с нашим грешным миром расстается гораздо больше людей, чем от казни на электрическом стуле. Мне бы, например, вовсе не хотелось заполучить такую болезнь, от которой можно умереть.

— В таком случае, вы просто умрете от старости. Все люди от чего-нибудь да умирают.

— А я не хочу умереть и от старости, — сказал Симпл.

— Рано или поздно старость подбирается к каждому. Людей, живущих вечно, не бывает. И вам тоже жить вечно не удастся.

— А я бы не прочь.

— Чего ради?

— Хочу дожить до такого дня, когда смогу, не обращаясь за помощью в Верховный суд, обедать в любом ресторане штата Виргиния. Хочу дожить до такого дня, когда вообще смогу обедать всюду, где мне вздумается.

— Этого, может быть, и не так уж долго осталось вам ждать,— сказал я.

— Подольше, чем какому-нибудь микробу потребуется, чтобы сожрать меня,— сказал Симпл.— Ах, если бы Джим Кроу был всего лишь живым человеком, тогда, может, и он захворал бы, схватил, скажем, воспаление легких, или скрутил бы его артрит, лопнул бы у него

желчный пузырь, либо он надорвался бы, заполучил чахотку, рак, а то и порок сердца — и сдох бы. Я бы не прочь взглянуть, как будет подыхать Джим Кроу — в крайнем случае, хоть на электрическом стуле. Я бы взял даже на себя расходы по похоронам и послал цветы. А если бы его семья потребовала, я бы произнес на его похоронах поминальное слово. Непременно произнес бы! И сказал бы: «Джим Кроу, Джим Кроу, господь бог взял тебя от нас! Хвала всевышнему! Джим Кроу, ты никогда больше не станешь пить из водоразборной колонки для белых, когда у меня так пересохло в глотке и напиться негде. Никогда больше не поедешь ты, Джим Кроу, в автобусе от Вашингтона до Нью-Орлеана на переднем сиденье, в то время как я буду трястись где-то сзади, над самыми колесами. Никогда больше ты, Джим Кроу, лежащий здесь бездыханным трупом, не поднимешься и не обзовешь меня черномазым. Теперь ты в моей власти, и я буду читать тебе отходную. Ты ведь не знал, что негр будет читать отходную на твоих похоронах, не так ли, Джим Кроу? Ну вот, а я читаю! Я, Джесс Б. Семпл, был по образу и подобию божию сотворен из праха, в который господь вдохнул Дыхание Жизни *как раз для того, чтобы читать отходную на твоих похоронах,* Джим Кроу, и предать тебя земле, где ты будешь мирно гнить до тех пор, пока земной шар не перестанет крутиться вокруг солнца, и не остановится так чертовски внезапно, что ты, я и все остальные пулей пролетим сквозь мгновения страшного суда и брякнемся к подножию трона божьего! И бог скажет: «Джим Кроу! Джим Кроу! Убирайся прочь! Проваливай отсюда! Поспеши занять свое место в преисподней!»

Очень сожалею, Джим Кроу, но именно так скажет бог. А потому я и сам могу сказать это первый.

И сейчас, когда крышка гроба заколочена, а за дверями уже стоит катафалк, и Толмэдж, Истлэнд и Бирнс утирают слезу, и все вагоны на Южной железной дороге одеты в траур, и флаг конфедерации наполовину приспущен, и «Дочери американской революции» одна за другой попадали в обморок,— мне доставляет огромное удовольствие завершить похоронную церемонию такими словами: «Джим Кроу, проваливай в преисподнюю!»

НЕДЕЛЯ БЕЛОЙ ИСТОРИИ

— Близятся день рождения Линкольна и Неделя черной истории,— сказал Симпл,— а когда же, интересно, будет отмечаться Неделя белой истории?

— Неделя белой истории? — воскликнул я.— Никогда о такой не слыхал.

— Я тоже,— сказал Симпл,— но ведь должна же быть Неделя белой истории?! У белых ведь побольше, чем у нас, всякого такого, что стоит отметить.

— Например?

— Например, день, когда они купили первых негров с невольничьего корабля в Джеймстауне, и с тех пор только и делают в этой стране, что заставляют нас работать на себя задаром или почти задаром. Такой день они наверняка могли бы отметить во время Недели белой истории.

— Вряд ли они захотели бы прославлять столь ославленную ошибку, ведь с тех пор негры прямо-таки сидят у них в печенках.

— Ну, тогда во время Недели белой истории они могли бы отпраздновать те три сотни лет, на протяжении которых белые жили за счет негритянского труда,— сказал Симпл,— когда у них были рабы, которые засевали, пахали и мотыжили землю задаром, а сами они пользовались плодами наших трудов. В память об этом, я думаю, белые могли бы

славно повеселиться. В 1619 году были привезены первые рабы; в 1719 году негры все еще находились в рабстве; в 1819 — тоже; и в 1919 году дело обстояло ненамного лучше, потому что даже после Гражданской войны потребовались долгие годы, чтобы добиться сносных заработков. Триста лет белые заставляли негров работать задаром. Будь я белым, я бы непременно отмечал это славное времечко. А вы?

— Думаю, что и я тоже, но, пожалуй, без всякого чувства гордости.

— Но зато с деньгами, добытыми из черного пота,— сказал Симпл.— За всю мою жизнь никто для меня даром не сеял, не пахал, не мотыжил, не готовил мне обед, не обстирывал меня. Даже жена, и та не стала бы все это делать, хоть я, чтобы жениться на ней, и ухлопал уйму денег. Да выпади мне такое счастье, пусть даже на один денек, я бы уж его отпраздновал. А белые заставляли негров работать на них за одну только похлебку, с первого же года, с самого первого. Негры наработали миллионы долларов — и все это белые нам задолжали. Если бы им вдруг вздумалось проявить благородство, они могли хотя бы внести подоходный налог за нашего Джо Луиса *. На их месте я бы в Неделю белой истории совершил какое-нибудь маленькое благодеяние вроде отмены налога на Джо.

В эту Неделю я бы, кроме того, поставил памятник Джиму Кроу, которого белые так долго почитали. На открытие я созвал бы всех южан, чтобы они возложили к ногам Джима Кроу венки... В Неделю белой истории хорошо бы провести в каждой школе День Джима Кроу, когда белые дети играли бы в цветных, лишенных всех прав, у которых в будущем нет ничего, кроме сплошной сегрегации. Все это, конечно, только понарошку, все равно как во время Недели черной истории цветные дети в Миссисипи играют в демократию. О, будь я белый, я нашел бы еще многое, чем можно позабавиться в Неделю белой истории!

— Но в том, что вы говорите, нет ничего забавного,— сказал я.

— И все же вам следует посмеяться,— сказал Симпл.— Если вы не будете смеяться, то еще, чего доброго, придете в ярость, а когда вы рассвирепеете, это повредит делу братства. Ведь Неделя братства идет, если не ошибаюсь, сразу вслед за Неделей черной истории Ну так вот, после Недели белой истории я провел бы Неделю сестер и посвятил бы ее защите Белой женщины. В эту священную неделю я отмечал бы все случаи линчевания негров во имя непорочности белой женщины — со времен Гражданской войны и до наших дней. Я посвятил бы линчеванию телепередачу и показал бы трупы негров, повешенных на Юге за изнасилование, в котором они вовсе не повинны; показал бы негров, сожженных заживо за то, что какой-то белой женщине ночью приснился цветной парень И я показал бы также мальчуганов вроде Эммета Тилла, убитого потому, что кому-то из белых почудилось, будто этот малец косо взглянул на белую женщину. О, я бы уж составил замечательную программу для телевидения — о Цветных жертвах, принесенных на Алтарь сестер. В этой программе роль негра, которого линчуют, играл бы Гарри Белафонте; на цветном телеэкране появился бы сам Гарри, преданный суду Линча за то, что взглянул на белую женщину! Конечно, ему бы здорово заплатили, ведь он хороший актер.

Я бы показал по телевидению и многие другие празднества Недели белой истории. Всю неделю я выпускал бы знаменитых ораторов вроде Истлэнда и Толмэджа **, которые заявляли бы, что они полны решимости сохранить всю девственную белизну Недели белой истории, потому что у негров есть Неделя черной истории и им незачем играть какую бы то

* Весьма популярный боксер-негр, бывший чемпион мира.

** Американские политические деятели, известные реакционностью своих взглядов.

ни было роль в Неделе белой истории, разве только их специально наймут, как я нанял бы Гарри, чтобы он косо взглянул на белую женщину. Я бы заплатил также Луису — доброму старому Сэчмо,— чтобы он невозмутимо продолжал дуть в свой рожок, когда в дансинге начнут взрываться бомбы. Потом я нанял бы Ната Кинга Коула, чтобы он снова пел в Бирмингаме и разыграл ту сцену, когда белые избили его на эстраде, а он даже и не рассердился. В Неделю белой истории я почтил бы таких сладкоголосых негров, потому что никто не может сравниться с ними в искусстве пения. Подобно тому, как в Неделю черной истории воздают по заслугам нескольким хорошим белым, так и в Неделю белой истории надо было бы отдать должное нескольким хорошим черным парням.

И закончил бы я Неделю белой истории не какими-то речами и песнями, а наглядно изобразил бы здоровый, счастливый и энергичный американизм в лице президента Эйзенхаузера, главы нашего государства. Я бы изобразил, как он играет в гольф на Юге, в Огасте, штат Джорджия. И на каждом телевизионном экране по всей стране наш великий президент гонял бы мячи для игры в гольф, из Джорджии в Алабаму: «Вперед, папаша Джим!» — и прямо на задний двор преподобного Кинга из Монтгомери. Мячик летит от удара президента США — вот так хотел бы я закончить Неделю белой истории. Аминь! Помолимся господу! Виноват, сначала помолимся господу, а потом уж аминь! И после этого— точка!

ЦВЕТ КОЖИ У НИХ НА УМЕ

— Нынче люди потому так часто сходят с ума и начинают разговаривать сами с собой, что у них слишком много причин для беспокойства,— сказал Симпл.— У меня вот, например...

— Что же вас беспокоит, дружище? — спросил я.

— То, что у белых левая рука не всегда знает, что делает правая.

— Как вас понять?

— А так, что их правая рука, то есть та рука, которая и в самом деле старается действовать правильно — я подразумеваю Верховный суд,— постановила покончить с Джимом Кроу, но большинство белых на Юге вовсе и не думают учиться в школе вместе со мной, не говоря уже о том, чтобы сидеть рядом с неграми в автобусе. Вот я и говорю, что левая рука у них не ведает, что творит правая.

— Вы снова о расизме,— заявил я.— Расизм, расизм и еще раз расизм! Никак вы с расовой проблемой не можете расстаться.

— Да, потому что я черный,— сказал Симпл.— Не расстанусь я с расовой проблемой уже до самой смерти, потому что останусь черным, пока меня не похоронят. Как же иначе? На это меня толкают сами белые.

— Можно, однако, стать выше этого, пренебречь мелкими житейскими невзгодами.

— Мелкими — это какими же? — спросил Симпл.

— Малыми,— сказал я.

— Ну, сам я не настолько уж мал, а проблема моя огромна. Фактически моя проблема — это я сам. Я — цветной, афро-американец, черный, черно-янтарный, эбеновый, цвета сепии или как бы там еще меня ни называли. Пока я не добьюсь в этом мире справедливости для себя и для других, я не перестану говорить о своей проблеме. Что ж в этом плохого? Все только и делают, что вопят о своих проблемах, в том числе в ООН. Стоит мне только включить радио — и сразу же слышу из ООН речи, речи, речи. У меня нет своей ООН, Гарлем не имеет там представительства. Я не нация. Предполагается, что я гражданин США, предпола-

гается, что некий человек по фамилии Лодж представляет меня там, но я не читал еще ни в одной газете, чтобы Лодж сказал хоть слово о негритянских школах в Гарлеме, которые построены девяносто девять лет назад, или о негритянских школах в Джорджии, где занятия идут только в те дни, когда не надо собирать хлопок. Вот что я имею в виду, когда говорю о левой и правой руке. Наши белые произносят такие громкие речи в ООН и так плохо ведут себя в своей собственной стране, то есть в США, в Америке, ну и в Гарлеме тоже.

— Поосторожнее, вы рискуете совершить измену,— сказал я.— Вам тогда ни за что не дадут паспорта для поездки за границу.

— Какую там еще заграницу? — сказал Симпл.— Не хочу я ехать ни в какие заграницы. Я предъявляю свои права в Америке, и единственная граница, которую я желаю пересечь, это граница, воздвигнутая Джимом Кроу. И паспорт мне нужен лишь для того, чтобы попасть в страну Свободы. И единственная земля, куда я от всей души стремлюсь попасть, это та земля, где царит Равенство, которого я еще никогда не знавал. Должно быть, земля эта находится где-нибудь за рекой Иордан, в сказочной стране Бюла.

— Иначе говоря, по-вашему, сравняться в правах с белыми вы сможете только после смерти?

— В библии сказано: «Сей мир и мир иной»,— отвечал Симпл,— и в этом ином мире я стану белее снега, белее, чем мистер Эйзенхаузер и мистер Никсон вместе взятые.

— Во всем вы только видите либо черное, либо белое,— сказал я.— Неужели вы так и не отделаетесь никогда от своей цветобоязни? Я начинаю думать, что это у вас болезнь вроде водобоязни или какой-то психический комплекс, психоз. Вы одержимы психозом.

— Если вам хочется отругать меня, сделайте это, пожалуйста, но так, чтобы мне было понятно.

— Вы — расовый изоляционист, националист, черный шовинист.

— Из всего этого верно лишь то, что я черный,— сказал Симпл.— И так как я черный, то сейчас у меня на уме Египет.

— Египет? — спросил я.— Почему Египет?

— Потому что люди там тоже черные. Взгляните на Насера.

— Судя по его портретам, я безусловно мог бы принять его за цветного.

— К югу от Вашингтона он бы ни за что не сошел за белого,— сказал Симпл.— Знаете, сегодня я искал в географическом атласе карту Африки, чтобы посмотреть, где находится Египет; куда же, по-вашему, составители поместили карту Африки?

— Куда?

— В самый конец атласа, на самое последнее место. Как вы думаете, отчего белые помещают все, относящееся к черным, на последнем месте? Это лишь доказывает, что не так уж далеки от истины старинные стишки:

Коли ты белый, ты всегда прав,
Коли ты желтый, мягок твой нрав,
Коль ты коричневый, стой позади,
Ну а коль черный, совсем отходи.

Много верного в этих старинных стишках. Но, бог мой, когда я теперь слушаю по радио последние известия, мне все кажется, что наши белые хозяева приходят в бешенство не только из-за Алабамы и Миссисипи, из-за Египта, из-за Индии, из-за Африки; белые думают, что стоит лишь увеличить число ставок, как их шансы возрастут и они сразу начнут выигрывать.

Если белые не перестанут волноваться за судьбу цветных на всем земном шаре — от Гарлема и Южной Каролины до Суэцкого канала,—

то все больше и больше белых людей начнут сходить с ума и о чем-то сами с собой разговаривать прямо на улице. Будь я Насером, я бы даже и спорить не стал с белыми. Мне вспоминается такой случай: однажды на Юге какой-то расист спросил меня: «Может, по-твоему, негр загореть?»

Я ответил: «Кожа есть кожа. И ее пока что с меня не содрали».

Но он не унимался и снова спросил меня: «А покраснеть негр может?»

На это я ничего не ответил. Тогда он повторил: «Я спрашиваю, может негр покраснеть?»

Я сказал: «А белый человек может помолчать?»

Он разинул рот от изумления. А я повторил: «Я спрашиваю, белый человек помолчать может?»

Лицо у этого старого расиста, знаете ли, так и залилось краской; выходит, он сам покраснел, то есть сделал то, о чем спрашивал у меня. А ведь я всего-навсего спросил, может ли он помолчать. Цвет моей кожи — вот что все время было у него на уме.

ЛИЦО И РАСА

— Легко сваливать все свои неудачи на расистов и ныть, что тебе не дают заниматься то тем, то этим лишь потому, что ты цветной,— сказал я.— А по-моему, дружище, постоянно жаловаться на расистов — это уже просто становится дурной привычкой.

— Я все время говорю о расизме, потому что постоянно сталкиваюсь с ним лицом к лицу,— сказал Симпл.— Утром, когда бреюсь, я смотрю в зеркало — и кого же там вижу? Себя самого, цветного. Иду на работу — и чье отражение я замечаю в зрачках у босса? Опять-таки свое. Прошу повысить меня в должности — и получаю отказ. Почему? Потому что профсоюз не согласен, чтобы цветным давали квалифицированную работу. Вот я и продолжаю выметать сор из-под станков, вместо того чтобы работать на одном из них. И с заработком то же самое. Когда мне предстоит голосовать, первое, над чем я задумываюсь,— это как относятся кандидаты к расовой проблеме, иначе говоря, я имею в виду опять себя. Из всего, что эти политиканы обещают, меня интересует только то, что относится ко мне. Правда, сулят они немного, а делают и того меньше. Допустим, мне хочется переехать в нижнюю часть города, поближе к месту работы. Могу я это сделать? Ведь в этом районе Нью-Йорка никто цветному квартиры не сдаст. Кому же приходится возвращаться ни с чем в Гарлем? Опять-таки мне. Я бы хотел, чтобы меня произвели на свет в отдельной уютной больничной палате. Возможно ли это? Неграм отдельных палат не предоставляют. Я бы не прочь, чтоб меня похоронили на красивом кладбище с подстриженным газоном. И что же? «В этой обители вечного упокоения для белых мы не продаем никаких участков неграм. Поищите себе местечко на том берегу в Джерси-флэтс, на болотистых участках». С первого и до последнего дня моей жизни я то и дело лицом к лицу сталкиваюсь с расизмом.

— Ну хорошо, допустим, все это так, но разве доктор Банч не сталкивался лицом к лицу с расизмом? А Джозефина Бэйкер? А Адам Пауэлл? А Джо Луис? Джо Луис, хоть он и негр, побил сильнейших боксеров мира. Адам Пауэлл, хоть и негр, попал в конгресс. Негритянка Джозефина Бэйкер демонстрировала свои танцы во всех странах мира. Ралф Банч получил пост в Организации Объединенных Наций. А ведь они тоже могли бы преспокойно торчать у стойки в пивном баре да скулить без конца про расизм!

— Видите ли, у меня не такая фигура, как у Джо,— я легковес. И я не умею танцевать, как Джозефина,— у меня слишком велики ноги. Я не обладаю способностью орать, как Адам Пауэлл, или встряхивать шевелюрой, словно львиной гривой, потому что у меня не так уж много волос и передо мной не стоит микрофон. Ралф Банч — человек находчивый, ум у него здравый, а образование высшее. А я ведь не так находчив, да и высшее образование мне и не снилось. Но когда я работаю — а я это делаю все время,— то полы под станками, изготовляющими для всего мира товары с маркой «США», всегда блещут чистотой. Я тоже частица этих самых «США». Но я — та частица, которая находится внизу, я подметаю сор. Почему же все-таки мне никак не удается отделаться от половой щетки и тоже стать к станку?

Заработок у меня невелик, но я покупал билеты на все матчи Джо. Какая-то доля моей получки помогла ему завоевать звание чемпиона, а его менажеру Майку Джекобсу — разбогатеть, и радиостанциям — организовать радиопередачи, а киностудиям — снимать состязания, потому что я платил в кассу, чтобы матч состоялся. Когда на Бродвее Джозефина Бэйкер пела и танцевала, кассовое окошечко поглотило толику и моих денег. Я ходил туда вместе с Джойс — и значит, купил два билета. И купленные мной билетики тоже помогли ярко осветить парадный подъезд театра на Великом светлом пути *. И каждый раз, когда Адам Пауэлл выставлял свою кандидатуру, я, голосуя за него, помогал ему попасть в конгресс. Я слышал, что ООН существует на взносы, которые взимают с американцев. Я тоже плачу налоги. Их каждую неделю удерживают из моей получки. Если б я зарабатывал больше, с меня бы могли больше удерживать. Почему же мне тогда не позволяют заработать побольше?

«Ты черный»,— вот что отвечают мне. Только теперь об этом не принято говорить громко, потому что это, мол, недемократично. Об этом говорят потихоньку. Но меня по-прежнему заставляют подметать пол, подтирать масло, чистить станины и вообще заниматься «обслуживанием». Я могу работать на одном из станков в дальнем углу цеха, но в профсоюз меня не примут, босс не даст мне работу получше и вообще никто не оставит без внимания мое черное лицо. И еще потому я все твержу о расизме, что тут действительно можно здорово поспорить. Всегда я чем-нибудь да поддену вас. Пожалуй, вы — самый антинегритянский негр из всех, кого я знаю. Вам бы следовало быть негритянским лидером. Белым вы пришлись бы по вкусу.

— Я только пытаюсь рассматривать вопрос, так сказать, и с той, и с другой стороны.

— Для этого надо, чтобы вы находились сразу и с той, и с другой стороны барьера. Я стою по эту сторону и гляжу на ту, противоположную, и вижу там только белых. На моей стороне — я сам, негр. А вы сидите на барьере верхом.

— Не я воздвиг этот барьер,— возразил я.

— Если так — сломайте его,— сказал Симпл.

СКЕТЧ ДЛЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

— Я написал маленький скетч для телевидения и сейчас исполню его для вас,— сказал Симпл.— Извините, но я буду играть сразу за двоих, сегодня у меня не хватает актеров, поэтому обе роли я возьму на себя. Вообразите, что вот там, где стоят бутылки,— Север. А Юг там, где я.

* Речь идет о Бродвее.

Название: *Удирай вовремя!*
Действие: *Потрясающее!*
Место действия: *На родном Юге.*
Время: *В субботу вечером.*

Итак, приступаем! Поясняю. Толмэдж спит. В этом городке есть только один-единственный квартал, где негры могут погулять, один-единственный игорный дом, одна-единственная пивная, одна-единственная закусочная и один-единственный магазин, куда неграм вход разрешается. Один-единственный во всем городке «коп» — полицейский с дубинкой в руке — шагает взад и вперед по этому единственному негритянскому торговому кварталу. На углу стоит парень; вид у него гадкий, потому что он черный. Коп — белый. Парень — цветной. Микрофон!.. Освещение!.. Камера!.. Начинаем!.. Появляется Коп.

— Эй, парень, ты почему это не удрал, как положено, когда завидел меня? — спрашивает Коп.

— Не заметил, что вы идете, мистер, сэр,— величает его Гадкий Черный Парень.

— Тогда удирай сейчас,— говорит Злой Южный Коп.— Но сначала нагни башку, чтобы я мог по ней треснуть.

— О, пожалуйста, не надо, мистер, сэр,— величает его Гадкий Черный Парень,— может, завтра придется думать, и она мне понадобится.

— Тогда повернись спиной,— говорит Злой Южный Коп,— я отлуплю тебя по заду.

— О, пожалуйста, не надо, мистер, сэр,— величает его Гадкий Черный Парень,— может, придется сидеть, и он мне понадобится.

— Тогда,— говорит Злой Южный Коп,— я исполосую тебе ноги. Ты хочешь равноправия, не правда ли?

— Да, сэр.

— Так ты получишь его, потому что я и белых луплю по ногам. Бац!

— Тогда уж ударьте еще разок и сделайте меня совсем равноправным,— говорит Гадкий Черный Парень.— Только я никак не возьму в толк, за что вы дубасите людей.

— Но ты ведь совершаешь преступление, не так ли?

— Какое преступление, сэр?

— Бродишь тут с вызывающим видом, вот какое!

— Вовсе у меня не вызывающий вид, босс.

— И ты еще смеешь спорить со мной, с белым?

— Нет, сэр! Но откуда же у меня взялся вызывающий вид?

— Стоит тебе взглянуть на меня, парень, и я уже вижу в твоих глазах вызов. Тебе хочется ходить повсюду, как хожу я, без всяких помех и тому подобное. Ты не хочешь больше ездить в вагонах для черномазых. Не хочешь говорить белым: «да, сэр», «да, мэм». Не хочешь знать свое место. Вот откуда у тебя вызывающий вид. Ладно, сделаю тебе уступку — отлуплю тебя не по башке, а по ногам.

— Но я не хочу, чтобы вы вообще меня лупили, мистер, сэр. Я ведь ничего не сделал.

— Ты же черный, не так ли? Разве, по-твоему, одного этого недостаточно? Тебе ведь надоело все время помнить об этом, не так ли? И ты не удираешь, когда видишь, что я подхожу, ведь правда? Ну так вот тебе! И еще! И еще! И не вопи!

— О-о-о-оу-оу!

— Сказано: не вопи!

— Как же мне не вопить, босс. Ведь больно.

— Тебе и должно быть больно. Не вопи!

— О-о-о!

— Не по вкусу тебе все это?

— Нет, сэр.

— Не по вкусу?

— Да, сэр!

— Тогда не торчи на перекрестке! Противно смотреть, как вы, цветные парни, околачиваетесь тут, а белые люди в это время трудятся в конторах и на фабриках.

— Я бы тоже охотно работал, босс, если б вы мне дали работу.

— Ничего мы вам не дадим. Мое дело — лупить вас по башке. А то каким же иным способом мне удержать вас в повиновении?

— Босс, вы говорите в точности как Гитлер, сэр!

— Как кто?

— Как Гитлер!

— Люди, вы слыхали?! Все слыхали, что он сказал?! Ну, парень, пошли в тюрьму.

— А в чем я повинен, мистер, сэр?

— В измене, черный парень! В измене, вот в чем!

ДВУХ СТОРОН МАЛО

— Чтобы спать поудобнее, двух боков мало,— заявил Симпл.— Когда я устаю спать на левом боку, то могу повернуться только на правый.

— Но можно спать и на спине,— посоветовал я.

— Тогда я храплю.

— А почему бы вам не попробовать спать на животе?

— Когда я сплю на животе, у меня болит шея, все время приходится поворачивать голову то в одну, то в другую сторону, иначе я задыхаюсь. Не люблю я спать на животе.

— Все люди спят обычно на правом или левом боку — и не жалуются. Не понимаю, почему вы считаете это неудобным. В конце концов, ведь во всем бывает только две стороны.

— Вот об этом-то я и толкую,— сказал Симпл.— Двух сторон мало. Мне надоело спать только на левом или на правом боку, потому я и хочу, чтобы для разнообразия было еще два или три бока. Кроме того, когда я сплю на левом боку лицом к жене, мне, чтобы узнать утром который час, приходится поворачиваться к часам. А когда я сплю на правом боку, лицом к окну, свет будит меня раньше времени. Если я сплю на спине, то храплю и беспокою жену. А на животе спать нельзя — я уже говорил почему. Вот, к примеру, моряки торгового флота, когда речь заходит о корабле, постоянно упоминают о «портсайде» и «штирборте». Человеку тоже надо бы иметь не только правый и левый бок, но еще также «портсайд» и «штирборт».

— Но ведь это на морском языке то же самое, что левый и правый борт. У корабля только два борта: вам это известно так же, как и мне.

— Тогда, значит, и кораблям приходится не лучше, чем людям,— сказал Симпл.— Когда начинается шторм, кораблю только и остается, что ворочаться с боку на бок, совсем как мне.

— Может, за ужином вы слишком много едите или слишком много пьете кофе?

— Нет, ночью желудок меня не беспокоит. Но по утрам мне кое-что действительно не по вкусу: просыпаешься — и постоянно видишь все одну и ту же надоевшую яичницу-глазунью с одним глазом, которую Джойс готовит на завтрак. Я бы хотел, чтобы существовали всевозможные глазуньи, а не одни только белые с желтым глазом. Пусть будут голубые

яичницы с коричневым глазом, и коричневые с голубым глазом, и красные с зеленым.

— Если в одно прекрасное утро вы проснетесь и увидите у себя на тарелке красную яичницу с зеленым глазом, то подумаете, что накануне хватили лишнего.

— Конечно, подумаю,— сказал Симпл.— Но одноглазая яичница — это так однообразно! С какой стороны ни посмотришь на нее, это, черт возьми, все равно яичница: с одной стороны — поджаристая, с другой — жидковатая. Или, если вы ее переворачивали, поджаристая с обеих сторон. Раз уж яйцо попало на сковородку, у него тоже только две стороны. И если нижняя сторона подгорит, то получится точь-в-точь расовая проблема: черное и белое, белое и черное.

— Я так и знал, что вы в конце концов доберетесь до расовой проблемы. О чем бы вы ни говорили, вам непременно надо помянуть цвет кожи. Да бог с ним! Сводя по своему обыкновению все к двум сторонам, вы занимаетесь сверхупрощенчеством.

— Чем, чем я занимаюсь?

— Я говорю, что семантика у вас слишком упрощенная.

— Как, как?..

— Фразеология ваша.

— Моя?..

— Ну, ваши слова, дружище, ваши слова.

— Вот оно что,— сказал Симпл.— Ладно, вернемся все-таки к яичнице, хоть это и простое слово. На завтрак я хотел бы кушать не куриные яйца, а яйца других птиц, и иного вкуса, чем куриные. И что бы вы, Джек, ни толковали насчет тематики, все равно в моем возрасте человеку надоедает каждый божий день есть одну и ту же яичницу, так же как вам — слышать одни и те же разговоры о расовой проблеме. Я бы не прочь съесть иной раз по утрам такую яичницу, чтобы вкус у нее был, как у свиной отбивной.

— В таком случае, почему бы вам просто не готовить к завтраку вместо яичницы свиную отбивную?

— Потому что по утрам у меня в холодильнике никогда свиных отбивных не бывает.

— Но они были бы, если б вы положили их туда с вечера.

— Нет, тогда я их вечером и съел бы,— сказал Симпл.— В том-то и беда, что с вечера на утро у нас не остается почти ничего, кроме расовой проблемы...

Перевод с английского Н. Васильева

ПРИ ЧЕМ ТУТ СОЧУВСТВИЕ

— Помнится, вы мне однажды сказали, что если белые, которые заявляют о своей любви к неграм, действительно любят их, они и жить должны, как негры. Так ведь?

— Да,— отвечал Симпл,— особенно когда они приезжают на Юг.

— Значит, наши белые друзья должны, как и мы, ездить в вагонах для негров?

— Да,— сказал Симпл.

— Зачем?

— Чтобы доказать свою любовь ко мне,— пояснил Симпл,— иначе я им не верю. Белые, если они действительно хорошо относятся ко мне, должны, находясь в дороге, спать в гостиницах для цветных, хотя почти

все эти гостиницы не пригодны для ночлега. Они должны питаться в ресторанах для цветных, хотя в маленьких городах это обычно дрянные харчевни. Не мешало бы им часами ждать такси для черных в тех местах, где машины для белых не подвозят негров. Пусть мои белые друзья, собираясь пожить немного на Юге, пошлют своих детей в школы для цветных, которые, как правило, находятся в какой-нибудь лачуге по ту сторону линии железной дороги. А когда они садятся в автобусы, чтобы попасть домой, пусть усаживаются на задние места. И когда все места для цветных заняты, пусть постоят, даже если в автобусе имеются свободные места для белых, куда цветной и не посмеет сесть, опасаясь, что его подстрелят из окна. После того как эти миляги белые испытают на себе все запреты Джима Кроу, начиная с того, где поесть и поспать, и кончая тем, куда послать детей учиться и в каком вагоне проехать,— вот тогда-то мы и узнаем, пришлось ли все это им по вкусу.

— Если вы думаете, что наши белые друзья станут испытывать все эти запреты на себе, то вы считаете каждого из них сверхчеловеком, — сказал я.

— Я же езжу в вагонах для негров, а я не сверхчеловек.

— Вы садитесь в них потому, что вынуждены это делать,— отвечал я.

— Я понимаю равноправие, когда для нас с тобой все одинаково,— заявил Симпл.— Эти белые, если они и вправду любят меня, должны вместе со мной садиться в вагоны для негров, а не усаживаться где-то в конце поезда, в вагонах с охлажденным воздухом и прочими удобствами, тогда как я еду у самого паровоза в старом полубагажном вагоне. И хотел бы я, чтоб мои белые друзья узнали, что такое убóрная для цветных. Нет ничего хуже, чем привокзальная туалетная комната для негров на Юге. Как правило — без зеркала, без туалетной бумаги, иногда даже без умывальника. Пусть они зайдут в одну из таких уборных, эти милые белые господа, которые всегда спрашивают меня, чего же мне еще надо, раз Верховный суд разрешил мне голосовать; пусть зайдут, и тогда они поймут, чего я хочу. Я хочу, чтобы у меня был такой же привокзальный туалет, со всем необходимым, как у всех других.

— Но вы же знаете, что на Юге, если белый находится в комнате ожидания для цветных, он нарушает местный закон, так же как и черный — находясь в комнате для белых. Уж не хотите ли вы, чтобы приличных белых людей забирали в тюрьму только ради доказательства их любви к вам?

— А ведь меня бы забрали, если б я вошел в комнату для белых, так почему бы не забрать их за то, что они входят в мою? Друзьям как-то не пристало быть врозь.

— А что это даст нам, если наших белых друзей будут сажать в тюрьму?

— Это покажет им, как глупо развешивать по всему Югу надписи «для белых» и «для черных».

— Либерально настроенные белые уже признали, что это глупо,— сказал я.

— Они еще больше уверятся в этом, когда испытают все на себе,— продолжал Симпл.— Если белых несколько раз упрячут в тюрьму, эти их надписи живо полетят! Белые не будут мириться с тем, что им не нравится. Пусть только белому помешают войти в ресторан, когда он голоден! Да он перевернет там все вверх дном. А если я захочу войти, белый поможет прогнать меня. Белые, так сказать, в теории знают, что такое предрассудки, а я хочу, чтобы они почувствовали это на своей собственной шкуре. Потому я и говорю: когда эти милые белые господа с Севера зимой отправляются во Флориду, пусть едут в вагонах для

цветных. Когда они прибудут туда, пусть остановятся в одной из открытых ими гостиниц для черных, где у них не будет мальчиков на побегушках, всегда готовых к услугам, не будет коридорных для чистки одежды и обуви, не будет завтрака, поданного в номер на столике-тележке, а лифт окажется в неисправности, если он там вообще имеется. Пусть поживут, как цветные, хотя бы *один* сезон. Держу пари, это испортит их мягкий характер. Это не придется им по душе. Они взбесятся! Если белые добры ко мне, жмут мне руку и говорят, что я им — ровня, это еще далеко не все. Я знаю, что я такой же, как они. Но мне хочется, чтобы со мной *обращались* как с равным. И тогда, бьюсь об заклад, жизнь изменится! Но если белые не испытают на себе, что значат для негров все запреты Джима Кроу, они никогда не покончат с ними. Они по-настоящему даже не знают, что причинил нам Джим Кроу. Их долг — узнать это, а чувство долга — вовсе не сочувствие свысока.

— Полет вашей фантазии весьма занимателен,— сказал я,— только ничего этого не случится. Хорошие люди уж не *настолько* хороши. По правде говоря, будь я белый и люби я негров всей душой, все же сомневаюсь, что я согласился бы жить в условиях, созданных для негров, лишь для того, чтобы уверить их в своей любви.

— И я бы не согласился,— сказал Симпл.

— Значит, и вы были бы не таким уж хорошим.

— Да,— сказал Симпл,— но зато я был бы белым.

КОСТОЧКИ, БОМБЫ, КУРИНЫЕ ГОРЛЫШКИ

— С тех пор как я женат,— сказал Симпл,— Джойс впервые не разговаривала со мной целый день.

— А вы у нее выясняли почему? — спросил я.

— Пытался,— сказал Симпл,— но она не отвечала.

— Что же случилось?

— Она покушается на мои привычки.

— Как это так — покушается на ваши привычки?

— Ну, на то, что я люблю, к чему привык.

— Объясните же мне подробнее в чем дело,— попросил я,— раз вы хотите со мной поделиться.

— Дело было так,— начал Симпл.— После обеда я устроился на окне, чтобы поглодать косточку от свиной отбивной и поглядеть на Гарлем. Только я добрался до самой вкусной части, как Джойс говорит:

— Джесс Б., почему ты с косточкой встал из-за стола?

— Чтобы поглодать ее, детка,— говорю я.

— Да, но не на окне же, которое выходит на улицу,— говорит Джойс.

— Это мое окно,— говорю я.

— Оно также и мое,— говорит Джойс,— и я вовсе не хочу, чтобы здесь, на глазах у всех, глодали кости.

— Даже на своем собственном окне?

— Тем более, на *нашем* собственном окне,— говорит Джойс.— Так делают только на Юге — высовываются из окна с косточкой в руке. Ты мой муж, и я не желаю, чтобы любой прохожий видел, как ты обглядываешь кость. Ешь за столом и кончай до того, как встаешь. И, пожалуйста, не подходи с косточкой к окну.

— Ну что ты, Джойс,— говорю я.

— При чем тут Джойс,— говорит она.— Ты ведь никогда не видел, чтобы я высовывалась из окна с косточкой в руке.

— Ты же леди,— говорю я.

— А ты, надеюсь, джентльмен,— говорит Джойс.

— Люди едят горячие сосиски на виду у всех на стадионе «Янки»,— говорю я,— и открыто грызут кукурузу в Кони Айлэнд. Так почему же я не могу поглодать кость в своем собственном доме?

— В своем доме можешь,— говорит Джойс.— Но, Джесс Б., послушай меня: не грызи ты, пожалуйста, кость у самого окна! Прошу тебя!

И уж когда я увидел, что она рассердилась не на шутку, я спросил ее:

— Но почему?

И знаете, что мне ответила Джойс?

— Потому что Эмили Пост* утверждает, что этого делать нельзя.

— Детка,— говорю я,— Эмили Пост была белая и, вероятно, богатая женщина. У нее было сколько угодно времени, чтобы обгладывать косточки за столом. А я ведь работаю. И когда я прихожу домой, мне хочется, пока не стемнело, поглядеть в окно, посмотреть, что творится на улице. С тех пор как я женат, я редко выбираюсь из дому. Так уж позволь мне, моя радость, по крайней мере, посмотреть в окно.

— Смотри сколько угодно,— говорит Джойс,— но не с костью в руке. Это ужасно неприлично.

— Неприлично, черт побери! — говорю я и усаживаюсь у окна.— Попробуй только забрать у меня эту самую косточку.

— Мне хочется, чтобы негры выучились правилам поведения,— сказала Джойс.— А обгладывать кость, да еще на виду у всех, это не по правилам.

Я не ответил. И представьте себе, Джойс разрыдалась. Знаете, Джойс беременна. Говорят, когда женщина в положении, она иногда ведет себя диковато, вроде Джойс. Неужели Джойс не все равно, грызу я косточку, сидя у окна или нет? А во двор у нас окна не выходят. Не понимаю, почему нельзя обгладывать косточку и заодно смотреть в окно. Ведь никто же не смотрит нарочно наверх, чтобы узнать, чем я занимаюсь. Да и всем на свете наплевать, грызу я кость у своего окна или нет,— всем, кроме Джойс.

— Вас должно радовать, что кому-то не безразлично, когда вы совершаете faux pas,— сказал я.

— Что такое я совершаю? — спросил Симпл.

— Faux pas,— сказал я.— Это действительно неприлично — сидеть у окна и грызть кость.

— Что это, преступление? — спросил Симпл.

— Не преступление,— сказал я,— но faux pas.

— Для Джойс, по-моему, просто ужасно не разговаривать со мной целый день. Напишите мне это слово, чтобы я мог сказать ей, что никогда больше не буду так поступать.

— Faux pas — это французское выражение.

— Теперь я знаю, как по-французски «глодать кость». Кроме косточки,— сказал Симпл,— есть еще одна вещь, созданная всевышним и ниспосланная на землю; она почти так же хороша, как косточка у отбивной,— это куриное горлышко. Я вот потому так редко и бываю в ресторане, что там далеко не всегда получишь куриное горлышко. А если уж подадут, то есть его там неудобно, говорит Джойс, потому что такого рода косточки нужно обсасывать. Ну, скажите на милость, почему неудобно сосать куриное горлышко в ресторане?

— Обычно это делается с шумом, а шуметь в общественном месте — это дурной тон.

— Хорошие манеры иногда ужасно неудобны,— заявил Симпл.

---

* Автор книги «Этикет».

— Вам, может быть, и безразличен весь этот хороший тон,— сказал я,— а вашей жене — нет. Конечно, такой женой, как Джойс, нужно гордиться. Она старается поддерживать репутацию негров Гарлема. Говорят, одна из причин, по которой белые не хотят жить по соседству с неграми, заключается в том, что мы не придерживаемся хорошего тона в обществе. А в избранном обществе как раз и не принято обгладывать кость, усевшись на окне.

— Но кто же принадлежит к избранному обществу? — спросил Симпл.— Во всяком случае не я, да и не желаю я к нему принадлежать. Белые, может, и не обгладывают косточки, сидя на окне, зато они творят другие страшные дела. Здесь чуть не каждый день дети убивают своих матерей. Никогда не читал я на Юге так много о том, что дети отправляют родителей на тот свет. А здесь об этом сейчас пишут не переставая. Но вы редко прочтете, что нечто подобное позволил себе цветной ребенок. Белые, к тому же, притесняют цветных. И это, я думаю, тоже никак не относится к хорошим манерам. Уж лучше бы они обгладывали косточки, вместо того чтобы ущемлять нас. Белые взрывают атомные бомбы и сжигают людей. Мне кажется, что лучше обгладывать кость, чем приносить вред здоровью всех без исключения жителей Маршальских островов. Помните, в кино показывали: после проведенных на этих островах испытаний атомной бомбы у тамошних жителей никогда больше не будут расти волосы на голове, а пострадавшие от взрыва японские рыбаки никогда больше не смогут иметь детей. Мне кажется, уж лучше бы эти белые обгладывали косточки, усевшись на своих окнах, даже если бы они при этом и нарушали хороший тон. Обгладывать кость, на мой взгляд, лучше, чем сбрасывать бомбы. Атомная бомба нарушает хороший тон во всем мире. Когда я грызу кость или обсасываю куриное горлышко, я, по крайней мере, не приношу вреда ни одной человеческой душе.

— Вы обижаете свою жену, поскольку ей это неприятно,— сказал я. — Так что даже ради Джойс, если не ради самого себя, вы могли бы высасывать куриное горлышко или обгладывать свиную косточку не на виду у всех. Ведь уважение к окружающим начинается дома, и этим, возможно, в известной степени объясняется также поведение белых американцев. Они так привыкли дурно обращаться с неграми у себя дома, что им трудно считаться с тем, что думают цветные народы в странах Азии. А если вы продолжаете обгладывать кость, не считаясь с мнением Джойс, то через некоторое время вам станет уже безразлично, что думают об этом другие. От вашего эгоизма по отношению к жене до невнимания ко всем и вся — один шаг. Уважение к людям зарождается у человека прежде всего там, где он находится,— дома. Между косточками и бомбами есть в данном случае что-то общее, мой друг. И конечно, хорошие манеры лучше, чем куриные горлышки или косточки от свиных отбивных.

— Откуда у вас такие неверные представления о таких вкусных вещах? — спросил Симпл.

ПОМИРАТЬ, ТАК С МУЗЫКОЙ

— Интересно, почему это женщины на похоронах никогда не несут гроб? — спросил мой друг.

— Женщины не несут гроб?

— Да,— сказал Симпл,— я никогда не видел, чтобы женщина на похоронах несла гроб. В наше время женщины занимаются чем угодно, начиная с того, что водят самолеты и такси, и кончая тем, что

выступают как тореадоры. С таким же успехом они могли бы и гроб нести.

— Возможно, это объясняется тем, что женщины более чувствительны, чем мужчины,— ответил я.— Горе в состоянии надломить их — и они уронят покойника.

— Надрываться, вопить, падать в обморок и кидаться наземь, как это было принято в старое время на похоронах, уже не модно,— сказал Симпл,— по крайней мере в Гарлеме, где владельцы лучших похоронных бюро имеют теперь в штате медицинскую сестру. Если вы на похоронах упадете в обморок, она сунет вам под нос такую порцию нюхательной соли, что вы расчихаетесь и сразу придете в себя. И уж лучше вам действительно прийти в себя, не то ваши волосы встанут дыбом от нашатырного спирта чудовищной крепости. Говорят, служащие похоронных бюро тоже перешли на почасовую оплату. Это народ очень занятой, дорожат каждой минутой, так что обычно они никак не могут затягивать похороны и тратить попусту время на какие-то там обмороки. Да и современные образованные священники не любят, чтобы их проповеди прерывались воплями и криками. Нынешние священники — это все доктора богословия и тому подобное, они тоже слишком культурны, чтобы терпеть плач и вопли. Помню, однажды в Виргинии попал я на похороны, так там все плакальщики произносили проповеди, говорили и вопили громче, чем сам проповедник. А вдова все время спрашивала у покойника, как он посмел ее покинуть. «Зачем ты покинул меня, Томас? — кричала она.— Зачем?» Эта женщина отлично помнила, что муж ее обычно мертвецки напивался, она не раз выгоняла его из дому и дважды бросала. А теперь она плакала оттого, что он раз и навсегда освободил ее от тяжкого бремени своего присутствия. Она и родственники подняли такой шум, что священника, который в своей проповеди отправлял усопшего в рай вместо ада, почти не было слышно.

— Печаль выражают по-разному,— сказал я.— В некоторых провинциях Индии, например, вдова бросается в пылающий костер, на котором сжигают труп ее мужа.

— Такие вдовы, должно быть, просто глупы,— заметил Симпл.

— Есть страны, где вдовы носят траур по мужу до конца своих дней.

— Экономят на чистке платья, — сказал Симпл. — На черном грязи не видать.

— В Ирландии накануне похорон устраиваются богатые поминки, пьют и едят всю ночь напролет.

— Вот бы попасть в Ирландию! — воскликнул Симпл.— Уж я бы помог им осушить бутылочку.

— А на Гаити во время поминок играют в карты.

— О нет,— сказал Симпл,— никаких карт! Вот уж не согласен проигрывать деньги в карты даже лучшему другу. Я бы ни на чьих поминках не играл в карты.

— В некоторых азиатских странах мертвецов хоронят стоя, вверх головой.

— Хорошо еще, что не вниз головой, и хорошо, что не подвергают кремации,— подхватил Симпл,— а то еще, чего доброго, сожгут до того, как попадешь в ад.

— Кремация более целесообразна, мне думается. К тому же пепел занимает мало места. Представьте себе только, какую огромную площадь занимают сейчас кладбища. А прах усопшего, помещенный в урну, можно хранить на каминной доске.

— Где, где? На какой каминной доске? — закричал Симпл.— Нет уж, у меня на камине никогда не будет никаких покойников. О нет!

Когда человек умирает и уходит из мира сего, он должен быть там, где ему положено,— в земле.

— Все дело в обычаях,— сказал я.— В иных странах покойников и вовсе не предают земле. У некоторых отсталых племен мертвеца относят на вершину горы и там оставляют. Живущие у моря опускают покойника в воду. Все зависит от обычаев

— Ну, меня пока еще не хоронили,— сказал Симпл,— но когда настанет мой час и меня похоронят, я хочу, чтобы это сделали вполне достойно: не надо меня бросать в воду, оставлять на горе или сжигать. Я хочу, чтобы надо мной плакали, рыдали и обливались слезами, чтобы весь мир узнал, что я жил на земле и покинул ее,— помирать, так с музыкой. Я не хочу тихих похорон, как у белых. Хочу, чтобы люди, даже сидя дома, слышали, что меня хоронят. Если же этого не сделают, я сам готов встать из гроба, завопить и зарыдать. Я требую, чтобы все волновались, когда я стану покидать этот мир. Я хочу, чтобы те, кто получит мою страховую премию, орали, выли, стенали и вопили, а если они не сделают этого, я, хоть и мертвый, обязательно вернусь и вычеркну их из своего завещания. Неграм так мало дано на этой земле, пусть уж у нас, по крайней мере, будут хорошие похороны.

Перевод с английского Л. Дабужской

«ЗЕМЛЯ» *Рис. Ю. Бажанова*

Титус Попович

Земля

РОМАН

Перевод с румынского А. Лубо и М. Олсуфьева

ГЛАВА V!

1

Выборы комиссии для раздачи земельных участков предполагалось начать в восемь часов утра, но уже с шести во дворе школы было полно народу. Ребятишки, радуясь, что занятий не будет, шумели, толкались и бегали, путаясь у всех под ногами. Взрослые не обращали на детей внимания, они стремились попасть в класс и услышать, что говорит Теодореску. Но даже в коридор всем желающим невозможно было проникнуть. На крыльце мужчины и женщины, цепляясь друг за друга, пытались уловить, что говорится в классе. Арделяну вывесил над входом большую доску, на которой было написано красными буквами: *«Да здравствует демократическое правительство, раздающее землю крестьянам!»* И каждый, подходя к школе, читал этот плакат и обязательно повторял вслух:

— Да здравствует!

Шум иногда стихал, и тогда становился слышен голос Джордже, хотя слов разобрать было невозможно.

— Что он говорит? — спрашивали люди.— Вы там, передние! О чем говорят?

Иногда кто-нибудь из тех, кому посчастливилось протиснуться вперед, складывал руки рупором:

— Землю, говорит, дают!

— Ско-о-олько?

— Кому-у-у?

— Да замолчите вы, а то и нам не слышно!

Из дверей кухни вышла Эмилия в нарядном голубом платье с белым воротничком. В ту же минуту ее окружили женщины.

— Спаси бог господина Теодореску! Святой человек...

— Посчастливилось селу с таким директором! Дай ему господь здоровья, и деткам, и вам, госпожа.

Эмилия была тронута и счастлива за Джордже. Ей хотелось видеть мужа, слышать, что он говорит, следить за выражением его лица и, поймав его взгляд, одобрительно улыбнуться.

Неожиданно в классе послышался шум, раздались крики, топот.

— Что случилось? Что такое? — заволновались на крыльце.

— Выбрали председателя комиссии... Митру Моц!

— Да здравствует Митру! — раздалось несколько голосов.— Дельный человек, горячий!

— Тише! Митру Моц держит речь!

Окончание. Начало см. в № 11.

— Смотри, Митру, не запнись, неученый ведь!

Отчетливо прозвенел неестественно высокий голос Митру:

— С божьей помощью, все фронтовики и вдовы героев получат землю...

В другом конце двора на ступеньках лестницы, которая вела на чердак сарая, сидела Кэтица Цурику, окруженная плотным кольцом крестьян. Ее очень уважали за то, что она умела складно выражать свои мысли, а кроме того — получала газету. Кэтица старалась говорить как можно громче и то и дело вытирала широкое лицо углом косынки:

— Да, люди добрые! Настало, как в стихах сказано, наше времечко! Мы хотим земли! Правительство во главе с *доктором* — слышите? — с *доктором* Петру Гроза, дает нам землю. Зря господа и богатеи ругают демократов! Демократы — коммунисты. Они стоят за румынский народ!

Словно в ответ на эту речь, в классе открылось окно и в нем показалось чье-то потное красное лицо.

— Тетя Кэтица! Кэтица Цурику! Тебя в комиссию выбрали!

Кэтица кубарем скатилась с лестницы, растолкала народ и бросилась к воротам.

— Да куда же ты?

— Одеваться! Разве не слышали?

— Ежели такое дело,— рассуждали стоявшие вдоль стен бедняки,— то на той неделе выйдем пахать. Не годится, чтобы земля зря стояла!

— Торопишься?

— А как же?.. Бог-то меня до сих пор не больно землицей баловал...

— Да кто ж такой этот Митру Моц, что у него столько власти?

— Будь хоть сам сатана, лишь бы землю дали...

В другой группе Павел Битуша кричал с пеной у рта:

— Чего поп в наши дела суется? Пускай бы лучше за своей бородой смотрел! А? Я разве его спрашиваю, что он ночью с попадьей делает?!

— Молчи ты, Битуша! — толкнул его кто-то из стариков.— Чего разоряешься? Тебя все равно не выберут. Это ты уж знай.

— Почему так? — обиделся Павел.

— По этому самому.

В узкой калитке, споткнувшись при входе, появился Кордиш. Он всю ночь пропьянствовал с Суслэнеску, и теперь у него трещала голова.

Учитель был очень доволен, что в его доме поселился образованный человек, который рассказывал ему всякую всячину. Правда, понимал Кордиш мало — только чмокал губами и хмурился, сетуя на свое невежество. Они с Сильвией поместили Суслэнеску в своей комнате, другой у них не было.

Продираясь через толпу, Кордиш сквозь зубы отвечал на приветствия и презрительно посматривал по сторонам. Несчастные! Суслэнеску прав. Господа коммунисты готовятся к выборам и ловят крестьян на приманку. Нужно бы записать тех, кто посмеет требовать надела (Клоамбеш предупредил, что таких будет немного — он уже пустил слух: тем, кто окажется в списках, не поздоровится). Но когда учитель увидел двор, полный народу, и услышал, как со всех сторон хвалят Джордже, им овладела горькая, мучительная зависть. Что бы ни случилось потом, крестьяне никогда не забудут, как ратовал за них Теодореску.

— И ты здесь, Петре? — крикнул Кула, старший брат Кордиша, стрелочник. Он переходил от одной группы к другой и беседовал с крестьянами по поручению Арделяну. Кордиш махнул ему рукой. Потом зашел за сарай, достал из кармана помятую тетрадку и принялся записывать в нее большими, кривыми буквами фамилии тех, кто толпился впереди. Это было бессмысленно — во дворе школы собралась вся сельская беднота.

2

В комиссию, кроме Митру Моц и Кэтицы Цурику, выбрали Анатолие Трифана, прозванного Миллиону за то, что он часто произносил это слово, все исчисляя в миллионах — и население села, и рыбу в Тэузе, и литры выпитой им цуйки; Лазаря Сабэу, молодого солдата, вернувшегося с фронта без ноги; Савету Лунг — вдову, мать двоих детей, которая с той минуты, как ее выбрали, не переставая причитала по мужу, убитому в боях на излучине Дона, и еще двух пожилых крестьян.

В передней поставили длинный, сбитый из досок стол. Митру важно уселся на председательское место, вставил в ручку новое перо, посмотрел на чернильницу — хватит ли в ней чернил, засучил рукава и неуверенно выкрикнул первое значившееся в списках имя:

— Аврам, Аврам!

— Здесь! — оглушительно гаркнул названный крестьянин и двинулся к столу, расчищая дорогу и проталкивая впереди себя жену и троих детей.— Здесь я, Митру, милый человек, здесь.

— Сколько у тебя земли? — спросил Митру дрогнувшим голосом.

— Полтора югэра, да и те заложены в Земельном банке.

— Банку теперь каюк! — рассердился Митру.— Банки-то тоже скоро у господ отберут.

— Дай бог! — не очень убежденно произнес Аврам.

— Распишись,— требовательно сказал Митру.

Аврам долго вытирал руку, потом медленно расписался, тщательно выводя каждую букву, пока на него не прикрикнули сзади:

— Готово? Ты тут не один!

— Мэриуца Аврам! — крикнул Митру.

— Неграмотная! — быстро откликнулась женщина.

— И не стыдно тебе? Два-то класса ты все-таки окончила.

— Забыла. Умею писать только «а», «м», «с»... да еще, кажется, «о».

— Земли сколько у тебя?

— На погосте у меня земля будет, когда помру. Остальную продала.

В опустевшем классе было душно, плавал табачный дым. Арделяну не вышел вместе со всеми и задержал Джордже.

— Я утром говорил по телефону с уездным комитетом партии, с товарищем Журкой. Он мне сказал, что в царанистской газете напечатана статья... Стойте, у меня записано...— он достал из кармана смятую бумажку.— *«Начинается самоуправство. Небольшое предупреждение. В селе Лунка любимый и уважаемый крестьянами староста был изгнан из примарии коммунистом, несознательным элементом, грозившим его убить»,* и т. д. и т. д.

— Прославился наш Митру,— с улыбкой заметил Джордже.

— Товарищ Журка сказал, что нужно будет выбрать старосту, всеми уважаемого... середняка... Как насчет Гэврилэ Урсу?

— Не знаю,— сказал Джордже.— Понятия не имею. Видишь ли... Человек он безусловно честный, очень уважаемый, не знаю уж за что... Собирается проводить царанистскую политику или черт его знает какую... Если бы можно было с ним откровенно поговорить...

Арделяну почесал лоб.

— Если я поговорю — еще хуже будет. Какой я для него авторитет? Механик, коммунист.

— С Урсу побеседовать необходимо,— сказал Джордже.

Джордже пригласил Арделяну поселиться у него, но тот отказался. Он устроился в своей прежней комнате у старушки вдовы, которая прослышала, что Арделяну стал «большим человеком», и не знала, как ему

угодить. Арделяну удалось разыскать часть своих книг. Страниц не хватало, переплеты были грязные. Он принялся перечитывать эти книги, испытывая странное удовлетворение и даже умиление. По вечерам приходили крестьяне, усаживались против ворот дома, где жил Арделяну, на зеленую бровку канавы и, покуривая, беседовали с ним до поздней ночи. Арделяну любил эту окраину села с ее низенькими, покривившимися хатами. Обитали здесь бедняки — люди, не связанные с царанистами, не зараженные национализмом. Они хотели земли, и у них хватало смелости требовать ее передела.

Время шло, а запись подвигалась медленно. Хотя все слышали, что сказал утром Джордже, многие хотели получить дополнительные сведения. Одни просили, чтобы Митру точно указал на бумаге размер их будущего участка, другие (которых Кордиш успел напугать тем, что из Арада выступают войска против них) хотели выяснить, зачем от них требуют подписи, если их фамилии все равно внесены в список самим Митру... У Митру от бесконечных объяснений пересохло в горле, а по онемевшей руке бегали мурашки. Кроме того, ему хотелось есть.

Джордже подошел к столу и, нагнувшись, шепнул Митру:

— Давайте-ка сделаем на два часа перерыв. Пообедаете у нас...

— Не могу, товарищ директор,— он произносил слово «товарищ» с некоторой робостью, боясь обидеть Теодореску, но чувствовал, что называть его иначе не годится.— Меня Флорица заждалась... Никогда почти дома не бываю... Фэникэ скоро узнавать перестанет... Спасибо большое. В другой раз, если позовете. Спасибо...

— А я на часок выйду,— Кэтица Цурику встала с места, зевнула и расправила все свои двенадцать смявшихся юбок.

— Что же это получается? — забеспокоились те, кто стоял ближе к столу.— Больше не записываете? Что же это значит?

— Записываем! — гаркнул Митру.— Терпение. Запись продолжается.

— Ладно, Митру,— улыбаясь, сказал Теодореску.— Пообедаю и сейчас же вас сменю.

Митру снова принялся записывать фамилии подходивших к столу людей. Подняв глаза, он увидел своего Фэникэ, который стоял, облокотившись на стол, и не смел побеспокоить отца. Флорица вымыла сына, надела на него чистую рубаху. Мальчик был так худ, что казался прозрачным.

— Ты зачем сюда?

— Меня мамуня послала позвать тебя обедать.

Сердце Митру сжалось от любви и нежности к сыну. Но вместо ласкового слова, которое хотелось сказать, он спросил:

— А мать разве не знает, что мне некогда?

— Наверное, не знает...

Крестьяне, желавшие поскорее записаться, переглянулись.

— Слушай, поздно ведь...— сказал один из них не очень уверенно.

— Ты меня не учи. Ступай, Фэникэ, скажи матери, что приду немного погодя.

— Иду, отец. Только мамуня сегодня утку зажарила, ты, может, не знаешь! — сказал Фэникэ как можно громче.

Митру хотелось плакать. Ему казалось, что он не удержится — заголосит и осрамится при всем народе. Но он овладел собой и проворчал, не глядя мальчику в лицо:

— Что же это она утку зарезала? Нынче не воскресенье...

— Мамуня сказала, что ты, должно быть, устал. Она на тебя смотреть приходила, видела, как ты пишешь.

— Ступай домой,— сказал Митру тихим от волнения голосом.— Я часу в пятом или шестом буду. Утка и холодная хороша. Барбурэ Петре!

— Который? Кроампа или Шкэтула?

— Все равно...

Внезапно председатель побледнел и положил ручку на стол, чтобы не выронить ее. Он увидел Флорицу, которая держала в одной руке покрытую чистым полотенцем кастрюлю, а в другой — буханку свежего белого хлеба. Митру медленно, не произнося ни слова, встал.

— Что же это ты? — сердито крикнула Флорица.— Я утку зарезала, а ты обедать не идешь? А вы что? Боитесь, не запишут вас, если человек какой-нибудь час отдохнет? Ну-ка, Митру, бросай работу, садись есть.

Она поставила кастрюлю прямо на списки и подняла крышку.

— Мы с Фэникэ пообедали, не ждать же тебя! — громко сказала Флорица.

Митру почувствовал такую слабость, что вынужден был опуститься на стул. Губы, подбородок и руки у него дрожали.

— Садись ешь! — сказала одна из женщин.— Ишь, у тебя слюни текут! Ведь с утра пишешь.

Митру схватил кастрюлю обеими руками и пошел в класс.

Первый приступ голода был утолен. Митру не торопясь откусывал куски мяса с подрумянившейся хрустящей кожицей. Слезы ручьями текли по его щекам. «Дурак я,— думал он,— болван. Голова у меня никудышная».

Кто-то пытался войти, стучался в запертую дверь.

— Я это, Митру, я, Флорица... Директорша тебе вина посылает. Велела выпить.

Митру насухо вытер щеки и глаза подолом рубахи, запихнул в рот большой кусок утки и пошел открывать. Флорица проскользнула в класс, неся в руках графин с вином.

— Не сердись на меня, Митру,— прошептала она.— Не ругай... Нельзя было перед селом срамиться, раз ты теперь в чести... Я свое черное платье продала... вороной в нем была... вроде прислуги...

Митру вздрогнул и так сильно стиснул зубы, что услышал, как они лязгнули, но ответил спокойно и даже весело:

— Правильно! Правильно... Другое тебе куплю...

3

Гэврилэ проснулся, как всегда, часам к шести утра. Он был в поту, ему казалось, что у него переломаны все кости. Жена давно уже возилась в кухне, сыновья работали. Слышалось кудахтанье кур, сердитое кукареканье молодого петуха, тихое похрапывание лошадей у колодца, скрип воза на улице. Гэврилэ лежал с закрытыми глазами и отчетливо ощущал, как каждый удар сердца отдавался в кончиках пальцев. Он решил сегодня понежиться в свое удовольствие, и мысль эта рассеяла тревогу и заставила улыбнуться. Минут через пятнадцать прибежала испуганная старуха посмотреть, что с мужем, и, найдя Гэврилэ спящим, принялась трясти его за плечи:

— Ты не встаешь, Гэврилэ?

— Нет, не встаю. У меня сердце болит. Ступай,— сказал старик и повернулся лицом к стене.

Напуганная, она вышла во двор, где яркое солнце ослепило ее, и, позвав Иосифа, старшего сына, мужчину тридцати двух лет, тучного, плешивого и рассудительного, сказала ему, что старику плохо. Еще трое

сыновей — Давид, Иона и Адам — держали у корыта разъяренного быка. Услышав про болезнь отца, они испуганно переглянулись. Бык вырвался, поддел рогами корыто, окатил людей с головы до ног, отбежал в сторону и принялся трясти большой головой, пытаясь освободиться от кольца в ноздрях.

— Держите его! — крикнул Иосиф.— А то он бед наделает! Поймайте, пока в сад не забежал!

Но бык не собирался расставаться с волей. Разбежавшись, он опрокинул плетеные корзины с кукурузой, потом медленно, то и дело озираясь на своих преследователей, подошел к дому, где жил Иосиф, и заглянул внутрь. А когда подоспевший Иона хотел схватить веревку, волочившуюся по земле, бык заревел, ударил землю копытом и бросился на него.

— Беги! Берегись! — испуганно вскрикнули братья.

Давид кинулся со всех ног к хлеву, преграждая быку доступ к коровам.

— Ловите же его! — кричал с крыльца Иосиф.— Только тише, а то отца разбудите!

Бык помчался к сараю и с такой силой ударил лбом по столбу, что ветхое строение пошатнулось. Из сена показалась черномазая, небритая, заспанная физиономия Эзекиила. Он накануне вдребезги напился и собрался было идти ночевать к одной веселой вдове, но его опередили. Он ступил на верхнюю перекладину лестницы. Со своими достающими почти до колен руками и выдающимся вперед заросшим подбородком он был так страшен, что у матери, которая увидела его с крыльца, мучительно сжалось сердце. Ей захотелось заткнуть уши, когда он принялся непристойно ругать и быка и братьев.

— Знаете, что вы такое? — кричал он охрипшим, пропитым голосом.— Дерьмо вы, вот что!

— Лови его сам! — огрызнулся Иосиф.

Он не хотел связываться с Эзекиилом.

— И поймаю! Неужто же я его, разбойника рыжего, не словлю?

Бык стоял у сеновала как вкопанный, грозно напрягшись и опустив голову. В ту секунду, когда Эзекиил сошел с последней ступеньки, бык ринулся на него, но парень успел схватить конец веревки и отскочить в сторону. Эзекиил изо всех сил тянул за веревку; рев быка постепенно стихал, но Эзекиил безжалостно продолжал тянуть, пока из разорванных ноздрей не брызнула кровь.

— Рехнулся ты, что ли, Эзекиил? — крикнула мать.— Чего мучаешь скотину? Перестань, слышишь?

— Я его проучу! — засмеялся парень.

Он отвел быка, теперь покорного, в стойло, привязал к кормушке и принялся чистить скребницей, насмешливо приговаривая:

— Меня ты, слюнтяй, одолеть собирался? Да куда тебе, рыжему, со мной тягаться?

Но Эзекиилу скоро надоело работать, и он направился в сад и расположился там на солнышке.

— А мне корма не полагается? — неожиданно накинулся он на мать.

— Сейчас, сыночек, сейчас...

Она сбежала с крыльца и уж протянула было руку, чтобы приласкать Эзекиила, да не посмела.

— Отцу плохо,— прошептала старуха, которой хотелось, чтобы сын проявил участие к отцу, но Эзекиил только холодно усмехнулся.

— Что с ним?

— Лежит...

Эзекиил скрутил цигарку и, не найдя спичек, послал за ними восьми-

летнего Лазаря, младшего из братьев. Мальчик быстро сбегал и, робея, подал ему коробок.

— А ты почему не в школе? Или тебе тоже плохо?

— Нас сегодня отпустили. В школе собрание.

— По какому случаю?

— Землю раздают.

Эзекиил не расслышал, взбешенный тем, что его самокрутка не курилась.

— Лазарь,— сказал он хмурясь.— Хочешь, я тебе что-нибудь из дерева вырежу?

— Вырежи,— неуверенно проговорил мальчик.

— А что вырезать-то?

— Что хочешь...

— Говори!— рассвирепел Эзекиил.— Ну же, говори! Любую штуку! Ты...

— Ружье...

— Надоест оно тебе, как и мне надоело. Другое что-нибудь.

— Карету...

— Ладно.

Эзекиил достал из кармана большой перочинный нож, оправленный в олений рог, пошел в коровник и, вернувшись с куском дерева, принялся за работу.

— Достань мне цуйки,— вдруг крикнул он матери.— Не для чужих же только у вас бутылки припасены...

— Грех, сыночек... Знаешь, что сейчас...

— Что грех? Глупости все это! Подумаешь, святоши какие!

— Дай я принесу! — вызвался Лазарь.— Я знаю, где цуйка стоит...

Мать дернула сынишку за руку.

— Сиди смирно, я сама...

Она принесла полную бутылку. Эзекиил, глотнув раз, потом еще раз, поставил бутылку возле себя. С улицы послышался звонкий, как серебряный колокольчик, смех Марии, возвращавшейся с водой от колодца.

— А ты что тут делаешь? — спросила она брата. И стала рассказывать про собрание в школе, где делили баронскую землю. Мария не заметила, как вздрогнул Эзекиил. Он отложил в сторону дощечку и нож, откупорил бутылку и отпил большой глоток. Увидев водку, Мария внезапно побледнела и закрыла рот обеими руками. Мать, наблюдавшая за дочерью, подошла к ней, окинула внимательным взглядом, сухо спросила:

— Что с тобой?

— Ничего... воняет... с тех пор, как цуйка эта... у нас...

— Брату опохмелиться захотелось.

— Значит, раздают-таки землю? Что же говорил отец, будто не дают, нельзя будто? — скороговоркой выпалил Эзекиил и шагнул к сестре.— Не слышишь, о чем тебя спрашивают?

— Почем я знаю? — отмахнулась Мария, но, сообразив, что беспечная беседа поможет ей обмануть настороженную подозрительность матери, преодолела тошноту и принялась рассказывать о комиссии, о Митру Моц Но смеяться она больше не могла и, заметив, что Эзекиил снова подносит бутылку ко рту, выхватила ее из рук брата. Он не только не рассердился, но, казалось, даже не заметил этого. Эзекиил над чем-то мучительно размышлял, узкий лоб сморщился, словно убежал наверх, под жесткий бобрик волос.

— Братец,— вздохнул Лазарь,— ты мне обещал вырезать карету...

— Проваливай отсюда! Отстань! Когда я был твоих лет, кто мне игрушки делал? Братья? Черта с два! Что собака, что я — для них все

одно было. С какой стати я для тебя стараться буду? Ничего я тебе не вырежу. Сам вырезай! Возьми этот ножик себе. Он будет теперь твой.

Мальчик опешил, не веря своим ушам, потянулся к ножу дрожащими пальцами, но взять не посмел. Быстро, как крылышки, замигали веки.

— Мне даришь? А сам по воскресеньям, на хоре, чем драться будешь?

— Тем самым!..— невозмутимо произнес Эзекиил срамное слово.— Пошел! Чтоб я тебя не видел!

Сунув в карман подарок, Лазарь побежал было прочь, потом вдруг остановился, вернулся к брату, припав плечом к длинной руке Эзекиила, прошептал:

— Спасибо тебе большое-пребольшое.

— Ступай, Лазарь, не серди старшего брата! — строго сказала мать, но Эзекиил, не глядя на ребенка, спокойно ответил:

— Ничего... Только играй с ножом осторожно, не то обрежешься. И не потеряй!

Мать принесла Эзекиилу копченое сало, лук, белый хлеб и четыре крутых яйца, но, не дотронувшись до еды, он заложил руки за спину и принялся расхаживать по двору. Старуха с Марией пристально следили за ним. Наконец Мария не выдержала:

— Что с тобой?

Эзекиил молча посмотрел на сестру, потом вдруг в два прыжка взбежал по лестнице в дом и, стараясь произвести как можно больше шума, распахнул дверь в комнату к старику. Гэврилэ тихо похрапывал. Эзекиил постоял, прижавшись коленями к краю кровати, потом резко тряхнул отца за плечо и вплотную придвинулся лицом к его лицу. Гэврилэ, открыв глаза, вздрогнул от испуга.

— Что такое?.. Что с тобой, Эзекиил?.. Что тебе надо?.. Чего спать не даешь?

— Поговорить хочу,— с решительным видом заявил парень.

Гэврилэ заерзал на кровати, не зная, как отнестись к словам сына, потом протер глаза и понюхал воздух.

— Ты пьян,— сказал он тихо.

— Выпил утром цуйки,— смиренно признался Эзекиил.— Крепкая, чертова водка!

— Знаю. И не желаю, чтобы сыновья в моем доме пили. Или в другом месте. Не нравится мне это.

Эзекиил с силой стиснул спинку стула, потом вздохнул, придвинул стул к кровати и сел.

— Я, батюшка, вот о чем. Мне нужна моя часть земли, и усадебный участок в Бужаке нужен, и деньги, которые мои.

Гэврилэ с нарочитой медлительностью приподнялся, поправил подушки, перину на ногах и спросил, глядя мимо Эзекиила в угол комнаты:

— Какая земля? Какой усадебный участок? Какие деньги? — Потом задумчиво покачал головой.— Я о них не знаю...

Если бы Эзекиил внимательнее вгляделся в отца, он заметил бы глубокую морщину, пролегшую между его бровями, и легкую дрожь в руках, которые Гэврилэ поспешил спрятать под перину.

— Не издевайся надо мной, батюшка,— глухо проговорил Эзекиил.

— Ни над кем я не издеваюсь и не издевался, сын мой, с тех пор, как на свете живу.

— Мне нужна моя часть! — громче повторил Эзекиил.

Ему не хотелось ссориться со стариком, но он чувствовал, что теряет самообладание.

— Пока я жив, никакой тебе части не будет. Хочешь свою часть — бери топор и руби мне голову!

Голубые, ясные глаза старика холодно блеснули.

— Почему? — прошептал Эзекиил.— Почему?

— Так я желаю...— размеренно произнес Гэврилэ, но тут же крикнул: — Нет! Слушай! Я тебе говорю! Пока я жив, Эзекиил, мы будем как сейчас: вместе. Вместе мы — сила, понимаешь, безмозглый парень? У нас тут свои порядки. Мы здесь командуем, никто сюда носа сунуть не смеет!.. Ты не видишь, что кругом делается? Такие времена настали, что куколь себя пшеницей именует и хочет собой людей кормить...

— Ты мне проповедей, батюшка, не читай.

Эзекиил с ненавистью смотрел на отца, который, наоборот, казался совершенно спокойным.

— Ладно,— сказал старик,— не буду. Коммунисты везде стараются внести раздор, сына против отца восстанавливают, мать против сына. Родных между собой ссорят. Пока меня многомилостивый и долготерпеливый господь хранит, в доме у меня никакой розни не будет. Понял?

Он покраснел, на лбу вздулись синие жилы. Эзекиил молчал.

— Ты бесстыдник! Сам по худой дороге пошел, а теперь братьев мутишь, против меня поднимаешь?

— Батюшка, имение Паппа делят...

— Неправда!

— Дойди до школы, увидишь! — заорал, вскакивая, Эзекиил.— Своими глазами посмотри, если мне не веришь! Чего еще? — рявкнул он так, что задрожали стекла.— Имение делят. Люди землю получают. Я один тебе батрачить должен? Не хочу больше, довольно...

— Тогда отправляйся на все четыре стороны! — пожал плечами Гэврилэ.

— Куда я пойду? — взвизгнул Эзекиил.— Куда? У меня есть воскресный пиджак и больше ничего, а отец — первый богатей в Лунке!

— Марку Сими богаче,— заметил Гэврилэ, поднимая палец.

Снаружи послышались шаги, шепот. Дверь открылась, и вошли Давид, Иосиф, Адам и мать. Увидев, что между отцом и Эзекиилом идет серьезный разговор, они задержались у порога. Их появление привело Эзекиила в ярость. Вне себя он схватил стул, поднял к потолку и, ударив об пол, разбил в щепки.

— Тебя бог накажет, отец! Имя его все время поминаешь, а сам хуже сатаны! Я свою землю хочу! Слышишь? Хочу человеком стать! Я тебе не слюнтяй, вроде этих дураков,— он показал на братьев.— Не видишь? Не видишь, что я урод, что никто смотреть на меня не хочет? Какая девка за меня пойдет, чтобы жить у вас в батрачках? А? Отдай мне мою часть и еще сверх того, потому что я на тебя в десять раз против этих лентяев наработал!

В углах толстых синеватых губ Эзекиила показалась пена, глаза налились кровью, широкая грудь порывисто вздымалась.

— Кто за меня пойдет? Не видите, каким вы меня красавцем на свет произвели? Не видите? Только, может, на имущество, на *мое* имущество какая-нибудь беднячка польстится... может быть. Ты мне мое отдай...

Он умолк задыхаясь. Гэврилэ сидел с поникшей головой, у него порывисто поднимались и опускались плечи. Он поднял странно спокойное, словно только что вымытое лицо.

— Не могу! — сказал он медленно.— Не могу, о тебе-то я, сынок, и забочусь.

— Не можешь? — дико вскрикнул Эзекиил, не двигаясь с места.— Не можешь? Почему? Не хочешь! Тебе нравится, чтобы сыновья у тебя из милости жили, как собаки... А ты чтобы командовал, издевался бы. Ты святой? Ты по-божьему живешь? Знаешь, ты кто? Пес ты, вот кто!

Гэврилэ медленно встал с постели, откашлялся, протянул руку:

— Можешь убираться из моего дома. Ступай, и чтоб глаза мои тебя не видели. Я тебя больше не знаю. Ты мамона, ты... коммунист. Разрази тебя бог!

Эзекиил стал белым как мел, рванулся к отцу и плюнул ему в лицо. Братья хотели броситься на Эзекиила, но он, легко растолкав их плечами, выбежал из дома, пересек залитый солнцем двор, хлопнул калиткой и, словно за то, что она стукнула недостаточно громко, ударил ее ногой, расколов сверху донизу.

В комнате после ухода Эзекиила водворилось тягостное молчание. Никто не смел вздохнуть, Гэврилэ так и не стер плевка, а мать даже не решилась заплакать. Мария снова почувствовала тошноту, выбежала на крыльцо и беспомощно ухватилась за столб.

— Пошли прочь! — тихо проговорил Гэврилэ.— Ты, Давид, ступай в лес коней пасти. Ты, старуха, подай мне таз помыться, сапоги, черный пиджак. Где Мария?

— Ох, боже мой, ох! — запричитала мать, всплеснув руками.— Ох, горе наше, горюшко!

— Принеси что сказано. И завтракать! — приказал Гэврилэ. — Ступайте!

Через полчаса одетый по-праздничному Гэврилэ подходил к школе. Со двора доносился беспорядочный гомон голосов, кто-то дурачась пел фальцетом. На каменной скамье у входа, куря и мирно беседуя, сидели крестьяне. Увидев Гэврилэ, они позвали его посидеть с ними, но старик сделал вид, что не расслышал. Кто-то проехал мимо в телеге и поздоровался с Гэврилэ, но он не ответил. Постояв некоторое время у ворот школы, Гэврилэ покачал головой, резко повернулся и направился домой.

— Старуха,— сказал он сердито,— приготовь-ка мне сала, колбасы, ветчины, свари яиц. В Арад поеду. Поезд через два часа. Пусть Давид запряжет Шоани в дрожки и отвезет меня на станцию.

4

Длинная низкая машина — голубой «понтиак» — мягко катилась под ровный гул мотора. Шофер знал свое дело и ловко объезжал колдобины. Сзади, сложив руки на животе, дремал барон Ромулус Папп де Зеринд. Хория Спинанциу украдкой и с некоторой тревогой поглядывал на него: так долго сохранять спокойствие было не в характере барона. Хория, стараясь не разбудить старика, то и дело поправлял на его ногах плед из верблюжьей шерсти, но барон, словно ему даже во сне нравилось доставлять людям беспокойство, все время раскрывался. Без пенсне его морщинистое, дряблое, желто-оливковое лицо было ничем не примечательным и жалким. «Что он собирается предпринять? Что надеется устроить? Один... Разве какой-нибудь coup de tête *... Бедный Папп!» — думал Спинанциу. Но гораздо упорнее этой внезапной и мимолетной жалости было чувство растущей тревоги. Тихо, боясь, как бы шорох не разбудил старика, он достал из кармана последний номер «Патриотула» — уездного органа коммунистической партии. Газета вела горячую кампанию за раздел имения барона Паппа, этого требовали крестьяне села Лунки. Перед Спинанциу замелькали негодующие заголовки: «Левая партия, в которой верховодят помещики», «Крестьянская партия, возглавляемая владельцем латифундии»... «Как ответить на все это? — спрашивал себя Спинанциу.— И, главное, кто будет отвечать?

* Отчаянный шаг *(франц.)*.

Руководство прячется в кусты, никто ничего не хочет подписывать. Газета «Ардялул демократ» выходит нерегулярно. «Тем лучше,— сказал барон.— Публика решит, что это результат преследований, которым подвергается в Трансильвании свободная печать...»

Настоящая же причина была в том, что Выслана арестовали, а сколоченная им случайная редакция фактически распалась.

То и дело поправляя мягкий плед барона, Спинанциу поглядывал на красный, иссеченный морщинами затылок Пику,. который сидел возле шофера, покачиваясь на мягкой кожаной подушке, и, как загипнотизированный, смотрел на руль и щит с приборами.

— Машина, надеюсь, вас не укачивает,— сказал Спинанциу, чтобы как-нибудь нарушить молчание.

Ему просто хотелось отогнать невеселые мысли.

— Что угодно? — повернулся к нему, выпучив глаза, Пику.

— Ничего...

Его появление два дня назад произвело на Паппа впечатление взорвавшейся бомбы. Пику вошел к барону сконфуженным и несколько навеселе. Он подал письмо, в котором сельские царанисты из Лунки сообщали о намерении коммунистов захватить имение. Старик долго и недоверчиво смотрел на Пику, потом заявил, что «тут, возможно, провокация». Когда же доктор Гуяшиу, находившийся тут же, заметил ему, что имение Зеринда в Лунке вполне могут экспроприировать, барон многозначительно моргнул (это в последнее время ни на кого больше не производило впечатления) и сказал: во-первых, коммунисты никогда не решатся нанести ему такой удар, а во-вторых, все это уже улажено с уездными властями, налоговым управлением и с министерством земледелия, а потому на этом фланге «положение следует считать упроченным, а планы коммунистов неосуществимыми иллюзиями». Но в тот же день в «Патриотуле» появилась передовица, в которой разоблачались все баронские махинации, указывались его сообщники. Тут же было высказано требование, чтобы все они были преданы народному суду, как саботажники, срывающие проводимую правительством земельную реформу. Произошла неблаговидная сцена: барон, который до 23 августа * умел выходить из самых трудных положений и не только блестяще устраивал свои дела, но и ободрял, призывая к спокойствию, других, начал кричать. Голос у него был пронзительно-тонкий, и поэтому казалось, что он плачет. Папп так разволновался, кому-то угрожая, что ему сделалось дурно и пришлось послать за врачом, но у старика не хватило терпения его дождаться. Он повернулся к Спинанциу, которого последнее время, по неизвестным причинам, приблизил к себе, и приказал готовиться к поездке. Они сели в машину и покатили к генералу Белеге. Генерал, который уже не был арадским префектом, командовал теперь кавалерийской дивизией, и в царанистских кругах говорилось, что он, как никто, умеет поддерживать дух во вверенных ему войсках. Дух этот проявился в ноябре, когда кавалерия атаковала, не пуская в ход оружия, коммунистическую манифестацию и офицерам удалось спасти гимназиста, тяжело ранившего из револьвера партийного активиста. Дивизия почти не видела фронта и поэтому сохранила весь свой первоначальный состав. Красавцы офицеры — почти исключительно сыновья из «хороших» семей — боготворили своего короля, который присутствовал на торжестве последнего выпуска.

Приехав к генералу на новую, только что отстроенную виллу, Папп, в сопровождении Спинанциу, вбежал в гостиную, где хозяин беседовал с двумя английскими офицерами, находившимися в Араде проездом.

* 23 августа 1944 г.— день освобождения Румынии Советской Армией.

Обеспокоенный расстроенным видом барона, Белега бросился навстречу гостю, усадил его в кресло и налил виски. Папп хотел одним глотком осушить бокал, но поперхнулся. Несколько сконфуженный генерал в самых почтительных выражениях начал рекомендовать Паппа невозмутимым англичанам, но барон, не говоривший по-английски, нетерпеливо перебил Белегу, спросив, понимают ли союзники по-французски, на что те ответили чуть заметным кивком. Барон стал рассказывать о «бессовестной коммунистической провокации», однако вскоре перешел на немецкий язык и, уже не стесняясь, принялся ругаться и колотить кулаком по столу, требуя у генерала несколько эскадронов, чтобы проучить мужиков. Наконец обратился за сочувствием к англичанам и рассказал, что у него в имении гостил какой-то важный редактор «Таймса», в честь которого он вывесил на доме британский флаг. Генерал был хорошим дипломатом и объяснил барону, что вмешательство войск чревато нежелательными последствиями как для дела, так и для самой армии, которую следует оберегать от коммунистических контрударов, тем более что в распоряжении коммунистов есть добровольческие дивизии. Англичане утвердительно кивали головой — так же, как они это делали, слушая истерические жалобы барона. Через четверть часа Папп встал, подал два пальца сначала генералу, потом англичанам и уехал. В машине он все время молчал и, лишь поднимаясь по лестнице домой, остановился, взял Спинанциу за пуговицу и произнес с горькой улыбкой:

— Эти люди, господин Спинанциу, не генералы, а... Выиграть нашу битву из-за них будет трудно. А вас я очень ценю. Пожалуйста, приходите ужинать.

Трапеза прошла печально. Пику думал только о том, как бы завести разговор с этим старым барином (председателя арадской организации царанистской партии он представлял себе совершенно иначе) об имении, о себе самом и о Гэврилэ Урсу. Но побеседовать об этом с Паппом не удалось — барон сидел далеко от него, во главе стола, к тому же, кажется, был туг на ухо. Папп ни с того ни с сего спросил Пику, сколько в Лунке царанистов.

Пику сначала не понял вопроса, а когда ему объяснили, состроил печальную физиономию.

— Село наше, господа, бедное, а бедняки, сами изволите знать, ежели, например, коммунисты обещают им землю, записываются к коммунистам. Ума-то у них мало, я там вроде как председатель, хотя есть и другой — Гэврилэ Урсу, потому что я, извините, болею чахоткой... Потом господин Кордиш, учитель, священник отец Иожа, ну и Клоамбеш — этого вы знаете...

Барон, который обычно ложился очень рано, на этот раз засиделся со своими гостями за полночь. Отпуская Спинанциу, он просил его прийти с утра, Пику велел уложить в буфетной. На следующее утро «Патриотул» снова обрушился на Паппа. Спинанциу застал барона рассеянно читающим газету. Спинанциу всю ночь размышлял и пришел к выводу, что лучше всего было бы убедить барона не упрямиться. Принципиально не признать реформу было немыслимо, а попытки ее не заметить лишь скомпрометировали бы большое число лиц и в первую очередь партию, что было особенно рискованно теперь, накануне выборов. Нелегко было изложить все это Паппу, не оскорбляя его гордости; нелегко было намекнуть ему, что настало время уступить дорогу молодежи. Разногласия между русскими и Западом, конечно, обострятся, считал Спинанциу, но не так скоро, как, по-видимому, думает барон.

— Что же вы решили? — осторожно спросил Спинанциу, когда доводы его были исчерпаны.

— Дорогой друг, собирайтесь ехать со мной в Лунку,— ответил Папп, ничего не объясняя.

Два часа машина мчалась по шоссе, потом свернула на узкую дорогу, усыпанную мелким щебнем и обсаженную молодыми тополями. Барон открыл глаза, лучезарно улыбнулся и толкнул в спину шофера, чтобы тот торопился.

Уткнувшись носом в стекло, Пику жадными глазами оглядывал прямую дорогу, деревья и поля. Поместье в его представлении было менее обширным, и потому теперь он радовался: старик не расстанется с таким богатством! Пику вдруг показалось, что он тоже сочувствует крестьянам. Почему, собственно говоря, на одного старика должно приходиться столько земли? Но мысль эту тотчас сменила другая, заставившая его криво улыбнуться: «Повезло Паппу, он не дурак!»

Наконец показался господский дом — массивное красное здание с приземистой башней, увенчанной подобием зубцов. Когда машина подкатила к воротам из кованого, заржавевшего железа, они открылись и на подножку машины, что-то пробормотав, проворно вскочил толстый рыжий человечек. Это был дворецкий Пинця.

«Понтиак» остановился перед широкой каменной желтой лестницей. Спинанциу помог старику сойти, предварительно завладев его пледом и желтым портфелем, который барон тут же у него вырвал. Папп сделал несколько шагов, негромко охая и держась за поясницу, потом окинул усадьбу взыскательным взглядом.

В эту минуту высокая дверь из мореного дуба открылась и навстречу барону поспешно вышел высокий, плечистый человек в крестьянском платье. Его длинные волосы были цвета соломы. Спинанциу испуганно вздрогнул. Это был Баничиу, несколько месяцев назад исчезнувший из города. Известный железногвардеец, бывший эсэсовский офицер, как утверждали многие, он был принят с распростертыми объятиями в царанистскую партию...

— Servus Nomo ruralis!* — рассмеялся барон, выказывая восторг и необычную, показавшуюся Спинанциу оскорбительной, веселость.— Servus carissime**.

Баничиу, пожимая Паппу руку, раскланялся.

«Кто его предупредил о нашем приезде? Или, может быть, он здесь прячется? Не хватало, чтобы это узнали! Еще на каторгу из-за него угодишь!» — мелькали у Спинанциу тревожные мысли.

Баничиу даже не удостоил его взглядом, зато сделал короткий знак Пику — нечто вроде незаконченного римского приветствия.

— Здравствуйте, здравствуйте! — обрадовался Пику.

Барон взял Баничиу под руку и поднялся с ним по парадной лестнице, причем Спинанциу показалось, что в маленьких хитрых глазках Пинци блеснуло сострадание. Он последовал за ними, а они все шли и шли: в глубине анфилады была комната с пробковыми стенами, куда барон приходил, когда нужно было принимать особенно важные решения.

Спинанциу увидел, что Папп и Баничиу направляются именно туда.

— Я вам нужен? — спросил Спинанциу, придавая своему голосу укоризненные нотки.

— Нет, голубчик. Пойдите выберите себе комнату — какую хотите. Отдыхайте. А мне нужно поговорить с Баничиу, обсудить некоторые вопросы. Распорядитесь, пожалуйста, относительно завтрака. Вы, я знаю, гурман.

---

* Здравствуйте, сельский житель *(лат.)*.

** Здравствуйте, дражайший *(лат.)*.

5

Баничиу мало изменился: лишь сухие светлые волосы его как будто поредели. Когда Железная гвардия хозяйничала в Румынии, он не снимал национального костюма и черной сермяги, но теперь она казалась маскарадом. В начале весны, после сговора между Маниу и Команичиу *, коммунисты развернули наступление на царанистскую партию. После того, как в Араде была арестована группа «Черные сермяги», Баничиу счел за лучшее исчезнуть. Папп посоветовал ему укрыться в поселке, где жили моцы **. В этой всеми забытой «колонии», расположенной рядом с именем, Баничиу, полагал барон, будет недосягаем.

«Колония» оказалась десятком нищих домишек с прогнившими крышами. У этой грязной деревушки была своя история. Еще при Марии Терезии решено было создать в Трансильвании пограничную зону. Плану этому не дано было осуществиться — все дело окончилось выселением в Трансильванскую равнину с Западных гор нескольких семей моцев. Им отвели усадебные участки и немного пахотной земли. Моцы прижились на новом месте, занимаясь своим обычным ремеслом: вырезали из дерева свирели, ушаты, подойники. Жили они в страшной нищете, скота не разводили, земли не обрабатывали. Раньше, пока Трансильванскую равнину еще не пересекла железная дорога, деревня моцев считалась проклятым местом, его тщательно обходили прохожие и объезжали крестьянские повозки. Оттуда постоянно слышался свирепый лай больших тощих серых псов, издалека чуявших чужого человека. Жили моцы во власти старых представлений, соблюдали обычаи, передававшиеся от дедов к внукам. Ребята не могли ходить в школу, которая была в нескольких километрах, в Лунке, из-за волков, целыми стаями рыскавших по заснеженным полям. Раз или два в год по праздникам моцы приходили в Лунку, в церковь, напивались в корчме, затевали драки и поножовщину. Покойников своих они, чаще всего, хоронили сами, без священника. После первой мировой войны им дали земельные наделы, но они тотчас же продали их барону Паппу: им нечем было обрабатывать землю. Моцы были нелюдимы, замкнуты и озлоблены. Парней, достигших пятнадцатилетнего возраста, отправляли на заработки. В «колонию» они уже больше никогда не возвращались. Дома оставался лишь старший, перворожденный. Довольствовались моцы малым и работали не покладая рук круглый год. Их жалкие, грязные, покосившиеся хаты, ворота, столбы крылечек были украшены великолепной резьбой по дереву. Так же разукрашены были кресты на кладбище.

Баничиу поселился у одного высокого кривого туповатого моца по имени Гозару, преданного барону, как собака. Папп спас однажды Гозару от каторги, куда тот чуть не угодил по подозрению в убийстве жены. Явившись к нему, Баничиу был немногословен:

— Барон желает, чтобы ты меня принял. Меня хотят убить коммунисты.

Гозару пожал плечами, сказал: «Ладно»,— и устроил своему постояльцу логовище в сене, на чердаке, потом извлек из кучи сухой кукурузной ботвы пулемет и сообщил, что у него есть другой, оставшийся от венгров, так что можно будет в случае чего защищаться.

Баничиу целыми днями лежал, подложив под голову руки. Он приучил себя ни о чем не думать. Одурманенный запахом сена, он почти весь день спал, а ночью выходил в поле и там несколько часов подряд делал гимнастику.

После драки на ярмарке Баничиу стал еще осторожнее.

---

* Один из главарей Железной гвардии.

** Румыны-горцы, населяющие округ в Трансильвании.

Он расспросил Гозару, какие в деревушке люди.

— Люди, как люди,— удивился моц,— с двумя руками, двумя ногами... Какие же еще?

Приезд барона скрасил уединение Баничиу. Он не был честолюбив, и потому внимание и любезность старика мало его трогали. Политических убеждений Паппа он не разделял. Они просто его не интересовали. Для Баничиу все кончилось с поражением Германии. «Пока сопротивлялся хотя бы один немецкий солдат, еще можно было надеяться, но теперь придется долго ждать, пока появится другой Гитлер... Барон — старый дурак со своими англичанами и американцами. Там — плутократия, масонство и гниль...» Но Баничиу было приказано находиться в распоряжении барона, и он подчинился.

— Коммунистов нужно обуздать,— говорил барон.— Вы по этой части специалист и не нуждаетесь в моих советах... Я намереваюсь действовать с вами рука об руку: я — политически, вы — своими особыми средствами. Главное — чтобы не одержали верх коммунисты. Речь идет не о моем имуществе, которое я когда угодно могу отдать родине, а о принципе, и о... вы понимаете? Если начнут грабить, делить землю, мы проиграем на выборах. Есть у вас свои люди в Лунке?

— Один есть. Блотор. Дурак. Прячется у лесника. Он пригодился, когда произошла драка. Остальные трое исчезли.

Папп и Баничиу велели Пику составить список людей, на которых можно было в Лунке положиться.

— У господина есть дело в селе, только знать об этом никто не должен,— сказал барон Пику, показывая на Баничиу.

— Понял. Слушаю-с! Можно жить у меня...

— Дети у тебя есть?

— Одна дочка... Риго...

— Лучше в другом месте,— сказал Баничиу.

— Тогда у Клоамбеша... Богачи, дом большой... Одни... Сына русские застрелили.

— Ладно, — согласился Баничиу. — Отправляйся! Поговори там с этим самым... как его?.. Послушай, что болтают люди, потом вечером приходи за мной. Ступай.

Пику был смущен. Значит, опять не удалось побеседовать по душам с бароном. Может быть, лучше обождать? Что они собираются предпринять? Что может сделать горсть людей против целого села?

Баничиу вернулся в поселок и послал Гозару за Блотором, предварительно показав, как нужно свистнуть, чтобы тот не бросился бежать или не поднял стрельбы. Баничиу знал Блотора еще с сорок первого года. Из Лунки только один Блотор принимал участие в арадском железногвардейском путче. Потом Блотор и Баничиу не встречались до сорок четвертого года. Блотор за это время устроился работать на заводе, но его выследили. Ему пришлось скрываться, несколько суток он даже прятался под мостом, еле живой от голода и страха. Баничиу, отыскав его, дал ему денег на дорогу до Лунки и приказал до поры там скрываться.

Гозару привел Блотора к Баничиу часам к десяти вечера. Блотор был неузнаваем — отпустил бороду, на плечах его болтался невероятно вонючий овчинный кожух. По всему было заметно, что он одичал в своем уединении: испуганно озирался, не мог справиться с дрожью в руках. Баничиу сказал, что они пойдут в Лунку, где есть дело, и заставил Гозару сбрить опьяневшему после одной рюмки Блотору бороду. Бритва была тупая, но Блотор безропотно сносил боль, хотя слезы текли у него по щекам, поблескивая в тусклом свете коптилки.

Баничиу быстро шагал по дороге размашистым солдатским шагом. Маленький, приземистый Блотор бежал за ним рысцой, стараясь не от-

ставать. На все его вопросы Баничиу отвечал нечленораздельным ворчанием. Блотор болтал без умолку и без видимой связи. Он жаловался, что давно не видел женщин, что лесник каждый день просит его уехать — боится попасть в беду. В конце концов Баничиу потерял терпение и, когда Блотор с ним поравнялся, схватил его за шиворот:

— Слушай, скотина! Я командую силами в целом уезде! Как ты смеешь со мной разговаривать, когда тебя не спрашивают? А? Чтобы этого больше не повторялось!

Когда они дошли до креста у въезда в село, из кустов вышел Пику.

— Все в порядке. Будете жить у Клоамбеша... А это кто же? Ты, Блотор? Эх ты, бедовая голова! Люди с ума посходили, сидят весь день в корчме, языками чешут... Комиссия еще три дня будет записывать, потом землемер разделит баронскую землю и крестьяне начнут ее пахать.

— Черта с два они начнут!..— рассмеялся Баничиу.— Какой дорогой лучше идти? — спросил он Пику.

— Можно старым руслом.

— Блотор, оружие при тебе?

— При мне. Вот...

Блотор вытащил из штанины обрез.

— Ну, этим ты себе в зад, если хочешь, стреляй...— сказал Баничиу.

— Будьте покойны,— заметил Пику,— у всего села немецкие автоматы есть. Патронов к нему сколько угодно...

Шли в обход и наконец, петляя, спустились в старое русло. Идти было трудно. То и дело спотыкались о коряги, попадали в выбоины, блуждали в сухом, стегавшем по лицу камыше. Потом зашли в мягкую, как мамалыга, трясину. Блотор глубоко увяз, и Баничиу пришлось вытаскивать его за шиворот, как щенка. Наконец поднялись на дамбу, крадучись пересекли огромный сад, вошли во двор Клоамбеша. Света в доме не было. Пику взошел на крыльцо и несколько раз осторожно постучал в окно. Дверь открылась, и Клоамбеш впустил гостей в дом. На столе тускло горела керосиновая лампа с прикрученным фитилем, окна были завешены одеялами.

Клоамбеш был бледен, дрожал от страха. Баничиу пожал ему руку и присел к столу.

— Ох, Блотор, сколько лет тебя не видел! — заохал Клоамбеш.— Слышал, будто плохо живешь, бедняга, ай-ай-ай!..

— Поменьше разговоров, дядя,— властно прервал его Баничиу.— Поедим и спать. Где ты нас положишь?

— В большой комнате. Там всего безопасней. Окна я забил.

— Ладно. Теперь дай поесть. А ты, Пику, отправляйся. Явишься завтра с рапортом.

— Можно мне немножко поговорить с господином Клоамбешем? — робко попросил Блотор.

— Можешь.

Подав Баничиу ужин в большую комнату, Клоамбеш подсел к Блотору.

— Ну как?

— Да вот. Плохо живу, как ты сам сказал. Зато теперь всему этому конец.— Он приложил палец к губам и продолжал шепотом: — Это, брат, большой начальник... Над всеми старший... Персона... Дай мне выпить, умираю...

6

Уже стемнело, но те, кого еще не записали, не желали уходить, беспокойно толкались во дворе школы, в коридоре, то и дело подходили

к столу, где Митру сменила Эмилия. Наконец она отложила перо, собрала бумаги и сказала своим назидательным тоном учительницы:

— На сегодня, люди добрые, хватит. Запись продолжим завтра с утра. Мы тоже должны отдохнуть.

По толпе пробежал глухой ропот. Но Эмилия повторила с самым решительным видом:

— На сегодня хватит! Сказано! Вам тоже домой пора!

— А в котором часу завтра приходить? — поинтересовался какой-то сбитый с толку крестьянин.

— Когда хотите,— ответил Арделяну.— Мы начнем в восемь. И завтра, думаю, закончим.

— Дай бог! — вздохнул кто-то.— А то как бы без земли не остаться...

Медля, нехотя крестьяне стали расходиться, Эмилия пошла готовить ужин. Арделяну, Джордже, Митру, Глигор Хахэу, Павел Битуша и Кула Кордиш остались в школе.

— Товарищи, — сказал Арделяну, — все вы, я вижу, очень довольны...

И действительно, у Митру лихорадочно блестели глаза, он был в восторге от всего, что сегодня произошло, и, главное, от того, как радовались земле люди. Ему очень льстило, что на этом втором по счету заседании партячейки Арделяну говорил с ним иначе, чем днем,— серьезно, по-деловому.

— Это хорошо,— продолжал Арделяну.— И нам, конечно, есть чему радоваться... Не следует все же забывать одного: что Папп так просто не сдастся... Будьте уверены. Ведь тут не только убыток и потеря имущества, а, главное, потеря престижа...— Митру не понял этого слова, но согласно кивнул головой,— и влияния в нашем селе и в соседних селах. Не забывайте и того, что произошло в городе в субботу и как вели себя наши...— Митру густо покраснел и так низко опустил голову, что почти коснулся лбом парты. Сидевший рядом Джордже похлопал его по колену, что еще больше увеличило смущение Митру.— Какой мы должны сделать из этого вывод? Тот, что у нас на селе многим раздел земли Паппа не по душе по разным причинам... Это недовольство, конечно, на руку царанистам. Они используют его против нас. Мы должны быть бдительны.

— Как, то есть? — не понимая, спросил Глигор.

— Смотреть в оба. Но у нас, товарищи, есть еще одна задача. В Лунке нет старосты. Пока что мы не можем поставить своего, партийного...

— Почему же? — удивился Кула, впрочем больше для того, чтобы принять участие в разговоре.

— Потому что необходим человек с весом... А вам этот вес еще нужно приобрести. Спросите — как? А вот как: советуясь здесь, в ячейке, обо всем, что вы намерены делать, а не так, чтобы каждый действовал, как ему придет в голову, по собственному разумению, вроде товарища Моц. Мы с товарищем Теодореску советовались. Мы думаем, самым подходящим старостой будет, пожалуй, Гэврилэ Урсу...

— Опять, стало быть, богатей? — рванулся Митру.— Много он в наших нуждах понимает! Словно помещик какой...

— Да, но с ним считаются... Мы должны добиться того, чтобы его слово было нашим словом, чтобы его устами говорили мы...

— Это будет, когда рак на горе свистнет! — ухмыльнулся Митру.— Святоша...

— Товарищ Моц, прошу не забывать, что у нас заседание. Попроси слова, если хочешь что-то сказать.

— А я сейчас скажу, что не надо мне никакого Урсу! Он за кого? За меня или за Ледоя?

— Пожалуйста, помолчи, вот товарищ Теодореску просит слова,— сказал Арделяну.

— Как, по вашему мнению, товарищ Моц,— спросил Джордже,— Гэврилэ честный человек или нет?

Митру молчал, покусывая губу.

— Ну?

— Мне товарищ Арделяну запретил разговаривать, пока слова не предоставили,— с самым серьезным видом заявил Митру.

Арделяну пришлось прикрыть рот рукой, чтобы скрыть улыбку. Джордже хотел было продолжать, но внезапно дверь распахнулась, на пороге появился Эзекиил с искаженным лицом и налитыми кровью глазами.

— Обожди немного,— сказал Арделяну,— мы сейчас заняты.

— Мне, господин, ждать некогда,— тихо ответил Эзекиил.

Дойдя до середины класса, он оглядел всех, шагнул к Джордже, ни слова не говоря, снял рубаху и оголил могучую, заросшую черными волосами, загорелую грудь, на которой играли, переплетаясь, как веревки, мускулы.

— Я был ранен сюда,— произнес с мучительным напряжением Эзекиил, показывая беловатый, шириной в два пальца рубец,— и сюда,— продолжал он, задирая грязную штанину и тыкая большим пальцем в иссеченную глубокими шрамами голень.— Дайте мне земли...

— Да... но запись будет производиться завтра,— мягко сказал Арделяну.

— Как? — подскочил Митру.— Мало тебе своей? Мы с голоду помираем, а ты еще от нас поживиться хочешь?

— Это сын Гэврилэ Урсу,— многозначительно произнес Джордже.

— Дайте то, что мне полагается... Как раненому,— глухо проговорил Эзекиил.

— Да что мне, повторять, что ли? — крикнул Митру.— Совсем стыд потерял...

Эзекиил с трудом сдерживал душившее его бешенство.

— Бедняк... не знает стыда...— сказал он тихо и даже смиренно, так же, как утром отцу, потом повернулся к Джордже.— У меня ничего своего нет. Когда я у отца свою часть потребовал, он стал браниться: «Пока я жив,— говорит,— ничего не получишь!» Что ж мне теперь делать?! — крикнул Эзекиил тонким голосом, в котором звучали слезы.— Убить его, что ли? Топором по голове хватить?

— Это тебя папаша сюда подослал комедии разыгрывать? — насмешливо обратился к нему Митру.— Землицы себе прибавить хочет?

— Молчи, товарищ Моц! — остановил его Арделяну и, сойдя с кафедры, подошел к Эзекиилу.— Вот что... сам посуди... Твой отец — первый богач в Лунке...

— Марку Сими богаче,— пробормотал Эзекиил.— Какой мне от этого прок?

— Проку, может быть, и нет,— согласился Арделяну,—однако надела мы тебе дать не можем. Я не спорю: ты прав. Все это так, как ты говоришь. Но если мы дадим тебе надел, завтра все сынки богачей перессорятся со своими отцами... Земельная реформа — для бедняков...

— Бедней меня никого нету! — взвизгнул Эзекиил.

Все молчали. Губы Эзекиила искривились, и руки дрогнули, словно он собирался ударить Арделяну. Глигор медленно поднялся и расправил богатырские плечи, но Эзекиил уже овладел собой и, сунув руки

в карманы, смотрел, не мигая, в глаза Арделяну. Тот молчал. Эзекиил направился к двери, открыл ее и сказал:

— Может, еще подумаете... может быть...— и вышел.

Во дворе он прислонился к дощатой стенке сарая и долго стоял, покачивая головой. Эзекиил чувствовал себя больным. Он никогда в жизни ничего ни у кого не просил: он требовал, а если ему отказывали, брал силой...

Вдруг из-за угла появилась Мария. Она, казалось, находилась в нерешительности: пошла было обратно, потом снова вернулась и остановилась перед входом в школу.

— Ты сюда зачем? — тихо окликнул Эзекиил сестру.

Она вздрогнула и хотела убежать, но Эзекиил подошел и взял ее за руку.

— Зачем пришла?

— За тобой,— прошептала девушка.— За тобой, Эзекиил.

— Зачем я тебе понадобился? — резко спросил он.

У него сперло дыхание от мысли, что ее, может быть, подослал отец.

— Эзекиил,— проговорила Мария,— иди домой... Отца нет и...

— Где он?

— Уехал. В Арад, кажется.

— Зачем?

— Не знаю... Идем домой...

— Не пойду. Дело есть...

— И у меня тоже...— прошептала она.

— К кому?

— К директорше.

Дверь класса открылась, Джордже проводил членов ячейки до ворот.

— Ступай отсюда, — шепнул сестре Эзекиил. — Ну же, отправляйся, слышишь?

Спрятавшись в тени сарая, он смотрел, как все обменялись рукопожатиями, Арделяну пошел в примарию, а Митру и Глигор зашагали в обратном направлении. Эзекиил подождал, пока Джордже запер ворота и исчез в доме. Немного помешкав, Эзекиил перемахнул через ограду и пустился бегом вдогонку за Митру и Глигором.

— Добрый вечер, — проговорил он, поравнявшись с Митру, — не сердись на меня... Я тебе... по гроб жизни...

— Да пойми ж ты, человече, что нельзя! Неужто ты так крепко со своим стариком поругался?!

— Я его убью, — Эзекиил скрипнул зубами. — Зарежу.

Глигор раздумывал, как бы помочь парню. Ему хотелось удружить Эзекиилу — может быть, через него удастся сблизиться с Марией.

— Слушай, Митру, — начал он неуверенно, — все-таки...

— Невозможно, — прервал его непреклонный Митру.

— Помолчи немного. Ты мне слова сказать не даешь! Ведь можно такую бумагу написать, что ежели, мол, Эзекиил сейчас получит свою часть, то после смерти Гэврилэ вернет нам надел без всяких разговоров... Ежели он нам, например, такую бумагу даст...

— Ну и умен же ты! — Митру рассмеялся. — И как это у тебя столько ума в голове умещается!.. Да что мы, балуемся тут с землей, что ли?

Эзекиил взял Митру за плечи (немножко нажать — все ребра переломаются!) и попробовал улыбнуться.

— Ну и злой же ты стал! Твоя она, что ли, земля-то?

— Бедняцкая... Пересиль себя, помирись с отцом, проси у него свою часть!

— Сам-то ты перед Ледоем пересилил себя? — спросил Эзекиил. — Пересилил?

Митру смущенно смолк. Горести Эзекиила его мало трогали: живет парень припеваючи — и все ему мало. Чужой земли захотелось!

— Ты не дурак, — сказал он уже мягче, — только нельзя этого.

— Никак нельзя? Глигор говорит...

— Глигор сам не знает, что говорит...

Они дошли до корчмы.

Эзекиил схватил спутников за руки.

— Давайте зайдем на минутку... Я угощаю... Вина выпьем, цуйки или пива — что хотите...

— Айда! — сказал Глигор. — У меня в глотке пересохло.

Митру расхохотался:

— Нет, Эзекиил, ты меня вином не купишь!

— Да я и не собираюсь, — мрачно ответил парень. — Выпьем вина— и все...

— Идем! — сказал Глигор и потащил Митру. — Что ты такой несговорчивый? Нельзя так нельзя, а вина отчего не выпить?

7

В корчме облаком стоял дым. Когда дверь открывалась, дым немного редел и из него выплывала круглая физиономия Лабоша, едва успевавшего наполнять графины цуйкой. Павел Битуша сильно выпил, чувствовал необыкновенный прилив сил. Он охрип, доказывая, что его величество король Михай «сам вроде коммуниста и был бы настоящим коммунистом давно, если бы не его советчики — мать с дядей...»

Миллиону, сосед Павла по столу, покрикивал на сына, сельского барабанщика *, то и дело посылая его за цуйкой.

— Рохля он у меня, — жаловался Миллиону. — Не слушается, лентяй. Стыд один...

— Эй, — крикнул Кулькуша. — Я барона Ромулуса Паппа хорошо знаю! Большой барин! Посмотрит на тебя — словно заморозит... Слышал я про него, будто он у Марии Терезии, блудной императрицы, в хахалях состоит. Она его и в бароны произвела. Довольна, значит.

— Что спьяну вздор мелешь? — возмутился кто-то. — Мария Терезия императрицей-то была бог знает когда!

— Тебе Ромулус Папп ровесник, скажешь? Школу вместе кончали, а? Ну и умен же ты! Как я говорю, так и есть.

Эзекиил с трудом получил в кредит три литра вина (на его счету в непогрешимых книгах жены Лабоша уже значилось двадцать два литра) и сам не знал, почему уговаривал Митру и Глигора выпить. Он уже понял, что земли ему не дадут, но упорствовал, подливая Митру, и каждый раз старался поймать его взгляд. Тот, наконец, не выдержал и сказал Эзекиилу на ухо, хотя эта предосторожность была излишней — все село знало, что Гэврилэ Урсу прогнал сына из дому и проклял.

— Зря все это, парень... Не так уж тебе плохо у отца жилось. Всего у вас вдоволь. Знаешь ты разве, что такое голод? Сердишь ты меня, Эзекиил. Другие терпят. Я вот крапивным отваром питаюсь...

— Брешешь, — громко крикнул Эзекиил, — тебе баба утку принесла!

Митру даже покраснел от удовольствия: значит, все видели...

— Она черное платье продала... — сказал он, улыбаясь и глядя в безобразное, несчастное лицо Эзекиила. — То самое... которое я украл для нее в городе... Эх, парень, много ты понимаешь!

* Глашатай сельского правления.

— А ты что понимаешь? Что вы все понимаете? Нет правды на свете! То одним хорошо, то другим... Ступайте вы к...

Что можно было ему ответить? Парень хотел жениться, а какая девушка за него пойдет?

— Пейте же! — крикнул он и свирепо посмотрел на Митру с Глигором. — Пейте! Лопайте! Только глядите, чтоб потом...

Он не договорил.

— Вот что, Эзекиил... — Митру поднялся. — Что выпили, плачу я. Завтра. Мне твоего вина не надо. Покойной вам ночи. Я пошел. Будьте здоровы! — крикнул он, обводя столы хмурым взглядом.

— Будь здоров!.. Будь здоров!..

— А я еще посижу,— сказал Глигор.— Не беспокойся, парень, я заплачу...

Обойдя стол, он подошел к Эзекиилу и обнял его за шею.

— А ты, дружок, будь поласковей.

— Молчи и оставь меня в покое! — Эзекиил ощерился, и Глигор уже не смел больше с ним заговаривать.

К полуночи, когда все устали и один лишь неутомимый Павел распевал какую-то песню, в корчме появился Пику: пришел послушать, что говорит народ. Он потребовал полбутылки вина и, подсев к Кулькуше, жадно осушил стакан.

— А ты где был? — спросил Кулькуша. — Никто тебя не видел... Слышал, что у нас делается?

— Слышал. Даровщинку почуяли, сгрудились, как свиньи у корыта.

Это было сказано нарочно громко, чтобы его слышали бедняки. Ишь, как задрали нос! Ну ничего, увидят они землю... Пику разобрал смех: с каким удовольствием он объявил бы им, что земля, на которую они зарятся, будет принадлежать только ему.

— Какая даровщина? — обиделся Павел. — Даровщина — это когда даром дают, а не тогда, когда сам берешь...

— Тогда, значит, грабеж... Конечно, тебе больше нравится грабить, чем питаться подаянием. Знаешь, Павел, что вы получите? — продолжал Пику, багровея.— Вот что! — Он показал кукиш. — Видал?

— А ты почему так говоришь? — тихо спросил Павел.

Он не отличался храбростью, а с Пику ему связываться не хотелось.

— Как хочу, так и говорю. Ты мне указчик? А? — Пику вскочил и шагнул к Павлу. — Ты мне приказывать станешь? А ну, ступай домой!

В корчме стало тихо. Был слышен только шум отодвигаемых стульев.

— Что ты сказал? — дрожащим голосом проговорил Павел, нащупывая в кармане нож.

— Ступай домой! — вне себя крикнул Пику. — Марш!

— Потише, чего взбеленился? — вмешался Кулькуша.— Корчма не твоя.

— Сам домой ступай! — осмелел Павел, увидев, что его поддерживают. — Тебя досада разбирает?

Пику, держа Павла за шиворот, вытянул его на середину корчмы.

— Стой, Пику! — крикнул Лабош, засучивая рукава.

— Эх ты, дохлятина! — смеялся Пику, с силой тряся Павла. Отпустив, он толкнул его в грудь. Павел ударился спиной о стойку, схватил графин и бросился на Пику.

— Стой, чахотка, я тебя проучу!

Но не ударил, потому что Пику громко хохотал, хлопая себя по бедрам:

— А ты уж взъерепенился! Не видишь, что шучу?! Неужто ты в самом деле поверил, будто я не рад, что наши землю получат? Мне самому

надел полагается, я тоже воевал... Фронт-то этот мне легкие и сожрал... Инвалид я...

Павел замер с занесенным над головой графином, не зная, верить или нет словам Пику. Но тот весело смеялся и даже подмигивал ему:

— Хотел проверить: люди вы или так себе, слякоть... Молодчина, Павел! Хвалю!

— Черта с два мы землю получим, — сказал Эзекиил, пристально глядя на Глигора. — Одних коммунистов наделят...

— А, это ты? — повернулся Пику. — Я слышал, ты с родителем поссорился.

— А тебе что?

— Проси прощения, слышишь?

— Молчи, Пику, не серди меня. Я уж если ухвачу бутылку, с ней в руке не останусь!..

— Дурак ты, парень. Нализался?

— Три литра...

— Плачу... Получай, Лабош! — крикнул Пику, бросая деньги на мокрую стойку. — Пойдем отсюда, Эзекиил. Ну же!.. Я вас помирю.

Не дав опомниться Эзекиилу, Пику вытащил его из корчмы.

ГЛАВА VII

1

Суслэнеску не хотел вылезать из-под одеяла, хотя и чувствовал, что время позднее и Кордиш может не одобрить его долгое пребывание в постели. Суслэнеску никак не удавалось согреться под тонким, грязным одеялом, от которого несло кислятиной.

Наконец он поднялся и долго сидел на краю кровати, стуча зубами и придерживая расходившуюся на груди пижаму с оторванными пуговицами, пошарил ногами, но башмаков не нашел. Длинная комната с глинобитным полом, стол, уставленный пустыми бутылками, маленькие рябые окна с желтоватыми занавесками — все это удручало. Студенческие годы приучили Суслэнеску не замечать беспорядка, но, живя у Теодореску, он привык к чистоте. Он по опыту знал, как быстро можно опуститься, и не хотел этого.

«А кормить они меня не собираются? — одеваясь, думал он.— Что за черт!»

Суслэнеску вышел в блестевший от дождя, заросший бурьяном двор и услышал глухие голоса, которые раздавались из деревянной пристройки, где помещалась кухня. Он прислушался: речь шла о нем.

— Признайся, отчего не признаться, — говорил Кордиш, — верно, что он тебе нравится? Знаю я вашу сестру... стоит только мужчину увидеть! Эх, Сильвия, Сильвия, слабая ты женщина, если забыла, кем ты была и кем я тебя сделал.

— Зачем ты его к нам привел? — сердито огрызалась жена. — Я, скажешь, его здесь поселила? Будто у нас места лишнего много, чужих принимать, да еще неизвестно кого, может, жулика какого. Зачем привел? Даром корми, работай на него, хорошие кушанья готовь, барин ведь, тонкая кишка...

— Не притворяйся, хоть постыдилась бы! — перебил Кордиш монотонным злым голосом.

— Подай ложку, вон она!

— На!.. А может, вы уже сговорились? Я на работу, а вы в постель?.. Барин тебе понадобился? Что он, умнее меня, что ли? Нет, ты скажи, умнее?

— Завтрак готов, замолчи!..

— Отвиливаешь, а? — Кордиш визгливо захохотал. — Не нравится, когда на чистую воду выводят?

— На, лопай!.. А Суслэнеску этого чтоб я здесь больше не видела, слышишь? Скажи ему, пускай убирается...

— А, так вы с ним уже договорились, где встречаться, — проворчал с полным ртом Кордиш.— Ах, хороша яичница! Молодец бог... Чем только он землю не наделил! И куры, и яйца, и много прочего...

— Ешь не торопясь. Скажи, Кордиш, если на выборах пройдут царанисты, тебя назначат директором?

— Нет, Суслэнеску назначат! А меня, если хочешь знать...

Изумленный Суслэнеску не знал, как уйти, чтобы его не обнаружили. Ему хотелось и плакать и смеяться. Но больше всего хотелось есть. От голода кружилась голова.

— Доброе утро и дай вам бог здоровья, — услышал он за собой приятный, ласковый голос Гэврилэ Урсу.

Обернувшись, Суслэнеску с удовольствием пожал протянутую руку и хотел было заговорить с Гэврилэ, он сам не знал о чем, но ему было необходимо рассеять тягостное впечатление, навеянное словами Кордиша. Гэврилэ заговорил первым:

— Где господин Кордиш?

— Там! — Суслэнеску показал на деревянную пристройку.

— Идите вы тоже, ваше присутствие желательно.

Когда они вошли в кухню, Кордиш мрачно пробормотал что-то, прожевывая пищу, но Сильвия оказалась любезнее:

— Пожалуйте к столу!

— Спасибо, — быстро проговорил Суслэнеску и сел рядом с Кордишем, но хозяйка ничего ему не предложила.

— Что нового, дядя Гэврилэ? И почему вы разоделись в такую погоду? — спросил Кордиш.

— Я уезжал и только что вернулся, господин учитель. Привез серьезные новости.

— Да вы уж всегда с чем-нибудь серьезным.

— Я от барона, — спокойно продолжал Гэврилэ. — Мы с ним много говорили.

— Да? — удивился Кордиш. — Ну, ну. Дай мне воды, Сильвия. Пить хочется.

— Барон приглашает нас к себе после обеда... на совещание. Устраиваем большую манифестацию. Завтра или послезавтра — как мы решим. — Гэврилэ продолжал, обращаясь к Суслэнеску: — Барон слышал о вас и очень доволен, что вы здесь, обещал послать за вами машину под вечер, часов в пять.

— Только за ним? — нахмурился Кордиш.

— Нет, и за вами. Пику, я, Ледой поедем на лошадях...

— Это другое дело... Прогладь мне черную тройку, — сказал жене Кордиш.

Суслэнеску опять почувствовал симпатию к Гэврилэ и улыбнулся.

Кордиш встал, вытер губы.

— Пойду прилягу на полчасика. Пойдемте, дядя Гэврилэ, я вас провожу, мне нужно сказать вам кое-что с глазу на глаз.

Сильвия поставила перед Суслэнеску тарелку молока с хлебом и сказала:

— Вот, ешьте скорее, пока он не видит.

Суслэнеску с возмущением оттолкнул тарелку, чуть не смахнув ее со стола.

— Спасибо! — крикнул он и, не помня себя от ярости, выскочил во двор.

Доведя Гэврилэ до ворот, Кордиш попрощался, потом вышел на улицу и долго смотрел ему вслед.

Суслэнеску с натянутой улыбкой подошел к Кордишу, взял его под руку и, поговорив о том, как он рад, что живет у них, и как хорошо себя чувствует в их доме, особенно теперь, когда им предстоит сотрудничать на политической арене, предложил разрешить денежный вопрос, то есть платить Кордишу за стол и квартиру.

— Зачем это? — удивился Кордиш. — Живи себе сколько хочешь. Разве с тебя что-нибудь требуют? Право, ты меня обижаешь... Что за черт! — Он дружески похлопал учителя по плечу. — А сегодня вечером поужинаем у господина Паппа... Знаешь, какие у него вина? Первый сорт... Недели две назад, не больше, мне рассказывал один доктор, как он тоже раз был приглашен к барону... Ну что тебе сказать?.. Знаешь что? — неожиданно перескочил он на другое. — Было бы хорошо, если бы ты дошел до школы и посмотрел, что там делается. Кончили они свою запись? Потом мы с тобой засядем и накатаем донесение в учебный округ, да такое, что из них перья полетят. Увидишь, мы на этом деле еще заработаем: я директором буду, а ты, с твоим образованием, какое-нибудь другое симпатичное местечко получишь, может даже в инспекторы пролезешь. Мало тебе?

— Не о том речь, — Суслэнеску махнул рукой, теряя терпение.

— Нет, ты меня обижаешь... Ступай же, милый, прогуляйся до школы. А я немного прилягу, соберусь с мыслями... До свидания.

Суслэнеску оказался на улице, дрожа от холода. Ему мучительно хотелось есть. Село показалось ему неприглядным, бедным, чужим, а бесцельность его теперешней прогулки — отчасти символической. Ему, собственно говоря, вообще нечего было здесь делать, и ничто не интересовало его в этом селе — ни земля, ни люди, ни их путаные дела. Этот верзила, коммунист-механик, был совершенно прав: только страх загнал его, Суслэнеску, сюда и заставил бросить книги, город, удобства. Ему страшно захотелось подержать в руках толстый французский учебник с шелковистыми, чуть запыленными страницами, и он так соскучился по теплу, уюту, по женской ласке.

Мимо школы, где народ все еще шумел, читая висевшее на воротах объявление, он прошел быстро, механически отвечая на приветствия.

Потом вышел к дамбе, рассеянно глядя на расстилавшуюся перед ним серую равнину. Пейзаж был безрадостный, однотонный, навевающий грусть и быстро ему наскучил. Он решил зайти в корчму и что-нибудь съесть. Ему захотелось жареного цыпленка с чесночной подливкой, кисленького винца и чтобы старый скрипач-цыган пиликал над ухом. Суслэнеску даже удивился, вспомнив, что все это в Лунке достижимо — стоило лишь дойти до корчмы, заказать и заплатить. Толстый корчмарь с патриархальными усами наверно ему улыбнется, засуетится.

Свернув в узкий проулок, Суслэнеску увидел Теодореску и Гэврилэ Урсу. Они сидели на скамейке перед большим красивым, обсаженным акациями домом. Джордже, в военной шинели с поднятым воротником, показался учителю чем-то озабоченным и постаревшим.

2

— Разрешите к вам подсесть? Я вышел пройтись, но сегодня что-то прохладно, — с вежливой улыбкой сказал Суслэнеску.

— Сделайте одолжение, господин учитель, — приветливо откликнулся Гэврилэ, и Суслэнеску показалось, что его приход обрадовал старика.

— Как дела? — рассеянно спросил Джордже.

— Ничего. Жду возобновления занятий...

— Погода скверная, — покачал головой Гэврилэ.

— Для посевов — да, знаю, но, может быть, переменится. До сих пор стояла такая чудная весна...— Джордже кашлянул и встал.— Очень жалею, дядя Гэврилэ, что мы с вами не столковались. Я думал, вы меня поймете...

— Мне, господин директор, может быть, разум запрещает...

— Не разум, дядя Гэврилэ, а другое... Но когда-нибудь вы все-таки со мной согласитесь...

— Вряд ли, господин директор.

— Ну, дядя Гэврилэ, я пойду... Всех благ, Суслэнеску!

— Я вас провожу, если можно... До свидания, господин Урсу.

— Будьте здоровы, господа... — бросил Гэврилэ и быстро прошел в калитку.

Суслэнеску только теперь сообразил, что, уйдя с Теодореску от Гэврилэ, он, может быть, поступил неосторожно. Сегодня вечером они встретятся у барона. Что подумает о нем Гэврилэ? Не сочтет ли его агентом Теодореску? Это было бы неприятно.

Теодореску шел, опустив голову, и, казалось, забыл о своем спутнике.

— Ну, как же вас принял Гэврилэ? Не велел сыновьям прогнать вас со двора, как обещал?

— Нет, как видите, — тихо ответил Джордже.—Человек он очень...— не найдя подходящего слова, он пожал плечами.

— «Очень, очень», но каши с ним не сваришь, правда? — несколько иронически заговорил Суслэнеску. — Объяснение простое: Гэврилэ узник своей репутации. Для него важнее всего то, что о нем думают другие в селе, такие же, как он, богачи... Немногим удается отделаться от этого, и это всегда дорого стоит. Надеюсь, вы на меня не сердитесь?

— Нет, — коротко ответил Джордже.

— Правда? Раз вы это говорите, вероятно, так и есть. Но если, конечно, вы бы хотели быть последовательным по отношению к самому себе... и к «раз навсегда занятым позициям», то вам следовало бы меня ненавидеть и даже стремиться меня уничтожить.

Вызывающий тон Суслэнеску неприятно подействовал на Джордже. Он внезапно остановился. Суслэнеску криво улыбнулся: здесь в деревне люди не умеют думать на ходу. Стоит начать серьезный разговор, как они застывают на месте как вкопанные.

— Мы никого не собираемся уничтожать, — сказал Джордже, глядя прямо в глаза Суслэнеску.

— Ах уж это «мы»... Сколько нам приходится повозиться, господин Теодореску, прежде чем получить право забаррикадироваться за этим «мы» и пугать им других!..

— Я вовсе не собираюсь вас пугать.

— Вы вполне в этом уверены? Если бы вы придерживались моих взглядов, вы не имели бы права ни пугать меня, ни ненавидеть. Но вы завербованы.

Суслэнеску с удовольствием слушал самого себя и радовался волнению, которое — он это чувствовал — его слова вызывали у Джордже. А тот действительно начинал накаляться: ему была хорошо известна эта провокационная манера начинать спор, когда хочется излить на собеседнике собственную досаду.

— Завербованы, — тихо повторил Суслэнеску и, закинув голову, задумчиво посмотрел на гонтовые крыши. — Странно, как слабы иногда бывают люди, которые ставят все, что у них есть, на одну карту — на свободу, — и как они торопятся ее потерять. Некоторым, впрочем, нужны

потрясения, нужны необычайно сильные доводы. Это придает им чувство собственного достоинства... Вам, например, понадобилась война, понадобился плен и особенно общение с этими русскими, чтобы вы, наконец, уступили.

— Я не уступил, а понял... Это совсем другое.

— Называйте, как найдете нужным. Мне хотелось бы... мне хотелось бы задать вам один вопрос: какого вы обо мне мнения? Будьте искренни.

— Никакого, — резко ответил Джордже. — Мне сейчас не до этого. Некогда!

— Вы должны заботиться о людском счастье. Не так ли? — Почувствовав себя обиженным, Суслэнеску продолжал уже раздраженным тоном: — Заботиться о разделе земли. Могу сказать вам одно: будь барон хорошим политиком, он отдал бы свое имение сам, и как можно скорее, и этим спутал бы все ваши расчеты. Ведь крестьянам совершенно безразлично, кто даст им землю. Вас они не знают и не понимают.

Теодореску закурил папиросу.

— Вы считаете себя марксистом, Суслэнеску, а занимаетесь софистикой. Вы знаете или, пожалуй, не знаете, что речь идет о материальных отношениях, которые нужно изменить. После этого у людей появится и новое чувство нравственной ответственности за свои поступки.

— Как, однако, вас беспокоит это чувство нравственной ответственности! — вдруг рассмеялся Суслэнеску, заподозривший у Джордже некоторую неуверенность в себе. — Деликатнейший товар! Трудно поддающийся обработке! И с какой легкостью вы решаете эту дилемму: после этого, мол, появится и новое чувство нравственной ответственности... Разрешите мне предложить вам одну задачу из этой области?

— Пожалуйста, я попытаюсь...

— Задача состоит в следующем: и вы, и Митру оба коммунисты... конечно, с соответствующей качественной дифференциацией. У вас есть земля, у него нет. Чтобы не помереть с голоду, он вынужден работать на вашей земле... Что я говорю «вынужден»? Не вынужден, а счастлив работать на вашей земле. Это спасает его от голодной смерти. Вы прекрасно понимаете, знаете теоретически, что эксплуатируете его. Прибавочная стоимость и так далее... Для вас, человека, свободно примкнувшего к партии, это безнравственно. Вся ваша деятельность основывается на догме уничтожения эксплуатации. Как же вы миритесь с таким противоречием? Не с этическим противоречием, которое меня не интересует, а с тем, другим — с тем, что безнравственное по существу явление, эксплуатация — спасение для Митру. Эксплуатация! Для меня этот термин может иметь различное значение, может толковаться по-разному, но революция заряжает понятия огромным количеством динамита. Понятия иногда терзают людей, как дикие звери. А? Мне кажется, я изложил вопрос с достаточной ясностью и в почти литературной форме. Вы не находите?

Джордже неподвижно стоял посреди дороги. Рука с папиросой не дрожала, но Суслэнеску испугался взгляда Теодореску, внезапно потерявшего всякое выражение, и поспешил прибавить уже своим прежним, неуверенным, даже как будто просящим тоном:

— Да, это дилемма...

Джордже глубоко, тягостно вздохнул.

— Я сейчас не могу вам ответить. Но если вы здесь поживете, то увидите, что ответ есть. А теперь — до свидания.

— Вы возненавидели меня... потому что я был с вами откровенен? — незлобиво спросил Суслэнеску.

Джордже молча подал ему руку, и Суслэнеску, как всегда, сконфузился и растерялся, не зная, как пожать эту левую руку. Джордже быстро зашагал по шоссе, Суслэнеску удрученно поплелся следом. Им овладела

смутная тревога, обострилось ощущение одиночества. Он шел и думал о том, что чувствует себя старше своих лет, и потому в его высказываниях никогда не бывает ничего живого, теплого, свежего, нового. Ему свойственна способность понимать других, и это иногда удручало, а иногда пугало его. Он догадывался, что где-то все же должна существовать общая почва, должно быть какое-то чувство братства, какое возникает у солдат, когда люди могут дремать на ходу, потому что чувствуют локоть соседа. Но чтобы дойти до этого, вероятно, нужно было от многого отказаться, многое пережить... Ему в утешение оставалось лишь право защищаться — как теперь в этом разговоре с Теодореску.

В корчме Суслэнеску расположился в чистой, «господской» комнате и заказал все, о чем мечтал с самого утра, хотя есть ему уже не хотелось.

Сидел он у Лабоша долго — до тех пор, пока в дверях не появился Кордиш и не сообщил ему в самом резком и раздраженном тоне, что пришла посланная за ними от барона машина.

3

— Хоть бы кончилась поскорей эта история с землей, — сказала Эмилия, вставая из-за стола и подходя к печке, в которой горело несколько поленьев. — Я затопила, чтобы тебе было уютнее дома, — прибавила она, словно оправдываясь перед мужем. — Довольно ты на войне намерзся, бедняга. Мама ворчит, говорит, что я расточительница: где видано, чтобы весной топили? Сама прозябла, а ни за что не придет сюда погреться. Тебе хорошо?

— Да, спасибо. Очень хорошо. Прекрасная мысль — затопить...

Было еще рано, но большую комнату уже окутал серый сумрак, и пламя уютно полыхало в открытой печке. Джордже некоторое время следил за уверенными движениями жены, потом шумно вздохнул.

— Что с тобой? — Эмилия вздрогнула и, откинувшись назад, прислонилась к коленям мужа.

— Ничего, ноет рука. К перемене погоды.

— Вероятно.

Эмилия прикусила губу.

— Ты что-то задумчив. Зачем мучиться из-за всего. Арделяну свое дело, кажется, знает, свое дело коммуниста. Ты слишком близко принимаешь все к сердцу. Хочешь курить?

— Да, с удовольствием. Но знаешь, я все-таки попробую бросить. Чувствую какое-то...

Не договорив, он устроился поудобнее в углу дивана, подперев подбородок ладонью. Его тонкие черты были так красивы в багровом отблеске, что у Эмилии захватило дыхание. «Он будет таким же и через несколько лет, — подумала она. — Это несправедливо. Какие бы потрясения ни выпали на долю мужчин, они стареют медленнее нас. Есть столько мелочей, которые они просто не замечают».

— Ты бы написала Дану, чтобы он приехал на несколько дней, — чуть слышно проговорил Джордже.

— Господи боже мой! — встревожилась Эмилия. — Ты уже второй раз мне напоминаешь... Случилось что-нибудь? Ты видел его во сне?

— Нет, мне просто хочется с ним поговорить. О многом...

Отняв от лица руку, прикрывавшую глаза, он взглянул в лицо жене:

— Знаешь, Эмилия, я часто думаю о нем, о его будущем... Как ни странно, в моем представлении Дан все еще ребенок... каким я его тогда оставил...

— Ты боишься, что он не разделяет твоих убеждений? — серьезно спросила Эмилия.

— Каких убеждений?

— Да вот коммунистических. Не бойся. Он очень умен.

Джордже не знал в эту минуту, как ему быть: объяснить он ничего, конечно, не мог. Она бы поняла его, как всегда, но все-таки не до конца. Это расстояние между ними утомляло его.

Эмилия встала, со вздохом присела к столу и, взяв спицы, принялась за пуловер, который она вязала для Дана.

— Ты не хочешь вздремнуть, Джордже? Приляг.

Он лег на диван. Эмилия подошла к нему и укрыла мягким, старым, местами потертым, но очень теплым одеялом, Джордже закрыл глаза, надеясь уснуть.

И тут Джордже вспомнил про дочь Гэврилэ, Марию, которая ждала его сегодня вечером у моста.

Он, как ошпаренный, вскочил с дивана.

— Что с тобой, милый? Приснилось тебе что-нибудь? — улыбаясь, спросила Эмилия.

— Нет, ничего. Я должен идти. У нас заседание...

Может, лучше посоветоваться с ней, как ему быть? Но после минутного колебания он отказался от этой мысли.

Эмилия принесла ботинки, помогла надеть шинель, спросила, поздно ли он вернется. Закрыв за собой дверь, Джордже остановился закурить и услышал, как Эмилия жалуется старухе:

— Проклятая политика. Не лучше ли было без нее?

В черном небе не мерцало ни одной звезды, изредка падали одинокие капли дождя, было холодно.

Дорога шла в гору и была такой скользкой, что Джордже несколько раз терял равновесие. Он еще не привык много ходить, и в его искалеченном теле оставалась унизительная неуверенность. В темноте чуть заметно светились огни села. Джордже долго брел наугад. Наконец наткнулся на мокрые перила моста и тихо свистнул.

Послышались мелкие шажки, глухо стучавшие по мокрым доскам моста. Джордже кашлянул.

— Вы пришли, господин директор? — чуть слышно, издалека спросила Мария. — Пришли все-таки... Не нужно было беспокоиться... глупая ведь я...

Девушка не смела приблизиться к Теодореску. Он некоторое время помолчал, а потом тихо ей ответил.

4

В машине Кордиш не находил себе места — ерзал по мягким кожаным подушкам, щупал занавески, стекла, серебристую ручку дверцы, то и дело поглядывая на Суслэнеску и ожидая от него такого же восторга. Потом решил, что учителю, как барину, все это, должно быть, знакомо, и возненавидел его за необщительность и равнодушие. Повозка с Гэврилэ, Клоамбешем, Пику и священником Иожей, чтобы поспеть вовремя, выехала двумя часами раньше.

В длинной тенистой аллее, которая вела к господскому дому, мокрые ветви густых деревьев касались стекол, и в машине стало еще темнее. Хотя Суслэнеску и не хотелось в этом сознаваться, он чувствовал некоторое волнение. В конце концов, что бы ни говорили про барона Ромулуса Паппа де Зеринд, он — фигура, принадлежащая истории. Было бы недурно произвести на него впечатление. В царанистских кругах, которые Суслэнеску прежде посещал, говорили, что барон окружен плохими советчиками, что вокруг него увиваются ничтожества, которые льстят ему

и приходят в восторг от каждого его слова. Папп, по мнению царанистов, был прекрасным политиком, но старой школы.

Если бы можно было убедить барона, что среди коммунистов есть фанатики, вроде Теодореску, это уже было бы успехом: такие фанатики опасны, их следует обезвредить. Вкусно пообедав в корчме, Суслэнеску чувствовал себя отлично и так размечтался, что испуганно вздрогнул, когда шофер вдруг затормозил и зажег фары. В их ярком свете он увидел повозку и приветливо улыбающуюся физиономию Пику.

Дом, все окна которого были освещены, произвел на Суслэнеску большое впечатление. Он пришел в восторг, почувствовав себя немаловажным защитником этой крепости.

Пинця, дворецкий, вышел навстречу с поклонами, которые относились главным образом к Суслэнеску, импонировавшему ему своими очками, провел гостей в переднюю, потом через анфиладу комнат, обставленных с вопиющей безвкусицей, что несколько убавило восхищение Суслэнеску. В конце анфилады Пинця распахнул высокую дверь, на которой было изображено что-то вроде герба, и они увидели барона Паппа, сидевшего перед заваленным бумагами письменным столом. На бароне был черный редингот, высокий целлулоидный воротничок был схвачен узким галстуком в мелких крапинках.

— Входите, милые мои, — сказал Папп не вставая. — Спинанциу, голубчик, усадите гостей... Вот люди, на которых мы можем положиться.

— Можете, можете! — крикнул Пику, он был навеселе. — Жизнь готовы положить за ваше сиятельство!

Старик рассмеялся, довольный такой преданностью. Но Суслэнеску заметил, что Пику подмигнул Гэврилэ.

— Вы — преподаватель истории, бежавший от преследования анархических банд? — спросил барон, подавая Суслэнеску три сухих зеленоватых пальца. — Я осведомлен, что вас занесли в черный список... И, кажется, даже избили на ярмарке? Почему вы не пришли мне об этом рассказать?

— О, барон... Разрешите отрекомендоваться: преподаватель Суслэнеску.

— Как вы сказали?

Старик приложил руку к уху.

— Суслэнеску...

— Ага. Из старого королевства. Понимаю. Садитесь, дорогие мои,— повторил он, хотя это было совершенно излишне — все уже сидели.

Спинанциу вдруг почувствовал приступ смертельной скуки.

— Они — это народ! — обратился к Суслэнеску барон, широким жестом показывая на присутствующих. — А что делает ваш гость? — спросил он Клоамбеша. — Как вы с ним ладите?

— Дай ему бог здоровья... ладим, слава богу.

— Ну-с, что слышно? Записываются? Продолжают?

— Одни голодранцы, — поспешил успокоить барона Пику. — Больше никто.

— Много?

— Человек сто, пожалуй, ваше сиятельство, — произнес Кордиш дрожавшим от волнения голосом. — Может быть, сто с небольшим.

Барон нахмурился. Старик был всегда убежден, что в этом крае имя Паппа так уважаемо, что крестьяне не станут посягать на его землю, и коммунисты останутся с носом. Барон снова принялся разбирать лежавшие на столе бумаги. Это был плод целой жизни, его политическое завещание: подробный проект автономии Трансильвании.

— Посоветовавшись с господином Спинанциу, мы пришли к убеждению, что лучше всего в этих обстоятельствах устроить большую мани-

фестацию в Лунке: объяснить крестьянам нашу политику и разоблачить агитаторов. Земельная реформа — дело серьезное, шутить с этим нельзя. В старом королевстве, где сохранилось крупное землевладение, дело другое. Но и там подобные методы только сбивают с толку народ и сеют анархию. Тогда как у нас в Трансильвании, где земельная реформа уже была проведена после той войны за счет вражеских, венгерских латифундий, всякая попытка снова поставить вопрос о разделе помещичьих земель является чистейшей демагогией, которая лишь поощряет разрушительную деятельность деклассированных элементов, толкая их на экспроприацию коммунистического типа — путем насилия и беззаконий.

— Ура! Многие лета! — воскликнул Пику. — Вот это речь так речь! Вы, ваше сиятельство, все насквозь видите!

— А вы ничего не скажете? — обратился барон к Гэврилэ, погруженному в глубокое раздумье. — Из предыдущих бесед я вывел заключение, что вы — один из лучших хозяев на селе...

— Бедноты у нас много,— медленно проговорил Гэврилэ,— а бедность лишает людей разума. Голодному что надо? Есть. Как же скажешь «не ешь!», если сам в бога веруешь? Ничего я тут, прости господи, придумать не могу.

— А как же они до сих пор-то, извините, ваше сиятельство, жили? — возмущенно воскликнул Кордиш. — Теперь вспомнили, что голодные? Теодореску их мутит, вот они и голодные!

— Кто это? — спросил барон, хотя он прекрасно знал все про Теодореску.

— Директор школы, коммунист, — шепнул Спинанциу, удивляясь забывчивости старика, с которым они не раз говорили о Джордже.

— Ага, он, да... Да. Мы им займемся.

— Помните,— продолжал Спинанциу,— я вам про него рассказывал, у него большое влияние на крестьян...

Суслэнеску беспокойно заерзал на стуле. Какие странные здесь ведутся разговоры! Как далеки все эти люди от истины. На фоне всей этой неразберихи Теодореску — единственная живая фигура. Суслэнеску слышал, как сквозь туман, что эти люди подготавливают манифестацию. Какая чепуха! Ему вспомнились его испуг и восхищение тогда, на ярмарке, когда в толпе, слепой толпе вспыхнула драка. Толпе нужна цель, а здесь в креслах несколько человек тщетно пытаются склеить из разнородных элементов какое-то подобие силы.

— ...манифестацию, которая привлечет к нам все, что есть лучшего в селе, — закончил барон.

— Не прогневайтесь, ваше сиятельство, я человек темный, неученый, — выступил Пику. — Вам бы самим приехать, поговорить с крестьянами — ведь они все на вас, как на икону, молятся. Вот только как бы не нашлись отчаянные, не побили бы вас, тогда как?

— Господин Маркиш! — возмутился Спинанциу.

Но барон многозначительно поднял палец.

— Очень разумно сказано. Правильно! — И, выдержав небольшую паузу, весело продолжал: — Я уже думал об этом. Нас будут сопровождать мои моцы — румыны, душой и телом мне преданные. Пускай кто-нибудь попробует... Хе-хе...

Он был в таком восторге от своей идеи, что Суслэнеску передернуло.

— Драки заводить не нужно, — значительно произнес Гэврилэ. — Зачем вам приводить с собой этих голодранцев? Лучше по-хорошему.

— Что по-хорошему, дядя Гэврилэ, что по-хорошему? — рассердился Кордиш.

Но барон перебил его:

— Мы, если будет нужно, дадим им урок. Однако, господа, сколько еще, по вашему мнению, будет продолжаться это безобразие? Долго? Нет! Основываясь на полученных мною достоверных сведениях, я могу вам сообщить, что коммунистический разгул кончится гораздо скорее, чем вы думаете. Я сам бы предпочел, чтобы все протекло в порядке, без... этого... Однако, в случае необходимости, мне придется вызвать войска. Так и знайте...

— Мне кажется, это было бы величайшей ошибкой,— задыхаясь от волнения, сказал Суслэнеску.

Все головы повернулись в его сторону.

— Что вы изволили сказать, господин учитель? — вежливо осведомился барон.

Спинанциу, который знал, что кроется под этим напускным спокойствием старика, нахмурился: не хватало только, чтобы ему испортил настроение этот молокосос.

— Я преподаю историю, барон, и мне бы хотелось осветить вопрос с исторической точки зрения, в исторической перспективе. И мне хотелось бы, чтобы вы меня поняли. Трансильванского крестьянина я не знаю, но это не имеет никакого значения. Для меня ясно одно: крупное землевладение стало историческим анахронизмом, и цепляться за этот анахронизм значит играть на руку коммунистам. В данный момент они правы в этом вопросе, и именно поэтому мы видим, как крестьяне— класс, по существу, туго поддающийся революции,— становятся под их знамена. Подумайте, барон, ведь со времен французской революции латифундии, в сознании человечества,— синоним рабовладения... а рабовладение... безнравственно.

— Я вас не совсем понимаю,— перебил барон, у которого внезапно задрожали пальцы,— разве плохо жили крестьяне до первой войны?

— Речь сейчас не об этом!

— Вы можете излагать свое мнение, но мне, будьте добры, не противоречьте.

— Помилуйте, барон, я далек от этой мысли. Но речь сейчас действительно о другом. Как можно запретить людям стремиться завладеть землей, когда эта земля уже принадлежит им? Боже ты мой, ведь сейчас революция, руководить которой должны мы! Понимаете?

— Вы забываетесь, господин Суслэнеску,— холодно заметил Спинанциу, видя, что барон судорожно ищет стакан с водой.

Уж не собирается ли старик запустить им в учителя истории? И не удивительно. Бедняга столько испытал... и столько его еще ожидает...

— На вашем месте,— крикнул Суслэнеску, сообразивший, что ему придется отказаться от подготовленной аргументации и перейти к выводам,— на вашем месте я сам роздал бы крестьянам землю! Понимаете? — Барон побагровел, казалось его больше всего раздражало это «понимаете?».— Собрал бы все село, попросил бы священника отслужить молебен и торжественно роздал бы землю. Ручаюсь, что коммунисты никогда бы не...

— У вас совершенно ложное представление! — резко остановил учителя Спинанциу.— Спор за власть решится в течение ближайших четырех или пяти месяцев, и мне хочется верить, что вы не сомневаетесь в том, что он решится в пользу исторических партий *.

— Если бы вы, барон, сами провели земельную реформу...

— Как это! — рассердился Пику.— Раздать землю бездельникам?

* «Историческими» именовали себя партии национал-либеральная и национал-царанистская, желавшие таким образом подчеркнуть свою роль в политической истории страны.

Да что это, ячмень, что ли? Ведь это земля, господин, не понимаете?

— Браво, Маркиш, голубчик! — Барон встал, откашлялся, поправил узел галстука и обратился к Суслэнеску: — Скажите, молодой человек, не вы ли сотрудничали в гитлеровском листке некоего Выслана, в настоящее время отбывающего наказание в качестве военного преступника? И не вы ли тот самый, чьи коммунистические выпады в гимназии имени Михаила Голдиша одинаково возмутили и учащихся и преподавателей?

— Не может быть! — всплеснул руками искренне изумленный Кордиш.— В таком случае...

— И не вы ли проживали у Теодореску, коммуниста, красного волонтера? — смолкнув, барон поднялся на цыпочки и хотел громко крикнуть, но голос его сорвался: — Вы агент!

— Послушайте, барон, поймите же...

— Ваше присутствие здесь нежелательно!

Барон взял со стола колокольчик и нервно позвонил. Вошел Пинця с подносом, уставленным бутылками и стаканами.

— Пинця, выведи этого господина за ворота усадьбы. Потом запрешь их на все засовы!

Суслэнеску, шатаясь, направился к двери, но, прежде чем выйти, повернулся к барону:

— Очень жаль... Рассуждая так, вы наверняка проиграете. Ваш поступок будет непростительной исторической ошибкой, которую вам никогда уже не удастся искупить... Настоящий момент требует от вас лишь некоторого понимания обстановки...

Пинця легонько подтолкнул его и снова повел через длинную анфиладу комнат.

— И нужно вам было его сердить! — сказал он участливо Суслэнеску.— Ведь это же добрейшей души человек, если ему не перечить, соглашаться с ним. Старики, что дети. Как вы теперь в Лунку доберетесь, одному богу известно — десять километров, а тут еще дождь... Стойте, я вам хоть что-нибудь дам, голову покроете, а то беда.

Он принес мешок, который Суслэнеску взял, не поблагодарив. У ворот дворецкий похлопал его по плечу и посоветовал поторапливаться, чтобы не лежать потом месяц в больнице. Выпустив Суслэнеску, он, исполняя приказание, тщательно задвинул за ним засовы.

5

Мария не видела Джордже, лишь чувствовала, что он тут, на мосту, но где именно, не знала.

— Как же мне быть, господин директор? — спросила девушка и сама испугалась своего голоса; ей почудилось, что она говорит сама с собой, как делают сумасшедшие.

В тишине слышалось лишь хлюпанье воды у свай моста. Джордже закурил, и его лицо на мгновение осветилось красным дрожащим светом. Длинный тонкий след спички погас прежде, чем она долетела до воды.

— Подойди ближе,— строго сказал он.— Ты давно беременна?

— Четвертый месяц... и мама знает...

— Ты ей сказала?

— Разве нужно говорить? Знает.

— Тогда...— начал он почти сердито, но Мария поспешила объяснить:

— Прикидывается, будто не знает. Меня ни о чем не спрашивает...

— Почему... почему ты не пойдешь к доктору? Он тебе что-нибудь сделает,— прибавил Джордже почти грубо.

Он чувствовал себя неловко, был раздражен и безотчетно встревожен.

— Упаси боже,— быстро и испуганно отозвалась Мария.— Я думала... не выйти ли мне замуж? Ведь многие добиваются. Батюшку очень боюсь.

— Чего же ты его боишься? Человек он разумный...

— Не знаю, что он со мной сделает, потому и боюсь...

— Может, простит...

— Этого тоже боюсь.

— Ну не плачь,— проговорил он быстро.

— Слез у меня больше нету...

— Что-нибудь придумаем...

Джордже закрыл глаза. И в ту же минуту ощутил, как по полям пронесся ветер. Джордже даже показалось, что он видит его: что-то легкое, прозрачное, холодное. В воздухе пахло дождем. Не зная, что сказать, и остро чувствуя себя бессильным помочь девушке, он взял ее за руку.

— Подумай хорошенько: что отец может тебе сделать? Разве ты совершила преступление?

— Согрешила я,— произнесла она неуверенно.

— Против кого?

— Не знаю...

— Нет, Мария, ты не согрешила! Слышишь? — продолжал Джордже, почти выкрикивая слова.— Никакого греха в этом нет. Ты имеешь право делать с собой все, что хочешь, ты человек. Это отец виноват перед тобой, что не отдал тебя в школу. Я тебя помню — ты была хорошей, умной девочкой. Он должен был отдать тебя учиться, а не держать дома — не ждать, пока явится на тебя покупатель, заплатит отцу хорошие деньги, чтобы он еще приумножил свое богатство. Понимаешь?

— Мне страшно, господин директор!

— Ничего не бойся! Никто тебе ничего не сделает. Если хочешь, можешь жить у нас,— сказал Джордже и запнулся: что ей у них делать? Быть прислугой? — Ты даже не знаешь, Мария, какие скоро в Лунке будут перемены, слышишь? Понятия не имеешь...

— Правда, господин директор... глупая я...

— Сколько тебе лет?

— Восемнадцать, господин директор.

— Такая большая и боишься? Слушай: через три года ты сама станешь смеяться, когда вспомнишь... будешь учиться, это уж я тебе обещаю... может быть, даже станешь учительницей... здесь же в селе.— Он помолчал, ожидая ответа, но Мария молчала.— Не веришь?

— Что я, господин директор, если вам приятно так говорить...

— Конечно, сможешь быть учительницей. Вот, например, моя жена. Разве она не крестьянская дочь? Как она пробила себе дорогу? А ведь они были куда беднее вас...

— Верно,— согласилась Мария, задумавшись, потом тихо засмеялась.

— Откроется много новых школ, государство даст возможность учиться тем, кто этого заслуживает, понимаешь? Настанет время — и очень скоро,— когда люди перестанут бояться друг друга...

Ему стало легче — раздражало только, что приходилось подбирать слова. Он не видел ее кривой улыбки, но догадывался, что Мария не верит ему. В реку упало несколько крупных дождевых капель.

— Господи,— прошептала Мария,— опять дождик пошел... Мне домой пора. Батюшки нету, вот я и убежала... Он на господскую усадьбу поехал, к Паппу. Совещание какое-то у них там.

— Не веришь ты мне,— тихо проговорил Джордже и с неожиданной злостью взял девушку за плечи.

— Ах, боже мой! Пустите, господин директор! — вскрикнула Мария.

— Слушай,— продолжал он, не выпуская ее.— Не бойся ничего. Я поговорю с Арделяну. Может быть, тебе лучше уехать в город, мы там найдем тебе занятие, пока не родишь.

В эту минуту на мост въехала телега, и Джордже едва успел отскочить в сторону.

— Эй...— крикнул возница, зажигая спичку и освещая стоявшую на мосту пару.— Кто здесь в такую погоду? — Спичка выпала у него из рук.— Боже мой, господин дирек... товарищ директор... не узнал...

Это был Кула Кордиш.

— А я в Вадаш, на мельницу ездил,— счел нужным объяснить Кула, с трудом приходя в себя от удивления.— Кукурузу молол... чтобы... Будьте здоровы, господин директор... Всего лучшего, господин директор...

Он стегнул лошадей, и телега укатила...

Несколько минут Джордже стоял неподвижно, потом повернулся, ища Марию.

— Где ты?

Ответа не было. Слышалось лишь торопливое шлепанье ног по грязи.

— Мария! — крикнул он.— Мария!

Девушка не отзывалась.

6

Всю ночь лил холодный дождь, а утром небо прояснилось. Молодая листва на деревьях, зеленеющая травка — все сверкало в ярких, теплых лучах весеннего солнца. Глигор шел к Митру и у колодца встретил Марию. Парню вдруг захотелось стать перед ней на колени, но Глигор отогнал от себя эту странную мысль. Проходя мимо девушки, он покраснел и так смутился, что даже не поздоровался.

— Людей не видишь, разиня! — окликнула его Мария, и Глигор остановился посреди дороги, раскрыв рот. Хорошо еще, что на улице никого не было.

Митру, чертыхаясь, пилил у себя во дворе тупой, ржавой пилой мокрые доски. Глигор, ни слова не говоря, принялся ему помогать, но от рассеянности только мешал. Митру, наконец, рассердился.

— Ступай прочь, пока пальцы не обрезал. Ты что это с утра как в воду опущенный? Что с тобой?

— Дурак я, вот что,— мрачно признался Глигор.

— Что правда, то правда,— кивнул головой Митру.— Как это ты догадался?

Но тут на улице раздался автомобильный гудок, послышались детские крики. Оба насторожились.

— Кого еще черт принес?

— Митру Моц! Эй, председатель! Тебя барин какой-то спрашивает! — крикнула соседка, бабка Валерия.— Иди скорей, к тебе гость на машине приехал!

Митру испуганно заморгал.

— Господин Моц! — позвал его кто-то с улицы.

— Ну-ка, Глигор, глянь, кто это!

Глигор чуть косолапой походкой, не торопясь подошел к воротам и выглянул на улицу.

В воротах стоял Спинанциу, с интересом осматриваясь по сторонам. Ребята с соседних дворов окружили плотным кольцом большой голубой автомобиль.

— Барин какой-то,— зычно провозгласил Глигор, бесцеремонно оглядев приехавшего.

— Здесь живет господин Моц? Это вы? — спросил Спинанциу.

— Нет,— сказал Глигор.— Я Глигор Хахэу.

— Сейчас,— крикнул Митру и, бросившись в хлев к стоявшему в углу сундуку, достал полученный от Джордже костюм и принялся торопливо одеваться. Глигор преспокойно уселся на пороге. Наконец Митру вышел.

— Дом строите? — поинтересовался Спинанциу.— Здравствуйте. Я — господин Спинанциу, секретарь его сиятельства барона Ромулуса Паппа де Зеринд.

— Вы имеете честь разговаривать с товарищем Моц, председателем комиссии по раздаче земельных наделов,— сказал Митру, и от усилия, которое потребовалось, чтобы связать воедино все эти слова, у него вспотели ладони.— Что вам угодно?

Спинанциу посмотрел на него долгим, скучающим взглядом. Затея барона послать его ни свет ни заря к этому остолопу, чтобы оказать на него какое-то воздействие, казалась Спинанциу глупой и бесполезной. «Спинанциу, голубчик, если бы председатель комиссии первым вычеркнул себя из их гнусного списка, это произвело бы на остальных сильное впечатление»,— сказал барон и подробно объяснил, как нужно разговаривать с таким животным, как Митру Моц. Адвокат подумал в это время, что не так уж плохо, если старик и дальше будет посвящать его в тайны своих политических методов.

— Знаете, братец, барон о вас очень хорошо отзывается...

Митру насупился. Ему было ясно — от него чего-то хотят, и он твердо решил не поддаваться.

— Он же меня не знает!..— И когда Спинанциу открыл рот, собираясь ответить, Митру прибавил:— Братец...

Покраснев как рак, Спинанциу так и остался с выпученными глазами. Глигор захохотал густым басом.

— Так вот, господин Моц... мне хотелось бы с вами побеседовать, очень хотелось бы.

— Пожалуйте.

— Сюда? — удивился несколько растерявшийся Спинанциу.

— Хата у меня, сами видите, еще не готова. Мы пока что живем в хлеву,— пробормотал Митру.

Откровенность его так понравилась Глигору, что он нарочно громко сказал, обращаясь к Флорице:

— Бедовый у тебя мужик, Флорица.

— Господин Моц, я приехал к вам, потому что вы председатель незаконно существующей комиссии. Не-за-кон-но! Мы считаем, что вы обмануты опасной пропагандой и идете по ложному пути.

Он ждал ответа, ждал возражений, но Митру, стиснув зубы, молчал.

— Ваша комиссия незаконна! — с решительным видом повторил Спинанциу.

— Глигор, скрути мне цигарку! — повернулся Митру к дверям хлева.— Послюнявь и заклей.

— Курите, пожалуйста,— поспешил протянуть свой портсигар Спинанциу.

— Мне эти не нравятся... Я к нашим, крепким привык,— отказался Митру.

— Итак, господин Моц, комиссия ваша незаконна и поэтому все ее решения тоже незаконны. Но мы не примем это во внимание.

— Мы тоже,— тихо проговорил Моц.

Шофер прогудел несколько раз, пытаясь разогнать детвору, но резкий звук клаксона очень понравился ребятам, и, вместо того чтобы разбежаться, они припали носами к стеклу — посмотреть, как действует этот интересный рожок. Несколько крестьян подошли к воротам. Но, увидев во дворе у Митру хорошо одетого барина, войти не решились. Спинанциу нервничал: он думал, что его проведут в хату — пускай даже самую неопрятную,— где ему удастся переговорить с глазу на глаз с этим животным, как он мысленно называл Митру, а вместо этого приходилось стоять посреди двора и привлекать зевак.

— Здесь разговаривать неудобно, господин Моц. Знаете что? Давайте-ка лучше проедемся в машине.

— Не могу,— коротко отказался Митру.

— Как? Почему?

— Так. Да и недосуг. Скажите, за каким делом приехали,— я вам отвечу.

— Комиссия незаконна,— снова произнес Спинанциу дрожащим от возмущения голосом.— И лишена каких бы то ни было законных полномочий. Так что вы только даром время теряете и...

— Нет,— перебил его Митру,— времени мы не теряем.

— Вот что! — заорал потерявший самообладание Спинанциу.— Вы с огнем играете, понимаете? Барон, по своей доброте, терпит, не берется за вас по-настоящему. А надо бы вызвать войска, чтобы вас образумить... Не суйтесь не в свое дело. Сами реформу собрались проводить?! Вы?! Земельная реформа дело сложное, и она уже давно проведена в Трансильвании. Поэтому вам и говорят: все, что вы тут делаете, не имеет никакого законного основания!

Глигор медленно, упершись рукой в бок, поднялся, подошел к Митру и протянул ему цигарку размером с добрый кукурузный початок.

— Получай!

— Спасибо, милый.

Глигор прыснул и скрылся в хлеву, откуда послышался его басистый хохот.

— Мы хотим с вами договориться,— продолжал Спинанциу,— найти возможность разрешить политические вопросы, которые...

— Глигор! — перебил речь Спинанциу Митру.

— Ну? — крикнул Глигор, высунув из дверей хлева голову.

— Какая у нас комиссия?

— Как так какая? Законная!

— Стало быть, господин, нам говорить не о чем. Ступайте себе с богом. В законе написано, что дают землю. Закон очень правильный.

— Земельная реформа будет проведена после свободных выборов, когда народ скажет свое слово,— попробовал привести новые доводы Спинанциу.

— Одно другого не касается,— Митру пожал плечами.— Что вам от меня надо?

— Именно, Митру, чего ему надо? — вступил в разговор какой-то крестьянин из-за забора.— Может, ему и правда что-нибудь надо, а ты не понял.

Митру побагровел от досады и, круто повернувшись, обратился к непрошеному советчику, так его и не увидев:

— А тебя кто спрашивает?

Крестьянин за забором, видимо, смутился, потом обиделся и уже собрался было ответить председателю, но раздумал и, решив, что при барине ругаться неудобно, ворча отправился своей дорогой. Зато другие, не желая пропустить ни одного слова, еще теснее столпились у ворот.

— Значит, вы не согласны? — крикнул Спинанциу.—Я думал, вы человек разумный, а вы, оказывается, просто бессознательный.

Не поняв слов Спинанциу, Митру угрожающе шагнул вперед.

— Кто-о?

— Бессознательный, то есть не отдаете себе отчета, с кем вы имеете дело...

Глигор, которому не терпелось принять участие в разговоре, решил, что подходящий момент настал.

— Можно мне тоже слово сказать? — спросил он, задыхаясь от волнения.— Разве один Митру землю получает? Многие получают, и я получаю, так что зря вы на одного Митру сердитесь.

Спинанциу бросил на землю только что начатую папиросу и пожал плечами.

— Вы ответите за последствия... Я думал, мы договоримся с вами по-хорошему, как добрые румыны...

— Будьте здоровы! — сказал Митру и поднял руку к голове, чтобы снять шляпу, но вовремя вспомнил, что вышел с непокрытой головой.

И тут же с удовлетворением подумал, что он вовсе не такой уж простак.

Дрожащий от негодования Спинанциу решил немедленно ехать к барону, чтобы рассказать, как печально окончился этот дурацкий разговор и к чему привела эта заранее обреченная на неудачу миссия.

Подходя к воротам, он обернулся к Митру и, состроив самую презрительную мину, процедил сквозь зубы:

— Так, значит, вы не боитесь, а?

— Не-ет,— ответил Митру, очень удивленный таким совершенно бессмысленным, по его мнению, вопросом: кого им было бояться?

Дверца хлопнула, и машина быстро покатила по сельской улице, раскидывая по сторонам желтоватую грязь.

7

После дождей влажный чернозем блестел и дымился. Над зеленой водой канав склонялся густой сорняк. Деревья, наполненные птичьим гомоном, радостно устремлялись в безоблачное небо. В воздухе дрожала едва заметная серая пелена, сквозь которую просеивались теплые солнечные лучи.

«Такие дни должны быть ознаменованы чем-нибудь особенно радостным»,— думала Эмилия. Она повернулась к Джордже, который шел, словно нехотя, низко опустив голову. Она попросила его пойти с ней, взглянуть на поля в Гриндурь, хорошо ли вспахал их Митру. Видя, что Моц всецело поглощен работой своей комиссии, она намеревалась намекнуть ему, что взятую исполу землю все же не следует запускать, иначе и они и он будут в убытке. Утром Эмилия поссорилась с матерью, которая, отведя ее в сторону, шепнула, что хорошо бы поговорить с Джордже, ведь он тоже воевал, а потому имеет право на надел, как и все остальные. Чем они лучше его?

Эмилия вздрогнула, как бы отгоняя от себя все эти мысли. Ей ни о чем не хотелось думать. Она, наконец, была вместе с мужем после

такой долгой разлуки, и только это теперь имело значение. Она взяла его под руку.

— Чем ты все время огорчен, Джордже?

— Вовсе нет... почему ты решила?

— Ну, значит, озабочен... Брось, милый... Все так или иначе устроится... Не нужно себя переутомлять... Пора отдохнуть.

— Зачем, Эмилия?

— Чтобы забыть,— решилась она высказать сокровенное.

Он посмотрел на нее каким-то странным взглядом.

— А ты уверена, что я хочу забыть?

— Конечно хочешь... Всякий человек хочет жить только завтрашним днем. Ты разве не знаешь сам?

Мысль показалась ему забавной, он усмехнулся и пожал плечами.

— Может быть...

— Знаешь, Джордже,— сказала Эмилия.— Я много думала... Ты прав во всем, что ты делаешь... Во всем, понимаешь?

— Ш-ш,— он закрыл ей ладонью рот.

Грубая ласка взволновала ее.

— Джордже, почему ты все время так озабочен? Отчего не расскажешь мне? Ведь я разделяю твои взгляды и согласна со всем, что ты тогда говорил...

Он остановился так неожиданно, что Эмилия испугалась и выпустила его руку.

— Эмилия, я не могу так жить дальше... Это... Я давно должен был тебе сказать, но мне не хватало...— он вздрогнул, и глаза его холодно блеснули.— Мне было трудно... из-за тебя...

— Господи,— прошептала она бледнея.

Он грустно и устало улыбнулся.

— Это не то, что ты думаешь... Пожалуй, поважнее.

У Эмилии задрожали губы. Ей хотелось закрыть глаза и крикнуть ему: молчи, не говори! Среди овладевшего ею смятения молнией мелькнула мысль, что она, в сущности, давно догадывалась о том, что он хочет сказать,— догадывалась с первой же проведенной с ним после его возвращения ночи. Ей рассказывали такие истории: люди на чужой стороне, в плену, связывались с другой женщиной, а возвратившись домой, после неудачной попытки восстановить прежние отношения уже навсегда уезжали.

Кровь бросилась ей в голову: только женщина могла изменить его до такой степени! Она давно это подозревала...

— Говори,— тихо сказала она,— я... я готова выслушать все что угодно.

— Я дальше так жить не могу,— мрачно повторил он, и чувствовалось, что ему трудно говорить,— Эмилия, мы... мы должны расстаться с землей...

В первую минуту она чуть не рассмеялась: ей показались его слова забавными. Она приготовилась к ужасным откровениям, к исповеди, которая нанесет ей смертельный удар, и вдруг услышала какую-то нелепость.

— Зачем же? — спросила она, стараясь сохранить серьезность.— Зачем продавать землю сейчас, когда деньги все более обесцениваются?

— Ты не поняла меня,— глухо перебил ее Джордже.— Я имел в виду не продажу, я хотел сказать, что землю нужно отдать...

— Кому? — удивилась она.

— Людям... крестьянам...

— Зачем? — Эмилия все еще недоумевала.— Зачем отдавать землю!

— Ты ничего не понимаешь,— пробормотал он, пожимая плечами.— Эмилия, я рассказал тебе все, что со мной было... но ты не поняла самого главного: мне в один прекрасный день стало просто стыдно за самого себя... я понял, что был полжизни мелочен и слеп... Я *наживал*... обогащался... А это отдаляло меня от людей, от всего, ради чего стоит жить...

Она глядела на него широко раскрытыми глазами — и по-прежнему ничего не могла понять.

— Эмилия, — сказал Джордже, и в его голосе прозвучала безнадежность,— что мы оставим... после себя?

Она молчала.

— Я мог жить, как жил, потому что не знал. Теперь я знаю и больше не могу. Я давно хотел тебе сказать... И вчера вечером собирался, но боялся, что ты меня не поймешь...

Он протянул руку и хотел обнять жену, но она отшатнулась, Джордже покачал головой.

— Эмилия, я не могу примириться с тем, что Митру, сознательность которого только теперь пробуждается, работает на меня. Это невыносимо, нестерпимо.

Она с растущей тревогой улавливала по тону, что Джордже говорит вещи выстраданные и очень важные.

— Пройдет несколько лет, и ты поймешь... Я уверен в этом. Пока — я знаю — ты не можешь. Теперь... теперь тебе нужно просто довериться мне... я много пережил и передумал.

Эмилия вдруг рассердилась. Увидев, как под ее тонкой кожей разгорелся румянец, как гневно блеснули глаза, Джордже потупился.

— А я разве мало выстрадала? Одна-одинешенька... непривычная... Унижения, одиночество... Только ты, оказывается, страдал! И из-за того, что ты страдал, мы должны лишиться всего, раздать все, что с таким трудом нажито. И кому, спрашивается? — Она задыхалась. — От тебя потребовали этого в России?

— Нет,— последовал быстрый ответ.— Никто от меня этого не требовал.

— Ты не в своем уме! — воскликнула Эмилия, и ее голос замер в просторе полей, залитых весенним солнцем.— Мало мы трудились? Украли мы эту землю, что ли? Ведь копили, экономили каждую лею — хотели обеспечить себе спокойную старость!

— У нас будет спокойная старость... Но ведь другие тоже имеют на нее право. А так я никогда покоен не буду...— Он взял ее за руку, но Эмилия отстранилась...— Ты сама это почувствуешь... может быть, даже раньше, чем думаешь... Жизнь идет вперед... Создается новая этика, новые понятия.

— Что ты мне тут проповедуешь? Как так? С какой стати? Нашу землю? А потом жить на жалованье? Голодать? Боже сохрани! Ты стыдишься Митру? Да ведь не дай ты ему работы, он бы с голоду помер или бился бы в нищете с семьей. Сам ты облагодетельствовал его, а теперь еще стыдишься! И это коммунизм? Тогда, конечно, можно понять тех, которые...

Но Джордже уже не слушал ее, задумчиво глядя вдаль.

— Ты лжешь! Все вы лжете! Вы, коммунисты! Раздаете крестьянам землю... Зачем вы это делаете, если иметь свой кусок хлеба у вас считается позором?

— Они сами обрабатывают землю... — раздраженно сказал Джордже.— А за нас трудятся другие... Понимаешь? В этом вся разница.

— Если бы тебя слышала мама! Боже, что бы с ней было! Она бы прокляла тебя! Бедная старуха всю жизнь гнула спину, работала на помещика, чтобы у нас было что-то свое. Она способна за такие слова убить тебя, ошпарить кипятком...

— Да не только она, кажется,— Джордже улыбнулся, но тут же снова нахмурился.— Не желаю я больше такой жизни!

— Тогда пойди и сунь голову в петлю! — крикнула Эмилия вне себя от негодования.

Она тут же раскаялась, но, к своему удивлению, заметила, что Джордже ничуть не обиделся.

— И пожалуйста, не пытайся меня убеждать,— продолжала она спокойно.— Все это глупости. Зачем отдавать? Ты должен поговорить о земле с Митру. Если ему не подходят наши условия, пускай убирается к черту!

— Нехорошо так говорить. И очень печально, что ты...

— Ты мою землю не тронь! — возмущенно крикнула Эмилия и, не оборачиваясь, пошла к дому.

Все, что он сказал, казалось ей бредом сумасшедшего, бессмыслицей. Она досадовала на себя за то, что была под таким впечатлением от его рассказов о войне. «Словно другие не прошли через все это... Миллионы солдат и офицеров вернулись с фронта или из плена, но ни у кого нет таких идей...»

Она оглянулась: Джордже, дымя папиросой, следовал за ней на расстоянии нескольких шагов.

— На тебя пальцами станут показывать, если ты это сделаешь! Смеяться над тобой будут... Даже те самые крестьяне, которым ты отдашь землю, сначала тебя поблагодарят, а потом сами же станут издеваться!

— Возможно, что ты права.

— Тогда в чем же дело? — удивилась Эмилия.

— Не для них я должен это сделать... а для себя.

— Пустые слова...

Когда они дошли до села, он свернул налево.

— Куда? — крикнула Эмилия.

— К Арделяну, по делу...

— Ага! — громко и вовсе не заботясь о том, что ее могут услышать, продолжала Эмилия.— Скажи ему, чтоб ноги его у меня в доме больше не было! Чтоб глаза мои этого бандита не видели! Понял?

— И не увидят... Но ты потом пожалеешь.

— Я? Никогда!

Домой Эмилия прибежала с мучительно бьющимся сердцем. На пороге остановилась передохнуть — попробовала успокоиться. Мать ничего не должна знать. Узнает — обезумеет от горя. Она всегда недолюбливала Джордже.

Эмилия вытерла сухие глаза и вошла в кухню. Она удивилась, увидев сидящего там Кулу. Стрелочник сконфузился, и грязная железнодорожная фуражка соскользнула с его коленей на пол. Анна стояла перед ним, и на ее маленьком сморщенном лице играла ехидная улыбка. Услышав шаги Эмилии, старуха нагнулась к Куле и похлопала его по колену.

— Ну, Кула, спасибо тебе, что ты нам сказал. Очень я этому рада — привыкла про каждого человека знать, что от него можно ожидать... А теперь, голубчик, ступай... Спасибо тебе... С дочерью сама поговорю... Я уж знаю, как ей сказать...

— Будьте здоровы, целую ручки,— пробормотал стрелочник и с растерянно-испуганным видом вышел во двор. Фуражку он надел только в воротах.

— А этому что еще надо? — набросилась на мать Эмилия.

— Зачем так говорить, он хороший сосед... честный человек... И к нам хорошо относится... Ему наша честь дорога... даже очень дорога... Вот он и пришел. И правильно сделал, что пришел...

— И что же он сказал?

— Ничего... — вздохнула старуха и прикинулась, будто утирает слезы платочком.— Ах, господи, хорошо, когда люди честные, порядочные, когда желают другим добра...

— Что случилось, мама? — всполошилась Эмилия.

Приемы матери были ею хорошо изучены, и она знала, что услышит сейчас что-то очень неприятное.

— Да говорю ведь, что ничего... Кула-то не очень умен... Зато честный человек. Говорит, будто вчера вечером... видел он этого самого... как его?.. Твоего, словом, муженька, под мостом с... дочкой Гэврилэ Урсу.

— Врет! — не своим голосом крикнула Эмилия и бросилась к матери.

— Может статься, что и врет,— согласилась старуха.— Очень может быть, я не спорю, упаси боже... Опять же поздней ночью... Хотя у Кулы, правда, глаза хорошие. Знаешь, милая, на железной дороге... нужны хорошие глаза, нужно издали видеть всякие там паровозы и вагоны, как они идут и куда их следует пускать, иначе произойдет несчастье и не мудрено даже на каторгу угодить.

— Врет!

— Я же тебе сказала, что все может быть,— рассердилась старуха.— Тебе лучше знать...

— Врет... неправда это... хотя лучше уж, чтобы была правда...

— О, господи! В своем ли ты уме? Неужели тебе безразлично, что над тобой будет смеяться все село! Поп тебя в церкви стыдить будет, люди ворота, как последним шлюхам, пометят, здороваться с тобой перестанут... А тебе все равно! Ишь, как он тебя околдовал!...

— Молчи, мама, милая, пожалуйста, молчи... У меня сейчас другие заботы... Смотри лучше, как бы у тебя на плите мясо не подгорело.

Присев к столу, Эмилия сжала ладонями разгоряченный лоб, но думать ни о чем не могла. Она слышала, как мать, снимая крышку, мешает в кастрюле, слышала, как трещат дрова, чувствовала, как плита неприятно пышет жаром. Она не верила словам Кулы. Представить себе Джордже с другой женщиной она не могла.

— Я хочу тебе кое-что сказать. Ты не рассердишься? — медовым голосом спросила старуха.

— Говори... только покороче. Мне не до сказок!

— Может, ее Гэврилэ Урсу зачем-то подослал?.. Только, если хорошенько поразмыслить, скорее всего девка сама пришла — предостеречь, чтобы он к ним больше не ходил, а то старик велит Эзекиилу кости ему переломать.

Эмилия не ответила. Она долго молчала, стиснув руками голову, потом вдруг обратилась к матери:

— Знаешь, мама... Джордже хочет отдать нашу землю крестьянам... Говорит, будто ему, как коммунисту, нельзя владеть землей... Это он мне сегодня заявил... Слышишь? Понимаешь? Ну-ка, а теперь расскажи еще что-нибудь!

Старуха выронила из рук ложку.

— Где ты, Милли? — взвизгнула она.— Иди скорей, а то упаду!

Эмилия выскочила из-за стола, схватила стакан, наполнила водой и бросилась к матери.

— Не нужно,— прохрипела, задыхаясь, Анна.— Да, я помню, что и в Венгрии, когда там была революция, вот так же хотели у всех землю

отобрать, только господь бог смилостивился, не попустил... Давно я этого боялась... только тебе не говорила...

Не зная, на что опереться, она чуть не положила руку на раскаленную плиту.

— Тебе плохо, мама?

— Нет, ничего. Помоги мне дойти до кровати... Я лягу, подумаю, умом пораскину...

Эмилия уложила старуху и принялась тереть ей виски, чувствуя кончиками пальцев вздутые, пульсирующие жилки.

— Я убью Теодореску,— шептала Анна.— Зарежу!

— Ш-ш, мама! Молчи!.. Успокойся... Того, что он хочет, все равно не будет...

— Ох, будет,— Анна металась по подушке.— Непременно будет... Я тебя знаю...

Эмилия долго не отходила от матери, слушая, как в кухне бьют часы: прошел час... другой... третий... Старуха теперь лежала молча, только ерзала головой по подушке.

В половине четвертого кто-то открыл дверь в кухню. Эмилия узнала шаги Джордже и снова почувствовала приступ ярости. Она выскочила в кухню и увидела, что Джордже, открыв духовку, приподнял крышку кастрюли. Это окончательно вывело Эмилию из себя.

— Чего пришел? — напустилась она на мужа.— Чего не остался у своего Арделяну? Он бы тебя и накормил! Разве коммунистам есть полагается? Вы же святые апостолы!

Он с осуждением посмотрел на жену.

— Это вульгарно, Эмилия, и бессмысленно.

— Вульгарно? Ты меня укоряешь, ты вправе меня укорять?! Да разве ты не видишь, что... Не понимаешь, что... Мы все так ждали тебя с войны, я, Дан, мама...

— Только не я! — послышался из соседней комнаты голос старухи.

— ...Мы ждали тебя с таким нетерпением, с такой любовью, а ты хочешь нас погубить! Зачем? Разве ты не отдаешь себе отчета в том...— в эту минуту она вспомнила о приходе Кулы, и ее глаза наполнились слезами,— что ты калека? Я только из жалости пересиливала себя, прикидывалась... Я молодая женщина... Да! Я еще молода, чтобы связывать свою жизнь с одноруким инвалидом!.. Который к тому же собирается нас разорить... И ради чего?

Джордже побледнел и, не сказав ни слова, шагнул к двери и вышел. Крышка от кастрюли так и осталась у него в руке. Он выронил ее, лишь дойдя до середины двора.

В течение нескольких минут Эмилия чувствовала удовлетворение, потом ей вспомнилось белое как мел лицо мужа, удивленный и в то же время какой-то страдальческий взгляд, и она бросилась за ним. Добежала до ворот, распахнула их настежь, хотела позвать Джордже, но он уже стоял на мосту с двумя крестьянами. Эмилия медленно вернулась и, стараясь не шуметь, тихо закрыла ворота.

В кухне она застала весело хлопотавшую у плиты старуху.

— Пойди, доченька, я тебя поцелую! Здорово ты его отделала!.. А то что в самом деле? Он думал, ему это пройдет!

— Брось, мама... Пожалуйста... Оставь меня теперь... Поди ляг...

Старуха замерла посреди кухни. Счастливое выражение исчезло с ее лица. Она озиралась по сторонам.

— Я боюсь... Слышишь, Эмилия? Боюсь! — повторяла она приглушенным голосом.— Теперь все на свете вверх дном... Были бы у меня глаза получше...

8

Эмилия долго не могла поверить, что все, происшедшее между нею и мужем,— явь, а не сон. И она снова вспоминала сконфуженного Кулу, комкавшего темными пальцами железнодорожную фуражку, перед ней вставало бледное недоумевающее лицо Джордже со сжатыми губами.

Она сидела за столом, положив руки на мокрую клеенку. Тикание стенных часов удручало ее, и она с безотчетной тревогой ждала, когда ржавый молоточек будет отбивать время. Старуха не находила себе места и, бродя вдоль и поперек кухни, натыкалась на столы, что-то бормотала себе под нос. Жилки так сильно вздулись у нее на висках, что Эмилия испугалась и строго заметила матери:

— Присядь же, мама, что ты все топчешься! Хочешь, чтобы у тебя опять начался приступ подагры?

«Пускай бы лучше твой муж заболел, разрази его гром!» — хотела крикнуть Анна, но голос изменил ей, и она закашлялась сухим, мучительным кашлем.

Эмилии стало жаль мать.

— Мама, ради бога! Ты даже не обедала... Садись, я дам тебе супа...

— Не хочу я никакого супа. Скажите, пожалуйста, о чем она думает! О супе! Можешь выплеснуть его свиньям... До чего ж ты нечувствительная! Только и думаешь что об еде... Будь проклят, пропади он пропадом, этот твой сумасшедший муж! Лучше бы, ей-богу, не возвращался, остался бы где-нибудь, как мой Павел! Столько честных, хороших людей пропало, а вот такие, прости господи, дураки возвращаются. Проказа бы его заела!

Эмилия с усилием встала, открыла буфет и достала бутылку с цуйкой.

— Выпей, мама, тебе поможет,— сказала она, пытаясь дать матери стаканчик, но руки Анны так дрожали, что цуйка расплескалась и потекла по пальцам.

— Не могу,— сказала Анна.— Поставь куда-нибудь... Боже мой! Зачем мы с твоим отцом всю жизнь трудились?.. Неужто для этого сумасшедшего!.. Ох, господи, господи...

Видно было, что ей хочется плакать, но она не может.

— Не бойся, мама, не тронет он нашей земли,— проговорила Эмилия, стиснув зубы; в эту минуту она была удивительно похожа на Анну,— что бы ни случилось...

— Что?.. — быстро спросила старуха и подбежала к дочери.— Что?

— Все равно что!

— Поклянись,— прошептала Анна и вцепилась в Эмилию костлявыми узловатыми пальцами.

— Клянусь, мама, да неужто ты в самом деле думаешь, что...

— Почем я знаю?! Ты всю жизнь слепая была, ни о чем не заботилась, бог тебя знает, в кого ты такая пошла... Разве что в отца — он тоже тряпка был. Если бы не я, вы бы нищими были, а ты бы так и осталась мужичкой, слышишь?

— Да, мама, знаю... знаю... Давай обедать.

— Мужичкой бы так и осталась,— повторила, вся дрожа, старуха.— Слышишь, Эмилия?

— Господи, мама, что с тобой? Успокойся... Тебе будет нехорошо.

— Мужичкой бы была!.. — взвизгнула Анна.— К старости все зубы вывалились бы... как у меня... Мне, небось, других никто не вставил! Поклянись, что ты его не послушаешь!..

— Клянусь, мама,— прошептала Эмилия.

В глазах ее стояли слезы, и в то же время ей было страшно.

— Клянись своим здоровьем, здоровьем Дана, — не унималась старуха.

Мертвенная бледность покрыла ее лицо. Все мелкие морщинки на нем казались теперь прочерченными тушью.

— Ты совсем рехнулась, мама! — вскрикнула Эмилия.— Садись обедать, довольно об этом!

Она накрыла на стол, налила суп и, взяв ложку, стала болтать ею в тарелке. Старуха сидела несколько минут неподвижно, а потом жалобно спросила:

— Зачем ты меня заставляешь есть, раз я не голодна?

— Тогда делай что хочешь,— устало пожала плечами Эмилия.— От тебя тоже толку не добьешься.

Некоторое время в комнате царило молчание. Эмилия злобно ударила подошедшую приласкаться кошку.

— Нужно посуду мыть,— сказала она, устыдившись своего поступка.

— Черт с ней, с посудой,— пробормотала старуха.— Не порти себе рук, ты же барыня...

— Знаешь что? Поди ляг, мама, отдохни... — сказала Эмилия, хотя ей и не хотелось оставаться одной.— Слушай,— не удержалась она.— Ты веришь... этому свинье Куле?

Но тут же пожалела, что спросила, догадываясь, какой будет ответ.

— Я почем знаю? — усомнилась старуха.— Если мужа твоего бог покарал, разум у него отнял... Гэврилэ пронюхает, велит Эзекиилу его убить... Он, Гэврилэ, только с виду смирный, а на самом деле не дай бог!.. Вся порода у них такая лютая. И отец такой же был... Теофил...

— Ты, значит, веришь? — крикнула Эмилия, с ненавистью глядя на мать.

— Чего ж ты его сама не спросила? — огрызнулась Анна.

— Что его спрашивать?.. Противно мне... Ладно, мама... Ты, я вижу, только о себе и думаешь... Ступай ложись, не мешай мне...

Старуха язвительно улыбнулась, встала из-за стола и прошла в свою комнатку. Только теперь она почувствовала голод. Было досадно, что Эмилия больше не уговаривает ее пообедать. Ворча, Анна наконец улеглась и стала прислушиваться к бою часов — скоро ли ужин?

У Эмилии не было сил приняться за работу. Она машинально протянула руку, взяла со стола зеркало и, думая о другом, взглянула в него. Молнией пронеслось в голове воспоминание о ее ночах с Джордже после его возвращения, и ей стало стыдно. «Негодяй»,— подумала Эмилия, но слово это как-то не вязалось с ее представлением о муже. В душу снова вкралось сомнение: «Неужели он правда живет с Марией?» Она попробовала вообразить себе, что именно могло произойти между ними, но не сумела. «Я всегда была честной женой... А он, в эти военные годы, далеко от дома...» В ее душе снова бушевала ненависть. Она вбежала в комнату матери.

— Земли он нашей не тронет! Так и знай! Слышишь, мама? Можешь не беспокоиться!

— Разведешься — какая тебе будет польза? — чужим, сонным голосом проговорила старуха.— Про тебя же станут всякое говорить, не про него.

— Продам все! Уеду в город и найду себе службу... Дан, бедняжка, там один, и...

Кто-то неуверенно постучался в дверь. Джордже! Эмилия вздрогнула и кинулась в кухню. Прильнув к стеклу, в окно глядел Суслэнеску. В первую минуту она не узнала его: бледный, с синим небритым подбородком, он напоминал мертвеца. Засохшая грязь на костюме, всклокоченные волосы, давно немытые руки... Эмилию испугали увеличенные очками глаза, оторопелый блуждающий взгляд...

— Что вам? — крикнула она.

Суслэнеску, открыв дверь, споткнулся о порог, чуть не упал и прислонился к стене.

— Здравствуйте, целую ручки,— пролепетал он невнятно.— Я не хотел вас беспокоить... Мне нужно поговорить с господином Теодореску...

— Его нет дома! — грубо ответила Эмилия.

— Ах, его нет дома? — удивился Суслэнеску. — Как жаль, что его нет дома! — Он криво улыбнулся и покачал головой.— Пожалуйста, извините меня, простите, пожалуйста...

— Что с вами? — мягче спросила Эмилия.— Случилось что-нибудь?

— Нет, ничего,— помолчав, глухо ответил Суслэнеску.— Вернее, лишь то, что должно было случиться... и что я заслужил. Еще раз прошу извинить меня за беспокойство. Простите... Мне нужно идти.

Его грязное лицо было влажно от слез. Эмилия не выносила, когда при ней плакали. Суслэнеску снял очки и стал похож на ребенка. Было даже странно, что у него так густо растет борода.

— Успокойтесь, пожалуйста,— сказала Эмилия.— С вами, наверно, произошло что-то очень серьезное... Вас... Чем можно вам помочь? Присаживайтесь к столу... Обед у меня не бог весть какой... но...

Суслэнеску сел, взял в руку ложку, но после первого же глотка слезы снова брызнули у него из глаз. Стараясь сдержаться и скрыть их от Эмилии, он нагнулся над дымящейся тарелкой.

— Поссорились с Кордишем? — спросила она без особого любопытства.— Знаете, не нужно было от нас переезжать. Мы к вам привыкли и... вообще, вам было лучше оставаться у нас.

Он вздрогнул и утер рукавом слезы.

— Господи! — не на шутку испугалась Эмилия.— Прилягте немножко... Как бы вам не сделалось дурно...

Суслэнеску покорно лег на топчан и прикрыл лицо рукой, судорожно вздрагивая от нервных рыданий. Он больше не стыдился своей слабости — слезы даже доставляли ему какое-то облегчение. Звук тихо закрывающейся двери заставил его приподняться на локте.

Лишь теперь, в этой чистой кухне с блестевшими на полках медными кастрюлями его окончательно сразила усталость. И снова при мысли о случившемся им овладела бессильная ярость. «Чтобы отомстить, нужно выбрать, к кому примкнуть: к тем или к другим»,— думал он.

— Идите сюда, господин Суслэнеску,— сказала, входя в кухню, Эмилия.

Он послушно последовал за ней и, стараясь скрыть свое волнение, спросил:

— Но где же господин директор?

— Не знаю,— сухо ответила Эмилия.— Меня это вовсе не интересует.

— Теперь, госпожа Теодореску, моя очередь задать вопрос: что случилось? Я шел сюда... если бы знали, чего мне это стоило... Я шел сказать ему: извините меня, я был слеп и не хотел понять того, что, когда сталкиваются две силы, нужно хорошенько подумать и решить, на чью сторону стать. Я хотел просить прощения у вашего мужа за то, что не понял его, не понял смысла и значения того, о чем он говорил нам в то воскресенье... Я был пьян, а вино, при моем слабом здоровье, действует на меня плохо.

— Неужели?

Эмилия окинула Суслэнеску внимательным взглядом — не пьян ли он и теперь?

— Я собирался сказать ему: «Вы видите человека, который признает свое поражение. Неужели вы отвергнете его?»

— С него станет. Для него теперь все безразлично.

Суслэнеску разочарованно пожал плечами.

— Я восхищался вами, госпожа Теодореску, восхищался тем, что вы сумели его понять... У меня в прошлом было другое, я оставил за собой развалины...

— Вы еще молоды, как можно так говорить? Что вы нашли в Теодореску?

— Не знаю, как назвать: волю, силу — неважно... может быть, душевную ясность...

Он видел, что Эмилия слушает с раздражением, и потому нарочно не давал ей говорить, объясняя ее настроение пустячной семейной размолвкой.

— Вам, кажется, нездоровится? — желая перевести разговор, спросила Эмилия.— Не желаете ли....

— Нет,— перебил Суслэнеску.— Я хочу видеть господина директора.

Его упорство вывело Эмилию из себя. Она подошла к учителю вплотную и, почти касаясь его, злобно проговорила:

— Он ушел из дому. Я прогнала его, понимаете?

— Что вы?.. — прошептал Суслэнеску.

— Вы переехали от нас и не успели его раскусить... Мы выбились из низов, мне не стыдно в этом признаться... Родители трудились не покладая рук, работали на других, чтобы как-нибудь нас обеспечить... Потом мы с ним тоже трудились, наживали, не позволяли себе никаких удовольствий...

Суслэнеску рассеянно улыбнулся. Может быть, именно эта улыбка и вызвала ее на откровенность.

— Подумайте! — воскликнула Эмилия.— Он собирается отказаться от имущества! Понимаете? Хочет раздать землю! Нашу землю, не думая о...

Дальше Суслэнеску услышал лишь отчаянные, бессвязные слова: ребенок... его будущее... Париж... университет... земля... обезумевшая от горя мать... И снова — земля, земля...

9

Суслэнеску не знал, долго ли проспал на станции. Его разбудил Туркулец и предложил большой ломоть хлеба с салом. Дрова все еще весело трещали в чугунной печке, но Суслэнеску было холодно: он лежал голышом под черной, жесткой, колючей шинелью.

— Я тоже, знаете, не прочь выпить,— сказал начальник станции,— но никогда еще не видел человека в таком виде, как вы вчера! Прийти сюда из Лунки, по колено в грязи! Еще счастье, что не споткнулись, а то так бы и остались где-нибудь в канаве. Потом подобрали бы покойничком...

Суслэнеску удивленно на него посмотрел.

— Видите, вы даже не помните, что с вами было! Позвольте представиться: Аврам Туркулец, начальник станции. Но, между прочим, мы с вами были знакомы. Глотните из этой бутылки — вам будет лучше. Я выйду, а вы вставайте, при мне вы, может быть, стесняетесь...

Суслэнеску быстро оделся и почувствовал себя освеженным и бодрым. Только чуть слезились воспаленные глаза. Туркулец вскоре вернулся и сказал, что из Лунки пришла подвода. Суслэнеску не успел произнести ни слова, как очутился на кожаной скамейке, ноги его были укрыты вонючим овчинным тулупом. Впрочем, все это было, пожалуй, к лучшему — у него вовсе не было намерения бежать из Лунки. Барон впал в детство. Не может быть, чтобы остальные это не поняли. Особенно Гэврилэ Урсу, который так умен. В конце концов, его, Суслэнеску, достаточ-

но здесь уважают, чтобы хотя бы выслушать, дать ему высказаться и объясниться. Тупоумие руководителей «исторических партий» и так уже наделало достаточно зла. Нельзя допустить, чтобы они продолжали эту близорукую политику...

Сильвия Кордиш сказала ему, когда он появился, что муж на каком-то совещании у Клоамбеша, и объяснила, как туда пройти. Суслэнеску, не раздумывая, отправился к Клоамбешу и долго стучал в ворота. Какая-то тучная женщина наконец открыла ему, спросив: «От Паппа?» — и провела, не дав времени ответить, в дом.

Когда Суслэнеску вошел в большую комнату, куда совершенно не проникал воздух через закрытые одеялами окна, водворилась мертвая тишина. Вокруг стола, на котором горела керосиновая лампа с закопченным стеклом, сидели Кордиш, Пику, Клоамбеш и двое неизвестных. Один из них, высокий, небритый, светловолосый,— Суслэнеску не знал Баничиу,— грубо спросил:

— А этому что надо?

— Я преподаватель Суслэнеску,— представился учитель и продолжал, прежде чем другие успели что-нибудь сказать:— Я пришел объясниться... Вчера произошло досадное недоразумение... Барон...— Он запнулся, не зная, как обратиться к присутствующим.— Господа, нужно же разобраться... Барон, по-видимому, не отдает себе отчета в создавшемся положении... Наш долг объяснить ему, если нам действительно дорого дело. Упрямство в подобных случаях может привести лишь к...

— Слушайте, Кордиш, что ему надо? — повторил, раздувая ноздри, Баничиу.— Какой Иуда впустил сюда этого субъекта?

— Моя жена! — признался Клоамбеш.— Это же тот самый, которого вчера прогнал барон...

Баничиу отставил стул, подошел к Суслэнеску и взял его за подбородок.

— Ты что, меня провести собрался?

— Послушайте! — хотел возразить Суслэнеску. Но Баничиу так сильно ущипнул его, что он чуть не вскрикнул от боли.

— Подосланный коммунистами агент! А вы, рохли, чего смотрели?.. Вы видите, господа, эту физиономию! Очки — велосипед, нос — хоботом!

— Послушайте,— пытался вставить слово Суслэнеску.

Прозвучала звонкая пощечина. В ушах учителя как-то странно зазвенело.

— Господин Кордиш... Пожалуйста,— прошептал он растерянно.

Рассвирепевший Баничиу ударил еще раз — уже изо всех сил. Суслэнеску пошатнулся и отлетел к стене. К нему, с поднятой рукой, снова подходил Баничиу.

— Не бейте!..— простонал несчастный.— Клянусь...

— Катись! Скажи тем, кто тебя подослал, чтоб... Вон отсюда! — заревел Баничиу и, схватив Суслэнеску за плечо, вытолкал за дверь.

Суслэнеску лишь позднее осознал все, что с ним произошло. Он шагал по улице, механически передвигая ноги по начинавшей подсыхать грязи, стараясь не упасть в эту грязь и не зареветь, как ребенок, дергаясь руками и ногами от бессильного отчаяния. Конец!..

Эмилия, склонившись к нему, все говорила и говорила, и эта многоречивость казалась Суслэнеску человеческой и понятной. Ему стало жаль жену Теодореску, и в эту минуту он был бы счастлив найти с ней общий язык.

Суслэнеску напрягся и припал сухими губами к тонким, неожиданно мягким и гибким пальцам Эмилии.

— Если бы я не знал Джордже, мне кажется, я сегодня покончил бы с собой... И уже один тот факт, что он спас человеку жизнь...

Он запнулся. Продолжать не имело смысла. Она посмотрела на него снисходительно и немножко иронически, или ему это только показалось?

— Но кто дал ему право распоряжаться тем, что нажито моими трудами?—спросила она раздраженно.—Будто он не понимает, что настанет старость и... — Она смолкла, а затем продолжала несколько смягчившимся голосом: — Ведь у него уже седые виски... Какое значение может иметь то, что у нас есть земля? Ну скажите же: какое значение?

— Я сейчас не могу вам объяснить...

— Видите? А что если я вам скажу, что он... сошелся... связался... с одной крестьянкой?..

Суслэнеску ответил не сразу:

— Ах, госпожа Теодореску. Это действительно ужасно...— Он вскочил и еще раз поцеловал руку Эмилии.— Где мне найти Джордже?

— Вероятно, у Арделяну, у этого механика... А вам он, собственно, зачем?

Суслэнеску вежливо поклонился.

— Я хочу, сударыня, записаться в коммунистическую партию.

И вышел, прежде чем Эмилия успела вымолвить слово.

10

Он нашел их в низенькой комнатке с глинобитным полом. Они обедали вдвоем. На столе лежали брынза, жареный цыпленок, вино.

В углу стояла высокая, как катафалк, кровать, покрытая зеленым одеялом. На полу вдоль стен были расставлены книги.

— Я должен сообщить вам нечто очень, очень важное...— начал, заикаясь от волнения, Суслэнеску.— Завтра... они собираются устроить большую манифестацию... напасть на вас... Барон приведет своих моцев, их подпоят...

— Что вы говорите? — Арделяну был изумлен, но взял себя в руки.— Присаживайтесь, пообедайте с нами.

— Пожалуйста, верьте мне...

— Откуда вам все это известно? — спросил Джордже.

Суслэнеску сел, взял папиросу из лежавшей на столе пачки, прикурил и с наслаждением затянулся.

— Я участвовал в совещании, где это обсуждалось... у барона! — отчеканил он.

Джордже смерил его взглядом с головы до ног.

— Почему вы пришли нам это рассказать? — недоверчиво спросил Арделяну.

— Потому что я понял... отдал себе ясный отчет... что правы вы...— смущенно проговорил Суслэнеску, глядя на Джордже.

— Что ж, и это неплохо! — механик кивнул головой, даже не пытаясь скрыть недоверие.

Стараясь говорить как можно хладнокровнее, Суслэнеску рассказал обо всем, что произошло у барона. Ему было приятно, что Арделяну, слушая его, хмурится. Это значило, что ему верят. Он замолк, пододвинул к себе блюдо с цыпленком, отрезал ножку и стал есть с полным сознанием того, что заслужил этот кусок.

Арделяну встал из-за стола и принялся расхаживать по комнате, покусывая седой ус и заложив руки за спину.

— Видите! Нужно действовать, товарищ директор...— сказал он, поворачиваясь к Джордже.— Собрать партячейку... принять меры.

Царанистская манифестация должна превратиться в нашу манифестацию...

— Джордже...— продолжал Суслэнеску.— Я не мог поступить иначе. Я хотел быть последовательным, но, может быть... не знаю почему... мне никогда это не удавалось. Всегда что-то случалось, что бросало меня не туда, где мне хотелось быть...

— Не обижайтесь на нас, господин учитель,— сказал Арделяну.— Все, что вы говорите, очень важно, только нам сейчас...

— Я хочу записаться в партию! — выпалил Суслэнеску.— Что для этого нужно?

— Что ж. Подайте заявление... Не торопитесь... Мы, товарищ учитель, еще с вами побеседуем... Спасибо, что предупредили. Манифестация застала бы нас врасплох. А это как раз теперь не годится... С заявлением успеете... Еще подумайте...

— Я уже думал...

— Вот вам перо и бумага, если хотите, пишите,— почти грубо сказал Арделяну.— Ну, товарищ Теодореску... мы с вами должны мобилизовать всех, кто получит наделы... всех честных людей... и дать бандитам хороший урок.— Он усмехнулся.— Это поважней... личных переживаний... которые...

— Все важно,— перебил Теодореску, и эти простые слова, вернее тон, каким они были сказаны, разочаровали Суслэнеску, который ждал от Джордже другого, чего-то более дружеского и теплого.

Он положил перед собой бумагу, но не знал, как написать заявление, а спросить Арделяну не решался. Механик о чем-то шептался с Джордже, и Суслэнеску хотелось думать, что они говорят вполголоса только для того, чтобы ему не мешать. Самое важное начать. Конечно, никаких высокопарных фраз — простые, прочувствованные слова... «Прочувствованные» — глупость!.. А может, написать правду? Неприкрашенная правда звучала бы приблизительно так: «Я хочу быть с вами, потому что мое одиночество причиняет мне постоянные унижения и проделывает со мной злые шутки. Я хочу чувствовать, что за моей спиной есть что-то, есть какая-то сила, которая будет меня защищать...»

Суслэнеску снова почувствовал озноб, задрожали руки.

—. Мне очень плохо,— тихо и как-то даже торжественно заявил он, оглядываясь и словно ожидая чего-то.

— Да, у вас лицо горит,— сказал Арделяну и, подойдя, положил ему руку на лоб.— ...Вот черт, что с вами? Прилягте.

Суслэнеску улегся на кровать лицом к стене, потом с трудом повернулся и проговорил:

— Спасибо вам.

ГЛАВА VIII

I

Школьный двор был весь залит серебряным светом месяца, и пыль, покрывавшая молодую листву слив, казалась мукой мельчайшего помола. Здесь еще царила тишина, лишь издалека слышался надтреснутый рожок сельского свинопаса и доносился глухой топот стада.

Анна подняла лицо к небу и почувствовала рассвет. Она когда-то любила утреннюю свежесть, но теперь холод пронизал ее насквозь и она знала, что целый день не согреется. Старуха не помнила — спала она ночью или нет. Но память хранила множество лиц, фигур и предметов, которые видишь только во сне.

С вечера Анна замесила тесто и теперь ждала Савету Лунг — вдову, помогавшую ей печь хлеб с тех пор, как она перестала видеть.

Старуха на ощупь наполнила тестом корзинки, в которых его переносили к стоявшей во дворе печи, потом вышла и кликнула Савету. Вдова, по ее соображениям, уже должна была прийти, только не входила, пока ее не позовут. Савета действительно ждала у двери и, увидев Анну, сказала ей «целую ручки», польстив старухе этим чрезвычайно.

— Скорей, Савета, пока печь горячая... У меня еще на лепешки тесто осталось. Ты какие любишь: на сале или запеченные в золе?..

— Да уж как хотите, тетя Анна,— отвечала вдова жалобным голосом.— Скоро ли господин директор встанет? Его тут женщины ждут, вдовы...

— Какая у них печаль? Что им надо?

— Хотят просить, чтобы их из списка вычеркнул... на землю... Да и я, тетя Анна, собираюсь.

— Вот ненормальные! — старуха перекрестилась и подумала, что нынче люди вообще посходили с ума: один хочет раздать землю бедным, другие отказываются от надела, который им предлагают.— Все — ненормальные! — окончательно рассердилась старуха.

— Нет, тетя Анна,— вздохнула вдова.— Только...— Она замолчала.

— Только что? — нетерпеливо крикнула Анна.

— Ночью по селу какие-то ходили...— вздыхая, ответила Савета.— Били всех, прости господи, секли... Ко мне в ворота постучали... Я вышла, они и меня, как собаку, избили, тетя Анна, ногами топтали... Вся в синяках теперь... и живот... грудь отдавили... Других тоже били...

— Кто такие?

— Дьявол их знает. Лица у них черными тряпками завязаны... Разве угадаешь?..

Анна окончательно вышла из себя:

— А вы что ж даетесь? Бить вас пришли, а? А вы бы их вилами! Попробовал бы на меня кто-нибудь руку поднять...

Она побагровела, а Савета, удивляясь этой непонятной вспышке ярости, уже не смела больше открыть рта.

— Где же эти дуры, что директора ждут?

— У ворот.

— Проводи меня!

Савета взяла Анну под руку, помогла пересечь двор и перешагнуть через высокую подворотню. На улице, вдоль изгороди школьного садика, стояло несколько безмолвных съежившихся фигур. Старуха презрительно к ним обратилась:

— Вам что в такую рань?

— Побили нас... сказали...

— Кто такие?

Никто не ответил. Они долго стояли молча, глядя на маленькую старушку. Одна из женщин наконец сказала:

— Темные мы... одни, без мужей...

С середины улицы раздался хриплый голос, надрывно выводивший какую-то дикую мелодию. Шатаясь и стараясь держаться прямо, по улице шел вдребезги пьяный учитель Кордиш. Ноги плохо его слушались, а лицо сохраняло удивленное выражение, словно Кордиш не понимал, что с ним происходит.

После того, как Гэврилэ Урсу ушел домой, а Клоамбеш лег спать, Кордиш всю ночь пропьянствовал с Баничиу, Блотором и Пику.

Завидев учителя, вдовы, забыв об Анне, бросились Кордишу навстречу и окружили его. Все сразу загалдели:

— Сделайте доброе дело... вычеркните нас из списка... мы...

Кордиш плохо понимал, чего от него хотят, но был очень доволен всеобщим вниманием.

— Женщины! — крикнул он, поднимая руку.— Я вам... я вам скажу...

— Мы слушаем, господин учитель...

— Давайте разговаривать вежливо! Да, о женщины!..

— Отстаньте же от него,— прошептала одна.— Не видите: выпил человек, еле на ногах держится.

Кордиш обиделся было, но тут же успокоился и начал произносить речь:

— Вы за коммунистов... вместе с директором! Вот теперь и расплачиваетесь! Они, коммунисты, вас всех того... Это уж будьте покойны. Ах вы, бабы глупые!.. И с кем тягаться задумали? С бароном! Когда... это уж так и знайте! Да-а-а! Пускай вас директор землей наделит, у него есть! А? Что вы на это скажете? Пускай он вам зубы не заговаривает... Слушайте: он хочет...

— Стойте! — послышался со стороны корчмы чей-то пронзительный голос.

По улице во всю прыть бежала к школе Кэтица Цурику. Косынка у нее развязалась, и редкие седые волосы болтались по плечам, что считалось большим позором для вдовы. Но ей было все равно. Гулко простучали сапожки по деревянному мосту. Наконец она остановилась перед женщинами и, не передохнув, принялась их отчитывать:

— Вы что это придумали? — задыхаясь, кричала Кэтица.— Ирина, мне твоя мать сказала, что ты из списка вычеркиваться пришла! Верно это, Ирина?

— Тетя Кэтица...

— Верно это? — еще громче завопила Кэтица и, схватив Ирину за ворот, принялась трясти ее.— Верно?

— Тетя Кэтица... ночью... люди по дворам ходили... били нас... ох, страсти!.. Убить грозились...

— А ты уже и поверила? — орала Кэтица.— Что? Немножко тебя потрепали, а ты испугалась! Меня-то разве не били? А? Смотрите-ка!..

Отступив на два шага, она решительным движением перекинула через голову юбки и показала белый толстый живот весь в сине-зеленых полосах.

— Видели? — крикнула она еще раз, и по ее багровым, словно ошпаренным кипятком щекам потекли слезы ярости.— А это что? — прибавила Кэтица, раздирая на груди холщовую рубаху.

Белая грудь была в синяках. На плече виднелась рана с запекшейся кровью.

— Испугались, дуры! Они чего хотят? Как раз этого самого: напугать нас. Чтобы баронскую землю не трогали. Будь он трижды проклят!

— А ты будь повежливей! — сказал Кордиш, видевший ее, как сквозь туман, и раздраженный ее криком.

— Ты отправляйся спать! Жена тебя всю ночь искала! — накинулась на Кордиша Кэтица и так его толкнула, что он чуть не упал в канаву.— Стыдился бы! Еще порядочным господином считаешься, а за село не стоишь!

Кордиша передернуло: никто еще до сих пор с ним так не разговаривал.

— Чего, старая дура, разоряешься? — крикнул Кордиш, чуть не плача от обиды.

В трезвом виде он, конечно, сумел бы поставить на место эту оголтелую Кэтицу, но теперь он никак не мог подобрать нужных слов.

— Сам болван! — огрызнулась Кэтица.— Ишь, как ругается.

Это окончательно вывело Кордиша из себя. Пошатнувшись, он повернулся лицом к школе и тут только увидел в воротах Анну.

— Эй ты, Теодореску-у-у! — заорал он.— Калека однорукий! Покарай тебя бог! Чтоб ты второй рукой милостыню просил! Смотри, до чего село довел!.. А ты, чертова колотовка, корова слепая, скажи ему, чтоб... Теодореску-у-у! Выходи, что ли, я из тебя кишки выпущу-у-у! Бабы над нами, интеллигентными людьми, издеваются. А все из-за тебя...

— Что ты сказал? — крикнула Анна.— Как ты посмел?

Она вытянула перед собой руки, пытаясь сойти по каменным ступенькам, но тут же потеряла равновесие и, не подскочи вовремя Савета, непременно упала бы. Кэтица подбежала к Кордишу и влепила ему звонкую пощечину.

— Ты, срамник, господина директора ругаешь? Ты? На, получай!

Другие женщины, словно по команде, тоже набросились на Кордиша. Одна из вдов вырвала у него клок и без того редких волос и хотела сунуть их ему в рот.

— На, жри!

В первую минуту Кордиш оторопел и растерялся под градом ударов, потом не на шутку струхнул и принялся звать на помощь:

— Караул!.. Не бейте!.. Мамаша!..

Кэтица первая поняла, что это может кончиться плохо, и, дав учителю пинка, вытолкнула его из толпы. Кордиш бросился бежать без оглядки.

Женщины стояли у школы, не зная, что предпринять, когда из примарии вышел со своим барабаном Василие Миллиону. Его сопровождал скотник сельского правления Бикашу с позеленевшим от времени рожком. Василие принялся бить в барабан. Однако не так как всегда — совсем без соблюдения обычного ритма, которому научился на военной службе. Теперь он колотил по собачьей шкуре изо всех сил, а Бикашу непрерывно трубил в рожок, исторгая протяжное, пронзительное мычание. Через несколько минут улицы наполнились шумом: крестьяне выбегали из хат, наспех накинув на плечи безрукавки; все собаки, как по сигналу, залились звонким лаем. Но Василие и не думал останавливаться, твердо решив бить в свой барабан до тех пор, пока ни одной живой души не останется дома. Толпа все настойчивее подступала к нему.

— Ну же, говори, не томи...

Среди этой оглушительной какофонии звуков какой-то худой, болезненного вида крестьянин неожиданно крикнул:

— Опять война начала-а-а-сь, люди добрые-е-е!

Но Василие, не прекращая барабанного боя, отрицательно покачал головой. Наконец он заткнул палки за широкий кожаный пояс и махнул Бикашу, чтобы тот перестал трубить.

В толпе воцарилась напряженная тишина. Василие медленно достал из кармана сложенную вчетверо бумагу, осторожно развернул ее, откашлялся, задрал голову и хорошо знакомым в Лунке лающим голосом начал:

— Доводится до всеобщего сведения. Сегодня, может утром, а может и после обеда, ждите на селе баронских наемников!

На этом месте он сделал передышку и уже другим, полным тревоги голосом продолжал говорить, делая нажим на каждом слове:

— Они будут рассказывать всякую чушь, пугать нас и сбивать с толку, чтобы мы отказались от наделов.

Толпа загудела.

— Может, и драку затеют — своих людей приведут.

— Пусть попробуют! — крикнул рыжий, веснушчатый детина.— Мы их вилами!

— Комиссия по раздаче земельных наделов призывает всех, кто занесен в списки, быть к десяти часам у примарии.

— Будем! — послышалось несколько голосов.— Придем, все придем!

— А еще приглашает всех честных людей, которые своему селу не враги, прийти посмотреть на тех, кто называет себя крестьянской партией, кто такие царанисты. Доводится до всеобщего сведения! Приходите! Не бойтесь! Прошло то время, когда всего боялись! Собирайтесь!

— Приходите, братцы,— добавил Бикашу, вставая с придорожного камня.

2

Накануне под мелким, частым дождиком, зарядившим с утра, Спинанциу весь день ходил по поселку, где жили моцы. Его сопровождал Пинця, палкой отгонявший собак. Побывали в каждой хате. Спинанциу, у которого кружилась голова от спертого воздуха, садился на грязную лавку и говорил хозяину, что барон зовет его к себе на усадьбу — хочет с ним побеседовать. Обойдя несколько дворов, он уже плохо соображал, что́ говорит, и механически повторял свою маленькую речь, стараясь подражать трансильванскому выговору.

Папп решил, что манифестацией будет руководить Спинанциу, они вместе составили обращение к крестьянам, в котором обрушивались на коммунистов.

Сам Спинанциу был твердо убежден, что красноречием тут не поможешь, и считал более правильными позиции Баничиу, утверждавшего, что крестьян можно образумить, только «продырявив десяток-другой шкур».

Спинанциу овладело холодное отчаяние, доходившее до ощущения физической боли. Дома, в нарядном кабинете не слишком обремененного процессами адвоката он мог искренне увлекаться своей миссией глашатая правды, но здесь от разговора с хуторянами, которые на все патетические речи отвечали лишь нечленораздельными междометиями, от хождения по грязи, от сырости в нем возникла страстная неприязнь к этим людям. К семи часам моцы должны были собраться на усадьбе Паппа, но, вернувшись после своего «турне» гораздо раньше, Спинанциу уже застал у подъезда под дождем тех, у кого был утром. Барон был в восторге.

— Смотрите, Спинанциу, сколько энергии в этих фигурах. Какой здоровенный народ! — восхищался он, наблюдая из окна кабинета за молчаливыми моцами, и удовлетворенно потирал руки.

Потом Папп принялся объяснять Спинанциу, что должно произойти на следующий день: их обращение приведет коммунистов в такую ярость, что они первые затеют драку. Тогда моцы вступят в бой и разгонят коммунистов. Если сопротивление окажется более серьезным, вмешается Баничиу, который отделит и обезвредит вожаков. Спинанциу согласно кивал головой, сам не зная почему, испытывая смешанное чувство страха и жалости. И то, что он не мог понять причины своего волнения, усиливало его нервную дрожь. Барон, раскрасневшись, ходил по комнате, потирая руки, и время от времени разглаживал толстый шерстяной ковер острым носком башмака. Никогда еще Спинанциу не видел его таким возбужденным, но это не только не воодушевляло его, а, наоборот, порождало самые безотрадные размышления: барон спасает свое имущество, больше ничего. Вероятно, готовит себе убежище на случай политического поражения.

Когда собрались все семьдесят хуторян, барон велел ввести их в прихожую. Моцы не удивились и не оробели — вошли и разместились вдоль стен, как в церкви. Шляп, впрочем, никто не снял. В неярком свете керосиновых ламп они казались дикарями, которые вот-вот ворвутся во внутренние покои, опрокидывая и разбивая все на своем пути. Но эти хмурые, обросшие, одетые в рубища люди смиренно ждали, что им скажет барон. Старик вышел и произнес в шутливом тоне целую речь, не вызвавшую, впрочем, ни одной улыбки. Он заявил моцам, что доволен их верной службой и потому повышает им жалованье и хлебное довольствие (следовал целый список с цифрами и расчетами, оглашение которого тоже нисколько не оживило слушателей). В заключение барон сказал, что бессовестные коммунисты из Лунки хотят отобрать у него землю и поделить между собой, так что они, моцы, останутся ни при чем. Но и это не произвело никакого впечатления. Спинанциу, стоявший за спиной барона, даже усомнился, понимают ли эти люди по-румынски. Когда Папп сообщил им, что завтра в Лунке надо будет образумить коммунистов и моцы должны явиться на усадьбу к шести, старший по возрасту отделился от стены, подошел к ступенькам, на которых стоял Папп, тронул шляпу обрубком пальца и проговорил густым басом:

— Придем! — Потом повернулся к остальным и сказал тоном приказа: — Ступайте по домам! — И прибавил: — Доброго здоровья, дядя Роми...

Фамильярное обращение привело барона в такой восторг, что он весь вечер повторял его на все лады и уверял, что это — высшее выражение почтения, какое он когда-либо слышал по своему адресу. Разошедшийся старик даже выпил стакан вина и, виновато улыбаясь, попросил Спинанциу не говорить об этом доктору. Адвокат всю ночь видел грустные, запутанные сны и очень удивился, когда утром Пинця разбудил его, почтительно тронув за плечо:

— Вас просит его сиятельство... Люди ждут внизу... Ну и рожи у них, я вам скажу... Я им цуйки дал...

Во дворе вокруг бочки с водкой толпились моцы. Жестяные кружки, которые они держали в руках, то и дело наполнял человек, приставленный к бочке. Барон разгуливал среди моцев и размахивал руками, словно желая каждого из них похлопать по плечу, но не решался.

— Вы знаете гимн «Да здравствует король»? — спросил он неожиданно, и несколько голосов пробормотало:

— Ага! Как не знать!

— Запоете, когда будете входить в село. Все обстоит прекрасно...— барон повернулся к Спинанциу.— Вас встретят священник, учителя, лучшие хозяева, дети с флагами. Списки, из которых все уже, наверно, вычеркнули свои фамилии, вы потом торжественно сожжете посреди села. Когда все кончится — возвращайтесь, и мы вместе напишем для газеты статью: «Неудавшаяся коммунистическая затея». Пинця, бутылки готовы?

— Готовы, ваше сиятельство!

— Раздай их... Ну, братцы, с богом, вперед!

— Равняйся! — негромко скомандовал Гозару.

Спинанциу своими глазами видел, как он опорожнил несколько кружек цуйки, словно пил простую воду. Гозару весело подмигивал единственным глазом.

— Мы лункачам покажем! — сказал кто-то в рядах.

— Помогай вам бог! — крикнул барон, и Спинанциу заметил, что глаза у него были полны слез, а подбородок нервно дрожал.— Постарайтесь, братцы! — прибавил старик тонким голосом.

— Пошли! — зычно гаркнул Гозару.

Колонна тронулась. Растрепанные сыромятные постолы громко зашлепали по не успевшей просохнуть грязи. Когда колонна вышла за ворота, Спинанциу достал из кармана бутылку и отпил большой глоток.

Все моцы, как по команде, последовали его примеру, и в семидесяти глóтках одновременно булькнула цуйка. Водка была крепкая, и Спинанциу тотчас почувствовал умиление и «патриотический» подъем. Подойдя к Гозару, который тоже шагал в строю, он положил ему руку на плечо.

— Вам что, барин? — мрачно спросил кривой.

— Ничего...— ответил Спинанциу и прибавил: — Коммунисты хотят с нами разделаться.

Гозару смерил его взглядом.

— Да, барин...

Села не было видно. Из-за деревьев торчала лишь кирпичная, позеленевшая от времени церковная башня, похожая на удивленно поднятый палец с заостренным ногтем. Равнина вокруг казалась живой: на солнце, переливаясь серебром, как сотни зеркал, сверкали лужи. Чередуясь с яркими лужайками, чернели поля. Среди безбрежного покоя глухо гудели телеграфные провода... Моцы шагали по просохшему большаку. Словно пораженные этим простором, они с любопытством озирались по сторонам, чувствуя себя чужими среди широкой, овеянной ветрами равнины. Люди были пьяны, хотя старались этого не показать... «Я их командир»,— повторял про себя адвокат, но эта мысль не доставляла ему никакого удовольствия, он решил поторопить моцев.

— Не мешало бы, пожалуй, ускорить шаг,— сказал он Гозару.

— Ладно,— односложно ответил тот.

«Ну и дубина»,— подумал Спинанциу.

— Я вижу, вы лункачей недолюбливаете...

— А за что их любить? — отозвался кто-то из задних рядов.— Баре они. У них есть своя земля, у нас нету... А теперь говорят, они нас и с помещичьей сгонят, совсем, значит, по миру пустят.

Гозару вдруг вышел из строя, шагнул к Спинанциу и, дыша ему в лицо водочным перегаром и дешевым табаком, отчеканил:

— Отребье мы, вот кто... И после той войны ничего не получили, потому, мол, что не здешние. Из других, дескать, мест... а из каких, я и сам не знаю... А теперь, говорят, нас и с помещичьей земли согнать собираются... Никогда этого не будет!..

— Правильно, братец! — улыбнулся Спинанциу.— Не отдадим помещичьей земли, а не то пропала наша Румыния...

С поворота шоссе уже был виден погост, уходила вдаль прямая, как стрела, улица, на которой собралось несколько крестьян и стояли дети с флагами. Спинанциу весело махнул рукой и повернулся к Гозару:

— Песню, братцы!..

— Запевай! Ну-ка! — обернулся к своим Гозару.— Барину хочется послушать, как мы поем. Давайте затянем «Хория идет»...

Но моцы молчали, только помрачнели еще больше.

Колонна уже подходила к кресту. К моцам приблизились поп Иожа в праздничном черном костюме с засученными чуть не до колен брюками — чтобы их как-нибудь не забрызгало грязью — и трясущийся мелкой дрожью секретарь сельского правления Мелиуца. Несмотря на то, что Мелиуца был болен, священник не согласился оставить его в покое: «Мы не имеем права... в такой день... наша борьба...» — говорил он с воодушевлением. Слабохарактерный Мелиуца даже не посмел напомнить, что чиновникам запрещена политическая деятельность, и явил-

ся, облачившись в визитку — единственное, что у него было парадного,— такую позеленевшую от времени, что она казалась покрытой слоем болотной ряски.

Около креста стоял молчаливый и осунувшийся Клоамбеш, рядом с ним несколько сильно захмелевших стариков, а в стороне — хмурый, постаревший Гэврилэ Урсу. Четыре мальчика с трудом удерживали тяжелые вылинявшие флаги, взятые из примарии.

— Здравствуйте, здравствуйте...— торжественно начал Спинанциу, но подошедший Пику перебил его:

— Коммунисты собрали народ. Ждут нас с вилами...

Спинанциу растерялся. Его глаза забегали от одного к другому, задержавшись дольше всех на лице Гэврилэ. Старик улыбался такой блеклой, скорее похожей на гримасу улыбкой, что адвокат от страха утратил дар речи и, повернувшись к моцам, пробормотал что-то невнятное.

— Идем,— махнул рукой Гозару.— Мы побьем их! Вы только речь скажите.

— Правильно! — одобрил Спинанциу.— Отступать нельзя... Спасибо, батюшка, спасибо, господин секретарь, за то, что вы почтили нас своим присутствием... Кого я не вижу, так это господина Кордиша...

— Он не явился,— многозначительно произнес Пику.

— Мое почтение, господин Урсу... Очень рад...

Гэврилэ посмотрел на него холодным, отсутствующим взглядом.

— Ну что же, братцы, стройтесь...— продолжал, волнуясь, адвокат.— Вы, милые детки, проходите вперед... разверните флаги: «Синий, желтый, красный — вот наш флаг прекрасный...» Вы это учили в школе? Да? Очень хорошо... Потом вы, духовные, так сказать, руководители села, потом хозяева... затем мы — я и они... Становитесь...

Все послушно построились по четыре человека в ряд. Отец Иожа суетился и казался несколько смущенным. Мелиуца стучал зубами. Гэврилэ продолжал неподвижно стоять поодаль на краю канавы.

— Господин Урсу...— раздраженно обратился к нему Спинанциу.

— А я с краю,— негромко отозвался Гэврилэ, и видно было, что он твердо решил держаться в стороне и убеждать его совершенно бесполезно.

Спинанциу рассердился: еще один изменник! Адвокат хотел было что-то прибавить, но подошедший Пику шепнул ему на ухо:

— Господин капитан велел передать, что если... в случае чего... понимаете?.. Будьте все покойны... он здесь... все знает... все видит... Мы им, господин адвокат, покажем... Жаль только, что его сиятельство лично не прибыли...

— С богом вперед! — решительно сказал Спинанциу, и шествие тронулось в путь.

Гэврилэ шагал по обочине шоссе и быстро промочил ноги во влажной траве. Он знал хуторян. «Ох уж эти голодранцы! — думал старик. Чуть что, сейчас за ножи! Им бы только кровь пролить... Плохо барон со своим адвокатом придумали! Горе селу! Горе всему народу!..»

Что-то словно переломилось в Гэврилэ еще с прошлой ночи, когда у Клоамбеша никто с ним не разговаривал. Баничиу слушал одного Пику, обращался с ним запанибрата, обсуждал, как они будут вешать коммунистов, как изобьют и запугают бедняков, претендующих на баронскую землю. Встав рано утром, Гэврилэ узнал, что всех записавшихся у Митру вдов ночью избили. В селе не могли догадаться, кто это сделал, а Гэврилэ знал, но чувствовал себя бессильным. Где были мир и согласие, что он всегда желал для родного села? И где был страх божий, его, Гэврилэ, страх?! Другой страх надвигался теперь на Лунку,

шагал ногами моцев. Страх и вражда шествовали по шоссе под предводительством отца Иожи, а он, баптистский проповедник, плелся рядом, по обочине. Ради мира, согласия и порядка он выгнал из дому строптивого сына, а сам теперь выступает заодно с людьми, которые готовы стать убийцами. Барон доверял Пику, а молодого учителя прогнали как собаку, хотя он, Гэврилэ, был уверен, что Суслэнеску прав. Гэврилэ хотелось увидеть Суслэнеску и сказать что-нибудь ласковое. Ему сообщили, что учитель перебрался к механику Арделяну и живет у него вместе с директором Теодореску, которого жена прогнала из дому. Где уж тут мир, согласие и порядок?

Вот уже несколько дней он не мог молиться, как делал раньше, неизменно потом чувствуя себя очистившимся, как после бани. Гэврилэ горестно вздохнул...

На улицах села пока было пустынно. Детям трудно было нести тяжелые флаги, и выцветшие полотнища теперь волочились по земле. Гэврилэ стало жаль ребятишек.

3

Минут через пятнадцать после того, как Василие Миллиону прошел с барабаном по селу, народ стал собираться у примарии. Многие принесли вилы и косы. Вначале все были очень оживлены и зубоскалили по поводу барона, которого никто из них в глаза не видел. Постепенно, однако, говор смолк, и собравшимися овладело томительное нетерпение. Все глядели на шоссе, ожидая появления моцев. У примарии собралось полсела. Все записавшиеся на земельные наделы явились с семьями, многие крестьяне просто пришли из любопытства. Печальным казалось безлюдное, блестевшее на солнце шоссе; наводили грусть хаты с наглухо запертыми воротами.

Те, у кого были с собой вилы и косы, сложили свое «оружие» у кирпичной ограды сельского правления. Теперь, глядя на собравшихся, можно было подумать, что крестьяне просто шли на работу и остановились поговорить. Избитые женщины в сотый раз рассказывали, как жестоко с ними обошлись. Слушатели строили предположения, кто эти негодяи, у которых поднялась рука на беззащитных вдов. Никто ничего определенного сказать не мог.

В примарии оставался один Бикашу, исполнявший обязанности сторожа. Секретарь исчез, и никто не знал, где он. Арделяну, Джордже и Митру сидели у телефона, тщетно пытаясь дозвониться в уездный комитет партии. Суслэнеску, сопровождавший их всюду, прилег на потертый кожаный диванчик. Ему нездоровилось, нестерпимо ныли все суставы, но жаловаться учитель не хотел, умиляясь собственной выдержке. Он слышал, что вокруг говорили, но слова скользили, не задевая его сознания; чтобы их понять, потребовалось бы слишком большое усилие. Джордже и Арделяну проговорили всю ночь, но о чем именно — Суслэнеску не помнил. У него сохранилось впечатление, что было сказано много прекрасных и душевных слов.

Арделяну каждые пять минут яростно крутил ручку аппарата, и тогда в кабинете секретаря слышалось веселое звяканье. Никто не отвечал. Джордже молча курил, расхаживая по кабинету. Несколько раз за минувшую ночь он собирался рассказать Арделяну все о себе, но сдерживался. О жизни с Эмилией он думал, как о чем-то далеком. Ему причиняли боль не столько ее оскорбительные слова — он считал себя выше подобных упреков,— сколько то, что размолвка вскрыла их взаимное непонимание и отчужденность.

Из маленького окна был виден угол улицы; там собрались люди. Толпа гудела, слышались крики:

— Вот они! Иду-ут! Батюшки, сколько их... Со знаменем! Поют...

Джордже вышел на улицу, и его окружила возбужденная толпа. Кое-кто взялся за вилы. Собравшиеся бросили курить. Джордже с удивлением подумал о том, что те же крестьяне, которые с такой слепой яростью дрались на ярмарке с венграми, теперь явно робели и готовы были отступить.

— Товарищи! — коротко, по-военному крикнул Джордже.— Спокойствие! Слушай меня, дядя Петре, времени у нас мало.

— Слушаю! — Петре вытянулся.

— Половина людей пусть перейдет на другую сторону... Так... Отправляйтесь. Ты, дядя Кулькуша, принимай командование...

— Есть! — рявкнул старик.

Обычно красный, как свекла, Кулькуша был сейчас бледен, голос у него дрожал.

— Становитесь в ряд по краю дороги — до самой школы... Будут задирать — не отвечайте. Поняли?

— Господин директор,— крикнул Бикашу.— А что ежели выпустить наших племенных быков? Они их в одну минуту разгонят...

— Молчи! — свирепо крикнул Джордже.

Растерянность крестьян привела его в негодование. Он был в ярости. Между тем, шествие с того конца села приближалось. Флаги напоминали хоругви, да и вся процессия, с ее медленным и невнятным пением, была похожа не то на крестный ход, не то на похороны.

— Ну же, поторапливайтесь! Дядя Кулькуша, поворачивайся, не спи.

На улицу вышел Арделяну и принялся выстраивать людей по левой стороне дороги. Несмотря на его рост, толпа затерла, заслонила механика. Пронзительно заголосили женщины.

У Арделяну мелькнула мысль, что, может быть, не нужно было создавать паники, что допущена ошибка.

Наконец люди выстроились по обе стороны шоссе, растянувшись от школы до примарии. Главные силы сосредоточились на выгоне; из всех боковых улиц сбегался народ. Арделяну встал на верстовой камень и обратился к крестьянам:

— Люди добрые! Пустим их на выгон... Там и начнем митинг! Посмотрим, чего они хотят...

Появился Суслэнеску с воспаленными глазами, с дрожащими руками и, отыскав в толпе Джордже, не отходил от него ни на шаг.

— Как я вами любуюсь!..— проговорил он усталым голосом.— Если бы вы знали...

— Почему? — раздраженно откликнулся Джордже, но тут же ему стало неловко.— Не надо,— сказал он мирно,— вы чересчур впечатлительны. Все это гораздо проще, чем вам кажется... Нужно разогнать царанистскую манифестацию — вот и все. То есть сделать то, что называется «дать другое направление манифестации». И это нам удастся. Дело несложное...

— Зачем вы скромничаете? — чуть слышно спросил Суслэнеску.— Этого совершенно не нужно... Я, вы знаете, вовсе не рад, что нахожусь здесь... Но и с ними... не пошел бы. Даже если бы они меня не отвергли...— И без всякой связи с предыдущим прибавил, обводя неуверенным жестом толпу: — Как они хороши!.. И знают, главное, чего хотят...

— Не идеализируйте их... Они-то как раз заинтересованы. Классовый интерес... Будьте спокойны. Что тебе, Митру? — спросил он, увидев подошедшего председателя.

— Господин директор, а ежели они в драку полезут?..

— Не полезут!

— А ежели все-таки?

— Говорят тебе, не полезут! Никакой драки не будет... Зачем ты ушел со своего места?

— Да вот люди спрашивают, как быть, ежели...

— Будьте спокойны... Они к вам лезть не станут... Ступай.

Теодореску казался учителю героем. То, что здесь происходит, Суслэнеску был уверен, станет историей... Сам он чувствовал себя плохо, у него был жар, и из-за этого все казалось ему грандиозным: и толпа крестьян, и колонна «противника», проходившая теперь мимо корчмы Лабоша. Суслэнеску несколько лет сам верил в то, что воодушевляло этого «противника», но, оказавшись по другую сторону баррикады, чувствовал себя гораздо спокойнее.

Крестьяне не могли не волноваться. Каждый старался заглянуть вперед, мешая видеть соседу, и ряд раскачивался, как веревка, которую дергали за конец.

Суслэнеску оглянулся на примарию. Здесь кончалось село и начиналась равнина. День был ясный, лишь несколько тучек трепетали в небе. Кругом царил удручающий покой. Слышалось нестройное пение приближающихся моцев.

— Петру Гроза и народ! Петру Гроза и народ! — начали выкрикивать крестьяне.

На выгоне женщины тоже что-то кричали. Дойдя до школы, священник и секретарь быстро вышли из рядов и скрылись на школьном дворе. Пику с Клоамбешем взяли у детей флаги и стали ими размахивать. С края колонны моцев размеренными, неторопливыми шагами, засунув руки в карманы и опустив голову, шел Гэврилэ.

Моцы пели все одну и ту же песню с устрашающими словами: «Я нож отточил». Спинанциу дрожал от страха, не зная, кого больше бояться — своих или тех, кто были впереди. Через несколько минут нужно было произносить речь. Прежде чем свернуть от примарии, адвокат указал снятой с головы шляпой на развевающиеся линялые полотнища трехцветных флагов.

— Ура-а! Ура-а! — заорал Пику.

На выгоне колонна остановилась. Пику с Клоамбешем воткнули флаги в землю, старики стали полукругом перед моцами, а те, кто к ним присоединился по дороге,— немного поодаль. Многие уселись на траву. По знаку Джордже крестьяне, стоявшие по обе стороны шоссе, тоже пришли на выгон и расположились широкой дугой. Спинанциу нервничал. Он не предусмотрел, что лучше говорить с возвышения, и не был виден в толпе.

— Братцы крестьяне! — начал свою речь адвокат.

— Господам ты брат, а не нам! — рявкнул Митру, и целый хор голосов ответил:

— Верно!

— Дайте же мне говорить! Или вы правды боитесь?! — во всю мочь крикнул Спинанциу.

Но его слабенький голос на открытом воздухе звучал беспомощно.

— Мы воевали и хотим земли! — протрубила Кэтица Цурику.

— Братцы крестьяне, дорогие братья румыны! — продолжал Спинанциу.— За последнее время здесь, в вашем селе, произошли события, которые...

Он запнулся. Фактически все уже было потеряно. Их было человек сто, а здесь собралось более трехсот душ — мужчин и женщин. Правда, Баничиу и Блотор прокрались задворками и прятались где-то поблизости,

но что они могли сделать? Стрелять наобум в толпу? «Черт бы тебя драл, старый дурак! — выругал про себя барона растерявшийся адвокат.— Чего сам не пришел?»

— ...которые...— продолжал он неуверенно.

— Нам нужна земля! — крикнули из толпы.

— Петру Гроза и народ!

— Правильно! — крикнул Арделяну.— Очень хорошо.

Пику стоял возле воткнутого в землю флага. Ему было не по себе. У него возникло ощущение, словно он покрыт отвратительными болячками. Клоамбеш куда-то исчез — скорее всего, испугался Митру. Пику разозлился. Вон и Гэврилэ Урсу тоже стоит в сторонке, руки в карманы, и наблюдает, чтоб ему пусто было!.. И что там лопочет этот дурак своим неуверенным голоском?

— ...братья румыны, не сдобровать вам, если вы позволите коммунистам водить себя за нос. Они вас только приманивают...

— Чем? Землей? Примани ты нас землей! — выступил вперед Павел Битуша.

— Я вам объясню. Дорогая наша румынская земля... которая веками... щедро политая кровью...

— Слетай в примарию, притащи стул! — толкнул Арделяну стоявшего рядом парня.— Живо!

Он улыбался: все в порядке. Журка будет доволен... Крестьяне начали проявлять признаки нетерпения. Когда парень вернулся, Арделяну спокойно взгромоздился на стул, почти под носом у Спинанциу, и, сложив руки рупором, крикнул:

— Люди добрые! Будет говорить господин директор Теодореску...

— Да здравствует господин директор! — завопил Павел Битуша.

— ...Он вам все сейчас скажет... Пожалуйте, господин директор...

Джордже не торопясь влез на стул. Изумленный Спинанциу смотрел на него снизу.

— Земельная реформа,— заговорил Джордже,— которую решило провести демократическое правительство, предусматривает экспроприацию имений, насчитывающих свыше пятидесяти гектаров. В имении Паппа 438 югэров. Оно принадлежит теперь уже не гражданину Ромулусу Паппу, а бывшим воинам, вдовам, потерявшим мужей на войне, и безземельным беднякам села Лунки, на территории которого оно находится.

— Ура-а! — крикнул Арделяну, а за ним и все остальные.

— Разговаривать тут не о чем. Списки составлены. Мы сегодня же посылаем в город за землемером: он отрежет наделы, и на бывшей баронской земле начнется пахота!

Тут произошло нечто совершенно неожиданное. Из рядов моцев, мрачно слушавших эту речь и ждавших, по-видимому, лишь знака пустить в ход ножи, выскочил Гозару. С разбегу он всей своей тяжестью опрокинул стул, на котором стоял Джордже. Теодореску отлетел на несколько шагов. Гозару разодрал на себе рубаху и оголил волосатую грудь, на которой жгутами переплетались стальные мускулы. Моц обливался потом, дико вращая единственным глазом.

— Кто начнет? Лункачи? — захрипел он, словно что-то застряло у него в глотке.— По какому праву? А мы? Батраки? Почему? Все — вам? А кто вы такие? Нас вши заели! Хворь одолела! Попа своего даже нету! А почему? Вам брюхо растить надо? Почему, а? — вопил Гозару, глядя на Спинанциу.— А мы что? Куда нам идти? По миру, что ли? Разрази вас бог, лункачи! Куда нам деваться? Куда? Куда податься?

Гозару рвал рубаху на узкие полосы. У рта его появилась пена. Но он не унимался:

— Куда нам деваться? Куда с малыми ребятами пойти? А? В батраки к вам, что ли? А? С ребятами, говорю, куда податься?

Арделяну и Джордже быстро переглянулись: еще минута — и начнется бой! Гозару топтался, беснуясь, на месте, и его постолы даже пробили две ямки в мягком дерне выгона.

— Черта с два вы землю возьмете! А ну-ка, моцы! Начинай!

Моцы медленно вынули ножи. Спинанциу испуганно отскочил в сторону.

Арделяну поднял опрокинутый стул, вскочил на него и крикнул:

— Вы тоже получите землю!

Моцы приближались. Каждый держал нож лезвием вверх и прикрывал его большим пальцем.

— Вы получите землю,— еще громче крикнул Арделяну.— Наравне с крестьянами села Лунки! Вы получите землю!

Гозару, казалось, начал приходить в себя. С него ручьями катился пот.

— Вас всех внесут в списки! — продолжал Арделяну.

В его обычно звонком голосе зазвучали напряженные нотки.

«Допущена непростительная ошибка,— думал он.— Стали действовать, не учтя местных условий, не пожелав узнать настроение всех людей. Теодореску тоже хорош: ссорится с женой, вместо того чтобы...»

— Вы будете внесены в списки сейчас же, сию минуту! — повторил Арделяну.

Из толпы крестьян раздались негодующие крики. Лунка издавна враждовала с моцами, презирала их, и мысль о том, что придется уступить часть земли, возмущала крестьян. Кое-кто угрожающе задвигал вилами.

— Зачем им землю давать? Они нездешние!

— Нельзя им землю давать!

— Не дело!..

— Поговорим! — кричала Кэтица Цурику.— Митру Моц! Мы тебя председателем выбрали?.. Чего молчишь, словно воды в рот набрал?

Митру стоял, мрачно потупившись. Джордже повернулся к крестьянам и встретил только враждебные взгляды, увидел поднятые кулаки.

Ими владели те же мелочные, корыстные соображения, что и Эмилией...

— Молчать! — крикнул Джордже, но его никто не услышал.

Между тем, Митру мысленно подсчитывал: на сколько уменьшится его надел, если моцы тоже получат землю? Какие это будет иметь последствия для него?

— Говори! Скажи им, слышишь! — схватив его за плечо, крикнул Джордже.

Не больше секунды черные глаза Митру могли выдержать требовательный взгляд серых глаз Джордже. Сбросив все еще лежавшую на его плече руку Теодореску, он повернулся к односельчанам.

— Не стыдно вам, ненасытные? Без нас, коммунистов, без нашей коммунистической партии что бы вы получили? Коммунистическая партия дает вам землю, а вы еще разговариваете? А ты, Кэтица Цурику, чего морду воротишь? Вот дам тебе пинка, да и выгоню из комиссии! Вы что хотите? Чтоб у вас моцы батрачили? Не братья они вам? Не такие же пахари, хлеборобы-горемыки?

Он взглянул на Джордже — проверить, хорошо ли сказал, не напутал ли. Но тот застыл с каменным лицом. Стоявший немного поодаль Арделяну тяжело дышал, как после долгого бега. Митру немного струсил.

— Они наши братья! — продолжал он, не в силах остановиться.— И над ними барон измывался, как надо мной Клоамбеш! Наша вина, что мы раньше о них не подумали! Сию минуту их в список занесем!

Круто повернувшись, Митру подошел к Гозару и обнял его. Тот вздрогнул в его объятиях, и Митру показалось, что он слышит, будто что-то застряло и хрипит в горле у моца.

Гозару решительно высвободился.

— Пойте! — крикнул он хуторянам.— Громко пойте! Ну!

4

На выгоне поднялась суета — со стороны можно было подумать, что началась драка. Все столпились вокруг Митру, который уселся на стул, достал из-за пазухи пачку бумаг и принялся записывать огрызком чернильного карандаша имена моцев. Они подходили по очереди, снимали шляпы, крестились и, сильно робея, путано отвечали на вопросы председателя. Все были неграмотные, каждому приходилось слюнявить большой палец, который Митру натирал карандашом, и прикладывать к бумаге против имени и фамилии: Брад Ион, Курз Иоан, Курз Петре, Аврам Янку, Журж Иоан...

За выпасом на краю рва сидел, сгорбившись, Гэврилэ Урсу и плакал, царапая щеки ногтями. Каждый мог его видеть, но старику было все равно. Наконец он немного успокоился, перестал горестно вздыхать и посмотрел на толпу. Она все еще шумела, а совсем рядом, только по другую сторону рва, Гэврилэ увидел Глигора Хахэу.

— Ох, тяжело,— пробормотал старик вставая.

Глигор не торопясь снял шляпу.

— Здравствуйте, дядя Гэврилэ! Почему вы бедняками гнушаетесь?

— Как ты, сынок, такое говоришь? — испугался Гэврилэ.— Упаси бог.

Глигор, держа шляпу в руке, перешел через ров.

— У вас, дядя Гэврилэ, была в жизни удача, а может, и ума побольше, чем у других. Пускай мы теперь тоже землей разживемся. Неужели вы против?

Гэврилэ собрался ответить, но Глигор нахмурился. Парень ощущал сегодня небывалый прилив храбрости.

— Зачем за господ стоите? Ведь вам никто ничего худого не желает. Господин директор вас спрашивал: хотите быть старостой? Вы — нет. А по какой причине, дядя Гэврилэ? Еще говорите, что о селе печетесь! Ей-богу, жаль, что не согласились.

— Ты, Глигор, молод еще. Меня не суди. Никто меня судить не может. Меня мало кто знает.

— Дядя Гэврилэ, мне ваша Мария полюбилась. Крепко полюбилась. Я надел получу и могу ее хоть в одной рубашке взять, если вы за свою землю зубами держитесь. Даже Эзекиилу его части не отдали. Он и ушел. Теперь прячется. Он-то, кажется, прошлой ночью женщин и бил, которые занесены в список.

Глигор говорил гладко, без запинки, взгляд его был ясен, но смотрел он не на Гэврилэ, а куда-то поверх его головы. Старик молчал, и Глигор, еще больше расхрабрившись, продолжал:

— Все село знает, что ваша Мария с Петре Марку сошлась. А мне все равно. Не зарежь его другой, может, я бы его сам пырнул, не побоялся бы. Мне все равно, сходилась она с ним или нет. Что мне?

Парень выжидательно посмотрел на Гэврилэ. Но тот, казалось, его не слышал. Может, он просто не знал, что ответить. Глигор был этому рад. Ему удалось захватить Гэврилэ врасплох.

— Старым порядкам конец приходит, дядя Гэврилэ! — громко сказал Глигор, выпрямляясь.— Да и хорошего в них было мало.

Парень ликовал. Но Гэврилэ и на этот раз промолчал — только посмотрел на Глигора широко раскрытыми глазами.

— Дядя Гэврилэ...

— Не сейчас, Глигор, не сейчас. Потом придешь ко мне, поговорим, чтобы все как следует... все как следует,— чуть слышно повторил он.— Так ведь? Приходи.

Широкая физиономия Глигора расплылась в счастливую улыбку.

— Значит, можно прийти? Когда?

— Когда хочешь...

Гэврилэ протянул ему маленькую, мягкую, влажную руку.

— А то, что говорят злые люди про мою Марию,— неправда.

— Неправда,— повторил за стариком Глигор.

— Будь здоров...

Гэврилэ выбрался из канавы, на мгновение задержался и прибавил, нагнувшись к Глигору:

— Увидишь моего Эзекиила... скажи, чтоб шел домой.

Глигор еще постоял некоторое время во рву, где крепко пахло бурьяном и тиной. Ему не верилось, что Гэврилэ действительно примет его. Что-то смущало Глигора, и вообще ему было не по себе. Он вылез из канавы и большими шагами пошел к толпе, которая все еще теснилась вокруг сидевшего на стуле Митру. Он знал, что Мария не пойдет наперекор отцу и сделает то, что ей скажут. Ему нравилось в Гэврилэ, что старик умел заставить детей слушаться. Никто из них пикнуть перед ним не смел. Не станет же теперь Гэврилэ считаться с глупой девчонкой?

Только эта мысль и успокоила Глигора. Широко улыбаясь, он скрылся в толпе. Улыбка всегда придавала ему простодушный вид.

5

Крича как полоумный, Пику скакал на неоседланной лошади. Женщины, чистившие граблями аллею, с визгом шарахнулись в сторону. Пинця выбежал посмотреть, что случилось, и увидел дрожащую взмыленную лошадь и Пику, который, охая, тер натруженные ноги. Из прикушенной губы сочилась кровь.

— Веди меня к барону! Нечего глаза пялить! Все пропало,— напустился он на дворецкого.— Живей, а то влетит!

Растерявшийся Пинця пробормотал, что барон почивает — дворецкий с перепугу не знал, что говорить. Пику поднял кулак.

— Слышишь! Поворачивайся! Беда! Усадьбу сожгут!

Пинця провел Пику в дом и, несмело постучавшись, пропустил его в кабинет. Папп был поглощен картой, которую он, высунув кончик языка, с величайшим вниманием раскрашивал.

— Что случилось? — удивился старик, увидев перед собой Пику.

— Спасайтесь! — крикнул тот плачущим голосом.— Моцы идут усадьбу громить! Спасайтесь! Их переманили коммунисты. Бегите, говорю вам... Беда... Не знаю уж, как вам и быть...

— Что вы рассказываете, братец Маркиш? — Барон вытянул землистые губы.— Что значат эти бестолковые речи?

— Сожгут вас, тогда и будут толковые,— с самым смиренным видом проговорил Пику, испытывая чрезвычайное смятение и посматривая на дверь, словно оттуда, того и гляди, появится опасность.

— Ничего не понимаю! Объясните как следует,— сказал старик.

— Что же тут еще объяснять? Берите с собой, что можете, в машину и спасайтесь, пока не поздно... Слезно вас прошу... Убить ведь могут!

— Кто меня убьет? — приподнялся на стуле Папп.— Сам не знаешь, что мелешь.

Пику умоляюще сложил руки. В глазах его блеснули слезы.

— Ради бога, не теряйте времени... Лошадь у меня слабосильная, некормленая, быстрее доехать не мог... А они идут.

— Кто идет? Да успокойся же...

Пику глубоко вздохнул.

— Манифестация наша лопнула... Не прогневайтесь, я человек простой — что на душе, то и на языке... Господин Спинанциу, может, и ученый, а с народом говорить не умеет... Мужиков наших коммунисты обработали! Они на нас с вилами вышли. Упаси бог... Моцы ваши, я вам говорил, дураки; сколько вы им благодетельствовали, одному богу известно, а благодарности никакой! Как сказал им Арделяну, что им из вашей вотчины наделы отрежут, так они к коммунистам и перекинулись. Митру их в список записал, так что моцы теперь тоже землю получат... Потом Арделяну их в корчму повел, бочонок цуйки им выставил и речь держал. Вас на все лады ругал...

— Быть не может!

— Ей-богу! Лопни мои глаза! А тут еще директор однорукий стал считать, сколько... извините... вы им с 1920 года недоплатили... и сколько им с вас по сей день причитается... А они, бездельники, знай молчат да водку дуют. Сущие скоты, извините... Одно только, что разговаривают. Когда директор все это им высчитал, один, который постарше, возьми да и скажи: айда, мол, к барону за расчетом! Всем скопом сюда и двинули, вместе с коммунистами и нашими мужиками...

— А Баничиу, негодяй, чего смотрел? — вне себя от ярости воскликнул барон.

— Господин Баничиу с Блотором в кустах с автоматами прятались... Только в кого им было стрелять? Велели вам записку передать.

Папп взял из рук Пику бумажку и, поднеся ее к близоруким глазам, прочел:

«Беда. Сп. кретин. Крестьяне возбуждены. Тут нужны не слова, а пули. Я готов. Жду лишь вашего согласия, если не будет возражений со стороны партии, которую вы с честью возглавляете. Ручаюсь многих успокоить.

Б.»

Папп порвал записку на мелкие клочки тонкими дрожащими пальцами. Потом вдруг упал на стул и закинул голову.

— Батюшки... помирает! — крикнул Пику и, обойдя письменный стол, вытянулся перед бароном: — Не умирайте, ваше сиятельство, не оставляйте нас!

Длинное лицо барона позеленело, мертвенно-тускло блеснули стекла пенсне.

— Я совершенно здоров,— прошептал он искривленными губами.— Будь покоен. Помолчи немного...

— Что вам принести? — хныкал Пику.— Чем услужить?

— Ш-ш. Молчи.

Безжизненно висели худые старческие руки. Пику опустился на колени и, взяв правую руку барона, благоговейно ее облобызал. Это так тронуло старика, что две мутные слезы сползли по его щекам.

— О! — прошептал он.— Какие благородные чувства! Их-то и хотят уничтожить недруги. Спасибо тебе, голубчик... ты вернул мне веру в людей.

Но им уже снова овладело негодование.

— Я еще с ними поговорю! Я скажу им речь! Спинанциу дурак, Der Teufel soll ihn holen!*

— Пожалуйста, ваше сиятельство, не... Мы ведь моцев знаем... Они, когда выпьют, хуже волков... Не случилось бы, упаси бог, несчастья...

— Я уеду! И вернусь с войсками. Я их проучу!

— Так и надо, ваше сиятельство, очень хорошо... Они, знаете, хотят вашу землю пахать... не то в понедельник, не то во вторник начнут... Тогда конец... Мужик-то, знаете, ваше сиятельство... что ему в лапы попало, того уж не выпустит... Злые мы на этот счет...

Барон внимательно посмотрел на своего собеседника. Лицо у Пику было уродливое, обезображенное оспой и следами ударов. Паппу стало не по себе.

— Ваше сиятельство,— сказал Пику, решив, что настала наконец минута, которую он так долго ждал,— вотчина ваша в опасности...

Барон, казалось, не слышал его. Нервно позвонив, Папп приказал прибежавшему дворецкому отыскать шофера и собираться в дорогу.

— Уезжаете, ваше сиятельство?

— Не надоедай мне вопросами. Да, я уезжаю. А ты остаешься. Имение потеряно. Дом будешь защищать ты. Я имею право на пятьдесят гектаров. Вот и все.

Пинця прислонился к двери и перекрестился.

— Марш! Делай то, что тебе приказано! — крикнул барон. — Марш! Дальнейшие распоряжения получишь потом!

Он бросился к письменному столу и принялся судорожно собирать бумаги, карты, статистические отчеты, запихивая их в большой пузатый портфель. Уложив все, что требовалось, старик поднял портфель, словно прикидывая, сколько он весит, потом с отвращением бросил его в угол. Пику следил за бароном блестящими, внимательными глазами.

— Вы, ваше сиятельство, можете и больше сохранить... не только пятьдесят гектаров... Пока снова не вернется наше время... До выборов... А уж выборы мы выиграем, головой отвечаю.

— Что ты сказал? — удивился Папп.

Пику не знал, стоит ли еще раз становиться на колени, и решил, что теперь это лишнее. Подойдя к барону, он заглянул ему в глаза и тихо проговорил:

— Можно сохранить больше пятидесяти гектаров... Сделайте на мое имя купчую... еще на пятьдесят или на сколько хотите... У меня цело будет — никто не тронет... Поставлю на своей земле пулемет, все село перебью...

Папп долго разглядывал носки туфель, потом улыбнулся, взял своего собеседника за подбородок цепкими, как клещи, пальцами и, подведя к окну, придвинулся к Пику вплотную. Увеличенные стеклами пенсне ледянисто-голубые глаза барона казались совершенно круглыми.

— Слушай, Маркиш, когда ты мальчишкой бегал с раздутым от арбузов пузом, я в будапештском парламенте спорил с графом Альбертом Аппоньи, у которого после господа бога был самый острый ум на свете... Понял?

— Понял,— решительно подтвердил Пику.— Могу доложить вашему сиятельству, что у меня и своей земли довольно, опять же я — чахоточный и до зимы, говорит доктор, не доживу. Сделайте милость, оставьте мой подбородок. Он у меня болит с тех пор, как я с венграми дрался... Дай вам бог доброго здоровья!

— Так, братец Маркиш,— рассмеялся, повеселев, Папп.— Стой, стой... Чуточку терпения!

---

* Черт его подери *(нем.)*.

Пику замер. Папп повернулся к нему спиной и долго смотрел на стену. Со двора послышался далекий, едва уловимый ропот толпы.

В кабинет ворвался взволнованный, красный Пинця.

— Машина подана. Надо торопиться!

— Запри ворота! — приказал барон.— Живей! Ах, Маркиш, голубчик, много бы я дал, чтобы узнать, о чем ты сейчас думаешь.

— И я—о чем вы, ваше сиятельство,— довольно грубо ответил Пику.

Его щеки пылали. Ощущая неприятную пустоту в желудке, он благословлял судьбу за то, что ничего с утра не пил. Барон посмотрел в окно. По аллее с угрожающими воплями двигались в беспорядке моцы.

— Жаль, нет Спинанциу,— сказал Папп.— Он мог бы нам помочь...

— Какая от него помощь? — осклабился Пику.— Разве что слезы лить... Счастливого пути, ваше сиятельство, я пойду, от этих разбойников всего дождешься... Дочь у меня... Уж лучше бы ее не было...

Папп сел за письменный стол и достал лист бумаги. Пику чуть не рассмеялся; от волнения у него мучительно ныло все тело. Написав несколько строчек, барон протянул ему записку.

— Отдашь господину Баничиу. Мои распоряжения.

Со двора все явственнее доносился шум. Но барон, склонившись над столом, продолжал писать на новом листке бумаги. Пику показалось, будто Папп смотрит куда-то в сторону и не видит, что пишет. В приоткрывшуюся дверь просунулась бледная физиономия Пинци.

— Убирайся! — приказал Папп.

— Машина ждет... как бы, не дай бог, не попортили...

— У шофера есть револьвер. Ступай,— прикрикнул барон, продолжая водить пером по бумаге.

— Готово,— сказал он наконец.— Слушай: «Между нижеподписавшимися Ромулусом Паппом и Теодором Маркишем состоялась следующая сделка: нижеподписавшийся Ромулус Папп продает нижеподписавшемуся Теодору Маркишу 100 (сто) югэров пахотной земли из своего имения, расположенного близ села Лунка».

Дальше Пику не слышал. Комната завертелась в его глазах. Чтобы не улыбнуться от счастья, он до боли стиснул челюсти.

— А вот вторая бумага,— не глядя на него, продолжал барон.— «Нижеподписавшийся Теодор Маркиш настоящим признаю, что, не уплатив за 100 югэров имения Ромулуса Паппа ни одной леи, не имею на них никакого права и обязуюсь возвратить землю законному владельцу по его первому требованию, когда позволят политические обстоятельства».

Пику подписал обе бумаги, сложил первую и сунул за пазуху, где она, как сорванный с дерева лист, приятно холодя, прильнула к его разгоряченной груди. В эту минуту брошенный со двора камень разбил оконное стекло и упал посреди кабинета.

— Пора,— сказал Папп.— Добирайся как знаешь до Лунки. Скажи Спинанциу, чтобы приехал, когда сможет, поездом. Заехать за ним не успею.

В передней барона ждал дрожавший от страха Пинця с чемоданами.

— Ты, голубчик, не беспокойся,— обнадежил его Папп.— Твоя верная служба не будет забыта. Прощай! Маркиш, помоги мне одеться.

Он не торопясь застегнул на все пуговицы пальто, потом подал руку Пику. Тот крепко, по-крестьянски пожал ее. Старик удовлетворенно засмеялся.

— Ты, брат Маркиш, честный человек... Я никогда не ошибаюсь в людях... Если бы ты сейчас поцеловал мне руку... хе-хе, я счел бы тебя за лгуна и обманщика... Ладно, хорошо... Приезжай ко мне как можно скорее, мы засвидетельствуем купчую. Без этого акт не действителен... У меня есть свой адвокат. До свидания...

Папп прошел через черное крыльцо к машине. Пинця уложил чемоданы в багажник. Папп помахал рукой и захлопнул дверцу.

— Ты, голубчик,— сказал он шоферу,— гони вовсю и ни под каким видом не останавливайся — дави, кто бы ни был. Револьвер при тебе?

— При мне.

Мощный «понтиак» рванулся и, набирая скорость, обогнул дом. Сгрудившиеся у подъезда моцы что-то кричали, в машину полетели камни. Автомобиль врезался в толпу и помчался по аллее. Один камень ударился в кузов. У ворот, в кучке бежавших к дому людей, Папп увидел Суслэнеску, однорукого военного и полного мужчину с седыми усами.

— Жаль, что я их пулей не угостил,— спокойно сказал шофер, когда машина выехала на шоссе.

— Ни к чему... Их песенка и так спета, ни один не уйдет.

Через несколько минут, заглянув в зеркало, шофер увидел, что барон спит. Свалившееся с носа пенсне, как маятник, болталось на шнурке.

Небо снова затянуло тучами. Зарядил мелкий дождь.

ГЛАВА IX

1

Мария перешла на другую сторону улицы и присела на лавочку против дома Клоамбеша.

Отец послал ее поискать Эзекиила, сказать ему — пусть домой возвращается.

Но Эзекиила нигде не было. Мария почти радовалась этому. Когда брата не было дома, ей было не так страшно.

— Ты полюбилась мне, я хочу сватать тебя, Мария. Почему ты молчишь? Гнушаешься мной? — раздался над ее ухом просящий голос Глигора.

— Не могу я за тебя пойти, Глигор,— тихо отозвалась девушка.

— Почему? Нет, Мария, ты будешь моей женой, не видишь, что ли, как я по тебе сохну...

Он осторожно присел на край скамейки, зажав коленями большие, сильные руки.

— Я, Мария, получаю надел. Завтра или, может, послезавтра. Мне от твоего отца ничего не надо. Работник я хороший... Не урод... и ростом вышел... здоров... слава богу... Жить будем хорошо. Голодать не станешь. Бить не буду. Знаю, что...

Он запнулся и покраснел.

— Что ты знаешь? — прошептала Мария.

— Знаю, что... был тебе люб один парень, прости ему, господи, прегрешения,— он придвинулся к ней поближе.— Что поделаешь, раз его нету? А с батькой твоим я говорил. Он сказал, что...

— Что он сказал?

— Сказал, что... ладно, мол. Что он, мол, мною не брезгует.

— И я не брезгую, Глигор. Боже сохрани, с чего бы мне тобой брезговать?

— Когда записываться пойдем?

— Глигор, голубчик, тяжелая я, понимаешь? — отчетливо проговорила Мария и отвернулась.— Ты меня всю жизнь попрекать станешь.

— Врешь,— чуть слышно проговорил Глигор.

Мария беспомощно пожала плечами, потом встала со скамейки, чтобы идти домой. Но Глигор преградил ей дорогу.

Она не видела его лица, только слышала его прерывистое дыхание.

— Мне все равно, Мария. Родишь — скажу, что мой. Бить не стану, никогда!

Ей стало жаль его. С удивлением она осознала, что ей жаль и отца и Глигора. Протянув руку, Мария положила ее на широкую грудь парня. Его сердце билось так близко, что казалось, будто оно здесь, у нее в ладони.

— Глигор, я хочу в город. Может быть... когда-нибудь стану учительницей...

— Так, понятно. Хочешь барыней стать.

— Нет. Учительницей.

— Кто это тебя надоумил?

— Господин директор...

— Ага,— почтительно произнес Глигор.— Скоро ли уедешь?

— Никогда, Глигор. Только так... подумала.

— А с ребенком что сделаешь? На каком ты месяце?

— Четвертый пошел. Не знаю еще, Глигор. Посмотрю, что скажет батюшка.

— Ты его не боишься?

— Нет. Что его бояться. Он добрый.

Глигор не понимал, почему она не уходит. Зачем медлит. Он ей не мил. Может быть, она помутилась в уме, после того как убили Петре?

Помолчали.

На прощание она протянула ему руку.

— Заходи к нам, Глигор...

Он вздрогнул.

— Спасибо на добром слове. Завтра приду. Ступай с богом. Будь здорова,— выпалил он одним духом.

2

Стемнело. Неподвижным пологом застыло небо. Лабош развесил фонарики на ветках шелковицы. Вокруг них тонкой зеленоватой пеленой роились мириады комаров. Пуцу из последних сил дул в трубу. Бобокуц — его сынишка — чуть не плакал, водя смычком по струнам.

— Лучше бы ты меня удавил, когда я родился,— жаловался он отцу.— В колодце бы лучше утопил. Свиньям бы отдал. В печи бы сжег...

Положи он смычок в эту минуту, парни разбили бы ему скрипку. Приходилось играть, проклиная судьбу. Завтра он будет пасти свиней и тогда выспится. Деньги все-таки по воскресеньям набираются немалые, что правда то правда...

На этот раз к корчме пришло много моцев и их девушек. Один снял шляпу и вежливо поклонился крестьянам.

— Мы тоже погулять пришли,— сказал он Лабошу.— Заплатим. Вы нас не задирайте. Радость у нас... Землю получим.

Вели они себя смирно, скромно. Плясали отдельно, с краю, но как-то чудно — может быть, оттого, что на ногах у них были не сапоги, а постолы.

Из примарии пришел Василие Миллиону и объявил, что говорил с Митру по телефону: он приедет сегодня же вечером с землемером и секретарем уездного комитета партии. Весть эта всех обрадовала: значит, скоро можно будет пахать.

Из баптистской молельни раздавались протяжные печальные звуки аккордеона: молельня заменяла баптистам и корчму и хору.

3

В это воскресенье после обеда у Суслэнеску пошла горлом кровь.

Джордже и Арделяну услышали сдавленный крик и обернулись. Суслэнеску шатался, протягивая к ним окровавленные руки. Все лицо у него было испачкано кровью.

— Что это? — спросил он странным, захлебывающимся голосом. — Смотрите... Что случилось?

— Вы простудились... в ту ночь... в поле,— с состраданием проговорил Джордже, чтобы что-нибудь сказать.

— Нет, что вы! Я давно уже болен...

— Вам нужно поскорей уехать отсюда,—сказал Арделяну.— Дело серьезное, шутить с этим нельзя...— Он принялся расхаживать по комнате большими шагами.— Поездом трудно. На железной дороге такое делается... Вы должны показаться доктору, лечь в больницу... Вот положение, черт возьми... Как тут быть, господин директор?

Джордже молчал.

— Вы, Арделяну,— практик,— улыбнулся Суслэнеску.— Это замечательно. Вы правы... Мне нужно уехать. Жаль.

— Может, машиной доставим... Митру звонил, что приедет товарищ Журка, тогда...

— Попробуйте не кашлять,— быстро проговорил Джордже.— Удерживайтесь...

Суслэнеску послушно кивнул головой и закусил губу. У него шумело в ушах, что-то щекотало в груди. Он постепенно успокоился.

— Тише, пускай отдохнет...— сказал Арделяну, и оба на цыпочках вышли из комнаты.

4

Поужинали поздно. У бабки Фогмегоайи, у которой квартировал Арделяну, все валилось из рук. Она совсем растерялась оттого, что у нее в хате поселилось столько народу. У Суслэнеску был сильный жар, он ничего не ел. Ему все время казалось, что он погружается в какую-то теплую, красную, как кровь, воду. Мокрый от пота, он то и дело ощупывал грудь обессилевшей, мягкой, словно тряпка, рукой. Ему казалось, что Арделяну недоволен его присутствием, и потому учитель все время просил извинения за причиненное им беспокойство.

После ужина Джордже вышел во двор покурить. За ним последовал Арделяну. Издалека доносились приглушенные звуки хоры, крики.

— Пойду сегодня домой,— сказал Джордже тихо.

— Так лучше, товарищ директор...

Арделяну ни разу не спросил Джордже, почему он к нему перебрался. Джордже сам несколько раз собирался ему сказать, но не знал, поймет ли его Арделяну. Джордже знал, что Арделяну уважает Эмилию, и не хотел его разочаровывать — пускай думает, что между ними произошла обычная супружеская размолвка.

Он украдкой посматривал на широкое лицо Арделяну — когда тот затягивался, папироса освещала его крупные губы и жесткие, неумело подстриженные усы. Он казался стариком.

— Сколько вам лет, Арделяну?

— Сорок два...

— Только?

Джордже пожалел, что спросил. Но затянувшееся молчание удручало его: он был уверен, что они многое могли сказать друг другу — стоило лишь начать.

— Давно в партии?

— С тридцать седьмого года. С октября.

— Женаты?

— Нет,— сухо ответил Арделяну.

Джордже показалось, что Арделяну не хочется отвечать на дальнейшие вопросы на эту тему. Им вдруг овладело горькое чувство. Он и Арделяну были еще каждый сам по себе, и оба по-своему одиноки. В их отношениях еще существовала натянутость... и Джордже не знал даже, стоит ли ему сейчас делиться с Арделяну мучившими его сомнениями... Сейчас или в другое время, с ним или с другими... Он невольно вздохнул, Арделяну повернулся к нему, но в эту минуту в воротах появился Глигор, и Джордже не успел ничего сказать. Увидев две светящиеся точки папирос, Глигор подошел и молча прикурил. Все трое некоторое время не говорили ни слова. Глигор потом сообразил, что следует поздороваться.

— Добрый вечер, дай бог...

— С гулянья? — спросил Арделяну.— Что там?

— Ничего.

— О земле был разговор? — поинтересовался Арделяну.

— Не знаю, я в корчме не был. Не хожу я в корчму, нет у меня такого обычая.— Глигор глубоко вздохнул и вдруг выпалил: — Хочу вам кое-что сказать, если не побеспокою. Жениться я задумал.

— Молодец, Глигор,— одобрил Джордже.— На ком?

— На дочери Гэврилэ Урсу,— заносчиво ответил парень.— Я с ним давно уже говорил. Отдает... Это уж верно, что отдает,— повторил он и хотел было засмеяться, но не смог.

— На кулачке? — удивился Арделяну и схватил Глигора за руку.— Неужто другой невесты не нашел?

— Зачем мне другую искать? Мне эта нравится. И... я ей тоже полюбился... Давно еще, с тех пор как подросли...

Арделяну закурил другую папиросу. И по тому, как он резко бросил спичку, Джордже, к своему удивлению, понял, что Арделяну не на шутку огорчен словами Глигора. Это показалось ему смешным, но тут же появилась тревожная мысль: известно ли Глигору о том, что девушка беременна? Может быть, впрочем, парень выпил и просто хвастается.

— Идемте в хату,— сказал он,— стало прохладно.

Суслэнеску спал тяжелым сном, повернувшись к стене. Арделяну прикрутил в лампе фитиль. Джордже никак не мог решиться уйти. У него тревожно билось сердце: что он скажет Эмилии? Она, возможно, подумает, что возвращение мужа означает отказ от его намерения отдать землю. Арделяну казался очень озабоченным.

— Плохо ты, парень, распорядился,— сказал он строго.

— Почему плохо? — рассердился Глигор.— Скажите, почему плохо? Если я в партии, значит, вы мне приказывать будете, кого в жены брать. Мне жена нужна, один я, как пес. Это понять надо. Девушка она хорошая, честная.

Он запнулся, выжидая, не скажет ли чего-нибудь Арделяну, и сжал под столом кулаки.

— Гэврилэ — враг! — начал Арделяну.— Разве не знаешь? Я его в старосты прочил — от демократов, а он мне что ответил? С Маниу, с Паппом... Ты мне сам рассказывал, как ты раз заговорил с ним о реформе и как он на тебя накинулся — это святой-то! И чем больше мы будем крепнуть, тем больше он будет озлобляться... Нашел с кем родниться! Будто не знаешь, что он за человек! Сына прогнал, чтобы ему части не давать! Ты, Глигор, хороший, честный малый, испортишься среди них. Да и девка-то...

— Оставьте ее в покое. Мне лучше известно... А если я с женой партии не нужен, то могу и выйти...

— Ты любишь Марию? — тихо спросил Джордже.

Глигор круто повернулся к Джордже — он совсем забыл о его присутствии.

— Нужна она мне... Я все про нее знаю... И что вы ей советовали учительницей стать...— И добавил, невесело усмехаясь: — Будто без нее не обойдется! С дитей на руках за ученье браться!..

Он запнулся, поняв, что сказал лишнее.

— Вы с ней уже обо всем договорились? — улыбнулся Арделяну.— Ну, тогда я молчу.

— Обо всем, с божьей помощью! — сказал Глигор, пытаясь ответить улыбкой.

Джордже заметил, что Глигор, как тисками, сжимает коленями руки и что на лбу у него выступила испарина. Он пристально поглядел на парня, словно видел его в первый раз. Во всем облике Глигора было что-то новое, Джордже еще не отдавал себе отчета, какая произошла в парне перемена, и почувствовал легкое смущение под его сосредоточенно-жестким взглядом.

— Мне от Гэврилэ земли не нужно. У меня будет своя... А девку беру за то, что умница она и хорошая, а счастья никакого не видела...

Арделяну посмотрел на часы.

— Ну, люди добрые, первый час... Спать пора... Я со старухой говорил: она нас на чердак пускает — там у нее сено, тепло, захватим одеяла...

— Извините меня,— сказал Суслэнеску.— Я вам доставил столько беспокойства... И чувствую себя крайне...

— Ничего, господин учитель, мы люди привычные... И ты, Глигор, ступай спать...

— Нет еще,— невозмутимо возразил Глигор.— Мне спать не хочется. Может, вы мне что-нибудь из книжек почитаете. Уж так мне это нравится...

Джордже с усилием поднялся, подошел к окну и прильнул лбом к холодному стеклу. Чья-то тень пробежала от ворот, по слабо озаренному луной двору, до самой хаты и исчезла.

— Кто-то вошел в ворота,— сказал Джордже.— Может, Митру вернулся.

— Машины не слышно было,— Арделяну шагнул к двери.

— Стой,— сказал Джордже.— Подожди.

Он увидел фигуру, в какую-то долю секунды перемахнувшую через забор и потом в несколько прыжков пересекшую двор. Арделяну уже взялся за ручку двери. Снаружи послышались осторожные шаги, в окно заглянула чья-то физиономия и тотчас исчезла.

— Баничиу! — крикнул Суслэнеску.— Капитан!

Джордже молниеносно задул лампу.

— Кто? — спросил Арделяну.

— Железногвардейский вожак... Доверенный человек барона... Скрывался тут у одного моца...

— Почему же, черт вас побери, мне никто ничего не сказал? — тихо спросил Арделяну.

С половины, где спала хозяйка, раздался сильный удар в дверь и треск досок. Одним прыжком Арделяну подскочил к двери и щелкнул задвижкой. В то же мгновение чья-то рука нажала снаружи на ручку.

— Выйдем через задний ход! — шепнул Арделяну.— Здесь нас перебьют. Револьвер при вас, Теодореску?

— Нет... дома.

Кто-то всей тяжестью навалился на дверь.

— Караул, караул! — завопила старуха.

— Молчать, а то череп размозжу! — пригрозил кто-то старухе.

— Выйдем... потом бегом задворками, огородами... разделимся...— прошептал Арделяну.— Скорей!

Когда Глигор открыл дверь, кто-то невысокий, коренастый преградил ему дорогу. Глигор с маху ударил врага.

Суслэнеску, обливаясь потом, вскочил с постели, но ноги от слабости подкосились. Он упал и с трудом забился под кровать. Дверь затрещала, соскочила с петель и упала на стол. Зазвенели осколки лампы, послышалось тяжелое дыхание нескольких человек, мелькнул голубой луч карманного фонарика.

— Сюда! — крикнул Баничиу и в два прыжка пересек комнату, но чуть не упал, наткнувшись на Эзекиила, который лежал на полу и со стоном прижимал ладони к глазам.

— Вон они... через изгородь прыгают...— пробормотал он, дыша водочным перегаром.— Глазам больно...

— Поворачивайся... Вставай! — дернул его за плечо Баничиу.

Эзекиил встал на четвереньки и принялся шарить по полу, отыскивая револьвер. В комнату вбежал Пику, тоже споткнулся о парня, выругался и крикнул, чтобы он торопился, пока «те» не забежали к кому-нибудь в хату. В свете луны было ясно видно, как карабкались через забор три фигуры. Баничиу положил револьвер на согнутый локоть левой руки и два раза выстрелил, но рука дрожала, и он промахнулся. Залаяли собаки, где-то открылась дверь, и хриплый спросонья голос сердито окликнул:

— Кто стреляет, разрази его гром?

В одной из хат зажглась лампа, в окне другой показалась взлохмаченная голова.

— Скорей! — заорал Баничиу и, пригнувшись, подбежал к высокому забору, но перепрыгнуть не смог. Хлюпавший носом и утиравший рукавом кровь с лица Эзекиил помог ему, потом перелез сам.

Соседний двор выходил на дамбу. В ночной темноте глухо раздавался шум сыпавшихся комьев земли из-под ног убегавших.

— Теперь не уйдут! — крикнул Баничиу, прыгая с забора.

Дамба уходила в лес, послушно следуя излучинам Тэуза.

— Бежим,— распорядился Баничиу,— взберемся на дамбу и возьмем их, как рыбу в верше. Рысью!

Он помчался вперед, плотно прижимая локти к бокам.

— Только в лес не ушли бы,— сказал запыхавшийся Пику, с трудом поспевавший за всеми.

Его мучил страх — если бы коммунистов накрыли в хате, успех был бы обеспечен... А так, чем больше они отдалялись от села, тем сильнее, казалось Пику, слышался собачий лай, да и в колокол словно ударили...

— Если в лес уйдут, хорошо,— на бегу крикнул Блотор.— Я в лесу каждое дерево знаю...

Баничиу неутомимо бежал впереди. Отросшие волосы развевались. В лицо дул ветер, но Баничиу не сбавлял темпа, не чувствовал усталости. Наоборот, ощущал необычайный прилив бодрости во всем теле, почти наслаждение бегом.

5

Бабка Фогмегоайя, простоволосая, в одной рубахе, выбежала на улицу, села на землю и принялась голосить. В этом не было никакой надобности, потому что выстрелы всполошили соседей и крестьяне выбегали на улицу. Старуху окружили, подняли, отвели в хату и нашли там испачканного кровью Суслэнеску. Учитель растерялся, когда комната

наполнилась народом, и долго не мог произнести ни слова. Рассказав наконец о случившемся, он потерял сознание.

Живший поблизости Павел Битуша кинулся в церковь, чтобы ударить в набат.

— Поднимайся, народ! — кричал он на ходу.— Беда! Поднимайтесь!

Павел по пути на площадь стучал кулаком во все окна, разбил несколько стекол и сильно порезался. Вскоре он выбился из сил, закружилась голова. Добежав до главной улицы, он увидел около церкви небольшую зеленую машину с зажженными фонарями, в свете которых мелькали, то появляясь, то исчезая, людские тени. Нельзя было ничего разобрать, потому что все кричали; чтобы пробиться к машине, Павлу пришлось пустить в ход кулаки. Когда Митру, сидевший в машине рядом с незнакомым Павлу молодым человеком в очках, услышал, что где-то за селом убивают директора и Арделяну, он соскочил с сиденья, словно выброшенный невидимой пружиной, мгновенно пробился сквозь плотное кольцо людей, окружавших машину, и закричал, очутившись на свободном месте:

— Битуша! Беги в примарию, веди сюда лошадей... Догоним бандитов...

— К лесу наши по дамбе побежали! — кричал Битуша.— И Глигор с ними.

— Машиной туда нельзя проехать? — спросил молодой человек.

Но Митру его не слышал. Перепрыгнув через канаву, он бросился к темному дому священника и до тех пор колотил кулаком в стекла и ругался, пока в окне не показалась заспанная физиономия попа Иожи.

— Ключ от церкви! — заорал Митру.— Скорей!

— Зачем тебе?

— Молчи и подавай ключ, а то убью! Со всеми вами расправлюсь... Ежели что с директором случится... Не сдобровать...

— А что с ним?..

— Давай ключ! — заревел Митру.

Получив из рук испуганного отца Иожи большой заржавленный ключ, Митру вернулся к машине и крикнул:

— Садись на коней, братцы! У кого есть оружие, захватите!

С немалым трудом открыв церковную дверь — у него дрожали руки,— Митру вбежал в церковь, в кромешной тьме нащупал гнилую лестницу и на четвереньках, стукаясь лбом о ступеньки, полез наверх, на колокольню. Он долго шарил в темноте, пока не ухватил веревку от языка большого колокола.

Протяжный заунывный звук оглушил его. Веревка совершенно неожиданно подбросила Митру вверх и сильно ударила об стену. Но он не выпускал ее. Когда ему показалось, что все уже слышали набат, он бросился к лестнице, но оступился и полетел вниз. Не замечая боли, он кое-как поднялся и выскочил на улицу. Тут уже собралось несколько конных, вскоре появился Павел с четырьми лошадьми сельского правления. За ним плелся недовольный Бикашу.

— Не дам я тебе коней,— жалобно повторял он,— никак не могу. Беда, если с ними что случится. Я человек бедный, дети... Нет, Павел, уж ты как хочешь, я тебе коней не дам... Злые они, кусаются, как на них ехать?.. Право, Павел, одумайся...

Митру выхватил у кого-то автомат и вскочил на молодого вороного жеребца.

— Сколько вас? — спросил он конных.

— Человек девять будет.

— Гони! В лес!

Запрудивший улицу народ едва успел посторониться.

И снова в наступившей тишине раздался набат. Кто-то другой залез на колокольню и без передышки дергал за веревку. Из хат продолжали выбегать перепуганные люди.

Когда Митру зазвонил в колокол, старуха уже легла, а Эмилия читала, сидя в кухне.

— Пожар где-нибудь, — сказала Анна, — слышишь набат? Горя-то, господи, у людей, горя сколько!

— Молчи, мама,— прошептала Эмилия.

Когда она была маленькой, в селе загорелась хата и Эмилия вместе с другими детьми побежала смотреть. Огонь потушили, из дымящегося пожарища вытащили два обуглившихся трупа. С тех пор Эмилия панически боялась набата, каждый раз напоминавшего ей о пожаре.

— Я пойду лягу, мама,— сказала она, вставая.— Мне что-то нездоровится. Голова болит.

Эмилия еще не успела раздеться, как двор заполнился людьми, чуть не высадившими кухонную дверь. Параска, жена Кулы Кордиша, бросилась к Эмилии и обняла ее, обливаясь слезами:

— Беда!.. Несчастье... Господина директора убивают!

Белая как полотно Эмилия, чтобы не упасть, схватилась рукой за стол.

— Кто?

Все заговорили одновременно. Женщины причитали, рвали на себе волосы. Одна из них опустилась на корточки и принялась биться лбом о колени.

— Тише! — крикнула Эмилия таким голосом, которым она успокаивала расшалившихся ребят.— Что случилось?

— Какие-то... напали... стреляли в них... теперь в лес загнали... убивают... Страсти-то какие, господи!.. Из-за земли!..

— Папп их подослал или сам дьявол... Убьют директора нашего ненаглядного!..

Эмилия бросилась к Параске, схватила ее за ворот рубахи и принялась трясти изо всех сил.

— Что случилось? Говори толком!..

Стоявший у двери паренек, которого не было видно из-за других, рассказал все, что знал... Эмилия некоторое время слушала, потом бросилась к матери. Анна пыталась слезть с кровати.

— Мама...— рыдая, крикнула Эмилия и обняла старуху.— Это я его убила... Я! Я! Я!

— Госпожа Теодореску! Госпожа Теодореску! — раздался из кухни голос Параски.— Туда Митру поскакал... с людьми... все верхами... Догонят... Покарай меня бог, детям моим не жить, если не догонят. Не быстрей же бандиты бегают, чем кони!

Эмилия сорвала с матери черную шаль, накинула ее на плечи и, растолкав людей, выбежала во двор, а потом на улицу.

— Люди добрые! — причитала она, не останавливаясь.— Спасите его! Помогите, люди добрые! Спасите своего директора, мужа моего!

Слезы ручьями текли по ее щекам, шаль соскользнула с плеч, она потеряла башмак и не чувствовала, как острый щебень шоссе режет босую ногу.

— Спасите его! — кричала она слабеющим голосом.— Помогите, ради бога, не оставляйте его!

Ее пробовали успокоить, но она отбивалась кулаками и бежала дальше по улице. На колокольне продолжали звонить. Набат на минуту смолк, и сразу послышался далекий сухой треск выстрелов. Потом снова зазвонили в колокол.

Эмилия с воплем добежала до церкви, но войти не смогла, мешали люди, бесцельно сновавшие вокруг. Кто-то зажег у алтаря свечи. Молодой человек в очках продолжал сидеть в машине, съежившись на кожаной подушке, и как завороженный глядел на мелькавшие в свете фонарей фигуры.

Эмилия опустилась в пыли на колени, но не могла выговорить ни слова, только смотрела широко раскрытыми глазами на слабо освещенные иконы, казавшиеся через дверь странно маленькими. Поп растерянно стоял в воротах своего дома и охал. Из дома доносился пронзительный голос попадьи:

— Не стой там, Иожа! Иди сюда, Иожа, мало ли что на улице может случиться...

— Я его убила... я его убила...— твердила Эмилия, озираясь, как безумная, по сторонам. Но слова не могли выразить всего, что она чувствовала.

6

Лес, наверно, был уже недалеко. Бегущих все чаще и чаще обвевало холодком. Кровь прихлынула к голове, и казалось, что все вокруг гудит, как сирена. Вначале все трое бежали рядом, потом грузный Арделяну стал отставать. Джордже чувствовал его дыхание за своей спиной, но, наверное, упал, если бы оглянулся. Обрубок ампутированной руки болел, как открытая рана. Джордже прекрасно понимал план преследователей: они хотели, обогнав их, перебежать через дамбу и перерезать им путь, не дав добраться до леса. В голове мелькнула мысль — не переправиться ли вплавь через Тэуз, но Джордже тут же сообразил, что бандиты услышат плеск воды, поднимутся на дамбу и легко перестреляют их. Ближе к лесу речка делалась уже — через нее можно было перепрыгнуть. Глигор опередил Джордже.

— В лесу...— задыхаясь, пробормотал Джордже, догнав парня,— разделимся... Нас не найдут...

— Подождите меня,— хрипло крикнул Арделяну, и сейчас же из-за дамбы раздался короткий свист.

Глигор споткнулся и упал. Джордже ударил его в спину ногой, зная, что у Глигора не будет сил встать, если он пролежит еще минуту. Потом, когда Глигор поднялся и снова побежал, Джордже подумал, что, может быть, лучше им броситься на землю и переждать, пока преследователи их не обгонят. Но это было слишком рискованно, бандиты могли бы догадаться об обмане.

Впереди уже можно было различить темную громаду леса. Джордже попробовал бежать быстрее, но не смог. Отсутствие правой руки лишало его необходимого равновесия.

Сзади прозвучал выстрел. Кто-то забрался на дамбу и выстрелил оттуда наудачу. Мелодично просвистела пуля. В этом месте Тэуз сужался, течение ускорялось, и шум воды заглушал шаги. Первым прыгнул в реку Глигор, но силы его были на исходе, и, тяжело шлепнувшись в воду, парень крикнул от страха. Арделяну тоже упал и, скользя по илу, пополз на противоположную сторону и стал хвататься за траву, но она обрывалась. Вылезти на берег он сразу не смог, его потащило течением. Было слышно, как преследователи карабкаются на дамбу, сквозь листву слабо блеснул электрический фонарик. Наконец все трое выбрались на берег.

Немного ниже по течению Тэуза послышался всплеск. Бандиты переправлялись тоже.

У Арделяну подогнулись колени, и он споткнулся. Зашуршала прошлогодняя листва, затрещали сухие сучья. Джордже был вне себя от ярости: этот сухой негромкий треск мог оказаться для них роковым.

Преследователи открыли беспорядочную стрельбу. Пули то вонзались в стволы, то шуршали в мертвой листве, то глухо ударялись о землю.

Беглецы попали в какой-то молодой кустарник с тонкими, колючими ветками, которые царапали им лица и руки. Они с трудом выбрались из колючек. Глигор даже выругался. «Кто-то... уступит,— подумал Джордже.— Или они, или мы... Не может быть, чтобы наши силы одновременно иссякли».

Арделяну вдруг упал, и, когда Джордже и Глигор его поднимали, треск сучьев под ногами преследователей стал слышен всего в нескольких шагах. Глаза у Арделяну были закрыты, он задыхался.

Глигор обхватил механика за плечи и поволок за собой.

Они очутились на поляне возле развалин древней каменной часовни. Все вокруг было залито голубым лунным светом, удлинявшим их тени. Черной стеной стоял лес.

— Туда,— шепнул Джордже, показывая в сторону.— Скорей!

Он знал, что тут где-то есть овраг, густо поросший молодняком. Если им удастся добраться до оврага и скатиться вниз, там их уже не найдут. Он обернулся, несколько теней выросло между деревьями. Луч фонарика, совсем слабый при свете луны, на мгновение задержался на белой рубахе Глигора. Грянул выстрел. Глигор охнул и выпустил Арделяну, который попробовал подняться и не смог. Глигор тяжело опустился на землю и лег на бок.

Джордже, между тем, уже добежал до развалин часовни, где был похоронен сын какого-то австрийского эрцгерцога. Обойдя развалины, он бросился в чащу, потерял равновесие и почувствовал, что куда-то летит. Он катился под откос вниз головой. Сучок разодрал ему ладонь, ветка ударила в ребра. Наконец Джордже задержался. Кровь так сильно стучала в ушах, что он ничего не слышал, ощущая лишь какой-то странный покой. Теперь Джордже было все равно, убьют его или нет.

Он прежде всего почувствовал болезненный прилив крови к обрубку правой руки, потом запах гнилой листвы и гораздо позднее (ему показалось, что прошла целая вечность) глухую, ноющую боль во всем теле. В ту же минуту до его слуха донесся стон Глигора.

Потом чей-то голос, прерываемый тяжелым дыханием, спросил:

— А где третий?

— Их всего двое и было...— Это ответил Пику.

Джордже чуть не окликнул негодяя.

На дне оврага было совсем темно. Шаги и все движения преследователей слышались так близко, что Джордже инстинктивно напряг все мускулы, чтобы не двинуться.

Глухо грянули подряд три выстрела, и Джордже вздрогнул, словно его ударили чем-то тяжелым. Лес загудел. Затем явственно послышались звуки рвоты.

— Говорил тебе не пить,— прохрипел кто-то задыхаясь.— Говорил ведь!

— Оставьте меня в покое...

Наступившую затем тишину нарушил далекий конский топот, невнятные крики. Джордже прислушался... Преследователи быстро переговаривались.

— Погоня, господин капитан... из села...

— А ты что думал? Теперь мы расстаемся... Куда меня выведет река?

— К Вынэторь...

— Так. Вы возвращайтесь домой. Дай мне папирос... Все-таки, мне кажется, однорукий тоже был с ними...

— Не было его, господин капитан... не видел я его... куда ему еще было бежать...

— Ладно. До свидания.

— Будьте здоровы. Нижайшее почтение господину барону...

Шаги быстро удалялись. Опять слышнее стал конский топот.

Джордже пополз вперед, хватаясь за ветки. Треск ломавшихся сучьев мучительно отдавался в ушах. Густой, колючий кустарник, в который Джордже угодил головой, порвал ему китель на плече. Наконец он выбрался из оврага и, шатаясь, прислонился к замшелой холодной часовне. На поляне никого не было. Джордже с трудом сделал несколько шагов, наткнулся на убитых товарищей. Он, согнувшись, сел рядом. Между тем, всадники — было слышно — уже переправлялись где-то поблизости через Тэуз.

— Эй! Где вы? Сюда! — крикнул Джордже приподнимаясь.

Но голос плохо слушался его, и он принялся колотить сапогом по дереву.

Поляна вскоре наполнилась мечущимися тенями, тусклый луч фонаря ощупал деревья и остановился на убитых, лежавших в луже крови, потом на лице Джордже, быстро прикрывшем глаза рукавом. Митру кинулся к нему и обнял рыдая:

— Господин директор... господин директор... Спаслись-таки! Дорогой!

— Здесь Глигор и Арделяну! — крикнул Павел Битуша.— Мертвые. Оба. Застрелили их!

— Господин директор... дорогой господин директор...— повторял Митру. Джордже, шатаясь, подошел к одной из лошадей и попытался сесть в седло.

— Помоги мне! — коротко приказал он Митру, потом повернулся к одному из стоявших поблизости крестьян: — Дай мне автомат!

Тот повиновался.

— На коней! — скомандовал Джордже.— Они недалеко... А ты побудь здесь! — крикнул он незнакомому человеку, оставшемуся без лошади.— Заедем за тобой на обратном пути.

Человек хотел что-то возразить, но Джордже уже был далеко. Не оглядываясь, он переправился через Тэуз, въехал на дамбу и пустил жеребца галопом.

Небо посветлело. Джордже был уверен, что бандиты далеко не уйдут: лес скоро кончится, а в поле негде укрыться. Важно было обнаружить их как можно скорее. Сзади слышалась несмолкаемая брань Митру.

Когда Джордже доскакал до того места, где дамба, оставив позади лес, описывала широкую дугу, ему показалось, что впереди в прибрежном ракитнике что-то мелькнуло.

— Фонарь! — крикнул Джордже.

Блеснувший луч осветил белое пятно рубахи, тотчас же скрывшейся в зарослях. Судя по треску сучьев, человек, по-видимому, запутался, пытаясь выбраться. Митру остановил лошадь, спешился и выпустил из автомата очередь. Лающий грохот выстрелов прокатился по лесу, разбудил дремавшую чашу. Джордже спустился с дамбы в речку и, хотя лошадь вязла в липком иле, погнал ее по воде, нещадно колотя каблуками, пока животное не заржало от боли и бессильной злобы. Кто-то сорвался с противоположного берега и, покатившись под откос, тяжело шлепнулся в воду.

Джордже быстро нагнал Эзекиила, тот сделал отчаянную попытку побежать вперед, но поскользнулся, снова поднялся и, на секунду повернувшись лицом к Джордже, с хриплым стоном рванулся к берегу. Джордже в упор выстрелил ему в висок. Эзекиил рухнул в воду и с головы до ног окатил всадника брызгами. Потеряв равновесие, Джордже упал в речку.

Жеребец облегченно встряхнулся, фыркнул и, похрапывая от наслаждения, опустил морду в холодные струи.

До утра всадники рыскали по лесу, стреляя наугад, но бандитам, очевидно, удалось уйти или хорошо спрятаться где-то в чаще.

Промокшие, продрогшие лунчане вернулись на поляну, привязали убитых к лошадям и шагом тронулись к селу. На колокольне кто-то еще бил в набат, когда всадники подъезжали к мосту.

7

Улицы были безлюдны. Село в сером утреннем свете казалось маленьким и невзрачным. Подковы усталых лошадей выбивали на шоссе зеленые искорки.

— Куда повезем убитых? — спросил кто-то сзади.

— В школу,— ответил Джордже, положив руку на гриву жеребца и чувствуя жар его большого, усталого, потного тела.

— Чего они еще трезвонят? — рассердился Митру.— Уши болят!..

Поравнявшись с густой акацией, за которой прятался дом Гэврилэ Урсу, Митру попросил остальных подождать и подъехал по перекинутому через канаву мостику к воротам. Старуха Урсу уже встала и подметала широкий пустынный двор. Увидев через забор голову Митру, она остолбенела.

— Здравствуйте,— сказал Митру и заорал, колотя сапогом в ворота: — Гэврилэ Урсу! Просыпайся, Гэврилэ! Чего дрыхнешь? Денег лежа не наживешь! Вставайте все Урсу!

Дверь открылась, и на пороге появилась Мария в одной рубахе, с распущенными косами. Пронзительно крикнув, она попятилась и скрылась в доме.

— Гэврилэ Урсу! — вопил Митру во весь голос.— Чего дрыхнешь, а? Вставай, говорят!

На крик выскакивали сыновья, невестки Гэврилэ, наконец и сам он, заспанный, появился на крыльце.

— Гэврилэ! — крикнул Митру.— Твой Эзекиил убил Глигора Хахэу и товарища Арделяну... Подходи, получай сына, я его тебе привез!

Он спихнул с лошади тело Эзекиила. Гэврилэ споткнулся на ступеньках крыльца, упал на четвереньки, поднялся и бросился к воротам, но не смог отодвинуть тяжелого засова.

— Получай! — не унимался Митру.— Бери его и подавись своей землей! Держись за нее зубами, богатей, лопни!

Он повернул лошадь и поскакал прочь.

Гэврилэ оцарапал до крови руку о гвоздь, стараясь отодвинуть засов, отступил на шаг и, опустив голову, ударился лбом о ворота.

— Стой, батюшка, стой! — крикнул Давид и бросился открывать.

Мертвый Эзекиил лежал ничком в пыли. Он был так тяжел, что пять братьев едва его подняли. Женщины заголосили. Мать, не выпуская метлы из рук, медленно подошла к воротам.

— Сюда положите, на землю,— прошептал Гэврилэ.— Лицом вверх.

Они осторожно положили Эзекиила на спину и в ужасе попятились. Давно небритый, обросший, он лежал, стиснув длинные желтые зубы и закрыв глубоко запавшие глаза. От него пахло водкой и тиной.

Гэврилэ, шатаясь как пьяный, ухватился за молоденькое абрикосовое дерево, сломавшееся под его тяжестью. Стоявшие вокруг сыновья и невестки не сводили с него глаз.

Старик, упав на колени перед Эзекиилом, стал целовать его щеки, шею, гладить волосатую, испачканную запекшейся кровью грудь. Он протяжно голосил тонким бабьим голосом.

Мария растолкала братьев, подошла к отцу.

— Батюшка, милый... не надо...— приговаривала она, нагнувшись к уху старика,— батюшка... не воскресишь ты его...

— Ступай прочь, окаянная! — яростно накинулась на нее мать.— Треклятое семя!..— потом подбежала к коленопреклоненному Гэврилэ и принялась колотить его метлой.— На! Святым всю жизнь был, из Писания говорил, а сам сына прогнал! Нечего теперь плакать, над священным Писанием глумиться!

Она с ожесточением била мужа по лицу, оставляя кровавые полосы.

— Земли ты ему не дал,— кричала она вне себя.— Никто в доме слова сказать не смеет... Со мной ни о чем не говорил, не советовался... Только приказывать умел... Хорош святой!..

Обезумевший от боли Гэврилэ закрыл голову руками, но встать не смог. Мария хотела остановить мать, но та с неожиданной силой ударила дочь метлой.

Наконец Гэврилэ медленно, с огромным усилием поднялся, не отнимая рук от лица.

— Возьмите отсюда дорогого покойника,— приказал он сыновьям,— и отнесите в дом... Позовите бабку Фогмегоайю, пусть она его обмоет... И Гьюси, чтобы его побрил... Зажгите свечи...

Не дожидаясь исполнения этих распоряжений, старик ушел в дом и через несколько минут появился снова во дворе, одетый во все черное, с непокрытой головой. Лицо его было исполосовано, глаза — красные.

До ворот он шел медленно, размеренными шагами, а выйдя на улицу, пустился бегом к примарии. Но долго бежать не мог — сказались годы и усталость. «Помилуй меня, господи, по великой твоей милости...— молился старик.— Нет мне больше пути, а лишь камни и терния... Где ты, господи... Ты здесь, но я не вижу тебя... Когда молод был, видел, а теперь ты скрылся от меня... Ох, сын мой, Эзекиил мой... За какие плачу я грехи?..»

Добравшись до дома, где жил секретарь сельского правления, он постучал в окно, но так как никто не вышел, ударил плечом в калитку и сорвал ее с петель. Гэврилэ пробежал заваленные проросшей картошкой сени, выбил стекло в двери и ворвался, натыкаясь на мебель, в комнату.

— Кто это, господи! — крикнула жена Мелиуцы, лежавшая на кровати рядом с маленьким, тщедушным мужем.

Гэврилэ подошел прямо к Мелиуце и стал трясти его изо всей силы за плечо.

— Вставай, господин секретарь, ты мне нужен! Слышишь, вставай!

— Что такое? Что случилось? — забормотал Мелиуца, отыскивая очки.

— Вставай, говорят! Нужен ты мне! — нетерпеливо крикнул Гэврилэ и выволок его из постели.— Торопись, слышишь? Вот деньги, куплю тебя со всеми потрохами! — Гэврилэ выбросил на стол кучу мятых бумажек.

— Что у вас такое случилось, господин Урсу? — полюбопытствовала жена Мелиуцы, но Гэврилэ ей не ответил.

Перепуганный секретарь от волнения не мог попасть в рукава, надеть ботинки. Гэврилэ опустился на колени и сам обул секретаря, приговаривая в страшном смятении:

— Скорей, господин секретарь, скорей. Порази тебя бог!

— Свари мне кофе, дорогая,— чуть не плача, попросил жену секретарь и прибавил, обращаясь к Гэврилэ: — Ничего не могу делать на пустой желудок: язва у меня, поймите! Человек вы или нет, черт возьми?! Дело не уйдет...

— Некогда мне, понимаешь, иль ты оглох, пьяница! — кричал Гэврилэ.— Я тебе дома чего хочешь дам, обожрешься... Поминки у меня — сын погиб!

Мелиуца дрожал как осиновый лист, бросая отчаянные взгляды на жену, которая принялась, лениво позевывая, считать и приглаживать выброшенные Гэврилэ кредитки.

— А может, дядя Гэврилэ, вы мне все-таки скажете, в чем дело...

— Нечего тебе знать. Увидишь. Только бумаги захвати да печать не забудь — ты, я знаю, ее дома держишь...

Окончательно перепуганный Мелиуца повиновался.

— Однако, дядя Гэврилэ, дайте мне что-нибудь перекусить. Меня мутит...

— Идем! — крикнул Гэврилэ и рванул секретаря за рукав.— До свидания, госпожа Мелиуца!

По дороге секретарь попытался выведать причину спешки, но старик делал вид, что не слышит вопросов.

Во дворе Урсу кипела работа. Невестки доставали воду из колодца, их мужья таскали ведра в дом, расплескивая по земле воду.

— Где мать? — спросил у Ионы Гэврилэ.

— На задворках... тебя проклинает...

Старик отправился в глубь двора и нашел жену на коленях за кучей кукурузных початков.

— ...чтобы он сна и покоя лишился,— выкрикивала она, часто крестясь,— он, идол, его из дому выгнал... уж как я этого боялась... а он выгнал... Покарай его бог во веки веков, аминь! Измучил он меня, заел, а я на него, как на икону, смотрела, любила его, проклятого... Пускай он вспомнит, когда станут землей моего мальчика засыпать, что он его, бедненького, убил... Жаба окаянная...

— Молчи, старуха,— сказал, подходя к ней, Гэврилэ,— не богохульствуй.

Продолжая мелко креститься, она посмотрела на мужа, подняв лицо.

— Я не знаю тебя.

— Слабая ты женщина, тебя бог обидел,— прошептал Гэврилэ, оставил ее в покое и, дойдя до середины двора, зычно крикнул сыновьям: — Надевайте черные пиджаки, идите в большой дом да поторапливайтесь, разрази вас гром! Я на вас всю жизнь трудился, и вы меня слушаться должны... Два раза повторять не стану!

В средней комнате ничего не было видно из-за пара. Бабка Фогмегоайя, в опойковом фартуке на торчащем животе, терла мертвеца соломенными жгутами.

Мелиуца почувствовал дурноту и, нервно глотнув, обратился к Гэврилэ:

— Примите, господин Урсу, мои искренние соболезнования. Это убийство.

— Мария,— позвал Гэврилэ,— сходи в кладовую, нарежь сала, колбасы, ветчины, свежего хлеба и цуйки принеси, угостим господина секретаря.

— Благодарю,— промычал Мелиуца,— только мне есть больше не хочется, у меня нервы слабые...

— А стаканчик цуйки выпьешь? И я тоже с тобой выпью.

— В таком случае с удовольствием...

Мария принесла бутылку, стаканы.

— Господь бог да простит ему и мне!

Гэврилэ поднял наполненный стакан и опорожнил его одним духом.

— Чего жен не привели? — рассердился Гэврилэ, увидев поодиночке входивших сыновей.— Мне они тоже нужны. Пускай каждый принесет

по стакану, выпьем за упокой души вашего брата и поплачем. А ты, Мария, накрой на стол и зажги лампу, а то ничего не видно.

Когда все собрались, в большой комнате стало, несмотря на ее размеры, тесно.

— Садитесь,— приказал Гэврилэ.— А где Лазарь? Я его не вижу.

Привели Лазаря. Когда все, наконец, испуганно озираясь, уселись, Гэврилэ обошел стол и налил каждому водки.

— Да простит нам бог! — торжественно сказал он, и по его щекам потекли слезы.

Одна из невесток протяжно застонала. Гэврилэ бросил на нее строгий взгляд, и она поспешила утереть платочком сухие глаза.

— Жалею, что с нами нет вашей маменьки,— сказал старик и покачал головой.— Она теперь останется со мной, одна, без помощников...

Открыв украшенный резьбой шкафчик из мореного дуба, он достал железную шкатулку, вынул кипу пожелтевших, аккуратно сложенных бумаг и протянул их Мелиуце.

— Здесь записана вся моя земля: и та, которая мне досталась от отца, и та, которую я нажил,— не торопясь начал Гэврилэ, насильно улыбаясь.— Я держал ее в одном куске — для порядка и чтобы вы ее не прожили, потому что вы не в меня пошли. *Теперь я ее делю.*

Сыновья с недоумением и недоверием глядели на отца.

— А может, вам не нравится? — ехидно спросил Гэврилэ.— Землю я делю, потому что плохо распорядился. Мне скоро в могилу; помру — вы хуже собак перегрызетесь. Такая уж у вас кровь! Молчи, Лазарь, не хнычь, батюшка еще не помер... Еще повременит... Если дележ покажется вам неправильным — скажите сразу, чтобы потом, когда отца не будет, его не ругать.

Гэврилэ говорил размеренно, пытаясь встретиться глазами с кем-нибудь из сыновей. Но они сидели потупившись, не желая обнаруживать своей радости. Старик это почувствовал.

— Всего у меня сто двадцать семь югэров. Пиши, господин секретарь. Мария, налей господину секретарю, пускай подкрепится, а то ошибется — вы потом по судам таскаться станете... переругаетесь как собаки. Вас восемь человек...

— Только семь осталось, батюшка милый,— осмелился вставить слово Давид.— Эзекиила-то уже нет, отдал богу душу.

— Молчал бы, от тебя бы больше проку было. Восемь вас! Меня, дурак, учить станешь, сколько у меня детей?

Было слышно, как в другом конце комнаты тяжело плещется в корыте вода.

Гэврилэ налил себе еще стаканчик цуйки.

— Земля добрая, только не в одном куске — вразброс. Каждый получает по пятнадцати югэров. Остается семь. Записывай, господин секретарь, записывай, голубчик. Давид, в Гриндурях шесть югэров в одном клину. Это тебе самая лучшая земля. Еще даю тебе четыре югэра в Косалэу — супеси, четыре в Ходайе... Все. Пиши, господин секретарь, раздельный акт делать будем.

Давид заерзал на стуле. Жена ущипнула его под столом — не забыл бы, что ему причитается еще один югэр. Гэврилэ это заметил:

— Смекалистая у тебя жена, Давид, недаром я сам тебе ее выбирал... Один югэр мы тебе из Адамовой земли отрежем... У него четыре в Гриндурях. Впрочем, нет, лучше в другом месте, а то потом горло друг другу перегрызете!..

Лазарь положил голову на руки и заревел.

— Не плачь, малыш. Ты у нас останешься, со мной и с маменькой, и с Марией, если она захочет жить с нами, пока замуж не выйдет. И дом

ей построю... Эзекиилу остается восемь югэров в Носалэу... Землица, правда, неважная, однако он ее обрабатывал — хороший работник был. Еще три в Пэдурече да четыре у станции — итого пятнадцать. Это моя доля.

Гэврилэ вздохнул, вытер выступивший на лбу пот и, выпив еще стаканчик цуйки, поднялся. Сыновья хотели последовать его примеру, но старик рассердился:

— Сидите! Кто вам велел вставать? — старик обошел всех сыновей, подавая каждому руку.— Делай с землей что хочешь, Давид. Помогай тебе бог.

— Батюшка, дорогой,— сказал, целуя отцу руку, Давид.— Не знаю, зачем ты торопишься, нам с тобой было хорошо...

— Лукавишь ты,— улыбнулся Гэврилэ.— Плохо кончишь,— и сунул невестке руку, которую та громко чмокнула.

— Спасибо, батюшка,— сказал Иона, когда пришел его черед.

— Так,— ответил Гэврилэ.— Ты смотри старайся, а то ведь лентяй — одна могила тебя исправит.

Дойдя до Марии, он положил ей руку на плечо:

— Ты не беспокойся, мы с тобой сговоримся... Мы вместе будем — ты с нами. Лазарь, новый ножик тебе куплю, чтобы ты не обижался на меня.

Парнишка, заливаясь слезами, обнял отца и спрятал голову у него на груди.

Мелиуца снял очки, достал носовой платок и принялся вздыхать. Он был тронут этой сценой.

— Господин секретарь не такой бесчувственный, как вы,— сказал Гэврилэ сыновьям, отойдя к двери.— Подлейте ему.

Бабка Фогмегоайя с пришедшими ей помочь старухами никак не могла одеть тело Эзекиила. Цирюльник Гьюси держал его стоймя, а женщины пытались согнуть покойнику руки, чтобы можно было натянуть на него рубаху.

— Тяжело, дядя Гэврилэ,— вздыхала Фогмегоайя.— Застыл покойник, вся кровушка из него вышла, а я спешу — мне еще Глигора обмыть надо и Арделяну. С ними тоже потрудиться придется, не легко в мои годы, а никто мне даже стаканчика не поднес...

— Где они... те двое? — прошептал Гэврилэ.

— В школе, на лавках лежат. Никого у них нету.

Гэврилэ подошел к колодцу, снял рубаху, вымыл лицо и голову холодной водой и вышел за ворота. На улице было знойно и душно, как перед грозой. У школы толпился народ. Увидев Гэврилэ, собравшиеся расступились. Послышался ропот.

— Где покойники? — спросил старик, низко кланяясь и не глядя на того, к кому обращался. Крестьянин показал на один из классов и с отвращением плюнул, когда Гэврилэ пошел в указанном направлении.

В передней и коридоре стояли, сняв шляпы, крестьяне. Все молчали. Гэврилэ, толкаясь и работая локтями, начал протискиваться вперед. Люди расступались, выражая при приближении Гэврилэ испуг или отвращение, а он низко кланялся всем, прикладывая руку к груди.

В классе поставленные одна на другую парты были придвинуты к стенам, а посередине, на двух черных досках лежали прикрытые географическими картами тела Арделяну и Глигора. Вокруг стояли, опустив головы, Митру, Павел Битуша и другие. Все были вооружены автоматами. Эмилия с растрепавшимися волосами, в сером от пыли платье стояла в углу и не сводила глаз с мужа. Джордже, отвернувшись от нее, курил у окна.

У изголовья убитых горела толстая свеча. Ее зажигали на крестинах Дана, и на ней еще сохранилось несколько голубых бумажных цветов.

Гэврилэ подошел к Джордже, но обратиться к нему не осмелился, чувствуя на себе пылающий ненавистью взгляд Митру. Старику стало не по себе.

— Господин директор,— нерешительно пробормотал он.— Дорогой господин директор!

— Что вам нужно? — холодно спросил Джордже, повернувшись к нему.

Гэврилэ растерялся — забыл все, что собирался сказать, направляясь сюда.

— Господин директор,— начал он со вздохом,— я пришел...

Джордже смотрел на Гэврилэ, не скрывая ненависти.

— Господин директор... я плохо распорядился... На радость сатане, а не господу... Теперь жалею.

— Поздно жалеть... дядя Гэврилэ,— с трудом проговорил Джордже.

— Господин директор... кто был в лесу... вместе с сыном?

— Пику и еще двое чужих,— сухо ответил Джордже.

Гэврилэ снова опустил голову.

— Где сейчас Пику? Знаете, господин директор... про него говорят, что он мой единокровный брат.

— Пику сбежал.

— Стыда у тебя нету! — накинулся Митру на Гэврилэ и потряс от негодования автоматом.— Зачем ты сюда явился? Удивляюсь, как это тебя с бандитами не было! Ведь ты человека убить способен, ежели он тебе поперек дороги станет!

— Все может быть,— горестно произнес Гэврилэ.— Все может быть... только я за собой этого не знаю...

— Зачем ты здесь?

Митру угрожающе замахал кулаком перед лицом старика.

— Твое место с Ледоем и с другими такими же, как ты,— выкрикивал Митру запальчиво.— Не доводи меня до греха, а то возьму да и всажу тебе пулю в брюхо... Когда тебя старостой быть просили, ты отказался. Тогда за тобой народ пошел бы... А теперь, будь ты хоть ангел во плоти, никто тебя слушать не станет. Жадный ты, Гэврилэ! Я тебя давно раскусил и другие тоже. Уходи лучше отсюда, пока у нас терпение не лопнуло.

— Господин директор,— твердил Гэврилэ.— Господин директор...

Джордже отвернулся, глядя в окно. Народ со всех сторон стекался к школе.

— Лучше, правда, уходите,— с ноткой участия, глубоко взволновавшей Гэврилэ, проговорил Джордже.

Старик посмотрел вокруг, словно надеясь найти еще поддержку или хотя бы услышать слово утешения, но встретил лишь хмурые, враждебные взгляды знакомых ему людей. Некоторое время он не мог сдвинуться с места, чувствуя на плечах непосильную тяжесть.

— Хорошо,— громко и отчетливо произнес он, обращаясь к Эмилии, которая все еще стояла в углу,— тогда я пойду пахать...— И, круто повернувшись, прибавил: — Землю Эзекиила.

8

Из всей этой ночи в памяти Эмилии осталась лишь минута, когда Кордиш вбежал в дом священника с криком: «Он жив! Директор жив! Едут! Уцелел!»

Она добежала до школы в одном башмаке, но не посмела показаться мужу в таком виде и наскоро надела черные, почти еще не ношенные туфли. Анна мирно храпела. Эмилия не стала ее будить. Она нашла мужа в классе — взгляды их встретились. Эмилия не решилась подойти.

Она едва держалась на ногах, но знала, что останется в комнате, пока здесь Джордже. Ей хотелось видеть мужа таким, каким Джордже был четыре года назад, когда она, провожая его на фронт, бежала за поездом. В последнюю минуту ей удалось поймать его руку, прильнуть к ней влажными губами. Ей хотелось теперь, чтобы это была правая рука — та, которую он потерял. Но память изменила. Мысли путались. О чем он сейчас думает? И зачем? Думать и мучиться совершенно бесполезно... Эмилия вздрогнула, услышав голос Митру:

— Вы бы отдохнуть пошли, господин директор... Сами, извините, как смерть бледный. Мы здесь постоим, посторожим их... А после обеда в церковь отнесем.

Джордже кивнул головой, потом повернулся к жене.

— Идем... Эмилия,— сказал он ласково.

Она подошла к нему, с трудом сдерживая рыдания, и словно впервые увидела его седеющие виски, мелкие складочки в углах рта, морщинки у глаз, худую, небритую шею.

— Мне хочется лечь, Эмилия.

— Хорошо, милый. Идем.

Она была благодарна ему за то, что он оперся на нее всей своей тяжестью. В коридоре крестьяне, пропуская их, расступились, женщины прослезились:

— Господи, как измучился... слава богу, что спасся...

— Спасибо... спасибо,— шептала, поддерживая мужа обеими руками, Эмилия.

Когда они подошли к кухне, Эмилия, крепко держась за руку мужа, проговорила, стараясь заглянуть ему в глаза:

— Джордже... с землей... поступай как знаешь... как считаешь правильным...

Он кивнул головой, и Эмилия, думая о том, что его нужно прежде всего накормить, сказала совсем другое:

— Джордже... никогда не требуй от людей больше того, что они могут дать.

Он опять рассеянно наклонил голову.

Эмилия вздохнула и помогла ему перешагнуть через высокий порог.

ГЛАВА X

1

За восемь с половиной часов поезд прошел всего сорок пять километров. Солнце стояло высоко, когда вдали показались заводские трубы города и повисшее над ними облако дыма. Состав внезапно остановился посреди поля. Суслэнеску просунул голову в разбитое окно — в вагоне было накурено, пахло потом, несвежей провизией, ко всему этому примешивался запах жженого железа. На крыше приплясывали парни, возвращавшиеся домой из армии или, наоборот, призванные в армию.

Суслэнеску чувствовал себя несколько лучше. Кризис миновал. Учитель теперь видел все в ином свете — проще, ближе. Нужно было взять отпуск, полечиться в хорошем санатории, где доктора будут симпатизировать ему, потому что он искренне попробует сблизиться с ними, соглашаясь с их взглядами и мнениями. Его вылечат, но всю жизнь потом

нужно будет беречься. Впрочем, люди будут знать, что он болен,— это лучшая защита.

Джордже, как только они сели в поезд, сразу заснул и до сих пор не подавал признаков жизни.

— Не стойте у окна, господин учитель, простудитесь. Весеннее тепло коварно,— сказал толстый лысый мужчина, с которым Суслэнеску разговорился в дороге.

Собеседник Суслэнеску оказался зубным врачом и много рассказывал о новом чудодейственном средстве — пенициллине, уничтожавшем всех микробов. Лекарство это, по словам дантиста, должно в самом недалеком будущем ликвидировать все инфекционные заболевания.

Суслэнеску послушно отошел от окна.

— Какая погода! — сказал он восхищенно.— Чудесно!

Ему нравилось говорить банальности, и беседа с новым знакомым привела его в восторг. Он сожалел только о том, что история жизни зубного врача, которую тот поведал, заняла слишком мало времени: у дантиста не было воображения.

Суслэнеску подсел к только что открывшему глаза Джордже.

— Скажите,— чуть слышно спросил его Суслэнеску,— вы действительно верите, что... все эти жертвы не напрасны?

Джордже задумался, и Суслэнеску пришло в голову, что глупо принимать всерьез все вопросы, которые люди задают друг другу. Великодушно простив собеседнику эту манеру, Суслэнеску хотел положить ему руку на плечо, но воздержался.

— Люди не жертвовали бы собой, если бы не стоило жертвовать,— ответил, наконец, Джордже, и Суслэнеску вежливо улыбнулся.

— Вы не рассердитесь, если...— начал он после короткой паузы.— Впрочем, я лучше помолчу.

— Вы хотите о чем-то спросить меня?

— Да. Хочу поставить перед вами одну дилемму.

— Говорите же!

— Когда... Когда убили Арделяну и вы были рядом... в нескольких шагах... разве вы не почувствовали, что ваше место возле него, что вы должны разделить его участь? — Встретив строгий, холодный взгляд Джордже, Суслэнеску испугался.— Все это, конечно, одни теории... праздные мудрствования... Не принимайте всерьез...

— Есть вещи, которых вы никогда не поймете,— холодно сказал Джордже,— так что спорить и пикироваться на эту тему совершенно бесполезно.

И, забившись в свой угол, Теодореску закрыл глаза.

Поезд наконец тронулся. Суслэнеску был в отчаянии: «Мы не можем расстаться так. Это свинство с моей стороны... Почему я непременно хочу его на чем-то поймать, в чем-то уличить? По какому праву? И зачем? К тому же все это так избито... Мальчишеская схоластика...»

Но тут же явилась новая мысль: может быть, именно из-за того, что они расстаются, ни о чем не договорившись, Джордже лучше запомнит его, Суслэнеску. Впрочем, не все ли равно...

Мимо окна поплыли низенькие, облупившиеся домики городской окраины. Суслэнеску почувствовал себя одиноким и заерзал на скамейке.

Состав подошел к разбитому перрону, и из вагонов, вопя и толкаясь, словно поезд сошел с рельс, хлынула пестрая толпа, а Суслэнеску все еще не мог придумать, как восстановить за короткий миг прощания хотя бы подобие хороших отношений, сложившихся между ним и Джордже в последние дни.

Теодореску с трудом снял с сетки багаж учителя, чемодан с книгами, так ни разу и не открытый за все время пребывания Суслэнеску в Лунке.

Они подождали, пока вагон опустел, потом нашли старенького, худого, как скелет, носильщика. Он вынес им чемоданы на площадь, где среди ржавых кузовов, разбитых танков и орудий вели бойкую торговлю спекулянты. Носильщик отыскал извозчика и запросил за свои услуги баснословную сумму, которую пришлось уплатить.

— Я пешком,— сказал Джордже, глядя в сторону.

У Суслэнеску в глазах стояли слезы.

— Простите меня, я действительно, вероятно, никогда не научусь, ничего не пойму... просто не успею, потому что скоро умру.— Он прыгнул в пролетку и по-детски тонким голосом крикнул извозчику: — Трогай! Скорее!

Джордже взял свой чемодан с провизией для Дана и пошел в город, удивляясь странному виду знакомых улиц. Он не торопился, рассчитав время так, чтобы зайти за Даном в гимназию к концу занятий.

Уезжая на фронт, Джордже оставил сына застенчивым, неуклюжим подростком; потом, когда вернулся, они провели вместе всего полдня среди обычной в таких случаях суматохи, когда каждый пытается в нескольких словах рассказать все, что произошло за долгие годы разлуки.

Выйдя на набережную Муреша, он неожиданно для самого себя улыбнулся. Сердце сильно билось от усталости, от бессонных ночей, глазам было больно смотреть на сверкающую рябь реки.

Каким за это время стал Дан? Возмужал ли? О чем думает? Все это было чрезвычайно важно. У Дана, вероятно, не составилось определенного мнения об отце — ведь они виделись так редко! По мере приближения к гимназии Джордже чувствовал себя все более неуверенно. Но вот уже показалось высокое, серое, угрюмо-строгое здание, перед ним усыпанная шлаком спортивная площадка. Интересно, кем хочет стать Дан, какие у него способности, к чему его тянет? Как ни странно, Джордже почти ничего о нем не знал. Эмилия рассказывала очень мало.

Поднявшись по стертым тысячами ног ступеням широкой парадной лестницы, Джордже попал в темный зал. Каблуки так гулко застучали по каменным плитам, что он невольно пошел дальше на цыпочках.

В каком теперь классе Дан? Джордже не знал даже этого и, остановившись, начал считать. В гимназию мальчика отдали годом раньше обычного возраста. Ему сейчас семнадцать лет, следовательно он уже в восьмом классе... Осенью — университет. Пройдя в коридор, Джордже чуть не натолкнулся на старика преподавателя, который шел, заложив руки за спину, дымя вонючей сигарой.

— Извините... в котором часу кончаются занятия в восьмом классе? — обратился к нему Джордже.

— Какое отделение? Классическое или реальное?

Джордже покраснел и что-то пробормотал в ответ. На преподавателя, по-видимому, произвели впечатление военная форма и пустой рукав шинели, и он любезно улыбнулся.

— Вам кого?

— Сына... Теодореску Дан...

— А! В реальном... А вы даже не знали? На что ему латынь и прочая мертвечина? Прекрасный ученик, выдающиеся способности... Позвольте представиться: Тибериус Грэдяну, преподаватель физики... Очень рад. Мы гордимся Теодореску... Вы с фронта или из госпиталя?

— Да, да,— торопливо проговорил Джордже.

Раздался звонок, и коридоры мгновенно наполнились подростками, с шумом и воплями устремившимися вниз по лестнице.

— Восьмой класс здесь, реальное отделение. Был рад с вами познакомиться... До свидания, господин Теодореску.

Дверь открылась, и в коридор, надменно выдвигая вперед плечо, вышел учитель в очках. За ним выбежало несколько веселых юношей, и наконец, когда гвалт немного утих, показался Дан. Джордже в первую минуту опешил от неожиданной элегантности сына: дорогой серый, делавший его более высоким костюм, замшевые туфли, серебристый галстук и очки без оправы, под мышкой — шикарный министерский портфель. Слезы выступили на глазах у Джордже. Он бросился к Дану и обнял его за шею. «Дорогой мой мальчик,— думал растроганный отец,— милый...»

— Ты, папа? Как это ты выбрался? Все еще в форме... не надоела она тебе?

— Привез тебе,— срывающимся голосом говорил Джордже,— от матери... всяких вкусных вещей из дома... свежего хлеба, пирожков... копченостей...

— Спасибо,— сказал Дан, и Джордже заметил, что он удержался от улыбки.— Я очень рад.

Юноша нагнулся и поднял тяжелый чемодан.

— Ничего, я сам понесу,— всполошился Джордже.— А то испортишь костюм... Зачем ты его треплешь в гимназии? Когда сшил? Мама мне ничего не говорила,— он нагнулся взять чемодан.

— Что ты, папа!

— Пусти, Дан. У меня левая рука так окрепла — ты не можешь себе представить... Камни, кажется, мог бы ворочать.

Но Дан все же завладел чемоданом.

Когда они вышли на улицу и Джордже достал папиросу, желая закурить, Дан его остановил:

— Что это, махорка? Попробуй моих.

Он протянул пачку американских сигарет.

— Как, Дан, ты уже куришь? Рановато... Я на фронте приучился, надеюсь в скором времени бросить,— Джордже потрогал обернутую в целлофан пачку.— Дорогие, наверно. Вот на это ты тратишь деньги, которые мы тебе посылаем?

— Это подарок... не беспокойся. Замечательно экономичные папиросы. Да я, собственно, не курю. Можешь взять себе всю пачку.

Джордже посмотрел на сына с восхищением. Он боялся, когда тот был маленьким, что Дан навсегда останется незаметным, беспомощным. Мальчик был тогда застенчивым толстяком, а теперь рядом с отцом шагал стройный, самоуверенный молодой человек.

Юноша вдруг остановился, смущенно посмотрел на отца и поставил на землю чемодан.

— Устал? — встревожился Джордже.— Дай я понесу, говорил тебе...— он весело засмеялся.— Мама дала мне денег, велела привезти ей что-то... забыл, что именно... Пойдем в ресторан... ты, наверное, знаешь куда... Пожалуйста, не притворяйся, я тоже был молод... Что-нибудь не слишком дорогое... Вам, гимназистам, разрешено?.. Впрочем, с отцом...

Дан сделал движение, словно собираясь посмотреть на ручные часы, но спохватился и задержал взгляд на носках своих замшевых туфель.

— В чем дело, Дан?

— Знаешь, папа...— помолчав, неуверенно начал он.— Мне очень жаль... но я не знал, что ты приедешь... я предупредил бы...

У Джордже появилось странное ощущение внутренней пустоты, слегка закружилась голова.

— Не знал, что ты приедешь... Дело в том, что я сегодня приглашен обедать... к нашему преподавателю математики, замечательному типу... Там будет его брат, профессор Политехнического института в Бухаресте... Меня должны ему представить... Можно, конечно, не пойти, но как

предупредить учителя математики? Телефона у него нет, боюсь, что меня сочтут невежей.

Джордже облегченно вздохнул.

— Ступай. Разумеется, ты должен пойти... Ничего, Дануц... Мы еще успеем. Дай мне ключ, я хочу вымыться, переодеться... Потом мне нужно в уездный комитет партии. Увидимся вечером... В котором часу ты думаешь освободиться?

— Часов в шесть, семь...

— Прекрасно... Значит, ужинаем вместе... в «Паласе»... куда ни шло!

Дан заставил себя улыбнуться, но вместо улыбки у него получилась какая-то неуверенная гримаса.

— Все в порядке, папа. Значит, в половине восьмого в «Паласе».

Он быстро зашагал по направлению к гимназии. Джордже проводил сына взглядом: стройный малый, вероятно занимается спортом... «А я состарился,— подумал Джордже,— состарился и поглупел...» Дойдя до угла, Дан обернулся и, увидев, что отец все еще стоит на месте, помахал ему рукой.

2

— Эмилия! — крикнула Анна.— Где ты, Эмилия?

Она знала, что дочери нет дома, но для большей верности прошлась по всем комнатам. Убедившись, что Эмилии действительно нет, старуха громко заговорила сама с собой:

— Ничего, Эмилия... ты еще меня вспомнишь, пожалеешь обо мне... Немало слез прольешь... да-а... Наплачешься... Он тебя бросит, помяни мое слово... непременно бросит... тебе не двадцать лет... Возьмет себе дочку Урсу, с которой его ночью под мостом видели. Что они там, под мостом делали, Эмилия?

Она сердито, без слез заплакала. Потом вытерла нос тряпкой и пошла в переднюю, где стоял шкаф с ее вещами. Когда Анна открыла его дверцы, крепкий аромат много лет лежавшего здесь чебреца так понравился ей, что старуха принялась чихать от удовольствия.

— Здесь все мое...

Она перебрала все вещи, пока не нашла черное люстриновое, совсем не ношенное платье, которое берегла к смертному часу. Достав его, старуха долго ощупывала материю — не проела ли ее моль. Потом вынула кофту, шаль, чулки, ботинки на пуговицах и стала быстро одеваться. «Помощников мне не надо,— думала старуха,— я не калека. Только бельма на глазах мешают. У отца они были тоже и у дяди Микулае». Труднее оказалось отыскать письма: они хранились в деревянной шкатулке вместе с другими бумагами, с купчими на землю. Бумаг с собой она брать не хотела, но отделить их от писем не смогла — поцеловала сверток, сунула его за пазуху и только тогда почувствовала, как забилось сердце. В углу стояла трость Михая из дорогого дерева, купленная на ярмарке в Бекешчабо. Взяв ее в руки, Анна почувствовала, что трость запылилась, и принялась тереть ее старым чулком. Это почему-то снова всколыхнуло дремавший в ней гнев, кровь бросилась в голову, зашумело в ушах.

Старуха заперла шкаф и положила ключ на стол — чтобы Эмилия не искала его, потому что на полке шкафа были сложены полотенца и завернутые стопками мелкие деньги для причта.

Сердце у нее теперь билось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Стуча несгибающимися подметками ботинок и опираясь на трость, Анна прошла в спальню и тихо, чтобы ее не услышали соседи и не подумали, что она сошла с ума, запела:

Прощайте вы, стены родные,
Меня вам не видеть отныне,
Не видеть меня вам вовек...

В своей комнатке она не придумала, что спеть, и пошла в кухню:

Прощай, моя кухня, мой свет,
Где столько трудилась я лет...

Потом остановилась на пороге:

Не ступит нога на порог,
Храни без меня его бог...

Заперев дверь, чтобы не обокрали дом, она положила ключ под кирпич. Потом неторопливыми размеренными шагами пересекла двор и вышла за ворота на главную улицу. «Солнце,— подумала старуха,— ишь, как печет. Хорошо, что ветра нет или дождя...» Где-то проскрипел воз, в лужах старого русла плескались, крякали утки. Анна не спеша направилась в поле. Торопиться ей было некуда. Она шла и удивлялась, как это у нее все хорошо получается — ведь она давно уже не выходила на улицу. Но старуха помнила в селе каждую кочку: вот дом, где когда-то раньше, под большой жестяной вывеской, заказанной в Араде, помещалась кузница Арпада Шандора. На вывеске был изображен черт, из его рта и ноздрей вылетало пламя. Отец Авраам однажды побил Арпада за то, что он навлекал на село мамону своей вывеской, но кузнец и слышать не хотел о том, чтобы с ней расстаться. Тогда отец Авраам, человек находчивый, пришел ночью с топором, подставил лестницу и собственноручно снял греховное изображение.

Улица нынче шире, чем была раньше. Когда, бывало, приказчик Миклош ехал верхом, приходилось прижиматься к забору, чтобы лошадь не наступила на босые ноги или сам всадник не огрел встречного плеткой.

Анна устала: «Много все-таки воды в человеке, если он так потеет,— думала она.— А на потное тело садится пыль. Придется им повозиться, когда будут меня обмывать. Хорошо еще, что легкая я, как перышко... Ишь, как разрослось село... Здесь прежде начинался выгон. А теперь дворы, только чьи — не знаю...»

— Господи, тетя Анна! Куда это вы? — окликнула ее какая-то женщина.— Не в церковь же в таком платье собрались?

— А ты кто такая? — сердито спросила старуха.

— Ливия Пэпучелу.

— Таких не знаю. Сколько тебе лет?

— Осенью двадцать шесть минет.

— Погулять я вышла на чистый воздух. Будь здорова.

— Целую ручки, тетя Анна.

Это понравилось старухе, но она промолчала.

Наконец село кончилось и пошли еще более известные места. Будь Анна помоложе, в такую погоду она с удовольствием прошлась бы по пашне с плугом, провела бы борозду или две. Она и раньше мечтала об этом, но Михай не разрешал, говорил, что бабья пахота — один срам.

Старуха была рада, что выбралась из села,— в поле можно рассуждать вслух.

— Эмилия, Эмилия, я тебя вырастила, в школах учила, деньги на тебя тратила, а проку никакого не вышло. Однорукий из тебя веревки вьет. Как бы не покарал тебя бог, как бы не покарал... Боюсь я за тебя, ох, как боюсь... Бог-то ведь все помнит, ничего не забывает, всегда успеет наказать...

Ею снова овладела ярость. Показалось, что распухла и вот-вот лопнет голова, выскочат из орбит глаза. Будь у нее побольше сил, она, кажется, убила бы всякого, кто стал бы в эту минуту поперек дороги...

Вот начинаются поля Гэврилэ Урсу. Добрая у него земля...

«Как ты допустила, Эмилия, как ты, моя дочь, могла допустить, чтобы твой однорукий бросил землю, твою землю! Отдает ее бездельникам и босякам! И чего ради? Зачем отдавать? Вместо того, чтобы позвать лекаря, связать полоумного и отправить его в желтый дом, где ему место, ты повинуешься ему, хотя сама мне клялась, что не послушаешь!»

«Не вернуться ли, не разбить ли, не переломать ли все в доме? — внезапно пришла ей в голову новая мысль.— Дождаться однорукого, сшибить его с ног, каблуками выдавить ему глаза!»

— Надо торопиться,— проговорила старуха и, сойдя с шоссе, пошла напрямик по вспаханному полю. За клином Гэврилэ начиналась плодородная земля Анны.

После смерти Михая Анне самой приходилось таскать на чердак тяжелые мешки с зерном. Такой мешок нестерпимо давит спину, а когда его высыпаешь, зерно шумит, как дождь...

Старуха спотыкалась, идти стало труднее, то и дело хотелось вытянуть вперед руки, чтобы сохранить равновесие и не упасть. Трость глубоко вязла в земле. Анне едва удавалось вытаскивать ее из рыхлой почвы. Всякий раз она от напряжения теряла силы, обливаясь потом, словно ее заворачивали в мокрую, горячую простыню. Неожиданно старуха упала, ударившись о перевернутый пласт и завязнув руками и коленями в мягкой земле. Она горько заплакала, и ей представилось, что душа выливается из нее вместе со слезами. Тихо охая, Анна съежилась в комочек. Ей стало безгранично жаль себя, старую, слепую, протрудившуюся целую жизнь только для того, чтобы умереть здесь в одиночестве, как бездомная бродячая собака. Она попыталась встать и встала бы, будь у нее под рукой трость. Но Анна выронила ее, падая, и теперь никак не могла найти. А жаль — дорогая вещь! Лучше бы она отдала трость Микулае, которому так нравилась эта палка и очень пригодилась бы в старости, когда он ослеп оттого, что слишком много читал.

— Конец! — громко проговорила старуха.— Но хоть умру на своей земле. Отсюда меня уже никто не сгонит...

Она мысленно простилась с внуками и с Эмилией, не находя в эту минуту сил, чтобы ее ругать. Кто как не сама мать виновата в том, что не сумела воспитать дочь, которая вышла замуж за ученого и возомнила себя барыней! К тому же начиталась книг...

Обливаясь слезами, старуха несколько раз повторила: «Прощайте», — и закрыла глаза.

Очнулась Анна от холода. Все суставы у нее словно заржавели: не пошевельнуть ни ногой, ни рукой. Она знала, что заснуть на пашне значило наверняка простудиться. В земле, по убеждению Анны, была сила, которая тянет человека вглубь. Старуха испугалась, она поднатужилась и села. Ей показалось, что она видит деревья, сверкающую на солнце рябь Тэуза, пахарей с плугами. Вгляделась получше — нет, только померещилось. Проползла немного и несказанно обрадовалась, нащупав трость. Вытерла ее подолом платья, вцепилась, воткнула в землю и с огромным усилием поднялась на ноги.

Пытаясь что-нибудь рассмотреть, Анна окинула невидящим взглядом окрестность и действительно как будто различила церковь, деревья, пасущихся на выгоне телят. От голода у старухи кружилась голова, она зашаталась, но удержалась на ногах, судорожно сжимая набалдашник трости.

— Теперь уж больше не упаду. Ни за что не упаду!

Сознание того, что она еще жива, подбодрило Анну, и она все свои

помыслы сосредоточила на том, чтобы не упасть. Да и пашня-то, кажется, еще не ихняя, а Гэврилэ Урсу!..

Все бы ничего, не будь она так голодна. А то дошла бы до своей земли и стояла бы на ней, пока не явится однорукий со своими босяками,— всех прогнала бы! Слава богу, что она держится на ногах. Какое это счастье!

Под вечер ее издали увидел Митру. Перепуганная Эмилия просила его пойти на поиски матери. Он обегал все село, расспрашивая встречных, пока Ливия Пэпучелу не сказала ему, что видела старуху, направлявшуюся к мосту. Эмилия искала мать в другом конце села.

Завидев Анну, Митру кинулся к ней, подбежал и остолбенел: лицо у нее было такое белое, гладкое и ясное, что она показалась ему совсем еще нестарой женщиной.

— Боже ты мой, тетя Анна! — воскликнул, придя в себя, председатель.— И куда это вы забрались? Мы вас с госпожой учительницей с самого обеда ищем!.. Что вам, матушка, понадобилось в чистом поле?

— Голодна я. Устала...— проговорила Анна.

— Да уж наверное устали, господи, если вы, при ваших силах, по полям бродите... Идемте, я отведу вас домой, а то госпожа учительница уже не знает что и думать.

Митру взял ее на руки и медленно понес на большак, не понимая, зачем понадобилось старухе уходить из дому. Дойдя до шоссе, он остановил проезжавший воз, запряженный волами, и, продолжая держать Анну на руках, доставил ее домой. Старуха, как казалось Митру, всю дорогу спала и очнулась, лишь когда он положил ее на кровать. Эмилии дома еще не было, и он побежал ее разыскивать. Старуха только притворялась, что спит: она была рада, что ее везут домой, но разговаривать с Митру не желала — не хотела посвящать его в свои переживания. Услышав, что дверь за ним закрылась, Анна, собравшись с силами, слезла с кровати.

— Не собака я, чтобы в поле подыхать... Честные люди в своей кровати умирают, на своем месте...

В ночном столике у нее хранились свечи, припасенные ею на случай — упаси бог! — внезапной смерти. Теперь она достала их, зажгла, накапала воска на спинку кровати, прилепила свечи, легла поверх покрывала и сложила на груди руки.

Анна чувствовала, как все земное отходит от нее и холод медленно поднимается от ног к груди. «Господи,— молилась она,— прими меня в царствие твое, чтобы быть мне вместе с покойными детьми моими Тудором, Ануцей, Палли, Марией, Викторией, Петре и маленьким Фэникэ, которого родила я в таких муках...»

Ей представилась большая сельская улица и медленно шествующая процессия с хоругвями, которая останавливается на каждом углу — чтобы дать Анне проститься с селом. Седой отец Авраам в золотой ризе поет «Со святыми упокой»; Грозуца затягивает высоким тенором погребальную стихиру; маленькие дети плачут. Ей стало нестерпимо жаль себя. Из глаз медленно потекли слезы.

На кухне громко тикали стенные часы с гирями. «Никто их не завел, не позаботился,— думала старуха.— Вот и идут невесть как. Им старья не надо. Они — господа, у них ручные часики».

Она продолжала лежать не двигаясь. Потом ей захотелось подрумяненного на сковородке копченого сала, когда растопившийся жир с жареным луком сливают на большой ломоть хлеба... Кончено! Не есть ей больше жареного сала!.. Хорошо бы закусить и вареным сальцем с большим соленым огурцом, который тает во рту. В кладовой еще осталась неначатая банка... «Что ж,— мелькнула досадливая мысль,— они и на

поминках пригодятся. Ишь, как воняют свечи, а ведь по семнадцати лей за штуку плачено... Разбойник этот Лабош...»

Эмилия вбежала в дом с блестящими от слез глазами. Открыв дверь в комнатку матери и увидев ее с опущенными веками, со сложенными на груди руками и горящими у изголовья свечами, Эмилия пронзительно вскрикнула и на секунду остановилась на пороге.

— Мама! Мама, милая!

Эмилия опустилась на колени возле кровати и прижалась лбом к сморщенным рукам Анны. Они были теплые и пахли землей. Присмотревшись, Эмилия заметила мерно поднимающуюся грудь старухи, испачканное платье, ботинки с налипшей на них грязью.

— Что с тобой, мама? Ах, боже мой! Вставай!

— В этом доме человеку даже помереть спокойно не дадут! — обиженно проговорила старуха.

Эмилия сквозь слезы рассмеялась.

— Господи, мама, где ты была? В твои годы!.. Что еще придумала! В смертном платье... И в каком виде... Вся в грязи... Да что же это такое, мама?

Она потушила свечи, закинула их под кровать, соскребла натекший воск, приподняла Анну за плечи и посадила в кровати.

— Оставь меня,— пробормотала старуха.— Устала я, все болит...

— Ну же, мама, дай мне тебя раздеть... Лучше сначала поставлю согреть воду, надо тебя отмыть... Я говорила с Джордже по телефону...

— Я такого не знаю, не слышала... Кто такой?

— Мамочка, мама! Не надо отдавать землю! Ему все разъяснили. Уж не помню — в каком уклоне обвинили... Бедный! Ведь он по наивности, мама, я тебе говорила... а ты...

— Ты меня не мой! — крикнула старуха.— Не померла еще! Лучше ступай пожарь мне сала с луком. Проголодалась я!

— Сейчас, мама, сию минуту... Господи, о чем же я думаю! Ты ведь с утра ничего не ела... Право, хуже ребенка! Сейчас поджарю тебе сала... Какого ты хочешь?

— Грудинки, где мяса побольше!

— Стаканчик цуйки, мама... Тебе, я думаю, лучше станет...

— Выпью. Дай. И банку с огурцами открой...

— Хорошо, мама... Вставай... Стой, дай я тебе ботинки сниму... А платье! Если бы ты видела!

— Вижу! Поставь воды согреть, я помоюсь... И мыла хорошего дай... «Ключ». Те, значит, оказались умнее твоего однорукого?

— Кого, мама?

— Твоего... Я так и знала.

Склонившись над плитой, Эмилия принялась жарить грудинку.

— Дануц здоров... Все учителя его хвалят и любят...— без умолку говорила она.— Конечно, мама, Джордже столько испытал, он не понимает... Идеалист... Всегда был непрактичным.

— Молчи, у меня от твоих глупостей голова разболелась... У него, наверно, кто-нибудь есть. Девка какая-нибудь, которой он все имущество отдать собирается, а ты, дура, ему веришь. Брось его, брось, пока не поздно...

Эмилия не слушала ее. Ей тоже захотелось грудинки. Захотелось испечь какой-нибудь вкусный пирог. Она спросила у матери, что она думает на этот счет, и у той потекли слюнки.

— Испеки. С вишнями. Возьми из наливки. Они вкусные. Я, когда тебя нет дома, накладываю себе в стакан и ем, даже косточек не выплевываю... А я, кажется, простудилась-таки, что-то спину ломит... Ведь

если подумать, коммунисты-то эти самые не дураки. Землю крестьянам дали — видела? И Митру Моц, и Кэтице Цурику, и...

— Знаю, мама...

— Ни черта ты не знаешь... Кроме своего однорукого... Калеки — они злые, души у них нету... Знаешь, что мне раз твой дядя Микулае сказал, прости его господи... Забыла... голова у меня болит... А приятно пахнет жареное сало... Может, ты тоже съешь... Давай-ка его сюда, на стол, поближе...

— Сначала, мама, пойди вымойся. Вода готова.

3

Ресторан был большой, обставленный с громоздкой роскошью. Много бархата и позолоты, на стенах — немецкие рыцари, поглощающие целые бочки пива. Публики было немного — только в дальнем углу какие-то рыжеволосые мужчины с тюленьими усами и пестрыми галстуками играли в домино и ссорились. Официанты явно скучали от безделья. Начали собираться музыканты. Держа инструменты на коленях, многие из них торопливо пили ром. Большое зеркальное стекло окна, возле которого уселся Джордже, в нескольких местах было пробито пулями, и от дырок расходились причудливые трещины, напоминавшие морские звезды. За окном глухо гудела улица. Джордже клонило ко сну, его сердило отсутствие Дана. Он мог бы, кажется, сказать, что приехал отец, и уйти из гостей пораньше. Джордже ждал сына с возрастающим нетерпением. Очередной скрип вертящейся двери заставлял его вздрагивать и оборачиваться. Потом он немного успокоился, пытаясь найти оправдание опаздывающему сыну. Хотелось, чтобы тот пришел поскорее и наступил, наконец, предел этому тягостному одиночеству.

Разговор с Журкой оскорбил Джордже. Тот довольно резко заявил ему, что намерение Джордже относительно земли — типичное народничество. Отказ от нее принес бы больше вреда, чем пользы. Все село станет говорить — видите, коммунистов заставляют отдавать имущество. Наш черед придет потом. «Ваши личные дела, товарищ Теодореску,— сказал в заключение Журка,— решатся в свое время. Важно то, что вы хорошо работали, а то, что у вашей жены было приданое, никого не касается!»

Джордже чувствовал себя растерянным и уставшим. Его мучило ощущение, что он чего-то не понимает.

Наконец появился Дан. Он был в другом, темно-синем костюме, казался взрослее, чем утром, и Джордже, увидев его, даже несколько смутился.

— Твой обед, я вижу, затянулся?

Дан придвинул стул, сел рядом с отцом, снял очки и положил их в верхний кармашек. Без очков лицо его снова стало детским. Он прикрыл ладонью горячую руку Джордже.

— Папа... я обманул тебя. Ни у какого учителя я не был... Мне очень стыдно, что я все это выдумал... Меня мучила совесть. Я не имел права тебя обманывать, это было очень нехорошо с моей стороны и мелочно. Просить у тебя прощения мне все-таки как-то неловко. У меня было свидание...

Он подозвал официанта, заказал бутылку вина, положил на стол новую пачку американских сигарет, закурил и, несколько раз неуверенно затянувшись, наклонился к Джордже и заглянул ему в глаза.

— Я женюсь.

К столику подошел официант, откупорил бутылку и, ожидая заказа, наполнил стаканы.

— Пока больше ничего,— сказал Дан.— Остальное потом.

— Слушаю-с...

В первую минуту Джордже чуть не расхохотался, потом испугался. Дан заявил о своей женитьбе с таким невозмутимым видом, словно речь шла о чем-то давно обдуманном и решенном.

— Не может быть! — смущенно пробормотал отец.

— Что ж, папа,— улыбнулся Дан,— я уже не ребенок... Мне почти восемнадцать лет...

— Ты слишком молод, Дан. Что скажет мама?

— Если ты заговорил о маме, то с твоей стороны, значит, возражений не будет. Я тебя хорошо знаю, не думаю, чтобы ты стал прятаться за маминой спиной.

Джордже медленно отпил из стакана. У него дрожала рука.

— Дан, я хочу, чтобы мы с тобой всегда были друзьями... По-моему, между отцом и сыном...

— Понимаю: должна существовать мужская дружба.

Джордже поставил стакан на стол.

— Да, но в твоем присутствии я чувствую себя ребенком. Это мучительно...

— Не говори глупостей, папа! Извини! Ты замечательный человек... я всегда тобой восхищался... и хочу быть похожим на тебя...

— Что с тобой, Дан?

— Это вовсе не captatio benevolentiae*. Говорю вполне искренне. Я врать не умею.

— А обед у учителя?

Дан провел рукой по волосам, и мягкие белокурые пряди упали ему на лоб.

— Я никогда себе этого не прощу.

Джордже потянулся к бутылке, наполнил свой стакан и отвернулся.

— Я ничего о тебе не знаю,— сказал он помолчав.— Ты не можешь этого понять... Я все время ищу в тебе того мальчика, каким ты был, когда мы в последний раз виделись...

— А сам ты, папа, думаешь, не изменился?

Музыканты заняли свои места на эстраде и заиграли грустный вальс. Дан поморщился.

— Плохая музыка действует мне на нервы.

— Ты еще должен хорошенько подумать,— неуверенно проговорил Джордже.

— Бесполезно. Я слишком многим обязан Эдит. Мне трудно объяснить тебе все.

— Я не требую от тебя никаких объяснений! Ты, разумеется, еще молод для женитьбы...

— Пожалуйста, папа... И еще я хотел тебе сказать, что она еврейка Ты, как интернационалист, конечно, свободен от предрассудков, правда?..

— Расскажи мне все...— сказал Джордже с глубоким вздохом, стараясь казаться спокойным.

Дан снова улыбнулся. Было что-то неприятное в этой улыбке, и Джордже захотелось закрыть глаза. Он опять наполнил свой стакан.

— Ее зовут Эдит Вильдер. Она красива. Ее родители погибли в Освенциме... Остались в сороковом году в северной Трансильвании. Там, как тебе известно, произошли неописуемые ужасы... Перебраться сюда им не удалось... Эдит жила и сейчас живет здесь у старой тетушки, которая ее обожает. Тетка одинока и страшно богата — золото, доллары

* Заискивание *(лат.)*.

и магазин, который после двадцать третьего августа был, конечно, конфискован. Дело вел жулик адвокат, и ему теперь придется платить, и немало.

— И ты смеешь мне это говорить? — глухо произнес Джордже.

В эту минуту Дан потянулся за стаканом и из-под его белоснежной манжеты блеснули золотые часы. Джордже судорожно схватил его за руку выше кисти:

— А это что такое? Откуда? А новые костюмы?

Он с отвращением выпустил его руку.

— В чем дело? Что с тобой, папа?

— Ничего, рассказывай дальше...

— Не требуй от меня описания чувств. Это не по моей части. Я очень многим обязан Эдит. Вот и все. Деньги не имеют никакого значения.

В голосе Дана слышалась легкая враждебность — может быть, потому, что ему трудно было объяснить отцу свой взгляд на вещи.

— Во всяком случае, второстепенное,—продолжал он.—Я собираюсь много путешествовать, учиться... Посмотри, что делается кругом... Какой-то примитивный мир, архаические люди с архаическими чувствами. Тут нужны новые веяния, что-нибудь в американском духе... Промышленность, дела... Страна богатая, а люди ленивые. Культурная верхушка погрязла в латыни и поэзии... Не знаю, понимаешь ли ты, что я хочу сказать...

— Нет,— признался Джордже.— Не понимаю.

— Странно. Война очень многих вылечила от сентиментальности,— он положил отцу руку на плечо, но тот резко ее сбросил.— Извини... Обо всем этом мы еще успеем поговорить.

— О чем нам говорить, Дан? Скажи, о чем? Между нами целая пропасть.

— Зачем такие высокие слова?

Джордже опустил голову на руку.

— Маме, может быть, не стоит говорить, что я женюсь на еврейке...

— Я еще никогда твою мать не обманывал!

— Это не обман. Ты лучше всякого другого можешь объяснить, что на свете есть просто люди. И страдание.

— Да. Много страдания,— согласился Джордже и без всякой связи прибавил: — Домой ты когда приедешь?

— Мне хочется познакомить тебя с Эдит... Может быть, даже сегодня... Я хочу, чтобы вы поскорее узнали друг друга. Я позвоню ей по телефону, чтобы она пришла сюда?

— Звони.

Но Дан не двинулся с места — видно было, что он хочет еще что-то сказать, но затрудняется, и это ему неприятно.

Дверь пришла в движение и долго вертелась, пущенная, по-видимому, очень сильной рукой. Вошел высокий, стройный мужчина с черными усиками, в кожаной куртке и высоких шнурованных ботинках. Осмотревшись, он разочарованно фыркнул, и вдруг взгляд его остановился на Дане. Физиономия пришедшего расплылась в широкой улыбке. Он быстро подошел к их столику, но, заметив Джордже, что-то пробормотал и тронул шляпу украшенным перстнями пальцем.

— Здравствуйте, господин Дан!.. Вот и я... вызвали по телефону, я и явился... поговорим потом...

— Можно и сейчас.

— Получилось удачно. Но что было, господин Дан! Елки-палки! Извините,— повернулся он к Джордже.— Расскажу в двух словах, не хочу вас беспокоить. Набросились на нас, прямо рвут на части. Соль,

господа, не шутка! Самая хорошенькая женщина готова отдаться за кило соли...— Он нагнулся к уху Дана.— Привезли два вагона лампочек... Через час разгрузим... Том Тави в «Черной шпоре» с какой-то красоткой... Сейчас придет сюда — если вообще придет... Все. Увидимся завтра. Будьте здоровы! Пойду пропущу and soda*.

Он уселся поодаль за столик. К нему тотчас же, с почтительным поклоном, подошел официант.

— Кто это, Дан?

— Так, один тип.

— Я тебя спрашиваю: кто такой?

— Тип. У нас с ним дела.

— Какие дела? — спросил Джордже, не повышая голоса.

Дан холодно посмотрел на Джордже: у сына были отцовские серые глаза с золотистыми точечками.

— Тебя интересует? Мы отправляем соль в Венгрию; там ее нет. Привозим оттуда электрические лампочки и другой товар. Дядя Октавиан — большой спец по части транспорта. Отвечает за подвижной состав и топливо. Пара вагонов для нас находится у него всегда. С нами работает его брат Гэврилэ — ты должен его знать. Опытный комбинатор. Немного, пожалуй, горяч. Не учитывает обстановки: хочет развернуться, а сейчас еще нельзя, понимаешь? Через пять лет Гэврилэ будет богаче Малаксы и Неймана.

— А ты... Какая твоя роль во всем этом?

— Участвую капиталом... Занял у тетушки моей Эдит. Мое участие — доллары и идеи.

— Что-о?

— Идеи. Все должно быть математически высчитано по теории вероятности, с учетом риска и прочего, знаешь? Тем более что дядя Октавиан способен наделать много глупостей. Впрочем, он нам полезен своими связями — знает всех железнодорожных заправил до самого Будапешта.

— И ты еще хвастаешься!

— Что ж, это очень увлекательно...

Джордже потянулся через стол, будто желая взять стакан, Дан придвинулся, чтобы помочь отцу. В следующее мгновение Джордже ударил его изо всех сил кулаком по лицу и почувствовал, как под его рукой словно что-то смялось. Из носа у Дана хлынула кровь. Джордже еще раз ударил сына по щеке тыльной частью руки, и пощечина прозвенела на весь ресторан.

Мужчина в кожаной куртке одним прыжком оказался возле них, приподнял Джордже, схватив одной рукой за горло.

— Бросьте,— глухо проговорил Дан, не отнимая рук от лица.

Между его тонкими, почти прозрачными пальцами просочилась кровь и стекала на подбородок и шею.

— Бросьте,— повторил Дан.— Это отец... Ступайте прочь!

Мужчина в кожаной куртке с сожалением выпустил Джордже.

— Чего деретесь, господин? Разве так можно? Что за манеры? Ишь, как малого изуродовали...— Он взял салфетку, обмакнул ее в ведерко со льдом и стал вытирать лицо Дану.— Нос уцелел... Удивляюсь. Папаша заехал по всем правилам... Мог искалечить... Ну и родители!..

— Ступайте к черту,— прошипел Джордже.— Я вас застрелю...

Мужчина хитро подмигнул.

— Не шутите, дядя... Не двигайтесь, господин Дан. Так и сидите, закинув голову. Кровь сейчас остановится. Вот так папаша!

---

* С содовой *(англ.)*, подразумевается виски.

Отогнав уже собиравшихся вмешаться официантов, он вернулся к своему столику. Джордже сидел, ничего вокруг себя не видя, тяжело дышал. Мучительная боль сжимала ему сердце. Он посмотрел на Дана: тот сидел с откинутой головой и, прижимая к лицу мокрую салфетку, глотал слезы.

— Это не имело никакого смысла...— проговорил Дан, немного успокоившись.

— Я скорее удавлю тебя, чем допущу подобное безобразие, — тихо сказал Джордже.— Понимаешь? Ты будешь делать то, что я тебе приказываю и как я тебе приказываю.

— Ты шутишь, папа,— чуть слышно ответил Дан.— Ударил ты меня совершенно напрасно. Бесполезно и неприлично.

Выйдя из ресторана, они пошли рядом. Оба молчали. На бульваре было людно, и звуки множества шагов сливались в непрекращающийся шорох, словно одна огромная подошва шаркала по асфальту.

— Папа, я сейчас позвоню Эдит по телефону, и мы встретимся. Так хорошо в парке... и так грустно.

Не дожидаясь ответа отца, Дан зашел в ярко освещенное кафе и, выйдя через несколько минут, сообщил, что Эдит подойдет через полчаса.

Отец с сыном опять зашагали рядом.

— Я бы счел унизительным для себя всякую попытку объяснений,— начал Дан, когда они свернули с бульвара на одну из тихих, безлюдных улочек, ведущую к Мурешу.— Мне кажется, что все это гораздо проще, чем ты думаешь.

— Молчи, Дан,— устало махнул рукой Джордже.— Успеем поговорить потом... Я больше не оставлю тебя одного... Мы со временем сблизимся.

— Я не один, папа.

— А, да... Тебе только кажется, что ты не один. Но я больше не намерен допускать, чтобы тебе было стыдно смотреть людям в глаза.

Сказав это, Джордже понял, что задел Дана за живое: юноша шел, нахмурившись и опустив голову.

— Твоему поведению нет объяснений и оправданий.

— Мне кажется, что у тебя устаревший, сентиментальный взгляд на вещи. Благородные, чистые намерения. Вот и все.

— Неправда! И, пожалуйста, не разыгрывай передо мной циника, а то я опять дам тебе по физиономии!

— Не злоупотребляй,— совершенно серьезно возразил Дан.— Меня идеи не воспламеняют.

Джордже молчал. Ему казалось, что отвечать теперь бессмысленно. Все складывалось неожиданно и странно: и роман Дана (Джордже, как всегда перед неизвестностью, испытывал тревогу и любопытство), и его деятельность, в которой не было ничего романтического, а лишь злой, холодный, скептический расчет. Они поднялись по ступенькам на набережную. Черная вода с тихим ропотом лизала берег.

Ветерок приносил откуда-то запах влажной, жирной земли. Испуганно шелестели, словно украдкой — так же, как струи Муреша,— пробравшиеся сюда деревья.

— Что ты мне предложишь взамен? — запальчиво спросил Дан.

— Я не купец и не аферист. Я заставлю тебя стать на другой путь. Даже не я, а сама жизнь. То, что в тебе есть хорошего, то, что ты унаследовал. Честность. Строгость к самому себе...

— Я, может быть, уеду за границу,— тихо проговорил Дан.

— Сомневаюсь.

— Ты решишься мне это запретить?

— Решусь. У меня, мой милый, вообще гораздо больше решимости, чем ты предполагаешь.

Дан, казалось, не слышал его. Он вздрогнул и ускорил шаг. Впереди на безлюдной набережной стояла под фонарем стройная девушка в гимназической форме, с длинными рассыпавшимися по плечам черными кудрями.

— Ну же, папа,— заторопился Дан.

У девушки оказались необыкновенно большие, черные, глубокие, словно увлажненные слезами глаза с длинными, загнутыми ресницами. Она была очень бледна. У нее дрожали губы.

— Эдит, познакомься с отцом.

Девушка протянула руку и, принужденно улыбнувшись, показала ряд белых, мелких зубов. Джордже пожал ее теплые, слегка влажные, затрепетавшие в его ладони пальцы. Он ничего не мог выговорить в первую минуту.

4

— Мы теперь соседи,— сказал моц, подходя к Митру.— Меня зовут Аврам Янку. А тебя как величать?

Митру не слышал его. Бережно, словно он был стеклянный, забивал в землю красный столб, потом опустился на четвереньки и стал глядеть вдоль цепи, прикрепленной к другому, забитому на другом конце поля, такому же столбу, проверяя, хорошо ли натянута.

— Готов, что ли? — крикнул стоявший поодаль Павел Битуша.— Когда же я-то начну?

Аврам Янку смущенно остановился в двух шагах от Митру.

— Не хочешь меня знать? Задаешься?

Митру встал и долго тер одну о другую ладони, испачканные липкой землей.

— Иди, Битуша! Получай цепь,— заорал он гораздо громче, чем того требовало расстояние, отделявшее его от нетерпеливо топтавшегося Павла, потом повернулся к Аврам.

— Нет, дружок, не задаюсь. Я соседству рад.

— Я тебя знаю. Ты — Митру Моц. На мой клин заезжать плугом не станешь? — озабоченно осведомился Аврам, подходя ближе.— Говори!

— Не стану,— серьезно ответил Митру.— Как бог свят, не стану.

— Аминь. А это твоя жена? — продолжал моц, показывая рукой на Флорицу, стоявшую в стороне. Она одной рукой прикрывала рот, другую положила на головку Фэникэ.

— Моя,— сказал Митру.

Аврам не знал, о чем говорить дальше.

— Давай подымим, что ли,— предложил он помолчав.

— Ладно, Аврам, давай.

Оба уселись, поджав под себя ноги, на землю, оторвали по клочку газеты, тщательно размяли бумагу, насыпали в нее табаку и, скрутив цигарки, с наслаждением закурили.

— Ты что сеять будешь? — спросил Аврам.— Я — кукурузу.

— И я, пожалуй, кукурузу. Выгоднее.

— Доброе зерно... Под кукурузой поле словно больше становится... А я тебя видел. Ты в комиссии председатель.

— Комиссии больше нету,— пояснил Митру.— Раз землю поделили, на что она нужна...

— Жаль,— покачал головой Аврам Янку.

Докурили, но моц все еще не вставал с земли Митру считал, что моцу пора уже уходить, ему хотелось остаться со своими — с Флорицей и сынишкой.

Он поднялся и, приставив ко лбу ладонь козырьком, окинул взглядом окрестность. Земля бывшего баронского имения была вспахана. Крестьяне, еще не получившие надела, ходили за землемером и торопили его, словно опасаясь, что на их долю ничего не останется — мало ли какая могла выйти ошибка в расчетах? Счастливец, получивший в собственность отмеренный участок, тотчас подзывал к себе других, хотелось, чтобы все видели его землю, потом осматривал борозды первой вспашки и ругал барона за плохую пахоту.

У шоссе стоял Теодореску с присланным из уездного комитета партии молодым человеком в очках, который все время что-то записывал в блокнот. Перед началом раздела этот молодой человек обратился к крестьянам с речью, но после первых же слов люди потеряли терпение. Послышался глухой ропот. Наконец Кулькуша набрался храбрости, выступил вперед и, сняв шляпу, попросил «господина товарища» продолжить речь после раздела, чтобы крестьян не застал в поле вечер, люди еще не обедали, да и на душе неспокойно, пока каждый из них не получит своего. Хольцман — так звали молодого человека — рассмеялся, махнул землемеру рукой, и тот принялся за дело с помощью Василие Миллиону и Бикашу. Вначале помогал и Джордже. Моцы, робея, смешались с остальными. Их жены стояли в стороне молчаливой кучкой.

— Аврам, а ты знаешь, кто тебе дал землю? — вдруг спросил Митру, вспомнив, как вчера вечером на заседании Теодореску говорил о том, что коммунисты должны разъяснять людям то, что им непонятно.

— Знаю,— сказал Аврам.— Господь бог по своей милости...

— Какой бог? Что ты говоришь? Не бог, а коммунистическая партия, понимаешь?

— Слыхал... А партию-то кто вразумил? Разве не господь? Он...

— Румынская коммунистическая партия,— повторил, словно не расслышав его, Митру.— Она не только это — еще много хорошего сделает. Это партия бедняков и фронтовиков. Хорошо бы и тебе, Аврам, записаться. Послушай меня, запишись.

— Ладно,— не раздумывая, согласился Аврам.— Только я грамоте не обучен.

— Научишься...

— Навряд ли...— он постучал пальцем по лбу.— Сюда ничего не лезет...

— Это ты только так думаешь. Полезет.

— Может, и полезет. Да как записываться-то, ежели я неграмотный?

— Сказано, научишься.

— А пока научусь, как расписываться буду?

— Палец приложишь,— крикнул выведенный из себя Митру.

— А можно разве?

— Можно...

— Ладно, приложу палец.

— А ты с моцами переговори, объясни им, как я тебе объяснил.

— Что им сказать?

— То самое, что я тебе говорил: что землю беднякам и тем, кто был на войне, дала коммунистическая партия и что господская власть кончилась.

— А в церковь у вас позволяют ходить?

— Позволяют.

— Тогда хорошо... Может, партия и у нас церковь построит, а то чисто цыгане, без попа помираем.

— Ты это теперь оставь... Потом поговорим, посмотрим...

Аврам Янку сообразил, наконец, что надоел Митру. С сожалением поднялся, затянувшись в последний раз.

— Будь здоров. И ты будь здорова...— прибавил он, обращаясь к Флорице.

И не спеша, широко ступая, словно для того, чтобы охватить своим шагом побольше земли, двинулся на свою полоску.

Когда он был уже далеко, Митру, не вставая, повернулся к жене.

— Вспомнились мне Глигор и Арделяну... душа болит... Попадись мне теперь Пику...

— Успокойся... Ишь ты какой злой!..

— Это хорошо, Флорица... Так и надо...

Помолчали. Митру опустил руку на ее худое, костлявое плечо. Но их покой был вскоре нарушен появлением Петре Кордиша, неуклюже шагавшего по вспаханному полю. Он, видимо, спешил и размахивал руками, делая Митру какие-то знаки.

— Здорово, Митру, здорово, голубчик... Поздравляю, поздравляю от чистого сердца! Знаменательный день для нашего села. Рад, что сподобился видеть...

Митру сказал что-то невнятное, но не встал и даже не посмотрел на учителя.

— Я записался в партию «Фронт земледельцев»,— заявил Кордиш с деланой веселостью.— Вступил. В уездную организацию... Ты, кажется, на меня сердит? За что?

— Слышишь, Флорица,— сказал Митру,— теперь чтоб твой брат нам обязательно плуг и волов одолжил... Мы ему заплатим, сколько уговоримся...

— Митру, господин учитель к нам пришел, не видишь, что ли? — решилась вмешаться Флорица.

— Нет,— коротко ответил Митру и продолжал говорить о своем:— Брат твой мужик неплохой, только порча в нем есть какая-то, черт его знает. Я объясню ему.

Кордиш достал из кармана бутылку цуйки и протянул ее смотревшему в сторону Митру. На лице учителя выразилось недоумение: он обошел крестьян, жал каждому руку, поздравлял, даже прослезился несколько раз от умиления, а этот даже не желает на него смотреть! Кордишу стало не по себе.

— Что я тебе сделал? — пробормотал он.

— Ничего, Петре. Одно только могу сказать, что ты, когда нам трудно было, против села шел и — придет время — за это заплатишь: волосы рвать на себе будешь, да поздно. А теперь, будь добр, оставь нас, мне с женой поговорить надо. Недосуг было последние дни. Это когда ты о селе позабыл, и о родителях, и о брате своем, товарище Куле.

Кордиш решил больше с Митру не заговаривать. Учитель, вместо того чтобы подойти к Теодореску, стоявшему на шоссе с крестьянами, направился напрямик к роще, пересек выгон, поднялся на дамбу и побрел к селу. На фоне неба долго виднелась его медленно удалявшаяся фигура, Кордиш издали казался не больше воробья.

5

Эмилии мешали смотреть слезы, застилавшие глаза. Она, раскрасневшись от жары, вынула из печи один за другим противни, на которых пеклись рогалики с орехами, пирог с маком и пирожные «nec plus ultra»*, потом приподняла крышку с кастрюли, где тушился цыпленок, стараясь вспомнить, посолено ли жаркое. Ей хотелось все бросить, запереться в спальне, задернуть занавески и плакать в темноте. Она знала, что

* Самые лучшие *(лат.)*.

Джордже тоже несчастен, хотя и старается изо всех сил этого не показать. Он всю ночь вздыхал и ворочался в кровати, а она не нашла в себе силы прижаться к нему, положить голову ему на плечо, постараться утешить.

— Красивая, наверно...— вдруг сказала Анна, лежавшая в кухне на топчане, который был для нее слишком короток.— Знаю, что красивая... И голос у нее, как у птички...

— Молчи ты, ради бога! — огрызнулась Эмилия.— А то вот возьму и всю посуду перебью!

— Что с тобой, господи боже мой? Живот у тебя, что ли, болит? Дануц — мужчина, чего вмешиваешься? Ведь не на тебе же он женится!

— Он еще ребенок...

— Какой ребенок? Восемнадцать лет без малого. В мое время в восемнадцать-то лет у людей дети были: один, а то и два!

— Оставь меня в покое, слышишь? Ты... как была деревенская баба, так и осталась. А могла бы, кажется, пообтесаться немножко. Двадцать лет с нами прожила!

— Бог меня, видно, спас, дорогая!..— расхохоталась Анна.— А невеста-то, чай, красавица?

— Замолчишь ли ты наконец? — вышла из себя Эмилия.

— Это еще что! — вдруг рассердилась старуха.— Чтоб я отсюда не встала, если сейчас не дам тебе такую оплеуху, что все зубы вылетят! Как ты со мной разговариваешь? И не стыдно? Когда тебя мать спрашивает, ты только отвечай — у меня суд короткий. Я тебя и после замужества по щекам бивала, не знаю, помнишь ли! Ты меня не из милости кормишь, я на тебя работаю, и моя пшеница у вас на чердаке ссыпана, что хотите с ней, то и делаете, я у вас отчета не спрашиваю.

Анна притворилась, что ей душно. Эмилия не на шутку перепугалась. После того как Митру нашел старуху в поле, она два дня чувствовала себя плохо. Когда вызвали доктора Хэлмэджану из Тырнауц, он заявил, что у Анны, несмотря на склероз, железное здоровье, дай бог всякому. Только не надо волновать старуху. Анна, случайно узнав диагноз, целые дни тиранила Эмилию, изображая бурное волнение. С Джордже она вообще не разговаривала. Когда он что-нибудь рассказывал, старуха удивляла всех неожиданным вопросом:

— Слушай, милая, а этот самый... как его... муж твой, когда обедать пожалует?

— Я здесь, матушка... Разве вы меня не слышите?

— Не полагается обедать без хозяина,— продолжала Анна.— Я так приучена и всю жизнь так делала...

Эмилия чувствовала себя совершенно обессиленной, выжатой и едва держалась на ногах. Мысль о Дане в объятиях Эдит была для нее нестерпимой — словно кто-то очень близкий и дорогой, тот, кому она всегда верила, бессовестно обманул ее. Она не смела признаться матери, что девушка еврейка. Старуха, конечно, умерла бы на месте. Эмилию же происхождение будущей невестки не смущало. У нее было даже какое-то странное чувство материнской гордости, что ее Дан так возмужал и стал самостоятельным (она всегда боялась, что он останется беспомощно-застенчивым) и решительным. Какая смелость привезти домой Эдит и представить ее как невесту!

— Мама,— прошептала она,— ты думаешь, что все будет хорошо?

— Не знаю. Есть ли у девушки что-нибудь за душой...

— Я тоже не знаю.— (Джордже ничего ей не рассказал).

— Дануц наш, я думаю, не дурак, глупости не сделает. Парень умный, красивый, такой и министерскую дочку подцепит... А ты ревешь, как дура, нюни распускаешь. Все вы, барыни, такие... Родите дите и но-

ситесь с ним, как с писаной торбой... Предупреждала я тебя, милая, не говори, что не предупреждала: роди еще одного или двух, тогда и будет тебе радость... С одним ребенком плохо — как по рукам связанная... Души в нем не чаешь, молишься на него. Он, может, дурак и гнус, а ты его хвалишь: и умен, мол, и красив. Жизнь ему портишь — кто, кроме матери, ему такие слова скажет, кто приласкает?

— Девушка хорошенькая, умненькая.

— Так чего ж тебе еще надо?

— Молод он еще...

— Ничего, милая, ничего... А жаркое твое аппетитно пахнет... Поджарь-ка мне ломоть хлеба в сале, захотелось мне что-то...

— Обедать не станешь, мама...

— Ты обо мне не беспокойся! Слышала, что я сказала?

Вскоре пришел с поля Джордже — усталый, потный, весь в пыли и с таким грустным выражением лица, что Эмилии стало жаль мужа.

— Пойди, милый, вымойся и оденься по-человечески. Надень свой серый костюм... Довольно ты китель таскал... Неужели не надоело?

— Надоело.

— Я тебе приготовила чистую рубашку, галстук... Дети — в саду.

Джордже вымылся, побрился и пошел в сад. После прошедших на прошлой неделе дождей сад, буйно заросший травой, показался Джордже запущенным. В одном из ульев пчелы, по-видимому, отроились — у летка не было обычного оживления. Джордже решил прийти на пасеку после обеда, зажечь кукурузную кочерыжку и проверить остальные ульи. Он задержался возле пчел. Ему нравилось их волнующее жужжание, их таинственная жизнь, в которой чувствовалась какая-то неведомая, скрытая сила; Эмилия сказала ему как-то в шутку, что его настоящее призвание — быть пасечником. Пчелы никогда не жалили его — только громче жужжали, когда он вторгался в их хозяйство.

По дороге домой ему встретилась Мария Урсу. Девушка была бледна, вся в черном и казалась старше своих лет. Джордже подошел к ней с протянутой рукой, чтобы поздороваться. Он не мог понять, знают ли в доме Урсу, кто застрелил Эзекиила, и это его смущало.

— Мария... я о тебе думал и...

Не замечая его протянутой руки, она, опустив глаза, уставилась на комья белесой сухой земли у своих ног.

— Не стоило беспокоиться, господин директор. Я батюшке все сказала.

— И что он? — нетерпеливо спросил Джордже.

— Ничего... Батюшки теперь нету...

— Как так? Разве он уехал?

— Нет, куда ему уезжать? Только его уже все равно что нету... Спасибо вам большое. Будьте здоровы.

Джордже направился к старому руслу Тэуза. Здесь разросся камыш, образовав непроходимую чащу. Дан с Эдит сидели на берегу реки, Дан кидал камушки в воду. Услышав шаги, Эдит, покраснев, вскочила. На ней было белое платье с ярко-зелеными крапинками, подол которого она придерживала обеими руками от ветра.

— Обед готов, идемте...— сказал Джордже.

Дан весело смеялся.

— Знаешь, папа, мы в детстве с Андреем вырыли здесь укрытие... когда были бомбардировки... а потом закопали в нем Пуфи, и на этом все кончилось...

— Эдит, почему вы все время молчите? — не дослушав сына, спросил Джордже девушку.

— Потому что вы говорите мне «вы».

У нее был приятный, слегка гортанный голос.

— Хорошо, я буду говорить тебе «ты»...

— Она врет, папа. Просто конфузится... потому и молчит.

Девушка снова покраснела — еще сильнее, чем раньше,— и бросила на Дана возмущенный взгляд.

— Она понимает: мама волнуется, что мы решили пожениться.

— Молчи! — крикнула Эдит и схватила юношу за плечо.

— А я говорю ей, что это напрасно,— продолжал Дан.— Ты коммунист, следовательно...

— Да замолчи же наконец! — прикрикнул на него Джордже и, подойдя к Эдит, взял ее за подбородок.— Я ничего о тебе не знаю... Слышал только, что ты много выстрадала...

— Папа верит в братство страдания... в диалектику страдания,— сказал Дан совершенно серьезно.

— Идемте обедать, оставим сложные вопросы... Вы оба еще дети.

Обедали в кухне. Здесь во второй половине дня становилось темно, медная посуда на полках таинственно поблескивала. Кухня в полумраке выглядела закопченной и мрачной. Джордже более подробно, чем обычно, рассказывал о разделе земли. По телефону сообщили из Супреуша, что Пику нашли в лесу мертвым. В руке у него была зажата бумага, буквы на ней расплылись от сырости, и написанное там никто не разобрал.

Эдит сидела, опустив глаза в тарелку, все время чувствуя на себе острый, испытующий взгляд Эмилии. Несколько раз во время обеда глаза девушки наполнялись слезами. Старуха громко чавкала и одобряла все, что подавали.

— Пускай Эдит научится готовить, как моя дочь,— хвасталась Анна.— Другой такой хозяйки во всем свете не сыщешь! Что ни приготовит — тает во рту, другого не скажешь... Куда годятся женщины, которые не умеют стряпать?

Ей тоже налили вина, и она выпила подряд два стакана.

Дан глядел на Анну с восхищением.

— Бабушка, милая,— решился он сказать,— ты самая замечательная женщина на свете... Будь мы хоть наполовину такими, как ты, мы перевернули бы все вверх дном...

Старуха зашмыгала носом.

— Дал бы бог мне здоровья увидеть правнуков...

Эмилия встала за печеньем.

— Не знаю, нравится ли барышне моя стряпня, она, наверно, привыкла не к таким пирожным в кондитерских...

Эдит не могла выговорить ни слова.

— Почему ты ее конфузишь, мама? И почему называешь барышней?

— Ты позволяешь мне называть ее по имени?

Эдит встала из-за стола, подошла к Эмилии и поцеловала ей руку. Эмилии показалось, что девушка кривит душой, но жест этот свидетельствовал о хорошем воспитании. Она погладила Эдит по голове.

— Какие чудесные у тебя волосы, милая.

— Да и тебе, мама, жаловаться не приходилось! — воскликнул Дан.— А я начинаю лысеть.

— Поэтому и торопись жениться, внучек! — воскликнула Анна.— Кто за плешивого пойдет? Разве что кочергу какую-нибудь найдешь, вроде меня!

— Мама! Что ты говоришь? Старая, прости господи, женщина, а разума нет...

— Не делай мне замечаний, на этот раз уж, так и быть, прощаю,— процедила сквозь зубы старуха.— Подойди ко мне поближе... подойди, Флорика...— прибавила она.

— Меня зовут Эдит... бабушка.

— Подойди поближе... Какая у тебя маленькая ручка... Видно, что не рабочая... И не надо, милая... и не надо, лучше будь красавицей...— Она жестом попросила Эдит придвинуться ближе.— Ты-то черненькая? — шепнула старуха ей на ухо.

— Да,— так же тихо ответила Эдит.— Даже слишком...

— Ничего, это девушке идет...— сказала Анна и, воспользовавшись тем, что Эмилия принялась о чем-то расспрашивать Дана, обняла Эдит за шею и привлекла к себе.

— Не обижайся, милая, на старуху, любопытная я... Состояние хоть какое-нибудь у тебя есть?

— Да, бабушка...

— И деньги есть? И приданое? А то у нас все пропало.

— Есть, бабушка... у моей тети.

— Много?

— Не знаю. Дан знает...

— Ага... Иди я тебя поцелую, милая... Ты мне нравишься, не толстая... Я тебя полюбила... как бишь, тебя звать-то? Я ведь к господским этим именам не привыкла, которые в книжках бывают... Наши девичьи имена мне известны, а у тебя особенное, красивое... Такие имена в библии есть...

— Эдит...— смущенно проговорила девушка.

— Ага, Юдифь, значит. Красавица была. Для нее царь Давид много псалмов сложил... Деньги, смотрите, не проживайте... Купите себе дом и землицы. Землю хорошо иметь. Что бы ни случилось, земля всегда на месте, где ей многомилостивый и долготерпеливый господь быть определил... Можно тебя поцеловать? Не противно тебе?

Анна чуть коснулась ее щеки губами и почувствовала, что щека у девушки мокрая от слез.

— Что ж ты, милая, плачешь?

— Я так счастлива, бабушка. У меня ведь нет ни матери, ни отца.

— Не плачь... Эмилия будет тебя любить. Она добрая. Сумей только с ней поладить... Вначале это, конечно...— старуха откинулась на спинку стула.— Налей-ка мне, Милли, еще стаканчик винца... только без кислой воды... Чистого... А сельтерскую эту самую пускай цыплята пьют...

— Тебе станет плохо, мама.

— Ну и что ж такого? И буду больная! А тебе какое дело? Эй ты, Джордже, давай-ка чокнемся...

— За ваше здоровье, матушка!..

Старуха вдруг запела неожиданно молодым голосом; и слушая ее, не верилось, что поет старая женщина.

По краю могилы моей
Фиалки лесные посей.

— Эту песню, милая, отец твой певал, Михай, упокой господи душу его, хороший был человек... Только слабохарактерен немного... Ты на него похожа. Не будь меня, плохо бы тебе пришлось... Замарашкой бы ходила... Да, да... А ты, Дануц, внучек, помнишь ту песню, которую я тебе пела, когда ты маленький был?

Струи Бистрица катит, несет,
Много плачет люда над ней,
И зачем она только течет...

Слова и мотив песни были грустными.

— Стойте! — прислушалась Эмилия.— Что это?

С улицы донеслась другая песня. Слов разобрать было нельзя — казалось, что множество людей одновременно что-то кричат.

— А, это крестьяне с поля возвращаются,— сказал Джордже.— Кончили с землей, поделили.

Все молчали.

— Сон меня одолел. Не могу,— сказала старуха, и голова ее склонилась набок.— Лишнее, видно, выпила... С непривычки... В этом доме рюмки перед обедом никогда не поднесут...

— Что ты говоришь, мама?

— Правду говорю. А что у тебя на ужин, голубушка?

— Холодный цыпленок, жареная картошка,— ответила Эмилия.

— Потоньше ее нарежь, картошку-то. Слышишь? И не пересуши, чтоб во рту таяла...

— Мама, ты не приляжешь отдохнуть?

— Можно... только сама со стула встать не могу... Напилась, значит... Ты уж меня, Юдифь, милая, прости...

Эмилия отвела мать в ее комнатку. Раздевая старуху, она, не удержавшись, не без злорадства шепнула ей на ухо:

— Ты, вижу, радуешься... А знаешь, что она еврейка? Знаешь? А что ты теперь скажешь?

— Нагнись поближе, милая,— вместо ответа проговорила старуха.

— Зачем?

— Пощупать...— Старуха провела рукой по лбу, губам дочери.— Глупая ты... Нет. Притворяешься, что глупа... Хочешь, чтобы все по-твоему было, чтобы и Джордже и Дан под твою дудку плясали, а они не пляшут... Вот ты и злишься... Что с того, что еврейка? Они разве не люди? Господь наш Иисус Христос кем был? Девушка хорошая, красивая, богатая... Молчи уж лучше. Ступай и будь с ней поласковее От нее у тебя внуки будут, а не от тех, которых ты ему в невесты прочишь... Ступай. А я-то как опозорилась! Вино в голову бросилось. Доброе вино. У кого брали?

— У Марку Сими...

— Ага. Знаю... И дяде вашему Микулае оно нравилось. Накрой меня потеплее и ступай... Да будь поласковей...

Без старухи в кухне стало тихо. С улицы все громче нарастала песня возвращающихся с поля крестьян. Прислушиваясь к ней, все молчали. Эмилия подсела к Эдит и гладила ее по руке; она хотела побыть наедине с будущей невесткой, поплакать с ней вместе, поговорить, строя планы на будущее.

— Не кури без перерыва, Джордже,— сказала она раздраженно.— Тебе вредно... Боже мой, сколько дурных привычек все вы привезли с фронта...

Дан барабанил пальцами по столу и казался осоловелым.

— Что с тобой, Дан? — обратилась Эмилия к сыну.— Нездоровится? Может, я слишком жирно готовлю?

— Нет, мама... все очень вкусно. Жаль, что бабушка ушла. Не нужно было давать ей столько вина, она бы еще с нами посидела.

— Не горюй...— рассмеялась Эмилия.— Когда...— она невольно помрачнела,— когда вы будете жить своим домом... ты возьмешь ее к себе... если ты ее так любишь.

Шум на улице все нарастал. Школьный двор заполнялся народом. Крестьяне явно были навеселе. Они, нестройно распевая, столпились у крыльца. Кто-то привел музыкантов — Пуцу и Бобокуца.

— Начинай! — скомандовал Митру.— Раз, два, три! Действуй!

Пуцу надул щеки и грянул «Будь здоров на многие лета!».

— Как бы школа не развалилась, подобно стенам Иерихона,— сказал Дан.

Растроганный Джордже поправил галстук и вышел на крыльцо.

— Заходите, выпейте по стакану вина...— пригласил он собравшихся.

— Что вы! — за всех ответил Митру.— Что вы, товарищ директор! Не хотим вас беспокоить, да еще в воскресенье... Мы зашли вам здоровья пожелать, у нас сегодня праздник. Вы нас поддерживали, за село стояли... Всему семейству многие лета!

— Многие лета! — разноголосым хором подхватили крестьяне.

Дан смотрел на эту сцену широко раскрытыми глазами. Его взгляд выражал тревогу, недоумение. Эдит обняла его за плечи.

Джордже пожал каждому руку, вернулся в дом, сел и не мог выговорить ни слова — только постукивал стоявшим перед ним стаканом по столу.

— Дан...— сказал он, справившись с волнением,— пойдешь отдыхать? Мне с тобой нужно поговорить. С глазу на глаз...

— Хорошо,— он собрался было встать, но почему-то раздумал.— Чуть позднее, папа, можно? Мне сейчас так спокойно... Жаль только, что бабушки нет. Ей, наверно, понравилась бы эта манифестация... Будь бабушка помоложе, она бы, может, министром стала...

Из окна было видно, что крестьяне гурьбой вышли на улицу. Там они, уже не стесняясь, громко запели. Песню подхватили другие, двигавшиеся к примарии из боковых улиц. По облаку пыли можно было предположить, что началась пляска.

Эмилия, уловившая непривычно строгие нотки в голосе Джордже, когда он сказал Дану, что хочет поговорить, с тревогой посмотрела на мужа.

— Знаешь, Дануц,— вздохнув, сказала она,— если ты непременно хочешь сидеть с бабушкой, я пойду ее разбужу... Успеет выспаться ночью. Верно? — Она быстро прошла к Анне.

Джордже закурил, налил два стакана и протянул один Дану.

— За твое здоровье, малыш...

Песня ширилась, казалось, ее звуки заполняют всю улицу. Пуцу с его хриплой трубой лишь изредка удавалось заглушить ее могучие раскаты.

Дверь медленно отворилась. На пороге показалась белая как мел Эмилия. Чтобы не упасть, она прислонилась к стене.

— Идите сюда все...— с трудом проговорила она дрожащими губами.— Мама умерла...

В ее голосе звучали скорбь и величайшее удивление.

Роман печатался с сокращениями.

Рене Депетр

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

Перевод с французского и вступление Павла Антокольского

Одним из наших гостей на Всемирном фестивале молодежи в Москве был поэт из Гаити Рене Депетр. Он оставил нам в подарок свою замечательную книгу стихов — «Черная руда» («Minerai noir»). Из нее взяты переведенные мною и печатаемые ниже стихи Депетра.

Это поэт большой силы и значения. Ткань его стихов насыщена разрядами грозового электричества. Образы его могут быть очень усложнены и отчасти зашифрованы, необузданное чувство автора ломает и ритм и синтаксис, но в любой его строке угадываешь значительное содержание, которое само говорит за себя. Депетр пишет не зря, не о малом, не о случайном. Поистине он — «агитатор, горлан, главарь».

Он пишет о своей маленькой островной родине, затерянной в экваториальных широтах Атлантики, о родине, подло ограбленной и истерзанной империалистическими хищниками. Он пишет и о своей прародине, общей для всех американских негров,— об африканском материке, откуда, начиная с XV века, пираты и флибустьеры всего Запада вывозили «черную руду» — дешевую рабочую силу, чернокожих рабов для американских плантаторов. В этих рабах он узнает своих далеких предков.

Он пишет о расовой дискриминации, о десятках тысяч линчеванных и замученных братьев. История и сегодняшний день негритянского народа встают в стихах Депетра в суровом трагическом освещении, в багровых отсветах смоляных факелов Ку-Клукс-Клана. В творчестве этого поэта сочетаются великая любовь и великая ненависть.

Рене Депетр — поэт французского языка, французского воспитания, французских поэтических влияний и вкусов. Но самостоятельная и самобытная сила органически вобрала и переработала эти и другие влияния и сплавила их в совершенно своеобразный, качественно новый сплав. Тут сказался и темперамент негритянского поэта, его расовая принадлежность. А прежде всего сказались политические убеждения автора, его моральная сила. Рене Депетр — борец за мир, борец за дело рабочего класса. Каждое стихотворение его дышит политической борьбой и политической современностью. По сути дела, он обращается ко всему трудовому человечеству, к миллионам людей белого, черного, желтого цвета кожи. Как ни прочно связан своими корнями Депетр с родной почвой, его меньше всего можно упрекнуть в расовой ограниченности.

Должен сказать прямо: переводя поэта-современника, я редко испытывал такую радость первого узнавания, как на этот раз. Задача моя заключалась в одном: возможно полнее сохранить в движении русского стиха поток этой еще не остывшей лавы в ее неожиданных крутых извилинах, во внезапно запекшихся ее сгустках, во всем ее вулканическом напоре.

ПОЭМА О МОЕЙ СКОВАННОЙ РОДИНЕ

Вот лучи твои скручены сзади, как руки.
Вот в лицо твоей песни нацелилась банда убийц.
На усталых ногах твоей пляски железные обручи голода.
Я узнал тебя, родина, раньше, чем ты мне взмахнула
Окровавленной синей косынкой надежды.
С детства, с раннего детства я чувствовал дрожь твою — словно улав
Обвивал меня грустной тяжелой лозой.
С детства чувствовал горе твое — словно кровный близнец
Проникал в глубину, в тайники моего ликованья.
Вся избитая в кровь, вся в тоске, ты была, как вдова
Осужденного на смерть по подозренью в насилье.
Это ты, моя родина!
Это холод ножа, стоит только тебе засмеяться.
Это черная грязь торгашей на лице твоем.
Это ты, моя родина, съежилась в утренней свежести мая
И свила себе грустное гнездышко в сердце
Какого-нибудь музыканта-бедняги.
О, разбитая грубым ударом гитара!
Ты в наручниках. Ты на коленях.
Но в распахнутом пламени черных очей твоих
Вновь трепещет и блещет зеленая роща свободы.
Я стою пред тобой — низкорослая травка изгнанья,
Я пою, так пою мою песню, что сердце вот-вот разорвется,
Там, на самой вершине поруганной жизни!
Восемь лет миновало, как ты, моя мать, провожала меня у порога,
И дрожала от горя и страха,
И следила, как в теплом ноябрьском тумане,
В голубом молоке исчезал самолет,
Уносивший меня в неизвестную Францию,
А она призывала меня голосами любимых поэтов.
Ты в ту ночь расщедрилась на наставленья.
Все слова негритянской семейственной нежности
Закачались, как пестрые маки.
Все рассказы твои о замученных неграх
Завели свою грустную горькую музыку:
— Берегись вероломной зимы.
Твои легкие могут не выдержать стужи.
Будь веселым, приветливым парнем.
Берегись тротуаров с девицами и со шпиками.
Берегись их машин на весеннем асфальте,
Их глубоких обманчивых рек.
Берегись, если братом тебя назовут,
И поделятся хлебом с тобой и вином,

И усядутся рядом на землю, и юный твой разум
Усыпят в опьяняющем вихре.
Береги свою черную кожу от красных ранений,
Береги лепестки твоей плоти цветущей.
Берегись каждой лужи, расплеснутой в полдень,
Чтоб никто не осмелился лунных следов твоей крови стирать,
Не заставил тебя поскользнуться.
Так, одетый в сверкающий возраст народа,
Безоглядно отдайся всем ярким надеждам
И вернись, озаренный любым человеческим рукопожатьем,
И любою прочитанной книгой,
И любым из кусков поделенного хлеба,
И любою из женщин, с которой окажешься дружен,
И любою однажды тобою распахнутой новью,
Ради золота завтрашней жатвы людской.

НА СВИДАНИЕ С ЖИЗНЬЮ*

В одной руке держу я право на любовь,
В другой — билет в Берлин.
С той стороны — для сердца свод небесный
Над родиной моей.
А с этой — блещут, словно зерна
В предвестии грядущего расцвета,
Глаза всех юношей вселенной.

Но прежде чем взойти на борт
И плыть в Берлин,
Я возвращаюсь к другу Манюэлю,
Который по утрам встает,
Едва лишь выпадет роса на листья,
Гораздо раньше первых петухов,
Поющих в свежей роще.
Он никогда не спал в постели,
Он бреется бутылочным осколком.
Пускай его крестьянский голос
Несется за кормою корабельной
И паруса мои раздует,
Как ветер на море открытом.

— Скажи им всем, что за три года
Меняли трижды птицы перья,
А рыбы чешую меняли,
Но что жена моя все в том же платье,
Недавно умерла моя дочурка —

* Этому стихотворению на Берлинском фестивале молодежи в 1951 году была присуждена одна из первых премий.

Нет ни гроша у нас на хину.
Скажи, что хлещет дождь сквозь щели нашей крыши,
И тушит нашу лампу,
И рвет циновку, где мы спим и любим.
Не позабудь сказать им,
Что если мой очаг залит водой,
И женщина должна остаться голой,
Когда стирает собственное платье,
И вместо кукол у моей дочурки
Сегодня только муравьи и черви,
То блещет знамя в полосах и звездах
Над каждой каплей пота моего,
Надежно осеняет арсенал,
Запасы ружей, бомб и пулеметов.

Скажи, что жизнь народа моего —
Огромный монолит страданья,
Поток сплошного мрака,
Что мой народ не смотрит на часы,
Что он определяет время
По глубине голодных спазм в желудке,
По силе снов, смыкающих глаза.

В моем желудке вечный полдень.
В моих глазах навеки полночь.

Скажи им всем,
Что мы до тысячи не можем сосчитать,
Не знаем мы, что вертится Земля,
Скажи, что на исходе месяца любого
Мы просыпаемся в тюрьме.

Я прихожу в Берлин, чтоб наложить эмбарго
На голод моего народа,
На кандалы его, на грязь циновок,
На слезы и на малярийный жар,
Чтоб доллар не держал бы взаперти
Лучи его свободной песни,
Чтобы его несчастие навеки
Осталось в одиночном заключенье.

Я прихожу в Берлин, чтоб вырос мой народ
В сиянье мира
И простер объятья
Ко всем народам.
Я прихожу в Берлин вслед за весной,
Чтоб завтра человечество сияло
Счастливой дружбой,
Чтоб завтра забродило во вселенной
Людского братства красное вино.

АФРИКА

Ты, Африка, опасный черный переход в моей крови и еле брезжущий рассвет моей телесной ночи.

Ты, Африка, трудолюбивый сев до той поры, пока растет мой ствол и зеленеют ветви.

Ты, Африка, гул океана в раковине, ты задохнулась в моей груди от слез.

Ты, Африка, любовная записка, я сожму тебя в мужских ладонях жадных, как девичью трепещущую грудь.

Ты, Африка, на дне моем погребена, как якоря трансатлантического судна.

Ты, Африка, края моей огромной незажившей раны, черный ливень пота, пусть эта песня утоньшится струйкой крови, пусть уходит в твой горячий влажный грунт.

Ты, Африка, опора для моих растущих лоз, ты очерк милых алых уст, рассеянный твой отблеск пляшет в моей смеющейся листве.

Ты, Африка, еще молчишь, как сабля в ножнах.

Ты, Африка, проснешься ослепительней, чем взмах клинков, ты вырастишь свои народы для удара, молниеносно спрячешь в их крови, как пушечные ядра, сто смерчей и сложишь в них отмщенье, словно груз оружья в потаенных скалах!

Ты, Африка моя! Ты расцветешь сильнее, чем признание в любви, не будешь больше ты слезами литься по моим щекам, ты изумишь грядущее гуденьем своих рабочих ульев, будет день — и миллионами изжаждавшихся рук своих ты вылепишь свободу на гончарном круге африканских полдней.

НОЧЬ ЛИНЧЕВАТЕЛЯ

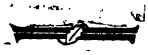
Жене сказал он, что пойдет
Немного погулять,
И вышел.
У него в душе
Еще сияло солнце Джесси.
А голову сверлила мысль,
Как острый волчий голод.
Он вышел.
Слева от него
Ребенок спал, как спит цветок
Весенней тихой ночью.
А справа мысль его горела,
Как пара красных волчьих глаз.
Он вышел.
У него в душе

Еще сияла ночь любви,
А на короткой сворке справа
Волк разъяренный скалил пасть.
Он долго шел. Вернувшись в полночь,
Нашел он дома сердце Джесси,
Знакомый садик перед домом
И дочку, спавшую, как спят
Цветочки раннею весной.
И волк, бежавший где-то справа,
Голодной шерсти не щетинил,
Когда я вышел на дорогу:
Звезда сказала мне, что там,
В ста метрах от дороги, негр
Последней кровью истекает
Под звездами ночными.

ЧЕРНАЯ РУДА

Когда испарилась на солнце последняя капля индейского пота,
И дренаж золотой лихорадки обескровил индейскую расу,
И на столько-то миль не осталось живого индейца,
Повернули они к африканским живым половодьям,
Чтоб найти непрерывную смену отчаявшейся голытьбе.
Так начинался неистовый поиск
Драгоценного черного мяса,
Начиналась свирепая давка
В погоне за отсветом полдня на черных телах.
В пору было задуматься химикам,
Как добывается редкостный сплав
Новой черной руды. В пору было хозяйкам
Размечтаться о кухонной утвари
В лице сенегальского негра, о чайном сервизе
В лице негритенка с Антильского берега.
В пору было священнику
Обещать прихожанам
Новый колокол, отлитый из негритянского стона.
В пору доброму деду-морозу
Смастерить в Новый год
Оловянных солдатиков черного цвета,
Смельчаку капитану какому-нибудь
Раскроить своей шпагой черный эбен.
Услыхала земля, как вгрызаются сверла
В плоть и кровь моей расы,
В мускулистые залежи черной породы.
Миновали столетья, и длится и длится добыча
Чернокожих этих сокровищ.

О, родовые железные муки народа,
Неисчерпный поток человеческих слез!
Сколько пиратов пытало оружье
В таинственных недрах жизни твоей!
Сколько бродяг моряков прорубало дорогу
К живородной поросли черного тела,
Устилая столетья сухими стволами,
Затопив их озерами слез!
Ты, до нитки ограбленный, голый народ, развороченный,
Как земля после пахоты,
Ты, народ перемолотый,
Чтоб насытились самые мощные мельницы мира,
Береги свой металл в самых тайных глубинах ночей!
Никто не осмелится пушки направить и золото сыпать
На расплавленный паводок черного гнева!



«СЧАСТЛИВЧИК ДЖИМ» *Рис. Д. Дубинского*

Кингсли Эмис

Счастливчик Джим

РОМАН

Перевод с английского Т. Озерской и Н. Треневой

ГЛАВА XVII

На следующее утро в восемь пятнадцать Диксон торопливо сбежал с лестницы в столовую, и не потому, что боялся упустить тот момент, когда Джонс начнет читать письмо, а потому, что хотел, вернее должен был, за сегодняшнее утро написать лекцию о «доброй старой Англии».

Он не любил завтракать так рано. Корнфлекс мисс Кэтлер, ее бледная яичница или ярко-красная ветчина, взрывчатые гренки и мочегонный кофе казались вполне сносными в девять часов утра — обычное время завтрака,— но в восемь пятнадцать вызывали из всех закоулков его организма притаившуюся мигрень, остатки недавней тошноты, отголоски шума в голове. Сегодня утром, как всегда с похмелья, он чувствовал себя отвратительно. Трем пинтам крепкого пива, которые были распиты вчера вечером с Биллом Аткинсоном и Бизли, предшествовала бутылка английского хереса, а за нею последовали полдюжины чайных чашек пунша. Диксон обошел вокруг накрытого стола, прикрыв глаза руками, словно заслоняясь от дыма тлеющего костра, потом тяжело опустился на стул и полил кукурузные хлопья голубоватым молоком. В столовой, кроме него, не было ни души.

Избегая думать о Маргарет и почему-то не желая думать о Кристине, он поймал себя на том, что размышляет о своей лекции. Вчера в начале вечера он попытался свести свои заметки в связный текст. Первая страничка заметок дала страницу и еще три строчки рукописного текста. Если так пойдет и впредь, то его заметок хватит на одиннадцать с половиной минут. Надо чем-то заполнить остальные сорок восемь с половиной минут. Ну, минута пройдет, пока его представят аудитории, еще минута — на питье воды, откашливание, перелистывание страниц; на аплодисменты и вызовы рассчитывать нечего. Чем же заполнить остальное время? На этот вопрос можно ответить только вопросом: да, в самом деле, чем же? Впрочем, вот что — он попросит Баркли достать ему книгу о средневековой музыке. На это можно отвести двадцать минут, не меньше, считая извинения, что он «слишком увлекся любимым предметом». Уэлч, конечно, скушает это, да еще и облизнется.

Диксон пустил пузыри в ложке с молоком, испугавшись, что ему придется переписывать такое множество нудных фактов, но тут же повеселел: зато он сможет удачно выйти из положения, не затрудняя себя излишней умственной работой! «Вероятно, многие сочтут,— пробормотал

Окончание. Начало см. в №№ 10 и 11.

он,— что характер эпохи, нации, класса вряд ли возможно раскрыть с помощью столь, казалось бы, отвлеченного выражения человеческого духа, как музыка и музыкальная культура». Он сосредоточенно склонился над судком для уксуса и масла. «Но это убеждение бесконечно далеко от истины».

В столовую вошел Бизли, по привычке потирая руки.

— Здорово, Джим,— сказал он.— Почты еще не было?

— Нет еще. А он уже идет?

— Кончает возиться в ванной. Скоро появится.

— Прекрасно. А Билли?

— Он встал раньше меня, я слышал его топот над головой. Постойте-ка — это, должно быть, он.

Бизли уселся и принялся за свой корнфлекс. В комнату медленно вошел Аткинсон. Как нередко с ним бывало, особенно по утрам, он всем своим видом давал понять, что не знаком с присутствующими и в данную минуту не намерен завязывать с ними знакомство. Сегодня он больше чем когда-либо напоминал Чингис-хана, задумавшего учинить расправу над своими военачальниками. Он с презрительным видом остановился у своего стула, досадливо прищелкнул языком и демонстративно вздохнул, как человек, которому приходится ждать очереди в магазине. Взгляд его темных загадочных глаз обежал стены, задерживаясь на каждой фотографии и обдавая враждебным холодом племянника мисс Кэтлер в форме капрала казначейской службы, двух дочерей кузины мисс Кэтлер, загородный дом бывшего хозяина мисс Кэтлер с кабриолетом у крыльца, самое мисс Кэтлер, усердно выставлявшую напоказ платье подружки невесты, сшитое по моде времен первой мировой войны. Четыре взгляда — четыре сгустка ненависти, по одному на каждую фотографию,— вероятно, заменили Аткинсону поток ругательств, которые так и просились на язык. Потом, также молча, он сел за стол, положив большие волосатые руки на клеенку ладонями вверх. Он никогда не притрагивался к кукурузным хлопьям.

Когда мисс Кэтлер оделяла своих жильцов ветчиной киноварного цвета, из прихожей донесся звонок почтальона. Бизли многозначительно кивнул Диксону и вышел. Вернувшись, он кивнул еще многозначительнее. Диксон, вопреки ожиданию, не ощутил приятной щекотки внутри; даже появление Джонса с его письмом в руке он встретил довольно равнодушно. Почему? «Добрая старая Англия»? Да, и многое другое тоже, но об этом не стоит сейчас думать. Диксон постарался сосредоточить внимание на листке, который Джонс вынул из конверта и развернул. Бизли, с набитым ртом, перестал жевать; Аткинсон, сохраняя безразличный вид, наблюдал за Джонсом сквозь густые ресницы. Джонс начал читать. Наступила напряженная тишина.

Джонс осторожно положил ложку. Сегодня его волосы выглядели как-то странно. Лицо его, всегда бледное, как свиное сало, но сейчас разукрашенное красными пятнами (без сомнения, результат бритья лезвием, которое каждый, кто здраво относится к деньгам, давно выкинул бы за негодностью), больше уже не могло бы побледнеть от эмоций, вроде тревоги или ярости. Вскоре, однако, Джонс поднял глаза — разумеется, не настолько, чтобы видеть лица остальных, но все же гораздо выше, чем обычно. Диксону на мгновение даже показалось, что их взгляды встретились. Джонс явно был взволнован; он весь изогнулся, как бы защищаясь от удара. Еще раз пробежав глазами письмо, он вложил его в конверт и сунул во внутренний карман. Потом он поднял голову и, увидев, что все трое не сводят с него глаз, так поспешно схватил ложку, что забрызгал молоком свой темно-синий вязаный жакет. Бизли громко фыркнул.

— Что случилось, сынок? — очень медленно и отчетливо спросил Аткинсон Джонса. — Какие-нибудь неприятности?

— Нет.

— Видите ли, мысль о том, что вам могли доставить хоть малейшую неприятность, была бы для меня очень огорчительна. Это испортило бы мне весь день. Вы уверены, что в письме нет ничего неприятного?

— Ровно ничего.

— Вы уверены?

— Да.

— Ага. Ну, все-таки если случится неприятность, сообщите мне. Вероятно, я могу дать вам добрый совет. Разве нет?

Аткинсон закурил сигарету.

— Вас нельзя назвать разговорчивым, не так ли? — продолжал он.— Можно назвать его разговорчивым? — спросил он остальных.

— Нет,— ответили оба.

Аткинсон кивнул и вышел. Из коридора донесся его смех, и это было необычно — он смеялся редко. Без всякого перехода смех превратился в приступ кашля, который затих где-то наверху лестницы.

Джонс принялся за ветчину.

— Не смешно,— неожиданно сказал он.— Совершенно не смешно.

Диксон мельком взглянул на раскрасневшееся, сияющее от восторга лицо Бизли.

— Что именно?— спросил он.

— Вы знаете что, Диксон. Но в эту игру могут играть двое. Вы еще в этом убедитесь.— Дрожащей негнущейся рукой он налил себе кофе.

На этом стычка и кончилась. Бросив враждебный взгляд на галстук Диксона, Джонс выбежал из столовой. Работа в отделе пенсий и медицинского обслуживания университетских преподавателей начиналась в девять часов.

Диксон, глядя Джонсу вслед, заметил, что затылок у него какой-то странный.

Бизли наклонился через стол.

— Здорово, а, Джим?

— Неплохо.

— Вы заметили, как много он говорил? Настоящий поток красноречия! Я же всегда утверждал: он играет в молчанку, пока не почувствует, что дело плохо. Ах, совсем забыл! Вы обратили внимание, какая у него странная прическа?

— Да, действительно, волосы у него сегодня какие-то необычные.

Бизли принялся за гренки с джемом. Сердито жуя, он продолжал:

— Он купил себе машинку для стрижки. Я вчера видел ее в ванной. Теперь он стрижется сам, понимаете? Этому скареду жаль отдавать за стрижку свои кровные полтора шиллинга. Вот уж; прости господи!

Значит вот почему со спины казалось, будто на Джонсе сползший набок парик, а спереди, надо лбом — нечто вроде шлема. Диксон молчал, думая, что наконец-то Джонс совершил поступок, вызвавший хоть некоторое уважение.

— В чем дело, Джим? Вы что-то нос повесили.

— Да нет, что вы.

— Боитесь за свою лекцию? Слушайте, я разыскал свои заметки об эпохе Чосера, которые обещал вам. Это не бог весть что, но, может, они и пригодятся. Я занесу их в вашу комнату.

Диксон повеселел; если у него хватит выдержки подождать, он сможет заполнить остальную часть лекции плодами чужих трудов.

— Спасибо, Элфрид, — сказал он, — это будет очень кстати.

— Вы идете в университет?

— Да, мне нужно поговорить с Баркли.
— Баркли? Вот уж не думал, что у вас есть о чем с ним говорить.
— Я хочу понабраться от него мыслей о средневековой музыке.
— Ага, понятно. Вы идете сейчас?
— Через несколько минут.
— Отлично, пошли вместе.

День был теплый, но пасмурный. Шагая рядом с Диксоном по Университетскому шоссе, Бизли стал рассказывать о результатах экзаменов на его факультете. В конце недели приедет инспектор-экзаменатор, и тогда будут решены спорные случаи, которых немало, но в основном результаты уже ясны. На факультете Диксона дело обстояло так же, и у них было что обсудить.

— Чем мне нравится Фред Карно,— сказал Бизли,— хотя, если вникнуть, это единственное, что мне в нем нравится,— он никогда не старается протащить того, кто, по его мнению, этого не стоит. В этом году у нас нет дипломов первой степени, только четыре третьих, а сорок пять процентов первокурсников вообще провалились; вот как надо с ними поступать. Фред у нас почти единственный профессор, который, несмотря на давление извне, не раздает отличия наравне с учительскими дипломами и не вытягивает каждого сопляка, который еле умеет выводить свое имя. А как ведет себя Недди? Или он не вмешивается?

— Вот именно. Он взвалил все на Сесила Голдсмита, а это значит, что выдерживают экзамены все до одного. Сесил ведь бесхарактерный малый.

— Безмозглый, вы хотите сказать. Везде происходит одно и то же: не только у нас, но и во всех провинциальных университетах. Правда, в Лондоне этого нет, в шотландских университетах тоже. Но, ей-богу, поезжай куда угодно и попробуй найти хоть одного балбеса, которого выгнали бы просто за то, что он не способен выдержать экзамены,— легче уволить какого-нибудь профессора! А все потому, что такое множество народа получает стипендии.

— А как же быть? Ведь надо же студентам откуда-то получать деньги.

— Вообще-то, Джим, точку зрения министерства можно до некоторой степени понять. «Мы, мол, платим Джону Смиту за учение в университете, а через семь лет вы нам заявляете, что он не получит диплома. Из-за вас наши деньги пошли прахом». Если мы введем вступительные экзамены и не пустим в университет тех, кто не умеет читать и писать, число поступивших уменьшится наполовину, и половина из нас останется без работы. А потом они заявляют: «В этом году нам нужно двести учителей, и мы ничего не желаем слушать». Ладно, мы снизим требования на выпускных экзаменах и дадим вам нужное количество, только не жалуйтесь через два года, что в ваших школах полно учителей, которые сами не способны сдать выпускные экзамены, не то что подготовить к ним своих учеников. Миленькое положение, неправда ли?

Диксон был скорее согласен, чем не согласен с Бизли, но разговор перестал его интересовать. Это был один из тех дней, когда Диксон нисколько не сомневался в своем неминуемом увольнении из университета. А что он будет делать потом? Преподавать в школе? О нет, только не это. Поедет в Лондон и поступит на работу в какое-нибудь учреждение. На какую работу? В какое учреждение? Чушь!

Они молча вошли в главное здание, прошли в профессорскую гостиную, и каждый направился к своему ящичку для писем. Диксон вынул напоминание о том, что в текущем году он не уплатил за пользование гостиной, и открытку, адресованную Джэсу Диксону, эсквайру, бакалавру искусств, и уведомлявшую его о выходе в свет неизвестно кому нуж-

ного труда о текстильном производстве во времена Тюдоров. И то и другое с молниеносной быстротой полетело в корзину для бумаг. Бизли, что-то бормоча про себя, просматривал свежий выпуск университетской газеты. В комнате, кроме них, не было никого. Прежде чем идти на розыски Баркли, Диксон опустился в кресло и зевнул, решив, что раз ему предстоит такой день, то можно немножко и посидеть.

Через несколько секунд к нему подошел Бизли с развернутой газетой.

— Смотрите-ка, Джим, это, пожалуй, будет вам интересно. «Новые назначения. Доктор исторических наук Л. С. Кэтон — на кафедру истории торговли, Тукуманский университет, Аргентина». Это не тот тип, которому вы послали свою статью?

— Ах, черт, дайте-ка поглядеть!

— Вам следовало бы взять его за горло, пока он еще не улизнул в пампасы. Похоже, что он свернет свой журнальчик, если только не вознамерится редактировать его через океан.

— Плохо, будь он неладен!

— На вашем месте я бы не стал этого откладывать.

— Да, пожалуй. Спасибо, что показали мне это, Элфрид. А сейчас надо бы разыскать Баркли, пока он тоже не уехал в Аргентину.

Томимый неясным, но довольно ощутимым дурным предчувствием, Диксон бросился из комнаты и побежал на кафедру музыки, где, к своему удивлению, нашел Баркли, любезно предложившего свои услуги и именно ту книгу, которая была ему нужна. Немного успокоившись, Диксон отправился в библиотеку, где с почти зловещей быстротой получил книгу о средневековой одежде и мебели. На обратном пути он вдруг застрял в вертящихся дверях — кто-то, вошедший снаружи, пытался вертеть двери в обратном и (согласно нескольким крупным, бросающимся в глаза надписям) неправильном направлении. Это оказался Уэлч; он подозрительно озирался кругом и, насупясь, отступил назад, когда Диксон, продолжая толкать дверь, очутился рядом с ним.

— Доброе утро, профессор.

Уэлч узнал его почти сразу.

— Диксон,— сказал он.

— Да, профессор? — Только сейчас он вспомнил слова Маргарет о том, что Уэлч вместе с остальными членами своего семейства «жаждет его крови». Интересно, каким образом он станет утолять эту жажду?

— Я как раз думал насчет библиотеки,— произнес Уэлч, раскачиваясь на каблуках. Сегодня глаза его казались еще безумнее, а волосы еще растрепаннее, чем всегда. В галстуке у него желтел маленький золотой значок, напоминавший геральдическую эмблему, но при ближайшем рассмотрении оказавшийся засохшим яичным желтком. Весьма заметные остатки того же питательного вещества виднелись и вокруг его разинутого рта.

— Вот как? — сказал Диксон, надеясь вытянуть из Уэлча, что же именно из круга понятий, связанных с библиотекой, заставило его задуматься.

— Как вы считаете, могли бы вы сходить туда?

Диксон встревожился не на шутку. Неужели Уэлч окончательно сошел с ума? Или это просто ядовитый намек на несклонность Диксона посещать места, предназначенные для научной работы? Перепуганный до смерти, он украдкой кинул взгляд через плечо, желая убедиться, что они действительно стоят в двух шагах от входа в библиотеку.

— Вероятно, да. — (Пожалуй, это самый безобидный ответ).

— Вы сейчас не перегружены работой?

— Сейчас?— переспросил Диксон каким-то блеющим голосом.— Да как сказать...

— Я думаю о вашей лекции в будущую среду. Полагаю, она уже почти готова?

Диксон переложил две книги, которые он держал под мышкой, так, чтобы Уэлчу бросились в глаза их заглавия.

— О да, — сказал он с жаром. — Да, профессор. Да.

— Мне некогда идти в библиотеку,— сказал Уэлч тоном человека, устраняющего последнее препятствие на пути к полному взаимопониманию.— Я должен зайти туда,— и он указал пальцем на библиотеку.

Диксон медленно кивнул.

— Понимаю, вы должны зайти туда,— выговорил он.

— Да, в экзаменационных ответах есть кое-какие неясности. Хочу проверить их до завтрашней встречи с инспектором. Вы, разумеется, будете завтра? В пять часов, у меня в кабинете.

Завтра в четыре часа его будет ждать Кристина. Даже если вернуться на такси, он сможет пробыть с ней всего сорок пять минут. Ему захотелось пихнуть Уэлча в вертящуюся дверь и кружить его до самого обеда. Он сказал:

— Да, я буду.

— Отлично. Так вот, вы сами понимаете, мне совершенно некогда рыться в библиотеке.

— Ну, конечно.

— Очень мило, что вы согласны мне помочь, Диксон. Теперь относительно того, что мне нужно выяснить в библиотеке: у меня все записано здесь.— Он по частям вытащил из бокового кармана сложенную вдвое пачку бумаг и расправил ее.— Тут нечего объяснять, все говорит само за себя, вы увидите. Ссылка на источник есть почти в каждом случае... да, именно. Хотя вот несколько вопросов без... так, предположения... Не думаю, чтобы вы обнаружили что-нибудь ценное, но на всякий случай просмотрите предметный указатель. Если там ничего не найдете, я полагаюсь на ваши собственные... ваши собственные... Впрочем, вам помогут названия глав. Вот это, например,— видите? Поглядите, нет ли материала по этому вопросу. Правда, вряд ли вы что-нибудь найдете. Хотя как знать — вдруг повезет, неправда ли? — Он впился глазами в лицо Диксона, ища подтверждения.

— Да, конечно.

— Ну да, конечно. Помню, как я, делая одну работу, много недель топтался на месте только потому, что не хватало единственного факта. Кажется, что осенью 1663 года... нет, летом...

Диксон уже уяснил для себя основные факты. Его просят заполнить некоторые пробелы в познаниях Уэлча в области крестьянского искусства и ремесел в их графстве, а эти листки, исписанные тупым, аккуратным и четким почерком или с лихой небрежностью отстуканные на машинке, дадут возможность ему, Диксону, выполнить задание, ничего особенно не напутав, но потеряв много времени да и самоуважения. И все же он не смел отказаться; вполне вероятно, что такую работу Уэлч сочтет куда более важной проверкой его способностей, чем качество лекции о «доброй старой Англии». Тут все ясно; но что означает эта путаница с библиотекой? Когда молчание Уэлча возвестило о том, что он не то кончил, не то не желает продолжать рассказ о случае из своей жизни, Диксон спросил:

— Но можно ли найти здесь все эти сведения? Я хочу сказать, такие издания очень редки. Пожалуй, следовало бы обратиться в государственный архив и...

На лице Уэлча медленно проступило гневно-недоверчивое выражение. Он сказал высоким сварливым голосом:

— Да, разумеется, здесь этих сведений не найдешь, Диксон. Не понимаю даже, как такая мысль может прийти кому-нибудь в голову. Поэтому я и прошу вас пойти в библиотеку. Я точно знаю, там есть девяносто процентов того, что мне нужно. Я бы сам пошел, но ведь я же достаточно толково объяснил вам, что не могу отлучиться. А эти данные мне нужны к вечеру, потому что завтра вечером я буду делать доклад после того, как убер... уйдет... уедет... профессор Фортескью. Теперь вы поняли?

Да, Диксон понял: Уэлч все время имел в виду городскую публичную библиотеку, и поскольку ему самому было ясно, что он подразумевал, он, естественно, и не подумал о недоумении, которое мог вызвать в собеседнике, толкуя о «библиотеке» в пяти шагах от другого помещения, носившего то же название.

— Ну, конечно, профессор, простите, — сказал Диксон, давно уже приученный извиняться в тех случаях, когда имел право требовать извинений.

— Хорошо, забудем это, Диксон. Не стану вас задерживать; вероятно, вы хотите приступить к делу немедленно, чтобы кончить все к пяти часам. А потом зайдите ко мне в кабинет и покажите, что вы нашли. Очень мило, что вы вызвались мне помочь; я это очень ценю.

Диксон сунул листки в книгу Баркли и пошел было прочь, но тут же оглушительный грохот заставил его вздрогнуть и оглянуться. Уэлч, с вздыбленными волосами, как стиснутый со всех сторон форвард в регби, что было сил толкал вертящуюся дверь в обратном направлении. Диксон стоял и смотрел, медленно, с наслаждением корча рожу «павиан». Немного погодя Уэлч, каким-то образом догадавшись о своей ошибке, стал тянуть на себя застрявшую теперь створку двери и напоминал уже «якорь» в команде, проигрывающей состязание в перетягивании каната.

Внезапно дверь с громким треском подалась, и Уэлч, не удержав равновесия, стукнулся затылком о заднюю створку. Диксон пошел дальше, насвистывая свою «песенку Уэлча» в торжественном, почти похоронном ритме и чувствуя, что только такие происшествия и помогают ему жить.

ГЛАВА XVIII

— Чудесно, чудесно, Диксон,— сказал Уэлч семь часов спустя.— Вы заполнили все пробелы самым... самым... Просто великолепно! — Несколько секунд он пожирал глазами свои листки, потом вдруг добавил с оттенком подозрительности в голосе: — Что вы делаете?

Диксон в это время стоял, заложив руки за спину и складывая из пальцев некую комбинацию.

— Я просто... — запинаясь, пробормотал он.

— Меня интересует, что вы делаете сегодня вечером. Быть может, вы захотите поужинать у нас?

Диксон потерял целый день, трудясь для Уэлча, и на вечер у него накопилось много работы в связи с предстоящей лекцией, но отказаться от приглашения было невозможно, и он не колеблясь ответил:

— Большое спасибо, профессор. Вы очень добры.

Уэлч довольно кивнул головой, собрал листки и сунул их в свой саквояж.

— Я полагаю, все это весьма пригодится мне завтра вечером,— сказал он, удостаивая Диксона своей обычной улыбкой сумасшедшего-эротомана.

— Надеюсь. Где вы будете делать доклад?

— В Археологическом обществе. Меня удивляет, что вы не видели афиш.— Он взял свой саквояж и нахлобучил светло-коричневую соломенную шляпу.— Что ж, пошли. Мы поедем в моей машине.

— Очень приятно.

— Должен сказать, это на редкость любознательный народ,— с жаром произнес Уэлч, когда они спускались по лестнице.— Приятно выступать перед такой аудиторией. Такое внимание и... любознательность, и всегда столько вопросов. Конечно, основная публика — это горожане, но там постоянно бывают и наши лучшие студенты. Этот Мичи, например. Чрезвычайно славный юноша. Удалось ли вам заинтересовать его своим специальным курсом?

Диксон, подумав, что в последние дни Мичи зловеще не подает признаков жизни, сказал:

— Да, он, кажется, твердо решил заняться моей темой,— и понадеялся, что Уэлч обратит должное внимание на это доказательство его умения «заинтересовать» такого «славного юношу».

Но Уэлч продолжал как ни в чем не бывало:

— Очень славный юноша. Весьма любознательный. Не пропускает ни одного заседания Археологического общества. Раз или два я с ним беседовал. Оказалось, что наши взгляды во многом сходятся.

Диксон не сомневался, что взгляды у Мичи и Уэлча сходятся лишь в оценке его, Диксона, способностей, но, рассудив, что профессиональная этика не позволит Уэлчу высказать это вслух, спросил с притворным любопытством:

— В чем же?

— Мы оба интересуемся английскими традициями, если можно так выразиться. Только его интерес имеет скорее философский уклон, а мой, так сказать, культурный, но у нас много общего. Кстати, я недавно обратил внимание на один замечательный факт: в последние годы мой интерес к английским традициям значительно возрос. В то время, как моя жена интересуется... Я определяю ее прежде всего как женщину Западной Европы, а потом уже как англичанку. При ее, видите ли, при ее несколько европейском образе мыслей она почти по-галльски относится ко многим чрезвычайно важным для меня предметам, к социальной и культурной обстановке в Англии в разрезе, так сказать, старинных народных ремесел и так далее, традиционных развлечений и прочее — все это для нее лишь аспект — очень интересный аспект, разумеется, но не больше, чем...— Уэлч замялся, как бы подыскивая точное выражение,— скажем, своего рода аспект развития западноевропейской культуры. Это яснее всего сказывается в ее отношении к «Государству благоденствия», и знаете, это большое преимущество иметь способность смотреть на эту проблему в, так сказать, более широкой перспективе. Видите ли, она утверждает, что если люди будут обеспечены...

Диксон, давно уже оценивший миссис Уэлч по своим собственным мерилам, спокойно предоставил Уэлчу распространяться о ее политических взглядах, о ее отношении к «так называемой свободе образования», ее вере в полезность карательных мер и о пристрастии к чтению того, что пишут англичанки о мыслях и чувствах парижанок. Мысли же и чувства Диксона все это время были заняты только Маргарет. Как он выдержит встречу с ней? Эта мысль, не оставлявшая его почти весь день в публичной библиотеке, стала сейчас еще назойливее, ибо теперь встреча стала близкой и неминуемой. Ему придется также выдержать встречу с миссис Уэлч и Бертраном, но это было сравнительно не так страшно. Там, конечно, будет и Кристина; ему и с ней не хотелось сейчас встречаться, но не из-за нее самой, а из-за Маргарет, которой надо как-то доказать, что она не так уж одинока; он не станет, не должен возобновлять прежние

отношения, но необходимо убедить ее, что она всегда может рассчитывать на его дружескую поддержку. Только как это сделать?

Стараясь отвлечься, он стал смотреть в левое окошко. Уэлч, подъехав к перекрестку, замедлил ход машины почти до скорости пешехода. На мостовой стоял крупный толстяк, в котором Диксон узнал своего парикмахера. Его солидная внешность, рокочущий бас и неиссякаемый запас сведений о жизни королевской семьи всегда внушали Диксону глубокое почтение. Неподалеку от него у почтового ящика остановились две хорошенькие девушки. Парикмахер, заложив руки за спину, повернулся и стал пожирать их глазами. На лице его появилось откровенно похотливое выражение; лебезящей походкой продавца универсального магазина он медленно направился к одной из девушек. Тут Уэлч прибавил газу, и Диксон, пораженный этой сценкой, торопливо перевел взгляд на другую сторону дороги, где шла игра в крикет. Один из игроков, тоже крупный толстяк, хотел отбить мяч, промахнулся, и мяч угодил ему прямо в живот. Диксон успел увидеть, как толстяк согнулся от боли, но тут высокая изгородь заслонила поле.

Диксон не знал, что должны были иллюстрировать две эти «виньетки» — незамедлительность ли божьей кары или ее свойство не попадать в цель,— но, во всяком случае, он был удручен виденным, и удручен настолько, что стал прислушиваться к монологу Уэлча:

— Производит глубокое впечатление,— произнес тот, и Диксону захотелось схватить гаечный ключ, торчавший из кармана на дверце, и стукнуть его по затылку. Он знал, какого рода вещи производят впечатление на Уэлча.

Остаток пути они проехали без приключений. Уэлч стал править машиной как будто немного лучше; во всяком случае, если Диксону и грозила смерть, так только от скуки. Но и эта опасность исчезла на несколько минут, когда Уэлч привел несколько фактов из биографии утонченного писаки Мишеля, личности, которая вечно терлась где-то за кулисами жизни Диксона и которому, видно, не суждено было выступить на сцену. Этот Мишель, столь же проникнутый галльским духом, как и его мать, сам готовил себе еду в маленькой лондонской квартирке и недавно заболел, объевшись несъедобными иностранными блюдами собственного приготовления, а именно спагетти и еще какой-то стряпней на оливковом масле. Так ему и надо, нечего обжираться пресным тестом и деревенским заменителем сливочного масла, запивая все это «настоящим» черным кофе, вязким, как клей. Так или иначе, этот Мишель, видимо, собирается приехать через день-два к родителям и восстановить свои силы с помощью английской пищи. Тут Диксон отвернулся к окошку, чтобы посмеяться. На этот раз его просто зло взяло при мысли, что этот паршивец имеет квартиру в Лондоне. Почему бог не дал ему таких родителей, у которых денег настолько больше, чем ума, что они отправили своего сына в Лондон? Думать об этом было мучительно. Имей он такую возможность, все сложилось бы иначе. Ему было пришло в голову, что он сам, кажется, не знает, как именно, но тут же убедился, что точно может представить себе это и точно знает разницу между тем, что могло быть, и что есть теперь.

А Уэлч все разглагольствовал, и собственное лицо было его лучшим слушателем — оно смеялось его шуткам, выражало недоумение или сосредоточенность, а на особо важные места его речи реагировало поджатыми губами и суженными глазами. Он не умолкал ни на секунду, даже когда въехал по песчаной дорожке во двор, задел погнутый водопроводный кран, вкатился в двери гаража и страшным рывком остановил подскочившую машину в двух дюймах от стены. Затем он открыл дверцу и вышел.

Диксон, изыскивая способ вылезть из машины, отказался от мысли протиснуться через проход шириной в шесть дюймов, оставшийся между дверцей машины и боковой стеной. Ерзая по сиденью и ожесточенно пиная коленями ручку скоростей и тормозной рычаг, он перебрался к другой дверце и вдруг почувствовал, как брюки его за что-то зацепились. Выбравшись из машины и очутившись в раскаленной духоте гаража, он ощупал себя сзади; в брюках была дыра шириной в два пальца. Он бросил взгляд на место водителя,— так и есть, из обивки торчит кончик сломанной пружины. Диксон медленно пошел вслед за Уэлчем; сердце его колотилось, очки запотели. Он позволил себе скорчить страшную гримасу, стараясь опустить подбородок как можно ниже, а кончик носа подтянуть как можно выше. Это ему почти удалось; тогда он снял и протер очки. И так как он и без очков видел неплохо, то сразу же заметил, что из высокого окна за ним наблюдают четыре свидетеля; это были (слева направо) Кристина, Бертран, миссис Уэлч и Маргарет. Диксон быстро привел нос в нормальное положение и стал задумчиво потирать опущенный подбородок в надежде, что им покажется, будто на него напала кретиническая нерешительность; затем, не в состоянии придумать какой-нибудь приветственный жест, который мог бы относиться сразу ко всем четверым, он молча устремился за Уэлчем, завернувшим за угол дома.

Как же быть с брюками? Что хуже: чинить ли самому,— а это значит, что надо разыскать или, вероятнее всего, заново купить все необходимые принадлежности; отдать ли их в мастерскую,— а это значит, что надо не забыть разузнать у кого-нибудь, где найти такую мастерскую, не забыть отнести туда брюки и не забыть потом зайти за ними и уплатить за починку,— или же обратиться за помощью к мисс Кэтлер? Может, так будет скорее? Да, но это чревато пагубными последствиями — придется слушать рассуждения мисс Кэтлер все время, пока будет длиться эта операция, и бог знает сколько еще сверх того. Кроме брюк от костюма, слишком темного для всех случаев жизни, за исключением интервью и похорон, у него были еще одни брюки, но до такой степени замызганные, что если бы актер, желая изобразить нищету и убожество, вышел в них на сцену, его упрекнули бы в утрировке. Чинить брюки должен Уэлч. Ведь это все из-за его проклятой машины, неправда ли? Почему он сам не порвал свои гнусные брюки о колючую пружину? Может, еще и порвет. Или, может, уже порвал, но не заметил.

Пройдя под камышовым навесом над входной дверью, Диксон поспешно отвел глаза от картины, которую Уэлч недавно приобрел, повесил в передней и постоянно расхваливал. Это было произведение какого-то недоросля, по технике напоминавшее рисунки в мужских уборных, но менее увлекательное по теме: картина изображала множество бочкообразных животных, выскакивающих из Ноева ковчега. На другой стене висела полка, уставленная медной и фарфоровой утварью. Тут была давно примеченная Диксоном пивная кружка в виде пузатого человечка; презрительно усмехаясь, Диксон уставился на нее. Он ненавидел этого толстяка в черной шляпе без донышка, его расплывшееся испуганное лицо, короткие ручки, сросшиеся с туловищем,— из всех вещей, населявших этот дом, включая даже флажолет Уэлча, не было для Диксона предмета ненавистнее. По лицу толстяка было видно, что он знает, как относится к нему Диксон, но, к сожалению, не может на него наябедничать. Диксон приставил к вискам большие пальцы, помахал остальными и, вытаращив глаза, стал беззвучно шептать ругательства и проклятия. Появилась еще одна собственность Уэлча — рыжий котенок по прозвищу Ид. Котят было сначала трое, но остался в живых он один; двух других миссис Уэлч окрестила Эго и Супер-Эго. Изо всех сил стараясь не думать об этом, Диксон нагнулся и почесал у Ида за ухом.

Он восторгался котенком, когда тот ни за что не давался в руки никому из старших Уэлчей. «Царапай их,— прошептал Диксон,— делай лужи на коврах!» Котенок громко замурлыкал.

Как только Диксон вошел в комнату, где собралось все общество, ритм его дня из неторопливого мгновенно превратился в бешеный. Уэлч засеменил к нему; Кристина, с еще более ярким чем обычно, яблочным румянцем, улыбалась ему где-то на заднем плане; миссис Уэлч и Бертран двинулись ему навстречу; Маргарет повернулась спиной.

— Послушайте, Фолкнер,— энергично произнес Уэлч.

Диксон дернул носом, отправив очки на место.

— Да, профессор?

— То есть, Диксон,— Уэлч замялся и продолжал с необычной для него плавностью речи: — Боюсь, что получилось некоторое недоразумение, Диксон. Я забыл, что сегодня вечером мы условились с Голдсмитами идти в театр. Придется пообедать пораньше, иначе я не успею переодеться, освежиться и отвезти всех в город. Могу подвезти и вас, место найдется. Я, разумеется, крайне сожалею, но сейчас мне нужно торопиться. Вы нас навестите как-нибудь в другой раз.

Прежде чем Уэлч успел выйти, миссис Уэлч молча, как актриса, забывшая свою реплику, поплыла к Диксону. Бертран следовал за ней по пятам. Миссис Уэлч, сильно покраснев, наконец заговорила:

— А я все думала, мистер Диксон, как же мне вас увидеть. Я хотела бы выяснить с вами некоторые обстоятельства. Прежде всего скажите, пожалуйста, если можете, что произошло с простынями и одеялами на вашей кровати, когда вы гостили у нас.

У Диксона пересохло во рту, и он тщетно пытался что-то ответить; миссис Уэлч, немного выждав, добавила:

— Я жду ответа, мистер Диксон.— В эту минуту англичанка, казалось, взяла в ней верх над женщиной Западной Европы.

Диксон заметил, что Кристина и Маргарет, тихо переговариваясь, отошли в сторону.

— Видите ли, я не совсем понимаю,— пробормотал он.— Я не знаю...

Как он мог забыть то, что она сказала по телефону, когда он выдавал себя за Бизли, корреспондента «Ивнинг пост»? Это совсем выскочило у него из головы.

— Насколько я понимаю, вы отрицаете свою причастность к происшедшему? Если да, то вина всецело падает на мою горничную, и в таком случае я должна буду...

— Нет,— перебил Диксон,— я не отрицаю. Простите, миссис Уэлч, я страшно сожалею об этом. Конечно, мне следовало бы прийти к вам сразу и все рассказать, но я испортил столько вещей, что боялся. Глупо, конечно, но я почему-то надеялся, что вы ничего не заметите, хотя знал, что это невозможно. Не будете ли вы добры прислать мне счет, чтобы я мог уплатить вам за простыни? И одеяла, разумеется. Я должен возместить их стоимость.— (Слава богу, они еще ничего не знают о тумбочке).

— Само собой разумеется, мистер Диксон. Но прежде я хотела бы узнать, каким образом вы испортили эти вещи? Что, собственно, произошло?

— Я знаю, что поступил очень дурно, миссис Уэлч, но, пожалуйста, не требуйте объяснений. Я очень виноват и приношу свои извинения, но, быть может, вы позволите мне не объяснять? Уверяю вас, ничего ужасного не произошло.

— Так почему же вы отказываетесь объяснить в чем дело?

— Я не отказываюсь, я только прошу избавить меня от лишнего смущения, которое вряд ли поможет делу.

В разговор вмешался Бертран. Склонив косматую голову набок, он придвинулся ближе и сказал:

— Об этом не беспокойтесь, Диксон. Ваше смущение мы уж как-нибудь переживем. Должны же вы хоть чем-то поплатиться за свои выходки.

Мать положила руку ему на плечо.

— Погоди, дружок, не вмешивайся. Я уверена, что мистер Диксон привык к подобным разговорам. Оставим это — никакие объяснения уже не изменят фактов. Я хочу перейти к следующему вопросу. Теперь я твердо убеждена, мистер Диксон, что это вы недавно звонили сюда и назвались, то есть солгали мне и моему сыну, назвавшись репортером. Это были вы, не так ли? Вам лучше всего сознаться, мистер Диксон. Я ничего не сказала мужу, ибо не хотела его расстраивать, но предупреждаю вас, если я не получу удовлетворительного...

Словно преступник, который, сознавшись в одном, не видит оснований, почему бы не выложить все до конца, Диксон решил было признаться, но вовремя сообразил, что это бросит тень на Кристину. (Выведал ли Бертран у нее что-нибудь и что именно?)

— Вы глубоко ошибаетесь, миссис Уэлч. Я даже не представляю, как такое подозрение могло прийти вам в голову. Профессор может подтвердить, что в этот семестр я никуда не отлучался.

— Не отлучались? Не понимаю, какое это имеет отношение к делу.

— Да ведь не мог же я одновременно находиться и здесь и в Лондоне, не так ли?

Удержав Бертрана, миссис Уэлч недоуменно спросила:

— Что вы, однако, хотите этим сказать?

— Как же я мог звонить вам из Лондона, если я все время был здесь? Насколько я понял, вам звонили из Лондона?

Бертран вопросительно взглянул на мать. Та покачала головой и тихо, еле шевеля губами, ответила:

— Нет, звонок был местный. Кто бы ни был тот человек, он заговорил сразу. Когда вызывает Лондон, то сначала звонит телефонистка.

— Я же говорил, что ты ошибаешься,— сварливо сказал Бертран.— Я же говорил, что это штуки Дэвида Уэста. Черт возьми, Кристина уверена, что это он звонил ей, назвавшись Аткинсоном. Наверное и нам звонил кто-то из его дружков, а не...— Он взглянул на Диксона и умолк.

Диксон смаковал свою победу. Надо запомнить, что в подобном положении выгоднее всего прикинуться непонимающим. И теперь ясно, что Кристина не проговорилась Бертрану.

— Надеюсь, теперь все выяснилось? — вежливо спросил он.

Миссис Уэлч снова стала багроветь.

— Я, пожалуй, пойду посмотрю, что делает отец, дружок,— сказала она сыну.— Мне нужно кое-что ему...— Конец фразы повис в воздухе, и миссис Уэлч выплыла из комнаты.

Бертран шагнул к Диксону.

— Забудем об этой истории,— снисходительно сказал он.— Я давно уже собирался поговорить с вами по душам, старина. Еще с того бала. Теперь слушайте: у меня есть к вам вопрос, и скажу прямо, я требую, чтобы вы ответили честно. В чем заключалась ваша игра в тот вечер, когда вы уговорили Кристину убежать с танцев вместе с вами? Только честно.

Кристина, проходившая с Маргарет мимо них, должно быть, слышала каждое слово. Обе девушки избегали встречаться взглядом с Диксоном. Они вышли, оставив его наедине с Бертраном. Когда дверь за ними закрылась, Диксон сказал:

— На такой бессмысленный вопрос я не могу ответить ни честно, ни нечестно. Что вы называете «моей игрой»? Я ни в какую игру не играл.

— Вы не хуже меня понимаете, что я хочу сказать. Для чего вы это затеяли?

— Спросите лучше Кристину.

— Не будем ее впутывать, если не возражаете.

— Почему я должен возражать? — Несмотря на гнетущую мысль о том, что счет миссис Уэлч поглотит все его сбережения, Диксон вдруг возликовал. Предварительные маневры и холодная война между ним и Бертраном, наконец, окончились. Запахло порохом.

— Не валяйте дурака, Диксон. Скажите прямо, что, собственно, произошло, или мне придется поговорить с вами иначе.

— Вы тоже не валяйте дурака. Чего вы от меня хотите?

Бертран сжал кулаки, но тотчас разжал их, когда Диксон снял очки и расправил плечи. Диксон опять надел очки.

— Я хочу знать...— произнес Бертран и запнулся.

— В чем состоит моя игра? Я это уже слышал.

— Да замолчите же! Что вы собирались делать с Кристиной, вот что я хочу знать.

— Именно то, что сделал. Я собирался уехать оттуда вместе с Кристиной, привезти ее сюда на такси и на том же такси вернуться к себе домой. Так я и сделал.

— Ну, а я этого не потерплю, поняли?

— Сейчас поздно говорить об этом. Вы уже стерпели.

— Постарайтесь вбить себе в голову одно, Диксон. Довольно с меня ваших милых шуточек. Кристина — моя девушка, моей и останется, ясно?

— Если вы подразумеваете, слежу ли я за ходом вашей мысли, то ясно.

— Великолепно. Так вот, если вы хоть раз еще выкинете такой фортель или вообще одну из ваших ужасно остроумных штучек, я сверну вам шею и сделаю так, что вас вышвырнут с работы. Поняли?

— Да, я понял, но вы ошибаетесь, если думаете, что я позволю свернуть себе шею, а если вы полагаете, что можно вышвырнуть человека из университета за то, что он отвез приятельницу профессорского сынка домой на такси, то вы ошибаетесь еще больше, если это только возможно.

Ответ Бертрана убедил Диксона в том, что тот пока еще не успел узнать от отца, как относится к нему, Диксону, университетское начальство.

— Не воображайте, что вы сможете встать мне поперек дороги и уйти от расплаты, Диксон. Это пока еще никому не удавалось.

— Не удавалось, так удастся, Уэлч. Поймите же, наконец: Кристина сама решит, будет она встречаться со мной или нет. Если вы считаете, что нужно кого-то запугать, подите запугайте ее!

Внезапно Бертран тонким голосом, почти фальцетом, пролаял:

— С меня хватит, мразь вы этакая! Я больше не потерплю этого, слышите? Подумать только, какой-то паршивый, ничтожный мещанишко сует нос в мои дела! Да я вас... Убирайтесь и не показывайтесь мне на глаза, пока я вас не стукнул. Оставьте мою девушку в покое, вы зря тратите свое, ее и мое время. Какого дьявола вы тут околачиваетесь? Вы достаточно взрослы, достаточно самостоятельны и безобразны, чтобы вести себя умнее?!

Внезапное появление Кристины и Маргарет избавило Диксона от необходимости отвечать. Разговор оборвался; Кристина, бросив на Диксона взгляд, значение которого он не понял, взяла Бертрана под руку и, несмотря на его громкие протесты, увела из комнаты. Маргарет молча протянула Диксону сигарету; он взял. Они сели рядом на диване и некоторое время молчали. Диксон вдруг заметил, что весь дрожит. Он взглянул на Маргарет и почувствовал невыносимую тяжесть на душе.

Теперь он ясно понял то, что старался скрыть от себя с самого утра и от чего его временно отвлекла ссора с Бертраном: так или иначе, но ему не придется завтра пить чай с Кристиной. И если все же ему суждено пить чай в обществе женщины, то, не считая мисс Кэтлер, это будет не Кристина, а Маргарет. Он вспомнил героя одного современного романа, который дал ему почитать Бизли,— у этого героя жалость то и дело подступала к горлу, как тошнота. Сравнение было удачным: Диксон тоже чувствовал себя очень скверно.

— Это все из-за той истории на балу, да? — спросила Маргарет.

— Да, он, как видно, страшно возмущен.

— Ничего удивительного. Что он тут кричал?

— Старался заставить меня не вмешиваться в его дела.

— Имея в виду ее?

— Совершенно верно.

— И вы согласились?

— Что?

— Вы согласились не вмешиваться?

— Да.

— Почему, Джеймс?

— Из-за вас.

Он ожидал проявления каких-нибудь бурных чувств, но Маргарет сказала только:

— По-моему, это глупо с вашей стороны,— и сказала это таким безразличным тоном, в котором не было ничего нарочитого — просто безразличным и все.

— Почему вы так считаете?

— По-моему, вчера мы обо всем договорились. Стоит ли начинать все сначала?

— Ничего не поделаешь. Все равно придется рано или поздно начать все сначала. Так почему же не теперь?

— Не говорите глупостей, вам с ней гораздо веселее, чем со мной.

— Возможно. Но дело в том, что я не должен покидать вас.— Он произнес это без всякой горечи, да он и не ощущал ее.

После недолгого молчания Маргарет ответила:

— Мне не нужно такого самопожертвования. Вы отказываетесь от нее из-за угрызений совести. Так поступают только идиоты.

На этот раз молчание длилось больше минуты. Диксон сознавал, что весь этот разговор, как и вообще их отношения с Маргарет определяются не им и даже не Маргарет, а чем-то, по-видимому, от них не зависящим. Как никогда ясно, он понимал, что его слова и поступки продиктованы не его собственной волей и даже не скукой, а чем-то вроде чувства необходимости. Но откуда оно появилось, если все происходящее совершенно для него нежелательно? Он с беспокойством осознал, что на языке у него вертятся слова, которые он вот-вот произнесет, ибо ничего другого придумать не может. Он встал и направился было к окну, рассчитывая увидеть из него хоть что-нибудь, что заставит его заговорить о другом, но, не успев дойти, обернулся и сказал:

— Дело не в угрызениях совести; просто я знаю, как должен поступать.

— Вы кривите душой, потому что боитесь меня,— отчетливо произнесла Маргарет.

Впервые с тех пор, как она вошла в комнату, Диксон посмотрел на нее со вниманием. Маргарет сидела на диване, подобрав под себя ноги и обхватив колени руками, на лице ее было выражение сосредоточенности. Можно было подумать, что речь идет о какой-нибудь интересной и чисто

научной проблеме, в которой она хорошо разбиралась. Диксон заметил, что она была накрашена меньше обычного.

— После случившегося вчера нисколько,— ответил он, сознавая, что опять говорит словно против своей воли.

— Не знаю, что вы имеете в виду?

— Это неважно. Перестаньте спорить, все уже ясно.

— Для меня — нет, Джеймс. Я вас никак не могу понять.

— Можете.— Диксон подошел и сел рядом с ней.— Пойдемте сегодня в кино. Черт с ним, с этим театром. Кэрол не обидится, я знаю.

— Да я и не собиралась в театр.

— Ну, тем лучше.

Он взял ее руку; Маргарет не шевельнулась. Снова наступила пауза, и вскоре на лестнице, ведущей в переднюю, послышались тяжелые шаги. Маргарет мельком взглянула на Диксона и отвернулась.

— Хорошо,— сказала она чуть охрипшим голосом,— я пойду с вами в кино.

— Вот и отлично.— Диксон обрадовался, что с этим покончено.— Пойду разыщу Недди и забронирую место в машине. Ничего, уместимся и вшестером. А вы пока собирайтесь.

Они вышли в переднюю, где Уэлч в синем саржевом костюме весьма экстравагантного покроя любовался своей картиной.

— Я мигом,— сказала Маргарет и побежала вверх по лестнице, а Диксон подумал, что их разговор, при всей его странности, служит доказательством обоюдной и честной откровенности, которой до сих пор так недоставало их отношениям. Во всяком случае, хоть это не плохо.

Увидев его, Уэлч приоткрыл рот, чтобы произнести какой-нибудь монолог, начав его словами: «Суть детского творчества, разумеется...» — но Диксон опередил его, сказав, что Маргарет тоже хотела бы поехать с ними, если найдется место. На одно короткое мгновение брови Уэлча недоуменно сдвинулись, затем он кивнул и, открыв входную дверь, вышел вместе с Диксоном на ступеньки. Дул легкий ветерок, сквозь тонкую пелену облаков светило солнце, жара заметно спала.

— Сейчас выведу машину,— сказал Уэлч.— Видите, я совсем забыл, что нам надо ехать, иначе не поставил бы машину в гараж. Одну минуту.

Он ушел, сзади на лестнице раздались шаги — кто-то спускался вниз. Диксон обернулся и увидел идущую к нему Кристину. Если не считать коротенького черного болеро, она была одета точно так же, как на музыкально-вокальном вечере. Быть может, у нее нет других платьев на каждый день, а он-то взял у нее тогда фунт, чтобы расплатиться за такси! Кристина улыбнулась и стала рядом с ним на ступеньках.

— Надеюсь, Бертран вас не вывел из себя? — спросила она.

— Бертран?.. Нет, все обошлось.

— Мне потом удалось немножко успокоить его.

Диксон окинул ее взглядом. Она стояла, чуть расставив ноги, и казалась очень крепкой и уверенной в себе. Ветерок перебросил прядку ее светлых волос по другую сторону пробора. Подставив лицо солнцу, она слегка щурила глаза. Казалось, она готовится совершить нечто опасное, важное и простое, что сделает ей честь даже в случае неудачи. Диксона вдруг охватила печаль, в которую вплеталось раздражение. Он поглядел на поля за соседним забором, туда, где ивовые кусты отмечали путь небольшого ручейка. Стая грачей — должно быть, сотни две — летела по направлению к дому, но прямо над кустами свернула в сторону и полетела вдоль ручья.

— Я хотел вам сказать, что завтра...— начал Диксон, полуобернувшись к Кристине.

— Да? — откликнулась она чуть нервно.— Что — завтра?

В это время за углом Уэлч завел машину.

— Не беспокойтесь,— быстро добавила она,— я непременно приду.— И прежде чем он успел ответить, она оглянулась и нахмурилась, предостерегающе подняв палец.

В дверях показался Бертран; он остановился на пороге, переводя взгляд с Диксона на Кристину. На нем был синий берет, произведший на Диксона такое же впечатление, как и соломенная шляпа Уэлча-старшего. Если этот головной убор должен защищать голову, то от чего? А если не должен, то зачем его носить? Зачем?

Словно угадав, о чем он хочет спросить, Кристина, сдвинув брови, взглянула на него, потом на Бертрана.

— Как бы вы ни относились друг к другу,— сказала она,— ради бога, возьмите себя в руки и держитесь прилично перед мистером и миссис Уэлч. Я уже подумала, что вы оба сошли с ума.

— Я только сказал ему, чтобы...— начал Бертран.

— Ну, сейчас ты ему больше ничего не скажешь.— Кристина повернулась к Диксону.— И вы тоже молчите. Если вы затеете ссору в машине, я выпрыгну на ходу.

Несколько мгновений они стояли, не глядя друг на друга, и Диксон с сожалением думал о том, что, если он перестанет видеться с Кристиной, это повлечет за собой перемирие в войне с Бертраном. Тут из-за угла вприпрыжку выкатилась машина Уэлча с ее владельцем за рулем, и все трое пошли ей навстречу. Миссис Уэлч в сопровождении Маргарет вышла из дома, заперла дверь и присоединилась к остальным, не глядя на Диксона. Последовала довольно недостойная борьба за места, в результате которой Диксон очутился на тройном переднем сиденье справа от Маргарет. Миссис Уэлч, Кристина и Бертран уселись сзади. Диксон подумал, что в таком размещении есть некая симметрия. Громко сопя, Уэлч отдернул ногу от педали сцепления, и машина, подпрыгнув, словно кенгуру, что, впрочем, наверное стало для нее привычным, пустилась в путь.

ГЛАВА XIX

Диксон поглядывал на телефон, стоявший в гостиной мисс Кэтлер на бамбуковом столике, покрытом черной плюшевой скатертью, и томился, как алкоголик перед бутылкой джина. Он не успокоится, пока не позвонит, но, с другой стороны, по опыту знал, что это может вызвать тяжелые последствия. Необходимо отменить свидание с Кристиной — оставалось всего шесть часов. Но не надо забывать, что к телефону вероятнее всего подойдет миссис Уэлч. В другое время такая перспектива отпугнула бы Диксона, но сейчас он решил рискнуть — это все же лучше, чем встретиться с Кристиной и сказать ей в лицо, что их маленькому приключению пришел конец. Слишком больно думать о том, что такое свидание к тому же будет последним. Он присел к телефону, назвал номер и через несколько секунд услышал голос миссис Уэлч. Он не растерялся, но прежде чем заговорить скорчил гримасу «темнокожий пират», чтобы дать выход злости. Неужели миссис Уэлч целыми днями сидит у телефона и чего доброго стелет себе постель возле аппарата, чтобы, упаси бог, не пропустить звонка Диксона?

— Соединяю,— тонко пропел он, начиная приводить в исполнение свой план.— Алло, откуда говорят?

Миссис Уэлч назвала свой номер.

— Лондон, говорите,— пропищал Диксон,— соединяю вас.— Затем он сжал зубы, растянул рот в длину сколько мог и произнес рокочущим,

изысканно интеллигентным басом: — Хелло, хелло,— и снова тоненьким гнусавым голосом продолжал: — Говорите, Лондон,— и затем басом: — Хелло, будьте любезны, кажется у вас гостит некая мисс Кэллегэн? — Диксон зашипел, стараясь изобразить помехи на линии.

— А кто это говорит?

Диксон стал раскачиваться взад и вперед, словно от острой тоски, и, говоря, то приближал губы к телефонной трубке, то отстранялся от нее.

— Хелло, хелло, говорит Фортескьяу...

— Простите, я не расслышала...

— Фортескьяу... Фортескьяу...

— Кто говорит? По-моему, это...

— Хелло!.. Это вы, мисс Кэллегэн?

— Это вы, мистер...

— Фортескьяу...— отчаянно рявкнул Диксон, зажимая рот рукой, чтобы не закашляться.

— Это мистер Диксон, да? Вы опять пытаетесь...

— Хелло!..

— Будьте любезны, прекратите эту... эти глупые шутки... эту...

— Три минуты кончились,— проквакал Диксон.— Разъединяю, время кончилось.— Он оставил аппарат на длину вытянутой руки, еще раз, словно полоща горло, произнес: — Хелло,— и умолк. Он был разбит наголову.

— Если вы еще здесь, мистер Диксон,— послышался после паузы голос миссис Уэлч, которому расстояние в несколько миль придало такую скрипучесть, что у Диксона поползли по телу мурашки.— Если вы еще здесь, то имейте в виду, еще одна ваша попытка вмешаться в дела моего сына или мои — и я попрошу мужа принять дисциплинарные меры, а заодно расскажу ему и о другой вашей проделке...

Диксон повесил трубку.

— Простыни,— сказал он и, весь дрожа, полез в карман за сигаретами. В последние дни он отказался от всяких попыток экономить на курении. Придется идти на свидание, в телеграмме всего не скажешь. К тому же миссис Уэлч, наверное, будет начеку и перехватит ее. Не успел он закурить, как в двух футах от него пронзительно заверещал телефон. Диксон испуганно подскочил на стуле и закашлялся, потом взял трубку. Кто бы это мог быть? Вероятно, какой-нибудь гобоист звонит Джонсу, а может быть, кларнетист.

— Алло,— сказал Диксон.

Голос, который, слава богу, был ему совсем не знаком, произнес:

— Простите, здесь живет мистер Диксон?

— Я у телефона.

— Как я рад, что застал вас, мистер Диксон. Ваш номер мне дали в университете. Это говорит Кэчпоул; вы, должно быть, слышали обо мне от Маргарет Пил.

Диксон весь напрягся.

— Да, слышал,— сухо ответил он. Этот голос, тихий, вежливый и даже застенчивый, совсем не вязался с его представлением о Кэчпоуле.

— Я звоню вам в надежде, что вы мне сможете сообщить что-нибудь о Маргарет. Я только недавно приехал и ничего о ней не знаю. Может быть, вам известно, как она себя чувствует?

— А почему вы не позвоните ей? Или, может, вы пытались, но она не захотела разговаривать с вами? Что ж, это вполне понятно. — Диксона снова охватила дрожь.

— Мне кажется, тут какое-то недоразумение...

— У меня есть ее адрес, но я не считаю нужным сообщать его вам.

— Мистер Диксон, я не понимаю, почему вы говорите со мной таким тоном. Ведь я только хочу узнать, как чувствует себя Маргарет. Разве в этом есть что-либо предосудительное?

— Имейте в виду, если вы рассчитываете вернуться к ней, вы только зря потратите время, понятно?

— Простите, я никак не пойму... Вы уверены, что не путаете меня с кем-то другим?

— Ведь вы Кэчпоул, не так ли?

— Да. Будьте добры...

— Ну так я прекрасно знаю, кто вы такой. И знаю о вас все.

— Но выслушайте же меня, пожалуйста, мистер Диксон.— Голос на том конце провода слегка дрогнул.— Я только хотел узнать, все ли благополучно у Маргарет. Неужели вам так трудно ответить?

Просительный тон несколько успокоил Диксона.

— Ладно, я отвечу. Физически она совершенно здорова. Ее моральное состояние настолько хорошо, насколько можно было ожидать.

— Большое спасибо. Я очень рад. Вы не возражаете, если я задам еще один вопрос?

— Какой?

— Почему вы так рассердились на меня, когда я спросил о ней?

— Будто вам непонятно?

— Боюсь, что нет. Мне кажется, тут какое-то недоразумение. По-моему, у вас нет никаких оснований относиться ко мне с такой неприязнью. Я просто не понимаю, в чем дело.

Диксона поразила искренность его тона.

— Зато я понимаю,— ответил он, не сумев скрыть некоторую растерянность.

— Я вижу, здесь какая-то ошибка. Мне хотелось бы как-нибудь встретиться с вами, если не возражаете, и выяснить, что же произошло. По телефону это невозможно. Как вы на это смотрите?

— Что ж, ладно,— поколебавшись, сказал Диксон.— Что вы предлагаете?

Они условились встретиться послезавтра в четверг, перед обедом, в пивной у начала Университетского шоссе. Повесив трубку, Диксон еще несколько минут сидел у телефона и курил. Он был обеспокоен, но в последнее время все, что с ним случалось, причиняло ему только беспокойство, чтобы не сказать больше. Ну что ж, он встретится с Кэчпоулом и разберется что к чему. Маргарет, конечно, об этом ни слова. Со вздохом он вытащил карманный календарик на 1943 год, куда записывал телефонные номера, придвинул к себе телефон и вызвал Лондон.

— Можно попросить доктора Кэтона? — сказал он немного погодя.

Последовала короткая пауза, затем ясно прозвучал мягкий, уверенный голос:

— Кэтон слушает.

Диксон назвал свое имя и университет.

Почему-то голос сразу лишился мягкости и уверенности.

— Что вам угодно? — последовал отрывистый вопрос.

— Я прочел о вашем назначении, доктор Кэтон,— кстати, позвольте поздравить вас,— и хотел бы знать, что будет с моей статьей, которую вы были так добры принять для своего журнала. Не можете ли вы сказать, когда она будет напечатана?

— Ах, мистер Дикерсон, вы же знаете, сейчас все это так сложно.— Голос опять стал уверенным, словно Кэтон отвечал вызубренный наизусть урок.— Вы не представляете, сколько у нас материала лежит на очереди. Вы не должны рассчитывать, что ваша статья, которая мне очень нравится, выйдет в свет через пять минут.

— Я понимаю, доктор Кэтон, и, конечно, не сомневаюсь, что очередь очень велика. Я просто хотел спросить, не можете ли вы назвать хотя бы приблизительный срок.

— Если бы вы знали, сколько у нас трудностей, мистер Дикерсон! Напечатать такой материал, как у нас, типографским способом — это дело, с которым может справиться только самый высококвалифицированный наборщик. Случалось ли вам думать о том, сколько времени требуется, чтобы набрать хотя бы полстраницы подстрочных примечаний?

— Нет, не случалось, но я понимаю, что это должно быть чрезвычайно сложно. Но я, собственно, хотел только узнать, хотя бы приблизительно, когда вы думаете напечатать мою статью.

— Ну, что касается этого, мистер Дикерсон, то все не так просто, как вам, очевидно, кажется. Вы, вероятно, знаете Харди из Тринити-колледжа; его работа лежит в типографии уже несколько недель, и раза два-три в день, а то и больше, мне звонят оттуда по телефону, чтобы уточнить кое-какие вопросы. Разумеется, я очень часто отсылаю их к автору, в особенности если речь идет, например, о каком-нибудь иностранном документе. Я знаю, людям в вашем положении представляется, что работа редактора — сплошное удовольствие; это далеко не так, поверьте мне.

— Я уверен, что это тяжелый труд, доктор Кэтон, и, конечно, у меня и в мыслях не было требовать определенного ответа, но для меня крайне важно узнать, через какое примерно время можно ожидать появления моей статьи.

— Ну, знаете, я не могу обещать, что статья ваша выйдет на будущей неделе,— сказал голос раздраженно, словно Диксон с тупым упрямством настаивал именно на этом сроке.— Особенно при таком сложном положении дел. Поймите же, наконец. Вы, как видно, совсем не представляете себе, сколько труда стоит подобрать номер, особенно первый. Это ведь не расписание поездов составлять. Что? Что? — неожиданно закончил он громко и подозрительно.

Диксон испугался — быть может, он не заметил, как с его губ сорвалось ругательство? В трубке послышались гулкие металлические звуки, словно кто-то бил молотком по оцинкованному железу под высоким куполом собора. Повысив голос, Диксон сказал:

— Я, конечно, понимаю и ничуть не протестую против задержки. Но, откровенно говоря, мне нужно срочно укрепить свое положение на факультете, и если бы я только мог сослаться на вас, если бы вы дали мне...

— Весьма сочувствую вашим неприятностям, мистер Дикинсон, но, боюсь, мои собственные дела настолько сложны, что я не в состоянии всерьез заниматься вашими. Вы же понимаете, множество людей находится в таком же положении, как вы, и что будет со мной, если все они начнут вот так же требовать с меня обещаний?

— Но, доктор Кэтон, я ведь не прошу никаких обещаний. Я хотел бы знать приблизительный срок, и меня вполне устроил бы даже очень неопределенный срок,— скажем, «во второй половине будущего года». Вы ничуть не будете связаны, если назовете мне хоть какой-нибудь срок. — Наступило молчание, которое Диксон истолковал, как признак все нарастающей на том конце провода ярости.— Могу я просить вашего позволения отвечать «во второй половине будущего года», когда меня спросят? — продолжал он.

Диксон ждал секунд десять, но в трубке раздавалось только металлическое пощелкивание, становившееся все громче и чаще.

— Все очень сложно, очень сложно, очень сложно,— забормотал Диксон в трубку и упомянул несколько сложных положений, в которые пожелал попасть Кэтону. Изобретая разные вариации на эту тему, он все бормотал и бормотал, дергая головой и плечами, как марионетка. Узлч

приобрел достойного соперника в умении уклоняться от прямого ответа, а в умении внезапно исчезать этот тип дал Уэлчу много очков вперед с самого начала: скрыться в Южной Америке — это уже предел уклончивости. Поднявшись в свою комнату, Диксон набрал как можно больше воздуха в легкие и с полминуты, а то и больше, стонал не переводя дыхания. Потом вытащил заметки для своей лекции и стал работать над рукописью.

Через пять часов у него получилось то, что вполне могло сойти за сорокапятиминутную лекцию. Теперь уж наверняка ни во всей вселенной, ни в его мозгу, ни в чьем-либо чужом, ни просто где-нибудь на свободе не осталось ни одного факта, который не был бы втиснут в его исторический обзор. Но при этом почти все сорок пять минут он балансировал на острой грани, которая отделяла сведения, более или менее относящиеся к теме, от безнадежно и непоправимо не связанных с ней. Однако до шестидесяти минут, установленных Диксоном для лекции, не хватало пятнадцати; хорошо бы заполнить это время каким-нибудь пространным заключением, но ему уже не хотелось напрягать мозг. Что-нибудь вроде «В заключение поблагодарим бога за двадцатый век» вполне устроило бы его, но не устроило бы Уэлча. Вдруг Диксон схватил карандаш, залился счастливым смехом и написал: «Этот краткий обзор был бы совершенно бесцелен, если рассматривать его просто как...— Диксон зачеркнул «просто» — исторический обзор. Из всего изложенного можно извлечь ценные уроки для нас, живущих в эпоху механизированных развлечений. Любопытно, как бы отнеслись мужчины и женщины, которых я пытался описать, к таким типично современным явлениям, как радио, кино и телевидение. Что бы подумал человек той эпохи, привыкший (который привык?) музицировать сам (тут надо бросить взгляд на Уэлча), о таком обществе, где подобных ему людей считают по меньшей мере странными, где играть на каком-либо инструменте самому (самостоятельно) вместо того, чтобы платить за музыку другим, где спеть мадригал, вместо вульгарной джазовой песенки, означает заслужить обидное прозвище «чудак», где...»

Диксон бросил карандаш, побежал в ванную и с бешеной быстротой стал мыться. Времени осталось в обрез. Быть может, он еще кое-как успеет привести себя в порядок и домчаться до отеля, где назначена встреча с Кристиной, но думать о встрече с Кристиной уже решительно некогда. И все же, несмотря на энергичность движений, под ложечкой у него начало сосать от страха.

Диксон прибежал в отель, опоздав на две минуты. Войдя в зал, где подавали чай, он увидел ожидавшую его Кристину, и то ли от страха, то ли от какого-то иного чувства у него вдруг екнуло сердце. Он рассчитывал на несколько минут передышки — надо же было обдумать, как ей все сказать. Будь это Маргарет, времени у него оказалось бы больше чем достаточно.

— Здравствуйте, Джим,— встретила его улыбкой Кристина.

Его охватило непреодолимое волнение.

— Здравствуйте,— поперхнувшись, ответил он. Поборов искушение пощупать, не съехал ли на сторону галстук, не забились ли внутрь клапаны карманов, не расстегнуты ли где-нибудь пуговицы, он осторожно сел напротив Кристины. Сегодня на ней был жакет цвета сливы из того же материала, что и юбка; и костюм, и белая блузка казались только что отглаженными. Она была так нечеловечески хороша, что Диксон стал лихорадочно придумывать, что бы ей такое сказать, совершенно обратное тому, с чем он шел сюда, и от этих усилий у него даже закружилась голова.

— Как поживаете? — спросила Кристина.

— Ничего, спасибо, я все время работал. Надеюсь, вам удалось уйти без всяких осложнений?

— К сожалению, нет.

— Как неприятно! Что же случилось?

— Мне кажется, Бертран кое-что подозревает. Я сказала, что у меня дела в городе. Я не стала уточнять, потому что, по-моему, это выглядело бы немного...

— Правильно. И как он к этому отнесся?

— Наговорил кучу всяких слов о том, что я сама себе хозяйка и вольна делать, что хочу, и никоим образом не должна чувствовать себя связанной. И от этого мне стало очень не по себе.

— Да, я понимаю.

Кристина наклонилась вперед и положила локти на разделявший их низкий круглый столик.

— Видите ли, Джим, по совести говоря, очень нехорошо, что я вообще согласилась прийти сюда. Но я обещала, значит не могла не прийти. И, конечно, мне этого хотелось не меньше, чем тогда, когда вы меня пригласили. Но я все обдумала и решила... Слушайте, может, мы сначала выпьем чаю, а поговорим потом?

— Нет, лучше скажите сразу, что бы вы там ни надумали.

— Ну хорошо. Вот что, Джим: очевидно, когда вы пригласили меня сюда, я немножко потеряла голову. Мне кажется, имей я время подумать о том, что делаю, я не согласилась бы. Напрасно, конечно, я начинаю прямо с этого, мы ведь едва успели поздороваться, но вы понимаете, о чем я говорю, неправда ли?

Диксону и в голову не пришло, что слова Кристины значительно облегчают его задачу.

— Насколько я понял, вы не хотите встречаться со мной? — глухо спросил он.

— Я, право, не представляю себе, как мы могли бы встречаться. А вы? Напрасно, конечно, я сразу начала этот разговор, но все это не выходит у меня из головы. Ведь вы, так сказать, привязаны к месту, правда? Или, может быть, вы часто ездите в Лондон?

— Нет, я почти там не бываю.

— Значит, мы можем видеться только, если Бертран пригласит меня погостить у его родителей, как сейчас, и я буду всегда чувствовать себя довольно скверно, когда мне придется убегать, чтобы повидаться с вами. И во всяком случае...— Кристина остановилась, и на лице ее появилось выражение, заставившее Диксона обернуться.

Неслышно подошедший по ковру молодой официант стоял за его спиной, переминаясь с ноги на ногу и шумно дыша через рот. Диксон подумал, что никогда еще не видел человеческой фигуры, выражающей такую наглость без всякой помощи слов, жестов или гримас. Этот малый помахивал серебряным подносиком, пытаясь изобразить непринужденную грацию, и смотрел мимо Диксона на Кристину.

— Чай для двоих, пожалуйста,— сказал Диксон. Официант слабо улыбнулся Кристине, словно выражая ей свое снисходительное, но искреннее соболезнование, затем повернулся и пошел, подбивая коленом поднос.

— Простите, что вы хотели сказать? — спросил Диксон Кристину.

— Да просто я... ну... связана с Бертраном, вот и все. Не то чтоб у меня были какие-нибудь обязательства по отношению к нему или что-нибудь в этом роде. Но я не хочу делать глупости. Я не считаю, конечно, что видеться с вами — глупо. Ох, кажется, я не смогу объяснить хоть сколько-нибудь толково.— Мало-помалу и тон ее и манера держаться снова становились «благочопорными».— Боюсь, мне только и остается, что просить вас понять. Я знаю, так всегда говорится в подобных слу-

чаях, и кажется, я и сама себя не вполне понимаю, поэтому не могу требовать, чтобы вы меня поняли, но что же делать?

— Вы однажды сказали, что Бертран вызывает в вас раздражение; вы отказываетесь от этих слов?

— Нет, это правда. Сейчас я просто стараюсь обходить острые углы. А они все такие же острые, как тогда, когда мы говорили об этом в такси. Но я должна побороть себя — нельзя же всегда делать то, что тебе хочется. Люди ведь не могут все время вести себя так, как мне нравится. В таких отношениях, какие у меня с Бертраном, обязательно бывают скачки то вверх, то вниз. И нечего рвать и метать, надо принимать все, как есть, хочется мне этого или нет. Плохо то, что все это задевает и вас.

— Обо мне не беспокойтесь,— сказал Диксон.— Поступайте, как для вас будет лучше.

— Как бы я ни поступила, все равно будет плохо,— ответила Кристина.— Очевидно, я делаю много глупостей.— Сейчас она говорила уже совсем как гувернантка, но Диксон даже не заметил этого.— Главное, я не хочу, чтобы вы считали меня легкомысленной потому, что я целовалась с вами и согласилась прийти сегодня, ну и прочее. Я отвечаю за все свои слова, иначе я просто не сказала бы вам ничего. И не думайте, что я так вела себя просто из озорства или что теперь вы мне перестали нравиться. Это неправда, и вы не должны так думать.

— Ничего, Кристина. О том случае вы забудьте. О, вот и чай.

Официант снова возник рядом с Диксоном, держа в руках нагруженный поднос. Он опустил, вернее почти уронил поднос, но, подхватив его на расстоянии дюйма от поверхности стола, поставил с отвратительно преувеличенной осторожностью. Выпрямившись, он послал еще одну улыбку, на этот раз Диксону, затем помедлил, как бы подчеркивая свое нежелание расставлять чайные принадлежности, и удалился, притворно хромая на одну ногу.

Кристина принялась расставлять посуду и наливать чай.

— Простите меня, Джим,— сказала она, передавая Диксону чашку.— Мне очень жаль, что все так сложилось. Хотите сандвич?

— Нет, спасибо, мне не хочется есть.

Кристина кивнула и с явным аппетитом принялась за еду. Диксона заинтересовало это традиционное отсутствие не менее традиционной чувствительности,— пожалуй, первый раз в жизни он наблюдал то, что принято считать типично женским поведением.

— В конце концов,— сказала Кристина,— у вас же есть обязательства по отношению к Маргарет, не так ли?

Он прерывисто вздохнул; хотя самое трудное в этом разговоре теоретически осталось позади, он все же нервничал,— пока его еще не охватило оцепенение, которого, впрочем, не избежать.

— Да,— ответил он.— Это я и хотел вам сказать сегодня, только вы меня опередили. Я пришел сюда сказать, что, по-моему, мы не должны больше видеться из-за моих отношений с Маргарет.

— Понимаю.— Она принялась за второй сандвич.

— Дело в том, что за последние дни в наших отношениях наступил кризис. Особенно после бала.

Кристина бросила на него быстрый взгляд.

— У вас тогда была ссора?

— Да, пожалуй, можно назвать и так. А в сущности, гораздо больше, чем ссора.

— Ну вот, видите, сколько вышло неприятностей из-за того, что я потихоньку уехала с вами.

— Не говорите глупостей, Кристина,— с досадой сказал Диксон.— Можно подумать, будто все затеяли вы. Если кто-либо должен от-

вечать за эти неприятности, как вы изволили выразиться, то только я. Правда, я не считаю себя виноватым — так же, как и вас. Все произошло совсем естественно. И не упрекайте себя, мне это кажется наигранным.

— Простите, я, должно быть, не сумела найти подходящих слов. Но уверяю вас, ничего неискреннего я не сказала.

— Да я в этом и не сомневаюсь. Не думайте, что я на вас злюсь. Просто меня очень мучает история с Маргарет.

— Вы сильно поссорились? Что она вам сказала?

— Она наговорила бог знает чего. Кажется, было сказано все, что можно было сказать.

— Ну, это звучит грозно. Что же, собственно, произошло?

Диксон снова вздохнул и отхлебнул чаю.

— Все это так... сложно. Боюсь, вам будет скучно слушать.

— Нисколько. Расскажите, если у вас есть желание. В конце концов, теперь ваша очередь.

Улыбка, сопровождавшая эти слова, совсем сбила Диксона с толку. Неужели Кристине все это кажется смешным?

— Верно,— угрюмо произнес он.— Видите ли, тут очень многое связано с одной прошлой... историей. Маргарет порядочная девушка и нравится мне — по крайней мере, нравилась бы, если бы захотела. Но я оказался связанным с нею совершенно случайно, хотя это может показаться нелепым. Когда я познакомился с нею — это было в октябре прошлого года,— у нее был роман с одним типом по имени Кэчпоул... — Диксон вкратце, но почти ничего не смягчая, рассказал историю своих отношений с Маргарет, кончая вчерашним вечером в кино. Он предложил сигарету Кристине, съевшей все, что принес официант, закурил сам и сказал: — И вот теперь все более или менее началось сначала, хотя я не испытываю особого желания объяснить, что значит «все сначала». Впрочем, это и в самом деле неясно. Кстати, она, по-моему, не знает, насколько вы меня интересуете, и вряд ли поблагодарит меня, если я ей скажу всю правду.

Кристина, избегая встречаться с ним взглядом, неумело попыхивала сигаретой.

— Как она вела себя, когда вы вчера расставались? — равнодушным тоном спросила она.

— Так же, как и весь вечер, спокойно и с виду вполне разумно. О, я знаю, это звучит как-то обидно для нее; я не хотел сказать, что... я хотел... ну, просто она ничуть не казалась взвинченной, в ней не чувствовалось такого нервного напряжения, как всегда.

— По-вашему, теперь, когда она думает, что все уладилось, она и дальше будет такой?

— Должен признаться, что я начинаю надеяться...— Эта высказанная вслух надежда внезапно показалась ему смехотворно наивной.— Впрочем, не знаю. Вообще это не так уж важно.

— У меня такое впечатление, будто эта история доставляет вам мало радости.

— В самом деле? Да, это, конечно, нелегко.

— И вряд ли вам будет легче, не так ли? — Диксон, уязвленный этим вопросом, промолчал, и Кристина продолжала, стряхивая пепел на блюдце: — Наверное, вам неприятно это слышать, но ведь вы сами должны понимать, что ни вы, ни она не будете счастливы вместе.

Диксон старался подавить раздражение.

— Да, пожалуй, но тут уж ничего не поделаешь. Разойтись мы тоже не можем, вот и все.

— Ну и что же вы намерены предпринять? Обручитесь с ней, или как?

С таким же любопытством несколько недель назад она расспрашивала его, много ли он пьет.

— Не знаю,— сухо ответил Диксон, стараясь не думать о перспективе помолвки с Маргарет,— возможно, если все пойдет и дальше так.

Кристина, казалось, не замечала враждебных ноток в его голосе. Повернувшись на стуле, она оглядела зал и сказала наставительным тоном:

— Похоже, что мы с вами уже пристроены. В конце концов, это совсем неплохо.

Безапелляционность этого неуместного замечания окончательно взбесила Диксона, и он запальчиво сказал:

— Да, если разобраться, то мы с вами стоим друг друга. Вы намерены продолжать ваш маленький роман с Бертраном, ибо, по-вашему, несмотря на неизбежный риск, это в общем гораздо надежнее, чем связывать свою судьбу со мной. Вы знаете, каких подвохов можно ждать от него, но вам не известно, на какие подвохи способен я. А я остаюсь с Маргарет потому, что у меня не хватает духа предоставить ей самой заботиться о себе, и я не делаю того, чего хочу, потому что боюсь... Скучная, мелочная осторожность — вот в чем грешны мы оба; это даже нельзя назвать верностью Первому номеру.— Он поглядел на Кристину с легким презрением и был неприятно поражен, увидев в ее глазах то же самое.— Вот так-то, и — что хуже всего — при этом я буду вести себя по-прежнему. Видите, как мало толку оттого, что знаешь цену своему поведению.

Почему-то при последних словах он подумал, что мог бы в одну минуту уничтожить привязанность Кристины к Бертрану; стоит только рассказать ей то, что он услышал от Кэрол. Но Кристина, наверное, и без него все знает, быть может она настолько увлечена Бертраном, что не порвет с ним даже из-за этого и скорее согласится делить его с другой, чем отказаться от него. Но как бы то ни было, что она подумает о нем, Диксоне, если он сейчас заговорит на эту тему? Нет, надо выкинуть это из головы. Очевидно, ему так никогда и не представится удобного случая разоблачить Бертрана перед кем бы то ни было, и это огромная несправедливость, если принять во внимание, как честно он держал язык за зубами и как долго ждал подходящего момента.

Кристина сидела, склонив голову — как пушисты ее волосы! — над блюдцем, в котором тушила сигарету.

— Мне кажется, вы делаете из мухи слона. Между нами не произошло ничего такого, о чем стоило бы говорить,— сказала она, не поднимая лица.

— Согласен, но это не довод...

Кристина взглянула ему в глаза, покраснела, и он сразу умолк.

— По-моему, вы говорите просто глупости,— сказала она с чуть заметными интонациями кокни, которые Диксон и прежде иногда у нее улавливал.— Вы, как видно, считаете, что можете что-то этим доказать. Конечно, вы правы насчет нас с вами; но вы говорите так, будто мы только так и поступаем. А не думаете ли вы, что люди по доброй воле совершают некоторые поступки: потому что они хотят сделать так, чтобы было лучше? Не понимаю, зачем называть стремление выбрать наилучший путь осторожностью и даже трусостью? Поступать так, как требует долг, иногда ужасно тяжело, но это вовсе не значит, что это неправильно. Судя по некоторым вашим словам, вы, кажется, думаете, что я живу с Бертраном. Плохо же вы знаете женщин! И раз вы так думаете, не удивительно, что вам нелегко! Вы из той породы людей, которые никогда не бывают счастливы, как бы они ни поступали. Пожалуй, я пойду, Джим, нет никакого смысла...

— Нет, не уходите,— вдруг взмолился Диксон. События развертывались слишком быстро для него.— Не сердитесь, посидите еще минутку.

— Я не сержусь. Просто мне все это уже надоело.

— Мне тоже.

— Четыре шиллинга,— заявил официант, вырастая рядом с Диксоном. В первый раз они услышали его голос, наводивший на мысль, что у этого малого во рту недожеванная конфета.

Порывшись в карманах, Диксон вытащил две полукроны. Он обрадовался, что их прервали,— по крайней мере, он мог восстановить душевное равновесие.

— Так как же, будем мы видеться или нет? — спросил он, когда официант удалился.

— Один раз, во всяком случае, увидимся. Я буду на вашей лекции, а до того — на приеме у декана.

— Господи, Кристина, не ходите! Вы умрете от скуки! И как это вы попались?

— Декан пригласил дядю Джулиуса, а тот по своей деликатности обещал прийти и теперь непременно хочет, чтобы я пошла с ним.

— Странно.

— По его словам, он очень ждет встречи с вами.

— Почему вдруг? Ведь мы с ним не сказали и двух слов.

— Не знаю, но он мне так заявил. И не спрашивайте меня, в чем тут дело.

— Значит, я увижу вас только издали. Что ж, это даже хорошо.

— Нет, это совсем не хорошо,— сказала Кристина вдруг изменившимся голосом.— Что же тут хорошего? Удивительно весело стоять как примерная девочка и беседовать с Бертраном, дядей Джулиусом и остальными! О да, я буду веселиться вовсю, большое вам спасибо. Это невыносимо!

Она встала, и Диксон, не зная что сказать, тоже поднялся.

— Нет, с меня довольно. На этот раз я действительно ухожу. Спасибо за чай.

— Дайте мне ваш адрес, Кристина.

Ее карие глаза под темными бровями вдруг расширились; она взглянула на него с презрением.

— Это совершенно ни к чему. Зачем он вам?

— Я буду думать, что мы видимся не в последний раз.

— А для чего вам так думать? — Кристина быстро проскользнула мимо него и, не оглянувшись, вышла из зала.

Диксон сел за столик и снова закурил, прихлебывая остывший чай.

Он никогда не представлял себе, что человек, так удачно совершивший задуманное, может испытывать чувство жестокого поражения и собственной никчемности. У него мелькнула мысль, что, будь у Кристины внешность Маргарет, а у Маргарет — внешность Кристины, ему было бы сейчас куда легче. Но это совершенная бессмыслица: Маргарет с фигурой и лицом Кристины была бы уже не Маргарет. Логически рассуждая, можно сказать только одно — Кристине повезло в смысле наружности. Во всем нужно везение; если б ему повезло чуточку больше, он смог бы перевести свою жизнь на пробежавшие рядом рельсы — рельсы, которые промелькнули на развилке, но тотчас свернули в сторону. Диксон внезапно вздрогнул и вскочил — в его распоряжении оставались считанные минуты. Стараясь не думать о том, что в кабинете Уэлча он увидит и Маргарет, Диксон вышел, но тут же вернулся и подошел к официанту, который стоял, прислонясь к стене.

— Будьте добры, могу я получить сдачу?

— Сдачу?

— Да, сдачу. Могу я ее получить?

— Вы мне дали пять шиллингов.

— Да, а счет был на четыре шиллинга. Я хочу получить шиллинг.

— Разве вы не дали мне его на чай?

— Может, и дал бы, но сейчас уж не дам. Отдайте шиллинг.

— Весь шиллинг?

— Да. Весь шиллинг целиком. Отдайте. Быстро.

Официант и не подумал вытащить деньги.

— Большинство клиентов дают мне на чай,— сказал он своим полузадушенным голосом.

— Большинство клиентов давно бы уже дали вам по шее. Если вы через пять секунд не отдадите мне шиллинг, я позову управляющего.

Через четыре секунды Диксон выходил из отеля на солнечную улицу с шиллингом в кармане.

ГЛАВА XX

«Каковы же, наконец, практические выводы из вышесказанного? Можно ли как-нибудь остановить или хотя бы задержать описанный мною процесс? Да, утверждаю я, каждый из присутствующих может способствовать этому. Каждый из нас может ежедневно вносить свою лепту, отказываясь от стандартных изделий, протестуя против безобразной мебели и посуды, подымая свой голос против уродливой архитектуры, против установки в общественных местах громкоговорителей, передающих эстрадные программы; каждый может сказать свое слово против желтой прессы, против бестселлеров, против театральной пошлятины и выступить в защиту самобытной культуры, существовавшей в объединенных деревенских общинах. И как бы ни был слаб голос каждого из нас в отдельности, все же мы встанем на защиту наших национальных традиций, нашего общего наследия — короче говоря, того, что мы когда-то имели и, быть может, когда-нибудь обретем вновь — в пользу доброй старой Англии!»

С долгим глухим урчанием Диксон вскочил из-за стола, за которым только что написал эти строчки, и запрыгал по комнате, изображая обезьяну. Одну руку он согнул в локте так, чтобы можно было чесать под мышкой, другую тоже согнул и поднял над головой, упираясь макушкой во внутренний сгиб локтя, согнул колени, сгорбился и, раскачиваясь всем туловищем, вскочил на кровать и принялся прыгать на ней, не переставая бормотать. В дверь постучали, и в комнату сразу же вошел Бертран; Диксон еле успел замолчать и выпрямиться.

Бертран, на котором опять был синий берет, уставился на Диксона.

— Зачем вы туда забрались?

— Да так, мне здесь нравится. А вы что-нибудь имеете против?

— Слезайте и перестаньте валять дурака. Мне нужно кое-что сказать вам; извольте выслушать.— Казалось, в нем кипит еле сдерживаемая ярость; он тяжело дышал, хотя, быть может, это объяснялось тем, что он взбежал по лестнице на второй этаж.

Диксон легко спрыгнул на пол; он тоже немного запыхался.

— Что вы желаете мне сказать?

— А вот что. Когда мы виделись в последний раз, я велел вам держаться от Кристины подальше. Но, как мне стало известно, вы опять взялись за прежнее. Прежде всего, что вы можете сказать в свое оправдание?

— Что значит «опять за прежнее»?

— Не виляйте, Диксон, со мной это не пройдет. Я знаю о чашечке чая, которую вы тайком распили с ней вчера. Вы у меня как на ладони.

— Значит, она вам все рассказала?

Бертран сжал губы над бородой, которую, судя по виду, не мешало бы вычесать.

— Разумеется, нет! — злобно прошипел он.— Плохо же вы ее знаете — она на это не способна. Она не из таких, как вы. Если хотите, могу сказать правду—и надеюсь, это вам доставит удовольствие: об этом рассказал моей матери один из ваших так называемых друзей, живущий в этом доме. Можете радоваться. Вас все терпеть не могут, Диксон, и я отлично понимаю почему. Но так или иначе, а я хочу, чтобы вы объяснили ваше поведение.

— Ах боже,— улыбнулся Диксон,— это довольно трудная задача. Объяснить свое поведение — не так-то это легко. Я просто не знаю человека, который мог бы справиться с такой задачей.— Он пристально разглядывал Бертрана, решив пока не думать об очередной пакости Джонса: кто же, кроме него, мог донести? Он еще успеет поразмыслить над этим и принять надлежащие меры.

— Довольно! — крикнул Бертран, багровея.— Я вам прямо и ясно сказал: оставьте Кристину в покое. И когда я так говорю, я требую, чтобы с моими словами считались. Почему вы не сделали, как было велено? А?

Ярость Бертрана и его появление здесь были восхитительно бессмысленными, ибо Диксон уже отказался от Кристины по другим причинам, а следовательно, прекратил войну с Бертраном. Но надо быть сущим дураком, чтобы не скрыть это хоть на время и отказать себе в удовольствии пострелять из-за прикрытия.

— Не захотел,— ответил он.

Наступила пауза, во время которой Бертран, казалось, дважды готов был разразиться долгим заливистым лаем. Его странные глаза стали похожи на полированное стекло. Наконец, он сказал уже гораздо тише, чем прежде:

— Слушайте, Диксон, вы, как видно, не совсем понимаете, куда лезете.— Он сел на ручку колченогого кресла и снял берет, который совсем не шел к его темному костюму, белой рубашке и галстуку с узором из гроздьев винограда.

Диксон сел на кровать, протяжно застонавшую под его тяжестью.

— То, что происходит между мной и Кристиной,— начал Бертран, перебирая бороду,— безусловно, очень серьезно. Мы знаем друг друга довольно давно. Между нами не какие-нибудь шуры-муры, мы смотрим на наши отношения серьезно. Ранняя женитьба не входит в мои планы, но года через два я, наверное, на ней женюсь. В общем, я хочу сказать, что все это всерьез и надолго. Кристина еще очень молода, в сущности, даже моложе своих лет. Она не привыкла общаться с типами, которые похищают ее с танцев, тайком от всех приглашают в отели пить чай и так далее. При ее неопытности это, само собой, ей льстит. Это ей приятно, но не надолго, Диксон, не надолго. Очень скоро она почувствует себя виноватой и раскается, что согласилась встречаться с вами. И тут-то начнутся мучения. С ее характером, она будет страдать оттого, что придется как-то избавиться от вас, и оттого, что все это делалось за моей спиной,— она ведь еще не знает, что мне все известно,— и оттого, что впуталась в эту историю. Так вот, я не желаю допускать ничего такого по очень простой причине — меня это не устраивает. Я потратил много времени, чтобы перевоспитать Кристину, и не желаю начинать все сначала. А вам я хочу сказать только одно — держитесь подальше, вот и все. Своим поведением вы ничего хорошего не добьетесь. Себе вы причините неприятности, Кристине — страдания, а мне — неудобства. Она пробудет здесь еще несколько дней, и было бы глупо испортить ей это время. Теперь вам ясно?

Диксон стал закуривать, стараясь скрыть, как поразили его слова Бертрана, объяснявшие поведение Кристины; он не ожидал от Бертрана такой проницательности!

— Да, все понятно, кроме одного,— сказал он, надеясь, что тон его покажется достаточно небрежным.— Кроме того, что вы якобы «перевоспитали» Кристину,— это, конечно, жалкий самообман. Впрочем, пусть так. Очевидно, для вас тут есть какой-то глубокий смысл, для меня — никакого. Вы, как видно, не понимаете, что все это верно лишь в том случае, если ваши исходные положения правильны.

— Я же говорю вам, что они правильны,— повысил голос Бертран.— Именно это я вам и говорю.

— Да, я заметил. Но не рассчитывайте, что я соглашусь с вами. Теперь я, в свою очередь, должен вам кое-что сообщить. Вы сказали «всерьез и надолго» — это верно, только вы тут ни при чем. Да, да — это относится ко мне и Кристине, а не к Кристине и к вам. Не я отбиваю у вас Кристину, а вы отбиваете ее у меня — впрочем, только на какой-то момент, не больше. Долго это не продлится. Ну что же, теперь вам ясно?

Бертран встал и, слегка раздвинув ноги, уставился на Диксона.

— Напрягите ваши так называемые мозги и постарайтесь понять,— заговорил он, не повышая голоса, но сквозь зубы.— Когда я чего-нибудь хочу, я иду прямо к цели. И не позволяю типам вроде вас становиться мне поперек пути. Вы этого, как видно, не учли. Кристина принадлежит мне, потому что это мое право. Понятно? Если я чего-либо добиваюсь, мне все равно, какими средствами я получу свое. Это единственный закон, которому я подчиняюсь, и единственный способ достичь своей цели в этом мире. Беда в том, Диксон, что вы не подходите мне по весу. Если хотите драться, найдите себе другого противника, помельче, чем я, тогда у вас, может, и будут кое-какие шансы. А со мной вам рассчитывать не на что.

Диксон придвинулся на шаг ближе.

— Ни черта не выйдет, Уэлч. Вы начинаете стареть для таких штук,— быстро сказал он.— Не вечно же будут люди уступать вам дорогу. Вы вообразили себя полубогом потому, что вы большого роста и умеете марать красками полотно. Конечно, полубогом быть неплохо. Но вы никакой не полубог, вы лгун, сноб, хвастун и дурак. Вы думаете, что наделены какой-то сверхчувствительностью — ничего подобного; вы чувствительны лишь к тому, что вас гладят против шерсти. Вы обидчивы и тщеславны, но нисколько не сверхчувствительны.— Он остановился, но Бертран по-прежнему сверлил его взглядом и не пытался перебить.— Вы вбили себе в голову, что способны внушить большую любовь, но это тоже неправда,— продолжал Диксон.— Хоть я, по-вашему, просто червяк, вы так боитесь меня, что нашли нужным явиться сюда и, как ревнивый муж, сказать, чтобы я держался подальше. И вы настолько нечестны, что позволяете себе распространяться о том, как дорога вам Кристина, причем вам и в голову не приходит вспомнить, что у вас связь с чужой женой. Но дело даже не в этом, а в том, что вы не сознаете, как неискренне...

— Что вы мелете? — Бертран, сжав кулаки, дышал со свистом.

— Ваша интрижка с Кэрол Голдсмит, вот что я имею в виду.

— Я даже не понимаю, о чем вы...

— Не пытайтесь отрицать, голубчик. Зачем вам утруждать себя, в самом деле? Разумеется, это одна из тех вещей, которые вы позволяете себе, так как это ваше право, неправда ли?

— Если вы вздумаете преподнести это вранье Кристине, я размозжу вам череп!..

— Не беспокойтесь. Я не из таких,— усмехнулся Диксон.— Я на вас не похож. Я могу увести Кристину и без этого, вы, байронический щенок!

— Ну, вы дождались своего! — бешено пролаял Бертран.— Я вас предупреждал! — Он подошел и стал перед Диксоном, глядя на него с высоты своего роста.— Иди-ка сюда, паршивый пьянчужка, ничтожество, дрянь!

— А что мы будем делать — танцевать?

— Я тебе покажу танцы, я тебя заставлю поплясать, не беспокойся! Становись сюда, если не трусишь! Не воображай, что это тебе сойдет с рук, тупица!

— Сам ты тупица, дурак! — взревел Диксон, это показалось ему обиднее всего. Он снял очки и сунул их в верхний карман пиджака.

Они стояли друг против друга на цветастом коврике, неуверенно расставив ноги и согнув локти, словно собирались исполнить какую-то ритуальную пляску и не знали, как ее начать.

— Я тебе покажу! — повторил Бертран и замахнулся. Диксон отступил в сторону, но поскользнулся, и кулак Бертрана с силой опустился на его правую скулу. Диксон слегка пошатнулся, но удержался на ногах и не потерял присутствия духа; пока Бертран старался восстановить равновесие после нанесенного с размаха удара, Диксон изо всей силы ударил его по тому уху, которое было больше и извилистее другого. Бертран упал со страшным грохотом, столкнув при этом с камина фарфоровую статуэтку. Она со звоном разбилась о кирпичный пол у камина, и сразу же наступила мертвая тишина. Диксон шагнул вперед, потирая косточки пальцев, занывшие после соприкосновения с ухом Бертрана. Через несколько секунд Бертран зашевелился, но не сделал попытки встать. Было ясно, что Диксон выиграл этот раунд, да и вообще, кажется, весь матч с Бертраном. В радостном возбуждении он надел очки; Бертран глядел на него растерянно, словно постепенно припоминая, кто он такой. «Старое паршивое, засиженное птицами пугало, выброшенное на свалку»,— подумал Диксон.

— Эх ты, старое паршивое, засиженное птицами пугало, выброшенное на свалку,— сказал он.

И, словно сдержанные аплодисменты, послышался тихий стук в дверь.

— Войдите,— не задумываясь, сказал Диксон.

Вошел Мичи.

— Добрый день, мистер Диксон,— сказал он и вежливо добавил:— Добрый день,— в сторону распростертого на полу Бертрана, которого это приветствие заставило встать на ноги.— Кажется, я пришел не вовремя?

— Нет, нет, пожалуйста,— невозмутимо ответил Диксон.— Мистер Уэлч уже уходит.

Бертран помотал головой — не в знак отрицания, а, видимо, чтобы прийти в себя. Диксон с любопытством поглядел на Бертрана и как любезный хозяин проводил его до дверей. Тот молча вышел.

— До свидания,— сказал Диксон ему вслед и обернулся к Мичи.— Чем могу служить, мистер Мичи?

Выражение лица Мичи, как всегда непроницаемое, показалось, однако, Диксону несколько необычным.

— Я пришел поговорить насчет вашего курса,— сказал он.

— Ах да. Садитесь, пожалуйста.

— Нет, спасибо, я только на секунду. Я зашел сообщить вам, что мы всесторонне обсудили этот вопрос с мисс О'Шонесси, мисс Мак-Корквodейл и мисс Рис Вильямс и приняли окончательное решение.

— Отлично. К какому же заключению вы пришли?

— Видите ли, как ни жаль, все три девицы решили, что такая тема им не под силу. Мисс Мак-Корквodейл решила заняться «Документами»

мистера Голдсмита, а мисс О'Шонесси и мисс Рис Вильямс намерены работать над предметом профессора.

Диксон огорчился — ему хотелось бы, чтобы эти три хорошенькие девушки преодолели свое нежелание и выбрали бы его тему, потому что он такой славный и такой привлекательный.

— Что ж, очень жаль,— сказал он.— Ну, а вы, мистер Мичи?

— Я решил, что ваш предмет очень интересен, поэтому, если можно, я хотел бы записаться официально.

— Так, так. Значит, у меня будете вы один.

— Да. Только я один.

Наступило молчание. Диксон поскреб подбородок.

— Ну что же, я уверен, что мы с вами скучать не будем.

— Я тоже так думаю. Ну, очень вам благодарен; простите, что я так ворвался к вам.

— Наоборот, я очень рад, что вы пришли. Значит, до следующего семестра, мистер Мичи.

— Я, разумеется, буду на вашей лекции сегодня.

— Бог мой, да зачем вам это?

— Меня, естественно, интересует эта тема. И мне кажется, она привлечет много слушателей.

— Да? Почему вы так думаете?

— Все, при ком мне случалось упоминать о лекции, говорили, что придут. Я думаю, что вы соберете большую аудиторию.

— Приятно слышать. Надеюсь, лекция вам понравится.

— О, наверное. Еще раз благодарю. Желаю удачи сегодня.

— Да, удача не помешала бы. Ну, пока!

После ухода Мичи Диксон с некоторым самодовольством отметил про себя, что тот ни разу не назвал его «сэр». Но как противно будет преподавать в следующем семестре! С другой стороны, он все больше и больше убеждался, что в следующем семестре он преподавать вообще не будет. Во всяком случае, в университете.

Он снова пощупал пальцами подбородок. Пожалуй, прежде всего надо побриться, потом сбегать и посмотреть, дома ли Аткинсон. Его общество и, быть может, немного виски — вот что ему необходимо перед сегодняшней лекцией.

ГЛАВА XXI

— Надеюсь, он не очень болит, Диксон,— сказал декан.

Рука Диксона невольно потянулась к синяку под глазом.

— О нет, сэр,— веселым тоном ответил он.— Меня удивляет, что он вообще появился. Я ведь стукнулся чуть-чуть — даже не рассек кожу.

— О край умывальника, вы говорите? — спросил другой голос.

— Вот именно, мистер Гор-Эркварт. Нелепость, которая может случиться со всяким. Я уронил бритву, нагнулся за ней и — трах!— завертелся волчком.

Гор-Эркварт медленно кивнул.

— Не повезло, значит.— Из-под густых бровей он оглядел Диксона сверху донизу и несколько раз вытянул губы трубочкой.— А все же если бы меня спросили,— продолжал он,— я бы сказал, что он попал в драку, как вам кажется?

Декан, маленький пузатый человечек с блестящей розовой лысиной, засмеялся своим обычным смехом, сильно напоминавшим чудовищный хохот убийцы, который можно услышать в каждом фильме о кровавых преступлениях в замке. В первые недели пребывания декана в университете, вскоре после войны, при этом смехе сразу стихали все разговоры в про-

фессорской гостиной. Однако теперь никто даже не повернул головы, и только Гор-Эркварту, судя по его виду, стало как-то не по себе.

Заговорил четвертый участник квартета:

— Я надеюсь, что это не помешает вам читать сегодня по вашей... по вашей...

— О нет, профессор,— сказал Диксон,— ручаюсь, что могу читать по рукописи с завязанными глазами — я знаю ее почти наизусть.

— Это хорошо,— кивнул Уэлч.— Помню, когда я только начинал преподавать, я был настолько глуп, что, написав лекцию, ни разу не удосуживался...

— Вы сообщите нам что-нибудь новенькое, Диксон? — осведомился декан.

— Новенькое, сэр? Видите ли, в такого рода лекциях...

— Я хочу сказать, что эта тема уже достаточно разработана, не так ли? Не знаю, возможно ли найти новый угол зрения в наше время, но лично я полагал бы...

— Дело, сэр, не в...— перебил его Уэлч.

Начался замечательный дуэт — декан и Уэлч говорили одновременно и без пауз; один брал высотой голоса, другой громкостью, и казалось, будто соревнуются два честолюбивых чтеца-декламатора. Диксон посмотрел на Гор-Эрквартa и обнаружил, что тот внимательно разглядывает его; все голоса вокруг стали постепенно затихать, кроме голосов двух конкурентов. Наконец, декан взял верх, и, словно оркестр, сыгравший вступление к арии солиста, Уэлч внезапно умолк.

— ...Стоит ли заново утверждать это в каждом поколении или нет,— заключил ректор.

В эту минуту появился швейцар Маконочи с подносом, уставленным бокалами с хересом. Диксон сделал усилие воли, чтобы удержать руку, пока трое старших не возьмут бокалы, потом позволил ей схватить самый полный из оставшихся на подносе бокалов и поднести его к губам. Архивариус, который на таких приемах заведовал напитками, был знаменит тем, что, позволив швейцару обойти гостей дважды, совсем прекращал отпускать херес, делая исключение лишь для декана и тех, кто с ним беседовал. Диксон, зная, что недолго придется стоять рядом с деканом, решил как следует воспользоваться этим преимуществом. Вскоре у него появилось почти неуловимое ощущение дурноты, но тем не менее он залпом отпил половину очередного бокала; херес теплой струей скользнул по горлу и присоединился к трем предыдущим бокалам и полудюжине рюмок виски, распитых с Биллом Аткинсоном. Диксон почти — не совсем, но почти — перестал бояться предстоящей лекции, которая должна была начаться через двадцать минут, в шесть тридцать.

Он оглядел гостиную, вместившую, казалось, всех, кого он знал на земле,— не хватало только его родителей. В нескольких шагах миссис Уэлч беседовала с Джонсом. Конечно же, присутствием на таком приеме Джонса, который обычно не имел доступа в высокие сферы, Диксон был всецело обязан ей. Дальше стояли Бертран и Кристина, почти не разговаривавшие друг с другом. У окна профессор музыки Баркли что-то увлеченно доказывал профессору английского языка, без сомнения убеждая его, что на заседании университетского совета, которое состоится в конце будущей недели, необходимо голосовать за увольнение Диксона В другой стороне Бизли рассказывал что-то Голдсмитам, а те хохотали. Повсюду попадались лица, которые Диксон с трудом узнавал: экономисты, медики, географы, представители общественных и технических наук, юристы, математики, философы, специалисты по германской и сравнительной филологии, лекторы, преподаватели и преподавательницы. Ему захотелось обойти всех и попросить каждого удалиться как можно скорее. Было не-

сколько человек, которых он видел впервые в жизни и которые могли оказаться кем угодно, от заслуженных профессоров египтологии до обойщиков, ждущих, когда можно будет измерить пол для новых ковров. Одна большая группа состояла из местных знаменитостей: двух олдерменов с женами, модного священника и врача, недавно получившего звание. Все они были членами университетского совета. Диксон вздрогнул, увидев в этой группе местного композитора, которого он встретил на музыкально-вокальном вечере в доме Уэлчей. Он растерянно поискал взглядом скрипача-любителя, но не нашел его.

Через минуту декан отошел к местным знаменитостям и обратился к модному священнику с каким-то замечанием, вызвавшим громкий смех у всех присутствующих, кроме дипломированного врача, холодно переводившего взгляд с одного лица на другое. Почти одновременно миссис Уэлч знаком подозвала Уэлча, и Диксон остался лицом к лицу с Гор-Эрквартом, который вдруг спросил:

— Давно ли вы в этом заведении, Диксон?

— Вот уже девять месяцев. Меня взяли прошлой осенью.

— Мне почему-то кажется, что вам здесь не очень-то хорошо; я не ошибаюсь?

— Да, пожалуй, в общем не ошибаетесь.

— Кто же виноват, вы или они?

— Я бы сказал, и они и я. Они зря отнимают время у меня, а я — у них.

— М-м, понятно. Преподавание истории — это бесполезная трата времени, так?

Диксон решил, что в разговоре с этим человеком можно не соблюдать осторожности.

— Нет. Если преподавать хорошо, преподавать разумно, то история может принести людям огромную пользу. Но на практике выходит иначе. Все время что-то мешает. Не знаю, кто тут виноват. Наверное, в первую очередь плохие преподаватели. Во всяком случае, дело не в студентах.

Гор-Эрквart бросил на него быстрый взгляд и кивнул.

— Ну, а ваша сегодняшняя лекция? Чья это была идея?

— Профессора Уэлча. Я, конечно, не мог отказаться. Если она пройдет благополучно, мое положение значительно улучшится.

— Вы честолюбивы?

— Нет. Я неважно проявил себя за то время, что работаю здесь. Эта лекция может спасти меня от увольнения.

— Постойте-ка, братец,— сказал Гор-Эрквart, хватая два бокала с подноса, который Маконочи нес к группе, где находился декан. Диксон решил больше не пить, им и так начинало овладевать слишком радужное настроение, но тут же взял протянутый бокал хереса и отхлебнул.

— Зачем вы пришли сюда?— спросил он Гор-Эрквarta.

— В последнее время я столько раз уклонялся от приглашений вашего декана, что не прийти сегодня было бы неловко.

— Не понимаю, что вам за охота утруждать себя. Ведь вы не зависите от декана. Вы только обрекли себя на скучищу.

Гор-Эрквart снова взглянул на него, и у Диксона вдруг слегка закружилась голова — лицо собеседника почему-то начало двоиться.

— Я обрекаю себя на несколько часов скуки ежедневно, Диксон. Два лишних часа не сломают мне хребет.

— А зачем вам это?

— Я хочу, чтобы люди делали то, что мне нужно. А добиться этого я могу, лишь дав им вогнать меня в скуку, понимаете? И только они придут в восторг от того, что доконали меня своими разговорами, как я обрушиваюсь на них и заставляю делать то, что заранее наметил.

— Хорошо бы и мне так,— завистливо вздохнул Диксон.— Когда такое случается со мной, а это бывает постоянно, то потом они же обрушиваются на меня и заставляют делать, что им нужно.— Чувство взаимного понимания да к тому же опьянение сломали еще один барьер в его мозгу, и он продолжал, горячо и взволнованно: — Я — скукоулавливатель. Я — тонкий, чувствительный прибор! Ох, знал бы какой-нибудь миллионер, сколько он теряет оттого, что не знаком со мной! Он мог бы посылать меня вперед на обеды, приемы с коктейлями, в ночные клубы — только на пять минут, и, поглядев на меня, определял бы коэффициент скуки в любом сборище. Как канарейка в шахте — тот же принцип. И он знал бы, стоит идти самому или нет. Он мог бы посылать меня в клуб деловых людей, к актерской братии, к игрокам в гольф, к художникам, с пеной у рта доказывающим, что профиль важнее объема, к музыкальным...— Диксон запнулся: крупное гладкое лицо Гор-Эрквартa поплыло куда-то вбок, потом стало надвигаться на него.— Простите...— пробормотал он,— я забыл...

Гор-Эркварт оглядел его с ног до головы, прикрыл один глаз рукой, потом провел пальцем по щеке и слегка улыбнулся. И хотя ему явно было совсем не смешно, все же в этой улыбке не чувствовалось и тени недружелюбия.

— Узнаю товарища по несчастью.— И уже другим тоном спросил:— Позвольте узнать, Диксон, где вы учились в детстве?

— В местной начальной школе.

Гор-Эркварт кивнул. К нему подошли модный священник и один из олдерменов с полными бокалами в руках и увлекли его в группу, окружавшую декана. Диксон не мог не восхититься тем, как они, ничего, собственно, не сказав, без всякого труда дали ему понять, что без него там обойдутся. Затем, равнодушно следя за Гор-Эрквартом, он увидел, что тот слегка отстал от своих спутников и смотрит на Голдсмитов. Сесил и Бизли, увлекшись разговором, не заметили, как Кэрол и Гор-Эркварт обменялись быстрым и не поддающимся расшифровке взглядом. Это, разумеется, удивило и даже немного обеспокоило Диксона, но, решив поразмыслить об этом как-нибудь в другой раз, он осушил свой бокал и направился к Бертрану и Кристине.

— А, здравствуйте,— весело закричал он.— Где же вы прятались?

Кристина метнула на Бертрана взгляд, как бы приказывая ему не говорить того, что тот хотел сказать, и ответила:

— Я и понятия не имела, что прием будет такой пышный. Должно быть, тут не меньше половины всех важных персон города.

— Пойдем к твоему дяде, Кристина,— сказал Бертран.— Если помнишь, я хотел кое о чем с ним поговорить.

— Подожди минутку, Бертран, времени еще много,— «благочопорным» тоном ответила Кристина.

— Нет-нет, времени осталось мало; лекция начнется минут через десять, а для такого разговора это совсем немного.

Диксон заметил, что Бертран всегда говорил «нет-нет» вместо «нет», подчеркивая свои слова движением бровей вверх и вниз. Диксону не нравилась эта манера. Глядя мимо Бертрана, он увидел, как Кэрол потихоньку отошла от Сесила и Маргарет — ее он заметил впервые — и направляется к нему.

— Лучше делайте, как он велит, леди, а то он, чего доброго, даст вам в зубы,— сказал он Кристине фразу из какого-то фильма.

— Не лезьте, куда вас не просят, Диксон.

— Фу, Бертран, как можно быть таким грубым!

— Это я грубый? Мне это нравится! Я — грубый. А он? Он себе позволяет черт знает что! Как он смеет говорить тебе такие...

Кристина сильно покраснела.

— Ты забыл, что я тебе сказала, когда мы шли сюда?

— Знаешь, Кристина, я пришел сюда не для того, чтобы разговаривать с этим... этим человеком или о нем. Я пришел сюда исключительно для того, чтобы увидеться с твоим дядей, а вместо этого...

— А, здравствуйте, Берти, милый,— сказала Кэрол, подойдя сзади.— Вы мне нужны. Подите сюда, пожалуйста.

Бертран изобразил на лице удивление и, полуобернувшись, сказал:

— Здравствуйте, Кэрол, но, видите ли, я...

— Я не задержу вас и минутки,— ответила Кэрол и схватила его под руку.— Я верну его в целости и сохранности,— бросила она Кристине через плечо.

— Ну... здравствуйте, Кристина,— произнес Диксон.

— Здравствуйте.

— Это уже действительно в последний раз, верно?

— Да, верно.

Диксон вдруг разозлился — ему стало жаль себя до слез.

— Вас, кажется, это мало огорчает.

Кристина взглянула на него и резко отвернулась, словно он показал ей фотографию из книги по судебной медицине.

— Я уже достаточно огорчалась,— сказала она.— Теперь больше не буду. Да и вы не будете, если у вас есть хоть капля здравого смысла.

— Не могу не огорчаться,— проговорил Диксон.— Это ведь от нас не зависит. Мне больно, и я ничего не могу поделать.

— Что с вашим глазом?

— Я подрался с Бертраном.

— Подрались? Он мне ничего не говорил. Из-за чего вы подрались?

— Он сказал, чтобы я держался от вас подальше, а я сказал, что и не подумаю, ну мы и подрались.

— Но мы же с вами договорились... Разве вы передумали?..

— Нет. Я просто не желаю, чтобы он мне указывал, как себя вести, вот и все.

— Неужели подрались? — Кристина, по-видимому, еле удерживалась от смеха.— Судя по вашему виду, вы потерпели поражение.

Диксону это не понравилось; он вспомнил, как она улыбалась за чаем в отеле.

— Ничего подобного. Взгляните на ухо Бертрана, а потом решайте, кто кого победил.

— На которое?

— На правое. Впрочем, может, сейчас ничего и не видно. Возможно, у него внутреннее повреждение.

— Вы сбили его с ног?

— Вот именно. Одним ударом. Он немножко полежал на полу.

— Боже мой! — Кристина уставилась на него, чуть приоткрыв полные губы. Острое, безнадежное желание охватило Диксона; он почувствовал оцепенение и тяжесть во всем теле — так бывало, когда он слушал монологи Уэлча. Потом он подумал, что в последние две минуты Кристина стала совсем такой, как при первой их встрече, и устремил на нее свирепый взгляд.

Оба молчали, и тут из-за спины супруги одного из олдерменов внезапно появился Бертран. Он шел быстрой шаркающей походкой. Лицо его пылало; очевидно, он был вне себя от злости, то ли в ее чистом виде, то ли с примесью какого-то другого чувства. За ним шла Кэрол, которую явно разбирало любопытство.

— Ну, хватит,— сдавленным голосом пролаял Бертран.— Я так и знал! — Он схватил Кристину за локоть и довольно грубо оттащил в сто-

рону. На ходу он обернулся к Диксону: — Ладно же, голубчик! Это вам даром не пройдет. Можете подыскивать себе другую работу. Имейте в виду — я не шучу!

Кристина испуганно оглянулась на Диксона через плечо; Бертран чуть не волоком тащил ее к группе, в которой стоял ее дядя. Кэрол пристально поглядела на Диксона и пошла вслед за Бертраном и Кристиной. Оттуда, где стоял декан, донесся громкий хохот убийцы-маньяка.

Диксон снова почувствовал дурноту, как несколько минут назад. И тут же все его мысли захлестнул панический страх. Бертран знал, что говорит: какие бы процессы ни происходили в мозгу Уэлча, на его мышление сильно повлияют факты, которые представит ему сын, а если нет, то жена добавит кое-что и от себя, если еще не добавила по собственной инициативе. Диксон ошибался, думая, что война с Бертраном выиграна; за противником остался последний залп, а он, Диксон, безоружен и беззащитен. Произошло то, чего он опасался вначале: он позволил себе увлечься, радость борьбы лишила его благоразумия и осторожности. Он был беспомощен; и самое главное, не мог помешать этому бородатому болвану стоять рядом с Кристиной и держать ее под руку с таким собственническим победоносным видом! А Кристина стояла рядом с ним в какой-то неловкой, даже неуклюжей позе, но в глазах Диксона ни одна женщина не могла бы держаться прекраснее.

— Не насмотритесь напоследок, а, Джеймс?

При внезапном появлении Маргарет, тут же задевшей его за больное место, Диксон почувствовал себя, как человек, который подрался с полисменом и вдруг увидел второго, подъезжающего к нему верхом. Он был ошеломлен.

— Что? — спросил он.

— Ну что ж, наглядитесь как следует — ведь больше вы ее не увидите.

— Да, вероятно... я...

— Если только вы не решили то и дело ездить в Лондон, чтобы поддерживать отношения.

Диксон уставился на нее, искренне удивленный — главным образом тем, что Маргарет оказалась способной даже теперь чем-нибудь удивить его.

— Что вы хотите сказать? — тупо спросил он.

— Стоит ли притворяться? Чтобы отгадать ваши мысли, не надо иметь сильное воображение.— Кончик ее носа слегка дергался, как всегда, когда она разговаривала. Маргарет стояла, расставив ноги и скрестив руки на груди,— сколько раз Диксон видел, как она в такой же точно позе болтала с кем-нибудь здесь или в одной из маленьких аудиторий наверху. Сейчас она не казалась ни взбудораженной, ни раздосадованной или разозленной.

Диксон испустил тяжелый, усталый вздох, прежде чем начать оправдываться и отрицать, как полагалось по условиям этой своеобразной травли. И, заговорив, подумал, до чего легко, с помощью всего лишь ловкого маневра, его лишили единственного морального преимущества перед Маргарет — добровольного решения заглушить в себе живой интерес к Кристине. Разве не жестоко, что его попрекают этим увлечением, когда он сам, по своей воле отказался от него? Он был так подавлен, что ему захотелось броситься на пол и завыть, как собака: он без работы, без Кристины и разбит наголову той же Маргарет!

Их разговор, так ни к чему и не приведший, оборвался сам собой, потому что группа гостей, возглавляемая деканом, двинулась к дверям. Гор-Эркварт был как будто поглощен беседой с Кристиной и Бертраном.

— Вы готовы, Диксон? — окликнул его Уэлч. Рядом с миссис Уэлч он больше, чем когда-либо, походил на старого боксера, женившегося на своей кухарке и любящего иногда половить рыбку в мутной воде.

— Увидимся в зале, профессор,— ответил Диксон и, сказав что-то Маргарет, помчался в гардеробную для преподавателей. На него, как на актера-новичка, напал вдруг страх сцены — руки стали холодными и влажными, ноги словно превратились в мягкие резиновые трубки, наполненные мелким песком, дыхание стало прерывистым. Войдя в уборную, он начал было корчить рожу «Эвлин Во», но тут же сменил ее на самую свирепую из своих гримас. Прикусив зубами кончик языка, он растянул рот, отчего щеки превратились в два маленьких полушария, оттянул нижнюю губу в идиотском оскале и выпятил вперед подбородок. Одновременно он то выпучивал, то скашивал глаза. Обернувшись, он почти столкнулся с Гор-Эрквартом, быстро привел лицо в нормальное состояние и сказал:

— А, привет!

— Привет, Диксон,— ответил Гор-Эркварт и прошел мимо.

Диксон подошел к висевшему над умывальником зеркалу и стал разглядывать подбитый глаз. Радужные оттенки синяка стали как будто ярче. При таких обстоятельствах всякая попытка придать костюму и волосам элегантный вид казалась по меньшей мере бессмысленной. Он взял с полочки похищенную еще во время службы в авиации папку, в которой лежал текст лекции, и хотел было выйти, но его окликнул Гор-Эркварт:

— Одну минутку, Диксон!

Диксон обернулся. Гор-Эркварт подошел к нему, пристально вглядываясь в его лицо, словно собирался после лекции сделать на него карикатуру углем или чернилами.

— Вы, быть может, немножко волнуетесь, дружище?

— Очень волнуюсь.

Гор-Эркварт кивнул и вытащил из кармана своего мешковатого пиджака узкую, но вместительную флягу.

— Глотните-ка.

— Спасибо.— Решив не бояться кашля, Диксон основательно глотнул того, что несомненно было неразбавленным шотландским виски — таким неразбавленным, какого ему еще не приходилось пить,— и отчаянно поперхнулся.

— Хорошая штука! Глотните еще.

— Спасибо.— Диксон опять хлебнул, отдуваясь, вытер рот рукавом и вернул фляжку.— Очень благодарен.

— Это вам поможет. Из собственного погреба. Ну, пожалуй, надо идти — наверное публика уже ждет.

По лестнице поднимались последние замешкавшиеся гости. На верхней площадке стояла небольшая группа: Голдсмиты, Бертран, Кристина, Уэлч, Бизли и преподаватели с исторического факультета.

— Давайте пройдем вперед, сэр,— сказал Бертран.

Они двинулись в зал, который, к удивлению Диксона, оказался набитым битком. Передний ряд галереи был сплошь заполнен студентами. Стоял разноголосый шум.

— Ну, покажите-ка им всем, Джим,— сказала Кэрол.

— Всего лучшего, старина,— произнес Сесил.

— Желаю успеха, Джим,— сказал Бизли, и все они направились к своим местам.

— Ну, идите, дружище,— вполголоса сказал Гор-Эркварт. — Не надо волноваться, ну их всех к черту.— Он пожал Диксону локоть и ушел.

Слыша за спиной возню усаживающейся публики, Диксон последовал за Уэлчем на возвышение. Там уже сидели декан и один из олдерменов, тот что потолще. И только тут Диксон почувствовал, что сильно захмелел.

ГЛАВА XXII

Уэлч издал трубный звук, несколько схожий с лаем его сына; так он обычно призывал аудиторию к тишине перед началом лекции. Диксон не раз слышал, как студенты передразнивают его. Зал постепенно затих.

— Мы собрались сюда,— сообщил публике Уэлч,— чтобы прослушать лекцию.

Уэлч говорил и говорил, раскачиваясь взад и вперед; на верхнюю часть его туловища падал яркий свет стоявшей на кафедре лампы. Диксон, стараясь не вслушиваться, украдкой разглядывал зал. Да, зал полон; правда, несколько задних рядов почти пустовали, зато все передние были заняты — главным образом преподавателями, их семьями и местной знатью. Галерея, насколько мог видеть Диксон, была переполнена; многие даже стояли у задней стены. Опустив глаза на первые ряды, Диксон заметил тощего олдермена, местного композитора и модного священника; дипломированный врач, как видно, явился только ради хереса. Диксон не успел разглядеть остальных — очередной приступ неясной дурноты превратился в ощущение, что он вот-вот упадет в обморок: от поясницы по спине прокатилась жаркая волна, ударившая в голову. Диксон чуть не застонал, но заставил себя превозмочь это ощущение: «Просто нервы,— сказал он себе,— и конечно виски».

Когда Уэлч произнес «...мистер Диксон» и сел, Диксон поднялся на ноги. Колени его тряслись почти неправдоподобно — так комики изображают на сцене сильный страх.

Раздался грохот аплодисментов — аплодировала главным образом галерея; оттуда доносился даже стук тяжелых ботинок о пол.

Не без труда взобравшись на кафедру, Диксон пробежал глазами первую фразу лекции и поднял голову. Аплодисменты стали стихать, но вдруг кое-где послышался смешок, и они стали еще громче, а топот — еще дружнее. Сидевшие на галерее увидели синяк под глазом Диксона.

В первых рядах несколько голов обернулось назад, и Диксон заметил, что декан тоже устремил сердитый взгляд на источник шума — галерею. Не зная, куда деваться от неловкости, Диксон,— хотя он потом никак не мог понять, почему и как он это сделал,— вдруг, превосходно подражая Уэлчу, издал трубный звук, которым тот призывал слушателей к порядку. В зале раздался грохот, который при всем желании уже нельзя было считать аплодисментами. Декан медленно поднялся с места. Шум стал глуше, но не утих. Немного выждав, декан кивнул Диксону и снова сел.

У Диксона вся кровь прихлынула к ушам, как бывает, когда хочется чихнуть. Разве он сможет заговорить, стоя вот так, на виду у всех? Если он попробует открыть рот, кто знает, какие звериные звуки вырвутся из его горла? Он разгладил край рукописи и начал.

Произнеся с полдесятка фраз, Диксон понял: что-то неладно. Ропот на галерее все усиливался. Тут Диксон догадался, в чем дело,— оказывается, он нечаянно продолжал передразнивать Уэлча. Стараясь, чтобы написанные им фразы звучали естественнее, он то и дело вставлял «разумеется», «видите ли» и «если можно так выразиться»; каждый сразу бы узнал Уэлча только по этим словам. Оказалось, что он, стараясь, чтобы лекция имела надлежащий эффект, то есть была бы

приемлемой для Уэлча, почти бессознательно использовал в тексте его излюбленные выражения: «интегрирование общественного сознания», «идентификация ремесла с прикладным искусством» и многие другие. И как только эта догадка мелькнула в его напряженном мозгу, он начал перескакивать через фразы, спотыкаться, повторять одни и те же слова, и, наконец, до того растерялся, что умолк секунд на десять.

Нарастающий гул на галерее доказывал, что эти эффекты полностью оценены. Обливаясь потом, с пылающим лицом, Диксон с трудом продолжал читать дальше, чувствуя, что к голосу его накрепко прицепились интонации Уэлча и что ему никак от них не отделаться. В голову ему вдруг ударил хмель — это, очевидно, дает себя знать виски Гор-Эркварта, а может, еще только последний бокал хереса? Но какая жарища! Диксон умолк, сложив губы так, чтобы говорить возможно более непохоже на Уэлча, и начал снова. Некоторое время все шло как будто гладко.

Произнося написанные фразы, Диксон оглядывал передние ряды. Он увидел Гор-Эркварта и Бертрана, рядом с которым сидела его мать. Кристина сидела рядом с дядей, по другую сторону; возле нее — Кэрол, потом Сесил и Бизли. Рядом с миссис Уэлч сидела Маргарет, в очках ее отражались блики света, и Диксон не мог разобрать, смотрит она на него или нет. Он заметил, что Кристина с взволнованным видом что-то шепчет Кэрол. Чтобы не сбиться, он перевел взгляд на дальние ряды, стараясь отыскать Билла Аткинсона. Ага, вот он, возле центрального прохода, примерно на середине зала. Полтора часа назад за бутылкой виски Аткинсон уверял его, что не только придет на лекцию, но и готов в случае какой-либо осечки сделать вид, будто падает в обморок,— пусть только Диксон даст ему знак, почесав оба уха одновременно.

— Это будет первосортный обморок,— говорил Аткинсон как всегда надменным тоном.— Устрою славный переполох. Можете быть спокойны.

Вспомнив об этом, Диксон чуть было не прыснул со смеху. Но тут его внимание привлекло движение возле самой эстрады. Кристина и Кэрол, встав со своих мест, протискивались мимо Сесила и Бизли, явно намереваясь выйти из зала; Бертран, приподнявшись, что-то говорил им театральным шепотом, Гор-Эркварт тоже привстал с очень озабоченным видом. Диксон встревожился и опять замолчал: когда обе женщины вышли в проход и направились к дверям, он заговорил снова — и поторопился зря, ибо речь его превратилась в неразборчивую пьяную скороговорку. Нервно переминаясь с ноги на ногу, он споткнулся об основание кафедры и угрожающе качнулся вперед. Галерея снова загудела, Диксон мельком увидел, что олдермен — тот, что потоньше,— и его жена обменялись негодующими взглядами. Он умолк.

Немного опомнившись, он сообразил, что снова сбился на середине фразы. Кусая губы, он дал себе слово ни за что больше не сходить с рельсов. Откашлявшись, он нашел место в рукописи и продолжал бойким тоном, подчеркивая все согласные и повышая голос в конце каждой фразы. Во всяком случае, думал он, теперь им будет слышно каждое слово. Но вскоре он почувствовал, что опять происходит нечто неладное. И через несколько секунд понял, что на этот раз передразнивает декана.

Он поднял глаза; на галерее началась какая-то суета. На пол грохнулось что-то тяжелое. Маконочи, стоявший у дверей, вышел, вероятно затем, чтобы подняться наверх и водворить там порядок. Повсюду в зале, то тут, то там, слышались голоса. Модный священник произнес что-то громовым полушепотом. Бизли беспокойно ерзал на стуле.

— Что с вами, Диксон? — прошипел Уэлч.

— Простите, сэр... немножко волнуюсь... сейчас все пройдет.

Вечер был душный, Диксон изнемогал от жары. Дрожащей рукой он налил в стакан воды из стоящего перед ним графина и жадно выпил. С галереи что-то прокричали, громко, но неразборчиво. Диксон испугался, что вот-вот расплачется. Может, упасть в обморок? Это будет нетрудно. Нет, подумают, что он мертвецки пьян. Он сделал последнюю попытку взять себя в руки, и после паузы, длившейся больше полминуты, заговорил, но опять не своим обычным голосом. Казалось, он разучился говорить нормально. На этот раз он выбрал преувеличенно-сильный северный акцент — уж это, во всяком случае, не могло никого обидеть или показаться пародией на кого-либо. На галерее раздался взрыв хохота, но тотчас же все утихло, вероятно не без вмешательства Маконочи, и несколько минут все шло благополучно. Диксон перевалил за половину лекции, но тут в третий раз все опять пошло не так. Теперь дело было не в том, что́ он говорил и как говорил. С ним творилось что-то странное. Это был не столько пьяный угар, сколько ощущение огромной усталости и подавленности, которое приняло почти осязаемую форму. Едва он успевал произнести одну фразу, грусть при мысли о Кристине, казалось, сковывала ему язык и погружала в элегическое молчание; он произносил вторую — и к горлу подступал возмущенный крик, которым он готов был оповестить весь мир об истории с Маргарет; он произносил следующую фразу, и злость пополам со страхом грозили искривить его рот для истерического обличения Бертрана, миссис Уэлч, самого Уэлча, декана, архивариуса, университетского совета и университета вообще. Он перестал сознавать, что перед ним слушатели; единственный человек, которым он дорожил, ушел из зала и, вероятно, уже не вернется. Ну что ж, если этой лекции суждено быть его последним публичным выступлением в университете, то пусть оно запомнится надолго. Пусть хотя бы некоторым из присутствующих он доставит немного удовольствия.

Больше никаких передразниваний — от этого становится самому страшно; нет, теперь он с помощью интонаций тонко даст понять, как он относится к теме своей лекции и чего, по его мнению, стоят все сделанные им выводы.

Постепенно,— впрочем, не так уж постепенно, как ему казалось,— он придавал своему голосу оттенок саркастической, ядовитой горечи. Ни один человек вне стен сумасшедшего дома,— старался намекнуть он,— не может принять всерьез эту ни на чем не основанную, вздорную, лживую и ненужную белиберду; очень скоро он умудрился впасть в тон рьяного фашистского фанатика, который, кидая книги в костер, цитирует толпе выдержки из брошюры, написанной пацифистом, евреем или коммунистом.

Вокруг нарастал полунасмешливый, полувозмущенный ропот, но Диксон был глух ко всему и продолжал читать. Почти бессознательно он стал произносить слова с каким-то неописуемым иностранным акцентом и говорить все быстрее и быстрее — у него кружилась голова. Словно во сне, он слышал, как Уэлч зашевелился рядом с ним, потом что-то зашептал, потом заговорил громче. Диксон начал перемежать свою речь презрительным фырканьем. Каждый слог он выговаривал, как ругательство, делал неправильные ударения, пропуски, коверкал слова и не поправлялся, перевертывал страницы рукописи, словно читая партитуру, написанную в быстром темпе, и все повышал и повышал голос. Наконец, добравшись до заключения, он остановился и взглянул на публику.

Сидевшие внизу местные знаменитости сверлили его взглядами, исполненными холодного изумления и негодования. Старшие преподаватели смотрели на него с точно таким же выражением, а младшие старались не смотреть совсем. В передних рядах лишь один человек

позволил себе нарушить молчание, и этот человек был Гор-Эркварт, разразившийся неудержимым, протяжным хохотом. Галерея вопила, свистела и аплодировала. Диксон поднял руку, призывая к тишине, но шум не стихал. Это было уж слишком; Диксон снова почувствовал дурноту и приложил ладони к ушам. И тотчас царивший в зале гам перекрыл какой-то громкий звук — не то стон, не то вопль. Билл Аткинсон, сидевший в середине зала, не сумел или не захотел разбираться, почесал ли Диксон уши или просто прикрыл их, и во всю длину растянулся в проходе. Декан вскочил на ноги, рот его открывался и закрывался, но это не помогло водворить тишину. Тогда он наклонился к толстому олдермену и что-то горячо ему зашептал. Соседи Аткинсона пытались поднять его, но безуспешно. Уэлч настойчиво окликал Диксона по имени. Целая толпа студентов — человек двадцать-тридцать — ворвалась в зал и устремилась к распростертому Аткинсону. Наперебой выкрикивая советы, куда и как его нести, они на руках утащили Аткинсона из зала. Диксон вышел из-за кафедры и стал перед ней; шум сразу утих.

— Довольно, Диксон,— громко произнес декан, делая знаки Уэлчу, но было слишком поздно.

— Каковы же, наконец, практические выводы из всего вышеизложенного? — начал Диксон своим обычным голосом. Не в силах преодолеть головокружение, он смутно сознавал, что, помимо своей воли, произносит какие-то слова.— Сейчас я вам скажу, слушайте. Дело в том, что эта «добрая старая Англия» была самым недобрым периодом нашей истории. Доморощенные гончары-кустари, потомственные крестьяне, флажолетисты, эсперанто...— Он умолк и покачнулся: жара, виски, волнение, чувство вины одолели его, наконец, объединенными усилиями. Ему казалось, будто голова его распухла и в то же время стала невесомой, а тело словно распадалось на составляющие его клетки; в ушах звенело, на глаза с боков, сверху и снизу наползала туманная мгла. Слева и справа доносился скрип стульев, чья-то рука схватила его за плечо, и он споткнулся. Поддерживаемый за плечо рукой Уэлча, он опустился на колени и смутно расслышал голос декана, покрывавший шум: «...не мог закончить лекцию по причине внезапного нездоровья. Я уверен, что все вы...»

«Все кончено,— каким-то образом сообразил Диксон.— И я даже не успел сказать им, что...» Он набрал воздуху в легкие; если бы удалось его выдохнуть, он пришел бы в себя, но выдохнуть не удалось — и сразу все потонуло в невнятном гуле голосов.

ГЛАВА XXIII

— Ничего, собственно, больше и не произошло,— сказал Бизли на следующее утро.— Все понятно. Вас доконало его виски, не так ли?

— Да, пожалуй, если бы не виски, я бы справился. Но не могу же я сказать об этом Уэлчу.

— Само собой, Джим. Но можно сослаться на волнение, духоту и прочее. В конце концов, вы же действительно шлепнулись в обморок.

— Все равно мне никогда не простят, что я провалил публичную лекцию. И никто не поверит, что я стал передразнивать Недди и декана от волнения.

Они вошли в университетские ворота. Три студента, стоявшие поблизости, при виде Диксона замолчали и подтолкнули друг друга.

— Ну, не знаю. А все-таки попробуйте. Ведь терять вам нечего.

— Да, вы правы, Элфрид. Ну да все равно. Что было, то было. Но тут еще история с Кристиной. Уэлч уже наверняка все знает.

— Только не унывайте. Вряд ли Уэлч станет прислушиваться к ябедничанию этого Бертрана или как там его зовут. Какое ему дело до ваших отношений с подружкой его отпрыска, так ведь?

— Нет, тут еще замешана Маргарет. Уэлч, конечно, решит, что это было подло по отношению к ней. И, между прочим, это правда со всех точек зрения.

Бизли взглянул на него и ничего не ответил; только когда они вошли в гостиную, он сказал:

— Но вы не вешайте носа, Джим. Встретимся за кофе, да?

— Да,— рассеянно отозвался Диксон. На полочке для писем он увидел адресованную ему записку, узнал почерк Уэлча, и у него ёкнуло сердце. Подымаясь наверх, он прочел записку. Уэлч считает своим долгом уведомить его неофициально, что на будущей неделе, когда соберется университетский совет, он, Уэлч, не сможет настаивать, чтобы Диксона оставили в преподавательском составе университета. Он советует ему — тоже неофициально — закончить все свои дела в здешних местах и уехать. Он даст ему рекомендации, которые могут понадобиться при поступлении на другое место, но с условием, что это будет вне данного города. Он лично весьма сожалеет, что Диксону придется уехать, ибо работать с ним было чрезвычайно приятно. В постскриптуме сообщалось, что Диксон не должен беспокоиться «относительно постельного белья»: со своей стороны Уэлч готов «считать этот вопрос улаженным». Ну что же, старик ведет себя благородно. Диксон ощутил слабые угрызения совести при мысли, что подвел Уэлча своей лекцией, и еще более слабые, подумав о том, сколько времени и энергии потратил на ненависть к Уэлчу.

Он вошел в комнату, которую разделял вместе с Сесилом Голдсмитом, и остановился у окна. Пасмурная духота, стоявшая в последние дни, прошла без грозы, и небо обещало ясный солнечный день. В физической лаборатории шел ремонт — возле здания стоял грузовик с кирпичом и цементом, слышалось постукивание молотков. Найти место школьного учителя будет нетрудно; директор школы, где он учился, писал ему на рождество, что место старшего преподавателя истории останется вакантным до сентября. Диксон напишет ему, что он не создан для работы в университете. Но напишет не сегодня — только не сегодня!

А что же он будет делать сегодня? Отойдя от окна, он взял со стола Голдсмита толстый, роскошно изданный журнал, выпускаемый каким-то итальянским историческим обществом. Что-то в оглавлении на обложке привлекло его внимание, и он открыл указанную страницу. Диксон не знал итальянского языка, но имя автора статьи он прочел без труда — Л. С. Кэтон; через минуту-две Диксону удалось понять и содержание статьи, которая была посвящена технике кораблестроения в Западной Европе в конце пятнадцатого века и ее влиянию на что-то. Сомнений быть не могло: это либо подробный пересказ, либо перевод статьи, собственноручно написанной Диксоном. Не найдя подходящей гримасы, Диксон набрал в грудь воздуху, чтобы выругаться, но вместо того истерически хихикнул. Вот, значит, каким путем люди получают кафедры? Во всяком случае, кафедры такого рода. Впрочем, сейчас это уже не имеет значения. Но что за хитрая, старая... Да, он чуть не забыл! Сегодня нужно непременно поймать Джонса и обругать, а может, и дать взбучку за очередное предательство. Диксон вышел из комнаты и спустился по лестнице.

Восстановить картину преступления было нетрудно; расспросив Бизли и Аткинсона, Диксон заключил, что Джонс, очевидно, подслушал их разговор о свидании с Кристиной и при первом же удобном случае передал это своему другу и покровительнице. Раз Джонс имел возмож-

ность сделать эту пакость, значит он наверняка ее сделал; во всяком случае, Бертран недвусмысленно намекнул Диксону, что сведения исходили от Джонса, откуда бы тот их ни черпал. Когда Диксон стучался в комнату, где работал Джонс, ненависть пылала в нем, как неоновая вывеска.

Он вошел; в комнате было пусто. Диксон подошел к столу, где лежали пачки страховых полисов. Разве, думал Диксон, он заслужил эти два предательства со стороны Джонса? Ну хорошо, он разрисовал лицо композитора в журнале. Но ведь это безобидная шутка. Письмо от Джо Хиггинса? Обыкновенный розыгрыш. Диксон кивнул, отвечая на свои мысли, схватил пачку страховых полисов, сунул в карман и вышел.

Через несколько секунд он осторожно крался вниз, в котельную. Там не было ни души. Диксон пробирался от котла к котлу, ища тот, в котором горит огонь; угольная пыль хрустела у него под ногами. Какой-нибудь из котлов наверняка топится для подачи горячей воды в умывальники. Вот он — из него так и валит дым. Диксон поднял с пола какой-то инструмент и отодвинул заслонку. Полисы быстро сгорели дотла, не оставив никаких следов. Он задвинул заслонку и бегом поднялся по лестнице. Никто не видел, как он вышел.

Ну, а теперь что делать? Диксон только сейчас сообразил, что пришел в университет без всякой цели, просто ему не хотелось расставаться с Бизли. Раз он уже уволен, дожидаться кофе незачем, тем более что он может столкнуться с Уэлчем или деканом. И вообще, прийти сюда он мог единственно затем, чтобы забрать свои вещи. Вот и дело, которым можно сейчас заняться; правда, оно отнимет одну минуту, так как он никогда не приносил в университет ничего, кроме двух-трех справочников и конспектов.

Он вернулся в свою комнату и принялся складывать свои бумаги. Если устроиться на работу в родном городе, думал он, то можно будет реже встречаться с Маргарет, но все же встреч не избежать, потому что она живет в пятнадцати милях от его дома. Как показал опыт, это вполне приемлемое или не слишком неприемлемое расстояние для вечерней прогулки вдвоем по крайней мере раз в неделю на каникулах. А впереди — три месяца каникул!

На обратном пути к нему подошел молодой человек, которого Диксон не узнал, хотя лицо его казалось смутно знакомым.

— Отличную лекцию вы вчера прочли,— сказал незнакомец.

— Мичи,— сказал Диксон.— Вы сбрили усы.

— Совершенно верно. Айлин О'Шонесси предупредила, что усы ей осточертели, поэтому я сегодня утром распрощался с ними.

— Правильно сделали, Мичи. Без усов вам куда лучше.

— Спасибо. Надеюсь, вы уже совсем оправились после вчерашнего обморока?

— О да, благодарю. Все прошло бесследно.

— Нам всем так понравилась ваша лекция.

— Очень рад.

— Это было словно разорвавшаяся бомба.

— Знаю.

— Жаль, вам не удалось закончить.

— Да.

— Все-таки основное направление мы поняли. — Мичи помолчал, пока мимо не прошли какие-то молодые люди, очевидно простаки, привлеченные объявлением о Неделе открытых дверей. — Послушайте... Только не обижайтесь на мой вопрос, пожалуйста... но некоторые из нас подумали, не были ли вы немножко... ну вот, понимаете...

— Пьян? Да, и еще как!

— Был скандал? Или они еще не успели заняться вами?

— Нет, успели.

— И сильно вам влетело?

— Да, как обычно в таких случаях. Меня выставили.

— Неужели? — произнес Мичи сочувственно, но без всякого удивления или возмущения. — Быстро же они управились. Мне, право, очень жаль. И только из-за лекции?

— Нет, еще до этого были небольшие неприятности на факультете, как вам, вероятно, известно.

Мичи помолчал, потом сказал:

— Некоторым из нас будет очень вас недоставать.

— Рад это слышать. Мне тоже будет недоставать кое-кого из вас.

— Завтра я уезжаю домой, поэтому хочу попрощаться сейчас. Думаю, что я выдержал экзамены? Теперь-то вы можете мне сказать, неправда ли? А то я узнаю это только на будущей неделе.

— Да, вся ваша компания выдержала хорошо. Впрочем, Дрю провалился. Он ваш друг?

— Нет, слава богу. Что ж, я очень доволен. Ну, прощайте. Значит, в будущем году мне все-таки придется работать над предметом Недди.

— Да, похоже на то. — Диксон переложил свой сверток под левую руку и обменялся с Мичи рукопожатием. — Желаю всего хорошего.

— И я вам тоже.

Диксон зашагал по Университетскому шоссе и слишком поздно спохватился, что не бросил последний взгляд на университет. Он чувствовал себя легко и беззаботно, для человека в его положении это было совсем неплохо. Сегодня он уедет домой — он так или иначе уехал бы, дня через два. Он вернется на следующей неделе за вещами, увидит Маргарет, и так далее. Увидит Маргарет... «Ва-о-о-у-у! — произнес он про себя, подумав об этом.— И-о-о-у-у-бр-р-р!» Она живет так близко от него, что бегство из этого города, в сущности,— шаг не вперед, а только чуть в сторону. И это хуже всего.

Он вспомнил, что условился сегодня встретиться с Кэчпоулом. Чего хочет от него этот тип? Впрочем, не стоит ломать над этим голову; самое главное придумать, как убить время до встречи. Придя домой, он промыл синяк под глазом, уже начинавший бледнеть, хотя толку от этого было мало — новый оттенок казался еще уродливее. Затем последовала беседа с мисс Кэтлер о продуктах и о чистом белье; потом он побрился и принял ванну. Сидя в воде, он услышал телефонный звонок; через несколько секунд мисс Кэтлер постучала в дверь.

— Вы здесь, мистер Диксон?

— Да, а в чем дело, мисс Кэтлер?

— Вас просит к телефону какой-то джентльмен.

— Кто такой?

— Боюсь, я не разобрала имени.

— Кэчпоул?

— Простите? Нет, по-моему, не так. Имя было вроде длиннее.

— Ну ладно, мисс Кэтлер. Будьте добры, спросите номер его телефона. Я позвоню ему через десять минут.

— Хорошо, мистер Диксон.

Диксон стал вытираться, недоумевая, кто бы это мог быть. Бертран с какими-то новыми угрозами? Это было бы неплохо. Джонс, интуитивно догадавшийся о судьбе страховых полисов? Возможно. Декан, вызывающий его на экстренное заседание университетского совета? Нет, нет, только не это!

Одеваясь, он думал о том, как славно не иметь никаких обязанностей. Он за многое вознагражден тем, что перестал быть лектором, и

особенно тем, что не надо читать лекции. Он натянул старый свитер для поло в знак того, что порывает с ученым миром. Брюки он надел те самые, что были порваны на сиденье в машине Уэлча; теперь они уже искусно заштопаны руками мисс Кэтлер. Возле телефона он нашел бумажку с номером, который мисс Кэтлер записала своим полудетским почерком. Имени она, правда, опять не разобрала, но по номеру Диксон не без удивления определил, что его вызывали из деревушки, расположенной в нескольких милях от города, в противоположной стороне от жилища Уэлчей. У него не было там знакомых. На звонок ответил женский голос.

— Алло, — сказал Диксон, подумав, что можно было бы написать диссертацию о значении телефона в жизни праздного человека.

Снова ответил женский голос.

— А мужчина у вас там есть? — спросил Диксон слегка растерянно

— Мужчина? Кто это говорит? — неприязненным тоном спросила женщина.

— Меня зовут Диксон.

— О, мистер Диксон! Одну минутку!

Короткая пауза, и затем послышался мужской голос; говорящий держал трубку у самого рта:

— Алло! Это вы, Диксон?

— Да, я. Кто говорит?

— Гор-Эркварт. Вас уже выставили?

— Что?

— Выставили вас, говорю?

— Да.

— Прекрасно. Значит, я не выдам секрета, если мы поговорим об этом. Ну, и каковы же ваши планы, Диксон?

— Я думаю стать учителем в школе.

— Вы уже твердо решили?

— Нет, не очень.

— Прекрасно. У меня есть для вас место. Пятьсот фунтов в год. Приступите к работе сразу же, в понедельник. Жить будете в Лондоне. Согласны?

Диксон обнаружил, что все-таки способен не только дышать, но и говорить.

— А что за место?

— Нечто вроде личного секретаря. Впрочем, корреспонденции будет не так уж много — этим занимается одна девица. Главным образом надо принимать разных людей или говорить им, что я занят и принять их не могу. Подробности расскажу в понедельник утром. В десять часов у меня, в Лондоне. Запишите адрес.— Он продиктовал адрес и спросил:— Ну как, теперь все в порядке?

— Да, спасибо, я чувствую себя хорошо. Вчера я лег в постель, как только...

— Нет, ваше здоровье меня не беспокоит. Вы все поняли? Приедете в понедельник?

— Да, разумеется, большое вам спасибо, мистер...

— Ну ладно, значит увидимся в...

— Одну минуту, мистер Гор-Эркварт. Я буду работать вместе с Бертраном Уэлчем?

— С чего вы взяли?

— Мне казалось, он просил у вас места.

— Это место получили вы. Я с первого взгляда понял, что младший Уэлч никуда не годится. Как и его картины. Очень жаль, что он сумел опутать мою племянницу, очень жаль. Но ей этого не втолкуешь. Упряма,

как ослица. Хуже, чем ее мать. Вот так. Думаю, с работой вы справитесь, Диксон, не потому, что вы очень подходите для этой или любой другой работы, подходящих ведь много. В вас нет ничего неподходящего, а это бывает гораздо реже. Есть еще вопросы?

— Нет, благодарю вас...

— В понедельник, в десять утра. — Он повесил трубку.

Диксон медленно поднялся из-за бамбукового столика. Какими звуками выразить свой безумный, почти благоговейный восторг? Он втянул в себя воздух, чтобы издать счастливый рев, но звон часов на высоких ножках, донесшийся с каминной полки, вернул его к обыденной жизни. Половина первого — на это время назначена встреча с Кэчпоулом. Они будут говорить о Маргарет. Стоит ли идти?. Он переедет в Лондон, и проблема Маргарет станет менее важной или, по крайней мере, менее срочной. Но все же любопытство пересилило.

Выходя из дому, он с восторгом смаковал отзыв Гор-Эркварта о картинах Бертрана. Он так и знал, что картины — дрянь. И вдруг походка его утратила веселую упругость — он вспомнил, что у Бертрана, безработного и бездарного, все же есть Кристина.

ГЛАВА XXIV

Кэчпоул, уже поджидавший Диксона в пивной, оказался высоким и худощавым юношей лет двадцати с небольшим. Он был похож на ученого, старающегося выдать себя за банковского клерка. Он заказал для Диксона пиво, извинился за то, что отнимает у него время, и после нескольких общих фраз сказал:

— Мне кажется, лучше всего рассказать вам истинные факты. Вы согласны?

— Да, но как я могу проверить, истинны эти факты или нет?

— Никак, конечно. Но если вы знаете Маргарет, то, конечно, сами убедитесь в их достоверности. Кстати, не будете ли вы добры сперва объяснить мне несколько подробнее то, что сказали по телефону о ее здоровье?

Диксон объяснил, попутно намекнув на отношения, которые сложились у него с Маргарет. Кэчпоул слушал молча, глядел на стол и, слегка нахмурившись, перекладывал то так, то этак две обгорелые спички. Волосы у него были длинные и взлохмаченные.

— Очень благодарен вам, — сказал он наконец. — Это значительно проясняет дело. Теперь я вам расскажу, что происходило на самом деле. Во-первых, что бы ни говорила вам Маргарет, мы с ней никогда не были любовниками, ни в смысле чувств, ни, так сказать, практически. Насколько я понимаю, это для вас ново?

— Да, — сказал Диксон. Как ни странно, он вдруг испугался, словно Кэчпоул хотел затеять с ним ссору.

— Так я и думал. Ну вот, я познакомился с Маргарет на каком-то собрании и вдруг, сам не зная как и почему, стал встречаться с нею, водить в театр и на концерты, ну и тому подобное. Вскоре я убедился, что она принадлежит к тем людям — чаще всего это бывают женщины, — которые не могут обойтись без нервного напряжения. Мы стали ссориться буквально без всякого повода. Я, разумеется, был не настолько глуп, чтобы сойтись с нею, но вскоре она стала вести себя так, будто мы близки. На меня посыпались обвинения, что я ее обидел, что я невнимателен, что я стараюсь унизить ее перед другими женщинами, и так без конца. Вам это знакомо?

— Да, — сказал Диксон. — Продолжайте.

— Я вижу у нас с вами больше общего, чем мы думали. Так вот, после одной особенно бессмысленной ссоры из-за каких-то слов, которые я сказал, знакомя ее с моей сестрой, я решил, что с меня хватит. Я сообщил ей об этом. Она устроила мне совершенно невозможную сцену. — Кэчпоул провел рукой по волосам и задвигался на стуле. — У меня был свободный день, и мы, помню, ходили по магазинам; она стала кричать на меня прямо на улице. Это был какой-то ужас. Я чувствовал, что еще минута — и я не выдержу, поэтому, чтобы она замолчала, я обещал прийти вечером, часов в десять. Но потом просто не смог себя заставить пойти к ней еще раз. Дня через два, когда я узнал о ее... покушении на самоубийство, я сообразил, что это произошло в тот самый вечер, и был потрясен, когда понял, что ничего этого не случилось бы, если бы я пришел к ней.

— Погодите, — сказал Диксон, чувствуя, что у него пересыхает во рту. — Она и меня приглашала в тот вечер. А потом говорила мне, что вы пришли и сказали...

— Вы уверены? — перебил Кэчпоул. — Вы уверены, что она звала вас именно в тот вечер?

— Совершенно уверен. Я все помню очень ясно. Точнее говоря, она пригласила меня, когда мы покупали снотворные таблетки — должно быть, те самые, которые она приняла вечером. Это я хорошо помню... А почему это вас интересует?

— Она покупала снотворные таблетки при вас?

— Да, именно.

— Когда это было?

— Когда она их купила? Примерно в полдень. А что?

— Но ведь она купила таблетки и при мне, под вечер, — медленно сказал Кэчпоул.

Они молча поглядели друг на друга.

— Наверное, она подделала рецепт, — сказал наконец Диксон.

— Значит, мы оба должны были присутствовать при этом и убедиться, до чего мы ее довели, — с горечью произнес Кэчпоул. — Я знал, что она истерична, но не думал, что до такой степени.

— Ее счастье, что жилец из нижнего этажа пришел скандалить из-за включенного приемника.

— Ну, она не стала бы рисковать. Нет, все это только подтверждает то, что я всегда подозревал: Маргарет не собиралась кончать самоубийством ни в тот вечер, ни вообще. Она, вероятно, приняла несколько таблеток незадолго до того, как мы должны были прийти, — конечно, не смертельную дозу, — и ждала, что мы ворвемся, будем ломать руки, отхаживать ее и упрекать себя. Вряд ли можно в этом сомневаться. Никакая серьезная опасность ей, конечно, вовсе не грозила.

— Но ведь этого не докажешь, — возразил Диксон. — Ведь это только ваши предположения.

— А вы считаете, что я неправ? Зная о ней все, что вы, конечно, должны знать?

— Честное слово, не пойму, что и думать.

— Неужели вы не понимаете? Разве это не кажется вам логичным? Это единственное правдоподобное объяснение. Слушайте, постарайтесь вспомнить: не говорила ли она, сколько приняла таблеток, какова смертельная доза или что-нибудь в этом роде?

— Кажется, нет. Помню только, она говорила, что держала в руке пустой пузырек все время, пока...

— Пустой пузырек. А пузырьков было два. Вот видите. Это мне и было нужно. Я прав.

— Давайте выпьем еще, — предложил Диксон. Он ощущал необходимость хоть минутку побыть без Кэчпоула, но, подойдя к стойке, обнаружил, что потерял способность думать и только тщетно старался привести в порядок разбегающиеся мысли. Он еще не оправился от самого обыкновенного, примитивного изумления: какой-то совершенно незнакомый человек знает его приятельницу так же хорошо, как и он. Близость с одним, по его мнению, должна исключать всякую близость с другим. Что касается домыслов Кэчпоула... нет, он ему не верит. Разве этому можно верить? Это даже не те домыслы, которым можно верить или не верить.

Когда Диксон вернулся с полными кружками, Кэчпоул сказал:

— Надеюсь, вы теперь убедились? — Он сидел, раскачиваясь на стуле и словно упиваясь торжеством. — Пустой пузырек. Но было два пузырька, а она проглотила таблетки только из одного. Откуда я знаю? Можете ли вы представить, что она упустила бы случай сказать вам, что приняла два пузырька таблеток, если бы она действительно приняла два? Нет, она просто забыла солгать. Она считала, что это не имеет значения. Она не предвидела, что я буду искать встречи с вами. Я ее не виню — даже самые хитроумные люди не могут предусмотреть всего в своих расчетах. Она, разумеется, заранее выяснила, что один пузырек — не опасно. Быть может, и два пузырька не убили бы ее, но она не желала рисковать. — Кэчпоул взял кружку и отпил половину. — Я чрезвычайно благодарен вам. Теперь я совершенно освободился от нее. Слава богу, не надо больше о ней беспокоиться. А за это можно многое отдать. — Он поглядел на Диксона; волосы упали ему на лоб.— И вы, надеюсь, тоже больше не чувствуете себя связанным с нею.

— Вы никогда не заговаривали с ней о женитьбе?

— Боже упаси. Я не такой уж дурак. А она, наверное, сказала вам, что я сделал ей предложение?

— Да. И вы, вероятно, не уезжали в Уэльс с какой-то девицей?

— К сожалению, нет. Я ездил в Уэльс, но по делам фирмы. А мое начальство, опять-таки к сожалению, не снабжает своих представителей девицами. — Он допил пиво, поднялся и сказал уже гораздо спокойнее:— Надеюсь, я развеял ваши подозрения. Очень рад был познакомиться с вами, и мне хочется еще раз поблагодарить вас за огромную услугу. — Наклонясь к Диксону, он сказал, понизив голос: — Не старайтесь ей помочь, это для вас опасно. Поверьте, я знаю, что говорю. Право, она не нуждается ни в какой помощи. Ну, желаю вам всяческих удач. До свидания.

Они обменялись рукопожатием, и Кэчпоул крупными шагами пошел к дверям.

Диксон допил пиво и через две минуты тоже вышел. Пробираясь через толпу спешивших людей, он направился к своему пансиону. Факты казались неопровержимыми, но Маргарет слишком прочно укоренилась в его жизни и в его душе, чтобы можно было выгнать ее оттуда с помощью простого перечня фактов. И так как другого очистительного средства, кроме фактов, не было, то Диксон предчувствовал, что вскоре совсем перестанет им верить.

Мисс Кэтлер подавала ленч всем желающим в час дня. Диксон решил воспользоваться этим, а после двух сесть в поезд и уехать домой. Войдя в столовую, он увидел Билла Аткинсона, который читал последний номер своего спортивного журнала. Тот поднял глаза на Диксона и, что бывало с ним довольно редко, заговорил первый.

— Сейчас беседовал по телефону с вашей красоткой, — кратко сообщил он.

— А, черт! Чего ей надо?

— Не чертыхайтесь,— сурово нахмурился Аткинсон.— Это не та, которая действует мне на нервы и вечно хлопается в обморок, это другая, та, что, по вашим словам,— собственность бородатого спортсмена.

— Кристина?

— Да, Кристина, — сказал Аткинсон, ухитряясь произнести это имя, как ругательство.

— Она ничего не просила передать мне, Билл? Это страшно важно.

Аткинсон поглядел на первую страницу журнала, где сплелись два Лаокоона, и буркнул «Погодите минуту», дав понять, что разговор еще не кончен. С сосредоточенным видом прочитав то, что было записано на полях страницы, он добавил оскорбительным тоном:

— Я всего не разобрал, но главное — ее поезд уходит в час пятьдесят.

— Как, сегодня? А я слышал, что она пробудет еще несколько дней!

— Я не отвечаю за то, что вы слышали. Я говорю то, что слышал сам. Она сказала: ей нужно вам передать что-то важное, но по телефону сообщить мне этого не может, так что если вы захотите ее видеть, то приходите к поезду в час пятьдесят. А впрочем, по ее словам, это дело ваше. Она почему-то особенно упирала на то, что это, мол, дело ваше, но не спрашивайте меня почему — она не стала распространяться на эту тему. Просто она сказала, что если вы не придете, она «поймет». И опять-таки не просите меня расшифровывать, что это значит. — Аткинсон добавил, что поезд отходит не от городского вокзала, а от маленькой станции неподалеку от дома Уэлча, где останавливаются лондонские поезда, идущие из других городов.

— Пожалуй, надо бежать сейчас же, — сказал Диксон, прикидывая время.

— А как же. Я скажу толстухе, что вам расхотелось есть. Бегите, чтоб поспеть на автобус. — И Аткинсон снова уткнулся в журнал.

Диксон выбежал на улицу. У него было такое ощущение, будто он всю свою жизнь торопился что есть сил. Почему она уезжает не с городского вокзала? Ведь в три двадцать на Лондон отходит очень удобный поезд. Что она хочет ему сообщить? У него-то, во всяком случае, есть новости — целых две. Означает ли ее неожиданный отъезд, что она поссорилась с Бертраном? Автобус должен прибыть на Университетское шоссе между десятью и пятнадцатью минутами второго, то есть он подойдет с минуты на минуту. Следующий пойдет только в час тридцать пять. Безнадежно. Он побежал быстрее. Нет, из-за обыкновенной ссоры она не уехала бы. Он ручается чем угодно, что она не из тех, которые способны на такие мстительные выходки из-за пустяков. О, черт, быть может, она просто хотела сообщить, что «дядя Джулиус» намерен предложить ему работу? Она, конечно, не рассчитывала, что он узнает об этом так скоро. Неужели она хочет, чтобы он проделал такой длинный путь только ради этого? Или это просто предлог, чтобы повидаться с ним? Но зачем ей с ним видеться?

Диксон внезапно метнулся на мостовую — из переулка напротив показалась большая, похожая на такси машина; она остановилась, как видно готовясь влиться в поток бегущих по шоссе машин. Диксон, прорвавшись сквозь ближний ряд машин, заорал: «Такси! Такси!» Вот здорово — как раз то, что ему нужно! Еще мгновение, и он добрался до противоположного края мостовой, но в это время машина выехала на главную магистраль и, набирая скорость, двинулась вперед. «Такси! Такси!» Он почти нагнал машину, но вдруг в заднем стекле появилась шляпка в виде берета, а под ней — лицо супруги декана, сурово глядевшей на него с заднего сиденья, которое вначале показалось ему пустым. Значит это не такси, а машина декана. Неужели и декан сидит

там тоже? Диксон круто свернул в сторону, бросился в открытую калитку палисадника перед каким-то домом и, стараясь спрятаться за изгородью, присел на корточки. Собственно говоря, так ли уж важно застать Кристину на станции? Ведь он сможет разыскать ее потом, через «дядю Джулиуса». Сохранился ли у него клочок бумажки, где был записан номер ее телефона?

Стук по стеклу заставил его обернуться. Из окна нижнего этажа на него гневно смотрели какая-то старая дама и большой попугай. Диксон отвесил глубокий поклон и, вспомнив об автобусе, выбежал на улицу. Ярдах в двухстах автобус, шедший из города, медленно взбирался на холм. Издали Диксон не мог разобрать, что написано на маршрутной табличке, тем более что очки его запотели от беспрерывной беготни, но это, наверное, тот самый автобус, и он должен попасть в него. Он чувствовал — насколько он вообще мог что-либо чувствовать в эти минуты, — если он опоздает на станцию, в его жизни произойдет что-то непоправимое, он лишится чего-то очень для него важного. Он побежал еще быстрее, прохожие шарахались в сторону и с удивлением и негодованием глядели ему вслед. Автобус, пропуская идущие мимо машины, чтобы свернуть на Университетское шоссе, остановился посреди улицы, и Диксон убедился, что это тот, который ему нужен. Он с той же скоростью побежал к углу Университетского шоссе, но автобус уже двинулся и исчез за поворотом раньше, чем Диксон успел добежать. Свернув, наконец, за угол, Диксон увидел, что автобус стоит шагах в пятидесяти дальше по шоссе и кто-то только что вошел в него.

Диксон перешел на бешеный, сжигающий легкие, скоростной бег; кондуктор автобуса бесстрастно наблюдал за ним с задней площадки. Когда Диксон был уже на полпути, кондуктор дал звонок, водитель включил сцепление и колеса медленно завертелись. Диксон обнаружил, что он куда лучший бегун, чем думал; но когда между ним и автобусом осталось не больше пяти ярдов, это расстояние вдруг стало катастрофически быстро расти. Диксон замедлил бег и адресовал хладнокровно наблюдавшему за ним кондуктору хорошо известный и малоприличный жест. Кондуктор тотчас же дал звонок, и автобус резко остановился. Диксон поколебался, потом легкой рысцой подбежал и не без некоторого смущения вошел в автобус, избегая встречаться глазами с кондуктором, который восхищенно сказал: «Ух, здорово бегаешь, малый!» — и в третий раз дал звонок.

Диксон, еле переводя дух, спросил, в какое время автобус прибывает на станцию, то есть на свою конечную остановку, получил вежливый, но уклончивый ответ, несколько мгновений храбро выдерживал любопытные взгляды пассажиров, затем с трудом взобрался на верхний этаж. Его бросало из стороны в сторону, и, кое-как добравшись до передних мест, он рухнул на сиденье, не в силах даже издать стон. Он глотал жгучую вязкую слюну, наполнявшую рот, энергично отдувался, потом дрожащей рукой вытащил из кармана пачку коротких сигарет и спички. Несколько раз подряд прочтя напечатанную на спичечной коробке шутку, он, наконец, засмеялся про себя, потом закурил — единственное физическое усилие, на которое он был сейчас способен. Немного погодя он выглянул в окно — впереди бежала дорога, и Диксон вдруг повеселел, глядя на залитый солнцем пейзаж. За рядами сдвоенных коттеджей уже виднелись поля, а кое-где между деревьями поблескивала вода.

Кристина сказала, что она «поймет», если он не сможет прийти. Что это значит? «Поймет» ли она, что ему не позволили прийти обязательства по отношению к Маргарет? Или тут кроется неприятный намек на то, что она «поймет», если теперь все происшедшее между ними представляется ему просто сентиментальной глупостью, независимо от Маргарет? Во что

бы то ни стало надо застать Кристину, ведь, быть может, он ее никогда больше не увидит. Никогда — какое неприятное слово! Лицо его вдруг исказилось так, что казалось, оно состоит из одного носа и очков: перед автобусом медленно тащился грузовик с несколькими прицепами; на последнем была надпись с призывом соблюдать осторожность и указанием длины автопоезда. Другая надпись, поменьше, тоже призывала к осторожности, но уже в косвенной форме: «Пневматические тормоза». Грузовик, прицепы и автобус поползли со скоростью двенадцать миль в час по дороге, которая, судя по всему, должна была вот-вот превратиться в бесконечную серию крутых поворотов. Диксон с трудом оторвал взгляд от автопоезда и для поднятия духа стал думать о том, что Кэчпоул рассказал ему про Маргарет.

Он понял, что, пускаясь в это путешествие, он уже принял решение Впервые ему стало ясно, что не стоит спасать тех, кто категорически не желает, чтобы их спасали. И всякие дальнейшие попытки будут не только продиктованы лишь жалостью и сентиментальностью — они будут вредными и, в конце концов, даже бесчеловечными. В этом — несчастье Маргарет, но оно, как он думал и раньше, всего лишь следствие главного ее несчастья — того, что она непривлекательна как женщина. Характер Кристины более нормален, то есть менее несносен, и это тоже объясняется тем, что ей повезло в смысле внешности. Все очень просто. От везенья уже не отмахнешься, как от чего-то несуществующего или не заслуживающего внимания. Как бы то ни было, Кристина красивее и обаятельнее, чем Маргарет; отсюда нужно сделать все выводы, которые сводятся к одному: приятное во всех смыслах бесконечно приятнее, чем отталкивающее. Ему все-таки тоже повезло — встреча с Кэчпоулом избавила его от липкой паутины жалости. Если бы Кэчпоул оказался другим, он, Диксон, все еще барахтался бы в этой паутине. А теперь ему так нужно совсем немножечко везенья! И если ему повезет, он, быть может, кому-нибудь и пригодится.

Появился кондуктор и вступил с Диксоном в переговоры насчет платы за проезд. Когда с этим было покончено, кондуктор сообщил:

— Мы должны быть на станции в час сорок три, я посмотрел расписание.

— Как вы думаете, мы приедем вовремя?

— Не могу сказать. Пожалуй, если будем тащиться за этой штуковиной, то и не поспеем. А вы что, торопитесь к поезду?

— Да, мне нужно повидать человека, уезжающего в час пятьдесят.

— Я бы на вашем месте не особенно рассчитывал на это. — Кондуктор не спешил уходить — наверное, он хотел получше рассмотреть синяк Диксона.

— Благодарю вас, — сказал Диксон, давая понять, что разговор исчерпан.

Начался кусок совершенно прямой дороги с небольшой впадиной посредине, так что просматривался каждый ярд ее пустого пространства. Далеко впереди из кабины грузовика высунулась тощая смуглая рука и замахала в знак того, что теперь можно обгонять. Водитель автобуса не обратил на это никакого внимания и, постепенно замедляя ход, остановился у автобусной остановки, возле ряда крытых соломой домишек. Две старухи в черном, сверху казавшиеся какими-то сплющенными, выждав, пока автобус не остановился совсем, бочком полезли в него, цепляясь друг за друга, и Диксон потерял их из виду. Через мгновение он услышал, как старухи кричали кондуктору что-то неразборчивое, затем все стихло. Прошло по крайней мере пять секунд; Диксон нетерпеливо заерзал на сиденье, потом изогнулся, стараясь увидеть в окошко причину задержки, но ничего не обнаружил. Может, с водителем случился

обморок за рулем, или он вздумал сочинять стихи? Так они простояли еще несколько секунд; затем сонная сельская тишина вдруг всколыхнулась: из ближнего домика вышла третья женщина, в сиреневом костюме. Она пристально поглядела в сторону автобуса и, очевидно опознав его без особого труда, направилась к нему шаркающей походкой, чуть пригнувшись — так военнослужащий подходит к столу казначея за жалованьем. Сходство с этим образом еще больше подчеркивала ее шляпка, сильно напоминавшая солдатскую фуражку, сплющенную колесами машин, а потом окрашенную в вишневый цвет. Весьма вероятно, что старая ведьма — из горла Диксона вырвался металлический звук, когда он заметил ее самодовольную улыбку при виде стоящего автобуса,— нашла этот головной убор на дороге перед своим паршивым домишком после военных учений — наследство, оставленное каким-нибудь зазевавшимся деревенщиной из транспортного взвода; по фуражке, упавшей с его головы, прошлись колеса всего батальона.

Автобус не спеша двинулся дальше, и вскоре расстояние между ним и автопоездом стало сокращаться. Диксон чувствовал, что сейчас для него самое главное на свете — это скорость автобуса; он был уже не в состоянии гадать, что скажет ему Кристина, если он застанет ее, и что делать, если он ее не застанет. Он сгорбился на пыльном сиденье, трясясь при каждом толчке, словно от неудержимого смеха, обливаясь потом от жары и страха — слава богу, он сегодня почти не пил — и вертя головой то туда, то сюда при виде каждой обгонявшей их машины, при каждом повороте, каждом проявлении беспричинной осторожности водителя.

Автобус опять неторопливо шел за автопоездом, который вскоре еще больше замедлил ход. Не успел Диксон вскрикнуть, не успел он сообразить, что происходит, как грузовик с прицепом свернул на боковую дорогу и автобус поехал прямо. «Вот теперь,— воспрянув духом, подумал Диксон,— водитель постарается нагнать потерянное время». Но водитель был явно не способен оправдать эти надежды. Диксон закурил еще одну короткую сигарету, с таким ожесточением нажимая на спичку, словно чиркал ею не о коробок, а о физиономию водителя. Диксон, конечно, и понятия не имел, сколько прошло времени, но по его расчетам они проехали миль пять из восьми, отделявших город от станции. И вдруг автобус свернул в сторону, замедлил ход и остановился. Через дорогу с шумом и грохотом трактор тащил что-то похожее на пружины от гигантской кровати, местами покрытые землей и украшенные полосками дерна. Диксоном овладело бешеное желание сбежать вниз и пырнуть ножом и водителя и тракториста. Что же будет дальше? Что? И правда, чего можно еще ждать: налета бандитов в масках, катастрофы, наводнения, лопнувшей шины, грозы с падающими деревьями и метеоритами, какого-нибудь вражеского десанта, воздушной атаки красных самолетов, стада овец на дороге, осы, которая ужалит водителя? Если бы его спросили, он выбрал бы последнее. Скрежеща тормозами, автобус пополз дальше, останавливаясь через каждые несколько ярдов перед очередной кучкой старикашек, которые, медленно передвигая ноги, влезали на ступеньки.

Чем ближе к станции, тем оживленнее становилось движение на шоссе, и водитель, кроме чрезмерной осторожности, стал проявлять еще и идиотскую услужливость по отношению ко всему, что двигалось по дороге; какой бы предмет ни попался ему на глаза, от машины для уборки мусора до детского велосипеда, он сейчас же сбавлял скорость до четырех миль в час, и, как подозревал Диксон, рука его, словно в пляске святого Витта, начинала дергаться и махать, приглашая идти на обгон. Начинающие водители учились делать на дороге разворот, кучки сплетничающих зевак не спеша расходились в стороны перед самым радиатором неохотно ползущего автобуса, младенцы вытаскивали игрушки из-под

еле вертящихся колес. Диксон яростно вертел головой во все стороны в поисках часов, но, как видно, обитатели этого умственного, морального и физического болота, которые в краткие периоды пробуждения от многолетней спячки занимались лишь искоренением безнравственности, были слишком бедны и к тому же скупы... Увидев ярдах в тридцати железнодорожную станцию, Диксон с трудом вернулся к действительности и сломя голову бросился по проходу к лесенке. Не дожидаясь, пока автобус остановится у станции, он спрыгнул, перебежал дорогу и вошел в вокзал. Часы над билетной кассой показывали час сорок семь. И тотчас же минутная стрелка перескочила на одно деление. Диксон метнулся к барьеру. Человек с суровым лицом загородил ему путь.

— Скажите, с какой платформы уходит поезд на Лондон?

Человек окинул его испытующим взглядом, как бы прикидывая, способен ли стоящий перед ним субъект выслушать крайне неприличный анекдот.

— Немножко рановато явились, а?

— Что?

— Следующий поезд на Лондон — в восемь семнадцать.

— В восемь семнадцать?

— Вагона-ресторана нет.

— А тот поезд, что отходит в час пятьдесят?

— Такого нет. Может, вы спутали? Был поезд в час сорок.

Диксон судорожно глотнул.

— Должно быть, я перепутал,— сказал он.— Спасибо.

— Очень жаль, приятель.

Машинально кивнув, Диксон пошел обратно. Билл Аткинсон, вероятно, неправильно записал то, что говорила Кристина. Впрочем, это на него не похоже. Может быть, ошиблась Кристина? Хотя теперь это неважно. Он медленно добрел до выхода и остановился в тени, глядя на маленькую, залитую солнцем площадь. Как бы то ни было, работа у него есть. И не так уж трудно разыскать Кристину в Лондоне. Пожалуй, только будет слишком поздно. Но, во всяком случае, он встретился с ней, и они несколько раз вели разговоры. Надо быть благодарным хоть за это.

Он рассеянно глядел вокруг, не зная, что теперь делать, и вдруг увидел машину с поврежденным крылом, которая, виляя на ходу, огибала почтовый фургон. Что-то в ней показалось Диксону смутно знакомым. Она катилась к нему, грохоча, как бульдозер. Грохот внезапно перешел в пронзительный скрежет, от которого по спине побежали мурашки, и машина остановилась как вкопанная. Из нее вышла высокая блондинка в темно-красном костюме, с плащом и чемоданом в руках, и побежала туда, где стоял Диксон.

Диксон метнулся за столб, словно получив удар в солнечное сплетение. Как он — именно он!— мог забыть манеру Уэлча править машиной?

ГЛАВА XXV

Мотор яростно взревел — очевидно, Уэлч остался за рулем. Отлично — быть может, ему было велено немедленно возвращаться домой.

Все мысли и чувства Диксона были сосредоточены только на том, что происходило в эту минуту. Он слышал приближающиеся шаги Кристины и прижался к столбу, будто хотел врасти в него. Каблуки ее застучали по дощатому настилу перед входом в вокзал; она появилась в поле зрения Диксона на расстоянии четырех-пяти футов, повернула голову и тотчас встретилась с ним взглядом. Лицо ее озарила улыбка, в которой Диксон увидел одну только нежность.

— Значит, вам передали, что я звонила,— сказала Кристина. Сейчас она была красива до нелепости.

— Скорей сюда, Кристина!— Он потащил ее за столб.— Одну минутку!

Кристина огляделась, потом посмотрела на него.

— Но ведь надо бежать на платформу. Мой поезд вот-вот уйдет.

— Ваш поезд уже ушел. Придется ждать следующего.

— Вон там часы — осталась еще минута. Я могу успеть...

— Да нет же — поезд уже ушел. В час сорок.

— Он не мог уйти.

— Значит мог, раз ушел. Я справлялся.

— Но мистер Уэлч сказал, что поезд отходит в час пятьдесят!

— Ах, это он сказал? Ну, тогда все ясно. Он перепутал, понимаете?

— Вы уверены? А почему мы прячемся? Ведь мы прячемся?

Не обращая внимания на ее слова, не замечая, что держит ее за руку, Диксон осторожно высунул голову из-за столба. Уэлч уже выезжал с площади на шоссе.

— Подождем, пока уберется этот старый дурак, а потом пойдем выпьем чего-нибудь.— (Он начнет с восьмикратной порции виски).— Вы, наверное, успели позавтракать?

— Я не могла съесть ни кусочка.

— Это на вас не похоже. Ну, а я совсем не завтракал, так что поедим вместе. Здесь неподалеку есть отель. Когда-то я бывал там с Маргарет.

Они сдали чемодан Кристины в камеру хранения и вышли на площадь.

— Хорошо, что старик Уэлч не пожелал усадить вас в поезд,— сказал Диксон.

— Да... Собственно, не пожелала этого я.

— Я вас за это не осуждаю.— Диксон ощущал почти физическую неловкость при мысли, что Кристина вот-вот сообщит ему свою «новость». Он старался внушить себе, что это будет нечто неприятное, чтобы иметь хоть один шанс услышать приятное. У него вдруг отчаянно зачесался затылок и та часть спины, до которой невозможно дотянуться рукою.

— Мне хотелось как можно скорее удрать от всей этой компании. Я ни минуты больше не могла выносить их общества. Вчера вечером приехал еще новый.

— Новый?

— Да. По имени Митчел или что-то в этом роде.

— А, знаю. Мишель.

— Возможно. Ну я и решила удрать с первым же поездом.

— Но что случилось? Вы, кажется, что-то хотели мне сказать? — Он старался настроиться на унылый лад, готовясь услышать что-то неожиданное и на редкость неприятное.

Кристина взглянула на него, и Диксон еще раз заметил, что белки ее глаз отливают голубизной.

— Я порвала с Бертраном,— сказала Кристина, будто речь шла о какой-то выброшенной за ненадобностью рухляди.

— Почему? Навсегда?

— Да. Хотите, я вам расскажу все?

— Давайте.

— Помните, вчера мы с Кэрол Голдсмит ушли на середине вашей лекции?

Диксон сразу все понял, и у него перехватило дыхание.

— Я знаю. Она вам что-то сказала, неправда ли? Я догадываюсь, что она вам сказала.

Они невольно остановились. Диксон показал язык пялившей на них глаза старушке.

— Вам давно уже было известно о ее отношениях с Бертраном, так ведь? Я же знала, что вам известно.— Казалось, она вот-вот расхохочется.

— Да. А почему она вдруг вам рассказала?

— А почему не рассказали вы?

— Да разве я мог? Хорош бы я был! Что же все-таки заставило Кэрол рассказать вам все?

— Она возненавидела Бертрана за то, что он с ней не считался. Мне было все равно, как он жил до меня, но он не имел права держать на привязи и меня и Кэрол. Она сказала, что Бертран звал ее провести вместе вечер, когда мы все ушли в театр. И не сомневался, что она согласится. Она сначала возненавидела меня, потом увидела, как он со мной обращается — как он, например, вел себя на приеме у декана. Тогда она поняла, что виноват он, а не я.

Кристина говорила быстро и немного смущенно; чуть ссутулившись, она стояла спиной к витрине, заваленной бюстгальтерами, корсетами и бандажами.

Спущенный тент затенял ее лицо; она поглядела на Диксона лукавым взглядом, словно желая убедиться, удовлетворено ли его любопытство.

— Это благородно с ее стороны, не так ли? Ведь после этого Бертран не захочет на нее смотреть.

— Он вовсе ей и не нужен. По-моему...

— Что?

— По-моему, из ее слов можно было заключить, что теперь у нее есть кто-то другой. А кто — не знаю.

Диксон был уверен, что он-то знает; итак, распуталась последняя ниточка. Он взял Кристину под руку и повел по улице.

— Ну хватит об этом,— сказал он.

— Но он еще много говорил ей о...

— Потом.— Лицо Диксона расплылось в счастливой ухмылке.— По-моему, вам будет приятно услышать следующее: отныне у меня с Маргарет все кончено. После одного случая — о нем тоже после — я убедился, что могу считать себя свободным.

— Как, вы хотите сказать, что совсем?..

— Я потом все расскажу, обещаю вам. Давайте сейчас не говорить об этом.

— Ладно. Но это правда?

— Разумеется, чистая правда.

— Ну, в таком случае...

— Верно. Скажите, как вы собираетесь провести сегодняшний день?

— Думаю, мне нужно ехать в Лондон. А что?

— Вы не возражаете, если я поеду с вами?

— Что это значит? — Кристина дергала его за локоть, пока он не взглянул ей в лицо.— Что происходит? Тут что-то кроется. Скажите, в чем дело.

— Мне нужно найти себе жилье.

— Зачем? Я думала, вы живете где-то поблизости.

— Разве дядя Джулиус ничего не говорил вам о моей новой работе?

— Ради бога, расскажите все толком, Джим. Не томите меня.

Объясняя ей, в чем дело, он перебирал в уме районы Лондона: Бейсуотер, Найтсбридж, Нотинг Хилл, Пимлико, Белгрейв-Сквер, Уоппинг, Челси... Нет, только не Челси.

— Я так и знала, что у него что-то на уме,— заявила Кристина.— Только не догадывалась, что именно. Надеюсь, вы с ним поладите. Но лучшего и придумать нельзя, правда? Скажите, вам будет трудно уйти из университета?

— Нет, не думаю.

— Между прочим, что за работу дает вам дядя?

— Ту, на которую рассчитывал Бертран.

Кристина громко расхохоталась и покраснела. Диксон тоже засмеялся. Как жаль, подумал он, что все его гримасы выражают только ярость и ненависть. Эта минута действительно заслуживает гримасы, а у него нет ни одной, которой он мог бы отпраздновать такое событие. Пойдя на компромисс, он сделал гримасу «чувственный римлянин». Вдруг, заметив что-то впереди, он замедлил шаг и подтолкнул Кристину локтем.

— В чем дело? — спросила она.

— Видите ту машину? — Это была машина Уэлча, стоявшая почти посреди улицы, напротив кафе-кондитерской с зелеными полотняными занавесками и медными чайниками на подоконниках...— Что он тут делает?

— Он, должно быть, заехал за Бертраном и остальными. Бертран, после того как я с ним поговорила, заявил, что не станет завтракать под одной крышей со мной. Скорей, Джим, пока они не вышли оттуда!

Только они успели поравняться с витриной кафе, как дверь распахнулась, целая толпа Уэлчей высыпала наружу и, преградив им путь, заполнила весь тротуар. Один из Уэлчей, очевидно, был тем самым утонченным писакой Мишелем, который наконец-то появился на сцене перед самым закрытием занавеса. Он оказался высоким бледным юношей с длинными белесыми волосами, выбившимися из-под белесой кепки из бумажного бархата. Увидев Диксона и Кристину, все, за исключением, конечно, Уэлча, машинально отступили, чтобы дать им дорогу. Диксон ободряюще стиснул локоть Кристины и пошел прямо на них.

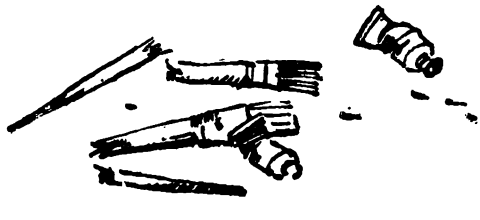
— Прошу прощения,— сказал он раскатистым басом водевильного дворецкого.

На лице миссис Уэлч появилось такое выражение, будто ее вот-вот вырвет; Диксон снисходительно поклонился ей. (Он где-то вычитал, что удача делает человека скромным, терпимым и добрым). Инцидент был бы исчерпан, если бы Диксон не увидел, что, кроме Бертрана и Уэлча, здесь присутствуют соломенная шляпа и берет. Шляпа, однако, была на голове Бертрана, а берет на Уэлче. В этих уборах они стояли как окаменевшие, выкатив глаза, и напоминали Андре Жида и Литтона Стрэчи, вылепленных из воска рукой подмастерья. Диксон гордо выпятил грудь, готовясь обдать их уничтожающим презрением, но тут же согнулся в приступе хохота. Походка его утратила твердость, весь он как-то обмяк, будто в него всадили нож. Кристина тащила его за руку, но он остановился среди группы Уэлчей, медленно сгибаясь, как от боли, очки его затуманились, рот раскрылся, словно в мучительной агонии.

— Вы...— произнес Диксон.— Он...

Уэлчи шарахнулись в сторону и стали торопливо усаживаться в машину. Испустив стон, Диксон позволил Кристине увести себя. Сзади неслись скрежет и вой уэлчевского мотора.

Но Диксон и Кристина уходили все дальше, и скрежет становился все слабее, пока его не поглотили уличный шум и их собственные голоса.



НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ ПИСАТЕЛЕЙ

Трибуна писателя

Джек Линдсей

Мировое значение советской литературы

Какова связь между двумя нашими литературами? Какое место занимает советская литература в мировом литературном процессе? Это большие вопросы. И ответить на них — это задача, которая не становится легче оттого, что я размышляю над этими вопросами вот уже добрых лет двадцать, а то и больше.

Прежде всего следует сказать, что мы не можем отделить влияние советской литературы на английскую культуру от влияния дореволюционной русской литературы, которое начало распространяться и углубляться в последние десятилетия девятнадцатого и в начале нынешнего века. По мере того как английские читатели и писатели «открывали» Толстого, Тургенева, Достоевского и Чехова, их творчество находило у нас все более сильный отклик. Вряд ли можно сказать, что английский роман того времени — при наличии Мередита, Харди, Гиссинга, а затем Уэллса, Голсуорси и Джеймса — переживал упадок но ему уже недоставало широты, энергии, прочных корней, уходящих в народ, свойственных ему в прошлом. Создавалось впечатление, что великие дни миновали, а сам английский роман как таковой заметно исчерпал свои возможности Открытие же большого русского романа потрясало, оно выявило новый мир художественных сил и ценностей.

Сразу же стало понятно, хотя и не для всех, что это новый тип реализма. Журнал «Спектейтор», рецензируя в 1887 году «Войну и мир», заявил: «Если уж нельзя обойтись без ярлыка для Толстого, то он реалист, но реалистичен он не отталкивающим реализмом современной французской школы». «Вестминстер ревью» на следующий год утверждало, что реализм Толстого, «в отличие от реализма ущербной французской школы, не является реализмом сточных канав. Толстой, конечно, не отшатывается в отвращении перед сточной канавой, но в ней он видит отражение неба» Некий литератор в том же самом журнале в 1895 году, обращаясь к русскому роману, писал о «сверкающих страницах литературы, живущей полной жизнью подлинного реализма». В. С. Притчет, подводя итоги высказываниям многих критиков, писал в «Нью стейтсмен» в апреле 1942 года: «Если попытаться определить качество, сообщившее русскому роману его необыкновенный престиж, то реализм — это слово, без которого не обойтись». «За непосредственной темой всегда ощущается еще одна, которая приподняла русский реализм на несколько дюймов над землей. Эта тема — судьба самой России»,— добавлял он. Если не принимать во внимание сдержанных слов «на несколько дюймов над землей», то замечание обнаруживает тонкое понимание того, что русский реализм не только уходит своими корнями глубоко в жизнь народа, но и с горячим интересом следит за ходом истории и «судьбой России», судьбой человека.

Гиссинг был, пожалуй, первым из крупных английских писателей, испытавшим на себе, начиная с 1890 года, прямое влияние русского романа. Это воздействие достигло кульминации в 1912 году, когда были переведены «Братья Карамазовы». Немало, однако, говорилось и вздора о русской душе; социальный и духовный мятеж, запечатленный в русском романе, нередко понимался очень узко. «То возбуждение мысли и духа, которое выражал русский роман,— заявлял «Таймс литерари сапплмент» в 1930 году,— казалось, вдруг передалось и романистам в других странах. Это поветрие распространилось, пока — в той или иной из ее многообразных форм — проблема изображения души, действительности, неосязаемого мира (любой из этих терминов применим с равным успехом) не стала наваждением европейского романиста».

В этом утверждении отмечена огромная внутренняя взволнованность и напряженность русского романа. Но в нем видно стремление преуменьшить или просто отрицать значение подлинных источников этой художественной энергии, оторвав ее от той социальной среды, с которой она взаимодействовала Русских поняли лишь отчасти Можно сказать, что их понимали настолько, насколько решались прямо смотреть в лицо жизни. Но воздействие русской литературы

продолжалось все время, как бы ни старались отдельные лица заглушить или извратить его.

Я остановился на отношении к дооктябрьской русской литературе потому, что, с одной стороны, именно эта литература подготовила почву, на которой советские писатели воздвигли свою собственную литературу; с другой стороны, потому, что подход человека к советской литературе складывается под воздействием понимания им русских классиков.

Исключительное место русской литературы в культурной жизни девятнадцатого века определяется тем, что она наиболее отчетливо отразила мировой кризис и наиболее полно показала, что́ делает с людьми капитализм. Если человек ясно отдает себе в этом отчет, то он подготовлен к пониманию следующей фазы русской литературы— литературы Советского Союза, в котором устранены гнет и уродство буржуазного общества. Если же восприятие русских классиков у человека ограничено и извращено тем, что он видит в них только «возбуждение» и «реальность духа», взятые абстрактно и обособленно, тогда весь строй его мыслей явно не благоприятствует усвоению характера тех сдвигов и той преемственности, которые проявились в советской литературе.

И все-таки какие бы недоразумения и ошибки в толковании характера русской литературы ни возникали, англичане приходили к убеждению, что русские — великие «психологи», великие «открыватели реальности духа», ибо они с громадной силой охватывают исторический процесс, видят глубокое воздействие на человека изменений в современном мире, видят, как уродуется человек, и чувствуют необходимость революционного скачка, который положит конец социальной безысходности.

В начале 1920 годов, во времена «бума», были лишь отдельные проблески интереса к советской культуре, к концу же этого десятилетия появились признаки перемен. Лично я сделал в журнале «Лондон Афродит» за 1928—1929 годы несколько безнадежно путаных и неуверенных попыток разобраться в ощущении коренного изменения мира, захватившего всех нас. У меня все-таки хватило здравого смысла хотя бы отметить: «По-моему, большевики являются подлинным выражением творческого начала. Во всяком случае, русская революция являет нам огромный и счастливый взлет человеческого духа». Именно в то время я услышал о появлении нового великого поэта, Маяковского. В том же журнале вышел мой перевод «Скифов» Блока и одного из последних стихотворений Есенина. Я сделал попытку перевести и «Левый марш» Маяковского, но тогда это мне не удалось. Примерно в то же время «Критерион» давал обзоры советской периодики и сообщал о дискуссиях среди советских писателей.

Но только с усилением в тридцатых годах антифашистского движения среди интеллигенции, с приходом к власти Гитлера и началом Гражданской войны в Испании значение советской литературы начинает широко осознаваться. В это же время становится глубже и понимание русских классиков. «Впервые,— говорил Притчет,— я прочел «Рудина» во время Гражданской войны в Испании. И умирающий на баррикаде в чужой стране Рудин показался мне (и кажется поныне) одним из героев нашего времени».

На протяжении тех лет, когда писатели боролись за подлинное выражение духа воинствующей демократии, за понимание того, что́ означает кризис капитализма, стремились осознать характер социалистической культуры,— мысль о советской литературе была всеобщей и господствующей.

К сожалению, этот энтузиазм слишком часто не был уравновешен знанием и основательным опытом. Проникающей силой была скорее «общая идея советской литературы», а не конкретное воздействие самих ее произведений Но хотя эту слабую сторону и необходимо отметить, недостаток контакта все-таки не следует преувеличивать. В Англии начинали читать Горького, хотя малое количество переводов его произведений тогда (как, впрочем, и теперь) ограничивало размах его влияния. Начинали узнавать Маяковского как поэта нового типа, посвятившего весь свой талант служению революции. Начинали переводить и читать советских романистов: М. Шолохова, Л. Леонова, В. Катаева, Ф. Гладкова, А. Толстого, А. Фадеева и других. Наибольшее признание завоевал Шолохов, как писатель огромной силы и исторической проницательности. В нем, как и в Маяковском, чувствовалось, что новая, революционная литература провозгласила себя наследницей русских классиков и классиков мировой литературы; возникшая вместе с грандиозными событиями, она оказалась способной показать людей в сумятице сокрушительных перемен, людей, прорывающихся сквозь классовые барьеры и закладывающих основы социалистической культуры.

Антифашистская интеллигенция глубоко проникалась советским влиянием. Магнетическое притяжение к советской культуре всегда было связано с усилиями этой интеллигенции понять мировую обстановку в целом, приобщиться к антифашистскому движению и развивать свою новую, жизнеспособную литературу, уходящую корнями в народ и его борьбу.

Это был период быстрого прогресса литературы, во многих отношениях не имеющий себе равного. При рассмотрении сильных и слабых сторон этого движения мы должны понять то удовлетворение, какое приносили попытки создать нечто принципиально новое для нас: положить начало общему движению писателей, связавших свое творчество с борьбой за социализм. Примыкая к этому движению, писатели понимали, что им нужно, с одной стороны, заниматься политической деятельностью, с другой — постоянно обсуждать свои пути и возможно-

сти. А в свете борьбы, развертывающейся на родине, огромную силу приобрело чувство международной солидарности с борцами за лучшую жизнь людей во всем мире, с Советским Союзом — душой этих международных сил, ведущих человечество в новую эпоху мира и изобилия.

Сознавая слабости этого движения, хотелось бы опять вернуться к его сильным сторонам. В сознание английских писателей вошло нечто такое, от чего они уже не могли полностью отрешиться, даже если они — а таких очень много — отреклись после 1939—1940 годов от политических позиций, верность которым они в 1934—1939 годах провозглашали навечно. Поэтому дальнейшее развитие было во многом обусловлено движением тридцатых годов, даже когда писатели полагали, что оно уже давно ушло в прошлое. Чувство общей цели и единства писателей и народа, осознание необходимости реализма и правды, связи искусства с историческим процессом и социальной ответственности художника — все это продолжало воздействовать на писателей и после того, как единый фронт распался.

Многие писатели всем сердцем отдались антифашистской борьбе, достигнув выдающихся успехов и как мыслители и как художники: Хью Макдайэрмид в «Гимнах Ленину», Л. Грассис Гиббон в своем «Спартаке», Ральф Фокс, Кодуэлл и Алик Уэст в критических работах, Джордж Томпсон в литературоведческих трудах, Монтегю Слейтер в пьесе «Пасха 1916». Старшие писатели зажглись новым вдохновением, как например Шон О'Кейси, или расширили рамки творчества, как Сильвия Таунсенд Уорен в произведении «Лето покажет». В то же время многие молодые писатели уверенно взяли направление, в котором продолжали двигаться и в последующие годы.

Сам я в начале тридцатых годов стал на путь марксизма, не имея еще о нем сколько-нибудь отчетливого представления. В трилогии, связанной с крупными историческими потрясениями эпохи Рима во времена Юлия Цезаря, я попытался изобразить то, что в этой борьбе представлялось мне основным. И в 1935 году, для того чтобы идти дальше, мне потребовалось ясное понимание сущности марксистского метода и анализа. Гражданская война в Испании, событие, необычайно обострившее чувство непосредственных политических связей, помогло мне овладеть марксизмом. Тогда же я принялся за изучение — настолько полное, насколько давали возможность материалы,— советской литературы и ее теории. Убеждение в необходимости знать и понимать процессы, происходящие в советской литературе, с тех пор не покидает меня, оно всесторонне связано со стремлением двигать вперед собственное творчество и находить правильное отношение к своему народу и его нуждам. Таким образом, после 1936 года я не представлял возможным отделить свои собственные позиции от движения советской литературы (насколько я в состоянии понять ее развитие и мысленно участвовать в нем).

Мне хотелось бы привести несколько слов из моей книги «Краткая история культуры», вышедшей в 1939 году, на самой грани мировой войны. Тогда я писал: «...И вот последний шаг уже близок. Роман Золя «Жерминаль» был мостом. Этот последний шаг сделал Максим Горький. В романе «Мать» он показал, к чему в действительности вели мучительные поиски Толстого и Достоевского, что они действительно хотели сказать, говоря о «естественной жизни» и о том, какого рода жертву может принять любовь так, чтоб она не превратилась в свою противоположность. Структура узнавания прошла полностью по кривой своего развития от греческой трагедии к своему конечному пункту».

Я употребил тогда термин «узнавание» в том смысле, какой придал ему Аристотель в своей «Поэтике», хотя и в более широком значении. Узнаванием был в греческой трагедии такой момент, когда основные противоречия достигали своей кульминации и внезапно полностью раскрывалось то, что вызвало их столкновение. При этом достигалось разрешение противоречий и сознание, побуждаемое их столкновением, совершало скачок к новому, целостному пониманию. Мне казалось, что этот момент художественного разрешения всегда был связан с развитием общественного видения и означал переход от ограниченной точки зрения к более широкой. Искажения и неосознанные противоречия, которые ранее оставались невыявленными, раскрывались и преодолевались. Произведение искусства в этом смысле можно определить как пример движения от несовершенной человечности к подлинной. А такое движение всегда было устремлено к братству людей, как бы различно ни постигалось и ни определялось это братство на пройденных этапах развития культуры: в духе утопических или пасторальных фантазий, концепций естественного закона у стоиков или религиозных представлений единения в боге, приносящем искупительную жертву. Представления о том, что определяет это человеческое единство, могли быть абстрактными и фантастическими, но в произведениях искусства художественной силой реалистического изображения они конкретизировались. Конфликты и скачок к более высокому сознанию оставались реальными, и аристотелевский термин «узнавание», казалось мне, хорошо выражает этот момент разрешения. Это исследование помогало также понять, почему истинная трагедия не является пессимистичной. Герой мог быть повержен противоречиями, слишком огромными, чтобы он мог их разрешить и преодолеть. Но так как произведение искусства создавало новую фазу развития сознания, разрешения противоречий, то оно не было ограничено смертью или поражением героя. Изображая его борьбу, оно открывало новый горизонт и являло собой пример сложного диалектического соединения трагического поражения героя и конечного освобождения в новой жизни.

Только знакомство с советской литературой действительно прояснило для меня смысл этой закономерности и свело воедино те отдельные мысли, которые накоплялись в моем сознании.

В Толстом и Достоевском, остро ощущавших искажение и распад человека под воздействием классового общества, я видел предвестников этой советской формы. С великой страстностью они стремились к этому моменту преображения и познания истины, в котором воплотится подлинная человеческая сущность. Они не могли показать этот момент в социальном фокусе, но не прекращали своих поисков. Отсюда страстное напряжение этих поисков, сообщающее их творчеству огромную художественную силу. В советском романе проблема преображения и узнавания поднимается на новую высоту, на высоту понимания, основанного на всенародном опыте революции и созидания нового общества.

Таким образом, каковы бы ни были частные недостатки советской литературы или отдельные моменты ее неуверенности перед лицом новых гигантских возможностей и проблем социалистического общества, в целом она творит на том новом уровне, где художественные противоречия прошлого одновременно и решаются ею и заново открываются на новой ступени. Меня никогда не покидало это убеждение, несмотря на то, что мне временами приходилось пересматривать свою оценку отдельных произведений или тенденций в советской культуре. Эта позиция не могла не отразиться на каждом моменте моего собственного творчества, на моих представлениях о проблемах литературы в моей собственной стране. Потому что социалистическое сознание, освещая процессы изменения и общества и отдельной личности, оказывало влияние на понимание всех жизненных проблем как Советского Союза, так и Британии.

Мне никогда еще не удавалось полностью выразить мою благодарность советской литературе за пролитый ею свет. Тогда я думал (так же, как и теперь), что нашел ясную истину, к которой стремился и в жизни и в искусстве, и, начиная с этого момента, мне никогда не казалось, что я живу напрасно.

Но вернемся к тому положению в Англии, которое мы оставили в критический момент 1939 года, когда антифашистский фронт распался под давлением нового комплекса политических и культурных проблем. Кое-что от прежнего единства еще оживало в последующие военные годы. И советские военные романы читались всеми, причем наибольшее восхищение из всех вышедших тогда произведений вызывало «Хождение по мукам» А. Толстого. Но под влиянием холодной войны началось попятное движение. И все-таки даже в самые темные годы этой поры многие элементы единого фронта тридцатых годов оживали в Англии, хотя и весьма ограниченно. Теперь же пессимизм худших времен отступает перед движением, в котором много обещающего, хотя оно пока еще очень неотчетливо и разобщено. Однако обсуждение этого положения отвлекло бы меня от главной темы моей статьи. Поэтому я оставлю его, подтвердив предварительно еще раз свою веру в то, что жизнеспособные элементы, извлеченные из антифашистского периода тридцатых годов, все еще действуют и что раньше или позже, как только прилив демократических сил снова подымется, мы достигнем такого положения, при котором в Англии снова поймут и оценят значение советской литературы в мировом литературном процессе.

* * *

Теперь мне хотелось от исторической картины взаимоотношения наших литератур обратиться к живому критическому рассмотрению социалистического реализма. Создание Союза советских писателей и определение главного направления их деятельности словами «социалистический реализм» было необходимо и закономерно, поскольку советский народ уже делал свои первые гигантские шаги к социализму. Социалистическому же миру по самой его природе присуще более глубокое понимание цели и направления, чем любой другой из предыдущих общественных формаций. И это понимание должно непрерывно шириться и углубляться. Оно должно выражать себя во всех областях деятельности и мышления.

Мне представляется, что термин «социалистический реализм» следует понимать как своего рода указующую веху, которая в данных исторических условиях лучше всего служит мобилизации творческих усилий для движения вперед и в то же время сохраняет готовность критически отнестись к каждому отдельному случаю его определения и выражения. По-моему, неправильно было бы полагать, что если хорошее общее объяснение этого термина однажды было дано, то больше уже не остается никаких серьезных вопросов, а только одно — выискивать недостатки и примеры догматического его применения и потом заявлять во всеуслышание, что этот термин — не что иное, как воспрещающая формула.

Задача состоит в том, чтобы все время подвергать этот термин переоценке, отмечая, как и в чем он является творчески действенным и как и где он преграждает или ослабляет творческий поток.

Достоинства концепции социалистического реализма велики и многочисленны. Во время огромной неразберихи и путаницы в понимании художественных ценностей она помогла нам прочно держаться тех определяющих качеств, которые всегда делали художественное произведение правдивым, прекрасным, глубоко проникающим в человеческую жизнь, и в то же время выступать в искусстве по-новому, в духе искусства социализма. Эта концепция дала нам критерий, который позволяет удерживать искусство на центральной магистрали эволюции

человечества и препятствует его сворачиванию на проселки, в тупики тривиальности и абстракций. Она способствует борьбе за искусство, прочно стоящее на почве человеческого опыта и обращенное к важнейшим сторонам жизни. И все возможные ракурсы, под которыми к ней можно подходить, определяются именно по этим линиям.

Но, конечно, теоретически определить и согласовать различные аспекты социалистического реализма в критической концепции гораздо легче, чем воплотить их с успехом в художественном произведении. И критикам слишком часто не хватает понимания того, что обобщенные, предвзятые представления о том, что «должно быть», никогда не соответствуют в точности действительному произведению искусства, так как оно вырастает в благотворной атмосфере жизни. Кроме того, имеется и тенденция произвольно ставить жизнь и искусство на свои места, подрезать их, чтобы пригнать в аккуратные категории *априорных* формулировок.

Эта слабость или заблуждение проявились, на мой взгляд, в частности, в попытках определить, что имеется в виду под конфликтами социалистического общества. Казалось, часто просто боялись, что признание наличия конфликтов будет означать понижение социалистического общества до уровня классового — как будто не бывает другого рода конфликтов, чем конфликты классовые! Никому не нужный уход от действительности подсказывался заключением, что единственно возможным конфликтом в социалистическом обществе является конфликт между социалистической личностью и буржуазными пережитками. Такое представление не позволяет вникнуть в конкретное и правдивое рассмотрение сложных сил, формирующих социалистическую личность, или серьезно и глубоко рассмотреть сами буржуазные пережитки. При таком подходе к вопросу социалистическую личность превращают в манекен, и она перестает быть живым человеческим существом, развитие которого имеет свои особые внутренние конфликты, проблемы, нужды. А буржуазные пережитки превращаются при этом в некое пугало с карикатурной физиономией. И таким образом, реальный вопрос о том, что́ социалистическое общество восприняло от классового, схематизируется, превращается в бессмыслицу.

Такого же рода извращение сказывается подчас и в истолковании других аспектов социалистического реализма — вопросов о типическом и о положительном герое. Понятие типического необходимо как мерило, помогающее нам установить различия между ошибочным или незначительным в искусстве и образами, имеющими универсальное значение. Для большого искусства типическим является то, что воплощает в себе наиболее существенные силы общества, наиболее глубокие его конфликты. Много ли, например, людей в Испании в дни Сервантеса вели себя подобно Дон-Кихоту? И тем не менее Дон-Кихот подлинно типичен, ибо в нем воплощены нравственное решение и конфликт, характерные для мира Сервантеса, чего ни один натуралистический образ воплотить не способен. Необходима творческая и критическая проницательность, чтобы уловить разницу между такого рода творчески воссозданным отображением человеческой жизни и просто беспочвенной фантазией, и всегда легко найти множество на вид бесспорных и обоснованных доводов для отрицания подлинно нового.

Нам нужна концепция положительного героя, чтобы восстановить в романе движущую силу и одновременно нравственное и художественное единство. Процесс освобождения от старого и становления нового не может не иметь для социалистической эстетики главенствующего значения. Но примитивная идеализация или методы прямолинейных решений по принципу deus ex machina способны только помешать определению новой, социалистической целостности. Нужно понять, что целостный и многосторонний человек может развиться только путем долгого и трудного процесса, искореняющего классовые пережитки в социалистическом обществе и превращающего само социалистическое общество в коммунистическое.

Только терпеливое и углубленное постижение действительного характера как отдельных черт, унаследованных от классового общества, так и всего процесса формирования целостного человека коммунистического общества дает возможность избежать прямолинейного и упрощенного художественного разрешения этих проблем.

А это в свою очередь подразумевает дальнейшее развитие марксистской диалектики. Только тогда мы и сможем понять стадии долгого и очень сложного процесса изменения, в ходе которого разделение труда уступит место всесторонне развитому человеку, товарное производство — коммунистическому, государственные формы контроля и управления в различных сферах жизни социалистического общества перевоплотятся в организационные формы коммунистического общества.

Тот факт, что некоторые мыслители упорно замалчивают эти проблемы и не принимают их в расчет, не означает, что они не существуют. Мы должны всегда помнить о них, если хотим иметь полную перспективу изменений, превращающих классово-антагонистическое общество в социалистическое, а социализм — в коммунизм. Немного пользы и от абстрактного или узкоограниченного их понимания (особенно в мире, в котором империализм все еще угрожает самому будущему всего рода человеческого), но если мы упустим их из сферы нашего внимания, то вообще утратим целостную перспективу марксистского мировоззрения и приобретем склонность к близорукому и чисто прагматическому отношению к действительности. Я поднимаю эти вопросы не потому, что у меня самого на

каждый из них готов ответ. Я убедился, что стоило только моим мыслям отвлечься от них, как я становился слабее как художник. И когда я бросаю широкий взгляд на советскую литературу, мне кажется, что и о советских писателях будет вполне справедливо сказать нечто подобное, хотя сами они по-разному трактуют этот спорный вопрос.

Иного рода опасность возникает, когда начинаешь применять понятие «реализм», исторически узко ограничив его. При этом теряешь связь с традицией и усваиваешь полное ложной снисходительности отношение к искусству прошлого. Так, в частности, произойдет, если рассматривать наш реализм или, к примеру, тот реализм, который начинается с Гоголем, Толстым, Тургеневым, Чеховым, как высшее достижение искусства в его движении к некоему заранее заданному идеалу. Все художественные усилия до них предстаются тогда лишь несостоятельными порывами к достижению этого уровня. Сами же по себе, как живые явления, имеющие собственную художественную ценность, они для нас уже не существуют, так как мы при этом не замечаем их человеческой и художественной целостности и противоречий. Мы усваиваем абстрактно эволюционистское отношение к ним, которое отнимает у них жизненность и укладывает их в мертвые схемы.

Подобного рода сужения и ограничения понятий реализма и социалистического реализма ведут к уничтожению личной инициативы и к установлению мерил, нивелирующих искусство, делающих его безжизненным. Фактически это влечет к поддержке, вместо реализма, натурализма и к отрицанию роли воображения, фантазии, необходимых каждой здоровой культуре. Этот замаскированный натурализм и замещает многообразие жизни искусственно пригнанным образом, который одинаково подходит к любому месту и времени, потому что не имеет органической связи ни с какой реальной средой определенно.

Я затратил некоторое время на рассмотрение тех толкований понятия «социалистический реализм», которые, на мой взгляд, могут привести к превращению этого животворного понятия в мертвую формулу. Я делаю это не потому, что хотя бы на минуту поколеблена моя вера в плодотворность новых усилий и в теории и на практике совершенствовать это понятие. Я делаю это потому, что только постоянная критическая настороженность может гарантировать наибольшую успешность и полноту развития социалистической культуры. К тому же, таким образом, мы можем бить их же собственным оружием тех противников социалистического реализма, которые пытаются сыграть на этих недостатках и ошибках, чтобы преуменьшить все достижения социалистической культуры и подорвать доверие к ней в целом. Мы должны доказать, что нам не страшно самое придирчивое обследование наших позиций и нашего творчества. А предпринимая это обследование сами, мы выбиваем у противников почву из-под ног и тем самым даем правильное освещение тех огромных и прочных достижений социалистической культуры, которые неразрывно связаны с представлением о советской культуре.

Мои замечания, как уже было сказано, представляют в равной степени и критику и самокритику. Я знаю, что нередко и сам сужал свое понимание реализма и стремился пригнать жизненный материал к некоему готовому образцу, вместо того чтобы проникнуть в материал настолько глубоко, что само его решение естественно приведет к этому образцу. Но, повторяю, никаких легких способов и заранее готовых рецептов решения быть не может. Мы разведываем новые пласты сознания и жизненного опыта и стараемся создать новое общество, в котором жизненные взаимоотношения личности и общества осуществлены с небывалой целостностью. Мы боремся за социализм, при котором осуществление сознательного понимания этих личных и общественных факторов должно пойти по-новому, с небывалой отчетливостью и внутренней глубиной. При этом неизбежно, что подчас усилия прояснить положение вещей будут заходить слишком далеко, что мы будем представлять себе проявление по-новому целеустремленного сознания слишком упрощенно и механистично. Но все это не опасно, если мы время от времени будем подвергать себя критике, а затем снова бороться за более полное художественное решение наших задач.

Социалистический реализм открыл нам доступ в новый мир человеческих переживаний. Он сообщает нам силы и энергию для новых смелых художественных экспериментов и для вторжений в еще не исследованные области человеческого бытия, в еще не изведанное в человеке. Ибо единство человека с природой диалектично. Постигая неизведанное в природе, мы движемся по внешней линии, проходящей *вне* нас самих, но вместе с тем и по направлению *внутрь* себя, к знанию о себе самих. Понимание нашего внутреннего мира является одной из задач социалистической культуры. Эта культура связывает движение общества вперед, к коммунизму, с развитием личности по линии подчинения себя коллективу — подчинения и свободы, в которой нет и тени отчуждения и оторванности от коллектива, свойственных ей в классовом обществе. В этом, по-моему, и заключен глубочайший смысл борьбы с пережитками капитализма. Решение этой задачи должно быть достигнуто общими усилиями. Но в ходе ее решения каждая отдельная личность должна стремиться к тому, чтобы стать новым, многосторонне развитым, целостным человеком. И роль литературы в этом процессе велика и ответственна.

А. Чаковский

Восемьдесят тысяч километров вокруг самого себя

(По поводу выступлений Альбера Камю)

Если считать, что цель — ничто, а движение — все, то в подобного рода путешествии есть определенный смысл. «Куда вы идете?», «Куда вы пришли?» — могут спросить такого путешественника. Поседевший, изборожденный морщинами, с померкнувшим взором, со сбитыми в кровь ногами и рубцами на сердце, он пожмет плечами в ответ: «Я жил...» В его ответе может прозвучать усталость и разочарование или гордость. Как убедить этого странника, что его многолетнее путешествие было напрасным? И можно ли его убедить? Ирония судьбы: изобретатели вечного двигателя существовали и до того, как люди догадались использовать двигательную силу пара, и в век спутников. Люди, как правило, высмеивают этих «мучеников идеи». Но бесцельность пути вокруг самого себя часто остается неразгаданной. И они, эти путешествия, повторяются из века в век, из десятилетия в десятилетие. И те, кто совершает их, до наивности гордо опираются на свой страннический посох...

Известно, что странствовать таким образом можно не только по земле, но и в области мысли. Для этого есть проторенные пути. Они — как модные и благоустроенные туристские маршруты: пара грозных водопадов, которыми можно любоваться и щекотать себе нервы из безопасного далека; может быть, рык диких зверей, если маршрут проходит по хорошо освоенным туристскими компаниями «джунглям»; какой-нибудь ветхий по виду мост, называемый чертовым, поскольку черт, как известно, является обладателем большинства мостов в мире; а потом — привычная прекрасная автострада, на которой можно отдохнуть от пережитых «опасностей».

Путешествующий по замкнутой философской кривой подобен такому туристу. Он достоин сожаления, если не знает, что весь его «интеллектуальный», «полный неожиданных опасностей», «неповторимый», сугубо «индивидуальный» маршрут уже давным-давно разработан невидимыми режиссерами. Но он достоин презрения, если знает, что сам идет в никуда и ведет в тупик следующих за ним людей.

...Непосредственным поводом для написания этой статьи явилась речь Альбера Камю при вручении ему Нобелевской премии, а также последующая лекция писателя, названная «Художник и его время». Эта лекция была ранее известна только по отдельным выдержкам в прессе и лишь теперь появилась целиком, в виде специальной брошюры.

Выступления Камю примечательны и показательны не только как образцы антинародной, политически спекулятивной эстетики. Читая их, можно ясно представить себе, за какие исповедания, эстетические и политические, с наибольшей охотой венчает в последние годы шведская Академия нобелевскими лаврами своих избранников на поприще литературы.

Лицемерие всегда отвратительно. Лицемерие под маской олимпийской беспристрастности отвратительно вдвойне. Шведские академики, как, впрочем, и все идеологи «западного мира», любят говорить о несовместимости целей литературы с целями политическими — одна из форм великого мошенничества, великого по масштабам, в которых оно каждодневно совершается. Выступления Камю примечательны и с этой точки зрения. Они показывают, что кроется под «интеллектуальными поисками» «высоколобых», куда ведет их «путешествие мысли».

* * *

Глубокомыслие обычно импонирует. Речь и лекция Альбера Камю по форме чрезвычайно глубокомысленны. В их нарочитой интеллектуальной усложненности есть нечто жреческое. Они рассчитаны на «высоколобых» и противопоказаны «непосвященным». Я бы сказал, что выступления нобелевского лауреата не только сложны, они хитроумны.

Альбер Камю чувствует пульс времени. Он знает мир, в котором живет, и не сводит глаз с календаря. Французский драматург не зовет писателей в пресловутую уединенную башню. Ему хорошо известно, что слоновая кость не предохраняет ни от атомной радиации, ни от народного гнева.

К тени Оскара Уайльда он взывает лишь для того, чтобы обрушиться на теорию «искусство для искусства».

«Лично я не могу жить без моего искусства,— говорит Камю в своем первом выступлении.— Но,— продолжает он,— я никогда не ставил это искусство превыше всего. Напротив, если оно мне необходимо, то лишь потому, что оно ни от кого себя не отделяет и позволяет мне, такому, как я есть, жить на одном уровне со всеми. В моих глазах искусство не уединенное наслаждение. Оно является средством приводить в волнение наибольшее количество людей, предлагая им исключительные образы страданий и радостей, свойственных всем. Значит, оно обязывает художника не отстраняться от мира, оно подчиняет его правде — самой скромной и самой всеобщей».

Произнося эти слова, Камю завоевывает право на внимание. Люди по обе стороны баррикад прислушиваются к нему. Те, кто знает политическое кредо Камю,— одни настороженно, другие чуть изумленно — приподнимут брови: «любопытно, что он скажет дальше?»

«Каковы бы ни были наши личные слабости,— говорит дальше Камю,— благородство нашего ремесла всегда будет уходить корнями в два нелегко выполнимых обязательства: отказ от лжи и сопротивление угнетению».

Это звучит более чем современно. Неужели Камю опостылела ложь буржуазного мира? Неужели переполнена чаша терпения писателя, которым никогда доселе не владел пафос социального обличения? Неужели стоны жертв, истязуемых французскими парашютистами, донеслись до него из алжирских застенков и в сердце его, наконец, ударили волны от разрывов франко-английских бомб на арабской земле? Что случилось с Альбером Камю?

Он продолжает: «Перед лицом мира, которому угрожает распад, в котором наши великие инквизиторы прибегают к попыткам навеки установить царство смерти, оно (речь идет о поколении, к которому причисляет себя писатель.— *А. Ч.*) должно, обгоняя время, восстановить между нациями мир, который не был бы основан на рабстве, вновь примирить труд и культуру и снова построить арку единения со всеми людьми».

Что ж, скажут те, кто услышит эти слова, никогда не поздно понять истину. Ее можно начать понимать даже, так сказать, «по частям».

Нотки элегической грусти и пессимизма соседствуют в речи Камю с высказываниями, подобными только что приведенным. «Каждое поколение верит, что оно призвано переделать мир»,— говорит Камю,— но «мое поколение знает, что оно его не переделает»,— добавляет он. Оптимисты простят эти слова несколько запоздало прозревшему писателю, особенно когда они услышат его заверения, что задача современного поколения, «быть может, еще огромнее. Она состоит в том, чтобы помешать разрушить мир».

Что ж, браво, Альбер Камю! Слушатели вправе предположить, что нобелевский лауреат, незадолго до получения премии рассыпáвшийся в симпатиях к венгерским фашистам, претерпел удивительную метаморфозу. Видимо, ему, поднявшемуся на стокгольмский Олимп, внезапно открылась истина: это бывает — ведь, как известно, с горы лучше видишь мир, чем с равнины.

Многое в традиционной «тронной речи» лауреата с сочувствием было выслушано теми, кому осточертели войны, недоверие и подозрительность, царящие в мире, жестокая пошлость буржуазного образа жизни. Они, наверно, были снисходительны к некоторым «туманностям» высказывания Камю, к некоторым неопределенным намекам и экивокам — ведь он все же сказал о главном, дотронулся до тех струн человеческой души, которые не могли не зазвенеть в ответ.

Конечно, не у всех, кто слышал или прочел речь Камю, были время и возможность попасть тремя днями позже в большой амфитеатр Упсальского университета, где увенчанный лаврами француз прочел лекцию, озаглавленную «Художник и его время».

А жаль! В стокгольмской ратуше Камю говорил формулами. В лекции он их расшифровывал. В своей речи он ставил точки. В лекции он заменил их запятыми и двоеточиями, показав поистине страшный талант демонстрировать двойное дно понятий, которые по общепринятой логике должны иметь только одно значение.

В своей речи Камю выдвинул формулу связи художника с обществом. В лекции она расшифровывается. Оказывается, это связь заключенного со своей камерой, раба с галерой, к которой он прикован. «Для художника, — говорит Камю, — речь идет не о добровольном вступлении в армию, а скорее об обязательной военной службе. Всякий художник сегодня прикован к галере своего времени. Он должен с этим примириться, даже если полагает, что она безнадежно провоняла селедкой, что на ней слишком много надсмотрщиков и что, помимо всего, взят неверный курс. Мы в открытом море. Художник, как и все остальные, должен тоже грести и при этом, если может, не умереть, иначе говоря, продолжать жить и творить».

Произнося эти слова, Камю уже не оставляет сомнений у слушателей. В своей предыдущей речи он напоминал человека, который ведет по дороге доверившихся ему товарищей, не подозревающих, что за поворотом пропасть. Камю слишком поторопился отбежать в сторону. Видимо, у него не хватило выдержки. У тех, кто шел за ним, осталось время, чтобы увидеть, куда их вел новоявленный Моисей.

Однако лауреат не так прост, чтобы не попытаться взять реванш за свою опасную поспешность. Он раздваивается и расчетве-

ряется на глазах у слушателей, он пытается стать одновременно Христом и Иудой, пророком Иеремией и инквизитором Торквемадой, кричать одновременно «долой!» и «да здравствует!», звать вперед и вести назад, защищать и предавать.

Он говорит:

«...на арене истории всегда были жертва и лев. Первая поддерживала себя надеждой на вечные утехи, второй — обильно кровоточащей исторической пищей. Но до сих пор художник находился на скамьях амфитеатра. Он лел без цели, для самого себя или, в лучшем случае, чтобы ободрить жертву и немного отвлечь льва от его голода. Теперь же, напротив, художник находится на арене».

Но ведь арена — это галера, не так ли? И к ней ведь можно быть только «прикованным»? Да, Камю сказал именно так. Однако несколькими минутами позже он уже пытается придать своему определению совсем новое истолкование. Продолжая мысль о льве, жертве и художнике, он говорит: «Разумеется, можно вечно противопоставлять такому положению вещей гуманные сетования, стать тем, чем хочет быть во что бы то ни стало Степан Трофимович из «Бесов», — воплощенным укором. Можно также, подобно этому персонажу, испытывать приступ гражданской скорби. Но эта скорбь ничего в действительности не меняет. По-моему, лучше занять свое место в жизни эпохи (чуть раньше это называлось «быть прикованным к провонявшей селедкой галере»), коль скоро она этого так настоятельно требует, и спокойно признать, что прошло время дорогих мэтров, художников с камелиями и гениев в кресле».

И далее:

«...наше время характеризует прежде всего тот факт, что массы и их нищенские условия вторглись в поле зрения современного сознания. Ныне известно, что они существуют, тогда как раньше были склонны об этом забывать. И если теперь это известно, то отнюдь не потому, что избранные круги, артистические и прочие, стали лучше, но потому — в этом можно быть твердо уверенным, — что массы стали сильнее и не дают о себе забывать».

Попробуем проделать маленький эксперимент и пересказать все произнесенное Камю своими словами. Итак:

Он стоит за искусство, связанное с обществом. Это общество — провонявшая галера, в экипаж которой нельзя вступить добровольно, на ней плывут лишь прикованные невольники. Нет, впрочем, это общество — не галера. Оно — арена, на которой столетиями продолжается кровавый пир льва, пожирающего свою жертву. Ныне художник переместился из амфитеатра цирка на самую арену. Это очень хорошо, там его настоящее место вопреки всякому отвлеченному гуманизму.

В этих рассуждениях видны явные противоречия. С «прикованностью» можно примириться, но к ней нельзя призывать и тем более ее нельзя любить. Образ льва, раздирающего свою пассивную жертву, и утверждение, что «массы стали сильнее», тоже не очень вяжутся между собой.

Вернемся, однако, к высказываниям лауреата. Он громит безответственность людей искусства буржуазной Европы. Он презирает тех «дельцов от искусства» буржуазной Европы до и после 1900 года, которые избрали безответственность, ибо ответственность предполагает полный разрыв с их обществом... «Именно к этой эпохе, — продолжает Камю, — относится теория «искусство для искусства», которая является не чем иным, как провозглашением права на безответственность».

Не правда ли, сильно сказано? Но Камю способен и на более категорические утверждения:

«Искусство для искусства, забава одинокого художника, есть поистине искусственное искусство лишенного естественности и отвлеченного общества. Его логическое завершение — салонное искусство, иначе искусство чисто формальное, которое кормится прециозностью и абстракциями и приводит к разрушению всякой реальности... Что же удивляться, если почти все, что было создано ценного в торгашеской Европе XIX и XX веков, скажем, в области литературы, враждебно обществу своего времени! С того момента, как буржуазное общество, рожденное революцией, стабилизировалось, развивается, напротив, литература бунта».

Произнося эти тирады, Камю все еще явно заинтересован в широкой аудитории. Он снова повторяет слова, которые не могут не встретить сочувствия и понимания. Еще несколько таких фраз — и ему начнут доверять даже те, кто знает, какие политические идеи он исповедовал доселе, те широкие массы интеллигенции, которым ненавистен торгашеский дух буржуазного общества, которые видят в литературе одухотворенное орудие борьбы за лучшее будущее, те, кто презирает «искусство для искусства». Итак, еще несколько фраз, слушайте! «...люди и художники решили оглянуться назад и вернуться к правде. С этой минуты они отвергли право художника на одиночество и предложили ему в качестве сюжета не его грезы, но действительность, пережитую и выстраданную всеми. Убежденные в том, что искусство для искусства, как его сюжеты, так и стиль, не поддается пониманию масс или не выражает ничего из их правды, эти люди захотели, чтобы художник, напротив, поставил перед собой цель говорить для многих и о многих. Пусть он передает страдания и радости всех на языке всех — и он будет понят повсюду».

Значит, да здравствует реализм! Не натурализм, который «по отношению к искусству является тем же, чем фотография по отношению к живописи: первая воспроизводит, тогда как вторая производит отбор», а именно реализм!

Альбер Камю, этот признанный антикоммунист, ходит здесь по острию ножа. Ведь

ему остается только уточнить свой принцип «отбора» жизненных явлений, который, чтобы не быть в противоречии со всем вышесказанным, должен заключаться в выделении наиболее типичных, исторически жизнеспособных, характерных явлений действительности, — и на наших глазах произойдет чудесная метаморфоза: Альбер Камю станет защитником некоторых основных принципов социалистического реализма!

И Камю произносит эти слова: «социалистический реализм». Но теперь он полагает, что слушатели уже настолько расположены к нему, что можно полностью открыть свои истинные цели.

«В самом деле, — продолжает Камю, — он (социалистический реализм. — *А. Ч.*) открыто признает, что нельзя воспроизвести действительность, не прибегая к отбору... Ему остается лишь найти принцип отбора... И он находит его, но не в действительности, известной нам, а в действительности, которая будет, то есть в будущем». Но, «как возможен социалистический реализм, — восклицает оратор, — если действительность еще не является полностью социалистической?»

Лауреату кажется (а может быть, он просто хочет создать такое впечатление), что социалистический реализм повергнут в прах силой «уничтожающей логики». Это просто умилительно по своей наивности! Точно средневековый монах или волшебник, Камю произносит заклинание и, убежденный в его несокрушимом могуществе, идет дальше, даже не оглянувшись, чтобы убедиться, подействовало ли оно.

В коллизиях социальной борьбы рождаются подчас явления причудливые. Иной раз люди, одаренные бесспорными способностями, даже талантом в какой-либо области, проявляют необъяснимую на первый взгляд узость и ограниченность мысли в другой — как правило, в области общественно-политической. Примером тому может служить хотя бы книга Уэллса «Россия во мгле».

Конечно, Камю трудно сравнивать с Уэллсом как с точки зрения удельного веса в литературе, так и со всяких иных точек и сторон. Автор «России во мгле» во многом заблуждался, но ему нельзя было отказать в *стремлении* понять и разобраться. Камю все ясно. Он выступает, как некий носитель истины в последней инстанции, который, подобно католической церкви, не может ошибаться. Сконструировав на ходу невероятную по своей наивности и немыслимости литературно-политическую «теорию», он пытается выдать ее за «социалистический реализм». Искусственно созданная «теория» не замедлила тут же развеяться в прах. Ну и что же из этого? Какое отношение имеет подлинный социалистический реализм к измышлениям Камю?

Имей мы дело с искренним заблуждением, с обусловленным логикой классовой борьбы непониманием сложных проблем нового мира, как это случилось с тем же Уэллсом, — был бы смысл набраться терпения и поспорить с Камю. Для начала стоило бы просто перечислить хотя бы два десятка советских книг, являющихся творческим воплощением метода социалистического реализма, книг, в которых плоть и кровь современности одухотворены взглядом в будущее и озарены светом этого будущего. Затем, может быть, имело бы смысл объяснить Камю, что социалистический реализм не отбирает «факты» из «будущего», поскольку это попросту невозможно, а лишь учитывает тенденции общественного развития, ведущие в это будущее.

Впрочем, все это было бы бесполезно. Социалистический реализм, такой, какой он есть в действительности, не нужен Камю. Его вполне устраивает лживая схема, призрак, созданный им самим. Отрицая много общепринятых истин, Камю твердо усвоил, по крайней мере, одну: с призраками проще и легче бороться.

Итак, «покончив» с социалистическим реализмом, Камю приступает к объяснению, что же такое, с его точки зрения, истинное искусство: «В известном смысле, искусство есть бунт против мира... — объявляет Камю. — Оно одновременно отречение и согласие, и оно может быть только без конца возобновляющимся разрывом. Художник всегда пребывает в состоянии этой раздвоенности...»

И наконец:

«Цель искусства... не в том, чтобы давать законы и властвовать, но прежде всего в том, чтобы понимать... Ни одно гениальное творение никогда не основывалось на ненависти или презрении. Вот почему художник в конце своего пути отпускает грехи, а не осуждает. Он не судящий, но оправдывающий... Воинствующий писатель только тот, кто, вовсе не отказываясь от боя, отказывается, по меньшей мере, присоединиться к регулярным войскам, я бы сказал — вольный стрелок. ...Искусство шагает между двух бездн: пустотой и пропагандой. На этой полоске гребня, по которому продвигается великий художник, каждый шаг — крайне рискованное приключение. Однако в этом риске, и в нем одном, — свобода искусства».

Зигзагообразное путешествие «вокруг самого себя» завершено. Шаг вперед: долой «искусство для искусства», художник должен быть связанным с обществом, он должен быть «ответственным». Шаг в сторону: социалистический реализм «немыслим», его «не может быть». Два шага назад: даже в том случае, когда «ставшие сильными» массы победят, художник не должен присоединяться к ним, его удел и долг — вечная «оппозиция», вечный протест, путешествие между «двух бездн»...

Итак, лев по-прежнему на арене и терзает свою жертву. Этот образ не преходящ. Он вечен. Вы сделаете ошибку, если в образе льва усмотрите символ, скажем, капиталистического угнетения (кстати, эту ошибку сделать не так уж невозможно, читая начальные рассуждения Камю), а в образе жертвы — массы угнетенных людей.

Такое представление предполагает историческую конкретность данной аллегории, а Камю хочет доказать своим слушателям, что она не подвластна времени. В крайнем случае лев и жертва могут поменяться местами. И тогда шагающий между «пустотой и пропагандой» писатель, до сих пор защищавший жертву, ныне автоматически становится адвокатом льва. Таким образом, для искусства сохраняется та самая «свобода», которая ныне входит в почти официальное название построенного на угнетении капиталистического мира, подобно вывеске на фронтоне универсального магазина: «Дамское счастье», «Детский мир», «Свободный мир»...

Если неправое дело может делаться талантливо, то это слово приложимо к лекции Альбера Камю. Неправда в его речи искусно переплетена с правдой, отлично «выверена» терминология, «безупречно», бесшумно срабатывают «стрелки», посредством которых поезд направляется с правильной дороги в тупик и под откос.

Камю хочет внушить нам мысль, что вечный удел писателя и его императивный долг — быть на стороне жертвы. Но если это так, то вечно и разделение человечества на льва и жертву. Так обстоит дело при капитализме, так и при социализме. Но зачем тогда стремиться к выходу из капиталистического бытия? Чтобы заменить одни страдания другими? Ведь цель — ничто, движение — все...

Капитализм нуждается для своей защиты в кадрах разной квалификации. Ему нужны фашисты и полицейские, дешевые демагоги и «высоколобые» интеллектуалы. Есть такое модное на Западе словечко «завербованность» — его наши враги обычно привешивают в качестве ярлыка советским писателям.

«Завербованность» Альбера Камю совершенно очевидна. Больше того, он, видимо, накрепко «прикован» к провонявшей селедкой галере современного капитализма. Есть знаменитая фраза о том, что раб, осознавший свое рабство, тем самым наполовину уже перестает быть рабом. Но галерный раб, поэтизирующий свое рабство, видящий в нем основу для «творческой свободы» и готовый назавтра стать защитником своих надсмотрщиков, если эти последние по воле возмущенных рабов поменяются с ними местами, — такой раб поистине достоин презрения.

Тема лекции Альбера Камю далека от академизма. Он клевещет на социализм. Он призывает советских писателей обрести «свободу творчества», встав на путь измены делу народа, на путь защиты и поэтизации жертвы — то есть, говоря на языке политическом, ничтожного меньшинства, против которого направлено острие диктатуры пролетариата. В дни, когда родная страна Альбера Камю теряет одну за другой свои свободы, когда с каждым часом все ярче разгорается пламя народно-освободительной борьбы в Алжире, когда народы Азии и Африки объединяются в своем стремлении сбросить с себя колониально-империалистическое ярмо, нобелевский лауреат проповедует бесцельность борьбы за лучшее будущее, призывает писателей быть в оппозиции к победившему народу во имя пресловутой «свободы творчества»!

Что же такое «свобода творчества»?

Если очистить зерно рассуждений Камю от красивой и обманчивой словесной шелухи, то мы увидим, что его понимание свободы, свободы творчества, выглядит весьма узким и примитивным.

Свобода, в понимании Камю, это оборотная сторона той самой «безответственности», против которой он как будто ратует. Это «свобода» не связывать себя с «армиями» (в том числе имеются в виду большие народные движения, конечно) и пребывать «вольным стрелком»; «свобода» всегда оставаться на стороне «поверженных», не думая, не рассуждая, на чьей стороне правда; «свобода» от ответственности за то, как развивается история. Следуя этим «принципам», надо сегодня защищать Джамилу Бухиред и Аллега — жертвы французских парашютистов, а когда этим последним придется (придется!) стоять перед судом возмущенного народа, то защищать их, вчерашних палачей. Что стоит такая «свобода»? Кому нужна «высокоинтеллектуальная» свобода властителей дум современного буржуазного общества, которая, если подумать хорошенько, реальна и беспредельна только в том случае, когда надо защищать капиталистический образ жизни, пропагандировать тщетность борьбы и клеветать на Советский Союз.

Прежде чем спорить, надо условиться о терминологии. Под словом «свобода» можно разуметь то, что имеет в виду Камю. Но за этим словом можно видеть и другое, а именно — сознательную, глубоко продуманную готовность связать свои устремления с волей большинства народа, связать не вследствие «прикованности», даже не из отвлеченного принципа, а из святой уверенности, что правда на стороне народа. И она остается правдой и тогда, когда народ идет за нее в бой, и тогда, когда он побеждает.

Мы — за подлинную свободу, против обманчиво-красивой мишуры, под которой скрывается политое кровью поколений капиталистическое ярмо.

* * *

Изощренная, многими десятилетиями оттачиваемая буржуазная техника духовного воздействия на людей заключается в том, чтобы исказить их представления о реальности. Эта техника многообразна — от примитивных приемов до виртуозных методов психического растления. Но цель одна: заставить рабочего поверить, что он такой же пайщик предприятия, как и его хозяин, убедить владельца заложенного и перезаложенного, отягощенного банковскими долгами клочка земли, что он «самостоятельный собственник»; поощряя искусство обес-

человеченных, враждебных гуманизму абстракций, травя малейшую попытку сделать искусство орудием борьбы народов за лучшее будущее, — внушить опутанному тенетами буржуазных предрассудков художнику, что он «свободен».

Капитализму мало подчинить себе художника, заставить делать его то, а не другое. Важно внушить при этом ему мысль, что он делает это «то» — свободно, без тени принуждения. Такова капиталистическая техника растления человеческих душ. Наиболее смелые и честные художники стихийно, а иногда и сознательно вырываются из этих тенет. И тогда появляются книги, рассказывающие правду о нашей эпохе.

Но книги эти написаны *вопреки* капиталистическому принуждению, лицемерно называемому свободой. Они написаны во имя свободы подлинной, которую можно обрести только на пути слияния своей воли, своих усилий, своих идеалов с волей, устремлениями и идеалами народов, которые, в отличие от пророков, в конечном итоге не ошибаются никогда.

«Свобода творчества» — одна из тех роковых приманок, какими пользуется буржуазия, чтобы толкнуть людей искусства в сторону от путей, на которых обретается подлинная, а не эфемерная свобода духа и творчества. «Интеллектуальные капитаны» современного Запада и в их числе Альбер Камю — толкают художников на бесплодные умозрительные искания, отравляющие их вкус к реальной жизни и парализующие волю. Кое-кому из писателей Запада кажется, что в этих бесплодных поисках, в стороне от столбовой дороги истории, они обретут Синюю птицу, имя которой Свобода.

Но это трагическая ошибка.

Есть древняя исландская сага — ее мотивы повторяются в преданиях других народов. Человек покинул родину и отправился в долгое путешествие. Ему кажется, что он отсутствовал несколько лет, но прошли тысячелетия. Когда странник возвращается к отчим берегам, все кажется ему чужим; он не знает никого, и все забыли его. И ставший анахронизмом, человеком далекого и почти нереального прошлого, он рассыпается в прах, в пепел, едва ступив на берег, бывший когда-то родным.

Длительные путешествия «вокруг самого себя» — опасная вещь. Мир, населяющие его люди не стоят на месте. Они идут вперед. Они продвигаются с боями, терпят поражения, побеждают и снова идут вперед и вперед.

И не рискует ли странник, идущий по замкнутому кругу, вернувшись однажды в родные места, оказаться ненужным, чужим и забытым?..

Р. Самарин

Вопросы литературы на IV Международном съезде славистов

С 1 по 10 сентября 1958 года в Москве в здании Московского государственного университета на Ленинских горах проходил IV Международный съезд славистов-филологов.

Научные съезды славистов — традиция, родившаяся еще в XIX веке, в ту эпоху, когда многие славянские народы томились под чужеземным игом, не имели самостоятельной государственности, были объектом коварной и бесчеловечной политики так называемых великих держав.

Это накладывало свой отпечаток на прежние съезды славистов. Как отличался от них съезд 1958 года, который объединил прежде всего представителей самостоятельных славянских государств, входящих в лагерь мира и социализма!

Примечательной особенностью IV Международного съезда славистов было то, что уже самый состав и число делегаций, принимавших участие в его работе, свидетельствовали о значительном росте славистики за последние годы и, в частности, за послевоенный период. IV съезд славистов был поистине международным съездом: на нем можно было встретить ученых из всех частей света — делегатов Китая, Индии, Монголии, Канады*, Австралии, Голландии и многих стран Европы и Америки.

Проблематика работ съезда, накапливавшаяся, отбиравшаяся и освещавшаяся в печати в течение последних двух лет, когда подготовка к съезду шла особенно интенсивно, охватывает самые различные области филологических наук — начиная от таких новых явлений, как машинный перевод, и кончая традиционными разделами древнеславянской литературы и устного народного творчества, в которых, как и в целом в славистике, сделано за последние десятилетия немало.

Встреча многих сотен ученых, приведшая к широкому обмену мнениями, была не только демонстрацией достигнутого, взаимным ознакомлением с новыми работами и планами славистических научных центров мира. Вполне понятно, что на съезде вспыхивали острые дискуссии, не всегда приводившие к общему согласию, но важные как для взаимного выяснения позиций, так и для дальнейшей разработки проблем славянского языкознания и литературоведения. Несомненно, съезд дал богатейший материал, который надо осмыслять, изучать и обобщать на страницах нашей научной печати.

Вместе с тем, уже сейчас хочется подвести хотя бы частичные итоги той работы, которая была проделана секциями и подсекциями съезда.

Литературоведческая работа съезда была сосредоточена в особой литературной секции*. В нее входили подсекции, занимавшиеся историей древних славянских литератур, историей славянских литератур XVIII—XIX веков и историей славянских литератур XX века. В работу подсекций включались и доклады, посвященные связям литератур славянского мира с неславянскими литературами, а также и межславянским литературным связям.

Интересную работу проделали состоявшие при литературно-лингвистической секции подсекция славянской стилистики, поэтики и художественного перевода и подсекция славянского стиховедения. Плодотворная деятельность подсекции славянского народного творчества безусловно заслуживает особого, специального рассмотрения.

Такое большое число секций и подсекций объясняется большим количеством и разнообразием материалов, присланных в Оргкомитет IV съезда славистов. Приток материалов был настолько велик, что ознакомление со многими из них пришлось вынести в утренние заседания, проходившие до начала работы подсекций. Но и в этот ранний час аудитории были полны.

Еще до начала съезда его участники могли познакомиться с обширным и очень

* Отметим особо интересное выступление Дж. Уира о культуре канадских славян, сделанное им на IV Международном съезде славистов.

* Кроме того, работали лингвистическая и литературно-лингвистическая секции.

различным по своему качеству исследовательским материалом, предложенным на рассмотрение в виде отдельных изданий.

Болгария, Польша, Чехословакия были представлены сборниками литературоведческих работ, опубликованных отдельно от работ по лингвистике. Такое решение вопроса следует признать верным и удобным. В сборниках, присланных славистами Франции, Австрии, скандинавских стран, материал литературоведческий был смешан с лингвистическим, что отражает самую организацию филологического образования в университетах этих стран. Английские, американские, голландские, итальянские, швейцарские, канадские и югославские доклады были представлены в виде отдельных небольших изданий брошюрного типа.

Весьма обильно была представлена славистика СССР. Отрадно было видеть, что многие высшие учебные заведения СССР, имеющие кафедры русской литературы и русского языка, выпустили к съезду тома ученых записок, посвященные славянской филологии. Академия наук, в течение последних двух лет печатавшая материалы съезда и в журналах и отдельными изданиями, опубликовала, кроме того, серию докладов, что дало возможность участникам съезда широко ознакомиться с работой советских славистов.

В журнальной статье нет возможности рассказать подробно о всех докладах *, о всех дискуссиях и спорах, развернувшихся в ходе работы литературоведческой секции съезда и ее подсекций. Остановимся лишь на некоторых, на наш взгляд, особенно характерных.

В подсекции древних славянских литератур предметом споров стал доклад австрийского ученого Р. Ягодича «О понятии «жанр» в древнерусской литературе»; выступавшие не без оснований указали на то, что проф. Ягодич обедняет и упрощает специфику древнерусской литературы, ошибочно приписывает ей однобокую тенденциозность, не замечает ее художественного богатства. Прямой противоположностью докладу Р. Ягодича был доклад акад. М. П. Алексеева «Явления гуманизма в литературе и публицистике древней Руси XV—XVI вв.» (хотя в ряде случаев в нем речь шла о явлениях несколько более поздних, чем те, о которых говорил Ягодич). М. П. Алексеев убедительно показал человечность и художественное многообразие древнерусской литературы.

Острая дискуссия развернулась вокруг проблемы барокко в славянских литературах. Дискуссия эта подготовлялась обменом мнениями различных ученых накануне съезда. Уже тогда наметилось расхождение по вопросу о барокко между учеными, распространившими этот термин на славянские литературы (например, проф. Еремин), и учеными, которые не считали целесообразным переносить его в обиход истории славянских литератур (например, проф. П. Н. Берков).

Проф. Берков считает, что незачем вводить в применении к русской литературе термин, довольно случайно привившийся в изучении литератур Западной Европы и затем уже совсем случайно перекочевавший в историю литератур славянских стран. Термин барокко, в применении к истории литературы введенный некоторыми немецкими буржуазными литературоведами полвека назад и особенно популярный в двадцатых годах, сам по себе, на наш взгляд, весьма неясен и неустойчив. Некоторые исследователи объединяют под этим условным понятием искусство целой эпохи со всеми его различными течениями, за исключением классицизма *. При таком понимании термина барокко в него включались и произведения многих писателей XVII века, следовавших лучшим традициям эпохи Возрождения, например романы Гриммельсгаузена или эпопея Мильтона **. Другое понимание искусства барокко, определяющее его как «искусство контрреформации», кажется более точным; но при этом в единую стилевую систему объединяются такие различные явления, как испанский культеранизм, английские поэты-метафизики, французская прециозная литература и т. п. К сожалению, острый спор остался не доведенным до конца. Сторонники нахождения барокко во всех литературах, видящие в нем «стиль эпохи», недаром поговаривают о том, что и Ломоносов — барокко... Видимо, проблема барокко применительно к мировой литературе, а не только для славянских стран — одна из назревших дискуссионных проблем, к которой еще придется вернуться.

Работа подсекций славянских литератур XVIII—XIX и XX веков велась по более заметным магистральным проблемам, чем работа подсекции древних литератур. В докладах, посвященных проблемам развития славянских литератур XIX—XX веков, особенно ясно выдвинулась на первый план проблема художественного метода — романтизма, критического реализма, а затем — реализма социалистического. Важно подчеркнуть, что почти все докладчики рассматривали эти вопросы и в плане соотношения отдельных славянских литератур. Много внимания было уделено изучению

* Среди работ, ставящих важные историко-литературные проблемы, отметим хотя бы следующие доклады: Ю. Доланский «К вопросу о генезисе и этапах развития реализма в славянских литературах», М. Новиков «Влияние советской литературы на становление социалистического реализма в румынской литературе», Д. Благой «Закономерности становления новой русской литературы», А. Белецкий «Украинская литература среди других славянских литератур», М. Якубец «О польско-русских литературных связях», Г. Цанев «Возникновение и развитие критического реализма в болгарской литературе».

* Впрочем, есть охотники видеть барокко даже у Корнеля и Расина, там где они отходят от классицизма.

** В английском и американском литературоведении тридцатых-сороковых годов «барочным» объявляли и Шекспира.

влияния русской литературы на другие литературы славянских стран. Были доклады, рассматривавшие связь славянских литератур с неславянскими литературами *.

Доклады проф. Динекова «Развитие романтизма в болгарской литературе до Освобождения в связи с романтизмом в других славянских литературах», Никольского, Соколова и Стахеева «Некоторые особенности романтизма в славянских литературах», А. Слодняк «Поэзия словенского романтизма (1830—1848) и ее место среди славянских литератур» дали, безусловно, много нового. Освещенные в докладах факты прямо говорят о более длительном периоде развития романтизма в славянских странах, иногда о более позднем историческом периоде его формирования. Выступает на первый план и непосредственная связь романтизма в ряде славянских стран с национально-освободительным движением, связь, еще более тесная и действенная, чем в творчестве западноевропейских прогрессивных романтиков. Изучение романтизма в славянских странах дает новый материал, раскрывающий органическую связь прогрессивного романтизма с критическим реализмом, обогащает нас данными об огромном и непосредственном значении живого народного творчества в славянских странах для формирования романтизма**. Бросается в глаза и относительная слабость проявлений реакционного романтизма в литературах славянских стран (возможно, что это наблюдение может быть распространено также на румынскую и венгерскую литературу, о чем, к сожалению, не было речи в докладах, прочитанных на съезде).

Серьезную критику вызвал доклад проф. Гранжара (Франция) «О политическом романтизме славянофилов и народников», превращавший эти совершенно различные течения русской общественной мысли в некие этапы развития романтических идей в России. Ошибочность позиции проф. Гранжара была показана в выступлении проф. С. Макашина.

Особенно много споров разгорелось вокруг ряда проблем, связанных с историей критического реализма в славянских литературах. Доклад проф. Доланского (Чехословакия) «К вопросу о генезисе и этапах развития реализма в славянских литературах», дававший широкую научную основу для обмена мнениями по этому поводу, не вызвал прямых возражений. Марксистская концепция Ю. Доланского была поддержана и развита на примере отдельных национальных литератур в докладах «Становление реализма в украинской литературе» (проф. Д. В. Чалый), «Возникновение и развитие критического реализма в болгарской литературе» (проф. Г. Цанев), в докладах Р. Лалича и И. Кусого, освещавших значение русского реализма в становлении сербской реалистической литературы и значение международных литературных связей для развития реализма в словацкой литературе. В связи с общим кругом вопросов, имеющих отношение к проблеме критического реализма, большой интерес представляли доклады В. Дювеля (ГДР) «Теория разумного эгоизма» Чернышевского и Людвига Фейербаха» и М. Вегнера (ГДР) «Гегель и Чернышевский. К вопросу о категории прекрасного». Вообще, одним из отрадных явлений съезда был рост международного интереса к деятельности русской революционной демократии, что отразилось в докладах Г. Цигенгайста (ГДР) «Вновь открытые высказывания Александра Герцена относительно русского идейного движения с 1812 по 1848 г.» и М. Партридж (Великобритания) «Александр Герцен и английская пресса». С интересом был выслушан доклад проф. Эджертона (США) «Лесков и славянские братья России», проникнутый симпатией к русскому писателю и его друзьям из числа польских и украинских демократов *.

С концепцией критического реализма, наметившейся в большей части докладов, в корне расходились некоторые выступления, посвященные, на первый взгляд, мелочам, деталям творчества отдельных писателей-реалистов, но на деле пытавшиеся отвергнуть подлинно научные взгляды на творчество этих писателей. Любопытно, что эти доклады касались только русских писателей: русская литература стала в данном случае мишенью для целого ряда выступлений, по существу извращавших смысл и значение творчества великих ее представителей — Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Достоевского и других.

Так, в сообщении Э. Брауна (США) «Станкевич и Белинский» великий русский критик выглядел «раcски зависящим» от необыкновенно идеализированного Станкевича, выросшего, в сообщении Брауна, чуть ли не в гигантскую фигуру русской литературы. В сообщении К. ван хет Реве (Голландия) «Молчание Крылова» великий русский сатирик был изображен как некий подражатель, быстро вышедший из моды. Любопытно, что докладчик при этом подчеркивал тот факт, что свои данные он получил в результате последовательного применения при изучении Крылова «формального метода», который он считает единственно научным в литературоведении.

Г. Мак-Лейн (США) в сообщении «Бегство от любви в гоголевском творчестве» пытался объяснить «Миргород», опираясь

* Например, Л. Сиклай (Венгрия) «Гвездослав и венгерская литература», К. Бринер (Канада) «Тургенев и мир, говорящий на английском языке», Ж. Перюс (Франция) «Максим Горький во французской литературе».

** Уместно напомнить, что в большинстве неславянских стран Европы в эпоху формирования романтизма многие жанры устного народного творчества уже вымирали или переживали предсмертный кризис.

* Чл.-корр. АН УССР Е. П. Кирилюк в своем выступлении по докладу У. Эджертона показала, что приведенные им факты уже публиковались в советской научной прессе.

на фрейдистские домыслы относительно личной жизни Гоголя. Б. Клейбер (Норвегия) в докладе «Два страшных года» Лермонтова» вступил в спор с самим поэтом, пытаясь доказать, что время, проведенное им в николаевской военной школе,— золотые годы Лермонтова.

В докладе Мэтьюсона (США) «Достоевский и Мальро» соратник де Голля предстал перед съездом славистов как продолжатель традиций замечательного русского писателя. Это вызвало страстную отповедь группы советских ученых.

Молодой голландский славист Схохт в докладе «Одинокость подполья» уверял свою аудиторию, что последователи Достоевского — это Сартр, Дюамель и Камю и что гуманизм Достоевского (которого Схохт, в отличие от Мэтьюсона, не отрицал) выражается в том, что он хорошо изобразил «подполье души», имеющееся «в каждом из нас», как возвестил г-н Схохт с трибуны съезда. Этот доклад вызвал оживленную критику, как и доклад Штильмана (США) «Проблемы литературных жанров и традиций в «Евгении Онегине».

В докладе Штильмана явственно сказалась устарелая и бесплодная манера решать важный вопрос о взаимодействии и взаимовлиянии литератур посредством прямого сопоставления, выискивания аналогий, субъективных параллелей, столь характерных для некоторых школ современного зарубежного компаративизма.

В совершенно ином духе эта проблема решалась в целом ряде работ, прочитанных на съезде. Отметим среди них доклады А. Мраза (Чехословакия) «Роль межславянских литературных связей в развитии словацкой литературы XIX века», В. Велчева (Болгария) «Влияние русской классической литературы на формирование и развитие болгарской литературы» и особенно доклад М. Новикова (Румыния) «Влияние советской литературы на становление социалистического реализма в румынской литературе». М. Новиков справедливо говорит, что «между конкретным процессом становления и развития социалистического реализма в Советском Союзе, с одной стороны, и тождественным процессом в любой из стран, ставших позже на путь социализма (мы имеем в виду страны народной демократии), с другой стороны, не может не быть существенных различий». Исходя из этого тезиса о многообразии литературы социалистического реализма, М. Новиков и анализирует специфику воздействия русской литературы XX века — Горького, Маяковского, Шолохова, Гладкова — на румынских писателей, рассматривая фазы этого влияния строго исторически, в связи с различными этапами развития румынской передовой литературы.

Доклад М. Новикова, поучительный в общеметодологическом плане, связан с той темой, которая прозвучала на съезде громко и победно,— с темой социалистического реализма. Как отрадно было в наши дни, осенью 1958 года, убедиться, что, пройдя через ожесточенные схватки с ревизионистами, развернувшиеся в 1956—1957 гг., наши друзья пришли к съезду с верой в значение социалистического реализма, со стремлением глубже и разностороннее осветить и его отличительные особенности и его полувековую историю.

Разумеется, обсуждение проблемы социалистического реализма вызвало оживленные споры. Советский исследователь Д. Марков в своем докладе о «Проблемах генезиса социалистического реализма в болгарской литературе» выдвинул концепцию, с которой не согласился П. Зарев (Болгария). Спор велся в данном случае о датах и фактах из истории социалистического реализма, а не о самом его существовании. Боевая постановка вопроса о социалистическом реализме, данная в докладе советского исследователя В. Р. Щербины на материале русской и украинской литературы, была конкретизирована Заревым и Русакиевым («Традиции русской советской литературы в болгарской литературе»), Е. Фодор («Проблема становления социалистического реализма в польской литературе 30-х годов XX в.»), Юнгером (ГДР) («Роман А. Толстого «Восемнадцатый год» и его критики»), Н. Людвиг (ГДР) («Изображение роли народа в романах «Война и мир» Л. Толстого и «Тихий Дон» М. Шолохова»).

Советская литература была в центре внимания подсекции славянских литератур XX века. Творчество Горького, Маяковского, Серафимовича, Шолохова, Алексея Толстого освещалось в отдельных докладах, среди которых хочется выделить работу молодого норвежского слависта М. Нага, посвященную анализу поэмы «Про это». М. Наг стремился раскрыть гуманистическое содержание поэмы Маяковского и сумел показать яркое новаторство великого советского поэта. По докладу развернулся горячий спор, так как термин «фантастический реализм», предложенный автором для определения творческого метода Маяковского, не удовлетворил многих присутствовавших. М. Наг, соглашаясь с отдельными их замечаниями, твердо отстаивал ценные выводы, сделанные им относительно своеобразия художественных средств Маяковского.

Убедительно прозвучали на съезде выступления, посвященные международному значению советской литературы. Это целая группа работ, среди которых выделяются доклады проф. Русакиева (Болгария) «Традиции русской советской литературы в болгарской литературе», М. Новикова (Румыния) «Влияние советской литературы на становление социалистического реализма в румынской литературе», Ф. Мирау (ГДР) «Восприятие советской литературы в Германии в 1920—1924 гг.». Естественно, что вокруг ряда вопросов советской литературы разгорелись споры.

Многие слависты не могли согласиться, например, с работой Г. Верре (Франция)

«Скрещение путей Максима Горького и Алексея Толстого (1921—1923)», в которой содержалась неверная оценка отношений между этими советскими писателями и было немало фактических ошибок. Критические замечания, высказанные оппонентами Г. Верре, были настолько убедительны, что докладчик ничего не смог возразить. В работе Н. О. Нильсона (Швеция) «Стриндберг, Горький и Блок» были упущены как раз те высказывания Горького о Стриндберге, в которых русский писатель приветствует сильные, критические стороны творчества Стриндберга и его социальные искания. В небольшом докладе К. Фриу (Франция) «Метафора у Маяковского» поэтика Маяковского, как отметили выступавшие, рассматривалась, в отличие, например, от доклада М. Нага, в узкоформалистическом плане. В докладе Д. Брауна (США) «Советская критика американской пролетарской литературы в 30-х годах XX века», богатом фактами, содержалось неверное утверждение относительно того, что в СССР якобы пренебрегали изучением американского классического наследия; это утверждение расходится с общеизвестными фактами.

Немало возражений вызвал доклад проф. Перюса (Франция) «Максим Горький во французской литературе». К сожалению, известный французский ученый на этот раз пошел по линии наименьшего сопротивления и на основании собранных им данных пришел к выводу о том, что Горьким интересовались во Франции преимущественно не в годы подъема общественного движения, а в годы его кризисов. Из этого наблюдения, которое само по себе поучительно, так как даже оно свидетельствует о том, что Горький увлекал передовых французских читателей в годы, когда они особенно нуждались в духовной поддержке, проф. Перюс не смог сделать достаточно широких выводов. Правда, его работа появилась сравнительно давно, и с тех пор проф. Перюс продолжил свои исследования. В его докладе на Международном семинаре студентов, изучающих русскую литературу (семинар состоялся в МГУ в конце июля), было дано более верное освещение литературных связей Горького с французской литературой. Доклад проф. Перюса, обсуждавшийся на съезде, появился в сборнике, за редактирование которого проф. Перюс отвечать не может.

И доклады о литературном процессе в славянских странах XX века и их широкое обсуждение показали закономерность появления и развития в этих странах литературы социалистического реализма, выявили огромную роль межславянских литературных связей, в которых столь значительное место занимают славянские литературы СССР и в первую очередь — русская советская литература. Можно с уверенностью сказать, что работа этой подсекции съезда была особенно плодотворной.

Суммируя впечатления от съезда, прежде всего приходишь к выводу о том, что он прошел под знаком сплочения и объединения передовых сил в этой области литературоведения, которые смогли убедительно защитить свои воззрения на историю славянских литератур в дискуссиях и спорах, разгоревшихся в дни съезда. Работа литературной секции с ее подсекциями дала богатый материал для дальнейшей борьбы против ревизионизма в литературоведении не только применительно к истории славянских литератур. Участники съезда в своих выступлениях показали непреходящее значение критического реализма в славянских литературах XIX—XX веков, закономерность и плодотворность социалистического реализма как передового художественного метода в искусстве наших дней, растущее значение межславянских литературных связей, важных и в XIX веке, но приобретающих особое значение в наши дни, когда почти все славянские народы объединены в лагере мира и социализма.

Работа съезда свидетельствовала о значительном росте славистических кадров в странах народной демократии. В высшей степени важно отметить то обстоятельство, что не только славянские страны, но и Румыния и ГДР представили к съезду солидные сборники работ, посвященные проблемам славистики. Каждый из них безусловно достоин особого рассмотрения, которое, как мы надеемся, не заставит себя ждать. В качестве примера укажем хотя бы на сборник, представленный славистами Германской Демократической Республики: в нем есть и работы по древнерусской литературе, и работы по литературе XVIII века, и ряд докладов по вопросам русского критического реализма, и, наконец, статьи о советской литературе. Читая такой сборник, получаешь представление о широком масштабе славистических работ в ГДР, о хорошем их планировании. Нельзя, в связи с этим, не отметить дробности и случайности славистических публикаций в ФРГ, среди славистов которой, как известно, немало значительных имен.

Работа съезда, вместе с тем, показала, что в свете принципиальной научной критики несостоятельными оказываются многие литературоведческие концепции, имеющие еще широкое хождение за рубежом. Это относится, например, к так называемому формальному методу, позиции которого так настойчиво защищали некоторые голландские ученые, воспитанные на трудах Р. Якобсона и его учеников вроде Эрлиха, известного своей работой «Русский формализм, его история и доктрина».

То же относится и к фрейдизму, чьи позиции отстаивали некоторые слависты из США. Правда, Мак-Лейн в ходе дискуссии по его докладу признал, что фрейдистский метод пригоден для освещения лишь некоторых сторон творчества писателя; это уже сдвиг в сторону критического осмысления фрейдизма, и остается только порадоваться тому, что критика доклада Мак-Лейна, очевидно, для него не была безрезультатной, как, например, для гол-

ландского слависта Схохта, огульно зачислившего Тургенева, Чехова и Достоевского в число певцов «душевного подполья» и настаивавшего на том, что моральное «двойное дно» — естественное состояние человека. Важно подчеркнуть, что методология доклада Схохта, как и доклада Мэтьюсона («Достоевский и Мальро»), ярко свидетельствует о том, насколько органически сочетаются фрейдизм и экзистенциализм в некоторых течениях современной литературной критики, и о том, как близки эти течения к американской так называемой «новой критике» с ее характерным эклектизмом.

Выяснилось, что весьма живучи, но и по-прежнему несостоятельны компаративистские тенденции, обнаружившиеся при обсуждении проблемы барокко, в докладе Ягодича о проблеме жанра в русской литературе, в докладах Штильмана о «Евгении Онегине» и Гаркинса «Прагматизм и поколение прагматистов в чешской литературе». Но, вместе с тем, участники съезда в своем подавляющем большинстве выступили с критикой обветшалых принципов компаративизма, а их сторонники не смогли убедительно защитить свои позиции.

О чем свидетельствуют эти наблюдения? Не о том, что формалистические компаративистские, фрейдистские теории в литературоведении разбиты и безвредны, а о том, что они еще *широко представлены*, оказывают определенное влияние, подлежат принципиальной научной критике. Нельзя не посетовать, например, что под сильнейшим влиянием именно этих теорий находится молодая и, видимо, весьма прилежная школа голландских славистов. Хорошо, что она сложилась, что она прислала на IV съезд славистов целую группу энтузиастов изучения славянской филологии, но прискорбно, что школа эта уже с первых своих шагов оказывается под воздействием предвзятых идей, мешающих конкретно-историческому рассмотрению славянских литератур. Пожелаем молодым голландским славистам большей самостоятельности, меньшей оглядки на их иностранных наставников, упорно твердящих то зады русского формализма, то фрейдистско-экзистенциалистские афоризмы относительно «подполья души».

IV Международный съезд славистов — памятная веха в развитии славистической науки во всем мире. Особенно примечательно, что его работа мирно протекала в Москве на Ленинских горах в доме Ломоносова в те дни, когда американская морская пехота и английские парашютисты хозяйничали в Ливане и Иордании, а военно-морские силы США сосредоточивались в районе Тайваня. Атмосфера научной коллегиальности, отнюдь не препятствовавшая принципиальным спорам, господствовала на заседаниях съезда и способствовала тому, чтобы слависты всего мира могли не только познакомиться друг с другом, но и наметить дальнейшую программу совместных действий, изложенную в рекомендациях съезда.

Эти рекомендации предполагают дальнейшее развитие и укрепление международного сотрудничества славистов. Только общими силами можно, например, решить такие серьезные задачи, как научное рассмотрение вековых взаимосвязей и взаимовлияния славянских литератур и вопрос о связях славянских литератур с другими литературами мира. Только общими силами можно решить вопрос о путях развития социалистического реализма в литературах славянских стран. Только общими силами можно создать коллективный труд «Системы славянского стиха», необходимость которого ясно обрисовалась в ходе дискуссий в подсекции стиховедения. Наконец, долг славянских стран — создать свод изданий памятников героического эпоса славянских народов. Названные общие задачи, выдвинутые в рекомендациях IV Международного съезда славистов,— только часть обширной исследовательской программы, намеченной на съезде.

Впереди — V Международный съезд славистов в Софии. За годы, которые пройдут в его подготовке, несомненно будет сделано много нового и интересного.

Опыт IV славистического съезда в Москве с полной очевидностью свидетельствует о том, что в наши дни славистика — одна из наиболее развитых и актуальных областей международной филологии, привлекающая внимание всего мира и требующая для своего дальнейшего развития серьезных усилий и согласованной работы различных литературоведческих коллективов. Развитие славистики за рубежом должно систематически освещаться на страницах нашей прессы. Зарубежные слависты создают немало трудов, представляющих интерес и в международном масштабе и для славистов СССР, вместе с тем нельзя обходить молчанием и появление книг, требующих своевременного отпора и острой научной критики.

Думитру Мику

Новый успех румынской прозы

Критики, писавшие о новом романе Титуса Поповича «Жажда» *, единогласно признали его одним из самых удачных произведений, посвященных проблемам современности. Правдиво изображая жизнь села в исторический момент, когда решалась судьба румынского народа, роман, несомненно, означает новую веху в эволюции современной румынской литературы Он свидетельствует о дальнейших успехах в развитии нашей прозы, ознаменованных ранее появлением таких произведений на крестьянскую тему, как «Разворот» Марина Преда, «Бэрэган» Эм. Галана, «Июньские ночи» и «Охота на волков» Петру Думитру, «Борозда через межи» Иштвана Хорвата, «Род Гондошей» Сабо Дьюла.

В романе «Жажда» Титус Попович создал выразительную картину движения крестьянских масс, участвующих в народной революции, совершаемой под руководством коммунистической партии, а также картину огромных преобразований в жизни и психологии людей, вызванных аграрной реформой 1945 года, которая явилась первой ступенью на пути к освобождению от ига старого строя, основанного на эксплуатации.

Основная проблема романа — жажда земли и свободы,— традиционная для нашей литературы, разрешена Титусом Поповичем в свете марксистской теории. В образах его героев воплощены характерные черты многих неизвестных героев из крестьянских масс, руководимых партией. Они как бы являются ответом жаждущим земли героям из произведений Ребряну и Славича. Роман Титуса Поповича разрушает представление о пресловутой «атавистической» жажде земли у крестьян, выдвигая на первый план пробуждение политического сознания крестьянских масс, которые, впервые в своей истории получив право на землю, осознают вместе с тем свое освобождение от рабской зависимости и свое человеческое достоинство.

В романе Поповича на первый план выдвигается ряд персонажей. Все они играют различные роли в одном и том же действии, которое развертывается не в силу слепого случая, не по воле кого-либо из героев, а обусловлено самим ходом истории — массовым движением крестьян за землю. Центральным героем романа становятся, таким образом, крестьянские массы. История изменения характера этого героя является связующим элементом всего содержания. Знаменательно, что автор, предполагавший сначала назвать свой роман «Митру», почувствовал необходимость дать ему другое название. Как бы ни была значительна роль персонажа, носящего имя Митру, повествование о его судьбе не исчерпывает всей проблематики книги, в то время как слово «жажда» ясно и точно выражает сущность произведения.

Подобно другим наиболее удачным эпическим произведениям, отражающим современную деревенскую жизнь, «Жажда» проникает в сущность действительности, освещая самые потайные стороны раскрываемого в романе социально-исторического процесса.

Характерной чертой этого произведения является подлинность картин, взятых из жизни, его мощный реализм. Начало гибели одного мира и рождение другого в мучительных схватках представляет собой сложный процесс, внутренний смысл и суровое величие которого нелегко передать. При изображении таких широких полотен существует опасность, что автор, увлеченный живописностью или драматизмом отдельных фактов, не сможет уловить всей совокупности явлений, основную тенденцию развития, найти главное зерно истины.

Не исключена в таких случаях и опасность другого рода — искажение действительности в результате стремления закрыть глаза на трудности, избежать мрачных аспектов, драматических ситуаций. Этими не-

* Роман Титуса Поповича, опубликованный в №№ 11—12 нашего журнала под названием «Земля», в румынском издании называется «Жажда».

достатками страдают некоторые наши романы на крестьянскую тему, появившиеся до «Жажды».

Роман Титуса Поповича чужд и натурализму и приукрашиванию. Исключая из своей палитры розовую краску, романист правильно освещает действительность, он раскрывает всю ее суровую правду, не ограничиваясь простым фотографированием различных сторон действительности, а изображая внутреннюю динамику социального развития, движение жизни вперед, крушение старого под натиском непобедимой силы нового.

Какие же события запечатлены в романе «Жажда»?

Мы находимся в трансильванском селе Лунка весной 1945 года. Вся страна охвачена волнениями. Организованные и руководимые партией массы ведут борьбу за завершение буржуазно-демократической революции. Повсюду бедняки путем революционной борьбы овладевают землей, на которой трудились их деды и прадеды. В Лунке, однако, по-прежнему царят старые порядки. Село словно оцепенело. Вместе с весенним ветром вернулись с фронта к своим очагам многие жители села. В огненном смерче сражений их не покидала надежда, что дома они смогут отдохнуть после войны.

Что же ждало их на самом деле? Убожество и нищета, сожженные плетни, разбитые стекла, пустые стойла, неубранная кукуруза. На нескольких страницах скупыми мазками автор создает запоминающуюся картину села, придавленного гнетущей атмосферой. Демобилизованные заходят по вечерам в корчму Лабоша не для того, чтобы выпить крепкую, с отвратительным запахом кукурузную самогонку — она есть и дома,— а для того, чтобы встретиться с другими, поделиться фронтовыми воспоминаниями. Утром они бесцельно копошатся во дворе, стараясь найти себе занятие. Одни пытаются починить телегу, которая разваливается при первом более или менее энергичном ударе. Другой хочет забить гвоздь и бьет по нему с таким ожесточением, что гвоздь гнется и ломается. Люди едят одни крапивные и грибные щи и от слабости шатаются, как пьяные, падают. Бесцельная возня утомляет их больше, чем целый день работы.

В селе, как будто спящем летаргическим сном, на самом деле царит атмосфера мучительного напряжения, нервозности и какого-то неопределенного ожидания. Самогон не в силах утолить «жажду», которую принесли с собой с фронта солдаты. Она опустошает все их существо, душу и тело. Они жаждут лучшей жизни, жаждут нового. Даже воздух кажется наполненным надеждой и предчувствием.

Вместе с другими вернулся с войны и Митру Моц, известный читателям еще по роману «Чужой». Его мучает жажда мести. На фронте, приникая лицом к земле, сжимая винтовку, он часто воображал, как будет судить Клоамбеша — кулака, своего дальнего родственника, который, подкупив власти, послал его на фронт вместо своего сына Иошки. Митру остался без крова, дом его сгорел. Это первое, что он узнал, возвратившись с фронта. У него не осталось больше ни плуга, ни одежды. Ничего! Он стал «гол, как сокол». Что оставалось делать? Прежде всего он идет к Клоамбешу, чтобы припугнуть его. Позднее, в поле, он избивает его. Однако, расправившись с врагом, Митру ничего от этого не получает, он остается бедняком. Он ничего не достигает и тогда, когда жалуется: «Снова мы слуги, и так во веки веков».

Мысль о том, что надо что-то предпринять, мучает всех, подобных Митру. Но что именно? Всеми владеет одна неотвязная мысль, которую они осмеливаются выразить лишь про себя,— земля. Только в пьяном виде Битуша решается угрожать, что врежется плугом в землю сельских богатеев. «Вот возьмусь за плуг, да и отрежу у Пику или у Урсу земли сколько мне требуется...» А пока что пьяные Битуша, Глигор и Митру совершают грабежи на ярмарке в волостном городке, а другие тем временем дерутся как слепые с венграми из соседних сел. Любое приходит в голову «голодранцам» из Лунки, но поделить соседнее с их селом поместье барона Паппа они не решаются. Они говорят себе, что барон Ромулус Папп де Зеринд «был министром», даже любовником... Марии Терезии, и не осмеливаются прикоснуться к его имуществу. Митру называет его «отцом румын». Как эти люди смогут из аморфной массы, поддающейся маневрам врагов, превратиться в активную политическую силу, в союзника рабочего класса?

Массы закаляются, приобретают революционное сознание в огне борьбы. Автор романа «Жажда» раскрыл в ряде эпизодов значительной эпической силы типичный процесс активизации масс беднейшего крестьянства в условиях борьбы за землю, которую они ведут под руководством партии рабочего класса. Отрезок времени, в течение которого происходит перелом в сознании жителей Лунки, довольно короток, приблизительно около трех недель. Но это недели напряженной борьбы, когда крестьянская масса приобретает опыт более ценный, чем весь предшествующий, накопленный в течение веков. Жители Лунки приходят к убеждению, что победить в борьбе за лучшую жизнь можно лишь следуя по пути, указанному коммунистической партией.

Три основных момента, когда массы изображены в действии, знаменуют главные этапы переделки их сознания. Замечательный художник массовых сцен, Титус Попович рисует политические битвы, в которых участвуют жители Лунки, кистью зрелого мастера, учившегося у великих румынских реалистов-прозаиков, а также у зарубежных мастеров социалистического реализма, в первую очередь таких, как Шолохов. Первая битва, знаменующая поворотный момент в жизни бедноты Лунки и всего

села, происходит в городке, куда обычно приезжают на ярмарку жители села.

Это был тревожный день. Колонна рабочих вышла на демонстрацию перед клубом национал-царанистской партии, выступая против реакции и фашизма. Румынские крестьяне, в большинстве своем жители Лунки, спровоцированные реакционерами, вступили на базаре в драку с венграми. Только вмешательство рабочих положило конец побоищу. В этой напряженной атмосфере коммунисты обращаются к собравшимся на площади и сообщают им, что земельные угодья барона Паппа будут распределены между крестьянами. На площади мгновенно все затихает, и человеческий поток окружает коммунистов. Оказывается, одного слова достаточно, чтобы повернуть этот поток в нужном направлении. Коммунисты умеют правильно учитывать обстоятельства. Уже через мгновение внушительное шествие крестьян в полном порядке направляется к городскому управлению. Шествие возглавляет секретарь уездного комитета партии Журка, который прибыл сюда с отрядом рабочих, чтобы дать необходимый отпор провокациям реакции. Волостной старшина — фашист и саботажник аграрной реформы, агент барона — должен оставить свой пост.

Изгнанием волостного старшины начинается решающий период борьбы трудящегося крестьянства против старых порядков, главным выразителем которых является помещик Папп. Митру, назначенный председателем комиссии по распределению земли, немедленно приступает к составлению списков тех, кто имеет право получить землю. Все село приходит в движение. Реакция готовит диверсию, стремясь нанести тяжелый удар по бедноте. Охваченный паникой барон, стараясь сорвать реформу, натравливает на бедняков Лунки моцев — сельских пролетариев, потерявших от нищеты человеческий облик.

Наступает решительный момент. Движение масс, столкновения и гул волнующейся толпы переданы автором с особым искусством. Столкновение между жителями Лунки и моцами в момент, когда решается успех аграрной реформы в Лунке, еще раз подтверждает способность Титуса Поповича схватывать и передавать массовые сцены, достигая огромной выразительности контрастов.

Массивные, словно вырубленные из камня, моцы, с широкими, как лопаты, руками, покрытые лохмотьями,— наиболее жестоко эксплуатируемые слуги барона — трогаются в путь во главе с личным советником Паппа — адвокатом Спинанцину, чтобы защитить поместье барона. Они идут в напряженной тишине, прерываемой лишь песней, которая в этой обстановке кажется еще более дикой: «Хорошо режет мой нож, я мой нож наточил...» К этому мрачному шествию присоединяется пестрая группа сельских богатеев с хоругвями и изъеденными молью флагами.

Титус Попович несколькими штрихами подчеркивает комичность этого сборища богатеев, которое представляет собой яркий контраст по сравнению с темной колонной моцев. С блестящим мастерством Попович подчеркивает наличие двух миров, случайно слившихся в одну колонну.

Выстроившись по обе стороны шоссе, жители Лунки в нервном напряжении, но сохраняя полный порядок, ожидают приближения колонны.

В первые минуты кажется, что цель коммунистов — сорвать вражескую провокацию — уже достигнута. Спинанцину, который старался натравить лагери один на другой, терпит полный провал. На его призыв — «Братья крестьяне...» Митру отвечает: «Господам ты брат, а не нам». «Верно...» — соглашается с ним целый хор голосов. Речь адвоката то и дело прерывается, в толпе слышится смех. Моцы все это время стоят в неподвижности. Но когда Теодореску заявляет, что «поместье принадлежит теперь не гражданину Ромулусу Паппу, а бывшим воинам, вдовам... и беднякам Лунки», происходит нечто неожиданное. Из рядов моцев выходит Гозару. Он в отчаянии рвет на себе рубаху. Этот могучий человек в волнении повторяет один и тот же вопрос, от которого зависит судьба моцев: «А почему мы не получим землю? Почему? Куда нам идти? По миру? Разрази вас бог, лункачи! Куда нам деваться? А ну-ка, моцы, начинать!» — призывает он других моцев.

Как и в предыдущих сценах, романисту удается со всей убедительностью раскрыть психологию толпы. Слово, выражающее общие устремления, произнесенное в нужный момент, может полностью изменить настроение толпы. Четкий и ясный возглас коммуниста Арделяну: «Вы тоже получите землю!» производит магическое действие. Моцы, которые медленно вытаскивали из-за пояса ножи, мгновенно успокаиваются. Но известие, что жителям Лунки придется делить землю с «пришлыми», выводит их из себя. Они начинают размахивать вилами и кричать. Кровавая стычка кажется неизбежной.

Но вот из толпы раздается голос: «Не стыдно вам, ненасытные... Коммунистическая партия дает вам землю, а вы галдите... Для нашей партии все равны». Это голос Митру. И вместе с тем это голос нового сознания крестьянских масс. Этот голос побеждает стихию. Слова Митру окончательно успокаивают обе стороны. А ведь всего две недели назад Митру, как вор, забрался в чужой дом. Его односельчане дрались с венгерскими крестьянами.. Но время прошло — и Митру стал другим человеком. Он изменился вместе со всей крестьянской беднотой.

В третьей массовой сцене, насыщенной драматизмом, автор изображает бдительных, готовых к действию крестьян, поднявшихся с оружием в руках на борьбу с классовым врагом. Арделяну, Теодореску и Глигор, на которых неожиданно нападают железногвардеец Баничиу и два кулака, вы-

нуждены бежать. Бегство их через лес под свист пуль и особенно переживания Теодореску, который один остался в живых, изображены автором с большим мастерством. Так же мастерски описывает Попович и сцену, когда по зову колокола толпа крестьян во главе с группой всадников и Теодореску отправляется в ночной лес ловить бандитов и уничтожает часть из них.

Проникнув в самую гущу событий, происходящих в селе весной 1945 года, автор передает их глубокий смысл, скрытый тогда даже для самых дальновидных крестьян, боровшихся за землю. Большое достоинство книги в том, что она отчетливо раскрывает особенности проведения аграрной реформы в конкретных исторических условиях, создавшихся благодаря освобождению страны от фашистского рабства. Сильными, выразительными сценами автор показывает, что́ представляет в этих условиях земля для крестьян, с одной стороны, и для эксплуататорских классов, с другой. Раскрывая специфический характер аграрной реформы, когда крестьянство в союзе с рабочим классом овладевает землей, роман в то же время намечает перспективу этого революционного преобразования. Тот факт, что во главе народного движения стоят коммунисты, придает ему совершенно новый характер по сравнению с другими массовыми движениями, имевшими место в истории нашей родины. В «Жажде» аграрная реформа 1945 года в соответствии с исторической правдой представлена как реформа особого рода, как революционный процесс, определяющий целый этап борьбы за создание народно-демократического строя. Антагонистические классы столкнулись между собой не только на почве экономических интересов. Естественно, барон Ромулус Папп защищает свое поместье и защищает его ожесточенно. Но вместе с тем, более или менее сознательно, он защищает и кое-что другое — среду, представителем которой он является, строй, основанный на эксплуатации. «Знаете,— говорит коммунист Арделяну на одном из заседаний,— речь идет не только о потере земли, но прежде всего о потере влияния». Осуществление аграрной реформы революционным путем наносит сокрушительный удар не только Паппу — барону и помещику, но и Паппу — политическому деятелю. Он утрачивает свой ореол. Старый манекен в высоком воротничке, миниатюрная копия Гьюлы (так он фамильярно называет Юлиу Маниу) больше не в силах сохранить маску «отца румын». Крестьяне распознают в нем своего смертельного врага.

Рисуя портрет барона, писатель сумел уловить типичные черты характера реакционного политикана. Ослепленный ненавистью к народу, старик оказывается совершенно неспособным понять, что происходит вокруг, неспособным здраво рассуждать. На совещании с «видными» членами национал-царанистской партии села Лунки он судит о политической обстановке так же примитивно, как и озверевший кулак Пику, который считает, что может остановить ход истории своим обрезом. Когда кто-то советует Паппу самому разделить землю между крестьянами, перетянуть их таким образом на свою сторону, вырвать из-под влияния коммунистов и продолжать господствовать, как в прежние времена, он вспыхивает от ярости, называет советчика «агентом» и прогоняет.

По мере чтения романа перед читателями все яснее раскрывается скрытый смысл событий, составляющих основу произведения. Победа крестьян в их борьбе за землю завершает акт драмы, но не означает еще последнего слова истории в аграрной проблеме. В книге нет никаких намеков на то, что должно неизбежно произойти в Лунке в силу объективных законов социально-исторического развития. Читатель может, однако, предвидеть, что трудящееся крестьянство, научившись в огне сражений мыслить по-новому и видеть в коммунистах руководителей и друзей, будет и дальше двигаться вперед по сложному пути понимания действительности. Читая книгу Титуса Поповича, отражающую пройденный этап нашей революции, мы глубже проникаем в смысл событий, происходящих в современном румынском селе, лучше разбираемся в глубоких изменениях, которые претерпевает психология крестьянских масс в процессе революционных преобразований. Независимо от того, появится ли новый том или тома, которые продолжат до наших дней события, развивающиеся в «Жажде», в любом случае вышедшая книга дает правильную психологическую мотивировку вступления на путь социалистического хозяйства таких крестьян, как Митру или Глигор Хахэу.

* * *

Роман о борьбе за землю «Жажда» является одновременно романом, показывающим острое столкновение различных классовых идеологий, различного понимания счастья. Каждый из персонажей олицетворяет определенную позицию по отношению к главной проблеме исторического момента — борьбе за землю, в которую вступило трудящееся крестьянство. Эта позиция выражается не только в словах: «Жажда» — литературное эпическое произведение, а не протокол дискуссии на социологическую тему. Точки зрения определяются показом людей в действии, в схватках классовой борьбы. Автор «Жажды» показывает, как целые классы и отдельные личности, а также и их концепции в вихре решающих событий сдают экзамен перед лицом истории. История подтверждает или отрицает позиции различных персонажей в зависимости от того, насколько они соответствуют ведущим тенденциям социально-исторического развития.

Оставляя в стороне позицию барона Паппа и его сообщников, находящуюся в глубоком противоречии с историческим моментом, мы можем различить в среде крестьянства два противоположных понимания, два

способа ведения борьбы за землю, две главные позиции. Представительницей первой из них является Анна Моц. Образ этой старухи — тетки Митру и тещи Джорджé Теодореску — несомненно следует отнести к самым живым и удачным во всем романе. Некоторые критики увидели в Анне новую Мару. Действительно, старуха напоминает героиню Славича. Она похожа на персонажей и других произведений этого же писателя, на Гицэ из «Счастливой мельницы», а также на Иона из одноименного романа Ребряну. Ее сближают с ними многие черты характера: упрямство, твердость, настойчивость в достижении целей, смелость в борьбе с жизненными невзгодами. Но больше всего ее сближает с ними стремление разбогатеть, которое выражается в жажде земли. С первых же страниц романа, когда она сбрасывает с лошади приставшего к ней боярского приказчика Миклоша, Анна выступает как суровая, волевая женщина, готовая поднять топор на каждого, кто посягнет на ее честь и имущество. Бедность, тяготы жизни и огорчения, а также беспрерывно растущий груз семейных забот рано закаляют ее. Из «сумасбродной, беззаботной» девчонки она превращается во властную женщину, которой никто в семье не осмеливается возразить.

Вырвав из рук мужа, которого она считает слишком мягким, бразды правления хозяйством, Анна пытается разбогатеть. С этой целью вся семья переезжает за Тиссу в имение одного помещика, где муж Анны становится приказчиком, а она складывает деньги в сундук, растит детей, часто прибегая к помощи кнута, и награждает пощечинами тех, кто осмеливается ругать их семью. Несчастья не сгибают ее. Возвратившись в родное село почти такой же бедной, как и до отъезда, так как послевоенная* инфляция обесценила деньги, Анна с прежним ожесточением принимается за работу и постепенно пробивается в ряды зажиточных крестьян Лунки. Для Анны, так же как и для Иона, земля — это гораздо больше, чем источник существования, земля для них — признак личного достоинства и чести. «Если человек беден,— рассуждает она,— он не человек, а собака...» Судьба других людей абсолютно не интересует ее. Ее, жену приказчика, не трогает, что батракам живется в поместье тяжело. Позднее, в период подъема, ее нисколько не волнует, что процветание ее хозяйства обусловлено обеднением таких же, как она, крестьян. Земля, ставшая самоцелью, превратилась для нее в неотвязную думу, в некую химеру, которая терроризирует ее и иссушает. В 1945 году сгорбленная и полуслепая старуха не верит в возможность раздела помещичьей земли, а когда бедняков наделяют землей, она пытается убедить зятя в том, что он тоже должен получить хотя бы клочок поместья. Узнав, что зять собирается отдать беднякам свой надел, Анна надевает одежду, припасенную для похорон, и отправляется умирать на свой клочок земли. Упорство, с которым Анна защищает землю, неоднократно подчеркивается автором. Разбитая усталостью старуха, добравшись до своей земли, засыпает стоя, опираясь на палку...

Автор объясняет поступки Анны, сочувствует ей, но не прощает ее. Он часто довольно едко показывает, как она постепенно теряет человеческий облик. Когда до Анны доходит слух, что ее зятя видели ночью с девушкой, она радуется и с удовольствием наблюдает за мучительными переживаниями дочери, так как случай этот может привести к разводу, а следовательно, спасению земли, которую зять собирался отдать общине. Постепенно примитивные потребности выступают у Анны на первый план. В момент, когда она решает умереть на своей земле, единственное, что возвращает ее к жизни,— это мысль о сале и огурцах, которых ей вдруг захотелось. Писатель особо выделяет эту черту Анны, предлагая вниманию читателя все новые подробности. Найденная на своей земле и доставленная домой Анна решает дождаться смерти в постели, «как все порядочные люди» Она сама зажигает свечи, укрепляет их у изголовья, но сильная копоть заставляет ее обрушиться с руганью на торговца, который содрал с нее 17 лей за второсортные свечи.

Автор показывает, насколько завладело сознанием Анны чувство собственности. «Анна давно уже не выходила со двора — она слабела, но мысленно она сколько угодно могла гулять по главной улице, доходить до самого креста на околице, откуда начинаются поля... Анна знает, какой югэр кому принадлежит и как называется, всякий лоскуток земли носит имя, как живое существо!

Теперь весна, дует ветер, придает новые силы. Можно работать от зари до заката; после плотного, но не слишком тяжелого ужина и короткого сна снова сгибаться над плугом, устремив глаза на жирные пласты, которые отваливаются в сторону. Они твои, давно твои, с незапамятных времен и во веки веков».

Перелистывая страницы, посвященные Анне, читатель видит, как совершается процесс постепенной утраты человеческих достоинств. Старуха старается увлечь на тот же путь всех своих близких. Племянника Митру она подговаривает прибегнуть к методу присвоения земли, которым пользовался герой Ребряну: «Помни, Митру, что я стара и знаю... Закружи голову богатой девушке, спутайся с ней, и отец ее волей-неволей отдаст ее за тебя...»

Возможно, если бы Митру Моц жил несколько десятков лет тому назад, он последовал бы уговорам своей тетушки. Но Митру — человек другой эпохи. Партия превращает его из бунтаря и анархиста, не знающего своей цели, в сознательного борца. Психология героя изменяется в огне борьбы за землю. Его поведение выражает

* Имеется в виду первая мировая война.

состояние умов беднейшего крестьянства. Новое утверждается в сознании Митру с особой силой в то время, когда вспыхивает ссора между жителями Лунки и моцами. Автору достаточно нескольких фраз, чтобы показать душевное напряжение героя в моменты, предшествующие его выступлению. Митру прикидывает, насколько сократится его доля, если моцы также получат землю. Сознание ответственности, лежащей на нем как на коммунисте и председателе комиссии, побуждает его взять слово, чтобы пристыдить односельчан. Но собственная жадность парализует его инициативу. Однако размышление его длится очень недолго. С усилием, которое вызывает почти физическую боль, Митру поворачивается к односельчанам и берет слово.

По характеру Митру во многом близок к тетке Анне. Страсть, с которой он борется за землю, столь же горяча, как и та, что вела старуху по жизненному пути. Однако борьба его коренным образом отличается от борьбы Анны. Митру борется не один и не только за себя. Его действия являются составной частью великой борьбы, которую ведут миллионные массы,— борьбы за разрушение самих основ капиталистического мира, существование которого влечет за собой нищету и бедность для большинства во имя роскоши для ничтожного меньшинства эксплуататоров. Именно потому и обеспечена победа в этой борьбе. В финале романа, в сцене, имеющей символическое значение, подчеркивается эта великая и основная истина нашей эпохи.

В воскресенье, когда происходит дележ земли, толпа крестьян, вернувшихся с поля, распевая песни, приходит к Джордже Теодореску, чтобы выразить ему свою любовь и признательность за то, что он был с ними. А в это время в соседней комнате неожиданно умирает Анна. Она только что сидела за столом, говорила, благословляла внука Дана и его невесту Эдит, и по ее словам можно было заключить, что она начала вдруг понимать этику новых времен, но по-прежнему не могла постигнуть смысла борьбы своего зятя-коммуниста за наделение землей «голодранцев». Вместе с Анной умирает и старый образ жизни, целый мир — мир Мары и Иона.

Сопоставление отношения Анны к проблеме земли с решением, принятым Митру, имеет в романе полемический смысл. Оригинальным развитием сюжета своей книги, отражающим направление самой жизни, романист «полемизирует» со своими учителями Славичем и Ребряну, противопоставляя индивидуалистическому решению проблемы достижения лучшей, достойной жизни решение объединенной организованной борьбы всех эксплуатируемых под руководством рабочего класса.

Из персонажей, сопротивляющихся борьбе большинства за лучшую жизнь, Гэврилэ Урсу яснее всех понимает, какие произойдут в стране изменения, если победят коммунисты. Гэврилэ — один из самых богатых крестьян села—скопил состояние, эксплуатируя собственных сыновей. Он собрал вокруг себя семью и держит ее в рабском повиновении. Гэврилэ — это человек со сложной, сбивающей с толку психологией. Он имеет вес в селе не только как богатей, но его считают к тому же «святым», так как он глава баптистской секты в Лунке. Целью стремлений Гэврилэ является сохранение в семье и на селе установленных «порядков». «Порядок» для него — смысл жизни. Он хочет остаться вне политики и заниматься лишь сохранением благосостояния своей семьи. Он хочет укрыться от революционных преобразований в крепости своей семьи и хозяйства. Когда один из сыновей просит выделить его долю, Гэврилэ отказывает ему, напоминая, что только сплотившись они смогут остаться сильными.

Раскрывая образ этого лицемера, Титус Попович с большой убедительностью показывает, что никто не может оставаться вне борьбы и политики. В жизнь и дом Гэврилэ бурно ворвалась политика, разметав «крепость», в которой он хотел укрыться от обновляющего вихря преобразований. История опровергает «теории» Гэврилэ о совершенстве старого порядка. События, произошедшие в Лунке после освобождения, начинают сотрясать до основания весь этот «порядок», главным условием существования которого является эксплуатация бедноты. Создавшаяся обстановка заставляет «мудреца» вступить в борьбу за сохранение того, что осталось от прежних порядков. Он примыкает к сельским реакционерам и пытается помешать проведению реформы. Но он действует иными способами, чем Пику — убийца, выступающий с оружием в руках. Осуждая тех, кто призывает к кровопролитию, Гэврилэ пропагандирует «единство» между богатеями и бедняками, оказывает помощь неимущим. Он тешит себя надеждой, что сельскую бедноту можно еще одурманить красивыми словами, задобрить подачками и ловко столкнуть с правильного пути. В конце концов он убеждается, что его иллюзии развеяны в прах. Ни проповеди, ни попытки применить силу не могут остановить ход истории.

Несмотря на упорное сопротивление, Гэврилэ оказывается побежденным, история не прощает его. Слишком поздно он понял, что «справедливость» старого порядка, которую он защищает, была лишь лицемерием и фикцией. Сыновья, которых он считал покорными и любящими, мечтают о разделе. Любимый сын связывается с фашистской шайкой и погибает, жена, которая прежде не осмеливалась ни в чем перечить ему, бьет его по лицу и проклинает. Гибель сына и развал семьи так потрясают старика, что он принимает решение отказаться от всего, что он делал и проповедовал в течение всей жизни. Бдительно следивший за сохранением неприкосновенности своих земель, безжалостно пресекавший любую попытку кого-либо из членов семьи отделиться от остальных, он добровольно делит те-

перь имущество между семью оставшимися в живых сыновьями. Признавая, что «порядок» его оказался непригодным, Гэврилэ соглашается с неизбежностью гибели того мира, символическим воплощением которого была его семья до ее распада. Образ Гэврилэ Урсу помогает нам понять, какие сложные формы принимает облик тех, кто сопротивляется революционным преобразованиям, осуществляемым трудящимися массами под руководством партии.

В числе главных персонажей романа Титуса Поповича находится и Суслэнеску, изображенный еще в романе «Чужой» как представитель беспозвоночных, жалкое воплощение оппортуниста, гнусный тип филистера. Черты его внутреннего облика выступают еще ярче в «Жажде». Автор еще глубже раскрывает его зоологический индивидуализм, склонность к компромиссам, способность афишировать убеждения, которых в действительности у него нет, а потом безмятежно отказываться от них, заниматься самобичеванием, избегая на деле какой-либо серьезной проверки своего мировоззрения, любовь к самообману. Сентиментальный и циничный одновременно, Суслэнеску вызывает по отношению к себе и жалость и отвращение, находя удовольствие в выдумывании для себя сложных ситуаций, внутренних драм, считая отсутствие твердости позиции, мягкотелость моллюска проявлением превосходства. На протяжении всего романа Суслэнеску проявляет чрезвычайную неустойчивость. Он объявляет себя вначале марксистом, потом переходит на сторону национал-царанистов, в результате конфликта с бароном Паппом изъявляет желание записаться в компартию, даже не пытаясь искренне выяснить собственную позицию. Беспрерывные злоключения Суслэнеску ставят его в положение, которое могло бы расцениваться как комическое, если бы похождения такого типа не вызывали у нас отвращения.

Автор уделяет, однако, Суслэнеску чрезмерное внимание. Его злоключения, бесплодные внутренние переживания рассматриваются в романе с таким же пристальным вниманием, как и значительно более драматичные переживания Джордже Теодореску. В отличие от Теодореску Суслэнеску не претерпевает внутренней драмы, он ничего не ищет и живет иллюзиями. Это — пустой филистер. Его пустота обнаруживается с самого начала, и автору не было нужды, особенно в социальном романе, каким является «Жажда», уделять такое внимание его дешевому самоанализу.

По-иному трактует автор образ Джордже Теодореску, тоже интеллигента, но совсем другого склада. В то время, как для Суслэнеску собственное «я» является центром вселенной, а индивидуализм подтачивает его душу, подобно туберкулезу, Теодореску глубоко понимает высокую ценность человеческой солидарности. Когда Суслэнеску в одном из споров хвалит Джордже за его революционную деятельность, Теодореску возмущенно отвечает: «Я ничего не сделал — ни революции, ни аграрной реформы. Они являются результатом общих действий, достойным которых я хочу быть... Вот и все». На вопрос жены, будут ли жители Лунки благодарны ему, борющемуся за их интересы, Джордже поясняет, что он борется не для того, чтобы добиться признания каких-то личных заслуг. Трагический опыт войны помог герою приобрести, как он сам говорит, «сознание исторической необходимости». Проникнутый чувством ответственности, лежащей на нем как на учителе, в решающий момент истории народа Теодореску осознает также, что правда всегда на стороне масс, строящих новую жизнь, соответствующую требованиям социально-исторического развития; в результате, он посвящает себя служению делу масс со страстью и самоотверженностью.

В одной из рецензий на роман «Жажда», появившейся в «Скынтея тинеретулуй», я писал, что образ Джордже Теодореску достоин включения в галерею удавшихся образов коммунистов, изображенных нашими писателями. Эта поспешная оценка нуждается в пересмотре. Правда, в некоторых сценах герой представляется очень жизненным. Мы можем признать в нем преданного народу и революции интеллигента, борца за справедливость. И все же Теодореску не является типичным коммунистом. Психология его характерна скорее для интеллигента, склонного ставить перед собой несуществующие проблемы, беспрерывно задавать себе вопрос, достоин ли он, владеющий кое-каким имуществом, возглавлять бедняков. Правда, эти мучительные вопросы и сомнения не демобилизуют его. Однако тот факт, что волнения, которые оказываются в конце концов бесполезными, составляют значительную часть содержания его духовной жизни, свидетельствует, что герою предстоит еще проделать значительный путь, чтобы стать тем, кого автор хотел изобразить в его лице,— подлинным коммунистом.

Если у Теодореску, еще не выросшего в нового человека, намечены черты, определяющие его характер, то другой герой, которому отведена в «Жажде» роль коммуниста, Арделяну, присутствует на страницах романа лишь номинально. Образ его не может обрести рельефность, так как романист не ставит его в центр событий, оставляя за Теодореску главную роль во всех более или менее сложных обстоятельствах. Автор не заставляет Арделяну разрешать сложные проблемы, не раскрывает его внутренний мир, переживания и духовный горизонт. Бледный образ Арделяну является, несомненно, главной слабостью книги Титуса Поповича. Создав картину столкновения двух миров, изобразив силу, определяющую ход великих событий, Попович не сумел обрисовать могучие характеры коммунистов, которые направляют поток масс, борющихся за новую жизнь. Так же слабо показывает автор влияние рабочего класса, которое определило весь революционный ис-

реворот. Эта проблема заслуживает более глубокого раскрытия.

В целом роман Титуса Поповича представляет собой крупное эпическое произведение, проникнутое духом нашего времени. Благодаря поставленным в нем проблемам, углу зрения, под которым рассматриваются изображенные события, жизненной концепции, на которой построен роман, «Жажду» можно отнести к литературным произведениям, отражающим самую характерную и передовую тенденцию нашей литературы. Ясность идеологической ориентации помогла автору уловить главное, понять глубокий смысл преобразований, происшедших в румынском селе в результате установления власти трудящихся, увидеть в конкретной исторической действительности дальнейшие перспективы ее революционного развития. Роман «Жажда» является новой победой социалистического реализма в нашей прозе, иллюстрируя собой те огромные возможности правдивого освещения действительности, которые предоставляет этот творческий метод талантливым писателям.

Журнал «Лупта де классэ» (Классовая борьба). Теоретический и политический орган ЦК Румынской рабочей партии 1958 г., № 10

П. Палиевский

„Счастливчик Джим" Кингсли Эмиса

В движении «разгневанных» (или «сердитых» — angry) многое еще неясно. Видно только, что их немало и что обитают они не только в Англии. В разных странах Европы и в США «разгневанные» выходят из тени и присоединяются к своим английским друзьям. Они прибывают быстро — из чувства солидарности, не спрашивая о цели, уверенные, что «гневаться» есть на что и зачем. Их лондонский «Манифест» полон стихийного брожения; еще больше его в смутной книге теоретика К. Уилсона «Взгляд со стороны». Чувствуется, что в массе непереваренных цитат придавленный собственной эрудицией автор хочет сказать что-то очень яростное, бросить вызов и казнить — но кого? Ему, без сомнения, легче это сделать, чем объяснить.

«Разгневанный» уклоняется, бежит определений. Его взгляды неуловимы — просто потому, что за «гневом» скрывается не мировоззрение, а скорее состояние ума. Оно разлито в сознании множества молодых людей на Западе, и выразить его удалось пока лишь средствами искусства. Когда критики пишут теперь о «десятилетии разгневанных», они имеют в виду несколько талантливых романов и пьес. В них выступил впервые этот новый тип людей, претендующих — и не без успеха — занять место «потерянного поколения».

Сравнение с литературой двадцатых годов напрашивалось вначале само собой. Новые люди пришли в послевоенный период и тоже, как и тогда, с ожесточением взялись потрошить «идеалы». Преследуя ложь, они заглядывали повсюду, но, не в пример прежним, в их книгах не было ни слова о войне. Никакой боли, ни трупов, ни окопных крыс. Это казалось странным, поражало — но только на мгновение. Конечно, война была совсем другой. Для них она словно выпала из памяти, как страшная, но устремленная в будущее пора, когда все поднялось, чтобы фашизм был сметен. Это время имело свою цель, жертвы были неизбежны; и они перенесли лишения, зная, ради чего велась борьба. Их сверстники немцы — вот кому выпало на долю рассказать об ужасах бессмысленной бойни. Вольфганг Борхерт с его знаменитым «Sag nein!», и Ремарк (дважды на протяжении одной судьбы), и многие другие повторили через двадцать лет трагедию «потерянных».

У английских «вернувшихся» были иные заботы. Читатель, наверно, помнит роман Пристли «Трое в новых костюмах», который был переведен у нас сразу после войны. В нем, приблизительно и неопределенно, появился уже предтеча «разгневанных». Там рассказывалось о трех товарищах-фронтовиках, которые возвратились домой и очень скоро поняли, как сильно им не нравится все то, что раньше принималось без колебаний и даже внушало восторг. В этом романе говорилось о той малорадушной встрече, которую устроили им поклонники твердых традиций. Алан Стрит и его друзья — герои книги — прошли в то время незамеченными. Они затерялись где-то по провинциальным углам и были надолго забыты литературой. Тип «разгневанного» вызревал в темноте, вдали от гласности. Он ненавидел молча и молча отвечал своим закосневшим в благополучии отцам. Он долго размышлял про себя, что же такое неладно в его судьбе и почему ему так противен заведенный, заранее определенный уклад. Ему казалось насилием то, в чем другие видели только привычку. У самых почтенных и, по-видимому, благодушных горожан, своих соседей, он усматривал холодный и бесчеловечный автоматизм, какое-то исчезновение лица в той роли, которую оно принуждено было играть. Он мучительно думал, сравнивал, сопоставлял, но решить так ничего и не успел. Писатели вновь обнаружили его в толпе и вынесли на всеобщее обозрение в литературу, наверх. Это была сенсация. И первым, кто ее начал, был Кингсли Эмис с его романом «Счастливчик Джим».

«Счастливчик Джим» еще и сейчас, четыре года спустя, остается любимой книгой «разгневанных». Не то чтобы она была острее и основательнее всех других, созданных ими, но в ней, в источнике, осталось

целым то, что разошлось потом по разным каналам и растворилось в общем течении. Она сохраняется как манифест, недосказанный, но воплощенный вопрос и, главное, имя ее героя стало нарицательным.

...О прошлом Джима Диксона известно очень мало. Во время войны «в чине капрала служил в военно-воздушных частях». Потом стал историком, но не по призванию, а «потому, что имелась открытая вакансия». Никаких особых трагедий не переживал, не было ни внутреннего надрыва, ни крушения иллюзий, ни тем более перелома в мировоззрении; он вообще прекрасно обходился без мировоззрения. Кингсли Эмис, подобно многим современным реалистам, намеренно взял героя поскромней; ему важны были не сами идеи, а их влияние на человека, и простой, непритязательный Джим представлял в этом смысле отличное поле наблюдений. Этот герой не сознавал всей сложности моральных, социальных, политических конструкций; он воспринимал их на расстоянии, издалека, как действие, как результат, и отражал в своем характере их ценность. В его маленьком счастье проверялась большая проблема, но сам он знал об этом меньше всех. Его интересовала непосредственная, обыденная жизнь, личная судьба, которую ему никак не удавалось устроить.

Мешало многое. Прежде всего, на пути его стоял профессор Уэлч, человек, от которого зависело его будущее. Ученый администратор был непроницаем и непостижим. О чем он думал, как относился к Джиму? Это нелегко было понять. От него исходили какие-то обрывки мыслей: «...Как-то на святках лет пять назад у нас гостил друг Питера Уордлока. Так он говорил примерно то же самое. Да, помнится, и я прошлым летом, когда возвращался с предэкзаменационного совещания в Дареме... Жара была, как в пекле, а в поезде, доложу вам...» и т. д. Они вертелись, словно клочки газетной бумаги, которые никак не удавалось собрать вместе и смысл которых угадывался только потому, что за ними лежал тысячу раз слышанный штамп.

Потом Маргарет Пил, преподавательница университета, столь же тягостная для Джима предмет. «Дождавшись, когда он не мог уже больше отводить глаза в сторону, она сказала: «Как сегодняшний вечер сблизил нас, Джеймс». Его засасывает какая-то трясина из сострадания, страха, неловкости; ему одинаково неприятно порвать с ней и продолжать эту двусмысленную роль.

Затем еще длинный ряд отталкивающих фигур, с каждой из которых Джим обязан соблюдать специальный ритуал — вежливо улыбаться, многозначительно и радостно кивать, проникновенно слушать. Это «ректор, маленький, пузатый человечек с блестящей розовой лысиной», который «смеялся своим обычным смехом, сильно напоминающим чудовищный хохот убийцы», профессор музыки Баркли с супругой («Она всегда и при всех обстоятельствах очень походила на лошадь, он — только в тех случаях, когда смеялся»), наконец, добровольный сикофант Ивен Джонс, который живет с ним в одном доме и бегает доносить на него при первом удобном случае,— все они мелькают в призрачном хороводе, угнетая воображение Джима, переселяя его — насильно — из здорового, реального мира, в котором он хотел бы жить, в мир закулисных химер. Эти люди вовлекают его в атмосферу постоянной лжи, которую он должен поддерживать и, по какому-то молчаливому соглашению, принимать за действительность. Он обязан делать вид, что верит в ученость Уэлча, хотя превосходно знает, что это «старый, слюнявый дурак», он вынужден читать студентам лекции на совершенно бесполезные, по его убеждению, темы, он должен принимать сына Уэлча, Бертрана, за даровитого художника и терпеть его «лающий смех». Он обречен покорно исполнять роль полудруга, полувлюбленного при истеричной Маргарет и выносить часами ее липучую откровенность. «Но экономической необходимости, да еще в сочетании с жалостью трудно противостоять. А когда на все это к тому же нагроможден страх — борьба становится безнадежной».

Впрочем, она безнадежна еще не совсем. Джим по-своему сопротивляется своим могущественным врагам. В открытую борьбу он вступить не в силах — она закончилась бы скоро и бесславно,— зато у него есть много разных хитростей и приемов. В нем живут одновременно несколько масок, в совершенстве имитирующих нужное лицо. Он умеет мгновенно подстроиться и разговаривать в унисон, наблюдая себя со стороны и даже думая о чем-нибудь совершенно другом. Он воспитал в себе нескольких условных людей, которые всегда готовы представительствовать вместо него в трудные и опасные моменты жизни. Стоит лишь выпустить такого джентльмена, и он, услужливо освобождая своего повелителя от забот, сам, гладко и непринужденно, ответит именно так, как нужно. Эти вымышленные двойники выполняют тот тяжелый труд, на который уже неспособен сам хозяин: нервы его напряжены, и попытайся он выступить сам от себя, произойдет неминуемый взрыв. Они образуют защитный ряд, «первый эшелон» Джимовой обороны и не пропускают никого из ненавистных ему людей в его внутренний мир.

Кроме того, они выполняют еще роль отдушины, разряда для накопившейся скверны. Джим переливает в них все то, от чего ему хотелось бы избавиться. Посреди разговора его лицо вдруг перекосит жуткая гримаса — в сторону,— всегда какой-нибудь образ: «умалишенный крестьянин», «воинствующий марсианин», «эскимос». Это мгновенные снимки внутренних состояний, воплощенные настроения, короткие спектакли. Они позволяют на секунду оглядеть себя со стороны и тем самым облегчить душу. Они могут выражать и символическое наказание врага, передразнивание, попытку обнажить и запечатлеть его тайное нутро. И эти бы-

стрые портреты всегда неожиданны, злобны, смешны. В них проявляется даже кое-что от общего взгляда Джима на жизнь и смутная, не осознанная им оценка более широких явлений. Не случайно, разумеется, выбирает он для одной из унылых своих гримас лицо писателя Эвлина Во и не случайно отвечает Бертрану: «Вы очень любезны, сэр...» — и строит в микрофон постную рожу.

В каждом осторожном движении его есть эта защитная игра. Джим—мастер так называемых «practical jokes», то есть шуток в действии. Он может написать анонимное письмо неподдельным языком бродяги и беседовать по телефону двумя голосами, изображая даже телефонистку. В этих проделках виден его артистизм; незаметно, постепенно Джим раскрывается перед читателем как глубоко симпатичный, в своем роде талантливый человек. В характере его начинают проступать непредвиденные черты, он обнаруживает разнообразие, достойное художника. «Покидая вместе с Кристиной бар, Диксон чувствовал себя международным авантюристом, нефтяным королем, чикагским военным промышленником, тайным агентом, гидальго, гангстером. Он тщательно следил за своим лицом, дабы оно не выкинуло какой-нибудь шутки...» Несмотря на то, что о нем думают Уэлчи, Маргарет, Бертран и т. п., и вопреки тому, как он оценивает себя сам, в Джиме оказывается много доброты, самопожертвования и товарищеского долга.

Но только до известных границ. Средства, которые применяет Джим, приносят ему лишь минутное удовлетворение. Они помогают в мелочах, но отнимают понемногу веру в себя, подтачивают силы и лишают надежды обрести когда-нибудь настоящую цель. Какая-то темная, безличная власть внимательно следит за ним и останавливает на определенном пороге; Джим не решается его переступить. Умолчание мстит за себя, игра становится привычкой, подставные фигуры вытесняют действительное лицо, характер разрушается, мельчает. Приемы, увертки, недомолвки заглушают и давят то, что скрывалось за ними и выдвигало их впереди себя, обман громоздится на обман и заставляет забыть о правде. Действительная, подлинная его мысль сохнет, лишенная общения, и погибает, так и не развившись. Человечность свертывается, сжимается и начинает проявляться только в примитивных, импульсивных формах — внезапной жалости, короткого порыва при виде несчастья и т. п. Насмешка — его лучшее оружие — становится простым самообольщением; издевательства исподтишка надоедают и обращаются на него самого. Джим делается угрюмым, замкнутым, злым. Ничем не замутненную радость ему доставляет теперь только пиво — и он пьет самозабвенно.

В этот период Джим становится поистине «разгневанным». Вся накипевшая в нем горечь вдруг прорывается наружу и проявляет в один миг дремавшее в нем желание устроить, хоть ценой собственного благополучия, грандиозный скандал. Сколько раз он мечтал, беседуя с Уэлчем, о том, как хорошо бы его ударить в нос или спокойно объявить ему, что он, Уэлч, «старый навозный жук» и ничего больше. Ему не хватало смелости. Теперь, когда им овладело отчаяние, страх улетучился, нужен был только повод. И он представился — показательная лекция, где должна была присутствовать вся ученая камарилья. Здесь вконец расстроенный и полупьяный Диксон, издеваясь и глумясь, успел только высказать несколько крамольных слов и навсегда распрощался с университетом.

На этом можно было завершить роман. Однако тут Кингсли Эмис и показал, на наш взгляд, как незрел еще и половинчат тип «разгневанных». «Нигилизм,— заметил однажды Кропоткин,—это переходный момент к делу». Но никакого дела ни у писателя, ни у героя за спиной не оказалось. Совсем напротив, в дело был введен трогательный дядюшка — богач Гор-Эркварт. Он и его племянница Кристина спасли Джима, вернув его на добродетельный путь. Получился типичный кинофинал: счастливая пара, обнявшись, ушла от зрителей куда-то вдаль.

Счастливчик Джим подозрительно быстро переменил мнение о богачах. Раньше он говорил карьеристу Бертрану: «Советую вам получше использовать эти знакомства, пока не поздно. Это ведь ненадолго, как вы понимаете». Теперь он сам с успехом следует этому совету. Писатель Эмис так же резко повернул назад: создав сатирический роман, он приписал к нему умильный, благостный конец.

И такой поворот — не иронический трюк, не последняя насмешка. Эмис — это видно в романе — действительно верит в Гор-Эркварта и возлагает на него особые надежды. Он окружает дядюшку таинственным ореолом, неоднократно дает понять, как он умен, проницателен, добр, и даже помещает ему в карман флягу с крепчайшим виски, чтобы доказать, какой он «хороший парень». Да и в других произведениях «разгневанных» настойчиво повторяется такой же финал. На последних страницах романа измученного и обессиленного героя поджидает, как правило, честная девушка; все разрешается с неизменным благополучием. Так поступает, например, самый злобный писатель этой группы Уэйн в «Соперниках» и «Жизни в настоящем». Единственно Брейн отважился пока в своем «Месте наверху» порвать с традицией и привести рассказ к трагическому исходу.

«Разгневанные» продолжают сохранять свой половинчатый, незавершенный вид. Они не опираются ни на какие определенные слои, а выражают общее раздражение и чувство бесперспективности, которое проникает время от времени в душу каждого жителя «процветающих» государств. Они носят в себе — в обостренной форме — эту новую западную болезнь, которая является приступами, в моменты прозрений, и от-

крывает вдруг человеку неприглядную правду — он видит, что связан по рукам и ногам и что его влекут совсем не в ту сторону, куда он хотел бы идти. Они первыми передали, обобщили эти настроения и дали им выход в целом ряде острых памфлетных произведений. Их популярность поэтому чрезвычайно широка. Правда, протест их весьма расплывчат; от них пока немного больше ожидают, чем они дают, и никого из них не назовешь словом более определенным, чем «разгневанный»; определенности им можно только пожелать. Но в книгах, подобных «Счастливчику Джиму», где так хорошо показано, что «добрая старая Англия» является, как говорит в конце своей лекции Джим, вовсе «не доброй и не веселой», заключена стихия отрицания большого значения. Она звучит, подымает, тормошит; разбуженный обыватель свирепеет, ему хочется растоптать нахала, но в ответ ему несется лишь торжествующий смех. Этот смех — публичный, издевательский и беспощадный — есть главная сила «разгневанных». Благодаря ей эти книги выходят за пределы всех умеренных программ, которым может подчинить конец романа ищущий себе пристанища писатель, и подымаются до уровня высокой сатиры.

Этот смех имеет и политический смысл. У него есть своя направленность — совсем не та, которая отличает, например, романы католического сатирика Во. Эвлин Во смеется над «земными» блужданиями человека и потешается над тщетой людских забот. Его смех инфернален, холоден и сух; Во — бесстрастный наблюдатель всеобщего краха, глубоко убежденный, что иначе и не может быть. Смех «разгневанных», напротив, явно социален. Он принадлежит своему времени и сражается не с «вечным злом», но старается поймать своего конкретного врага, который прячется за маской «процветающего государства». «Разгневанные молодые люди» очень упрямы и не поддаются никаким уговорам, никакой демагогии; они спрашивают, правда ли то, что «Британское содружество наций» есть воплощенный рай, чуть ли даже не «социализм», и отвечают: *нет*. Они отметают от себя назойливый шум радио- и телекорпораций, газетных концернов и всматриваются прямо в действительность. То, что открывается их взору, совсем не вызывает в них чувства «оптимизма», которое хочет внушить им сытый буржуа. Университеты, в которых они учатся, полны высокопоставленных тупиц; города, в которых они живут, находятся в руках крупных воротил, готовых пойти на все ради собственной наживы; дома, в которых они снимают свои комнаты, населяют самодовольные и равнодушные мещане. Им отпускается ровно столько «свободы», сколько нужно на укрепление такого порядка.

Но именно этот порядок не устраивает «разгневанных». Они выступают против него страстно, злобно и непримиримо. Их критика направлена поэтому на основы социального строя, хотя и не доходит до самой его сердцевины. У этой молодежи есть чрезвычайно ценная черта: она никак не может примириться с философией «что поделаешь», столь популярной среди писателей старшего поколения. Если кто-нибудь из них и поддается слабости, изменяет самому себе, как это случилось с Эмисом в его последних двух романах, на смену ему сейчас же являются другие. И это весьма обнадеживающий знак. Ибо только от того, доведут ли они свои усилия до конца, сумеют ли найти путь к передовым течениям времени, зависит судьба всего направления «разгневанных».

Л. Зонина

О почтительном произволе

(Наследие Роже Мартен дю Гара и его толкователи)

В 1940 году, прочитав только что завершенный «Эпилог», Ромен Роллан писал Мартен дю Гару о «Семье Тибо»: «В числе ее важнейших достоинств есть одно, которое свойственно весьма немногим из нас,— повиновение истине, истине, не подлежащей обжалованию, не считающейся ни с нашими желаниями, ни с нашими надеждами, ни с нашими мечтами, всегда склонными плутовать».

«Повиновение истине» — вот слова, которые могли бы стать эпиграфом ко всему творчеству Мартен дю Гара,— повиновение истине и поиски истины, бескомпромиссные, последовательные, проникнутые любовью к людям и суровой трезвостью в понимании их слабостей.

Путь писателя завершен. Подводятся первые итоги. Пока это еще не исследования творчества — это скорбные слова по поводу тяжелой утраты, сожаления, воспоминания друзей и почитателей. Но и в них видно, как по-разному читают Мартен дю Гара: для Андре Шамсона сила писателя в «сочетании тотального пессимизма... и бдительной нежности к человеческому существу», а Пьер Абраам и Дэкс черпают в его творчестве побуждение к действию.

Нет, гуманизм Мартен дю Гара не был только жалостью к страдающему, обреченному на вечные поражения роду человеческому. Никогда не терял писатель веры в прогресс, в возможность совершенствования общественных отношений. Никогда он не объяснял существующее социальное зло «природой человека». Уже после окончания «Семьи Тибо» он писал одному из друзей: «Я хотел написать книгу о том, как человек стареет и замыкается в себе, об упадке духа и т. д. Но я вовсе не старею, ничуть не потерял бодрости и надеюсь увидеть рождение новой Европы, менее абсурдной, чем прежняя. Я совершенно не способен работать над... исполненной безнадежности темой... Я ведь оптимист...»

Сейчас, после смерти писателя, будут, очевидно, опубликованы и его переписка, и дневники, которые он вел с 1919 года, и «Записки полковника де Момора» — неоконченный роман, работе над которым были отданы последние десятилетия жизни Мартен дю Гара. Это расширит наше представление о писателе, мы узнаем, что думал он о битвах наших дней («Записки полковника де Момора» рассказывают и о годах гитлеровской оккупации, и о первых послевоенных днях Франции). Но и произведения, изданные до настоящего времени — «Жан Баруа», «Старая Франция», «Семья Тибо»,— позволяют говорить о Мартен дю Гаре как о крупнейшем французском гуманисте XX века, классике реалистического романа, убежденном рационалисте и демократе.

Для Мартен дю Гара не было ценностей выше, чем человеческое достоинство, свобода личности, возможность ее творческого развития. Его любимые герои были борцами, деятелями, мыслителями. Они рвали путы религиозных догм, отстаивая свободу человека в познании мира, как Жан Баруа, восставали против норм буржуазного общества, против милитаризма, против шовинизма, как Жак Тибо. Они искали пути построения нового справедливого общества, где человек сможет проявить все свои творческие возможности. Им суждено было ошибаться — они гибли трагически, но это были трагедии эпохи, и Мартен дю Гар не был бы реалистом, если бы смотрел сквозь розовые очки на жизнь своих современников. Мартен дю Гар никогда не возлагал надежд на помощь свыше, он надеялся только на человека — на силы, волю, разум обыкновенного человека, рядового француза. Он был демократом и республиканцем, и, быть может, боль за Францию, уступающую пядь за пядью свои демократические свободы, сократила дни его жизни.

Французская критика в долгу перед Мартен дю Гаром. Долгие годы о нем почти не писали. Считали романистом талантливым, но несколько «старомодным». Видели в нем эпигона натурализма, пытающегося перенести в литературу наших дней исчерпавшие себя воззрения и традиции. Лишь незадолго до смерти писателя вышла в свет первая небольшая монография о творче-

стве Мартен дю Гара, принадлежащая перу молодого литературоведа Клемана Боргаля*. К сожалению, эта работа не только не помогает лучше понять творческое наследие Мартен дю Гара, но, напротив, многое в нем затемняет.

Несколько слов о серии «Классики XX века», в которой вышла книга Боргаля. Эта серия, как гласит анонс на обложке каждого ее выпуска, создана для того, чтобы познакомить широкую публику во Франции и за границей с писателями, чье творчество «отвечает исканиям современного человечества». «Эдисьон юниверситэр» сулит читателям этого издания популярное изложение, простой язык, ясный и четкий анализ произведений, слывущих трудными. Издательство утверждает также, что к выбору авторов, монографии о которых должны быть включены в серию, оно подходит «без политической и эстетической предвзятости», руководствуясь лишь академическим определением классического произведения: «произведение, которое выдержало испытание временем и которое люди, обладающие вкусом, считают образцовым» (словарь Французской академии). Впрочем, список работ, опубликованных до настоящего времени, свидетельствует, что представление о непредвзятости у издателей довольно своеобразное. Так, к числу классиков, по мнению составителей, не относится *ни один* советский автор, более того — ни один русский писатель XX века. Если же говорить о выпусках, посвященных французской литературе, то в серии нашлось место не только для Жида и Клоделя, Мальро и Камю, но и для куда менее известных Анны де Ноай или Леона Блуа, зато ни Франс, ни Роллан, ни Барбюс, ни Арагон, ни Элюар не были признаны достойными включения в коллекцию «Эдисьон юниверситэр». Очевидно, их книги слишком дышат современностью, бурной историей нашего века, чтоб «люди, обладающие вкусом», сочли их «образцовыми» и понадеялись, что они «выдержат испытание временем».

Книга К. Боргаля — одна из первых в серии посвящена писателю-реалисту. Казалось бы, что, публикуя эту работу, составители стремятся восполнить то одностороннее представление о современной классике, которое должно было сложиться у прилежного читателя литературоведческих изданий «Эдисьон юниверситэр». Думалось также, что целью К. Боргаля будет вернуть, наконец, «Семье Тибо» незаконно отнятое у нее место в ряду *самых современных* романов, романов, отражающих лицо человека XX века с его жаждой нового, с его тягой к установлению справедливых общественных отношений, романов, которые, говоря языком издателей серии, «отвечают исканиям современного человечества».

К. Боргаль в самом деле решил показать, что Мартен дю Гар писатель современный, но понял эту задачу как необходимость найти доказательства того, что Роже Мартен дю Гар... не реалист, что «Семья Тибо» — роман не реалистический, а «метафизический», или, как определяет его автор монографии, «сверхроман» — «surroman». (Термин этот не изобретен К. Боргалем. Он принадлежит К.-Э. Маньи, которая в своей «Истории французского романа с 1918 года»* вводит это понятие, созданное по аналогии с понятием «сюрреализм»).

Во Франции реализм, как метод отражения современной действительности, подвергается сейчас нападкам с разных сторон. Так, А. Лефевр, еще недавно выступавший в качестве теоретика социалистического реализма, в своих последних работах утверждает, что современное искусство не может быть реалистическим: средствами реализма невозможно якобы воплотить в литературе кризисный, трагический характер эпохи. «Духовная пустота» — болезнь середины XX века — может быть заполнена, по мнению А. Лефевра, только «новым революционным романтизмом», особенности которого он формулирует в самых выспренних и заумных выражениях.

Теоретик школы «нового реализма» Н. Саррот ** считает, что современный роман безнадежно устарел и не открывает читателю ничего нового. Раскрытие общественных связей и противоречий через изображение типических характеров было достижением литературы прошлого века — теперь же это, по мнению Н. Саррот, никому не интересно. Читатель, заявляет она, давно утратил доверие к герою, который похож на него самого, к роману, где изображается действительность, подобная его жизни. Н. Саррот считает, что романист должен бояться типического героя, как черт ладана, потому что типизация — проторенный путь и на нем не отыщешь ничего нового. Возможность подметить *новое в самой действительности* Н. Саррот не касается.

Но если А. Лефевр и Н. Саррот — основатели новых антиреалистических направлений — могут выдвигать свои «положительные» программы в виде весьма туманных тезисов, то К. Боргалю достается еще менее благодарная работа: ему приходится доказывать, что конкретные — знакомые широкому кругу читателей — реалистические романы... не реалистичны. Немудрено, что он вынужден прибегать к подменам, умолчаниям, произвольным истолкованиям. Известна, например, огромная роль, которую сыграло в жизни Мартен дю Гара открытие Л. Толстого. К. Боргаль приводит две фразы из той главы «Воспоминаний», где Мартен дю Гар говорит о своем преклонении перед мастерством Толстого, восхищается его умением «смотреть вглубь».

* Borgal Clément "Roger Martin du Gard", Ed. Universitaires. P., 1957, pp. 125.

* Magny, Claude-Edmonde "Histoire du roman français depuis 1918", ed. du Seuil, 1950

** Sarraute, Natalie, "L'Ére du soupçon", Gallimard 1956.

естественностью и простотой внешних приемов великого русского романиста: «Его герои,— пишет Мартен дю Гар,— в общем похожи на людей, которых мы встречаем в жизни, и, однако, в любом из них он умеет найти ту сокровенную сущность, которую мы без него не увидели бы... Когда живешь в мире, им созданном, наблюдаешь, как он всматривается в самую глубину человеческого существа, и следуешь за ним в его упорных поисках сокровенного в каждом человеке, вечных поисках того незаметного жеста, который вдруг раскрывает всего человека, тогда и твое зрение делается зорче, обостряется наблюдательность. И тайники чужой души перестают быть непроницаемыми».

Из этой цитаты К. Боргаль выхватывает слова «сокровенное», «тайники» и, опираясь на них, противопоставляет уроки Толстого советам Флобера, о которых рассказывает Мопассан («Нужно смотреть на то, о чем хочешь поведать, так долго и так пристально, чтоб в нем открылась новая сторона, которой никто еще не видел, о которой никто не сказал»). Сравнение двух приведенных цитат представляется К. Боргалю достаточным, чтоб сделать вывод, что Л. Толстой якобы ведет своих последователей к проникновению в мистическую сущность бытия («сверхроман»!), а Флобер побуждает своих учеников ограничиваться чисто внешней живописностью («реализм»!). Достаточно, однако, вспомнить слова Л. Толстого о Мопассане: «Мопассан обладал талантом, то есть даром внимания, открывающим ему в предметах и явлениях жизни те свойства их, которые не видны другим людям...» — и, как это ни прискорбно для К. Боргаля, станет ясно, что Л. Толстой оценил в Мопассане как раз то, что отвечало совету Флобера!

Разумеется, само по себе сравнение творческого метода Л. Толстого и Г. Флобера в исследовании, посвященном литературе XX века, вполне правомерно, ибо влияние этих крупнейших мастеров *реалистического романа* отнюдь не было однозначным. Близость к традициям Л. Толстого или Флобера действительно по-разному направляла развитие многих современных писателей. Но серьезный анализ того, *что именно* сближает метод Мартен дю Гара с методом Л. Толстого, мог лишь подчеркнуть глубину реалистического изображения жизни в «Семье Тибо», а это шло бы вразрез с задачей К. Боргаля.

Следует сразу же оговорить, что мы расходимся с К. Боргалем не только в оценке того, какое место реалистический метод занимает в современной литературе, но и в самом понимании реализма. К. Боргаль представляет себе реализм как плоскостное, поверхностное, фотографически точное изображение случайных деталей и фактов, не скрепленное ни стремлением проникнуть в закономерности действительности, ни идейным замыслом художника. По его мнению, реалистический роман, «безраздельно отдаваясь во власть реальной жизни, *являющейся царством чистой случайности* (курсив мой.— *Л. З.*), обрекает себя на то, чтоб никогда не знать внутренней связи, логики, короче говоря, единства, без которого не может существовать произведение искусства». Исходя из того, что задачей искусства не может быть образное раскрытие *закономерностей действительности*, коль скоро она для него есть «царство чистой случайности», К. Боргаль видит истинное призвание художника XX века не в том, чтобы «рисовать реальную жизнь в ней самой и ради нее самой, а в том, чтоб изображение реальной жизни было лишь знаком некой истины — не внешней и случайной, а напротив — интеллектуальной и метафизической...» Стоит ли продолжать цитату? Все это — и уподобление реализма самому элементарному, самому всеядному, самому поверхностному натурализму, и стремление увести искусство в мнимые глубины бытия, ради того чтобы оно не проникало в подлинную глубину жизни,— далеко не ново. Однако, опираясь именно на эти довольно стертые клише, К. Боргаль возводит свое суждение о новаторстве Мартен дю Гара и причисляет его к классикам XX века, к первым творцам нового жанра — «сверхромана», то есть романа, который «сквозь действительность ведет к чему-то более действительному, чем сама действительность». Можно добавить лишь, что в качестве наиболее «родственного» произведениям Мартен дю Гара явления К. Боргаль упоминает романы Ф. Кафки!

Трудно позавидовать автору монографии, поставившему перед собой задачу уложить творчество Мартен дю Гара в прокрустово ложе подобной концепции, ему поистине приходится резать по живому телу. Сославшись на ограниченный размер своей работы, К. Боргаль сводит анализ «Семьи Тибо» к анализу образа Антуана в первых шести книгах романа. Как ни любит К. Боргаль опираться на цитаты из «Воспоминаний» Мартен дю Гара, здесь он почему-то пренебрегает прямым указанием автора, что «Семья Тибо» была задумана им, как история *двух* братьев, двух контрастных характеров, в которых воплощается «с одной стороны — инстинктивное стремление к независимости, отрицанию устоев, неподчинению, протесту, с другой — наследственное чувство меры, приверженность к порядку, неприятие крайностей». В ходе работы над романом, особенно в тридцатые годы, этот контраст темпераментов перерос в исполненное глубокого социального смысла противопоставление революционного и консервативного начал, активного протеста и приятия норм буржуазного общества. «Семья Тибо» не может быть понята вне двуединого образа братьев Тибо. Но поскольку К. Боргалю важно затушевать, скрыть общественно-политическое звучание эпопеи, отражающей объективные закономерности той самой действительности, которая будто бы есть «царство чистой случайности», он обходит самую основу сюжета «Семьи Тибо».

Более того, ограничивая себя анализом образа Антуана Тибо, он и этот образ крайне упрощает, «выпрямляет», примитивизирует. Так, К. Боргаль вовсе не касается проблемы творчества и разлагающего влияния буржуазных отношений на судьбу творческой личности — проблемы, без анализа которой невозможно понять эволюцию Антуана.

Естественно, что автор подобной работы должен был обойти молчанием перелом, который происходит в Антуане Тибо в военные годы, выводы, к которым тот приходит в «Эпилоге». К. Боргаль утверждает, что атмосфера «Эпилога» возвращает читателя к первым томам романа, ибо после широких массовых сцен «Лета 1914 года» действие здесь вновь становится камерным, суживается до рамок семьи Фонтаненов или больничной палаты Антуана Тибо. Это один из примеров того, как, стремясь уложить творчество Мартен дю Гара в рамки своей концепции, Боргаль замалчивает «неподходящие» перипетии романа и совершенно извращает его идейный смысл.

Жизнь Антуана в довоенный период замкнута в пределах семьи и профессиональных отношений молодого врача. Такое изображение передает *ограниченность*, узость его духовного мира. Отчасти она преднамеренна: Антуан устраняется от решения социальных проблем, предоставляет политику политикам, создает себе элементарную философию «человека действия», основанную на культе энергии, воли и т. д. Однако Мартен дю Гар отнюдь не стоит на позициях Антуана. Он безжалостно показывает, что, несмотря на свою незаурядную одаренность, несмотря на страстную преданность медицине — профессии в высшей степени гуманной,— Антуан Тибо, незаметно для себя самого, врастает в буржуазную действительность и *тем самым* губит свой талант.

В «Эпилоге» же Антуан Тибо сурово переоценивает и свою жизнь и свою философию. Он приходит к выводу, что его взгляды были не выражением подлинного его характера, а искусственной личиной, которую он себе создал, приспосабливаясь к существующим общественным отношениям. Антуан сознает правоту Жака. Он как бы впитывает бунтарский опыт своего погибшего брата и призывает Жан-Поля — сына Жака и Женни — продолжить путь отца. «Эпилог» — один из шедевров мировой литературы, рисующий волю и разум человека в их противоборстве со смертью. Антуан знает, что дни его сочтены, но и на больничной койке он не порывает духовной связи с миром; не порывает как врач, записывая все симптомы своего угасания, чтобы помочь в дальнейшем бороться за жизнь отравленных газом; не порывает теперь уже и как *гражданин*, внимательно и напряженно следя за тем, как кончается война, какие предлагают меры, чтоб она не могла вновь обрушиться на человечество. Политическая мысль Антуана, при всех его иллюзиях и заблуждениях, устремлена в будущее. Пафос гражданственности ведет на подвиг не только Жака Тибо, но и его старшего брата, чье поведение в «Эпилоге» не менее, если не более, героично, чем последний, отчаянный жест Жака.

Может ли исследователь, чья задача *раскрыть* читателю творчество Мартен дю Гара, отказаться от анализа «Эпилога»? Может ли добросовестный критик говорить о единстве атмосферы «Эпилога» и первых шести частей романа?

К. Боргаль не желает видеть, что характеры у Мартен дю Гара отражают общественные противоречия. Он предпочитает рассуждать о комплексе неуверенности, от которого писатель будто бы страдал всю жизнь, о склонности Мартен дю Гара (идущей от Л. Толстого!) к изображению «темных глубин души», о том, что поведение Даниеля де Фонтанена объясняется эдиповым комплексом, а любовь Жака и Женни — чувство извращенное: «тяготение к себе подобному» и т. д. Все герои Мартен дю Гара, по мнению К. Боргаля, неудачники, все они страдают от одиночества, ибо такова *трагическая сущность бытия, трагическая природа человека*. Стремление нивелировать социальную природу личных трагедий, свести все к метафизическим «условиям человеческого существования» свойственно многим буржуазным писателям, утратившим веру в прогресс, в возможность изменить жизнь путем общественных преобразований. Но при чем здесь Мартен дю Гар? Беспощадная трезвость реалиста побуждает Мартен дю Гара изображать своего современника во всех его противоречиях, в борьбе, из которой человек далеко не всегда выходит победителем. Однако одиночество его героев не извечный постулат, а следствие их общественной позиции.

В одиночестве умирает Жан Баруа (герой одноименного романа Мартен дю Гара, написанного в 1913 году), отрекшийся от идей своей молодости. Но был ли он одинок в пору патетической борьбы за справедливость, в годы дрейфусиады? Его изоляция — плод измены прежним идеалам, трагический результат крушения веры в прогресс и науку, которое было обусловлено исторической ограниченностью позитивизма, исторической ограниченностью идей буржуазной демократии.

Одинок молодой Антуан Тибо, отгородившийся от общественной борьбы своей философией «человека действия». Но последние дни жизни роднят Антуана не с Жаном Баруа, а скорее с другим героем того же романа — Люсом, чьи ясность и спокойствие перед лицом смерти противопоставлены жалкому страху Баруа. Как и Люс, Антуан «не позволяет индивидуальному ослеплять себя» (таков девиз Антуана в «Эпилоге» вместо индивидуалистического «я устою» дней его молодости). До последних секунд, до последнего проблеска сознания Антуан живет интересами человечества.

Трагически одинок, наконец, Жак Тибо, восстающий против всех и бессмысленно гибнущий от пули своего соотечественника,

чью жизнь он хотел спасти. Жак Тибо не добился братания французских и немецких солдат. Но его ожидания все же сбылись, пусть по-иному, чем он это представлял себе, пусть на несколько лет позже, когда ему лично не суждено уже было об этом узнать. Жак Тибо, павший, по справедливому выражению П. Дэкса, «на полпути от горизонта одного к горизонту всех», Жак, движимый чувством солидарности с обманутым человечеством,— предтеча той высшей формы преодоления одиночества, которую познали бойцы революции.

Таким образом, трагическая судьба героев Мартен дю Гара всегда обусловлена социально, исторически; в основе их трагедий — общественное неблагополучие, а не метафизическая природа человека.

Клеман Боргаль обмолвился в начале своей работы, что герои Роже Мартен дю Гара историчны и что в этом заслуга писателя. Однако ему самому историчность совершенно не свойственна: творческий путь Мартен дю Гара в интерпретации К. Боргаля вырван из жизни Франции, из жизни народа. Вопреки очевидности, К. Боргаль считает, что семь лет перерыва между «Смертью отца» и «Летом 1914 года» были посвящены лишь «техническим поискам» писателя, не знавшего, как завершить излишне растянувшееся и замедлившееся повествование. Война, считает К. Боргаль, оказалась прекрасной развязкой для семейного романа: она привела к гибели обоих братьев и, как некий «дьяболос экс махина», помогла разыграть по всем канонам последний акт трагедии.

Ни на антивоенном пафосе «Лета 1914 года», ни на особом месте этого произведения среди антивоенных романов периода между двумя войнами К. Боргаль, разумеется, не останавливается. А между тем, если Мартен дю Гар счел необходимым уничтожить почти уже готовый к печати том «Семьи Тибо» и пересмотреть план эпопеи, сделав предвоенные дни 1914 года ее кульминацией, если он сосредоточил основное внимание не на ужасах войны (хотя и отступление французов, в ходе которого гибнет от пули жандарма Жак, и медленное умирание Антуана, отравленного ипритом, достаточно страшны, чтоб показать истинное лицо войны), а на *причинах* ее возникновения, на поисках новых форм *общественной гарантии мира*, то это, без сомнения, связано с событиями тридцатых годов. Явной становилась фашистская опасность. Новая война грозила народам Европы. «Лето 1914 года» и «Эпилог» свидетельствуют, что Мартен дю Гар, хотя и не принимал активного участия в антивоенных организациях французской интеллигенции, жил интересами своего народа. В «Семье Тибо» нет ни отчаяния перед лицом неотвратимого стихийного зла, ни покорности перед ним. Эта книга утверждает возможность борьбы с войной.

Новое понимание *долга гражданина*, *новое* понимание *роли организованных народных масс* в моменты решающих исторических поворотов и делает столь убедительно *современной* эпопею Мартен дю Гара. Эту сторону мировоззрения писателя отметил Пьер Дэкс в своем эссе* о методе Роже Мартен дю Гара. «Роман,— писал П. Дэкс о «Семье Тибо».— подводит нас к той новой эпохе — к нашей эпохе,— когда войны перестают быть чем-то обрушивающимся на нас извне, трагедия отныне в разрыве, который существует между коллективным сознанием, что мы можем стать господами своей судьбы, и средствами, или отсутствием средств, для осуществления этого».

Однако ни осмысление причин возникновения войны, ни поиски возможностей остановить ее наползающую лавину, ни понимание автором «Лета 1914 года» роли народа, ни запечатленный им крах II Интернационала совершенно не интересуют К. Боргаля, поскольку, со всей очевидностью, не относятся ни к сверхреальности, ни к метафизическим глубинам бытия, а отражают проблемы действительной жизни, отнюдь не утратившие, к тому же, своей актуальности.

К. Боргаль не может, конечно, не видеть нового отношения Жака Тибо к войне. Об этом свидетельствует хотя бы брошенное мимоходом замечание, что участие Жака в мировых событиях качественно отличается от роли Фабрицио дель Донго в битве при Ватерлоо. Однако попытка Жака изменить ход истории для К. Боргаля не более чем эфемерная иллюзия героя, от которой ничего не остается после его гибели. Жак Тибо трагически заблуждается, когда надеется остановить войну, действуя в одиночку. Но отнюдь не заблуждение — и Мартен дю Гар утверждает это «Эпилогом», которого К. Боргаль предпочитает не касаться,— что такая борьба *иными средствами* возможна.

Нет нужды останавливаться на всех искажениях, которые допускает в своей трактовке произведений Роже Мартен дю Гара К. Боргаль. Стоит упомянуть еще лишь об анализе «Старой Франции»: он подтверждает со всей наглядностью, что неприятие реализма как метода связано с нежеланием видеть в искусстве отражение социальных противоречий. Автор монографии не может скрыть своей неприязни к сатирическому изображению собственнической Франции в этом небольшом романе, созданном писателем в начале тридцатых годов, как раз тогда, когда под влиянием общественных событий он продумывал новый план «Семьи Тибо».

В альбоме гротескных зарисовок «Старой Франции» Боргалю претит слишком открытая тенденция к социальному обобщению. Его раздражает, что социальное положение персонажей явно определяет их индивидуальность. Юмор Мартен дю Гара представляется Боргалю недостаточно мягким, недо-

---

* Daix, Pierre, "Réflexions sur la méthode de Roger Martin du Gard", les Editeurs Fr. Réunis, 1957.

статочно добродушным; «мстительный юмор»,— горько сетует он. Боргаль корит автора за то, что тот не вызывает ни жалости, ни сочувствия к изображенным в романе провинциальным типам — только ненависть; он обижается на особую едкость сатиры по отношению к клерикальному ядру деревни — кюре и святошам. Пытаясь и тут «обезвредить» Мартен дю Гара, Боргаль заявляет, что причина столь мрачного колорита, очевидно, во врожденной нелюбви писателя к крестьянам, и даже приводит в подтверждение своего глубокомысленного тезиса рассказ какого-то очевидца о том, как, купив небольшое поместье Тертр, Мартен дю Гар не пожелал иметь дела с арендаторами и распродал все фермы. Наивность объяснения не нуждается в комментариях. Но в этой «наивности» есть своя система, и не удивительно, что, обмолвившись о связи «старой Франции» с *основной* проблематикой «Семьи Тибо», К. Боргаль ни в этой главе, ни на страницах, посвященных «Семье Тибо», этой *основной* проблематики не касается.

К. Боргаль весьма иронически отзывается об «утилитарном» отношении к Роже Мартен дю Гару в нашей стране: «Легко догадаться,— пишет Боргаль,— что с определенной точки зрения сатира на капиталистическую буржуазию, которая содержится в скрытой форме в «Семье Тибо», может прельщать за железным занавесом».

Творчество Мартен дю Гара действительно антибуржуазно. И, устраняясь от анализа этого его свойства, автор монографии лишает себя возможности правильно понять метод Мартен дю Гара. На высокомерное заявление К. Боргаля можно было бы ответить, что именно советской критикой — еще до войны — «Семья Тибо» была оценена как новаторское произведение, как одна из вершин реализма XX века. Именно советская критика впервые — задолго до «Эдисон юниверситэр» — назвала Мартен дю Гара классиком XX века. И сделала это, разумеется, не только потому, что имела в виду «использовать» в целях «пропаганды» разоблачение писателем мира собственничества, изображение им буржуазного общества как общества губительного для человеческой души, таланта, любви, как общества, ввергающего человечество в войну ради корыстных интересов узкого круга. Советская критика писала о величайших достижениях художника, о поразительном его даре создавать живые, объемные характеры, раскрывать сложный духовный мир героев, о его удивительной способности передавать пафос творчества и трагическое отчаяние, упоение борьбой и чудовищное очерствение чувств.

До сих пор противники реализма во Франции утверждали, что Мартен дю Гар — реалист и потому несовременен. К. Боргаль решил сменить оружие, он попытался в своей книжке доказать, что Мартен дю Гар — современен, потому что он не реалист. Но мир Мартен дю Гара слишком реален, населен слишком живыми, слишком полнокровными людьми, чтобы произвольным мановением критической палочки удалось обратить их в символы и тени!

«Мне бы хотелось,— писал Мартен дю Гар Пьеру Дэксу,— чтобы вы оказались правы и чтоб я мог уйти с мыслью, что оставляю после себя роман, который (не потому, что я хотел того или намеренно к тому стремился,— но ведь это и есть самый верный путь) может облегчить читателям «познание истории» завтрашнего дня».

Мартен дю Гар имел все основания верить, что эта цель им достигнута. Творческое наследие писателя еще ждет своих исследователей во Франции и за ее рубежами. И всякий, кто подойдет к этой работе честно, должен будет вскрыть подлинные причины удивительной *современности* его романов, созданных на протяжении полувека, показать, почему и сегодня они помогают нам думать, решать, действовать.

И. Серебряков

Новая работа о Калидасе*

В 1956 году в соответствии с решением Всемирного Совета Мира все человечество отметило 2000-летний юбилей Калидасы, одного из величайших классиков мировой литературы, славного сына Индии. Это событие вызвало публикацию многочисленных статей и работ о творчестве замечательного поэта, а также и новых переводов его произведений. Из исследований зарубежных индологов следует упомянуть здесь работу выдающегося немецкого индолога Вальтера Рубена «Калидаса. Гуманистическое значение его произведений», изданную в 1956 году в Берлине **. В этой работе предпринята определенная попытка отойти от традиционного взгляда на Калидасу как на аристократического, придворного поэта. В изданном Гослитиздатом однотомнике произведений Калидасы и отдельном издании его драмы «Сакунтала» имеются вступительные статьи И. Рабиновича, которые также являются попыткой пересмотреть традиционные взгляды на творчество Калидасы и содержат немало заслуживающих внимания положений. Интересна также брошюра В. И. Пащенко «Гордость индийской литературы Калидаса»***. Статья М. Кораллова в журнале «Новый мир»**** страдает отсутствием должного исторического обоснования положений, выдвигаемых автором, и потому недостаточно убедительна, хотя и она свидетельствует о стремлении по-новому истолковать творчество Калидасы.

Вышедшая недавно брошюра В. И. Кальянова и В. Г. Эрмана представляет собой опыт обобщения данных современной науки о творчестве гениального поэта. От подобной работы, рассчитанной на широкий круг читателей, можно было бы ожидать живого рассказа о личности и творчестве поэта, в результате которого должно сформироваться ясное представление о его месте в ряду классиков мировой литературы. Конечно, писать о Калидасе гораздо труднее, чем о любом из европейских писателей. Там, где исследователь европейской литературы находит достаточные хронологические данные, рукописи и материалы самого автора и его современников, обильные данные смежных дисциплин и т. д., исследователь литературы народов Индии не располагает применительно к древней и средневековой литературе точными хронологическими данными, у него нет, как правило, оригинальных рукописей, нет у него подчас и данных смежных дисциплин. Все это справедливо и в отношении творчества Калидасы. Основным источником сведений о его биографии и творчестве являются три драмы Калидасы, две лирические и две лирико-эпические поэмы. Все другие данные носят характер второстепенный. Исследователь должен синтетически осмыслить все имеющиеся факты и воссоздать не только отдельные черты, но и портрет в целом, хотя краски, возможно, будут не всюду яркими и портрет еще не будет полным. Он будет совершенствоваться и дополняться новыми штрихами и красками в ходе дальнейшего прогресса науки.

Сразу же нужно сказать, что портрета пока еще не получилось. Авторы брошюры повторили уже неоднократно слышанные жалобы на скудость материалов о биографии Калидасы. «...Ничего определенного нельзя сказать о его биографии... Индийский народ создал на протяжении столетий множество легенд о жизни своего любимого поэта. Однако основываться на какой-либо из них сколько-нибудь уверенно для воссоздания биографии Калидасы, разумеется, нельзя» (стр. 8). Далее следует изложение одной из легенд, уже приводившейся академиком С. Ф. Ольденбургом в его статье, предпосланной переводу драм

---

* В. И. Кальянов, В. Г. Эрман. Калидаса. Очерк творчества. Гослитиздат. Москва, 1958 г.

** Walter Ruben. Kalidasa. Die menschliche. Bedeutung seiner Werke. Akademie-Verlag. Berlin, 1956.

*** В. И. Пащенко. Гордость индийской литературы Калидаса. Издательство «Знание», Москва. 1956 г.

**** М. Кораллов. Калидаса. «Новый мир» № 11, 1956 г. стр. 237—246.

Калидасы еще в 1916 году *. Возникает естественный вопрос — неужели за истекшие сорок с лишним лет мы не ушли дальше в своем отношении к народным преданиям? Неужели из них мы можем сделать лишь тот вывод, что Калидасу правомерно сопоставить с Иванушкой-дурачком, Ходжой Насрэддином и Эйленшпигелем? Представляется, что авторы придерживаются попросту методологически устаревшей точки зрения, сводящейся к тому, что «... из всех этих легенд и преданий современный исследователь ничего, кроме недостоверных догадок, извлечь не может». Фактов они, быть может, и не дадут, но облик поэта, отношение народа к поэту вырисовывается в них с убедительной полнотой. Как бы то ни было, дело литературоведа проанализировать их и извлечь максимум возможного, а авторы брошюры уклонились от этой задачи.

Не менее пессимистична, с этой точки зрения, оценка и самих произведений Калидасы. «К сожалению, великий поэт был слишком скромен, чтобы вводить в свои произведения какие-либо сведения о собственной личности. В его поэмах и драмах мы не находим в этом отношении ничего более существенного, чем единичные упоминания имени писателя, долженствующие служить свидетельством его авторства. Поэтому и здесь нам остается строить предположения и догадки, основываясь на отдельных намеках и косвенных указаниях, разбросанных в различных местах произведений Калидасы» (стр. 12). Что же из этого следует? Не только, разумеется, что мы не можем из них узнать, где родился поэт и каковы были отдельные факты его биографии, но и то, что мы не можем представить себе ни его общественных и политических взглядов, ни его мировоззрения, ни его литературных и художественных вкусов. Вряд ли есть лучшая биография поэта (мы не говорим здесь о хронологической ее стороне), чем его произведения. Вряд ли кто-нибудь смог воссоздать духовный облик Саади лучше, чем он это сделал сам в «Бустане» и «Гулистане». То же самое относится и к Калидасе. Нельзя сказать, что авторы вообще не предпринимают попытки проанализировать произведения поэта с целью извлечь материал для его биографии. Они, например, подчеркивают на стр. 10 его знакомство с философией, но разве не дает XI песня «Рагхуванши» основания утверждать, что и сам Калидаса был выдающимся философом, превосходно владевшим диалектикой? Они считают, солидаризируясь с профессором П. Г. Риттером, что Калидаса был шиваитом **, но разве все творчество поэта не показывает, что воззрения его гораздо шире и выходят за рамки любых религий, что он, по существу его взглядов, величайший гуманист своей эпохи?

Здесь же нам хотелось бы выразить и недоумение таким настойчивым подчеркиванием *брахманской* культуры, *брахманской* поэтики, *брахманской* теории. Покойный академик А. П. Баранников приложил немалые усилия к тому, чтобы избавить нашу индологию от подобных *брахманских* концепций. Нельзя не пожалеть, что *кастовые* формулировки воскрешаются в брошюре двух его учеников. Спору нет, брахманство играло видную и подчас господствующую роль в культурной жизни древней и средневековой Индии, но авторам хорошо известно, что многие произведения классической литературы Индии появились в результате антибрахманских общественных движений. Говорить о *брахманской* культуре — значит отрицать участие других слоев общества, в том числе, например, актеров, относившихся к низшим кастам, в создании национальной культуры. Однако как их можно исключить из развития такого явления культуры, как театр? К какой культуре мы отнесем «Брихаткатха» Гунадхьи, написанную не на языке так называемой брахманской культуры — санскрите, а на народном языке? Очевидно, что термин «брахманская культура» не может охватить всего богатства проявлений культуры народов древней и средневековой Индии и, следовательно, не только неуместен в данном контексте, но и неправилен по существу. Вряд ли стоит после академика А. П. Баранникова возвращаться к этому вопросу, но поскольку авторы воскресили самый термин, им следовало бы раскрыть, во всяком случае, для широкого читателя, что они имеют в виду.

Положительно то, что авторы дают подробное изложение содержания произведений Калидасы, сопровождая его кратким литературоведческим комментарием. В этом самое большое достоинство брошюры, ибо мы до сих пор не располагаем переводом всех произведений Калидасы. С литературоведческой точки зрения, наиболее интересны два последних раздела брошюры. Первый из них посвящен вопросу о соотношении творчества Калидасы с каноном санскритской поэтики. Поскольку древнеиндийские эстетические теории и трактаты о поэтике до сих пор остаются не известными даже специалистам-литературоведам, следует положительно оценить изложение авторами некоторых важных положений древнеиндийской эстетики и поэтики. Но так как повсюду речь идет о канонах придворной литературы, коим, по мнению авторов, следовал Калидаса, поневоле проникаешься убеждением, что Калидаса и в драмах, и в своих поэмах является аристократическим поэтом (стр. 54, 64). Но каковы же тогда причины, обусловившие его непреходящее художественное значение не только для народов Индии, но и для всего человечества? Ведь мало назвать двух-трех писателей и поэтов, обращавшихся к сюжетам

* Акад. С. Ф. Ольденбург. Несколько слов о Калидасе и его драмах и о сущности индийской поэзии. В кн.: Калидаса. Драмы. Перев. К. Бальмонта, изд. Сабашниковых, М., 1916, стр. XII—XIV.

** Последователь шиваизма — одного из направлений индуизма.

Калидасы, но надо показать и то, как и в чем сказалось его влияние на позднейших поэтов. Нужно разобраться и в вопросе о том, он ли следовал канонам или каноны, быть может, основывались в значительной степени на его произведениях. Не менее важно разобраться в том, какие объективные обстоятельства обусловили популярность Калидасы у европейских народов. Факты, свидетельствующие о глубоком интересе передовой европейской общественности к древнеиндийскому поэту, приводимые авторами, далеко не новы. Но среди них почему-то отсутствует даже упоминание о деятельности Г. Форстера, одного из первых переводчиков «Сакунталы». Он для нас интересен прежде всего потому, что Г. Форстер, представитель немецкой передовой общественности конца XVIII века, четко и определенно выразил ее отношение к культуре народов Азии и в том числе к культуре народов Индии. Когда буржуазия наиболее развитых держав стремилась овладеть Индией и прикрывалась флагом насаждения там европейской культуры, Георг Форстер, путешественник, ученый, революционер, писал в предисловии к своему переводу «Сакунталы»:

«Каждая страна имеет присущие ей особенности, которые воздействуют на духовные силы и организацию жизни ее обитателей. Из этих, весьма различных по своему характеру, индивидуальных особенностей, когда мы сопоставляем их и отделяем в них всеобщее от локального, мы и составляем себе истинное понятие о человечестве. Здесь перед нашими чувствами и нашей фантазией открывается совершенно новая область, некая особо прекрасная индивидуальность человеческого характера... Справедливость, пожалуй, требует все же отчетливо разъяснить, каким же образом различие между индийской и греческой мифологией, историей, нравами должно, к примеру, придавать произведениям искусства страны непривычный для нас облик и структуру; в действительности же смысл такого произведения заключается вовсе не в том, имеет ли оно 5 или 7 действий, а в том, что тончайшие ощущения, на которые только способно человеческое сердце, могут проявляться так же прекрасно на берегу Ганга у темно-коричневых людей, как и на Рейне, Тибре и Илиссе у нас, белых». Об этих замечательных словах Г. Форстера напомнил нам В. Рубен в своей книге о Калидасе, на которую ссылаются авторы брошюры. Автор биографии Г. Форстера, вышедшей в 1954 году в Берлине, пишет по поводу его перевода: «Форстер открыл немцам новый путь в мировой литературе и расширил их прежние горизонты, ограничивавшиеся до этого только классической античностью» *.

Гете познакомился с драмой Калидасы по переводу Форстера, и известное четверостишие, уже много раз цитированное, было вдохновлено как раз форстеровским переводом. Высоко оценивали вклад Г. Форстера в немецкую литературу и Хердер и Гейне. Обязаны Г. Форстеру и мы, ибо перевод Н. М. Карамзина сделан именно с его перевода.

Слова Г. Форстера о равновеликости национальных культур, о равно прекрасных возможностях человека вне зависимости от цвета его кожи или места жительства объясняют, на наш взгляд, причины исключительной популярности «Сакунталы» у передовых людей Европы того времени. Вряд ли все сказанное выше не было известно нашим авторам. Авторы приводят — и в этом их достоинство — массу фактов, но факты эти плохо систематизированы и не обобщены. Стремясь поднять брошюру, рассчитанную, видимо, на массового читателя, до уровня научной работы, авторы дали обширную библиографию в постраничных примечаниях и уснастили ее санскритскими цитатами в тексте, излишне его отяжелив.

Касаясь вопроса о переводах произведений Калидасы, авторы весьма пессимистически отзываются об интересном эксперименте советского индолога П. Г. Риттера, заявляя, что его переводы «...могут дать только приблизительное представление о художественном достоинстве поэмы. То же можно сказать и о всех других переводах Калидасы на европейские языки». А вместе с тем, всего лишь страницей раньше они не поскупились на весьма лестный отзыв о переводах драм Калидасы, сделанных известным русским поэтом-символистом К. Д. Бальмонтом.

Традиция переводов произведений Калидасы на русский язык восходит еще к Н. М. Карамзину. Все переводы в брошюре названы, но нигде авторы даже и не попытались охарактеризовать имеющиеся переводы не только с точки зрения художественной и научной точности, но и с точки зрения того, как изменялось с течением времени восприятие творчества индийского поэта. Отсюда, как нам представляется, и берет начало апология переводов драм Калидасы, сделанных К. Д. Бальмонтом. Нельзя не удивляться тому, что некоторые из наших индологов и Гослитиздат так настойчиво предлагают читателю переводы Бальмонта, не соответствующие ни подлинному духу Калидасы, ни современному уровню развития переводческого мастерства. Хорошо известно, что Бальмонт щедро наделял переводимого им поэта своей собственной творческой индивидуальностью, превращая, например, Шелли в подобного себе представителя декадентской поэзии. Не избежал этой участи и Калидаса. Вместо того, чтобы организовать работу над новыми переводами драм Калидасы, используя имеющиеся у нас кадры санскритологов, Гослитиздат пошел по пути наиболее легкому и наименее верному.

Быть может, об этом не стоило бы и писать, но дело, к сожалению, не ограничи-

* Friedrich M. Thoma. Georg Forster. Weltreisender. Forscher. Revolutionär. Verlag Neues Leben. Berlin, 1954. s. 135—136.

вается только переводами, популяризируются и взгляды Бальмонта на творчество Калидасы. Вряд ли уж так было необходимо публиковать в первом томе «Восточного альманаха», в издании, цель которого популяризировать литературу народов Востока, статью Бальмонта «Любовь и ревность в произведениях Калидасы». Еще менее целесообразно формировать мнение нашего читателя о Калидасе с помощью нижеследующей цитаты из этой статьи, приводимой авторами брошюры:

«Провести целую бурю к цели, не нарушая законов гармонии; показать *все человеческое сердце в его любви к пытке,* ни разу не оскорбив чувства чрезмерностью; явить отдельный замысел, который весь окрашен цветами и цветом, землею и небом данной страны, и в то же время завоевать сердца иных стран и веков; *достичь высокой кульминации драмы, не прибегая ни к единому атому злых чар, темного колдования, сплетенного из ночи, яда и крови;* превратить рыдание в музыку и боль в одно преображение — этого никто не достиг, кроме Калидасы в «Сакунтале».

Когда я думаю, чего достиг еще в Девятой симфонии Бетховен и во всей своей музыке и мыслях о ней Скрябин, я думаю, что из соединения трех элементов гениального достижения Калидасы может возникнуть нечто приближающее нас к *высокому понятию Театра Юности и Красоты»* (курсив всюду мой.— *И. С.*).

Ведь это, можно сказать, квинтэссенция декадентской мистики и выспренности, и сами авторы брошюры не в состоянии раскрыть действительного смысла «любви к пытке», «злых чар, темного колдования, сплетенного из ночи, яда и крови». То, что было вполне понятно в устах одного из наиболее значительных представителей поэзии русского декаданса, поскольку отражало его эстетические взгляды, представляется по меньшей мере неуместным в брошюре современных авторов. Значение творчества Калидасы для наших современников осталось в брошюре невыясненным. Молчаливое согласие ее авторов с Бальмонтом в поэтической оценке творчества Калидасы не может удовлетворить ни нашу науку, ни нашу общественность.

Наше время требует новых переводов бессмертных творений Калидасы, способных раскрыть перед советскими людьми все могущество его поэтического гения, выросшего на благодатной почве богатейшего и разностороннего литературного творчества народов древней Индии, всей ее замечательной культуры. Пора создать — и лучше всего коллективу авторов — монографию о Калидасе и сформулировать в ней нашу точку зрения на творчество великого поэта-гуманиста. Современное состояние науки делает возможным осуществление подобной задачи, конечно, без расчета на то, что дальнейшие исследования не приведут в будущем к пересмотру тех или иных выводов.

Важнейшим достоинством научной работы в любой области является то новое, что авторы ее дают науке и тем самым обществу. Если читатель захочет познакомиться с выводами авторов брошюры, с их мнением, с тем новым, что они внесли в понимание поэзии Калидасы, то это ему не удастся. Он ознакомится с различными мнениями индийских филологов, русских и западноевропейских индологов, занимавшихся творчеством Калидасы. И в этом не было бы большой беды, когда бы все богатство фактов и мнений, собранных в брошюре, вылилось в конечном счете в мнение самих авторов, в какую-то более или менее определенную концепцию, с которой читатель мог бы согласиться. Отсутствие ее не компенсируется бросающимся в глаза изобилием панегирических эпитетов. Волей-неволей приходит на ум мудрая восточная пословица «Хоть тысячу раз скажи халва, во рту от этого слаще не станет».

Причина неудачи авторов брошюры лежит прежде всего в том, что они, как видно, не определили задачи своей работы, того, какому читателю они ее адресуют. Отсюда и изобилие цитат, и многочисленные библиографические сноски, многие из которых на английском языке, отсюда и санскритские цитаты, подавляющие читателя ученостью.

Несмотря на ссылки авторов на некоторые новые работы индийских ученых, они явно недостаточно использовали их достижения, что, впрочем, касается и работ европейских исследователей Следовало бы, например, упомянуть о предпринятом «Сахитья академи» научно-критическом издании собрания сочинений Калидасы, а также и о деятельности «Общества Калидасы».

Брошюра, конечно, свидетельствует о значительной эрудиции авторов и их возможностях, но, к сожалению, не отвечает ни требованиям, предъявляемым к научно-популярной книге, ни требованиям, предъявляемым к научному исследованию. Популярный очерк творчества Калидасы еще должен быть написан.

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

Революционная перспектива

Румынская «Газета литерарэ» открыла дискуссию о социалистическом реализме. Вступая в дискуссию, критик Овид С. Крохмэлничану сослался на опубликованную в «Правде» статью И. Анисимова, в которой автор призывал теоретически обобщить литературную практику в странах народной демократии.

«...Сегодня новая румынская литература насчитывает немало произведений, соперничающих, по всеобщему мнению, с лучшими вещами, написанными у нас в прошлом»,— утверждает Крохмэлничану. Он называет имена Михаила Садовяну и Тудора Аргези, Петру Думитриу и Марина Преды. Лучшие книги этих писателей наглядно свидетельствуют о богатых возможностях творческого метода социалистического реализма.

Крохмэлничану показывает, как современная литература заново открывает человека, находя в нем такие свойства, каких не было и не могло быть прежде. Эти свойства порождаются неузнаваемо преображенной румынской действительностью.

«...Новизна есть и в «Развитии» Марина Преды. Крестьянин здесь изображен в совершенно новых условиях, в которые его поставила история...— пишет Крохмэлничану.— Революционная перспектива, открытая для всей нашей литературы повестью об Илие Барбу, является тем более живой, что она утверждается при явно неблагоприятных обстоятельствах. Действия правых уклонистов, исказивших линию партии в вопросе коллективизации сельского хозяйства, заставляют героя пройти через очень тяжкие испытания. На мгновение Илие Барбу могло бы показаться, что и от мира, на который он возлагал такие надежды, нельзя многого ожидать. В конце концов в драматических столкновениях редкой остроты социалистический идеал побеждает в душе бедного крестьянина... Мы опять оказываемся перед совершенно новым явлением, мы видим людей с другими моральными критериями, людей, которых наша новая литература как наука о человеке имела счастье вписать в сферу своих открытий».

Проза Петру Думитриу и Титуса Поповича, поэзия Михая Бенюка, Марии Банушь, Нины Кассиан — все это примеры, подтверждающие новаторство румынских мастеров социалистического реализма. «Количество примеров можно, конечно, увеличить, но сейчас не это нас интересует,— пишет Крохмэлничану.—Важно то, что суть нашей новой литературы — это реальность, качественно отличная именно благодаря революционной перспективе, которую она содержит».

Крохмэлничану ставит вопрос о том, что представляет собой в художественном произведении революционная перспектива. Он полемизирует с Дёрдем Лукачем, который сводил революционную перспективу к представлению о том, как сложатся судьбы героев за пределами романа.

Концепция Дёрдя Лукача, сформулированная им на четвертом съезде немецких писателей, рассматривается Овидом Крохмэлничану как упрощенчество.

Крохмэлничану не соглашается и с теми, для кого революционная перспектива — это только предвосхищение будущего. «Если бы это было так,— иронизирует он,— тогда собрание научно-фантастических повестей представляло бы собой наиболее законченные произведения социалистического реализма...»

Что же такое революционная перспектива? Как она проявляется в литературе социалистического реализма? «Есть ли эта перспектива непосредственное качество объекта и достаточно ли писателю быть просто «реалистом», чтобы, отразив объект добросовестно, получить произведение, обладающее неизвестными в прошлом свойствами?» — спрашивает Крохмэлничану. Он ставит этот вопрос и иначе: можно ли считать революционную перспективу чем-то привнесенным в действительность извне? Крохмэлничану прав, когда на оба вопроса отвечает отрицательно.

Крохмэлничану, вместе с тем, подчеркивает, что эта перспектива появляется в произведениях социалистического реализма не извне, а изнутри. Она существует в современной реальности, но увидеть ее не

всегда просто. Чтобы увидеть, надо обладать марксистско-ленинским мировоззрением.

Положительный ответ Крохмэлничану на поставленный им вопрос заключается в следующем: «Революционная перспектива бросает свет на будущее героев не в точно временно́м смысле, то есть заставляя нас догадываться, что с ними станет через некоторое время, а в историческом смысле, показывая через индивидуальные судьбы направление истории».

Крохмэлничану приводит в пример роман Титуса Поповича «Земля», который публикуется в журнале «Иностранная литература». «В «Земле»,— пишет Крохмэлничану,— нас интересует, в конце концов, не то, что автор предвидит, как Митру обязательно запишется в сельхозартель или как супруги Теодореску вскоре снова поймут друг друга, а то, намечается ли в романе — через эти судьбы — движение вперед, разрешение целого комплекса социальных и моральных противоречий в историческом развитии... И Титус Попович делает все это, изображая, как в нашу эпоху начинает разрешаться древняя «драма земли».

Крохмэлничану не ограничивается теоретическим определением революционной перспективы, проиллюстрированным примером из творческой практики румынских писателей. Он отвергает то, что в этой практике представляется ему негодным. Он утверждает, что художественное отображение революционной перспективы не должно быть ни поверхностным, ни бесстрастным. Он призывает к глубокому проникновению в настоящее, к стремлению в будущее.

«Многие книги о социалистической действительности лишены этого особого сияния, даже в тех случаях, когда они дают довольно правильное изображение перемен, происшедших вокруг нас,— отмечает Крохмэлничану.— Они останавливаются на поверхности, воплощают то, что видно с первого взгляда, ничего не открывают, ничего не подчеркивают». С точки зрения Крохмэлничану, такие книги не соответствуют высоким требованиям, предъявляемым к произведениям социалистического реализма.

«Конечно, там, где жизнь полна революционного кипения, ее особая сущность выступает на поверхность и поражает наблюдателя. Следовательно, в этом отношении литература социалистического реализма с самого начала находится в благоприятных условиях,— пишет Крохмэлничану.— Но и она не может охватить в целом перспективу, которую приобретает при подобных обстоятельствах развитие жизни, если ее не поддержит марксистско-ленинское мировоззрение, не вдохновят идеалы «атакующего класса», не вооружит могучий дух партии».

„Битва за умы"

По-видимому, в назидание своим соотечественникам лондонский журнал «Букселлер» опубликовал материалы отчета «Американского национального комитета книги», представленного на совещании по распространению американских книг за границей. Авторы отчета не скрывают опасений по поводу «роста советского престижа во всех областях экономической и общественной жизни» стран Востока и с явным раздражением сообщают о широком интересе к советским изданиям по вопросам науки и искусства. В то же время, по их собственному признанию, из американской литературы в этих странах «предпочитают покупать книги... научного и технического характера», несмотря на то, что «в официальных планах изданий... США основное место отводится политическому материалу».

Свою программу идеологической экспансии «Американский национальный комитет книги» маскирует красивыми словами о «культурной» миссии американцев в Азии. Вот один из образчиков подобной фразеологии: «При помощи книг и других средств воздействия мы должны пойти навстречу просыпающимся устремлениям народов Азии и Африки, способствовать развитию лучших условий жизни и достижению политической стабильности». Какая умилительная забота о судьбе народов Азии и Африки! Но, оказывается, все дело в том, чтобы «создать общность целей» с капиталистическим Западом, то есть подорвать дружеские связи Востока со странами социализма и «предотвратить победу коммунизма».

Поскольку «в этой идеологической борьбе явно совпадают цели американского правительства, бизнесменов и добровольных организаций», не удивительно, что в отчете важная роль отводится «частным источникам финансирования»: ведь те, кто эксплуатирует местные ресурсы, особенно заинтересованы в распространении колониалистской идеологии!

Планы идейного закабаления «Американский национальный комитет книги» собирается осуществлять под флагом защиты национальной культуры Востока: «Мы больше выиграем,— откровенно пишут составители отчета,— если сможем добиться победы азиатской культуры и идеологии над русскими, чем если будем добиваться победы американской идеологии над русской».

Для достижения этой цели рекомендуется система подкупов и подкармливания национальных организаций, деликатно названная в отчете «косвенной, но эффективной и ценной помощью в виде субсидий». Амери-

канские бизнесмены готовы поступиться даже собственным карманом: предполагается снять «постоянный экономический барьер» высоких цен и продавать книги по одной трети их стоимости в США.

«Издатели потерпят убытки,— разводят руками составители отчета,— но тот ущерб, который будет нанесен американским национальным интересам в случае исчезновения этого важнейшего канала связи со странами, имеющими особое стратегическое значение, может оказаться губительным».

Не правда ли, в этом месте сухой отчет начинает звучать почти патетически?

Венгерские дискуссии

Постоянный актив по теоретическим и культурным вопросам при ЦК Венгерской социалистической рабочей партии в специальном документе выразил свое мнение о так называемых «народных писателях». В документе говорится: «Необходимо ясно видеть основной факт: партия и государство не могут согласиться с тем, чтобы «народные писатели» организовывались как политический блок или литературная группировка. Партия и правительство подчеркивают, вместе с тем, что они хотят видеть бывших «народных писателей» равноправными и действенными участниками нашей общественной и литературной жизни, участниками созидательной работы нашей народной демократии».

Выпуску партийного документа предшествовали дискуссии, в которых широко участвовала венгерская общественность. Так, например, газета «Элет эш иродалом» предоставила свои страницы Палу Сабо, автору романа «Новая земля», известного советскому читателю. Хотя Пал Сабо и создал роман о преобразованиях, неузнаваемо изменивших венгерскую деревню в послевоенные годы, тем не менее, ему не удалось полностью преодолеть народническое мировосприятие: ошибочные суждения, высказанные в его статье, характерны для «народных писателей». Лайош Мештерхази, редактор газеты, вступил с писателем в горячую полемику, стремясь помочь Палу Сабо осознать свои заблуждения.

Лайошу Мештерхази, между прочим, принадлежит образное сравнение, согласно которому здоровое национальное чувство и национализм так же относятся друг к другу, как любовь и проституция. Мештерхази пользуется этим сравнением, отвергая национализм, утверждаемый «народными писателями».

«Что означает *националистический** характер идеологии «народных писателей»?— ставится вопрос в партийном документе.— По мнению «народных писателей», Венгрия должна идти между Западом и Востоком, между социалистическим Советским Союзом и империалистическими державами Запада...»

«Если лозунг защиты мадьярства до 1945 года направлялся прежде всего против гитлеризма, то теперь этот лозунг, снова провозглашенный политиками и писателями крестьянской партии, направляется прежде всего против Советского Союза...— говорится далее.— Цепляться за националистическую идеологию «третьего пути» значило противопоставлять себя социализму и брать на себя роль сборного пункта всех недовольных, враждебных социализму буржуазных и мелкобуржуазных элементов».

Вопрос о «народных писателях» имеет свою историю. В партийном документе эта история прослеживается с самого начала.

«Крупной исторической заслугой «народных писателей» является постановка социальных проблем крестьянства в период хортистского режима, когда социал-демократия, вследствие предательской политики ее оппортунистического руководства, отказалась от организации крестьянства, а коммунистическая партия, относительно слабая, могла работать только в узких рамках подполья»,— отмечается в документе.

Дальнейший ход событий излагается следующим образом: «Освобождение было поворотным пунктом в венгерской истории. Оно означало рубеж и в истории движения «народных писателей». Если до освобождения их идеология с большей или меньшей последовательностью была в оппозиции — отчасти режиму Хорти и главным образом гитлеризму,— то после освобождения, особенно после «года поворота» ее национализм и теория «третьего пути» обернулись против народной демократии, стали препятствием на пути социализма».

В документе уточняется, что «крестьянский демократизм», присущий «народным писателям», вполне соответствует пресловутой теории «третьего пути». Между тем, как говорится в документе, *«последовательная защита классовых интересов трудящегося крестьянства невозможна с позиций теории «третьего пути»*...

Итак, иллюзия «третьего пути», промежуточного между социализмом и капитализмом, иллюзия особого «венгерского пути», щедро приправленная великомадьярским шовинизмом,— вот, в общих чертах, концепция «народных писателей».

«Нет «третьего пути» между капитализмом и социализмом,— сказано в документе.— *В идеологическом смысле* тенденция «третьего пути» в эпоху капитализма является реакционной, но было бы догматической и сектантской ошибкой забывать о том, что в *практически-политическом смысле* — в противовес фашистской диктатуре, помещичье-буржуазному консерватизму, в противовес крупным капиталистам, поме-

* Здесь и всюду выделено в тексте разрядкой.

щикам и духовенству — это движение может занимать *относительно* прогрессивную точку зрения, может быть союзником сил прогресса».

Таким образом, в условиях буржуазного общества писатель еще может создавать прогрессивные произведения, даже если он стоит и на ошибочных позициях «третьего пути».

В сегодняшней Венгрии, стране народной демократии, стране строящегося социализма, все обстоит по-иному. «Период контрреволюции с полной ясностью показал, что национализм «народных писателей» и их идеология «третьего пути» равнозначны идеологическому оправданию контрреволюции и неизбежно, независимо от субъективных стремлений, ведут к политическому союзу с контрреволюцией,— говорится в документе.— Нельзя обходить молчанием поведение «народных писателей» во время контрреволюции. Мы знаем, что большинство из них не хотело возвращения заводов, банков и поместий старым хозяевам, а во внешней политике не хотело капитуляции перед империализмом. Но из их идеологии вытекал национализм, фальшивая иллюзия «третьего пути», отклонение диктатуры пролетариата. Объективно это лило воду на мельницу контрреволюции».

Венгерская социалистическая рабочая партия четко определяет перспективы, раскрывающиеся перед «народными писателями» в настоящее время.

«Марксистская критика должна порвать с пассивностью в отношении к «народным писателям». Надо ясно видеть, что дискуссия с ними является, в первую очередь, не литературной, а идейно-политической дискуссией»,— говорится в документе.

Критика этих писателей — это критика националистического мировоззрения, это критика ложной теории «третьего пути». Тут нужна непоколебимая принципиальность, а не «беспринципное ухаживание» в надежде на успех. Партийный документ вносит полную ясность в этот вопрос.

«Мы ждем от «народных писателей», чтобы они пересмотрели идеологию своего движения в свете его современного развития,— говорится в заключение.— Это будет трудная и болезненная задача: придется пересмотреть многолетний путь, распрощаться с укоренившимися взглядами и предубеждениями. Но мы считаем, что это единственно возможный путь для них. Трудовой народ, партия рассчитывают на их талант, на их творческий труд и надеются, что бывшие «народные писатели» обогатят нашу литературу своими новыми произведениями. Но условие для движения вперед — самокритика, отказ от ошибочных взглядов. Только таким образом они смогут избежать изоляции от подлинных сил прогресса, от истории».

* * *

Берлинское издательство «Ауфбау» выпустило книгу венгерского писателя Петера Вереша «Любовь бедных». Рецензия на эту книгу, написанная Алмошем Чонгаром и напечатанная в «Нейес Дейчланд», вызвала возражение Вернера Кольмара, специального корреспондента газеты в Будапеште.

«Чонгар правильно устанавливает, что автор книги — выдающийся представитель венгерских «народных писателей». Но никак нельзя согласиться с определением — оно могло бы быть позаимствовано из словаря философов-идеалистов,— согласно которому ошибка Вереша состоит во «вражде ко всему городскому, в крестьянском индивидуализме и провинциализме»,— утверждает Кольмар,— потому что все это, в свою очередь, основывается на более существенной ошибке, заключающейся в отрицании ведущей роли рабочего класса и его партии».

Полемизируя с Алмошем Чонгаром, Вернер Кольмар подробно останавливается на заблуждениях «народных писателей». С их точки зрения, пишет Кольмар, Венгрии следовало бы быть страной «социализма без марксизма», а во внешней политике — «мостом между Западом и Востоком».

В своей корреспонденции Вернер Кольмар говорит, что ясность, внесенная партийным документом в сложный и запутанный вопрос, чрезвычайно своевременна и необходима.

«Не следует думать, будто теории «народных писателей» имеют под собой твердую почву в венгерском народе. Такие времена миновали безвозвратно. Чем упорнее «народные писатели» настаивают на своем, тем больше они изолируют самих себя от народа. Говорят, что Вереш прежде был популярен среди крестьян. Теперь его часто встречает холодное отчуждение»,— пишет Кольмар.

«Этот решительный поворот,— продолжает он,— обусловлен бескомпромиссной борьбой Венгерской социалистической рабочей партии, которая признает былые заслуги Вереша, Сабо и других, но не только не оставляет их вредные теории без опровержения, но и высказывается о них со всей откровенностью, серьезно и убедительно».

„Новая школа" французского романа

«Ставка на новаторство таит в себе небольшой риск ошибки, но ставка на традицию наверняка ведет к ошибке». Эти слова принадлежат молодому писателю Алену Роб-Грийе. Не будем спорить по существу— эти вопросы достаточно выяснены у нас. Но столь безапелляционное высказывание Роб-Грийе показательно для умонастроений писателей, причисляющих себя к «новой школе» французского романа. Эта «школа»,

ставшая во Франции модной, закрепила за собой название «шозизм» (от французского слова la chose, что означает «вещь»).

Имена Алена Роб-Грийе, Натали Саррот, Мишеля Бютора вновь и вновь появляются в прессе Западной Европы и Соединенных Штатов. Эти писатели заявляют о своей принадлежности к одной и той же школе, хотя и отличаются друг от друга некоторыми особенностями творческой манеры.

«В Париже возникла новая литературная школа, отражение которой дает себя знать далеко за пределами Франции»,— так еще весной сообщалось в «Нью-Йорк таймс бук ревью». А французский журнал «Эспри» недавно на ста двадцати страницах развернул дискуссию о «шозизме».

«Если искусство — ничто,— писал Роб-Грийе в «Леттр франсез»,— то в таком случае живопись, литература, скульптура, музыка могут быть поставлены на службу революционному делу; это будут всего-навсего орудия, которые можно сравнить с моторизованными армиями, с фабричными машинами, с тракторами; оценка им будет даваться только на основе их прямой «непосредственной» действенности».

Дальнейшие рассуждения Роб-Грийе сводятся к следующему: если искусство — это все, то оно не должно обладать никакой другой целеустремленностью, кроме служения самому себе.

Полемизируя с Аленом Роб-Грийе, Бернар Дор в журнале «Эспри» утверждает: «Нет никакой разницы между чистым искусством и искусством-оружием, так как искусство для искусства всегда было лишь средством поддержания установленного порядка». Конечно, Бернар Дор не думает отождествлять искусство, становящееся оружием в борьбе за прогресс, с так называемым «чистым» искусством. Он только хочет сказать, что всякое искусство, в том числе и «чистое», выполняет определенную социально-политическую функцию.

Однако Роб-Грийе не ограничивается новым вариантом старой теории «чистого» искусства. Его рассуждения завершаются совсем неожиданно. Он заявляет, что «якобы бесполезное» «чистое» искусство «займет, возможно, свое место рядом с рабочими профсоюзами и баррикадами». При этом он ссылается на минувшую «историю народов».

Откуда такой парадокс? Выходит, что молодой писатель в конечном итоге не отрицает взаимодействия искусства с жизнью. Но ему кажется, будто наибольшей силой этого взаимодействия обладает искусство, лишенное тенденции. Он верит, что существование такого искусства возможно и желательно.

Отвергая тенденциозность искусства, Роб-Грийе пришел к выводу, сформулированному следующим образом: «Если изображаются вещи, то любое объяснение излишне».

Роб-Грийе отказывается от проникновения в сущность исторических событий и человеческих судеб. Он признает только «реализм наличия», наличия вещей, описание которых будто бы говорит само за себя. Роб-Грийе придумывает сравнение творческого процесса с судебным следствием. Следователь может создать свою теорию, кажущуюся убедительной, но истина заключается не в этой теории, а в вещественных уликах, наличие которых оказывается решающим. Нечто похожее происходит и с писателем, призванным без собственных комментариев описывать наличие вещей. Так рассуждает Роб-Грийе; поспорить с его рассуждениями могли бы не только литераторы, но и судебные следователи.

Бернар Дор спорит с Роб-Грийе на страницах журнала «Эспри». В романе, загроможденном вещами, не оказывается места для человека — таков практический результат теоретических изысканий «новой школы». «Роб-Грийе, выпячивая на первый план предметы, забывает о человеке»,— справедливо заключает Бернар Дор.

Роб-Грийе сознательно стремится создать роман без героя. «Без конца твердят о персонаже. Пятьдесят лет говорят о его болезни, серьезнейшие критики неоднократно регистрировали его смерть, и все же ничто не смогло свергнуть персонаж с пьедестала, на который он поднят в XIX веке. «Настоящим» писателем и поныне считают того, кто «создает персонажи»,— пишет Роб-Грийе.— Но все крупные современные произведения доказывают как раз обратное. Разве запомнили читатели имя главного персонажа в «Тошноте» Сартра или в «Чужом» Камю? Разве эти персонажи отождествляют человеческие типы? Не бессмысленно ли считать эти книги изучением характера? Нет отображения характера и в «Путешествии на край ночи» Селина, и не случайно все эти три романа написаны в первом лице. Фолкнер сознательно наделяет одним и тем же именем двух разных лиц, а Кафка в «Замке» довольствуется для своего героя одним инициалом, лишив его семьи, лица — всего».

Из многообразия современной литературы Роб-Грийе выбирает те книги, на которые ему удобно ссылаться. Он перечисляет наиболее известные примеры литературы декаданса. Аналогичными ссылками Роб-Грийе подкрепляет и свое мнение о том, что фабула не обязательна для романа. «Требование интриги было менее стеснительно для Пруста, чем для Бальзака, менее стеснительно для Фолкнера, чем для Пруста, менее стеснительно для Сэмуэля Бекетта, чем для Фолкнера»,— говорит Роб-Грийе.

В конечном итоге он приходит к следующему выводу: «Традиционный, так называемый «психологический» или «социально-психологический» роман... отжил свое время».

Однако творческая практика лучших представителей «новой школы» во многом не соответствует ее теории. Об этом свидетельствует удостоенный премии Ренодо роман Мишеля Бютора «Изменение».

«Эта книга значительна в той мере, в какой она, выходя за рамки навязчивого описания вещей, возвращает читателя к тому, что является главным в литературе,— к изображению человека...» — писала газета «Монд».

Роман заслужил положительный отзыв «Юманите», в котором говорилось следующее: «Писатель ткет вокруг сюжета плотную паутину при помощи множества точных деталей; в целом эти детали создают впечатляющий образ; читатель точно заколдован подробнейшим рассказом о поездке из Парижа в Рим, поездке человека, решившегося в сорок пять лет оставить жену и детей ради любовницы, с которой он познакомился в Италии... Читатель видит, как этот человек во время поездки, под впечатлением ряда обстоятельств и собственных мыслей, ими навеянных, отказывается от «изменения» своей жизни».

Роман Бютора, таким образом, оказывается исключением, подтверждающим правило. Мишель Бютор создал роман с героем, тогда как другие романисты «новой школы» пытаются обойтись «наличием вещей».

Давая сравнительную оценку романам Бютора и Роб-Грийе, Эльза Триоле высказала суждение о «новой школе» французского романа. «Во Франции возникла определенная тенденция: эта тенденция выдвигает вещи на первое место в романе,— говорит Триоле.— Эта тенденция еще весьма неопределенная, она не является, а может быть и не станет никогда, организованным авангардом. Она еще в стадии исканий, и, если вещи главенствуют в романах Бютора и в романах Роб-Грийе, они тем не менее имеют различное значение... у Бютора речь идет вовсе не о том, чтобы уничтожить анализ человеческого характера,— как раз наоборот, тщательное описание неодушевленных предметов способствует живому представлению о человеке, в то время как Роб-Грийе мечтает уничтожить в романе и человека и историю, оставив лишь вещи. «Я не знаю,— говорит он,— ведет ли лестница Кафки в иной мир, но я хочу описать эту лестницу». Если бы Бютор описывал ту же лестницу, он делал бы это из-за человека, который поднимался по лестнице, он изобразил бы лестницу, чтобы яснее стал мир, в котором живет этот человек».

«Шозизм» пользуется успехом у буржуазного читателя. Бернар Дор в своей статье объясняет причины такого успеха. «Эту лишенную значения литературу читатель признает своей и придает ей свое значение: он видит в ней не открытие нового реализма, а создание обособленного мира, оторванного от исторической действительности, не испытывающего на себе воздействия времени, воздействия истории. А ведь хорошо известно, что теперешняя французская буржуазия испытывает страх перед историей...»

Негодная попытка защиты декаданса

Декадентские произведения встречают в наши дни все больший отпор у зрителя, читателя, слушателя. С этим не может не считаться буржуазная критика.

Английский еженедельник «Обзёрвер» отнюдь не принадлежит к передовым борцам против декаданса. И тем не менее, со страниц этого журнала раздались недавно резкие голоса, осуждающие эстетическую и творческую практику модного драматурга Э. Ионеско, родившегося в Румынии, а живущего во Франции.

С критикой его пьес выступил английский журналист Кеннет Тайнен. Драматург ответил программной статьей, опубликованной в той же газете. Кеннет Тайнен в новом выступлении признал теорию Ионеско несостоятельной. Так разгорелась дискуссия, показательная для литературной борьбы, происходящей не только в Англии.

«Позиция, которую собирается занять Ионеско, заключается в том, чтобы рассматривать искусство как нечто не зависимое от жизни, безразличное к окружающему миру,— пишет Тайнен во второй статье.— Ионеско считает, что искусство не должно соответствовать чему бы то ни было вне сознания художника». Определяя философскую принадлежность Ионеско, Тайнен справедливо относит его к солипсистам.

Ионеско попытался весьма агрессивно защитить декаданс.

«М-р Тайнен обвиняет меня в том, что я — законченный антиреалист, что с моей точки зрения слова не имеют смысла, а язык — не средство общения. Частично это справедливо,—признает Ионеско,—я просто считаю, что очень трудно заставить себя понять, хотя это и не совсем невозможно. Что же касается реальной действительности, то Тайнен воспринимает реальность только в одном плане, в «социальном» плане, который лично мне представляется наиболее внешним, наиболее поверхностным...»

Ионеско всячески пытается оторвать искусство от социальной действительности, театр — от политической борьбы. Не желая признавать взаимосвязи искусства и идеологии, он требует от драматурга и от театрального критика пассивной созерцательности.

«Его цель,— говорит критик Кеннет Тайнен об Ионеско,— скрыть от всех тот факт, что мы приносим в театр не только «тоску и волнение», но и целый ряд новых идей, моральных, общественных, психологических

и политических, благодаря которым мы рассчитываем когда-нибудь освободиться от застарелого Страха...»

Выступление Кеннета Тайнена против творческой программы Ионеско приобретает особое значение, так как у драматурга имеются последователи. В рецензии на недавно вышедший сборник пьес Ионеско, помещенной в журнале «Нью стейтсмен энд нейшн», названы имена Кита Джонстона, Энн Джеплико, Н. Ф. Симпсон. Пьесы этих авторов ставят на сцене «Роял корт тиэтр».

Литературная практика их учителя подвергается рецензентом справедливой критике. «Окруженный горем, отчаянием, растерянностью, убийствами и репрессиями, он продолжает писать пьесы,— говорит Кристофер Лог об Ионеско,— он витает в заоблачных далях, не глядя ни вправо, ни влево, боясь, что его вдохновение — словно букашка, глухая, слепая, но блестящая — не устоит перед вихрем, устроенным газетчиками и политиканами. Да, он пишет пьесы... Все они, без исключения, поддерживают величайшую эстетическую ложь нашего времени: утверждают, что искусство и политика несовместимы, разделены, изолированы друг от друга».

Показательно, что журнал «Дело», являющийся в Югославии органом воинствующего модернизма, берет Ионеско под свою защиту. Больше того, в статье, напечатанной в журнале, Ионеско объявляется фигурой, неприкосновенной для критики.

Впрочем, автор статьи Слободан Селенич вынужден сделать оговорку: он считает, что критиковать Ионеско — не теперь, а в грядущие времена — «будет иметь право только тот, кто обретет уверенность, что им прочувствованы, открыты, осознаны *способ, средства и содержание,* которые естественно и по существу своему противостоят разрушительному искусству Ионеско». Подобные «открытия» давно уже совершены в литературах многих стран, но журналу «Дело» они представляются невозможными для современника.

Творческая деятельность Ионеско по-иному оценивается на его родине. «Начав с антипьесы,— пишет румынский журнал «Театрул»,— Ионеско создал... антитеатр, который своими идеями служит глубоко реакционным тенденциям капиталистической идеологии».

В полемику с Ионеско в Англии вступил и Орсон Уэллс, напечатавший в «Обзёрвере» статью под названием «Художник и критик».

«Каждое слово художника выражает определенную социальную позицию, занимаемую им, и я не могу согласиться с Ионеско, что общественная тема у художника всегда менее оригинальна, чем памфлет или политическое выступление,— пишет Уэллс.— Художник должен отстаивать или отвергать духовные ценности своего общества. Этот выбор не следует представлять себе в грубых терминах холодной войны... Но есть другая война — жестокая война идей (не только идеологий), в которой принимает участие и сам Ионеско хотя бы своим заявлением о нейтралитете».

Уэллс напоминает, что позиция нейтралитета в свое время привела многих коллег Ионеско за решетку концентрационных лагерей. «Не политика — враг искусства,— утверждает Уэллс,— заклятый враг искусства — это нейтралитет, который не дает нам вовремя увидеть совершающуюся трагедию».

Дина Ринальди

Долина Чистилища

Письма итальянских детей

Перевод с итальянского А. С. Поповой

Недавно в Италии вышла необычная книжка, сразу привлекшая к себе внимание широких кругов общественности. Прогрессивная журналистка Дина Ринальди, много лет работающая в детской печати, опубликовала сборник писем итальянских детей в возрасте от семи до четырнадцати лет, которые были ею отобраны из четырех тысяч писем, полученных редакцией детской коммунистической газеты «Иль Пионьере» («Пионер») и другими итальянскими детскими газетами и журналами. Некоторые из писем, вошедших в сборник, и печатаются в этом номере журнала.

Предисловие к итальянскому изданию книги написал известный писатель Карло Леви. Обращаясь к Д. Ринальди, он, в частности, пишет: «Долина Чистилища — пустырь на окраине Неаполя, служивший до недавнего времени местом свалки (на этих днях я его искал, но город разрастается и застраивается, новое всегда стремится уничтожить, стереть все приметы и тени старого). Там однажды погиб мальчик, такой же, как те, чьи письма ты хранишь. Ребенок был погребен под обрушившейся на него горой мусора в то время, как он там работал (если это можно назвать работой), роясь в пыли и отбросах, ища чего-либо, что могло бы еще пригодиться или пойти на продажу. Может быть, название твоего сборника подсказано воспоминанием об этом ужасном случае, разоблачившем — как и многие другие, ему подобные,— истинные условия жизни подрастающего поколения, заточенного в тюрьму нищеты, ибо многие, большинство из твоих юных корреспондентов принадлежат, как и тот погибший мальчик, к миру нужды, безработицы, раннего тяжкого труда, к миру, где царит насилие над развитием личности ребенка, калечащее и ломающее ее. Да, в этих условиях детство поистине можно назвать Долиной Чистилища...

Эти письма, учитывая условия жизни писавших их детей, большинство которых уже работают или, не имея возможности продолжать учение, должны были оставить школу, в большей степени, чем школьные сочинения, написанные по принуждению, отражают идеи народных слоев общества, активно участвующих в политической борьбе, занимающих позицию протеста и ждущих перемен...

Некоторые мои друзья-педагоги, знакомые благодаря опыту своей работы гораздо лучше меня с детским письменным творчеством, убеждают меня (и я уверен, что они правы) в том, что умственный и, так сказать, литературный уровень собранных здесь писем несравненно выше уровня обычных школьных сочинений и что данный сборник в этом отношении является исключительным документом. Причин этого (а ведь ты избегала обращаться к особо одаренным детям) много... Но несомненно, когда ребенок живет... в Долине Чистилища, где царит нужда, где все имеет свой вес и цену, где все надо заработать и ничего не дается даром, где отцовский авторитет не отождествляется ни с властью, ни с богатством, и даже цветы жасмина — тоже средство заработка, это принуждает ребенка, толкает ради спасения собственной жизни к естественно-реалистическому взгляду на вещи и это оправдывает условный язык писем и выраженных в них чувств. И не без причины мы видим в этих письмах, что наиболее яр-

кой индивидуальностью обладают именно дети самых бедных уголков Италии, самых заброшенных крестьянских селений, где царит нужда, где сурова также и природа и где человек преодолевает все препятствия трудом...

По-моему, это исключительный документ, документ горестный и заставляющий глубоко задуматься. Эти письма, по сути даже слишком однообразные, рисуют картину общества нищего, привычного к повседневной нужде, недостатку работы, к отсутствию уверенности в завтрашнем дне, не оставляющего человеку даже времени, чтобы расти, общества, лишенного радости детства. Заметки о детском труде, помещенные тобой в приложении, служат трагическим подтверждением того, о чем говорится во многих письмах. Многие из этих писем выражают, хотя и очень завуалированно, жажду дружбы (дружбы, нашедшей свой объект в тебе), в них сквозит глубочайшее одиночество. Итак, эти письма — средство почувствовать себя свободными, равными, установить узы дружбы.

Также и поэтому они заставляют задуматься над тем, как много ошибок надлежит нам исправить, сколько надо всего коренным образом изменить, сколько надо сделать, идя по совершенно новому пути, чтобы избавить детей от чувства греха — греха, сотворенного другими».

Ивана Биолькати, 11 лет.

Моя деревня называется Помпоза, и мне нравится жить в ней, однако у нас имеется одно только предприятие — это газовый завод в рабочем поселке Понте Маудино. Вокруг моей деревни поля, и мы, к примеру, сеем рис и выращиваем свеклу. Потом у нас есть еще одна маленькая фабрика — «Эридиана». Здесь землю пашут плугами, которые тащат волы, я и вся моя семья работаем на ферме. В Помпозе большая безработица, и ты понимаешь сама, что́ мы можем получать, когда работы так мало. Здесь есть очень красивая старинная церковь, а также Римская дорога, тоже древняя, но очень плохая, и поэтому нам всем приходится бороться, чтобы ее, наконец, привели в божеский вид. Мы также хотим, чтобы был принят закон, не позволяющий сгонять крестьян с земли, и чтобы, как говорят старики, наша деревенская община была счастливой и сильной.

Живу я в доме из восьми комнат, надеюсь, что тебе это интересно знать. Кроме нас, в нем живут еще две другие семьи, и поэтому мы должны жить по многу человек в одной, самое большое, двух комнатах, потому что в моей семье восемь человек, а в двух других семьях: в одной — десять, а в другой — четверо. Есть у нас также школа, и только в этом году нам удалось добиться открытия пятого класса и получить трех учителей. Теперь из Палаццо делла Раджоне, который так же, как и церковь, — исторический памятник, хотят, как мне сказал вчера Джузеппино, сделать гостиницу. Я думаю — и говорю тебе об этом, — что было бы лучше, если бы построили дома для жителей нашей деревни и детский сад для наших младших братишек и сестренок.

У меня есть два желания: первое — это увидеть поезд и разок прокатиться на нем. Второе — учиться, но я не могу — у меня больные глаза, а у отца нет столько денег, чтобы лечить меня у профессоров. Шлю привет от всего сердца.

Микеле Тронкасси.

Уже давно я хотел написать тебе и рассказать о моем маленьком селении. Я живу в Мазьере — это часть коммуны * Баньякавалло. В нашем селении много безработных, но помещики не хотят нанимать их. Рядом с нами живет один важный синьор, у него много земли, и, когда батраки приходят просить работу, он вызывает «Челере» **. Чтобы посеять хлеб, приходилось работать ночью. Одни батраки мотыжили землю, другие стояли на страже, чтобы не нагрянула «Челере». Наутро все было готово. Хозяин заметил только, когда пшеница уже начала всходить. Такие вещи случаются у нас часто, и за это даже сажают в тюрьму, но крестьяне не боятся.

У нас еще нет спортивной площадки и лагеря, чтобы там собираться всем ребятам нашей деревни. Скоро ли (я все же на это надеюсь) у нас будет спортивная площадка, где смогут играть все ребята, и лагерь, где мы сможем собираться?

Лоренцо Полуцци, 9 лет.

Я хочу кое-что рассказать тебе о моей деревне. Я живу на равнине, в деревне, которая называется Венеццано, коммуна Кастель д'Арджиле. Отец мой бедный, потому что в нашей коммуне безработица. Позавчера я спрашиваю отца:

---

* Единица административного деления в сельской местности.

** Отряд моторизованной полиции.

— Папа, сколько ты заработал за этот год?

— Сынок мой, всего лишь сто девяносто тысяч лир вместе с тем, что заработала мама.

Ведь и ты, наверно, понимаешь, что с этими деньгами не прокормиться вчетвером весь год. Значит, тратить деньги на игрушки нельзя, даже на краски для школы мой отец до сих пор не дал мне денег, и синьорина учительница каждый день мне твердит об этом, а позавчера, 31 октября, за то, что у меня не было красок, она меня наказала. Я не плакал, когда меня наказали, потому что уверен, что меня все равно и без этого не переведут в четвертый класс. Я прекрасно знаю, что я не виноват и отец тоже, ведь у него нет работы. Виноваты во всем здешние помещики, которые никак не хотят закончить работы (по мелиорации), и правительство, которое не выплачивает моему отцу деньги за много дней, которые он проработал на реке Рено, хотя работа давно уже принята Гражданским инженерным управлением в Болонье.

Так же, как я, живут многие другие дети, их отцы находятся в таком же положении, что и мой, за исключением тех, кто записан в Государственный отдел, а не во Всеобщую итальянскую конфедерацию труда. Может, тебе покажется, что я немного преувеличиваю. Но это чистая правда.

Мне очень нравится играть в футбол, но приходится обходиться мячом, сделанным из тряпок, и каждый раз снимать башмаки, иначе на следующий день пришлось бы идти в школу босиком.

Отторино Мазетти.

Некоторые из моих товарищей хотели бы стать американцами. Они говорят, что Америка — самая богатая и сильная страна на свете. Я же, напротив, хочу всегда оставаться итальянцем, но мне говорят, что это плохо. Правда ли это?

Мария Галлани, 13 лет.

Я обещала однажды прислать вам фотографию памятника двустам маленьким мученикам Горлы. Всякое обещание есть долг. У подножия этого памятника стоит часовенка и склеп, куда 20 октября будет перенесен прах малышей. На фото виден самолет, сбрасывающий бомбу. А ведь на крыше школы были знаки Красного Креста, и они не должны были разрушать школу или больницу. Почему же они это сделали? Зачем они хотели убить малышей? С восьми лет я уже сирота, потеряв отца, которого отняла у меня война.

Я хотела бы, чтоб все народы были по-настоящему друзьями и не воевали между собой, потому что войны хороши только в наших красивых книжках со старыми сказками, как мне правильно сказала вчера моя подружка Джулиана, которая на год старше меня.

Анджела Маратта, 14 лет.

Это письмо пишет девочка из Арагоны. Я хочу вам коротко рассказать о том, как живут рабочие на руднике, где работает мой отец. На этом руднике работают 400 рабочих.

400 рабочих изо дня в день спускаются приблизительно на 600 метров под землю, чтобы добывать породу, они каждую минуту рискуют жизнью. Они трудятся как скоты восемь часов, а потом им не оплачивают по справедливости их работу. Отстаивая свои права, многие рабочие погибли. Давно уже мы живем в нищете и отчаянии. Почти девять месяцев рабочие не получают заработной платы. Почему они не должны получать ни гроша за свою работу?

Жизнь, которую веду я, а также многие другие девочки, — это с утра до вечера сидеть дома, работая по хозяйству. Выйти мы не можем, у нас нет самой необходимой одежды, и не только одежды, но и хлеба. Нет у нас, как и у большинства жителей Арагоны, которые все живут плохо, также и дома, где можно жить с удобствами. В одной комнате живут по шесть, восемь, а иногда и девять человек, не считая скота. Многие не могут ходить в школу, потому что у них нет денег. Я тоже — дошла до третьего класса начальной школы и должна была бросить учение, потому что у меня не было ни книг, ни тетрадей, ни даже башмаков, чтобы выйти на улицу.

Моя мечта — иметь возможность продолжать учиться.

Еще я мечтаю о том, что, изменив это общество, мы будем жить счастливо. Все, все — и большие и маленькие.

Сальваторе, 11 лет.

Знаешь, вчера я был у моего дяди-священника, который живет далеко, и слушал, как по радио один человек рассказывал интересную историю для детей, которые ходят в школу. Я никогда не слышал таких историй, ведь у нас нет радио, и только вчера я его услышал в первый раз, потому что ездил, как говорится, проведать моего дядю-священника, у которого церковь в городе Неаполе.

Но мне хотелось бы знать, есть ли радио во всех школах Италии? И слушают ли все школьники эту красивую музыку и истории, которые рассказывают для школьников?

Мне пришлось оставить школу из-за денег, у нас в доме их нет, и теперь я не знаю, есть ли у нашего учителя в школе радио. В моем селении радио нет, это правда, потому что мое селение довольно-таки бедное, а ведь большие радиоприемники вообще мало у кого есть. А в других школах, может, в самом деле есть радио? Дядя-священник говорит, что есть, но я не знаю, верить ли ему. Может быть, он мне это сказал просто так, чтобы я к нему не приставал.

Поэтому, пожалуйста, напиши мне и все объясни, потому что тогда я смогу сказать

своим товарищам, что дядя-священник говорит правду. Мои товарищи, как и я, ходят работать в поле и, как и я, бросили учиться после трех классов. Газета, по правде, очень хорошая, и мне ее дает читать один мальчик, который продолжает ходить в школу. Он тоже говорит, что не знает, есть ли в школе радио для школьников. Шлю тебе горячий привет.

Эрминия Коппо, 11 лет.

Все дни моих каникул похожи один на другой. Сейчас лето, занятия в школе кончились, и теперь моя мама заставляет меня вставать рано и помогать ей по дому — она посылает меня в лавку, потом я помогаю ей готовить обед. После обеда я иду к подруге, чтобы немного поиграть, а вечером мы гуляем по берегу По. Иногда я навещаю дедушку и бабушку, они живут довольно далеко от нас, но тоже в городе..

Теперь, когда я кончила учиться в школе, свободного времени у меня будет мало: ведь на днях я поступаю в швейную мастерскую, чтобы научиться шить и поскорее начать помогать своим родителям. Значит, я не смогу больше ходить в школу, и от этого мне очень грустно. Но что поделаешь? Нельзя, значит нельзя.

Лючана Черви, 12 лет.

Я жила вместе со всеми родственниками, когда в один несчастный день мы узнали о войне. Папа и мои дяди стали все чаще уходить из дому.

Страх и заботы поселились в нашей семье. Ночью 25 ноября 1941 года мы услышали в ночной тишине выстрел: это были фашисты, которые подожгли наш дом и стреляли, чтобы разбудить дедушку, папу и его братьев.

Я помню, что они нас прогнали, чтобы разграбить наш дом. 28 декабря того же года в Реджо-Эмилии моего папу и его шестерых братьев расстреляли, дедушке, к счастью, удалось бежать. Бабушка через год умерла от горя. Нас осталось одиннадцать детей, старшему было 9 лет. С самого раннего детства нам пришлось работать, потому что правительство не давало нашей семье достаточной пенсии. Я и сейчас живу в этом доме.

Эльда Лоренци, 12 лет.

В подвале дома, где я живу, вот уже три месяца как открылась мастерская. Вчера мне разрешили зайти в нее, и я пробыла там почти три часа.

Вся мастерская — одна большая комната. Ее хозяин — высокий человек с бледным лицом и светлыми волосами, на нем всегда длинный черный халат ниже колен. Когда я вошла, он стоял, склонившись над столом, внимательно разглядывая чертеж. В комнате слышался звон: то тонкий, серебристый, то громкий и глухой — дзинь... дон... дзинь... дон. Это двое рабочих, один молотком, другой кувалдой, били по раскаленной железной пластине, при каждом ударе сыпались искры. Я поглядела вокруг. Солнечные лучи падали на наковальни, столы, кузнечный горн, шкафы, набитые напильниками, клещами и молотками. На стенах висели полки, а на них стояли цветы, канделябры, треножники — все из железа. Бьет пять часов, и четверо рабочих уходят из мастерской, где становится совсем тихо, и она кажется совсем другой. Перед тем как выйти, я оглядываюсь и еще раз все осматриваю: только что мастерская была полна звуков, а теперь в ней так темно и тихо, огонь погашен, инструменты спокойно лежат на своих местах — меня даже дрожь пробирает. Дома я вспоминаю этих рабочих и снова вижу, как они, потные, склонились над огнем. Лица у них усталые, но они все время двигаются, склоняются то над столом, то над наковальней. Они настоящие мастера своего дела, им нравится покорять железо: оно попадает к ним в руки бесформенным, а они делают его мягким, придают ему самую замысловатую форму, превращая в разные предметы, и они достигают поистине изумительных результатов.

Работая, эти рабочие, конечно, должны думать о том, что человек, когда захочет, может при своем уме и настойчивости преобразить даже самые твердые материалы, а значит и весь мир, даже всю вселенную.

Флориде Фламиньи.

История моего отца очень длинная, и как я смогу написать тебе ее всю? Я скажу тебе совсем немного. Когда война кончилась, я еще никогда не видела своего папу.

Однажды, это было весной, он вернулся голодный и с бородой. Я не побежала ему навстречу, я испугалась этого человека, прижалась к маме. Бедный папа! Потом, когда он умылся и переоделся, я в большом удивлении все смотрела на него, а потом вдруг бросилась к нему и обняла его. Для нашей семьи и для окрестных полей действительно пришла весна.

Элена, 10 лет.

Меня зовут Элена. Вот уже три месяца как одна девочка приносит мне свою газету. Она мне нравится. Мне уже десять лет, и у меня хорошая семья: мама, бабушка и брат. Его зовут Карлетто. Я очень люблю Карлетто. Он мне кажется таким красивым. Он смугленький и румяный. Учится он в первом классе и уже может написать в тетради наши имена.

Наш папа погиб во время катастрофы на шахте. Пять лет назад папа уехал в Бельгию, здесь он никак не мог найти работу. Он присылал нам два или три раза деньги, а потом вдруг пришла телеграмма, и в ней

сообщили о несчастье. Мама поехала туда в отчаянии, а когда вернулась, мы увидели, что она стала совсем старой.

И вот нам пришлось переменить квартиру и переехать жить к бабушке. Теперь мама ходит работать по людям: она стирает и гладит белье. Такой работы, по счастью, всегда хватает. А бабушка не может ходить стирать — у нее больные ноги. Но она завела себе жаровню, сидит около остерии и продает жареные каштаны. Летом она торгует фруктами и карамельками. Зарабатывает бабушка мало, но нам и это кстати. Когда Карлетто был болен, мы задолжали. Еще хорошо, что доктор был добрый и давал нам лекарства бесплатно.

В школу я хожу утром, а после обеда помогаю бабушке. Я сажусь вместо нее у остерии и продаю жареные каштаны, а она в это время ложится немного отдохнуть. Дело это нетрудное. У каштана надо слегка надрезать кожурку, а потом положить его на крышку жаровни, в которой много дырок, и следить, чтобы огонь был не очень сильным. Каштаны медленно жарятся, и от них идет такой вкусный запах. Дети сбегаются на запах жарящихся каштанов и покупают их у меня. А вечером те, кто идут в остерию, часто покупают целые кулечки каштанов. Но тут приходит бабушка, и я иду домой делать уроки. Сегодня вечером я устала, хотя сейчас рождественские каникулы. Мама говорит, что я не должна писать в газету. Она говорит, что нечего рассказывать другим о своих несчастьях.

Джанлуиджи Мелотти, 11 лет.

Эти дни мне очень, очень грустно, а поделиться мне не с кем. Вот я и решил написать тебе. Я хотел бы рассказывать тебе не о печальном, а лишь веселые сказки и истории. Но разве я могу найти время и желание для этого, когда вижу, что мой папа, всегда такой веселый, который всегда был готов, хотя он с завода возвращался усталый, рассказать мне что-нибудь смешное, сейчас так печален и молчалив?

А моя мама?! Если бы ты видела, как она изменилась! Сколько горя на ее лице и сколько раз я замечал слезы в ее глазах!

Когда я спросил маму, почему она плачет, она мне объяснила, что на заводе «ФИАТ», где работает папа, должны уволить 320 рабочих и значит... И мама не могла больше говорить и отвернулась, почувствовав, что не сможет сдержать слез. Я прекрасно понял, что, если папу уволят, жизнь нашей семьи станет печальной и тяжелой и, может, навсегда. Больше я не услышу, как папа так горячо рассказывает о своей работе, о машинах, о тракторах, о шлифовальных станках — о вещах, в которых я мало что понимаю, но всегда слушаю о них с большим вниманием, ведь это жизнь моего папы.

Действительно, я знаю, что папа уже много лет, с юности работает на этом заводе. Когда началась война, его послали в Африку, а когда он вернулся, то стал работать на прежнем месте. Он рассказывал мне, что завод сильно пострадал, но это не испугало рабочих, и они добились того, чтобы все было восстановлено. А вот теперь, когда благодаря им завод стал одним из самых важных в нашей провинции и там могли бы найти работу много новых рабочих, семьи которых голодают, хозяева вздумали уволить 320 человек. Легко сказать 320, но если подумать, что это 320 семей, которым грозит нищета, то это число становится таким большим, что делается просто страшно.

Некоторые говорят, что тот, кто хочет работать, всегда найдет работу.

Но где же эта работа?

Мой отец очень хочет работать, но что ему делать, если его уволят? Даже если ему удастся найти работу в деревне, то у него вряд ли хватит смелости отнимать рабочие дни у батраков, ведь работы не хватает и им. Но ты должна согласиться со мной, что когда такой хороший рабочий, как мой отец, почти двадцать лет проработавший на одном месте, должен вдруг менять специальность, то можно понять, что это для него будет не так легко.

Теперь кончаю, мне не хочется больше огорчать тебя всеми нашими несчастьями. Но... не сможешь ли ты мне объяснить, почему позволяют такие вещи? Разве это справедливо? Я считаю, что нет, а ты? Я думаю, что ты согласна со мной. Почему мой папа не хочет, чтобы я говорил обо всем этом? Я не сказал ни ему, ни маме, что написал тебе.

Альберто Моретти, 14 лет.

Я хочу рассказать тебе, на что я употребил скопленные мной деньги. Я поспорил с товарищем, что скоро куплю себе велосипед. Но как раз на этих днях папа получил повестку о том, что должен внести налог.

Жалованье от хозяйки мастерской за этот месяц папа еще не получил, а если он вовремя не уплатит налог, хозяйка выгонит его. Дома он был такой грустный, потом пошел просить взаймы у кого-нибудь из товарищей, но никто ему не дал. Он ничего не ел, а ночью не мог заснуть, все думал, что должен уплатить деньги, а их нет. Он был очень расстроен, и мне было его так жалко.

Я хотел отдать ему свои деньги, но какой-то голос говорил мне: «Нет, не давай деньги отцу, ведь ты должен купить велосипед, а если ты их отдашь ему, то уже не сможешь купить велосипед, и товарищи будут считать тебя лгуном». Но другой голос говорил мне: «Отдай деньги папе, он работает на всю семью». Тогда я побежал в комнату, разбил копилку, взял деньги, которые копил много лет, и отдал их папе.

Сердце у меня разрывалось от мысли, что я уже не смогу купить себе велосипед, но

я взял себя в руки и отдал деньги. Папа растрогался, обнял меня и сказал: «Как только я принесу получку, мы постараемся купить тебе велосипед». Но я сказал ему: «Нет, не надо, мои деньги — это твои деньги».

Марио Роберти, 10 лет.

Я несчастный мальчик. Товарищи смеются надо мной, потому что я хожу в школу в старом костюме моего отца. Костюм мне переделали, но все равно видно, что он со взрослого, а потом он во многих местах заштопан. Но моя мама не может купить мне другого костюма, а в школу-то ведь мне надо ходить. Меня это очень огорчает, и мне иногда хочется даже плакать.

Квирино Фанчелли, 8 лет.

Почему наш учитель беднее моего папы? А ведь его работа важнее, чем работа моего папы. Папа торгует материями и наживает на этом деньги, а наш учитель учит детей читать и писать, хочет, чтобы они стали хорошими и добрыми, готовит их к тому времени, когда они вырастут, но зарабатывает он очень мало и ходит в изношенном костюме. Мне хотелось бы знать, почему такая разница?

Гульельмо Гуидетти.

На этот раз я расскажу тебе о своем соседе по парте. Я живу в деревне близ города Реджо-Эмилия, мой отец беден, но все-таки решил, чтобы я учился в профессиональной школе, и я хожу в нее уже второй год. Вчера утром учитель сказал, что на следующий день будет спрашивать, и так и сделал. Когда он вызвал моего соседа по парте, тот принялся плакать и сказал, что не выучил урока, потому что у него нет учебника, а его отец не может купить ему, так как уже больше полугода безработный.

Когда кончились занятия, я созвал всех своих товарищей, и потихоньку от Джорджо (кажется, в таких случаях говорится «без его ведома») мы решили купить ему учебник сами. Когда мы пришли в магазин и хозяин услышал о нашем намерении, он охотно уступил нам двести лир и сказал, что остальные деньги мы можем внести в рассрочку в течение нескольких месяцев.

1 ноября мы внесли последний взнос, и я решил тебе написать. Что ты об этом думаешь? Жду вместе с товарищами ответа. Если хочешь, напиши также Джорджо, думаю, он будет рад.

Бруна Гуидаччи, 13 лет.

Я пишу тебе, чтобы сказать, что дела у нас идут довольно плохо, потому что месяца три назад наш руководитель поставил нас в очень затруднительное положение. Сначала он помогал нам, а потом должен был уехать. Теперь я и один мальчик, на год старше меня, взялись за работу, пытаясь организовать детский кружок, а также создали (ты можешь нам поверить) библиотечку, в которой больше двадцати книг.

Теперь мы собираемся также организовать игры и объявить конкурс на лучший рисунок, чтобы этим также показать, что мы именно хотим делать полезное дело. А священник, который плохо думает о нас, говорит, что только для себя мы создали нашу библиотечку. Но ведь библиотека нужна также всем другим, а не только нам двоим, не так ли?

От имени всех членов кружка...

Д. М., 10 лет.

Я прочитала письмо мальчика-еврея из Рима, которое ты опубликовала, и почувствовала, что у меня подступает ком к горлу. Почему, спросишь ты?

Потому что и я, хотя и католичка, но мулатка (мама говорит, что мой папа был негр), мне 10 лет, и мои школьные подруги тоже не очень-то хорошо говорят обо мне. За что? У меня кожа только немного смуглее, чем у них, но не черная.

Разве я не такая же, как они и все остальные, во всем другом? Когда я об этом думаю, я прошу маму отвезти меня в папину страну, но она говорит, что нельзя, и мне тогда становится так грустно.

Только не надо писать про это мое письмо в газете, а то мама сильно рассердится, если узнает, что я тебе писала про такие вещи. Пиши мне, не касаясь этого, и я опять напишу тебе в ответ.

Ванда Серантини.

Мы, группа школьников, узнали, что будет воздвигнут памятник милому буратино Пиноккио. В нескольких газетах мы видели рисунок памятника, который хотят поставить нашему буратино. Нам он кажется просто уродливым, и мы в душе ужасно возмутились. Мы, конечно, будем рады, если поставят памятник Пиноккио, но пусть он будет красивым, таким, каким мы себе его представляем и каким его всегда рисуют в книгах. Памятник же, который хотят воздвигнуть, мы считаем оскорблением буратино, а не памятником в его честь. Значит, мы просим поставить памятник, но чтобы он был настоящим произведением искусства, как мы этого хотим.

От имени 24 школьников исправительной колонии «К жизни»...

Грациэлла Ланди, 10 лет.

Я пишу тебе сегодня о том сне, что мне приснился ночью. Как бы мне хотелось, чтобы он сбылся! Заснула я очень скоро,

Во сне я увидела, что заблудилась в саду какого-то королевского замка. Вдруг ворота распахнулись, и появилась карета розового цвета, усеянная звездочками, которые сверкали на солнце. Она остановилась передо мной, паж открыл дверцы, из кареты вышла королева и, увидев, что я так задумалась и печальна, спросила меня, что я такое натворила, и я рассказала ей все, что со мной случилось.

Она мне сказала: «Держи эту палочку, она волшебная, она тебе поможет найти свою дорогу, пользуйся ею, когда захочешь, но только для того, чтобы делать добро людям».

Когда я пришла домой, я поела и потом хотела взяться за работу. Но вдруг почувствовала, что поднялась, будто кто-то меня поднял, и пошла по воздуху. Сколько плохих вещей я увидела с высоты!

Бедняков, у которых не было дома, детей — они плакали и теребили за подол матерей, потому что были голодны и дрожали от холода. Сколько я увидела дурных дел!

Я вспомнила о словах королевы: «пользуйся ею только для того, чтобы делать добро». Еще бы! Тут даже если и не хочешь, будешь делать добро.

Я принялась за дело. В деревушке, затерянной в полях, стоял маленький домик из красного кирпича, на пороге сидели старичок со старушкой и грустно смотрели на свое крошечное поле, оно было все в камнях и заросло сорной травой. Тут уж я не стала зевать и своей волшебной палочкой превратила этот жалкий клочок земли в хорошо вспаханное и засеянное поле.

Опять я пустилась в путь и летела уже над Луканией, над Калабрией; бедные, невозделанные поля тоже каменистые, и горы все выжжены, а в речках нет воды. Взмахнула я своей палочкой и превратила эти выжженные земли в плодородные, на них можно было сеять все что захочешь, строить дамбы, каналы, дома, церкви, школы и много всякого другого.

Мое путешествие все еще продолжается, и я лечу в Бразилию, в Африку, вижу усталых людей, они без отдыха все трудятся и трудятся. Мне становится их жалко, и я волшебной силой наполняю водой все сосуды, чтобы облегчить труд этих людей.

Потом я вернулась на свою родину.

Я осушила болотистые земли, построила на реках дамбы и, наконец, подумала о полюсе и о тропическом поясе — и в один год там сделала умеренный климат. Я подумала также и о животных и запретила на много лет охоту. Бедных детей заставила улыбаться. Я побывала в школе и своей палочкой притронулась к головам школьников (и к своей тоже), чтобы они учились с охотой. Но в самый интересный момент мне стало очень холодно и я проснулась, подумав: ужасно жаль, что это был только сон! Как хорошо было бы иметь такую волшебную палочку!

Карла Пачи, 13 лет.

Моя работа — оплетать бутылки. Это очень тяжелая, а также и нездоровая работа, потому что мы имеем дело с мокрой болотной травой и целый день с утра до вечера сидим в сырости. У многих работниц, оплетающих бутылки, в старости сильно болят ноги и руки.

Заработок наш зависит от того, сколько мы наработаем. Я, например, зарабатываю мало, потому что хожу еще учиться шить брюки. Когда я вместе с моей мамой хожу шить, то мне удается заработать — и оплетая бутылки и шитьем брюк — от 1000 до 1500 лир в неделю, но, правда, работая целый день до самой ночи.

Кроме того, еще приходится ходить собирать болотную траву, и тогда у нас руки в порезах и сильно болят.

Как видишь, работа эта нелегкая, и поэтому сейчас работники, оплетающие бутылки, борются за то, чтобы был пересмотрен и улучшен трудовой договор. Но хозяева не желают об этом и слышать, хотя мы уже три раза бастовали. Будем надеяться, что после еще одной забастовки хозяева поймут, а если нет — мы будем бастовать до тех пор, пока они не заключат с нами соглашение.

Козимо Рагоне, 15 лет.

Эболи — сельскохозяйственный городок, где очень много детей, из которых 25 процентов неграмотные. Весной многих детей, несмотря на их возраст, нужда заставляет работать в поле. Многие способные и желающие учиться ребята вынуждены бросить школу. Зимой, когда льют дожди и холодно, на улице можно встретить детей совсем босых и в лохмотьях. Они вырастают на улице и становятся преступниками. В этом году, как никогда, тяжело положение на окраине «Кампо Баракката». В самом деле, на живущих там рабочих обрушились страшные несчастья. Листы железа, из которых построены их лачуги, за четырнадцать лет проржавели, и жители страдают от дождей и холода. Часто слышишь, что многие дети тяжело болеют и большинство из них умирает. Самый ужасный случай произошел с одной девочкой — ученицей портнихи. Она совсем ослепла от слишком большой сырости.

Это всех взволновало, в том числе и весь муниципальный совет Эболи, который заинтересовался этим случаем, но не смогло тронуть префекта Салерно и правительственных чиновников. Чем, по твоему мнению, можем помочь мы, ребята?

Серджо Падовани, 14 лет.

Мне еще только 14 лет, я работаю у плотника по десять часов в день. Вечером прихожу домой до смерти уставшим. Извините меня, пожалуйста, что я пишу мало и с ошибками.

Луиджи Буоно, 12 лет.

У меня много товарищей по школе, некоторые из них стали сапожниками, и я теперь их вижу, когда они приходят покупать кожу, чтобы подбивать ботинки. И я их всегда спрашиваю, почему они перестали ходить в школу, и они мне в ответ говорят: «Я не мог продолжать учиться, потому что у моего отца нет на это средств».

Мне тоже очень хотелось продолжать учиться. Учитель, когда я был в пятом классе, всегда вызывал моего отца и просил его не брать меня из школы, потому что я хочу учиться.

Но я не мог ходить в школу, ведь бывают месяцы, когда отец работает три дня в неделю, а теперь даже поговаривают — подумай только! — что его уволят. Он работает на судостроительном заводе «Навальмекканика ОМФ». Я получаю 1800 лир в неделю, работаю с 8.30 утра до 9 часов вечера.

Лино Гальо, 14 лет.

Я рад, что могу сообщить тебе сведения о работающих ребятах того возраста, о котором ты меня спрашивала. Конечно, не так-то легко было собрать такие сведения, но я все же сразу взялся за дело. Прежде всего я старался подразделить этих ребят по профессиям; ясно, что большее число работающих ребят — это ученики каменщиков.

Я ходил на стройплощадки и там говорил с некоторыми из этих ребят. Их работу оплачивают в зависимости от возраста и выносливости. Кроме того, работодатель притесняет их как хочет, потому что они еще не достигли возраста, дающего право работать, и поэтому должны удовлетворяться той платой, что им дают.

Одиннадцатилетние ученики каменщика получают 300—350 лир в день, а пятнадцатилетние — 500 и изредка 600 лир в день. Продолжительность работы, как положено, должна составлять 8 часов, включая час на обед, тогда как на самом деле она составляет 11 часов, вместе с обедом.

К этому ты должна добавить, что очень многие приезжают из окрестных селений, а значит, от 600 лир, что является самым большим заработком ученика, нужно отнять 150 лир на проезд в оба конца, и, таким образом, заработок уменьшается до 450 лир.

Другая профессия работающих ребят — «скорлупщики», то есть те, кто снимает скорлупу с креветок, чистит их. Так называют ребят, которые работают на очистке рыбы, а особенно креветок, в грязных складах в портах.

Работа «скорлупщиков» очень тяжелая и утомительная, и выполняют ее дети, которым не больше двенадцати лет. Их часто можно видеть в этих сараях ночью, руки у них в крови, а они чистят креветок. Я встретил их случайно как-то под вечер, когда они поджидали входящее в гавань рыбачье судно. И, знаешь, сколько они зарабатывают? Всего по 125 лир за каждый десятикилограммовый ящик чищеной рыбы.

Хозяин получает 50 лир за кило вычищенных креветок, а детям, которые их чистят, дает 12,5 лир, наживая таким образом 37,5 лир на каждом килограмме.

Дети должны выбиваться из сил весь день и часть ночи, чтобы начистить два-три ящика рыбы и заработать 250—350 лир в день.

Кроме этих ребят, нужно сказать о других, еще более несчастных, которые работают под землей и носят на спине слишком тяжелый для них груз серы. Их называют на серных рудниках Чанчаны и Фавары «карузо». Они получают в день 300—400 лир и должны были бы работать восемь часов, но работают и по десять. Помимо всего, им приходится постоянно бороться против увольнений и угроз хозяев. Из всего этого ты можешь понять, как тяжелы условия жизни на Сицилии. Эти профессии — самые распространенные и охватывают большее число ребят, чем другие. Но есть еще ученики плотников, которые могут заработать самое большее 500 лир в неделю, и ученики сапожников, получающие 300 лир в неделю. Но и они также работают по десять часов в день.

Однако работают не только одни мальчики: работают и девочки, они ходят работать к портнихам, но о шитье понятия не имеют, потому что им дают разную другую работу, вне мастерской. Их, например, посылают покупать нитки и иголки, они относят платья заказчицам — в общем, они ни одной минуты не сидят без дела. Работают они с половины девятого утра до половины восьмого и даже до восьми часов вечера. Вот чем объясняется неграмотность на Сицилии. Детей с самых малых лет отдают работать, и когда они вырастают, то оказываются без всякого образования и должны всю жизнь бороться за постоянную работу. Я решил сделать тебе целый маленький доклад, надеясь, что тебе пригодятся эти сведения.

Ауро Гейдини, 13 лет.

Я работаю мясником, и мне хотелось бы быть мясником и когда я вырасту, открыть собственную лавку, научить других тому, чему учили меня до сих пор, и бороться вместе со всеми мясниками, чтобы снизили цены на мясо (если тогда еще будет такое положение, как сейчас; я надеюсь, что нет) и все дети могли бы есть больше мяса.

Луиджи Марреллa, 14 лет.

Я, нижеподписавшийся, Маррелла Луиджи, сын Пьетро, рабочий, работающий на руднике в Арагоне в качестве «карузо» пишу вам о своих условиях работы, заработке, положении моей семьи и о своих желаниях.

Я работаю восемь часов без перерыва, таская на голой спине камни, гипс, воду, и часто подвергаюсь опасности, так как помогаю каменщику, работающему там, где грозит обвал. Шахта, где я работаю, имеет глубину около 600 метров. В настоящее время рудником управляет комиссар, назначенный областной администрацией. Уже много месяцев как он не выплачивает никакой зарплаты, так что он задолжал рабочим, и мне в том числе, около трехсот миллионов.

Моя семья состоит из одиннадцати человек, и мы впроголодь живем на тысячу лир в день, или, точнее, на 24.000 лир в месяц, которые получает за свою работу отец. Мои желания — это получить от областной администрации свои более чем сто тысяч лир, которые мне задолжали за время управления рудником правительственным комиссаром. Потом, чтобы рудник был оборудован современной техникой и не надо было бы больше таскать груз на голой спине, как вьючное животное, и чтобы моя жизнь стала более светлой, более спокойной и более достойной в лучше устроенном обществе.

Мария Тереза Фоски, 13 лет.

Ты, может быть, забыла обо мне, но я о тебе нет. Сегодня мне хотелось бы тебе сказать, что для меня самой любимой могла бы стать работа учительницы, но, к сожалению, мои родители бедны, и поэтому я должна была отказаться от своей мечты и пойти работать. Я выбрала работу, которая мне больше всего нравилась,— я портниха.

Однако очень часто в то время, как моя игла ходит взад и вперед по материи, мои мысли далеко и мне кажется, что я в школьном классе и вижу перед собой толпу веселых детей. Но от моих мыслей меня отрывает голос портнихи, спрашивающей, кончила ли я свою работу. Однако я не могу теперь уже надеяться, что у нас будет лучшее правительство, которое мне поможет, потому что я уже кончила школу; значит, когда я вырасту, я буду портнихой.

Бруно Эрколи, 14 лет.

Моим желанием всегда было учиться, а моей мечтой — получить диплом об окончании учебного заведения. Может быть, мне это и удастся, сейчас я на хорошей дороге. Я учусь в первом классе Промышленной школы и если всегда буду переходить в следующий класс, то через пять лет стану электротехником. Я выбрал эту специальность потому, что она мне больше всего нравится, интересует она меня еще и потому, что она заключает в себе как изучение теории, так и практическую работу. Я ее и выбрал больше всего по этой последней причине. По-моему, большинству людей необходимо не только обладать некоторыми знаниями в области литературы, но и быть хорошими специалистами своего дела, чтобы помогать созданию нового общества, не продажного и основанного на принципах солидарности и мира.

Тициано Цуккели, 12 лет.

Нас четверо братьев, и для моих родителей — тяжелая жертва учить меня. Но я еще маленьким мечтал стать электротехником. Это всегда останется моим желанием, даже если мне не удастся его исполнить, потому что я не знаю, позволит ли мне это материальное положение моей семьи. Я надеюсь, что правительство поможет нам, учащимся, одним словом, даст нам надежду, что мечты наши сбудутся. Мне хотелось бы, чтобы в будущем у меня была надежная работа, также и для того, чтобы отплатить моим родителям за столько жертв.

Пьетро Инфиди, 8 лет.

Когда я буду большим, я хотел бы стать ткачом, чтобы сделать много костюмов и подарить их детям, более бедным, чем я.

Анджоло Чеккони, 11 лет.

Ремесло, которым я хотел бы заняться, когда вырасту,— это столярное дело. Я учусь в пятом классе. Иногда я очень тоскую по этому ремеслу и принимаюсь за разные мелкие работы, но родители ругают меня, потому что хотят, чтобы я учился более прилежно.

Я жду не дождусь летних каникул, чтобы начать работать. Когда я иду домой из школы, я не могу удержаться, чтобы не зайти в мастерскую столяра. Он меня встречает очень ласково, и я берусь за инструмент. Еще когда я был маленький, я очень увлекался этим ремеслом и теперь, когда стал старше, решил быть столяром. А почему? Я занимаюсь этим ремеслом вовсе не для того, чтобы получать деньги, а просто из-за удовлетворения, которое испытывает человек, когда хорошо выполнил работу.

Джузеппе Гризотти, ученик 1-го класса средней школы.*

Много раз я думал о том, кем бы мне хотелось стать, когда я вырасту. Я люблю в летние вечера рассматривать звездное небо, я хотел бы стать астрономом, чтобы изобрести самолет-ракету, который мог бы долететь до любой планеты, стать знаменитым, изучить, из чего создались планеты, и особенно хотел бы изучить солнце, а еще мне хотелось бы открыть какую-нибудь новую планету.

* Примерно соответствует 6-му классу нашей школы десятилетки.

Джузеппе Венча, *13 лет.*

Когда я вырасту, я хотел бы работать как специалист по термоядерной физике. Моей целью было бы суметь хорошо объяснить итальянскому народу, а также другим народам то очень большое значение, которое имеет эта новая современная наука; объяснить, что, используя и развивая ее для хороших и мирных целей, все народы могли бы извлечь огромные выгоды как в экономическом, так и в культурном отношении. Призрак войны был бы действительно отогнан и навсегда погребен. Весь мир стал бы вправду цивилизованным. Для этого я хотел бы изучать термоядерную физику.

Лючетта Донди, *11 лет.*

Я уже выбрала ремесло для себя, когда буду большой: я работаю вязальщицей, делаю это я очень охотно, теперь мне 11 лет, и я здесь неподалеку работаю у одной вязальщицы. Я умею делать выкройки, вязать в несколько ниток, а иногда работаю также и на машине, делая кромку или кармашки. Мне так нравится работать на машине! Я надеюсь, что сделаюсь хорошей вязальщицей и буду иметь хотя бы немного заказчиков, чтобы помогать своей семье и зарабатывать себе на хлеб. Я хотела бы, чтобы моего заработка хватило также снабдить вязаными вещами самые бедные семьи.

Седрик Белфрейдж

„Великий шелковый путь" снова открыт

Не могу не отметить, что, обращаясь ко мне, англо-американскому гостю, с просьбой высказать свое мнение о Конференции писателей стран Азии и Африки, редакция журнала «Иностранная литература», по-видимому, проявила интерес к впечатлениям самого неосведомленного из гостей.

Известно, что в результате огромного по своим масштабам грабежа музеи Англии и Соединенных Штатов заполнены сокровищами древней азиатской и африканской культуры. Таким образом, наши предки, насиловавшие Азию и Африку, дали нам возможность стать знатоками культуры этих двух континентов в том виде, в каком она существовала до эпохи насилия. Что касается современной культуры и культурных устремлений народов Азии и Африки, то Англия и США могут претендовать на первое место в мире в области невежества в этом вопросе.

Гостю с Запада неделя, проведенная в Ташкенте, весьма убедительно доказала необходимость изучения русского языка, как лучшего средства ликвидации этого невежества. Книжная выставка в залах конференции и книжные киоски на городской площади, буквально осаждаемые публикой, являли собой потрясающее свидетельство инициативы и руководящей роли Советского Союза в переводах и издании азиатской и африканской литературы. Это производит особенно сильное впечатление, когда размышляешь о том, что из советских издательств выходит к тому же поток переводов произведений писателей Запада, причем на многих языках народов СССР, в то время как в нашей стране, чтобы сделать азиатскую или африканскую книгу достоянием всей читающей публики, было бы достаточно перевести ее всего на один язык. В своем выступлении на конференции поэт — делегат Дагестанской горной республики — сказал, что в Дагестане с населением в один миллион человек говорят на тридцати шести языках и что книги советских, восточных и западных авторов переводятся и издаются на девяти, а пьесы ставятся на шести из этих языков. Это, с моей точки зрения, разительный пример, характеризующий «эру спутника» в культурной жизни советского общества.

Неосведомленность гостей с Запада, вроде меня, считающих себя в меру образованными, стала особенно очевидна, когда, оказавшись рядом с писателями, книги которых читают миллионы, мы, тем не менее, ничего или почти ничего не знали о них. Я говорю о рядовых интеллигентах с Запада, а не об ученых-ориенталистах, которые, конечно, есть и среди нас.

Таким образом, встреча в Ташкенте явилась для нас возможностью впервые познакомиться лично и в творческом отношении с Мао Дунем из Китая, Фам Хюи Тхонгом из Вьетнама, Яшпалом из Индии, Ананта Туром из Индонезии, Като Сюити из Японии и Мохаммедом Халафалла Ахмедом из Объединенной Арабской Республики...

Я еще раз убедился в однобокости своего образования, когда после окончания конференции присутствовал в Сталинабаде на праздновании 1100 годовщины со дня рождения поэта Рудаки. Портреты и плакаты с именем Рудаки были развешаны по всему городу, и не оставалось сомнения в том, что поэт хорошо известен сталинабадцам и любим ими.

Возрожденный таджикский народ, шагнувший от феодализма к современному образу жизни всего за тридцать с небольшим лет, весь народ — от рядовых тружеников до видных деятелей — отложил в сторону очередные дела и отдал дань почета и уважения памяти поэта IX века.

Это торжество не могло не подействовать отрезвляюще и оздоровляюще на сознание гражданина страны, которая кичливо претендует на роль наставника народов в области культуры, в то время как ее старейший поэт родился на много веков позже Рудаки и при этом никогда не удостаивался такого чествования, как его таджикский собрат.

На большом торжественном вечере в сталинабадском театре я слушал доклады и впервые узнал о жизни и творчестве Руда-

ки. Я узнал также, что, несмотря на все серьезные и неотложные задачи, стоящие перед таджикской интеллигенцией, социалистическое государство сочло необходимым поручить ряду ученых работу по розыску утерянных рукописей Рудаки. Я услышал, что творчество Рудаки оказало большое влияние на развитие литературы в других странах Азии. Делегат Ташкентской конференции из Пенджаба сказал на торжественном заседании: «Все наши поэты знают сочинения Рудаки». В то же время — и это я установил при посещении сталинабадской библиотеки, устроившей специальную выставку, посвященную Рудаки,— творения поэта никогда не переводились на английский язык.

Сама библиотека, одна из многих в этом городе, бывшем до революции глинобитной деревней с двумя тысячами жителей, произвела на нас большое впечатление как своим внешним видом, так и собранием книг, насчитывающим более миллиона томов.

Трудно забыть светлые и просторные залы библиотеки, украшенные орнаментом в национальном стиле, настенную роспись с изображениями великих писателей, творивших на иранских языках, читальни, заполненные хорошо одетыми, оживленными студентами обоего пола — молодыми людьми, чьи деды и отцы, возможно, были еще бесправными батраками.

Тот, кто побывал на Ташкентской конференции, не мог не осознать, что две трети земного шара охвачены культурной революцией, не мог не понять, кто идет во главе этого движения.

Поэтесса из Ганы метко назвала конференцию «шагом вперед по пути возрождения растерзанной на части души человечества». Всякому очевидно, что эта культурная революция, сближающая человечество, неизбежна, ибо ее требуют народы, развитие которых прежде искусственно задерживалось. Это движение не нуждается в «поддержке» СССР или какой-нибудь другой страны. Оно — плод, который созревает — и не может не созреть — на древе истории. Уезжаешь из Ташкента, удивляясь, что Запад, все еще претендующий на роль духовного руководителя народов, так глупо ведет себя по отношению к тем чудесным изменениям, которые происходят на наших глазах и символом которых явилась конференция.

Глупость Запада выражается отчасти в безуспешных поползновениях задержать созревание плода, а отчасти — в еще более жалких попытках сделать вид, что он вовсе не существует.

С этой целью — однако без всяких результатов — было выставлено несколько пропагандистских жупелов, чтобы отпугнуть некоторые еще поддающиеся влиянию страны Азии и Африки от участия в Ташкентской конференции.

Буржуазная западная печать не проявила должного внимания к конференции, хотя это событие будет еще много месяцев с интересом обсуждаться интеллигенцией всех стран Азии и Африки и всем социалистическим миром.

Естественно, что в наше время прогрессивные люди на Западе отдают себе все более ясный отчет в преступлениях, совершенных империалистами, которые ограбили, изуродовали и подавили культуру стран Азии и Африки, пытаясь насильственно сделать ее «неотъемлемой частью» культуры различных западных стран, объявлявшихся «родиной». Но я сам только в Ташкенте до конца понял всю тяжесть еще одного преступления империалистов — уничтожения когда-то существовавших связей между азиатскими и африканскими культурами, связей, взаимно оплодотворявших эти культуры в прошлом и вновь воссозданных ради их взаимного оплодотворения в будущем.

Индийский романист и поэт Мулк Радж Ананд рассказал на конференции, что на его родине империалисты уничтожили связи даже внутри страны между ее провинциями. Таким образом, для писателей — делегатов Индии, представлявших ее литературу на четырнадцати главных языках,— Ташкент явился возможностью не только установить связи с деятелями культуры других азиатских и африканских стран, но и лучше узнать друг друга. Индия стала свободной еще слишком недавно, чтобы полностью осознать все богатство и разнообразие своей собственной культуры.

Ни один писатель, принявший участие в Ташкентской конференции, не может, вернувшись на родину, не ощутить преобразующего и вдохновляющего влияния этой встречи «незнакомых соседей». «Великий шелковый путь» культурных связей между народами снова открыт и больше уже не закроется. Стена незнания, разделявшая народы Азии и Африки, которую империалисты сознательно воздвигали, чтобы закрыть все пути между колониями, кроме тех, что связывали их с «родиной», то есть с метрополией,— рушится.

Сотни жителей Ташкента продемонстрировали, что хорошо понимают величие исторического события, происходящего на их глазах: они переполняли места для гостей на заседаниях конференции и с восторженным вниманием слушали речи на незнакомых языках, хотя, в отличие от делегатов, не были снабжены наушниками. Быть может, самым замечательным в конференции было то чувство гордости от сознания своей принадлежности к народам Азии, которое сияло на лицах людей, плотной толпой стоявших у входов в здание, где происходили заседания конференции, чтобы приветствовать почетных гостей — делегатов.

Нигде — ни в залах конференции, ни за их пределами — не ощущалось ни тени расизма или шовинизма. И тем не менее конференция в такой степени была праздником народов Востока, что делегаты-европейцы (за исключением таких известных писателей, как Полевой, Тихонов, Со-

монов) совершенно естественно и закономерно привлекали меньше всего внимания. Именно писатели стран Азии и Африки в своих чудесных разнообразных национальных одеждах вызывали гордые и радостные улыбки на лицах и прежде других становились объектом внимания многочисленных охотников за автографами.

Нет сомнения, что конференция была политической в широком смысле этого слова. Тем не менее, каждый оратор обращался к политическим проблемам лишь в той мере, в какой сам того желал: некоторые ограничивались чисто литературными проблемами, другие сосредоточили свое внимание на политике. Это многообразие трактовок и точек зрения было одной из замечательных черт Ташкентской конференции.

Мне лично показались лучшими те выступления, в которых проблемы культуры счастливо сочетались с вопросами истории и политики. С моей точки зрения, одна из первоочередных задач созданного в Ташкенте Постоянного бюро — это издание на возможно большем числе языков для десятков миллионов читателей во многих странах сборника материалов конференции. Такой сборник откинет завесу веков, скрывавшую сокровищницу азиатской и африканской культуры и мешавшую нам увидеть борьбу, которую она вела за свое становление и существование. Эта книга станет для нас настольной и послужит делу просвещения каждого из нас, просвещения всех народов и рас, которые не хотят больше коснеть в невежестве, ничего не зная о многообразной жизни и культуре наших братьев — народов с разным цветом кожи.

Как гость, приехавший с Запада, я не могу не выразить в заключение своего удовольствия по поводу того, что агрессия империалистов против культуры стран Азии и Африки не помешала делегатам этих стран признавать замечательные культурные достижения народов Запада.

Хорошо, на мой взгляд, сказал об этом дагестанский поэт: Мы не должны смешивать колониализм с культурой, Даллеса с Драйзером. Нельзя сжигать прекрасный ковер из-за того, что на нем есть грязные пятна.

Мне было особенно приятно, что лучшее, чем может гордиться Америка, представлял на конференции гость из Нью-Йорка, самый выдающийся литератор и борец против всякого проявления колониализма, негритянский ученый доктор У. Э. Б. Дюбуа.

Голос Дюбуа заполнил весь большой зал конференции. Он говорил о той Америке — свободной, дружелюбной, счастливой и мирной, — за которую сражались его деды и прадеды. Позже, в беседе с писателями из Ганы, Мадагаскара, Нигерии, Сомали, Сенегала и Анголы, доктор Дюбуа сказал, что рождение социалистической Африки неизбежно, «ибо мы живем в эру социализма».

И, наконец, я хотел бы выразить удовлетворение в связи с присутствием на конференции латиноамериканских гостей — из Чили, Аргентины и Бразилии.

Надеюсь, что придет время, когда представители богатых и разнообразных культур стран Латинской Америки, у которых есть много общего с братьями из Азии и Африки, приедут на такую конференцию не как гости, а как делегаты.

Страны, отставшие в своем культурном развитии, пойдут вперед особенно быстро, когда будет достигнуто единство всех народов, когда соберутся вместе все «незнакомые соседи».

ГОВОРЯТ ЧИТАТЕЛИ

Чем многообразнее и шире становятся растущие международные связи нашей страны, тем глубже и полнее знакомятся советские люди с культурой других народов.

Интернационализм, живой интерес ко всему лучшему, что создано в области духовной культуры в других странах, были всегда свойственны народам России. В советскую эпоху эти черты получили огромный стимул для своего дальнейшего развития. Тесные дружеские связи со странами народной демократии, политика мирного сосуществования и сотрудничества со всеми народами открыли перед советскими людьми широкие возможности участия в культурном обмене, безгранично расширившие мир, в котором они живут.

Все это целиком относится к знакомству советских читателей с зарубежной литературой.

За последние три с половиной года советские издательства выпустили около 3 тысяч книг зарубежных авторов из 55 стран общим тиражом более 257 млн. экземпляров. За тот же период только наш журнал напечатал 365 художественных произведений иностранных писателей и поэтов. Все эти произведения — китайские и французские, арабские и индийские, американские и чешские — быстро находят благодарных и отзывчивых читателей.

Публикуемые в этом номере ответы читателей на вопрос, какое произведение зарубежной литературы, из числа выпущенных издательствами и напечатанных в журналах за последние 2—3 года, им больше всего понравилось,— одно из свидетельств широкого знакомства советских людей с зарубежной литературой, живого и творческого интереса к жизни и культуре других стран.

В нашей анкете приняло участие много читателей — некоторые из ответов мы, к сожалению, не сумели напечатать из-за недостатка места. Это люди самых различных профессий и интересов, разного возраста и склада.

И все же, несмотря на разнообразие вкусов и точек зрения, в ответах на поставленный нами вопрос есть одна общая черта: советских читателей привлекают произведения мировой литературы, обогащающие их представления о других народах, книги, в которых писатели в художественных образах отражают подлинную, а не мнимую правду жизни, вторгаются в действительность и раскрывают ее противоречия, книги, отмеченные ответственностью художника за судьбы своего народа.

Принимая эту верную общую оценку, редакция, разумеется, разделяет далеко не все частные мнения, высказанные участниками анкеты об отдельных писателях и их произведениях.

В своих ответах участники анкеты высказывают немало критических замечаний как по содержанию и литературным достоинствам самих произведений, так и в адрес советских журналов и издательств, публикующих книги зарубежных авторов.

Читатели хотят расширения круга стран и тем, большего разнообразия жанров, внимания к зарубежной научно-художественной и детской литературе, более продуманного отбора книг для перевода и тщательности в работе переводчиков.

Мы принимаем эти справедливые замечания и убеждены, что они будут полезны в нашей работе. Мы надеемся также, что их не оставят без внимания другие журналы и издательства, публикующие зарубежную литературу.

Чингиз Айтматов,

ПИСАТЕЛЬ

Я благодарен журналу «Иностранная литература» за то, что он познакомил меня с интересным романом Джеймса Олдриджа «Не хочу, чтобы он умирал»*.

В этой книге, как и в «Дипломате», писатель выступает в защиту прав колониальных народов. Думаю, что нет нужды объяснять, как это важно в наше время. Олдридж — один из тех писателей, в творчестве которых судьбы народов Востока занимают большое и важное место. Серьезная удача Олдриджа — образ капитана Скотта, глубокий, драматичный и своеобразный.

Творчество Олдриджа, на мой взгляд, интересно еще и потому, что его произведения — своего рода ответ, причем ответ убедительный, на книги Киплинга. В военно-колониальных романах Киплинг — опасный и умный защитник колониализма. Олдридж своими романами наносит ему сокрушительный удар.

В этой связи я хотел бы еще сказать, что нашим издательствам следует выпускать произведения и самого Киплинга: надо знать, к каким уловкам прибегают защитники колониализма. Но только — и это очень важно — такие издания необходимо сопровождать умными и аргументированными предисловиями, разоблачающими сущность мировоззрения этого писателя.

У нас в Киргизской республике издают много книг иностранных авторов. Я считаю, однако, серьезным упущением в работе издательств нашей республики то обстоятельство, что они выпускают мало переводов китайских, особенно уйгурских книг.

Как известно, Киргизия граничит с китайской провинцией Синьцзянь, где живут уйгуры, казахи, киргизы. В Синьцзяне есть своя литература на уйгурском языке, свои журналы, о которых мы имеем только смутное представление. Мы должны обязательно иметь возможность читать и знать эту литературу, в том числе книги об уйгурских киргизах.

Я думаю, что нашим издательствам следует сделать упор на выпуск книг писателей стран Востока, в частности Ирана и Афганистана. Такие книги у нас в республике совсем не издаются.

Выпуск таких книг вызовет гораздо больший интерес у читателей и принесет большую пользу, чем издание так называемой развлекательной литературы — а этим еще грешат наши республиканские издательства,— книг, имеющих второстепенное и даже третьестепенное значение.

* «Иностранная литература» № 11, 1957 г.

А. И. Алиханьян,

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Из книг зарубежных авторов, прочитанных мною за последнее время, мне больше всего понравился роман Ремарка «Три товарища». Хорошо, что перевели и издали эту книгу.

Е. И. Афанасенко,

МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

Журнал «Иностранная литература» пользуется популярностью среди учителей школ. Его читают и учащиеся старших классов. Из печатавшихся в журнале произведений привлекли внимание романы Ремарка «Время жить и время умирать» *, Митчела Уилсона «Брат мой, враг мой» **, Декстера Мастерса «Несчастный случай» ***, драма Брехта «Добрый человек из Сезуана» ****. Молодежь интересуется поэзией, путевыми очерками, рассказами зарубежных писателей.

Учитывая запросы учителей литературы и старших школьников, было бы очень желательно помещать, по возможности в каждом номере журнала в разделе критики, хотя бы одну статью обзорного характера о состоянии современной литературы в той или иной стране. Так, например, школьники интересуются прогрессивной литературой ГДР в целом, не довольствуясь сведениями об одном-двух известных писателях, почерпнутыми из отдельных очерков или монографий. Интересуются литературой Китая, Франции, Англии, Чехословакии, Латинской Америки, желая иметь хотя бы общее представление о выдающихся писателях и поэтах этих стран. Было бы хорошо, если бы вместе с обзором литературы той или иной страны в том же номере журнала печаталось одно из числа названных в этом обзоре произведений.

Это дало бы возможность нашим юным читателям получить более правильное представление о специфических особенностях и направлениях в литературе зарубежных стран и познакомиться с лучшими произведениями современных иностранных авторов.

Говоря о том, что следует знакомить молодежь с лучшими произведениями мировой литературы, хочется высказать одно общее критическое замечание в адрес наших издательств, выпускающих зарубежную литературу. Бывают случаи, когда в погоне за занимательностью они издают книги, которые не только не помогают молодежи узнать мир, не обогащают ее представления о других народах, но и создают у нее превратное, искаженное представление о их жизни, культуре и литературе. Я имею в виду некоторые книги из серии «Библиотека приключений», романы Буссенара и им подобные. Нужно воспитывать у наших молодых людей хороший вкус.

* «Иностранная литература» №№ 8—10, 1956 г.
** «Иностранная литература» №№ 2—4, 1956 г.
*** «Иностранная литература» №№ 4—6, 1957 г.
**** «Иностранная литература» № 2, 1957 г.

И. С. Брагинский,

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ, ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКСКОЙ ССР

Признаюсь, что лет 50 назад мне было бы много легче ответить на вопрос вашего журнала — при этом ответить не в одиночку, а в единодушном хоре моих сверстников, да и аргументировать было очень просто: не мне одному, а всем *нам* больше всего, безусловно, понравилась «Хижина дяди Тома».

Но как ответить сегодня — даже если и быть субъективным в ответе и не обязательно искать единодушия с моими уже немолодыми, видавшими виды и читавшими книги сверстниками, сотоварищами по научному труду и перу? Как ответить, если именно в последние 2—3 года вышло в отличных русских переводах так много произведений зарубежных, в том числе восточных авторов, хороших и разных, завершено издание многотомников избранных сочинений Рабиндраната Тагора и Лу Синя, легла на стол великолепная китайская «Книга песен» — «Шицзин», потрясающая небывалой перекличкой чувств, удивительным совпадением многих лучших побуж-

дений и помыслов наших современников с мечтой и порывом безыменных певцов Китая первого тысячелетия *до* нашей эры!

Положительно трудно ответить на ваш вопрос. Могу сказать лишь одно: вот уже целую неделю, как мне не освободиться от впечатления, произведенного книгой Таха Хусейна «Дни», вышедшей в Издательстве восточной литературы в этом году. Я не собираюсь утверждать, что именно эта книга является наиболее выдающимся произведением восточных литератур, но должен признать, что за последние годы никакое другое произведение так целиком не захватывало меня как читателя.

Эту книгу-хронику написал замечательный арабский писатель и ученый, профессор античной истории и исследователь арабской классической поэзии, глубоко почитаемый руководитель писательской организации Объединенной Арабской Республики. В книге он описывает дни своей жизни, от впечатлений раннего детства, когда четырехлетним ребенком он ослеп, и до кануна своей поездки в Сорбоннский университет в начале XX века. Весь дух неторопливого повествования, весь стиль книги совершенно не вяжется с привычными (добавим: изрядно предвзятыми) представлениями о цветистости восточной прозы, о ее склонности к риторике, к абстрактным образам. Ничего похожего в книге нет. Нарочито подчеркнутый объективизм изложения, порою даже кажущаяся бесстрастность (автор рассказывает о себе в третьем лице «он», «наш приятель»), суровая реалистическая правда, не сбивающаяся на натурализм, глубокое раскрытие человеческой души: *день за днем*.

Вначале такое чуть суховатое изображение гнетущей среды исламского фанатизма, безответной покорности людей, придавленности человеческой личности и трагедии осужденного на вечный мрак одаренного ребенка ложится тяжелым камнем на сердце.

Но вот — вы и не успеваете заметить, как это произошло,— в повествование ворвались какие-то новые звуки, оттенки, мотивы. Вам кажется, что произошло чудо: пленник слепоты собственной и своего окружения обнаруживает в себе некую удивительную внутреннюю силу, он не распластался ниц под тяжестью жизненного колеса, а воспрял, поднял голову, встал твердо на ноги — точнее, еще не воспрял и не прозрел, но уже уверенно приближается к чудесному прозрению, доходит до понимания того, что подспудно идет непрекращающаяся борьба между старым и новым, до размышлений «об ужасающей разнице между богачами в роскоши и бедняками в бедствии».

И тогда удивляетесь: как вы этого не заметили раньше? Ведь во всем предыдущем изложении, казавшемся столь удручающе мрачным, уже говорилось об остром критическом уме юноши, о его страсти к художественному слову, которые и придали ему такие силы, что — вы уверены в этом — он одолеет мрак, победит его. «Оставим же его, как он был, объектом борьбы между старым и новым. И кто знает, может быть, мы вернемся к нему в другой раз!»

«...И здесь Шахразада прервала свой рассказ» на самом интересном месте. Однако вы благодарны автору за то, что он не оставил вас с гнетущим чувством, а вселил восторг перед всепобеждающей силой человеческого сердца, разума и совести.

Повторяю: не знаю, является ли эта книга самой выдающейся среди вышедших за последние годы переводов восточных произведений, но с тех пор как я закрыл последнюю страницу, все живу под впечатлением ее.

Как много мыслей, сопоставлений и воспоминаний она подымает! Вспоминаешь и легенду о великом классике таджикской поэзии Рудаки, о его слепоте и «внутреннем взоре», о том, как и он с детства был чтецом корана, который знал наизусть, а потом стал несравненным поэтом, певцом гуманизма; вспоминаешь и правду о великом арабском слепце, поэте и мыслителе Абу-ль-ала аль-Маарри, может быть единственно большом подлинном атеисте средневековья. А «Бухара. Воспоминания» Садриддина Айни, где он воспроизвел во многом сходную с жизнью, описанной в «Днях», действительность старой Бухары, но осмыслил ее, эту действительность, по-новому, с позиций победивше-

го социализма? Но больше всего эта чудесная книга наводит вас на мысль о судьбах великого древнего арабского народа, так много давшего человечеству и так тяжко страдавшего — а в ряде стран и сейчас страдающего — под пятою «цивилизованных» колонизаторов,— народа прозревшего, поднявшегося и идущего к счастью, к свету, вопреки любым происках и препонам.

В. Б. Вагаршян,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР

Я очень много слышал о моем соплеменнике — американском писателе-армянине Уильяме Сарояне, о его романах, о его многочисленных рассказах и пьесах.

Но, к сожалению, до самого последнего времени я не читал его произведений, кроме нескольких небольших рассказов, опубликованных в нашей периодической печати на русском или армянском языке.

Совсем недавно я познакомился с его повестью «Человеческая комедия», которую он сам считает одним из лучших своих произведений. Первые же строки посвящения, открывающего повесть, сильно взволновали меня. Меня потрясла безграничная любовь писателя к матери и его огромное уважение к родному армянскому языку, хотя он на нем не пишет.

«Человеческая комедия» — это повесть о жизни маленького рассыльного Гомера; на первый взгляд она представляется лишенным сюжета собранием эпизодов, мало связанных друг с другом. Но когда кончаешь читать, перед тобой возникает незабываемый образ простого юноши, горячо любящего свою семью и напрягающего все силы, чтобы поддержать ее в жестоких условиях капиталистической конкуренции. Герои повести на редкость обаятельны, и это — результат мастерства и таланта писателя, простым языком повествующего об обычных явлениях жизни, о душевных переживаниях молодого Маколея, о его любви ко всем простым людям, о его глубоком понимании своей ответственности и обязанностей перед семьей и обществом. Эта прекрасная книга, уже опубликованная в русском переводе, готовится сейчас к изданию в Советской Армении на родном языке ее автора.

Уильям Сароян еще не стар, полон жизни, бодрости и творческих планов. Мы ждем от него новых произведений о наших современниках и их отношении ко всему, что происходит сегодня в мире.

С. С. Вялов,
ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, УЧАСТНИК СОВЕТСКОЙ АНТАРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Прежде всего надо отметить, что заслуживает всяческого одобрения сама идея анкеты о зарубежной литературе, изданной у нас за последнее время. По этому вопросу в печати выступают критики и писатели с различными мнениями, и нередко субъективно. Теперь анкета, которую проводит ваш журнал, позволит узнать отношение самих читателей к этому вопросу.

Отрадно, что за последние несколько лет издание книг зарубежных авторов значительно увеличилось. Особенно радует, что среди них появились произведения талантливых авторов, доселе не известных советскому читателю: Отченашека, Думитриу, Бёля, Сарояна.

Но все же этого далеко не достаточно, так как по отдельным книгам нельзя получить полного представления о современной зарубежной литературе, которую мы по-настоящему знаем мало. А ведь художественная литература помогает нам лучше узнать жизнь народов других стран.

Что касается произведений, особенно понравившихся мне лично, то здесь хочется назвать «Брат мой, враг мой» Митчела Уилсона, «Вторая древнейшая профессия» Р. Сильвестра, «Тихий американец» * Грэхема Грина. Но моя старая и неизменная привязанность принадлежит одному из замечательных писателей-гуманистов — Лиону Фейхтвангеру. Еще недавно мы восторгались романом «Гойя», в котором воссоздан проникновенный образ великого художника, а теперь я с увлечением прочитал новый роман «Испанская баллада». Автор настолько ярко и образно показал бурную, жестокую эпоху средневековья, что, читая роман, словно переносишься в те далекие времена, живешь жизнью героев. Книга глубоко проникнута духом гуманизма, и, хотя автор пишет о давно прошедшем времени, тема его романа животрепещуща. Писатель показывает, что во все времена для любого народа самое ценное — это мир.

В заключение хочется сказать, что, находясь в экспедиции в Антарктике, я и многие мои товарищи по зимовке буквально зачитывались книгами, написанными различными путешественниками, как современными («Путешествие на Кон-Тики», «За бортом по своей воле» и др.), так и прошлых лет. Мне кажется, что такие произведения следует публиковать и на страницах журнала «Иностранная литература».

* «Иностранная литература» №№ 6—7, 1956 г.

Е. И. Герф,
СТУДЕНТ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА

Я интересуюсь искусством, больше всего — поэзией и радуюсь тому, что за последние годы книг стало больше, книги стали интереснее. Духовный мир советского читателя становится все богаче. Это несомненное свидетельство нашей возросшей культуры.

Недавно мне попалась в руки небольшая книга стихов классика латиноамериканской поэзии Рубена Дарио. Интересно и ново прозвучал для меня голос никарагуанского поэта. Показалась злободневной написанная более сорока лет назад «Притча о волке». Составителей книги не смутило сосуществование в творчестве Дарио поэзии «беломраморного замка» и политической сатиры. Что может лучше характеризовать буржуазное общество, чем такое, полное противоречий, творчество поэта?

Но мне кажется, что я выражу чувства многих читателей, если скажу, что открыванию новых красот неизвестного нам ранее искусства подчас мешают досадные погрешности перевода. Такие фразы, как: «Их алый флаг горит, в лазури рея...», «Когда дует ее стужа...», «Удалых ветров семья...» (все — из переводов стихов Р. Дарио), создавая нелепые ассоциации, нарушают мелодию стиха. Внимательней надо относиться к произведениям своих зарубежных коллег, уважаемые товарищи переводчики! Ваш труд — ответственное и тонкое дело. Ваше перо — это скальпель хирурга, одно неосторожное движение которого ставит под сомнение исход операций.

В заключение опять скажу о хорошем. Это очень хорошо, что за 3 рубля 20 копеек можно купить прекрасно изданный перевод «Песни о Роланде» и, пусть за более высокую цену, двухтомник произведений Мюссе. Но было бы еще лучше, если бы на полках книжных магазинов стояло больше книг самых разных авторов — Омара Хайяма и Теофиля Готье, Эдгара По и Франсуа Вийона.

В одном из своих выступлений товарищ Хрущев сказал, что нужно дать возможность молодежи в свободное от работы время заниматься в таких учебных заведениях, где она изучала бы искусство, музыку. Таких учебных заведений, конечно, будет создаваться все больше. И в стенах этих школ, и вне их возможность расширить свой кругозор и повысить свое образование нам дадут книги.

Помогите нашему образованию, товарищи работники издательств и журналов.

А. Д. Гончаров,
ХУДОЖНИК

Лучшим из числа прочитанных мною за последние два года произведений современных иностранных писателей я считаю книгу Карло Леви «Христос остановился в Эболи».

Я считаю ее лучшей не потому, что ее писал художник, хотя, видимо, этот факт играет немалую роль. Меня захватило, что очерк, лишенный какого-либо сложно завязанного сюжета, превращается в художественное произведение, которое читаешь с неослабевающим интересом. Сила изобразительности у автора, соединенная с острой наблюдательностью и умением увидеть самое существенное, поразительна. Точности его глаза может позавидовать любой художник. Суждения его более чем остроумны и слог прост. Выводы возникают из глубины создаваемых им образов. И те и другие предстают с необычайной наглядностью. Мягкая же человечность отношения к людям делает его книгу особенно притягательной.

Н. К. Гудзий,
АКАДЕМИК АН УКРАИНСКОЙ ССР

К сожалению, из-за недостатка времени я не имею возможности следить за новинками зарубежной литературы в такой мере, как это нужно было бы делать. С большим интересом прочел я напечатанные в «Иностранной литературе» романы Митчела Уилсона «Брат мой, враг мой», Ремарка «Время жить и время умирать» и кое-что другое. Но, пожалуй, наибольшее впечатление из зарубежных книг, прочитанных мной за последнее время, произвела на меня незаурядная книга У. Сомерсета Моэма «Подводя итоги» — род философской исповеди художника, с большой остротой, искренностью и смелостью делящегося своими мыслями об искусстве и жизни.

В. Ф. Деев,
СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ

Меня всегда привлекали книги, где рассказывается о смелых и находчивых людях, о дружбе и товарищеской поддержке в трудную минуту. Может быть, потому, что в нашей работе нельзя обойтись без этих качеств. Вот причина, по которой мне очень понравилась книга Тура Хейердала — «Путешествие на Кон-Тики». Кроме того, я узнал из нее много интересного. Такие книги, в увлекательной форме рассказывающие о мире, в котором мы живем, и о других народах, очень полезны. Нужно издавать их побольше.

Л. В. Дубровина,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ

Когда перелистываешь один за другим номера журнала «Иностранная литература» и лишний раз убеждаешься в его достоинствах, невольно все же обращаешь внимание на одно странное и огорчающее обстоятельство — на страницах журнала не найти ничего или почти ничего, что

знакомило бы читателя с зарубежной литературой для детей.

Может быть, это требование покажется редакции журнала неожиданным, не отвечающим его «профилю»? Но стоит вдуматься — правильно ли сделал журнал, уйдя от проблем зарубежной детской литературы? И не справедливым ли будет признать равнодушие к зарубежной литературе для детей проявлением узости взглядов на литературу, к сожалению отличающим не только журнал «Иностранная литература», но и другие организации, специально призванные изучать и популяризировать творчество зарубежных писателей?

Книга в жизни ребенка — всегда могучий фактор воспитания. Ее влияние часто сильнее влияния семьи и окружающих. Оно соревнуется даже с влиянием школы и всегда восполняет его.

Давно прошло то время, когда литература для детей рассматривалась как нечто «второсортное», не заслуживающее внимания литературоведов, историков и теоретиков.

Опираясь на традиции народных сказок и фольклора, черпая силы в творчестве таких гигантов художественного слова, как Пушкин и Л. Толстой, Горький и Маяковский, наша отечественная детская литература за советское время стала одним из могучих средств коммунистического воспитания подрастающего поколения нашей страны. Ее влияние давно уже вышло далеко за пределы нашей Родины.

Ту же роль — воспитание в духе идей коммунизма — выполняет молодая детская литература стран народной демократии, крепнущая на сочетании традиций национальной самобытности и социалистического реализма. Эту литературу надо смелее и шире принимать на вооружение в воспитании наших детей, в больших масштабах, чем это делается в настоящее время. Чтение ее — один из факторов воспитания в детях с самого раннего возраста священных чувств интернационализма и дружбы между народами.

Несомненный и законный интерес, но уже совершенно по-иному, представляет для нас и литература для детей в капиталистических странах. Какова эта литература, каково ее влияние на сознание детей, на их взгляды на мир, на становление их характеров и моральный облик, как социально окрашена детская литература, как готовит она детей к будущему, как борются в ней прогрессивные тенденции с реакционными, что противостоит тлетворным влияниям и разлагающему воздействию низкопробной, аморальной «литературы» американских комиксов и прочих книг для детей, засоряющих книжные магазины и школьные библиотеки,— разве эти вопросы не представляют самого животрепещущего интереса для всех, кому дороги будущее человечества, священные задачи борьбы за мир и социальную справедливость на земле?

Но кто изучает у нас зарубежную детскую литературу? Кто отбирает внимательно то, что заслуживает издания у нас? Кто подвергает критическому рассмотрению вредные книги для детей, издаваемые в разных странах? Разоблачение таких книг должно быть задачей нашего общего наступления на враждебную буржуазную идеологию, активно стремящуюся подчинить своему влиянию молодое поколение?

Хотелось бы, чтобы в этой работе, к сожалению почти у нас не начатой, заслуженно почетное место занял журнал «Иностранная литература». Читатели журнала будут благодарны, если на его страницах появятся отдельные переводы из книг для детей передовых писателей современности, если журнал будет информировать о выходящих новинках, организует критику и библиографию книг для детей, издаваемых за рубежом; если он будет умело отбирать то, что заслуживает внимания (в частности, несомненного внимания — при соответствующем критическом отношении к их содержанию — заслуживают также не только художественные произведения, но и издаваемые в разных странах детские энциклопедии, словари, справочники и другие познавательные книги); если он привлечет к своей работе талантливых детских писателей разных стран и будет содействовать установлению систематических связей между ними; если он будет давать оценку тем переводам и изданиям книг зарубежных писателей, которые — пока без системы и не всегда удачно — выпускают наши издательства для детей.

Л. И. Кастрюлина,
Е. В. Шлюпер,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ МОСКОВСКОГО ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Из книг зарубежных авторов, прочитанных в эти годы, нам понравились многие талантливые и интересные произведения. Однако мы выделим одну книгу — роман Б. Бхаттачария «Оседлавший тигра» *. В очень яркой и своеобразной форме она открывает новый, почти не известный нам мир. В этой книге автор, как будто рассказывая сказку, правдиво описывает людей, их взаимоотношения, события, картины индийской природы и т. д. Очень хорошо, что у нас начали шире издавать книги индийских писателей. В них нам открывается чудесная и почти неведомая прежде, далекая и такая близкая страна. Хотелось бы почаще встречать в наших журналах и на прилавках книжных магазинов произведения лучших индийских писателей.

* «Иностранная литература» №№ 5—6, 1956 г.

В. Я. Кацман,
АСПИРАНТ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Меня привлек небольшой рассказ американского писателя Роберта Боуэна «Какой ценой», напечатанный в журнале «Иностранная литература» *. Сила рассказа в том, что в ходе повествования перед читателями выкристаллизовывается образ человека, живущего в мире ожесточенности и злобы и ценой мучений пришедшего к идее бессмысленности и гибельности войны.

С первых же строк читателя охватывает чувство возмущения и ненависти к войне, к бессмысленному уничтожению человеческих жизней, к попранию человеческой личности.

Герой рассказа капитан Карсон участвовал в двух войнах — с фашистской Германией и в Корее. В войне справедливой, ведущейся ради освобождения мира от коричневой чумы, Карсон, рядовой солдат американской армии, видит перед собой возвышенный идеал свободы. Он идет на уничтожение врага ради этого идеала, и ничто не омрачает его душу.

Война в Корее, война несправедливая, война захватническая, превращает капитана Карсона в бессердечное животное, способное только убивать.

Страшное ранение, поставившее его на грань смерти, всколыхнуло те мысли и чувства, которые, возможно, давно уже зрели в душе Карсона, и пробудило его.

Он испытывает жестокие физические муки. Но теперь к ним прибавились и моральные переживания: зачем он убивал людей, для чего участвовал в этой войне рядом с бандой лисынмановцев? Врачи готовы помочь Карсону, они могут избавить от боли, но операцией, которая лишит его возможности ощущать, мыслить, чувствовать. Значит, ради идиотского покоя и безмятежности лишиться возможности осмыслить и понять все то ужасное, что он пережил? Нет! — говорит Карсон.

Даже ценой жестокой боли Карсон хочет жить как человек. Он понял, что не физическая боль самое страшное для человека, а растление души, гибель сознания, маразм чувств.

* «Иностранная литература» № 8, 1958 г.

М. Г. Квливидзе,

поэт

На меня произвели очень большое впечатление стихи великого испанского поэта Федерико Гарсия Лорки в переводе И. Тыняновой (опубликованные в «Иностранной литературе» № 8, 1956 г.). Со стихами Лорки я и раньше был знаком, но в новых переводах они зазвучали еще полновеснее и ярче. Мне нравится, что произведения испанского поэта так органически связаны с судьбой Испании, с жизнью ее народа, с богатым испанским фольклором. Нравится и то, что поэзия Лорки страстна и глубоко социальна, что наряду с пламенными политическими призывами в ней встречаются изумительные по тонкости художественного рисунка лирические стихи о любви, о природе, о чувствах человека, влюбленного в красоту окружающего его мира. Не будет преувеличением, если я скажу, что строки стихов поэта по богатству образов, по мастерству их лепки, по своей поистине поразительной насыщенности красками, линиями и звуками напоминают мне произведение величайшего гения грузинской литературы прошлого — поэта Шота Руставели.

Мне самому довелось перевести на грузинский язык несколько стихов Лорки, в частности несколько произведений из «Поэмы Канте Хондо» и из цикла «Поэт в Нью-Йорке». Работа эта была очень интересна и во многом обогатила меня. Я считаю, что блистательные переводы И. Тыняновой — большой вклад в дело нашего ознакомления с зарубежной литературой.

Сильное впечатление осталось у меня от встречи с итальянскими поэтами, особенно с Сальваторе Квазимодо, несколько стихов которого я также перевел на грузинский язык. На мой взгляд, Сальваторе Квазимодо — один из самых интересных современных поэтов Запада. Как он сам выразился в одном из своих выступлений, задачей поэзии в настоящее время является переделка человека, борьба за нового человека. То, как это делает Квазимодо в стихах, насыщенных пафосом осуждения войны, мне очень нравится.

Заинтересовало меня также творчество и другого итальянского поэта, Сержо Сольми. Но, к сожалению, мое знакомство с его произведениями, ввиду отсутствия переводов, ограничилось лишь одним стихотворением. Однако, как известно, поэта можно узнать и по одному стихотворению.

Л. Д. Кислова,

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА СОЮЗА СОВЕТСКИХ ОБЩЕСТВ ДРУЖБЫ И КУЛЬТУРНОЙ СВЯЗИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ

Трудно ответить на вопрос, какая из прочитанных за последнее время книг оставила наиболее глубокое впечатление. Обычно таких книг бывает несколько, разных книг разных авторов, которые по-разному и в разной степени остались в памяти, в уме, в сердце.

В ряду таких книг мне хочется назвать «Землю людей» — небольшой томик произведений французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери, вышедший в Государственном издательстве художественной литературы в 1957 году.

Это две повести: «Ночной полет» и «Земля людей» — рассказы писателя-летчика, ибо Сент-Экзюпери был летчиком и погиб, «пропал без вести» в 1944 году, рассказы о летчиках, о героических буднях или, может быть лучше сказать, о будничной героике простых мужественных людей — летчиков гражданского воздушного флота. Обе повести написаны в тридцатых годах и говорят об истории первых ночных полетов, об опасных полетах над горами Южной

Америки, над песками пустыни Сахары. Опасности, вынужденные посадки, чудесные избавления — все это естественно входит в ткань повествования Сент-Экзюпери. И прежде всего — это повести о мужестве, о драгоценном чувстве товарищества, о вере в человека, о праве человека на творческий осмысленный труд, а таким представляется Антуану де Сент-Экзюпери и труд летчика.

Правда, нельзя не заметить известную узость, ограниченность некоторых философских размышлений Сент-Экзюпери. Но в целом «Земля людей» — книга писателя-гуманиста, антифашиста. Книга мужественного человека о мужественных людях, увлекательное произведение художника, мастера слова, поэтичная книга.

Н. Я. Колли,

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Государственное издательство иностранной литературы делает большую и очень полезную культурно-просветительную работу, знакомя широкие круги советских читателей с лучшими произведениями зарубежной литературы.

С большим интересом я прочел за последнее время ряд книг, выпущенных издательством, в том числе «Повесть о бедных влюбленных» и «Метелло» Васко Пратолини, «Дорога в никуда» Франсуа Мориака, «Римские рассказы» Альберто Моравиа, «Шерпы и снежный человек» Чарльза Станора, «Древней тропой» К. П. Шивашанкара Менона.

Отдавая должное деятельности Издательства иностранной литературы, хочется, вместе с тем, высказать несколько критических соображений.

Мы, советские люди, все еще недостаточно знаем зарубежную литературу во всем многообразии ее проявлений, широкие круги читателей еще не имеют возможности достаточно последовательно знакомиться с ее новинками.

Поэтому перед Издательством иностранной литературы, перед журналом «Иностранная литература» стоит важнейшая задача — быстрее публиковать книги и в большем количестве.

В нашей стране с каждым годом увеличивается число людей, изучающих иностранные языки. Поэтому было бы весьма желательно, чтобы наши издательства публиковали также больше книг на языках подлинников, избегая при этом ненужных сокращений.

Уровень советских читателей достаточно высок, и они сумеют разобраться в художественной и социальной ценности произведений зарубежной литературы. Вот почему было бы желательно расширить круг зарубежных авторов, публикуя, как в переводах, так и в подлинниках, произведения различных творческих направлений. Это давало бы более разностороннее представление о тенденциях и исканиях в зарубежной литературе.

Можно быть уверенным, что советские читатели дадут правильную оценку прочитанному, отличат и выделят подлинное произведение искусства.

Весьма желательно значительно шире и своевременно издавать зарубежные исследования в области архитектуры, искусства и эстетики, а также по истории и географии, описания путешествий, открытий, не боясь здесь параллелизма с Географиздатом.

Л. М. Леонов,

ПИСАТЕЛЬ

Что я могу пожелать журналу «Иностранная литература»?

Сейчас, когда идут напряженные идеологические бои, интересно было бы посмотреть, что пишут о будущем ино-

странные литераторы, ибо человеческие добродетели, равно как и пороки, отброшенные на экран будущего, предстанут, конечно, с большей наглядностью.

За последнее время я прочитал ряд рассказов зарубежных авторов, которые, при всей их удаленности от нашего восприятия мира, поразили меня своей глубокой осведомленностью в вопросах теоретической физики, математики... Всячески достойны внимания их попытки популяризировать эти области знаний для широких слоев читателей.

Ученые всегда боятся скомпрометировать себя смелыми предположениями, которые могут не оправдаться. В этом смысле нам, беллетристам, нечего терять.

Я думаю, что было бы полезно издание постоянного альманаха не просто зарубежной приключенческой литературы, а с уклоном в сторону математики, физики... Умная фантастическая литература, безусловно, расширяет наши представления о жизни.

К. С. Лучко,
КИНОАКТРИСА

Очень трудно сразу ответить на этот вопрос. В журнале «Иностранная литература» печатается много хороших романов, повестей, пьес, рассказов и так далее. Мне этот журнал дает много. С удовольствием я прочла роман чешского писателя Отченашека «Гражданин Брих» * и, помню, ходила несколько дней под впечатлением прочитанного. Мне довелось побывать в Праге и встречаться там со множеством людей. Не все они сразу нашли правильный путь. Некоторым пришлось пройти через те же испытания и пережить многое из того, что пережил главный герой Отченашека.

Еще мне хочется сказать несколько слов о пьесе чешского драматурга и поэта Павла Когоута «Такая любовь» *. Автор нашел очень интересное решение. Пьеса построена в форме свидетельских показаний героев, а судьей каждого поступка является автор. Когоут затронул очень серьезные вопросы любви, честности, эгоизма, ханжества, мещанства. На эту тему было написано много пьес. Среди них немало фальшивых, в частности те, где авторы прописывают тот или иной рецепт, как прийти к благополучному концу, а в крайнем случае стараются найти статью гражданского кодекса, по которой можно судить людей за ошибки в любви. Когоут не ищет юридических элементов преступления. Он требует человеческой чуткости, внимания. Он любит людей и учит добру, поэтому пьеса очень волнует.

* «Иностранная литература» №№ 7—9, 1956 г.

* «Иностранная литература» № 12, 1957 г.

Н. Б. Никогосян,
СКУЛЬПТОР

Нам нужны книги, в которых зарубежные писатели раскрывают общечеловеческое, а не копаются в самих себе. Большое впечатление производят подборки современных американских рассказов *, которые читаются с интересом и остаются в памяти. Каждый — яркий кусок жизни. Хочется отметить как явление, несомненно, выдающееся книги Уильяма Сарояна. Очень хорошо, что советские читатели узнали это новое для нас имя. Можно было бы назвать еще несколько книг и отдельных рассказов, особенно немецких, польских. Бывает, что не помнишь автора, но не можешь забыть произведение.

Думается, что было бы хорошо, если бы зарубежные писатели, приезжающие

* «Иностранная литература» № 8, 1958 г.

к нам, были не просто туристами, а глубже знакомились с жизнью нашей страны, народа и потом создавали бы волнующие произведения, как это сделали в свое время Джон Рид, Юлиус Фучик и Анри Барбюс. И еще одно: желательно, чтобы у нас переводились и издавались высказывания, очерки, статьи зарубежных художников о своем творчестве, новых работах, например Пикассо, Гуттузо, Мендеса, Кента и других. Нам важно и интересно знать, каково их творческое кредо и отношение к современному искусству.

А. Г. Новиков,
КОМПОЗИТОР

Я хочу сказать несколько слов журналу «Иностранная литература» как читатель и композитор. Литература тесно связана со всеми видами искусства, в том числе и с музыкой. Поэтому хочется, чтобы журнал «Иностранная литература» регулярно, пусть очень коротко, говорил о заметных явлениях в зарубежной музыке, больше писал о взаимосвязях различных видов искусства.

Недавно у нас гостила делегация американских композиторов. Им приходилось буквально «открывать» советскую музыку. К сожалению, мы тоже не можем похвалиться глубокими знаниями, скажем, американского искусства.

Думается, что такой журнал, как «Иностранная литература», может внести свой вклад в дело общения советского и зарубежного искусства.

М. А. Повзе,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА им. XX ПАРТСЪЕЗДА, РСФСР

Я слежу за иностранной литературой, читаю, хотя и не регулярно, журнал «Иностранная литература». Меня интересуют те художественные произведения, в которых я вижу честных, прямых людей и их борьбу за лучшее будущее и за человечность.

Работая председателем колхоза, наблюдая кругом обычных, как будто ничем не выдающихся людей, я вижу, как в самом простом, казалось ничем не заметном человеке порой таятся глубокие мысли и чувство патриотизма и иногда еще не проявившаяся возможность подвига.

Так, например, в нашем колхозе есть один ничем не выдающийся паренек, которого считали вялым и инертным. А ведь именно он, когда во время грозы загорелся трансформатор, бросился, рискуя жизнью, на загоревшийся столб и, несмотря на ожоги, потушил пожар.

И мне нравятся произведения, в которых говорится о героизме или гуманности простых людей.

Поэтому мне особенно запомнились из прочитанных мной произведений три: это «Немая баррикада» чешского писателя Дрды, трилогия австралийской писательницы Катарины Сусанны Причард «90-е годы», «Золотые мили», «Крылатые семена» и поэма Тю Сон Вона «Джамила», напечатанная в № 9 журнала «Иностранная литература» за 1958 год.

Почему они мне понравились?

В сборнике рассказов «Немая баррикада» мы видим целую галерею простых людей разных характеров, скромно и мужественно борющихся за освобождение своей родины. У каждого из этих людей свое лицо, свой характер, но все они — герои и подлинные патриоты и идут на подвиги не задумываясь, считая это своим долгом.

В трилогии Причард мне понравился благородный героизм простых, ничем не замечательных людей, которым свойственна подлинная гуманность и чувство товарищества.

Причард — писательница большого и душевного таланта, и ее людей ярко видишь.

Поэма «Джамила» Тю Сон Вона написана от всего сердца, поэтично и просто, понятна каждому нашему человеку. В этой поэме автор тоже воспевает борцов за новое будущее.

Эти книги не могут не волновать читателя.

Ш. Р. Рашидов,
ПИСАТЕЛЬ

Из произведений иностранной литературы, вышедших из печати за последнее время, мне больше всего понравилась повесть китайского писателя Лю Бай-юя «Неугасимое пламя» *. В этой книге отражены характерные черты великого китайского народа, его неиссякаемая воля к победе, беззаветный героизм, внутренняя собранность и сдержанность в сочетании с благородной любовью к людям. Мне кажется, что в этой книге получил прекрасное выражение дух свободного Китая как нации и как страны, строящей социализм.

* «Иностранная литература» № 6, 1958 г.

М. И. Ромм,
КИНОРЕЖИССЕР, НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР

Больше всего мне понравился «Старик и море» Хемингуэя. Я не спрашивал себя «почему?», пока этот вопрос не задала мне редакция «Иностранной литературы». Попытаюсь ответить.

Прежде всего, это великолепно написано. Почти невероятно по точности, по силе зрения, по жестокой простоте. Читаешь страницу за страницей — и возникает физическое, почти болезненное ощущение присутствия. Слышишь и видишь все — солнце палит, соль на губах, болят мышцы.

И главное — это глубоко, строго и очень человечно.

А в общем, вопрос «почему?» — это самый трудный вопрос. Чтобы ответить на него, нужно или написать очень много, может быть больше, чем написал Хемингуэй, или ничего не писать.

Понравилось потому, что хорошо, очень хорошо.

Е. А. Ручимская,
УЧИТЕЛЬНИЦА

За последнее время Издательство иностранной литературы выпустило ряд интересных книг зарубежных авторов, со многими из которых мы знакомимся впервые. Мне больше всего понравились два романа западногерманского писателя Генриха Бёля: «И не сказал ни единого слова...» и «Хлеб ранних лет». Оба романа читаются с большим интересом. Что же привлекло меня в этих книгах? Прежде всего, герои и их судьбы. Видно, что автору близки люди неустроенной судьбы, которым тесно и неуютно в мире капиталистических отношений, в мире власти денег, где процветает воинствующее мещанство. Главные герои — Фред Богнер («И не сказал ни единого слова...») и Вальтер Фендрих («Хлеб ранних лет») — каждый по-своему бунтуют против этого мира, мира жадности, лицемерия и мещанского благополучия. Пусть их бунт не приносит желаемого результата, пусть они не находят настоящего выхода — важно, что они понимают, что в капиталистической дейст-

вительности не все благополучно, они возмущаются несправедливостью того мира, в котором процветают фрау Франке, Виквебер, Улла — ханжи, лицемеры и хищники.

Понимаешь Вальтера Фендриха, который порывает с благополучием буржуазной обстановки, оставляет свою респектабельную невесту, сознавая всю фальшь своего благополучного существования в мире, где человек человеку — волк, где все основано на хищничестве и лицемерии. Горечь «хлеба ранних лет» зовет его жить другой жизнью. Мы не знаем, что он предпримет, но чувствуется, что сытый, спокойный буржуа из него не получится.

В романе «И не сказал ни единого слова...» перед нами сложная история взаимоотношений мужа и жены. Но это не делает произведение узким, семейным. В книге достаточно резко поставлены социальные вопросы. Кто виноват в том, что семья разрушается, кто виноват, что герой пьет, часто тратя на это последние деньги, кто виноват, что он не может найти себе места в жизни? Всем ходом повествования автор дает на это недвусмысленный ответ — виновата действительность современной Западной Германии.

Своими романами Бёль протестует против бесчеловечности капиталистического мира. Боль за «маленького человека», глубокое раскрытие внутреннего мира своего больного, изломанного героя, его переживаний, его невысказанных мыслей — роднят Бёля с великим русским писателем Достоевским.

Г. Бёль, судя по его книгам, справедливый и объективный художник. Знакомство с его романами много дает нам, советским читателям. Поэтому выход в свет его интересных, своеобразных произведений можно только приветствовать.

Н. Н. Семенов,

АКАДЕМИК, ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

Я считаю, что журнал «Иностранная литература» делает полезное и нужное дело, знакомя читателей с современной зарубежной литературой и культурой.

Однако должен сказать, что, к сожалению, за последнее время несколько сузился круг стран и тем, представленных в журнале.

Хотелось бы, чтобы «Иностранная литература» многообразнее и шире освещала творчество современных зарубежных писателей.

И. К. Скобцева,

КИНОАКТРИСА

Меня попросили высказаться по поводу книг зарубежных авторов, переведенных на русский язык. Думаю, что не буду одинока среди читателей, если отмечу роман Ремарка «Три товарища».

В статье, опубликованной некоторое время назад в газете «Литература и жизнь», ее автор возражает против издания у нас в стране книг таких писателей, как Ремарк, Бёль, Фейхтвангер. А мне кажется, что надо как можно шире знакомить нас, читателей, с творчеством зарубежных авторов. Читатели сами, будучи воспитаны на произведениях наших советских писателей, сумеют увидеть, что в этих переводных книгах хорошо и что плохо. Все позна-

ется в сравнении. Примером тому служит художественная выставка, на которой демонстрировались работы художников и скульпторов всех стран мира.

Читая, например, роман «Три товарища», видишь, что иногда Ремарк не называет вещи своими именами, явных фашистов — фашистами. Несмотря на это, Ремарк остается замечательным мастером психологического раскрытия образов, гуманистом, верящим во все лучшее, что есть в человеке.

Н. А. Смирнов,
МАСТЕР ЗАВОДА ИМ. ЛИХАЧЕВА

В этом году мне довелось прочитать значительно больше книг иностранных авторов, чем раньше. Особенно привлек внимание роман «Клубок змей» Мориака, написанный в виде дневника. Это делает повествование очень непосредственным.

Автор убедительно показывает, как глубоко прогнило капиталистическое общество. И делает он это очень тонко, как настоящий художник. Он берет всего лишь одну семью как самую маленькую ячейку общества и на ее примере обнажает человеческие отношения.

Мы видим, как на протяжении ряда лет мораль капиталистического общества постепенно разрушает семью, в которой отношения, казалось, должны были быть особенно прочными, ибо они родственные. Однако даже здесь все становятся врагами. Отец ненавидит собственных детей, потому что знает, что они ждут его смерти, чтобы скорее получить наследство. Дети ненавидят отца, зная, что он их не любит, и боясь его завещания. Муж ненавидит жену, поняв в конце концов, что она вышла за него замуж по расчету...

Писателя можно было бы упрекнуть, что его герои не знают, как вырваться из мира ненависти. злобы, зависти, превращающих людей в клубок шипящих змей. Но можно ли его винить за это? Должен ли он был обязательно давать своим героям готовые рецепты поведения? Писатель показывает людей такими, какие они есть на самом деле. Читатель сам приходит к логичному выводу, что спасти этих людей может только коренное переустройство общества.

Именно такие книги заставляют читателя глубоко задумываться.

Е. Т. Тимофеев,
ИНЖЕНЕР

Мне больше всего понравился роман Отченашека «Гражданин Брих», и я хочу сказать о нем несколько слов. Книгу я прочел один раз, а вижу Бриха, как будто бы с ним давно знаком. Очевидно, в том и заключается художественность, чтобы читатель «видел» героя. Не только веришь в то, что Брих поступал так, как изображено, но чувствуешь, что он и не мог поступать иначе.

Брих — интеллигент во всем, во всех своих поступках, но интеллигент, вышедший из народа.

Не литературоведу, а просто читателю, плохо разбирающемуся в тонкостях литературных теорий, приходится судить о ценности художественного произведения лишь по тем чувствам, которые оно вызывает.

После прочтения «Гражданина Бриха» утверждаешься в том, что социализм и народ неотделимы, видишь, что аполитичность интеллигента, если только он связан корнями с народом, в критический момент не может не перейти в решимость бороться за социализм — светлое будущее своего народа.

М. И. Царев,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР

Чем прежде всего определяется для нас, советских актеров и режиссеров, ценность произведений зарубежной драматургии, что мы любим и что отвергаем? Когда писатель взволнованно и страстно раскрывает перед нами подлинную, а не мнимую правду жизни, когда произведение отмечено великой ответственностью художника за судьбы своего народа, проникнуто идеями гуманизма и верой в человека, тогда и является оно для нас большим творческим событием. Мы не принимаем в творчестве зарубежных писателей те произведения, в которых фальсифицируется реальная жизнь, приукрашивается или, наоборот, представляется безнадежной, страшной, бессмысленной, мы не принимаем лжи в искусстве...

Творчество современных зарубежных писателей всегда вызывало и вызывает живой интерес у нас, советских читателей. Новые произведения зарубежной драматургии, отмеченные талантом, знанием жизни своего народа, силой и яркостью характеров, получают в нашей стране широкое распространение. Миллионы советских людей читают их в журналах, смотрят в театрах. Подлинное художественное произведение, в какой бы стране оно ни родилось, является достоянием всех народов, всех стран.

Сильные в художественном и идейном отношении произведения зарубежной драматургии занимают прочное место в репертуаре советских театров. Мужественный и смелый талант Ремарка, так ярко проявившийся в «Последней остановке», вдохновил коллектив театра Советской Армии на создание интересного, глубокого спектакля. Психологически тонкая, смелая по форме драма Артура Миллера «Смерть коммивояжера» получила очень большое признание широкой литературной и театральной советской общественности. Ряд талантливых пьес итальянского драматурга и режиссера Эдуардо Де Филиппо с успехом идет во многих театрах страны, особенно такие, как «Моя семья» и «Рождество в доме синьора Купьелло». Наконец, большой интерес вызывают постановка «Тайфуна» китайского писателя Цао Юя и спектакль «Такая любовь» чешского драматурга Когоута.

Советские люди, воспитанные на высоких образцах мировой классики, в принципах боевой, правдивой литературы социалистического реализма, с благодарностью и уважением относятся к творчеству современных писателей мира. Все попытки ревизионистов и людей, враждебно относящихся к советской культуре, изобразить дело так, будто советские люди отгораживаются от художественного творчества современных иностранных писателей, в действительности терпят поражение.

В наше время существует единый фронт передовых художников-творцов, и каждый из них вносит свой вклад в дело культурного содружества и взаимопонимания народов, в дело мира.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

И. Цагарелли

ВАЙНЕ ААЛТОНЕН

Вайне Ааltонен (фото).

Известный финский скульптор Вайне Ааltонен, родившийся в стране озер и гранита, наверное, еще в ранние годы увидел в суровом камне поэтические образы своих будущих творений. С детства пораженный глухотой и оттого привыкший к молчанию, он заставил говорить камни. Именно в черном и красном граните изваяны многие лучшие произведения Ааltонена — одного из крупнейших скульпторов-реалистов современности.

Иные ваятели захватывают зрителя лишь глубиной психологизма, интересно и увлекательно поданной темой — то есть силой воздействия, лежащей вне специфики скульптуры. Ааltонен, обладающий великолепным пространственным чутьем, конструирующий свои вещи необычайно находчиво и ритмично, всегда воздействует на нас средствами, присущими самой скульптуре.

Советские зрители впервые познакомились с творчеством Вайне Ааltонена на выставке финского изобразительного искусства, состоявшейся в декабре 1953 года в Москве, и были покорены силой его мастерства.

В 1958 году Ааltонен был избран почетным членом Академии художеств СССР.

Ааltонен родился 8 марта 1894 года в небогатой крестьянской семье. Художественное образование он получил в школе рисования в Турку, под руководством профессора Виктора Вестерхольма. В 1915 году Ааltонен окончил школу по классу живописи, но, к удивлению своих учителей, при получении диплома заявил, что отныне посвятит себя не живописи, а скульптуре. Школа не дала ему специальных навыков ваятеля, практические знания Ааltонен приобрел у простых каменщиков в Хирвенсало, а также у своего двоюродного брата — скульптора Аарре Ааltонена.

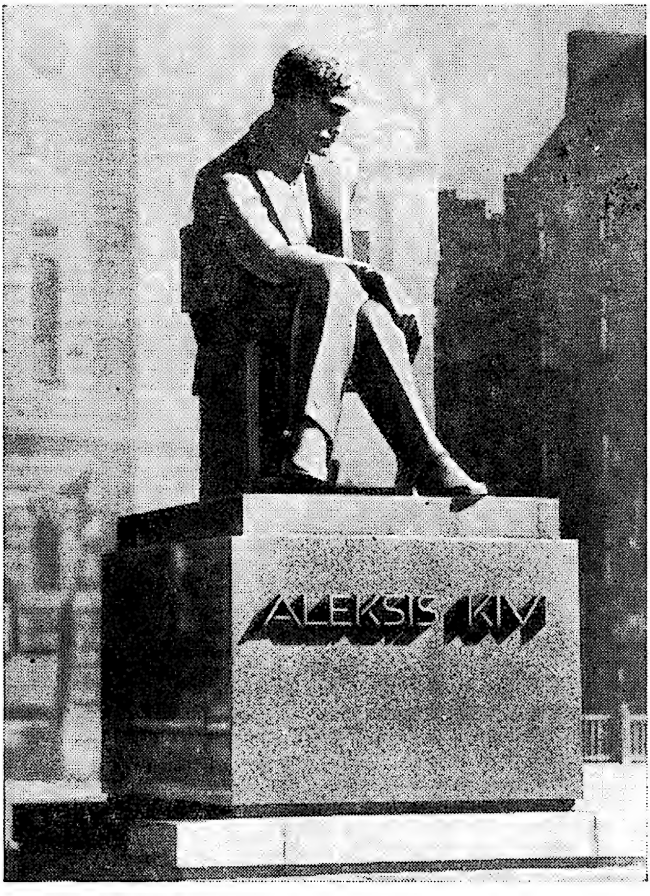
В творчестве В. Ааltонена трудно проследить какие-либо «внешние» влияния. В его искусстве претворилось художественное наследие прошлого — искусство древних греков, египтян, золотая пластика Индии и современная скульптура Франции. Но, восприняв все лучшее от классического наследия, Ааltонен не стал эпигоном — он создал национальный стиль в финском искусстве и своеобразный «ааltоненовский» тип красоты, воплощающий характерные черты финского народа. Реализм Ааltонена сделал его творчество понятным не только финскому народу, но и всем народам мира.

Мастер в равной степени легко владеет долотом, резцом, чеканом и всеми видами материала, начиная от гранита, мрамора, бронзы и кончая черным деревом и терракотой. Столь же многообразны и жанры, в которых работает Ааltонен. Им созданы: огромная портретная галерея ученых, писателей, художников и выдающихся людей современной Финляндии, парковые скульптуры и статуи атлетов, надгробные памятники и монументальные рельефы, украшающие правительственные и общественные здания, камерная скульптура из черного и золоченого дерева, портреты маслом и темперы на темы народного эпоса «Калевалы», керамические изделия и медали. И это далеко не полный перечень.

Уже ранние работы Ааltонена, которые обычно объединяют в серию так называемых «Дев», представляют большой интерес. К этой серии принадлежат такие превосходные вещи, как мраморная «Девушка, идущая вброд» (1917—1922), «Причесывающаяся женщина» (мрамор, 1924) или «Сидящая молодая девушка» (гранит, 1923—1925). Одни из этих скульптур трактованы более реалистически, другие несколько идеализированно, но их объединяет огромный лиризм, теплота и поэтичность в изображении обнаженного женского тела и необычайно мягкая обработка материала.

Одновременно Ааltонена занимает тема атлетов. Среди них первое место по праву принадлежит одному из его шедевров — бронзовой статуе бегуна Пааво Нурми (1924—1925). Это одна из красивейших и оригинальных по замыслу и исполнению статуй атлетов. Необычайны легкость, уверенность и свобода сильного, напряженного мускулистого тела. Ааltонен принадлежит к числу немногих мастеров ваяния, которые понимают, что убедительность показа движения заключена не в размашистом шаге, а скорее в сдержанном.

Ааltонена можно считать создателем финского национального скульптурного портрета. Его портретное искусство основано на глубоком



Памятник Алексису Киви.

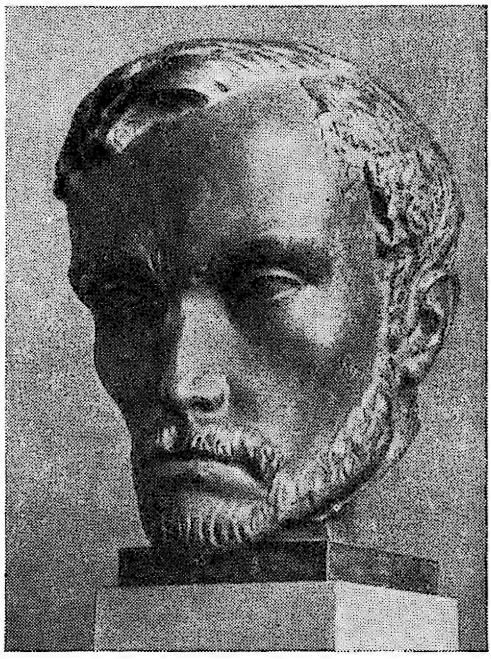
проникновении в психологию натуры. Он как будто и не заботится о сходстве с моделью, но его метод отбора элементов, из которых слагается портрет, приводит к высокой убедительности и правдивости.

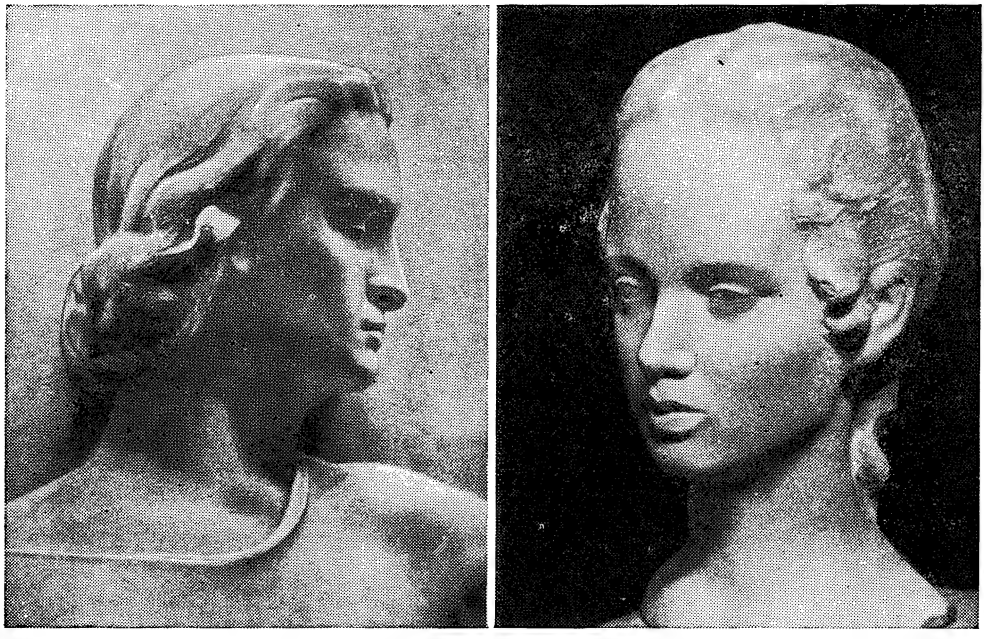
Вот мраморный портрет писательницы Марии Иотуни (1919). Доброе, немного грустное лицо, голова слегка наклонена вперед — Иотуни как бы прислушивается к внутреннему голосу. Или Катри Хаккила (мрамор, 1922—1924) — прелестное, мягко моделированное лицо молодой женщины. Вот портреты поэта Р. Эклунда (бронза, 1922) и профессора Виктора Вестерхольма (гранит, 1925). Суровая, полная мужественной силы и достоинства голова Вестерхольма, с лицом, изборожденным морщинами, передает глубокую сосредоточенность учителя Аалтонена; портрет Эклунда передает спокойную созерцательность облика поэта.

С годами психологизм портретов Аалтонена становится еще более углубленным, мастерство совершеннее. Примерами могут служить созданный в 1930 году в мраморе и бронзе портрет Даниэльсона-Кальмари — старого слепого ученого с характерным, изрытым морщинами лицом; мраморный портрет финского композитора Яна Сибелиуса, чья могучая, энергичная, волевая голова как бы вы-

Виктор Вестерхольм.

Алексис Киви.



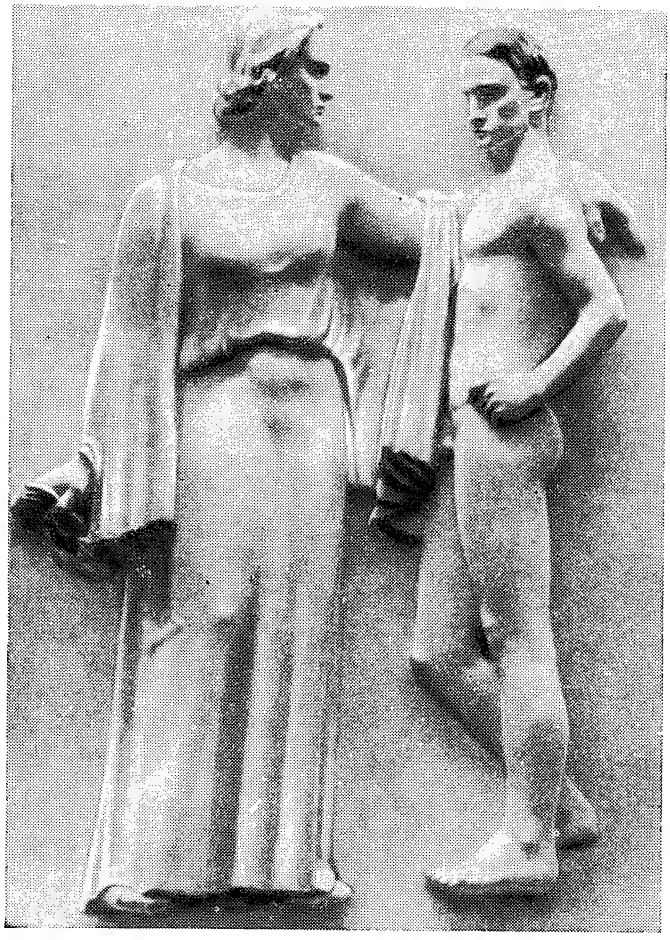


Богиня свободы венчает молодежь (фрагмент). Катри Хаккила.

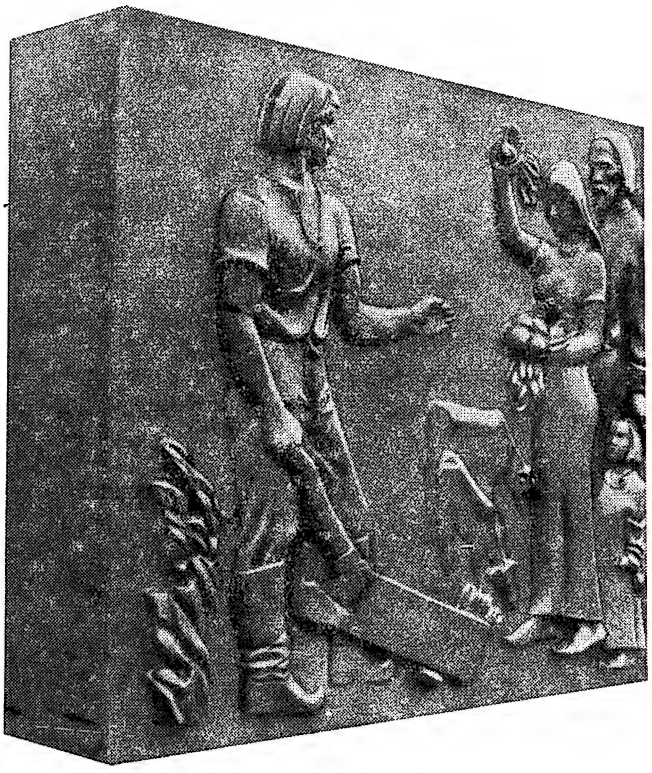
растает из глыбы каменного блока; или же один из его шедевров — портрет Ааро Хеллаакоски (бронза, 1946), где лаконизм форм и средств выражения достигает предела. В этом портрете есть что-то от силы и выразительности египетского искусства, углубленного аалтоненовским подходом к модели.

Как ни многочисленны и ни разнообразны по внешним формам воплощения портреты, созданные Аалтоненом на протяжении почти четырех десятилетий, они едины по реалистическому методу восприятия образа художником.

Когда в 1926 году был объявлен конкурс на памятник безвременно умершему финскому поэту Алексису Киви, Аалтонен за эскиз «Поэт и его гений» получил одно из первых трех мест. Над образом Алексиса Киви Аалтонен работал и впоследствии в течение многих лет. Ему предстояло воссоздать облик человека по единственной посмертной зарисовке. Чрезвычайно интересен путь исканий мастера. Первые эскизы были решены в плане символики и аллегории, среди вариантов была и выполненная в принципах кубизма голова из позолоченного дерева, названная «Музыкой». Но, видимо, такое решение не удовлетворило художника-реалиста, и он упорно продолжал в меда-



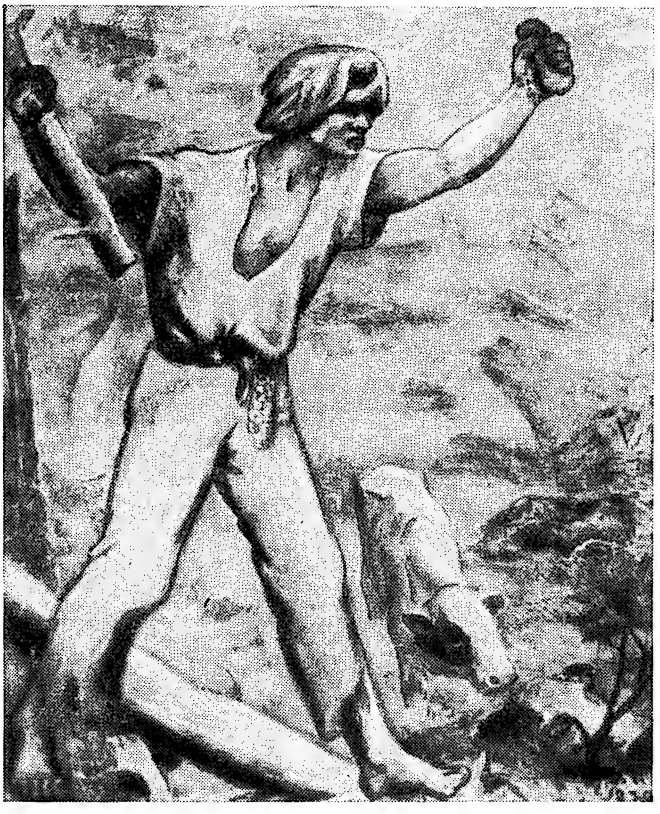
Богиня свободы венчает молодежь.



Поселенцы (рельеф в Делавэре).

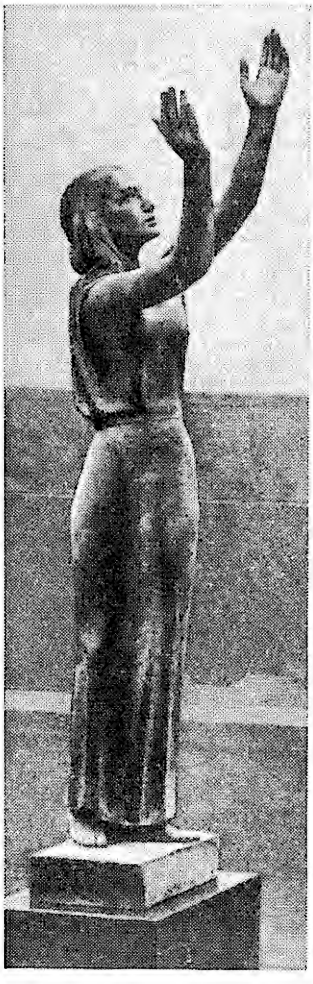
лях и композициях поиски реалистического решения темы. Оно было найдено сначала в медали, затем уже был создан окончательный вариант бронзового памятника, открытого в Хельсинки в 1939 году. Формы монумента строги и сдержанны, Киви погружен в печальное раздумье; грустная меланхолия поэта, прожившего тяжелую, полную лишений короткую жизнь, подчеркнута надписью «В душе у меня смеркается, и вокруг меня становится холодно, как в пустыне осенним вечером». Памятнику приданы три рельефа, темы которых почерпнуты из лирики Киви: «Качели», «Песнь моего сердца» и «Бегство из Импиваара». Первые два выполнены в мягкой лирической манере, третий — более пышный — напоминает финское народное искусство начала века. Мотив «Песни моего сердца» — изображение матери с ребенком на руках — неоднократно повторяется Аалтоненом, и в 1934 году он вновь воссоздает его в бронзе в образе героини «Калевалы» Марьятты.

Куллерво (по мотивам «Калевалы»).



Ян Сибелиус.

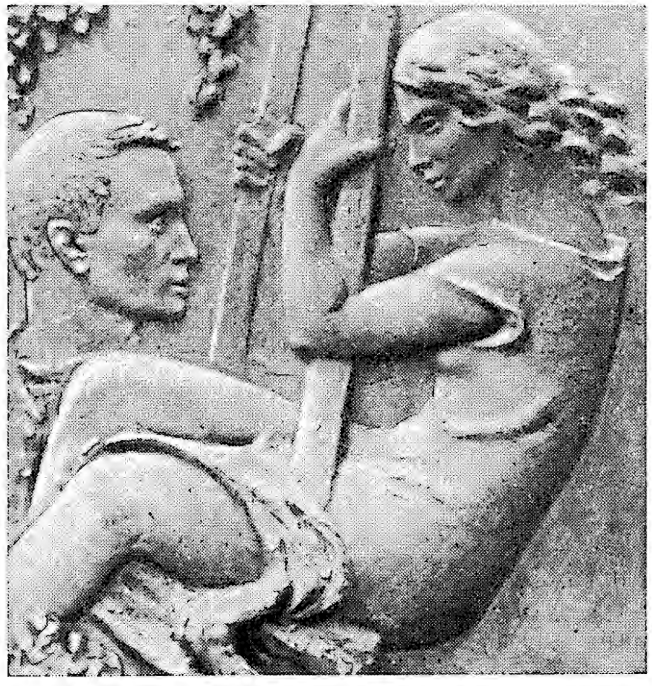
Будущее (скульптура из зала заседаний сейма). →



Бледная девушка (по саге Алексиса Киви).

В связи с конкурсом общества «Калевалы» Аалтонен, который никогда не забывал живописи, пишет ряд композиций на темы этого эпоса. Лучшие среди них как в колористическом, так и в композиционном отношении — «Куллерво» (1930) и «Летний вечер в хижине» (1934).

Параллельно с работой над образом Киви в 1927—1929 годах Аалтонен выполняет заказ для города Тампере на ряд огромных статуй. Из четырех заказанных фигур следует отметить две — «Охотника» и «Финскую девушку». Обе статуи служат прекрасным примером умения Аалтонена изображать свободно стоящую обнаженную фигуру. «Финская девушка» Аалтонена — это



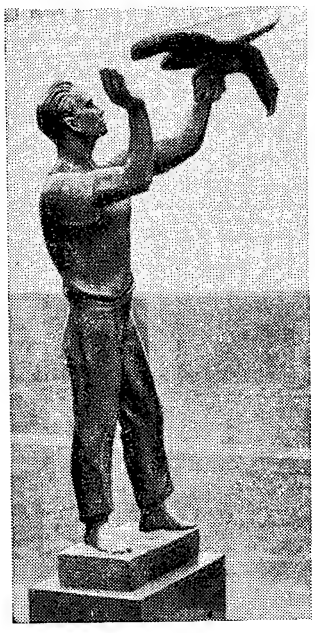
Качели (рельеф на памятнике Алексису Киви).

Буря.

уступила место мужественной силе и строгому ритму композиции. Изваянный же к 300-летнему юбилею Университета для кафедры в актовом зале мраморный рельеф «Богиня свободы венчает молодежь» поражает музыкальностью ритмов, свойственной ранним работам мастера.

В военные годы и послевоенный период излюбленным материалом Аалтонена становится гранит. По его словам, «ни в одном материале нельзя достичь такой мягкости, как в граните, следы резца выделяются на нем, как волны на морском песке».

В 1950 году Аалтонен снова возвращается к теме Киви — «Саге о бледной девушке». Одновременно он изваял бронзового «Мальчика, выпускающего орла». Обе эти скульптуры Аалтонен задумал как символ молодости, как доказательство своей глубокой веры в народ и будущее.



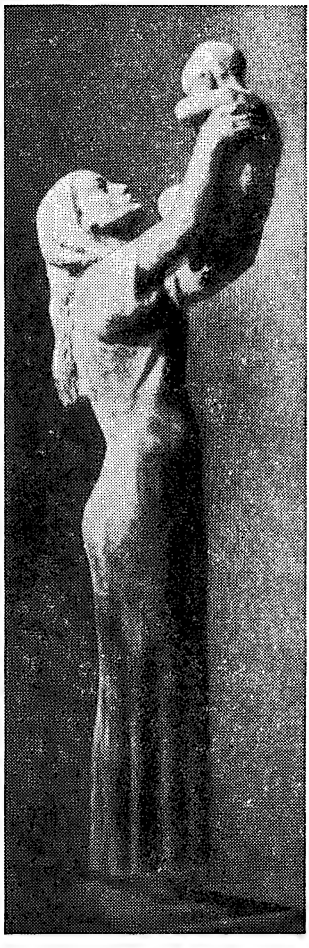
Мальчик, выпускающий орла.

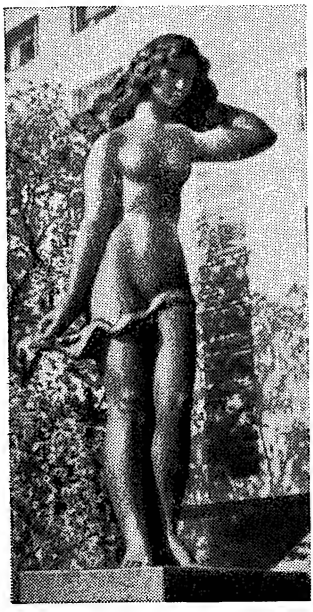
идеальное воплощение женских образов Киви. Она стала национальным символом, и в 1939 году Аалтонен изваял эту же дезушку для Всемирной выставки в Нью-Йорке, дав ей в руки кантеле.

В 1930 году Аалтонен был удостоен первой премии за исполнение эскизов к скульптурам для зала заседаний сейма. В этой работе декоративность и символическое значение фигур («Умственный труд», «Будущее» и пр.) связывали мастера. Но сила его реалистической убедительности победила и здесь — в этих символических фигурах он воплотил смелых и мужественных людей.

В конце тридцатых годов Аалтоненом были выполнены две большие работы. Гранитный монумент в Делавэре, состоящий из двух рельефов — «Отъезд с родного берега» и «Поселенцы»,—исполнен в новой манере: лирическая мягкость

Марьятта.





Финская девушка.

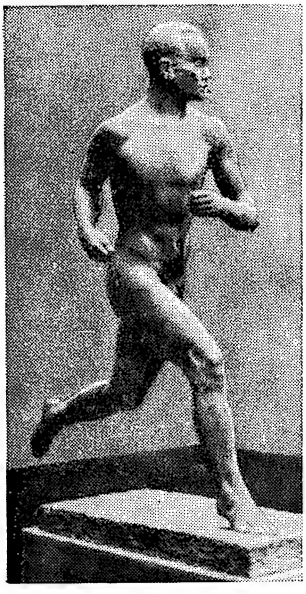
В феврале 1954 года на финском Национальном конгрессе сторонников мира Аалтонену была вручена золотая медаль, присужденная ему Всемирным Советом Мира за скульптуру «Мир». Историю создания этого монумента Аалтонен изложил жюри Международного конкурса на соискание премии мира следующим образом:

«Первый эскиз скульптуры «Мир» я сделал еще в 1928 году. Это было крылатое существо с воздетыми вверх руками. Первоначально у меня была мысль создать нечто такое, что символизировало бы мысль о мире без какой-либо политической окраски, то есть совершенно чистую мысль о мире — такую, которую человек может создать в своем сердце. С годами я все больше упрощал первоначальную идею. В 1949 году я получил заказ на памятник для города Лахти, и мне предоставилась возможность сделать скульптуру больших размеров, на что собственных средств у меня не хватило бы».

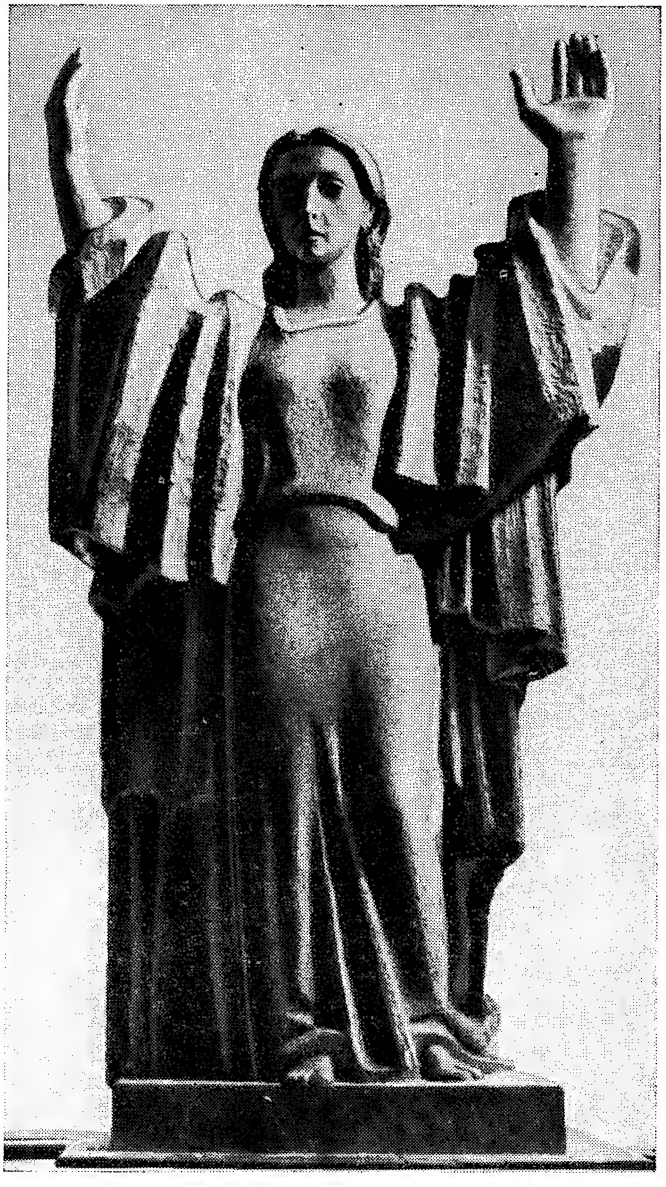
Аалтонен находится в расцвете творческих сил, и подводить итоги его творчества преждевременно. Его путь на редкость ровный — от скульптуры к скульптуре становится все более зрелым его мастерство, совершенствуется его стиль.

И сегодня Аалтонен продолжает свою работу на благо мира. Именно ему принадлежит мысль о создании на границе Советского Союза и Финляндии монумента с надписью: «Никогда не будет между нашими народами войны!»

Паавo Нурми.



Мир.



СТИХИ О ГЕРОЯХ-СТРОИТЕЛЯХ

□

黑山之歌
胜翼著
長江文藝出版社
1957 年. 武漢

□

В начале 1957 года по железной дороге Баоцзи — Чэнду прошел первый поезд. Сквозь горы и ущелья Сычуани (в старину говорили, что легче подняться на небо, чем пройти по сычуаньским тропам) проложен стальной путь. Строители дороги совершили подвиг. Им, этим людям, их трудовым делам посвятил свое творчество молодой китайский поэт Янь И.

Творческий путь Янь И во многом характерен для поэтов нового Китая. Сын крестьянина-бедняка, он рос и мужал вместе с революцией. А недавно, сменив военную форму на спецовку рабочего, Янь И вступил в ряды строителей. Вместе с ними — рабочими, крестьянами, воинами Народно-освободительной армии — он участвовал в строительстве железной дороги, бок о бок жил со своими будущими героями.

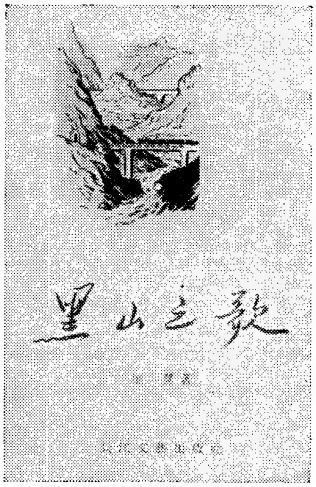
Подвиги строителей, их жизнь, суровая и полная романтики, вдохновила поэта, вызвала в нем, по его словам, страстный творческий порыв.

Янь И начал писать сравнительно недавно. С 1954 года вышли три сборника его стихов — «Утро в горах Дабашань», «На облаках» и «Песня о Хэй Шане». Последняя книжка была выпущена в прошлом году издательством «Чанцзян вэньи» в г. Ухани. В нее вошли стихи, написанные главным образом после совещания молодых литераторов в марте 1956 года.

Стихи Янь И похожи чем-то на рисунки тушью. Скупость и четкость линий в них сочетается с глубоким и темпераментным раскрытием темы; поэту, несомненно, присуще острое восприятие жизни. Тема труда — центральная в его творчестве. Поэт воспевает тружеников — энтузиастов на строительстве дороги. В стихотворении «Началась новая жизнь» он пишет о юношах и девушках, которые, окончив школу, приехали на стройку. Янь И называет их новобранцами, первый раз вышедшими на поле боя:

Орошают землю
Жемчужные капли пота,
Чтоб через горы и
заросли
Наши шли поезда.

А вот другое стихотворение — «Письмо из Тибета». Почтальон доставил рабочим конверт. Но вместо письма в нем оказалась карта Тибета с обозначением его несметных природных богатств. Разгадав смысл столь необычного послания, поэт от имени рабочих отвечает тибетскому народу:



Если рельсы в Тибете
не лягут, стройны,—
Будет стыдно
рабочим-строителям.
Так спаяем его
с городами страны
Мы железным путем
стремительным!

В этом стихотворении Янь И звучит тема братской помощи национальным меньшинствам, тема сплочения народов Китая.

Многие стихотворения Янь И полны тонких наблюдений, они остаются в памяти благодаря метко схваченным деталям. Сюда можно отнести стихи «Оленёнку», «Улыбка», «Девушки из отряда геодезистов», «Хребет Циньлин» и другие.

Иногда в стихах Янь И звучат шутливые нотки, близкие народным шуточным песенкам. Таково сти-

хотворение «Отдых на берегу реки Цзялуцзян». Трудовой день окончен. Строители железной дороги отдыхают на берегу реки. Парень, наигрывая на аккордеоне, спрашивает девушку, догадывается ли она, о чем говорит его аккордеон. Покраснев, девушка отвечает, что ее скрипка-хуцинь поет о том же. Но сейчас она не может ответить ему и просит подождать до того дня, когда по дороге пройдет первый поезд.

В сборнике запоминаются стихотворения о подвиге юноши-рабочего по прозвищу Хэй Шань, что значит Черная Гора, «Я снова на дамбе Хуанхэ», «До свидания», цикл стихов о Чунцине. Стихотворение «Взрывы в горах» поэт посвятил советским специалистам, принимавшим участие в строительстве железной дороги.

В основу стихотворения «Новые стихи о горах Башань» автор положил связанные с этими горами древние предания. Романтическое настроение, пронизывающее это стихотворение, органически сливается с гордостью за подвиги строителей, покоривших неприступный горный массив.

Почти два года назад журнал «Вэньи бао», говоря о творческих успехах молодого поэта, писал, что произведения Янь И служат наглядным свидетельством и того, какой неисчерпаемый материал дает поэзии действительность, и творческих возможностей поэта, глубоко вникающего в жизнь своего народа. Вместе с тем, журнал указал на ряд недостатков, присущих стихам Янь И, и посоветовал учиться у старых мастеров той настойчивости, с которой они отделывали свои стихи.

Судя по стихам, вошедшим в последний сборник, творчество Янь И становится более зрелым; чувствуется, что поэт стремится совершенствовать свое мастерство, следуя совету журнала «Вэньи бао» — «никому не подражать и не повторять самого себя».

Р. Белоусов

САТИРА АДОЛЬФА ГЛАССБРЕННЕРА

□

Neuer Reineke Fuchs von Adolf Glassbrenner, Hrsg. von Kurt Böttcher. Berlin, Verlag „Das neue Berlin", 1957.

□

Среди актуальных задач, которые решает прогрессивное литературоведение ГДР, а также и издательства страны, не последнее место занимает восстановление в истории немецкой литературы ряда имен выдающихся писателей-демократов, наследие которых было или забыто или сознательно замалчивалось и искажалось буржуазной наукой. Все ярче и полнее, например, предстает перед нами одна из блестящих страниц в истории немецкой культуры — литературное движение периода революции 1848 года. Издание первого полного собрания сочинений Георга Веерта, публикация утерянных произведений Гервега серьезно обогатили наши представления о немецкой революционной поэзии.

В обстановке кризиса феодально-монархической системы германских государств в сороковых годах XIX века замечательного расцвета достигла сатира. Можно с уверенностью сказать, что со времен Реформации и Крестьянской войны в XVI веке немецкая литература не знала такого смелого обличительного пафоса и такого богатства сатирических дарований.

Широко известны боевые выступления Генриха Гейне. Он был неистощим в своих дерзких атаках на всю политическую и социальную систему тогдашней Германии. Его замечательная поэма «Германия. Зимняя сказка» поистине звучала приговором, обжалованию не подлежащим:

Того, кто поэтом на казнь обречен,
И бог не спасет из пучины.

Не так смела, но не менее язвительна изящная ирония Гофмана фон Фаллерслебена. Огромного революционного оптимизма исполнена сатира Георга Веерта.

Но мало кому известно, что одним из популярнейших сатириков сороковых годов был Адольф Глассбреннер (1810—1878). Он появился в берлинских литературных кругах еще в начале тридцатых годов и сразу заявил о себе, как

наблюдательный и остроумный писатель. Организатор ряда сатирических журналов и сборников, Глассбреннер не раз подвергался преследованиям со стороны прусских властей. Все же ему удавалось изобретательно обходить цензуру, прибегая к иносказаниям и перенося действие наиболее смелых своих произведений в другие, нередко вымышленные, страны.

Его излюбленными жанрами были бытовой очерк и драматическая миниатюра — небольшая уличная сценка, воспроизводящая смешные стороны немецкого быта. Главный «герой»

сатиры Глассбреннера—берлинский обыватель.

Особое место среди его произведений занимает большая сатирическая поэма «Новый Рейнеке-Лис». Изданная в 1846 году, она сразу же была запрещена прусской цензурой. Последнее прижизненное издание книги имело место в 1866 году. Почти целое столетие ни немецкие издатели, ни литературоведы не вспоминали о замечательной сатире Глассбреннера. Только в ГДР имя его было извлечено из забвения: в 1955 году вышел в свет большой двухтомник сочинений, а в 1957 году — впервые после смерти писателя — «Новый Рейнеке-Лис».

Создавая эту сатирическую поэму, автор опирался на большую литературную традицию немецкого животного эпоса. Непосредственным образцом служила нижненемецкая народная книга «Рейнеке-Лис» (1498).

Вместе с тем, поэма Глассбреннера оригинальна по замыслу и направлению. В центре ее — образ предприимчивого и хитрого Лиса, который возглавляет орден «лиситов». В этот орден вошли все паразиты и хищники. Угрозами, интригами, лестью Лис стремится распространить влияние ордена, подчинить этому влиянию царствующего короля.

Поэма Глассбреннера полна намеков на современные ему события в германских государствах, и в частности — на происки ордена иезуитов. Но главный ее удар направлен против церкви, которая служит сохранению реакционных политических порядков. Подобно Вольтеру в XVIII веке и своему современнику Гейне, Глассбреннер раскрывал опасную для дела демократии политическую роль церкви, тлетворное влияние пропаганды, рассчитанной на подавление народного духа, на принижение человеческой личности, на оправдание всех форм социального и духовного рабства.

Одна из ярких глав книги — рассказ о покорении страны Гаитахаи, народ которой не удалось поставить на колени путем вооруженного вторжения. И тогда вместо войск был послан один священник. После того, как религиозной проповедью было отравлено сознание народа, созданы монастыри и сломлена воля к сопротивлению, страна была покорена и уже не трудно было немногих недовольных рассадить по тюрьмам.

По своим философским позициям Глассбреннер был идеалистом. Основу человеческого прогресса он видел в развитии духа. Но при всей иллюзорности его взглядов, в них проявлялся исторический оптимизм писателя, его неистребимая вера в победу разума над тиранией и мракобесием.

В «Сказке о Духе» Глассбреннер зло высмеял попытки реакции одолеть дух свободы. Этот дух был неуловим. Напрасно металась полиция и бесновались солдаты. Можно было сжечь на кострах книги, но нельзя было уничтожить великие идеи, в них заключенные. И по-прежнему звучал боевой призыв: «Вставайте, народы! Вперед, за свободу!»

Имя выдающегося сатирика Адольфа Глассбреннера должно занять почетное место в истории немецкой литературы, а его «Новый Рейнеке-Лис» заслуживает широкой популяризации, как крупнейший памятник сатирической литературы.

С. Тураев

СКРИПКА И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

□

Juan Gelman. Violín y otras cuestiones. Buenos Aires, Ediciones Gleizer, 1956.

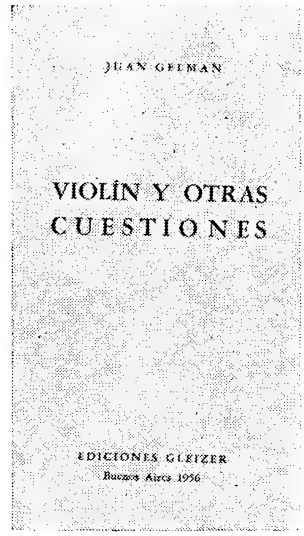
□

Около двух лет назад в Буэнос-Айресе вышла первая книга молодого аргентинского поэта Хуана Хельмана. В предисловии к сборнику известный поэт Рауль Гонсалес Туньон отмечает, что произведения двадцатишестилетнего автора являются созданием зрелого и талантливого мастера. Можно не соглашаться с категоричностью суждений Туньона, но знакомство с книгой убеждает, что она заслуживает внимания читателя.

Хельман принадлежит к той части аргентинской литературной молодежи, которая в поэзии видит средство борьбы за человеческое достоинство простого труженика. Нелегко таким писателям напечатать свои произведения, и все же группе молодых прогрессивных поэтов удалось предпринять серию изданий под названием «Черствый хлеб». Первой книгой этой серии и является сборник стихотворений Хельмана «Скрипка и другие вопросы».

Заглавие сборника показывает, что поэт прежде всего ставит вопрос о соотношении поэзии и жизни, излагает свое творческое кредо, поскольку скрипка у Хельмана символизирует поэзию.

Путь Хельмана в поэзии не был прям и гладок. На него



не могла не оказать влияния современная литера-

тура Аргентины, где наряду со здоровыми тенденциями наблюдается стремление уйти от реальной действительности, интерес к формальным сторонам творчества и потеря способности объективно оценивать значение явлений. По стихотворениям сборника, который, очевидно, включает лишь лучшие из написанных Хельманом за последние шесть лет произведений, можно только догадываться о колебаниях и борьбе, которую пришлось выдержать поэту. Подводя итог своим исканиям, оставшимся, в основном, за пределами книги, Хельман приходит к выводам о необходимости разрыва с модернизмом. «Скрипку я разбил о сумерки»,— говорит он в стихотворении «Финал», выразив в этой строке свое окончательное отношение к принципам декадентского искусства. Содержание этого стиха было бы непонятным, если бы не помещенное в том же сборнике стихотворение «Ясные сумерки», пожалуй единственное, в котором прямо говорится о прежних заблуждениях поэта. Стихотворение это использует образ вечно печальной «девушки из сонатины», созданный в свое время виднейшим латиноамериканским поэтом Рубеном Дарио. Разбив скрипку «чистой» поэзии, Хельман стремится увести чужую героиню от серой музыки модернистских сумерек к жизни, где люди борются «за волшебный хлеб будущего». Хельман вполне определенно заявляет о своем выборе, заключая его словами:

Жизнь — красного цвета,
словно добрая кровь,
Радостна и трудна,
серое — не по ней.

Так в реалистическом плане решает поэт не только вопрос о своем пути в поэзии, но и о смысле и содержании поэтического творчества вообще.

Двадцать пять стихотворений сборника — о безработных и о бесправных эмигрантах, о любви и поэзии, о мире и войне — свидетельствуют о том, что молодой поэт не ограничивается изложением своих поэтических принципов. Хельман обращается к самым различным темам, видя в жизни постоянный и многоликий источник поэзии:

Поэзия — не в птице.
И все же в ней.
Не в ветре, не в пушке
и не в рубахе.
Ни в чем из этого.
Но все это — она.
(«Финал»)

В центре творчества Хельмана стоит человек. И притом человек-труженик, тот, «кто страдает и творит». Поэт чувствует глубокую симпатию к трудовому народу, он ощущает себя его частицей и рад разделить его нелегкую, но прекрасную судьбу:

...Как хорошо шагать
с людьми,
И открывать грядущего
истоки,
И счастье добывать,
взвалив на плечи
будущего груз,
И с быстрым временем
беседовать, как с братом,
И знать, что счастье наше
мы добудем!
(«Человек»)

Хельман не раз выступает от имени трудящегося люда, защищая его человеческие и гражданские права. Делает он это со всей присущей ему страстностью. Ненависть слышится в голосе его героя, безработного:

...Ищу смирения в себе и,
не найдя, готов
За ярость ухватиться,
чтобы крушить,
Готов кричать до крови
в глотке;
Нет больше сил, трещит
спина.
Ведь человек я. Спустись!
Во что твое творенье
превратили, боже?
В бешеного зверя,
глодающего камни
мостовой?
(«Молитва безработного»)

Хельману чуждо равнодушие: его волнуют вопросы мира и войны, его тревожит судьба человечества. Кровавые следы войны побудили его написать стихи и о детях Кореи, и о маленьких мучениках оккупированной гитлеровцами Европы. Взволнованно звучат слова о горе́ детских туфелек, оставшихся на территории бывшего немецкого концлагеря в Польше.

О гора, как тяжела ты!
Как твое безмолвье ранит
сердце!..
(«Туфельки»)

Обращение к образу ребенка вообще свойственно Хельману. Хрупкий и беззащитный, стоящий у истоков бытия ребенок олицетворяет для поэта лучшие надежды и самую горячую нежность. «Защищайте его!» — призывает он.

Значительную часть стихотворений сборника составляет интимная лирика. В этих обычно небольших стихотворениях часто слышится грусть, но никогда нет отчаяния. В некоторых из них молодой поэт проявил себя настоящим мастером стиха. С этой точки зрения особенно интересно, хотя и осложненное символикой, стихотворение «Карусельная лошадка», отличающееся выразительностью характеристик.

Хельману удается опоэтизировать мелочи повседневной жизни — тонкие запахи городской весны, детский смех, звонки трамвая. Они не становятся значительнее, чем в действительности, но помогают читателю увидеть скрытую от него раньше поэзию жизни. Из таких элементов складывается поэтическая манера Хельмана. Он взыскательно относится к слову. Как и другие поэты Латинской Америки, Хельман широко пользуется свободным стихом. «Великолепие испанского» предоставляет для этого определенные возможности, но и требует от поэта очень бережного обращения со словесным материалом — иначе стихи могут превратиться в пышное, но лишенное подлинной поэзии сооружение.

Еще не все стихотворения Хельмана свободны от декадентских влияний, еще встречается в них излишняя изощренность. Но книга Хельмана найдет путь к сердцу читателя, потому что взволнованные стихи поэта полны гражданского пафоса и горячей веры в возможность человеческого счастья:

Взгляни на человека,
Что с тобою рядом.
Любит он? Страдает?
Поет? Быть может, плачет?
Помоги ему бороться...

Г. Полонская

СБОРНИК СТАТЕЙ О ШЕКСПИРЕ

□

Shakespeare: Modern Essays in Criticism. Edited by Leonard F. Dean. New-York, Oxford, University Press, 1957.

□

Книга эта — не антология современного англо-американского шекспироведения. Отличается она и от периодически выпускаемых в Англии и Америке шекспировских обозрений, включающих новейшие исследования о Шекспире. Это объемистое издание адресовано составителем широкому читателю, а также студентам, преподавателям и критикам. Оно содержит статьи и главы из книг двадцати восьми авторов. Самая ранняя из работ относится к двадцатым годам нашего века, самая поздняя — датирована 1956 годом. Расположены они соответственно традиционному порядку рассмотрения творчества Шекспира: вначале помещены статьи о комедиях, затем о хрониках и трагедиях, наконец о поздних драмах. Составитель пишет, что он стремился не только соединить в одной книге наиболее оригинальные современные шекспироведческие исследования, но и создать с их помощью определенное представление о Шекспире.

В сборнике помещен ряд значительных работ, принадлежащих широко известным шекспироведам. Среди них — Х. Гренвилл-Баркер, М. Ван Дорен, Э. Чеймберс, К. Сперджен. Это критики старшего поколения. Некоторые проблемы, освещаемые в их трудах, уже утратили непосредственный интерес. Современному английскому зрителю, для которого играют Гилгуд и Оливье, или советскому зрителю, видевшему Остужева или Хораву, спор о сценичности шекспировских пьес может показаться надуманным. Однако этому спору уже полтораста лет. Он и сейчас не утратил своего значения. Как донести до зрителя нагруженный мыслью текст Шекспира, сохранив его красочность,— проблема, не решенная окончательно и имеющая практическое значение. Здесь немало подскажет детальный анализ метафор Шекспира, проделанный Кэролайн Сперджен. Положительную оценку ее книги «Метафоры Шекспира и о чем они говорят нам» дал еще советский шекспировед М. Морозов. Им же было отмечено, что исследовательница, рассматривая образную ткань произведений Шекспира, забывает о живых персонажах, в чьих устах звучит шекспировский язык. На М. Морозова ссылается В. Клемен — также один из авторов сборника, которому принадлежит статья «Метафоры в «Гамлете». Он видит в поэтических приемах средство создания характера. Продолжая спор о сценичности, А. Даунер в статье «Вымышленная нами жизнь» доказывает, что шекспировские пьесы нельзя отнести ни к драме, ни к поэзии; это особый жанр — поэтическая драма, требующая своих средств сценического воплощения.

Существенные проблемы ставят в своих статьях Э. Чеймберс, А. Харбейдж, А. Сьюэлл. По мнению А. Харбейджа (статья «Зритель Шекспира: Современная оценка»), в драмах Шекспира отразилось свойственное его эпохе столкновение между сложностью жестокого времени и высоким полетом гуманистической мысли. А. Сьюэлл (в сборнике помещена глава из его книги «Личность и общество у Шекспира») делает попытку проследить развитие социального конфликта в трагедиях Шекспира. Он считает, что если в «Отелло» личность противопоставлена обществу, то «Король Лир» обнажает конфликт внутри самого общества. В статье о «Сне в летнюю ночь» Э. Чеймберс говорит о гуманистическом пафосе Шекспира.

Однако по своей содержательности и направленности материалы сборника неоднородны. Некоторые работы слишком обедненно или схематично трактуют Шекспира. Две статьи посвящены «Ричарду II», три — «Гамлету», и ни одна из них не содержит самостоятельной концепции исследователей произведений. Это относится, в первую очередь, к статье составителя сборника Л. Дина, которая посвящена «Ричарду II». В ней он развивает не новую уже мысль о том, что реальную жизнь, жизнь государства, Шекспир сравнивает с театром.

Тяготение к эмпиризму, шаткость теоретических основ сказываются и в тех статьях сборника, авторы которых ставят сложные и принципиальные вопросы творчества Шекспира. Г. Дженкинс, например, делает интересную заявку: на материале «Как вам это понравится» он хочет уяснить метод Шекспира-комедиографа. Однако, на наш взгляд, ему удается лишь описание приемов, а не анализ драматургического видения Шекспира.

Взглядом формалиста смотрит на шекспировские комедии Н. Фрай. «Для Шекспира,— пишет критик,— предметом поэзии не является жизнь, природа, реальность, вообще что-либо, из чего исходит философ, но поэзия сама по себе, словесная вселенная».

Хотя Л. Дин в своем предисловии отвергает возможные упреки в ограниченности круга авторов сборника, отсутствие некоторых имен кажется странным. Не представлены работы Довера Уилсона — одного из видных современных знатоков Шекспира. В сборнике нет статьи А. Николла — авторитетного историка английской сцены и драмы. Возражения вызывает иногда выбор той или иной работы. Так, из многотомного «Комментария к Шекспи-

ру» Х. Гренвилл-Баркера составитель взял очерк о «Венецианском купце». Если же говорить о наиболее проблемном очерке «Комментария», то это скорее очерк, посвященный «Королю Лиру».

В сборнике звучит лишь глухое и далекое эхо действительно острой полемики о Шекспире. Литературовед, изучающий творчество Шекспира, встречая знакомые имена и названия, сможет уловить важные для себя нюансы. Иногда беглое замечание дает возможность сделать более общий вывод. Но ведь книга эта предназначена не только для специалистов. Составит ли широкий читатель глубокое представление о Шекспире и современном англо-американском шекспироведении на ее основе?

Д. Урнов

ПО ЛАБИРИНТАМ ИСТОРИИ КИНО

□

Жорж Садуль. История киноискусства от его зарождения до наших дней. Москва, Издательство иностранной литературы, 1957.

□

Имя Жоржа Садуля хорошо известно в нашей стране. Его книга «Жизнь Чарли» полюбилась многим. Читатели знают и другие его работы: «Всеобщую историю кино», «Кино — его искусство, техника и экономика», книгу о кинематографии Венгрии.

Жорж Садуль постоянно выступает со статьями по различным проблемам кино в советской печати.

Меньше известна у нас монументальная работа Жоржа Садуля по всеобщей истории кино. За две книги третьего тома этого труда («Кино становится искусством»), охватывающие период 1909—1920 гг., ученый совет Института истории искусств Академии наук СССР присвоил Жоржу Садулю звание доктора искусствоведческих наук.

Отдавая себе отчет в том, что многотомная история кино может отвечать интересам главным образом специалистов и кинолюбителей, Жорж Садуль выпустил в 1948 году однотомник «История киноискусства». Эта книга затем неоднократно перерабатывалась и дополнялась. Последнее, четвертое издание имеет новые главы о послевоенной кинематографии. По этому изданию и сделан русский перевод, выпущенный Издательством иностранной литературы.

В чем отличие «Всеобщей истории кино» от настоящего однотомника? Автор в своем предисловии опровергает мнение, будто этот однотомник лишь сокращенный вариант «Всеобщей истории». В своем обширном труде Садуль рассматривал кинематографию различных стран главным образом с точки зрения социально-экономической, политической и технической. В однотомнике же главное внимание уделено искусству кинематографа, разбору выразительных средств этого искусства. При этом автор, разумеется, связывает вопросы кино с общим комплексом социально-политических проблем, характерных для каждой эпохи и определяющих значение того или иного произведения искусства. И в этом смысле работа Жоржа Садуля, написанная с позиций марксистской эстетики, представляет значительный шаг вперед по сравнению, скажем, с соответствующими работами Пьера Лепрона («50 лет французского кино»), Рене Жанна и Шарля Форда («Энциклопедическая история кино») или Бардеша и Бразийака («История кино»), которые, при всей своей фактологической ценности, страдают объективизмом, типичным для буржуазных исследований.

В «Истории киноискусства» Жорж Садуль останавливается на важнейших этапах развития киноискусства, начиная от изобретения киноаппарата и создания кинопромышленности и до наших дней. При этом он стремится разобраться в творчестве ведущих мастеров кино. Тщательно и вдумчиво анализирует он творчество таких выдающихся кинодеятелей, как Мельес и Гриффит, Клер и Инс, Бенюэль и Деллюк. Значительное место в книге уделено истории советского кино, работам Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко и ряду других. Читатель познакомится с развитием кино в латиноамериканских странах, Китае, Индии, Японии, Испании, Португалии, Египте. Автор показывает, как события, связанные со второй мировой войной, с борьбой против фашизма, стимулировали развитие национального искусства в колониальных или полузависимых странах. Жорж Садуль воздает должное английской «брайтонской школе» и ее представителям — У. Полу, Дж. Уильямсону, Альфреду Коллинзу, которые для своего времени — начала XX века — представляли передовое течение в кинематографии.

Книга включает в себя обстоятельное приложение, в котором находим «Хронологию основных фильмов», где приведен список наиболее значительных картин, созданных в разных странах в разное время, раздел «Сто кинодеятелей и их основные постановки», обширную библиографию. В целом, книга Садуля представляет собой ценное справочное пособие для всех, кто интересуется историей мирового кино.

При чтении этой содержательной книги особенно остро ощущается отсутствие отечественных работ по истории мирового киноискусства.

За последнее время усилился интерес советских людей к зарубежному кино. В ряде клубов Москвы читаются лекции по истории кинематографии. Привлечено к этому делу и телевидение. По-видимому, назрела необходимость создать в СССР такой труд, который помогал бы всем желающим разобраться в противоречивых и сложных путях развития киноискусства за рубежами нашей страны.

Это необходимо и потому, что книга Жоржа Садуля не лишена спорных положений. Автор обстоятельного и квалифицированного предисловия к книге, покойный Г. Авенариус, не случайно останавливается на этих спорных и мало аргументированных положениях. Так, он правильно отмечает неравноценность отдельных частей книги; скороговорку и конспективный характер двух последних глав; отсутствие разбора творчества крупнейших киноактеров и рассказа о приходе в кино таких представителей театра, как Орленев и Шаляпин, Рейнгард и Моисси, Антуан и Дузе. Не согласен автор предисловия и с рядом оценок фильмов, считает недоказанной концепцию Жоржа Садуля относительно решающего значения в искусстве кино таких его компонентов, как крупный план, ракурс и монтаж, то есть ограничение специфических свойств кинематографа только этими формальными элементами.

Редактор Г. Авенариус проделал большую работу над текстом, исправив ряд допущенных в прежних изданиях ошибок. И все же это не избавило книгу от некоторых досадных промахов. Общая беда литературы по западному кино — отсутствие унифицированной транскрипции имен и названий фильмов — сказывается тут весьма наглядно. Можно, к примеру, отметить произвольный перевод названия фильма Марселя Карне "Marie du Port" — «Портовая Мария», хотя явно лучше «Мария из порта», или фильма Анри-Жоржа Клузо "Les Diaboliques" — как «Поклонники дьявола», хотя правильнее «Одержимые дьяволом». К другому сорту ошибок следует отнести упоминание режиссера Кристиан-Жака просто как Жака. Ведь речь идет о псевдониме режиссера Кристиана Моде.

Издательство иностранной литературы хорошо сделало, выпустив в свет умную, интересную и отлично оформленную книгу Жоржа Садуля.

А. Брагинский

КЛАССИК ВЕНГЕРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

□

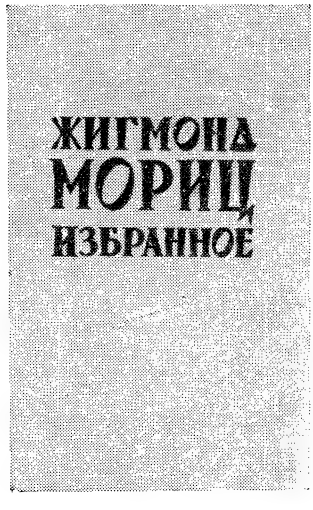
Жигмонд Мориц. Избранное. Москва. Гослитиздат, 1958.

□

Недавно в Гослитиздате вышел двухтомник сочинений Жигмонда Морица (1879—1942 гг.), одного из самых любимых и популярных в Венгрии писателей. Помимо уже ранее издававшихся на русском языке романа «Родственники» и нескольких рассказов, в «Избранное» вошли роман «Счастливый человек», повести «Птица небесная» и «Мотылек», многочисленные рассказы и ряд публицистических статей.

Описывая будничную деревенскую жизнь, казавшуюся его предшественникам скучной и неинтересной, Мориц сумел не только показать власть собственнических отношений, калечивших человека, но и раскрыть душевную красоту своих героев — крестьян. В произведениях Морица нет ни сентиментальной жалости к «униженным и оскорбленным», ни идеализации «истинно мадьярских» патриархальных традиций, характерных для произведений его младших современников — «народных» писателей, которые пытались искать некий «особый путь» развития венгерской деревни, противопоставляя ее городу.

Жигмонд Мориц — замечательный новеллист, им написано свыше четырехсот рассказов. В них мало внешней занимательности, фабула играет подчиненную роль. Описывает ли Мориц женщину, мужественно переносящую жизненные лишения («Семь крайцаров»), или разбойника-бетяра, отдающегося в руки полиции, чтобы дать возможность бедняку получить премию за его поимку («Последний бетяр»), писатель не пытается окружить своих героев романтическим ореолом. Он рисует бетяра не гордым всадником, а закоченевшим от холода бродягой с красными, слезящимися глазами.



В рассказе «Светает» (1909) Мориц с глубоким лиризмом изображает перерождение бетяра Фер-

ко. Душевным переживаниям героя созвучен пейзаж. Бетяр мчится на коне, он полон смятения, погоня близка; то же смятение в природе: «Взбаламученные тучи бушуют на небе, словно взбесившееся стадо». Отбившись от полицейских, Ферко приезжает к своей милой — бедной крестьянской девушке Жуже. Во имя любви к ней он решает проститься с вольной степной жизнью и пойти в батрацкую кабалу. Рассвет, озаряющий комнату, словно символизирует надежды Ферко на спокойную, счастливую жизнь с любимой. Но какой будет эта жизнь, сумеет ли Ферко примириться с уделом батрака? Ответа на этот вопрос здесь писатель не дает.

Герои более поздних произведений Морица уже не могут и не хотят мириться с окружающим их злом. Однако их протест неосознан, стихиен. В повести «Птица небесная» стремление человека к свободе, к счастью побеждает и власть денег и правила морали, порожденные законом чистогана. Восставая против существующего режима, герои Морица, вместе с тем, ничего не могут противопоставить господствующим общественным отношениям. Талантливые, умные люди не находят своего места в жизни. Романы «Золото в грязи» (1910) и «За спиной господа бога» (1911) позволяют проследить, как постепенно рушатся мечты прекраснодушных интеллигентов о служении народу, а сами они превращаются в опустившихся обывателей.

Неизвестно, чем бы кончились у Морица эти поиски выхода из безнадежного тупика, если бы не война и последовавшая за ней революция.

Творчество Морица периода венгерской революции 1918—1919 годов представлено в «Избранном» публицистическими статьями, с которыми наш читатель знакомится впервые.

Мориц «счастлив, что живет в такое героическое время»; главной задачей революции он считал разрешение аграрной проблемы — безвозмездную передачу всей земли крестьянам. Эта мысль утверждается Морицем в статьях «Объявлен закон о земельной реформе», «Один алмаз в короне венценосца и тысяча нищенских котомок». Воодушевленный «замечательным размахом большевизма», Мориц выступал сторонником кооперирования деревни, усматривая в «производственных кооперативах уклад будущей экономической жизни» (статья «Венгрия на мирном пути»).

В статьях этого периода Мориц неоднократно высказывает мысль о бесклассовом обществе, о коммунизме. Но в представлениях писателя коммунизм — следствие некоего морально-этического «очищения». Теория непротивления злу сочеталась в его представлении с элементами утопического социализма. Мориц отрицал неизбежность классовой борьбы даже в то время, когда молодая венгерская республика была окружена врагами.

Мориц был глубоко подавлен поражением революции. Им овладели пессимистические настроения, сомнения в возможности революционного преобразования Венгрии, и он вновь ищет «опору нации» в крестьянстве. В послереволюционный период Мориц пробует найти промежуточные, реформистские решения, проповедует абстрактный гуманизм, братскую любовь к ближнему, «доброту» как основной закон человеческих отношений (роман «Будь добрым до самой смерти», 1920).

Под влиянием экономического кризиса 1929—1930 годов значительно обостряется социальный критицизм произведений Морица. В романах «Родственники» (1930) и «Счастливый человек» (1932) Мориц вскрывает всю гнилостность режима хортистской Венгрии. Герой романа «Родственники» Иштван Копьяш — человек субъективно честный, он хочет приносить пользу народу, но одновременно его влечет к «господской жизни», привлекает возможность сделать карьеру. Выдвинутый городскими властями на должность генерального прокурора, Копьяш пытается занять нейтральную позицию. Однако попытка примирить непримиримое приводит Иштвана к самоубийству. Роман «Родственники» направлен против реформистских иллюзий.

Название романа «Счастливый человек» иронично: трудно себе представить более жалкое существование, чем жизнь Дьердя Йо, который искренне уверен, что был когда-то счастлив. Довоенная жизнь, полная невзгод, унижений и изнурительного труда, кажется ему раем по сравнению с беспросветной нищетой, наступившей после кризиса. В начале романа герой полон бунтарства, но бесконечные страдания сламывают его, заставляя примириться с жестокой реальностью. Интересна композиция произведения: в первой и последней главах (встречи автора с Дьердем в редакции), создающих своеобразное обрамление романа, повествователь выступает на передний план, прямо высказывая свою точку зрения. При всей своей симпатии к Дьердю, Мориц дает понять, что он вовсе не разделяет патриархальных иллюзий своего героя.

На рубеже тридцатых-сороковых годов Мориц возвращается к мысли о революционной борьбе. Он создает образы героев-бунтарей: благородного разбойника Яни Авора и героических участников революции 1848—1849 годов. На эти темы написаны последние крупные произведения Морица, не вошедшие в двухтомник,— романы «Бетяр» (1936) и «Шандор Рожа» (1940—1942).

Венгерская газета «Элет эш иродалом» («Жизнь и литература») посвятила двухтомнику специальную статью, в которой отмечается, что выход в свет «Избранного» знаменует собой признание творчества Мо-

рица за границей и является крупным культурным событием. В статье содержится высокая оценка качества издания: удачный отбор произведений писателя (составитель А. Гидаш), хорошие переводы (переводчики А. Кун, О. Громов, И. Салимон, В. Оленин, Б. Гейгер), интересное предисловие О. Россиянова. С такой оценкой можно вполне согласиться.

Составителя и редактора можно лишь упрекнуть в отсутствии комментариев, которые могли бы ориентировать читателя в фактах общественной и литературной жизни Венгрии. Так, например, в статье «Учитель молодежи» Мориц дает слишком высокую оценку творчеству второстепенного драматурга Шандора Броди, противопоставляя его не только Иокаи и Миксату, но и «всем венгерским писателям», которые якобы лишь «слепо и усердно прославляли идеалы старорежимной, сословно-дворянской Венгрии». Следовало бы пояснить причину резкого и несправедливого отзыва Морица о творчестве некоторых писателей.

Публикуя статьи «Социальное равенство» и «Объявлен закон о земельной реформе», необходимо было бы разъяснить, что в этих статьях Мориц был склонен смешивать желаемое с практически осуществившимся; показать, что законопроекты Каройи остались пустыми словами (реформы предусматривали выкуп земли крестьянами); раскрыть буржуазную ограниченность и непоследовательность политики этого правительства.

Будем надеяться, что наши издательства в дальнейшем более широко познакомят советского читателя с этим интересным и своеобразным художником. Хотелось бы видеть в русском переводе романы «Будь добрым до самой смерти», «Бетяр» и «Шандор Рожа», повести «Бедные люди», «Сиротка», рассказы «Киш Шаму Йошка», «Домой» и некоторые другие произведения Морица.

Е. Кривякина

ВОЛЬФ ПАГЕЛЬ СРЕДИ ВОЛКОВ

□

Ганс Фаллада. Волк среди волков. Перевод с немецкого. Москва, Гослитиздат, 1957.

□

Героем ранних романов Фаллады «Маленький человек, что же дальше?» (1932) и «Кто однажды отведал тюремной похлебки...» (1934) был «маленький человек», задавленный голодом и безработицей, попираемый варварским общественным строем, толкающим его на преступление. Маленький человек боролся в одиночку против «большого мира». Он плохо разбирался в политических событиях и с недоверием относился к идее организованной классовой борьбы. Единственно надежным он считал свой узкий, частный мирок, неприкосновенную семейную ячейку, куда он укрывался от бурь и катастроф эпохи. Но так как этот мирок был неприкосновенным лишь в воображении героя, действительность сурово взрывала его иллюзии и разрушала его хрупкое убежище.

Роман «Волк среди волков» (1937), написанный в годы фашистской диктатуры, показывает известную эволюцию традиционного героя Ганса Фаллады. Мир, в котором он живет, изображен еще более мрачными красками, но зато у героя появляется сомнение в правильности индивидуалистической позиции, зарождается идея солидарности.

«Волк среди волков» — роман о послеверсальской Германии, когда народу пришлось расплачиваться за проигранную империалистическую войну и за авантюристическую политику своих новых послевоенных правителей. В ответ на оккупацию Рурской области французской военщиной немецкое правительство демагогически призвало народ к «пассивному сопротивлению». Затея эта была обречена на провал, но связанные с ней колоссальные убытки пришлось покрывать народу. Наступила инфляция. Деньги потеряли свою цену. Труд маленького человека оставался неоплаченным. На зарабатываемые им миллионы и миллиарды марок через несколько дней нельзя было купить и мешок картофеля. В романе Фаллады мир как бы лишился своей устойчивости. Все катится в пропасть — мораль, порядочность, родственные чувства. Преступление выходит на улицы. Оно проникает в хибарку бедняка и в замок аристократа.

В богатом имении Нейлоэ тесть разоряет зятя, опутав его кабальным арендным договором; владелец имения спивается до

белой горячки; его дочь, пятнадцатилетняя девчонка, убегает с лакеем. В лесу возле имения скрываются беглые каторжники, а рядом офицеры из черного рейхсвера готовят контрреволюционный путч. Перед нами волчий мир, раздираемый яростной борьбой всех против всех. В этом враждебном мире затеряна пара влюбленных — Вольфганг Пагель и Петра Лединг.

Пагель недаром носит символическое имя Вольф (волк). В первой части романа он, так же как и все окружающие, подчиняется законам волчьего мира. Азартный игрок в рулетку, он безвольно предается своей маниакальной страсти и проигрывает все, что ему удается добыть, даже платье своей возлюбленной. Он покидает ее одну, обезумевшую от голода, в стареньком мужском пальто, наброшенном на голое тело. Только счастливый случай — встреча с доброй женщиной, принявшей ее к себе на службу,— выручает Петру. Пагель же уезжает из Берлина в имение Нейлоэ, принадлежащее его бывшему однополчанину, ротмистру фон Праквицу.

Здесь «волк» начинает постепенно превращаться в человека. Сочувствуя чужому горю, он спасает семейство фон Праквиц, помогает сохранить гибнущий урожай, разбить злые планы тестя, возвращает жене мужа, а матери — дочь. Делает он это бескорыстно и самоотверженно, из чувства человеческой солидарности. И это его бескорыстие привлекает к нему сердца простых людей — птичницы Аманды Бакс, приказчика Ковалевского, лесничего Книбуша. Он пробуждает в этих людях добрые чувства, желание стать лучше, побуждает их к самоотверженным поступкам.

Перерождению Пагеля способствует его любовь к Петре Лединг. Эта девушка также проходит воспитание жизнью, но в другом направлении. Ей необходимо приобрести известную жесткость в обращении даже с любимыми ею людьми. В страшном мире, где она живет, нельзя быть чрезмерно уступчивой. Она должна уметь отстоять свою жизненную позицию, заставить других подчиняться ее добрым целям. Это новая нота в творчестве Фаллады. Носители гуманного начала в лице Петры и Пагеля утрачивают непрактичность, свойственную героям его ранних романов. Те умели только страдать. Им никак не удавалось занять достойное место в жизни. Пагель и Петра сумели преодолеть суровое сопротивление жизни и справиться с трудностями. Если пафос ранних романов Фаллады был сосредоточен на бегстве от общественной жизни в мир тихих семейных радостей, то новый герой Фаллады не удовлетворяется только семейным кругом. Он мечтает служить обществу, помогать людям. В нем просыпаются гражданские чувства, неведомые прежним героям. Любовь и семья оказываются не убежищем, а опорой в суровых схватках с жизнью.

Этому торжеству гуманного принципа противопоставлен в романе целый ряд эгоистов, живущих по-волчьи, из которых особенно выделяется образ лейтенанта Фрица. Фашистская литература насаждала подобных ницшеанских героев и всячески их превозносила. Фаллада развенчивает «белокурую бестию». Его лейтенант Фриц является как бы антитезой образа Пагеля. Это подлинный «волк», грозный и вредоносный. Люди для него — только средство для достижения своих целей. Он использует трусость лесничего Книбуша, превратив его в послушное орудие, мимоходом соблазняет несовершеннолетнюю дочь фон Праквица, вступает в любовную связь с горничной Фридель, чтобы можно было шпионить за ее хозяином. Там, где Пагель помогает людям, Фриц приносит беду и несчастье.

Вместе со своими единомышленниками лейтенант Фриц готовит путч против «красного» (социал-демократического) правительства, очень похожий на мюнхенский дебют гитлеровцев в 1923 году. Эта затея позорно проваливается, а неудачливый игрок, поставивший не на тот номер в политической рулетке, вынужден оплатить проигрыш своей собственной жизнью. Одинокая волчья смерть — вот конец для подобного человека. Критическое отношение Фаллады к излюбленному «положительному» герою официозной литературы не могло понравиться нацистской цензуре. Все идейное направление романа показалось ей неблагонадежным. «Волк среди волков» был изъят из продажи и впоследствии не переиздавался.

Роман Фаллады отрицает мир всеобщей разобщенности и взаимной ненависти, тот мир, в котором процветали фашистские идеи ницшеанства, подавления человека человеком, господства Германии над другими народами. Автор, правда, не сумел подвергнуть анализу социальную структуру империалистического государства, но он ощущал окружавший его мир как мир безнравственный, как волчью борьбу против всех. Критика Фаллады ограничивается областью этики — категориями добра и зла, которые он воплощает в образы гуманных героев и героев-эгоистов. Но дальнейшая эволюция писателя показывает его возросшую политическую зрелость. После разгрома гитлеровского рейха он создает роман «Каждый умирает в одиночку», где его традиционные герои, прошедшие через ужасы фашистской диктатуры и ад военных лет, обретают, наконец, интерес к политической жизни и вступают в активную борьбу против фашизма, пусть неумелую, но героическую. Роман «Волк среди волков» — важная веха на пути Фаллады от аполитичности его ранних романов к убежденной позиции антифашистского писателя.

А. Левинтон

„ПОЭЗО-ПРОЗА" И ЕЕ ИЗДАТЕЛИ

□

«Frankfurter Hefte» № 6, 1958.

□

Западногерманский журнал «Франкфуртер хефте» посвятил книгам молодых литераторов ФРГ сразу два критических обзора: обзор Роланда Вигенштейна о трех книгах из серии «Молодые авторы», которая выходит в свет в мюнхенском издательстве Карла Ханзера, и обзор Ганно Ройтера о трех произведениях, выпущенных издательством Бертельсмана.

Скажем прямо, ничего утешительного критики не обнаружили ни в одной из разбираемых ими книг. Так, Ганно Ройтер пишет, что издательству Бертельсмана пошла не впрок высокая прибыль, полученная им в прошлом году,— на радостях оно выпустило теперь «черт знает что». В том же духе комментирует произведения молодых и другой рецензент; разбор каждой книги в отдельности он кончает весьма малообнадеживающей фразой: от этого первого неудачного опуса ко второму дороги нет!

Думается, на этот раз западногерманские литературоведы не ошиблись. Наоборот, если судить по приведенным в журнале цитатам и пересказам, они проявили редкую терпимость и мягкосердечие.

Вот перед нами своего рода литературный манифест, принадлежащий перу молодого прозаика Хейнца Альберса: «Мои попытки сводятся к тому,— пишет Альберс,—чтобы писать поэзо-прозу... Я считаю, что из-за многоплановости жизни, и прежде всего второстепенных жизненных ситуаций, ее нельзя передать— не говоря уже о том, чтобы объяснить,— в лобовой прозе, той прозе, которая в наше время преобладает. Я рассматриваю этот род творчества — направления его известны — как проявление скудости: скудости формы, скудости чувства...»

Итак, долой «лобовую прозу», иначе говоря, долой реализм — таково литературное кредо не только Альберса, но и его коллег.

Проза шести западногерманских писателей однообразна; и в повестях, и в рассказах, и в «дневниках», отрецензированных журналом, реальные события переплетаются с грезами, явь со снами. И все это сдобрено изрядной дозой пессимизма и безысходности. В двух книгах герои кончают жизнь самоубийством, в одной умирают (правда, неизвестно, во сне или наяву), в остальных просто мрачно прозябают (тоже, впрочем, непонятно, в грезах или в действительности).

Вот, к примеру, произведения двадцатитрехлетнего Гюнтера Грака. Как сообщает рецензент, его стихия — «психология в чистом виде». Грак опубликовал сборник «Ранние тени», в котором исключительно подробно описал тот период, когда он из мальчика превращался в мужчину. Под соответствующим углом зрения Грак рассказал о различных малоинтересных эпизодах своей жизни: о зимних школьных каникулах, которые он проскучал дома, о воскресной прогулке с родителями, о гулянье в парке и тому подобном. Кульминационным пунктом всей книги Грака является новелла под названием «Элегия о большой девочке». В «Элегии» великовозрастная девица домогается любви Рольфа (так Гюнтер Грак именует своего лирического героя). Однако Рольф отклоняет эти домогания, не поняв, чего, собственно, хочет его приятельница. Обиженная такой нечуткостью девица немедленно кончает жизнь самоубийством.

Однако среди этих писателей есть люди, интересующиеся не только переживаниями неуравновешенных подростков, но и политикой. Точнее сказать, профашистской, реакционной политикой. Так, героем Гунара Ортлепа является ницшеански-фашистский молодчик, которому все дозволено (в книге Ортлепа ему дозволено, в частности, воровать). Еще дальше пошел Хорст Бинек. Этот «прозо-поэт» живописует антисоветского громилу, а также «ужасы красной опасности». В своей книге «Сны заключенного» Бинек нижеследующим образом описывает советских людей: «Я знаю, теперь они придут. Нет смысла бежать. Они уже совсем близко, и их руки, алчущие крови, жаждут схватить меня за горло».

Это уже не «поэзо-проза», а весьма опасный бред сумасшедшего.

«Опыт» двух немецких издательств, пожелавших порадовать читателей книгами начинающих авторов и потерпевших фиаско,— глубоко поучителен.

За последнее десятилетие в Западной Германии появилось немало талантливых прозаиков — рано умерший Борхерт, Генрих Бёль, Рихтер, позднее Хорбах и многие другие. Эти писатели создали современный антивоенный роман в ФРГ. Они страстно ненавидят войну и в своих произведениях предостерегают немцев от повторения кровавых авантюр. Их книги завоевали известность у широкого читателя не только в ФРГ, но и далеко за ее пределами. Но, по-видимому, ныне западногерманские издательства не очень-то поощряют антивоенные настроения. На западногерманском книжном рынке появляются жемчужины «поэзо-прозы» — это либо произведения, оторванные от реальной жизни, от жгучих проблем современности, либо — антисоветская стряпня. Разумеется, с искусством все это не имеет ничего общего. По свидетельству «Франкфуртер хефте», это не имеет ничего общего и с бизнесом. Издательствам от «поэзо-прозы» одни убытки.

Л. Черная

АВСТРАЛИЯ

«СОКРОВИЩА — НА ЗЕМЛЕ»

Недавно в Мельбурне вышел роман австралийского писателя Дона Уайтингтона «Сокровища — на земле». Действие этого романа развертывается на протяжении 70 лет — с зарождения рабочего движения в Австралии в конце прошлого века и до наших дней.

Центральная тема произведения — противопоставление бескорыстного служения рабочему классу истинных борцов за его дело карьеристскому стремлению к личной славе и благополучию, характерному для многих лейбористских деятелей Австралии.

Герой романа, старший О'Коннор, принадлежит к первой категории рабочих руководителей, его сын Локхи О'Коннор — представитель второй... С юных лет он попал под влияние матери, которая внушала ему: «Нищета и голод—это удел тех, кто не умеет пользоваться случаем... Надо думать только о себе, а не о «массах», как называл их твой отец».

С такими «принципами» Локхи О'Коннор начинает путь в рабочем движении, презирая людей своего класса и пресмыкаясь перед сильными мира сего. Эти «принципы» постепенно приводят его к ренегатству и в конце концов к полному краху.

Высоко оценивая роман Дона Уайтингтона, газета «Трибюн» пишет: «Картина жизни в «высших» политических кругах — взяточничество, шантаж, предательство, аморальность,— написанная человеком, имевшим возможность видеть все это собственными глазами, не может быть воспринята иначе как подлинная... Мы знаем людей, которые рассматривают участие в рабочем движении как первую ступеньку в своей карьере и позднее становятся лордами, губернаторами, премьер-министрами...»

АВСТРИЯ

ПРЕМИЯ РОМАНУ МУЗИЛЯ

Роман видного австрийского писателя Роберта Музиля «Человек без качеств» удостоен во Франции премии «За лучший иностранный роман 1958 года».

Сообщая об этом, австрийская печать отмечает, что первые два тома романа уже много лет были известны французскому читателю, но третий и четвертый тома переведены на французский язык лишь недавно. Жюри, присудившее премию, высоко оценило именно последние тома произведения, автор которого умер шестнадцать лет назад.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГЕРОИ НА ЭКРАНЕ

Австрийским журналом «Ворт ин дер цейт» сделан любопытный подсчет экранизации произведений мировой литературы. Как оказалось, больше всего фильмов создано по новелле П. Мериме «Кармен»: с 1907 по 1953 год это произведение экранизировалось 29 раз.

Второе место по числу экранизаций занимает «Воскресение» Л. Н. Толстого: выпущено 23 фильма.

«Ромео и Джульетту» У. Шекспира экранизировали 20 раз, «Отверженных» В. Гюго — 19. Затем следуют «Три мушкетера» А. Дюма (18 фильмов), «Гамлет» У. Шекспира и «Граф Монте Кристо» А. Дюма (по 17 фильмов), «Оливер Твист» Ч. Диккенса (12 фильмов).

На последнем Международном кинофестивале в Венеции была показана новая французская экранизация романа «Жизнь» Ги де Мопассана. Ниже воспроизведен кадр из этого фильма. В главных ролях — Мария Шелл и Кристиан Маркан.

(Журнал «Синемонд»)

АЛБАНИЯ

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ПИСАТЕЛЕЙ

Недавно, как уже сообщалось в нашем журнале (см. № 11, 1958 г.) был объявлен литературный конкурс в честь пятнадцатилетия освобождения Албании.

На страницах газеты «Башкими» албанские прозаики и поэты рассказывают о своих творческих планах в связи с этим конкурсом.

Председатель Союза писателей и работников искусств Албании Д. Шутеричи вместе с молодым литератором К. Души работает над киносценарием художественного фильма, в основу которого положен эпизод освободительной борьбы против немецких оккупантов и националистов - предателей. Кроме того, для конкурса К. Души пишет роман «Сердце в бою», а Д. Шутеричи готовит сборник коротких рассказов о войне.

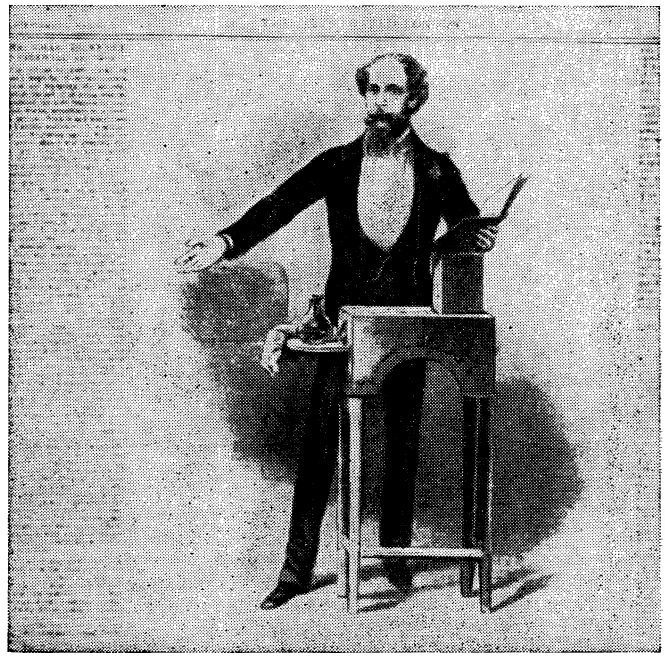
Прозаик Ф. Дьята и поэт Д. Силичи в творческом содружестве пишут сценарий о жизни и борьбе албанских крестьян в годы войны с итало-немецкими оккупантами.

В НОВОМ ТЕАТРАЛЬНОМ СЕЗОНЕ

Новый театральный сезон в Албании, сообщает газета «Зери и популлит», пройдет под знаком знаменательной национальной годовщины: вместе со всем народом албанские театры готовятся отметить пятнадцатилетие со дня освобождения страны.

В репертуаре драматических театров появилось много национальных пьес, из которых следует отметить драму С. Питарки «Самый смелый со своими товарищами», а также пьесы «Молодежь» В. Винчани, «Корона Нурии» К. Яковы, «Ночные тени» В. Коконеса.

Значительным событием культурной жизни, пишет газета, явится постановка новой оперы «Мрика», написанной албанским композитором Пренга Яковой.



Чарльз Диккенс на сцене (по репродукции из английского журнала «Иллюстрейтид Лондон ньюс» за 1870 год).

(Газета «Нью-Йорк таймс»)

АНГЛИЯ

ДИККЕНС — АКТЕР И ЧТЕЦ

Публикуемый на этой странице портрет Чарльза Диккенса, выступающего на концерте с чтением своих произведений, появился в английском журнале «Иллюстрейтид Лондон ньюс» в 1870 году. Диккенс, как известно, всегда испытывал особое влечение к сцене и обладал незаурядным актерским дарованием. Одно время в содружестве с кружком молодых писателей, художников и актеров он с увлечением ставил в Лондоне и других городах Англии спектакли в пользу «Общества покровительства литературы и искусства» и других филантропических учреждений.

По отзывам современников, Диккенс превосходно исполнял комические роли, и устраиваемые им представления неизменно привлекали многочисленную публику.

Сто лет назад Диккенс, не будучи уверенным в том, что литературная деятельность обеспечит его материально, решил «прирабатывать» на сцене (до этого он выступал, как любитель, бесплатно — в благотворительных целях). Первое платное чтение своих произведений великий английский писатель устроил в Лондоне в 1858 году, и столетие со дня этой даты было отмечено организацией выставки в Нью-йоркской публичной библиотеке.

В течение двенадцати лет, сообщает «Нью-Йорк таймс», Диккенс объехал с платными литературными концертами, в которых он выступал и как чтец и как автор, различные города Англии, Шотландии, Ирландии, а также США. Его гастроли проходили при переполненных залах, сопровождались восторженными овациями со стороны многочисленных почитателей.

На устроенной в Нью-Йорке выставке «Платные чтения Диккенса» были экспонированы рукописи писателя, переложения глав из романов специально для концертного исполнения,

письма, документы и другие историко-литературные материалы, связанные с его гастрольной деятельностью в период с 1858 по 1870 год.

Обычно на своих чтениях Диккенс выступал со специально подготовленными им «сценариями» или выбирал отдельные эпизоды из своих произведений. Большой популярностью, сообщает «Нью-Йорк таймс», пользовался монолог миссис Гэмп из «Мартина Чезлвита» и сцены из «Оливера Твиста». Писатель вкладывал столько огня, душевных переживаний и даже физических сил в исполнение, что после концертов он обычно лежал в полнейшей прострации. Слабое здоровье наконец вынудило Диккенса бросить публичные чтения, столь его утомлявшие и расстраивавшие нервную систему. Последнее, прощальное чтение состоялось 12 марта 1870 года; Чарльз Диккенс читал тогда «Рождественскую сказку» и сцены суда из «Пиквикского клуба».

ГАРРИ ПОЛЛИТ О «КЛУБЕ ЛЕВОЙ КНИГИ»

В воспоминаниях, опубликованных в журнале «Уорлд ньюс», Гарри Поллит, в частности, рассказывает об организации и деятельности «Клуба левой книги», который в 30-е годы сыграл важную роль в развитии антифашистской борьбы в Англии.

Гарри Поллит напоминает об общественном подъеме 30-х годов, на гребне которого возник «Клуб левой книги» как отражение борьбы английского рабочего класса. Основная задача Клуба, пишет он, заключалась в «создании широкого народного фронта», в «сплочении масс народа в их борьбе против фашистов», в «укреплении международной солидарности путем выступлений в защиту народов Испании, Австрии, Китая, Индии и Чехословакии». В течение двух лет количество членов Клуба возросло с 6 тысяч до 50 тысяч, а количество опубликованных книг, памфлетов и политических листовок достигло двух миллионов.

Автор отмечает, что в Клубе вначале объединились все антифашистские силы, в том числе и левые течения либеральной буржуазии, но по мере того, как становилось очевидным, что коммунисты приобретают ведущую роль в организации, буржуазные либералы, считавшие Клуб своим детищем, старались оторвать его от рабочего движения. Раскол в Клубе с особой резкостью проявился в начале второй мировой войны, когда буржуазные деятели добились закрытия провинциальных отделений Клуба, где ведущая роль принадлежала коммунистам, а затем и реорганизовали его в соответствии со своими целями.

Гарри Поллит воскрешает на страницах журнала один из интереснейших периодов развития прогрессивной мысли в Англии.

АРГЕНТИНА

ПАМЯТИ АНИБАЛА ПОНСЕ

Общественность Аргентины отметила двадцатую годовщину со дня смерти выдающегося аргентинского публициста и литературоведа, философа-марксиста и общественного деятеля Анибала Норберто Понсе. Его памяти посвящен один из номеров прогрессивного журнала «Куадернос де культура», в котором опубликованы статьи Эктора Агости, Альваро Юнке, Рауля Ларры и других.

Анибал Понсе.
(Журнал «Куадернос де культура»)

«Понсе,— заявляет журнал,—был, несомненно, крупнейшим из наших писателей-эссеистов. Он воспринял лучшие традиции аргентинской культуры и преодолел многие ее ошибки и заблуждения. Обладая недюжинным талантом и обширными знаниями и применяя в исследовательской работе метод диалектического материализма, он начал обновление нашей национальной культуры, открыл новый этап нашего культурного развития».

Порвав с позитивизмом, Понсе до конца своих дней оставался убежденным марксистом, хотя формально, как отмечает журнал, и не вступал в коммунистическую партию. Поездка Анибала Понсе в Советский Союз завершила формирование его идеологии. В марте 1935 года, вернувшись из Москвы в Париж, он писал своим друзьям в Буэнос-Айрес: «Два дня назад я приехал из Москвы. У меня ослепляющие впечатления, я полон оптимизма, счастлив. В СССР я провел лучшие дни моей жизни и возвращусь, чтобы бороться с полной верой в идеалы, которые мне так дороги».

Журнал подчеркивает, что Понсе самоотверженно боролся за распространение в Аргентине передовых философских идей нашего времени, за торжество действительно национального и народного в аргентинской литературе и искусстве. Его перу принадлежат такие работы, например, как «От гуманизма буржуазного до гуманизма пролетарского», «Воспитание и борьба классов», «Философские основы социализма», «Ветер в мире», «Сармиэнто, создатель новой Аргентины», и многие другие, оказавшие огромное

влияние на формирование прогрессивной интеллигенции в Аргентине и не потерявшие своего значения до настоящего времени. Глубокий знаток и тонкий ценитель литературы, блестящий стилист и неутомимый ученый, Понсе был автором исследований о классиках аргентинской и мировой литературы, в том числе о творчестве Л. Н. Толстого.

Основатель Свободного колледжа высшего образования в Буэнос-Айресе, один из организаторов Латиноамериканского конгресса борьбы против империалистической войны, президент антифашистского Объединения работников умственного труда, артистов, писателей и журналистов в защиту культуры, главный редактор журнала «Диалектика», педагог и журналист — такова разносторонняя общественно-политическая деятельность Понсе.

Преследуемый аргентинской реакцией, Анибал Понсе вынужден был эмигрировать в Мексику, где и погиб в 1938 году.

В буэнос-айресском издательстве «Футуро» вышла книга «Анибал Понсе, или долг интеллигенции», написанная видным аргентинским писателем, литературоведом и историком Альваро Юнке.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЪЕЗД ПИСАТЕЛЕЙ

По сообщениям аргентинской печати, состоялся IV Национальный съезд писателей Аргентины.

Съезд обсудил следующие вопросы: аргентинская книга и ее проблемы; труд писателя и его вознаграждение; писатель, радио, телевидение, кино и театр; профессиональное и культурное объединение аргентинских писателей; писатель и национальная культура; специфические проблемы провинциальных писателей; общие проблемы литераторов Латинской Америки.

Участники съезда единодушно приняли резолюцию, требующую запретить атомные испытания.

Христо Смирненский. Рисунок болгарского художника Б. Ангелушева.

(Еженедельник «Литературен фронт»)

БОЛГАРИЯ

ВСЕНАРОДНОЕ ЧЕСТВОВАНИЕ

Исполнилось 60 лет со дня рождения и 35 лет со дня смерти известного болгарского поэта-патриота и революционера Христо Смирненского, всю свою жизнь посвятившего делу борьбы против гнета капитализма.

В Болгарии эти даты были отмечены всенародным чествованием памяти великого поэта. Для проведения чествования Смирненского был образован под председательством Вылко Червенкова Национальный комитет, в который вошел ряд видных политических деятелей, писателей и поэтов. Национальный комитет совместно с Академией наук организовал в столице торжественное собрание, а Институт болгарской литературы при Академии наук созвал специальную сессию, посвященную памяти и творчеству Христо Смирненского. На торжества Союзом болгарских писателей были приглашены гости — поэты и переводчики произведений Смирненского из СССР, Китая, ОАР, ГДР и других стран.

Вскоре, как сообщает еженедельник «Литературен фронт», начнут выходить из печати первые сборники собрания сочинений поэта, а в наступающем году в Софии откроется дом-музей памяти любимого болгарским народом певца социалистической революции — Христо Смирненского.

«ДАЛЕКО ОТ БЕРЕГОВ»

В начале этого года в журнале «Септември» была напечатана повесть Павла Вежинова «Далеко от берегов», в которой описан драматический эпизод — бегство группы коммунистов из царской Болгарии в Советский Союз. В повести раскрываются характеры нескольких людей, которых совершенно случайно судьба свела вместе — на утлой лодке, без горючего, воды и пищи, среди водного простора...

Недавно в журнале «Киноизкуство» был напечатан сценарий для одноименного фильма, созданный автором увлекательной повести Павлом Вежиновым.

БРАЗИЛИЯ

НА ПУТЯХ К ОБЪЕДИНЕНИЮ ПИСАТЕЛЕЙ

В Рио-де-Жанейро состоялось собрание писателей, созванное по инициативе литературных периодических органов — «Пара тодос», «Жорнал де летрас» и «Лейтура». На собрании было принято решение о создании в бразильской столице отделения Бразильского союза писателей.

«Пара тодос» отмечает, что это событие имеет большое значение для культурной жизни Бразилии, поскольку таким образом положен конец ненормально-

му положению, существовавшему с 1949 года, когда распалась прежняя единая писательская организация и Бразильский союз писателей по существу был сведен только к отделению в Сан-Паулу.

В течение последних лет большинство бразильских писателей высказалось за воссоздание общенационального союза.

ФЕСТИВАЛЬ АМЕРИКАНСКОЙ КНИГИ

Организацией американских государств в Рио-де-Жанейро был устроен Второй фестиваль американской книги (первый фестиваль состоялся в 1956 году в Каракасе, Венесуэла).

Выходящий в Рио-де-Жанейро еженедельник «Пара тодос» указывает на ряд серьезных недостатков в проведении фестиваля. По условиям фестиваля, например, предполагалось послать приглашения всем странам, с которыми Бразилия имеет дипломатические отношения, однако бразильское министерство иностранных дел провело явно дискриминационную политику в отношении ряда стран: совсем не были отправлены приглашения арабским и азиатским, а также нескольким европейским странам; другим приглашения были посланы с большим опозданием. Помимо этого, около 30 тысяч книг, поступивших из Чехословакии, Польши и некоторых других стран к моменту открытия фестиваля, было задержано на таможне, вследствие чего стенды оказались полупустыми.

На фестивале, отмечает печать, было обеспечено господствующее положение Испании и Португалии, а из стран не испанского и португальского языков — США. Общий тон фестиваля достаточно характеризовала речь президента Бразилии Жоселину Кубичека, призвавшего к укреплению панамериканской системы и усилению борьбы за дело «западного мира».

ВЕНГРИЯ

ПИСАТЕЛИ — МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ

Одним из важнейших участков венгерской литературы является выпуск произведений для юношества. Передовые литераторы, осуществляя указания партии, активно участвуют в социалистическом воспитании молодого поколения, в борьбе с буржуазным влиянием на молодежь. В области детской и юношеской литературы работают и многие «взрослые» авторы, в том числе Лайош Мештерхази и Эндре Мурани-Ковач.

Высокую оценку критики заслужила новая повесть Лайоша Мештерхази «В нескольких шагах — граница».

...1922 год. За несколько дней до широко разрекламированной судебной инсценировки из хортистской тюрьмы совершают побег два коммуниста. Враги мобилизуют весь аппарат розыска. И хотя граница рядом, однако у беглецов, кажется, нет шансов на спасение.

Но подпольщики все же находят выход: опереться на поддержку трудящихся, не прятаться от людей, а пойти туда, где тебя хорошо знают в народе. И расчет оказывается верным. Мештерхази показал, что народ даже в самых тяжелых условиях не складывает оружия и спасение двух коммунистов — это активное проявление борьбы.

«Я не знаю в венгерской художественной литературе (не только в юношеской!) другого произведения, которое поднималось бы до такого воспевания солидарности»,— заявляет писатель Эрне Урбан в газете «Непсабадшаг».

«Этот роман,— пишет Бела Иллеш в «Элет эш иродалом»,— доставляет такое же волнение и радость взрослым, как и юным читателям. Признаюсь, и у меня слезы выступили на глазах, когда обоим беглецам удалось, наконец, перейти границу».

В заключение рецензии Иллеш обращается к товарищам по перу: «Видите, совсем не обязательно отправляться на поиски увлекательных приключений в дальние страны или в отдаленное прошлое: действительность превосходит самую пылкую фантазию. Борьба за свободу в нашу эпоху... дает писателю более широкий и богатый материал, чем когда бы то ни было».

По словам журнала «Кортарш», Марта Гёргей в книге «Наследник» говорит о печальных последствиях, к которым приводят раздоры родителей в семье. Девятилетний Имре Макар уходит из дому, из школы, становится беспризорником. Много усилий пришлось приложить воспитателю детской колонии Ласло, чтобы вернуть мальчика на правильный путь.

Свой новый роман «Флорентийский волшебник» Эндре Мурани-Ковач посвятил Леонардо да Винчи. По отзывам критики, писателю удалось показать Леонардо вдохновенным творцом, гениальным человеком и вместе с тем сыном своей эпохи. Идеал нашего времени — разносторонняя человеческая личность, пишет газета «Элет эш иродалом», вот почему роман Мурани-Ковача приобретает актуальное значение.

«ПИСЬМА В ВЕНУ»

В начале 20-х годов венгерский пролетарский писатель Андор Габор выступил с пламенным публицистическим произведением «Письма из Вены». Писатель тогда пригвоздил к позорному столбу хортистскую контрреволюцию, показал ее подлинное лицо.

Следуя примеру Андора Габора, современный венгерский публицист Ласло Эрдюш выпустил недавно памфлет «Письма в Вену». Если Габор писал о торжествующей контрреволюции, то Эрдюш — о побежденной осенью 1956 года. Облегчало ли это задачу последнего?

— Только отчасти,— отмечает газета «Элет эш

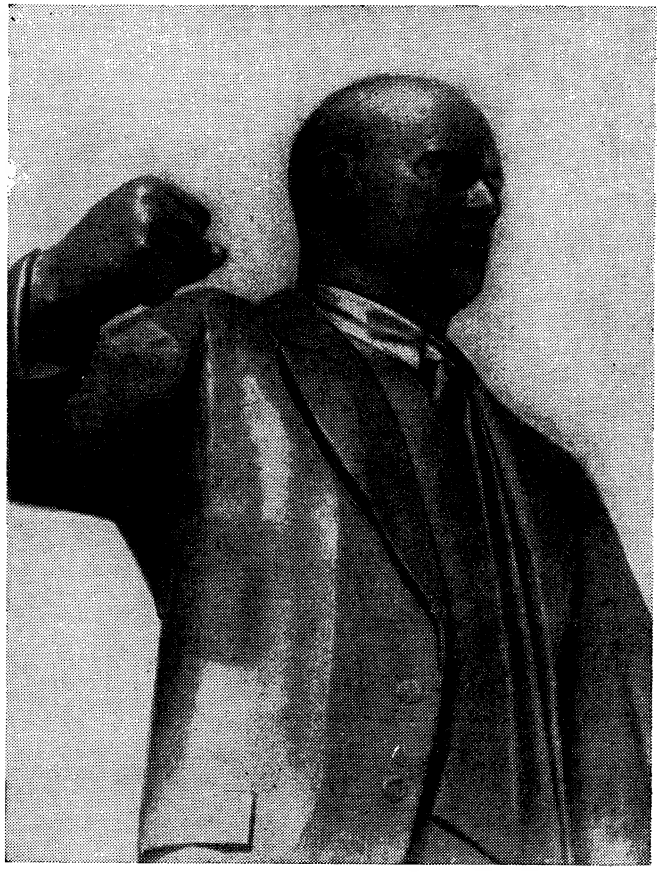
иродалом».— Ведь раздавленная контрреволюция не успела в полной мере «показать себя», и немало людей как в Венгрии, так и на Западе осталось под ее идейным влиянием.

Решение этой задачи определило художественную форму книги. Памфлет состоит из трех глав — трех писем, адресованных другу детства писателя, приверженцу туманного буржуазного «гуманизма», австрийскому социал-демократу, который не понимает смысла происходящих в Венгрии событий.

Эрдюш не боится острых вопросов: он показывает, что допущенные в Венгрии до 1956 года ошибки, как тяжелы бы они ни были, не вытекали из существа народно-демократического строя. В случае победы контрреволюции, подчеркивает автор, эти ошибки не только не были бы исправлены, но и были бы неизмеримо усугублены.

«За полтора года, прошедшие со времени контрреволюции,— пишет в журнале «Кортарш» критик Ференц Бешшеньеи, — немного появилось произведений, которые рассказывали бы о событиях с такой фундаментальностью, художественностью и знанием дела».

Газета «Непсабадшаг» называет «Письма в Вену» «публицистикой в лучшем смысле этого слова».



Памятник Эрнсту Тельману работы Вальтера Арнольда.
(Еженедельник «Зонntаг»)

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПАМЯТНИК ЭРНСТУ ТЕЛЬМАНУ

В Лейпциге, на Площади 56 тысяч, снято покрывало со скульптурного памятника Эрнсту Тельману. Это первый в Германской Демократической Республике памятник вождю немецкого народа. Его открытие на площади, названной в честь жертв Бухенвальда, символично. Тельман — пламенное обвинение, которое произносит один из 56 тысяч погибших антифашистов.

Более двух лет искал немецкий скульптор, лауреат Национальной премии ГДР Вальтер Арнольд путей воплощения образа великого вождя германского народа. В. Арнольдом были просмотрены сотни фотографий и документальных фильмов, показывавших Тельмана то на митингах, то во главе демонстрантов, то на дискуссии в кругу товарищей. И скульптор все больше убеждался в необходимости изобразить Эрнста Тельмана «в момент аргументирования», то есть запечатлеть его таким, «когда наиболее ярко проявляются типические черты тельмановского характера». Атлетическая внешность как бы подчеркивает тяжелую профессию гамбургского портового рабочего, многолетнюю профессию Тельмана.

Пресса ГДР отмечает большую удачу скульптора. Многие, очень многие, пишет «Зонntаг», когда увидели бронзовую фигуру Эрнста Тельмана на Площади 56 тысяч, сказали: «Да, это он, наш Тельман»...

ПРИЗЫВ БЕРТОЛЬТА БРЕХТА

«Народность и реализм»— так называется статья Бертольта Брехта, недавно впервые опубликованная в журнале «Зинн унд форм». Эта статья, обнаруженная в брехтовском архиве, датируется 1938 годом, она создавалась в эмиграции.

«В борьбе против усиливающегося варварства возможен только один союзник: народ, который сильно страдает под гнетом этого варварства,— писал Брехт в годы гитлеровского режима.— Поэтому нужно обращаться прежде всего к народу, поэтому теперь особенно важно говорить с народом на его языке».

Брехт предупреждает против ложных толкований понятия «народность». «История всяческих фальсификаций, связанных с понятием «народность», сложна и запутанна,—говорит далее Брехт, — это история классовой борьбы».

С точки зрения Брехта, истинная народность неразрывно связана с прогрессивной идеологией. «Наше понятие «народность» имеет в виду такой народ, который не только участвует в общественном развитии, но и определяет его, овладевает им, формирует его,— утверждает Брехт.— У нас перед глазами пример народа, творящего историю, изменяющего мир и себя».

Брехт считает, что понятия «народность» и «реализм» объединяются естественным образом. «В интересах народа, в интересах трудящихся масс необходимо такое отображение жизни в искусстве, которое соответствует действительности»,— говорит он.

Как истинная народность, так и истинный реализм не только не исключают, а наоборот, предусматривают новаторство. Брехт доказывает это, ссылаясь на собственный творческий опыт. «Не надо бояться предлагать пролетариату смелые и необычные вещи, если только эти вещи связаны с действительностью, — советует Брехт.— Всегда найдутся люди с образованием, знатоки искусства, которые втиснутся со словами: «Этого народ не поймет». Но народ нетерпеливо отодвинет таких людей в сторону и установит непосредственное взаимопонимание с художником».

Брехт призывает художников идти в ногу с народом, которому принадлежит будущее.

ПО ТЕАТРАМ РЕСПУБЛИКИ

Нынешний театральный сезон в ГДР характеризуется прессой как новый этап в жизни немецкого театра. В репертуарных планах отражены решения конференции СЕПГ по вопросам культуры — репертуар обновлен, ставятся пьесы на современные темы.

Открытие сезона 1958 — 1959 года ознаменовалось постановкой четырех премьер, явившихся, по оценке печати, новым словом немецкой драматургии. В берлинском Театре имени Максима Горького поставлены две пьесы драматургов Хайнера и Инги Мюллер — «Покушение на зарплату» и «Поправка». Появление этих пьес газета «Берлинер цейтунг» назвала самым важным событием в театральной жизни Берлина за многие годы. В них выведены образы представителей рабочего класса, простых людей, ломающих старый уклад жизни, перестраивающих общество.

Артист Эрих Мирек в роли каменщика Бальке в пьесе Х. и И. Мюллер «Покушение на зарплату» (постановка берлинского Театра им. М. Горького).

(Газета «Националь-цейтунг»)

В пьесе «Покушение на зарплату» рассказывается о простом каменщике, который в трудные послевоенные годы прокладывает правильный путь к лучшему будущему. Когда на большом промышленном предприятии он ремонтирует кольцевую печь, не останавливая производства, то никто не может понять, зачем он это сделал. В те годы лишь очень немногие разделяли его новое отношение к труду. Рабочего-передовика поначалу невзлюбили, расценив удар по нормам как удар по зарплате. Пьеса показывает, как был нанесен удар закостеневшим жизненным нормам, как закладывались основы социалистической трудовой морали. «Это произведение,— отмечает журнал «Зонтаг», — кладет начало нового этапа немецкой социалистической драматургии. Впервые на сцене ясно показан мощный процесс преобразования, которым охвачен рабочий класс в Германской Демократической Республике».

Буржуазные декадентские пьесы начинают решительно вытесняться произведениями социалистической драматургии. В театре Штасфурта идет пьеса Берты Ватерштрадт «Дело супругов Лоренц», в Карл-Маркс-штадте и Бранденбурге поставлена пьеса «В небесном саду» Гаральда Хаузера. Тема этих пьес — жизнь трудящихся ГДР. Однако в долгу у народа еще не только драматурги, но и театры. «Хорошие и ценные пьесы, — писала газета «Берлинер цейтунг», — должны быть показаны по возможности более широкому кругу населения. Социалистический репертуар лишь тогда выполнит свою задачу, когда дойдет до тех, кому предназначен...»

Один из ведущих театров ГДР — «Дейче театер» в

Берлине — начал сезон классической пьесой Бюхнера «Войцек». Семидесятилетие со дня рождения и пятилетие со дня смерти Фридриха Вольфа театр встречает постановкой его пьесы «Флоридсдорф». В дальнейшем пойдут пьеса Э. М. Ремарка «Последняя остановка», пьеса Б. Брехта «Швейк во второй мировой войне», будет инсценирован роман М. А. Шолохова «Поднятая целина». В связи с «Годом Шиллера» ставится драма великого драматурга «Разбойники». Театром намечается постановка новых пьес на темы современной немецкой действительности.

«Берлинер ансамбль» начал новый сезон выступлениями в Федеративной Республике Германии. В Шлезвиге, а также в Гамбурге, Киле и Любеке западногерманские зрители увидели пьесу Брехта «Жизнь Галилея». Гастроли прошли с огромным успехом.

В Лейпциге в этом сезоне ставится пьеса Христофа Гамма «Ярче тысячи звезд», посвященная борьбе за мирное применение атомной энергии, против милитаристских планов атомщиков. Будет поставлена пьеса «Капитан из Кёльна» — известная советским зрителям талантливая кинокомедия студии ДЕФА обретает свою новую жизнь на сцене.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ЛИТЕРАТУРА «ПОД КРЕСТИКОМ»

Издательство «Фовинкельферлаг» выпустило библиографический справочник, в котором перечисляется 400 книг о войне, плене и возвращении из плена.

На первый взгляд, затею издательства можно принять за благое намерение, пишет журнал «Нейе дейче литератур». Однако иллюзии рассеиваются, как только становится известно, что справочник издан по заказу «Книжного товарищества имени Шарнхорста», то есть объединения солдатских союзов.

«Библиография» выступает здесь в роли рекламы милитаристской литературы. Но ее функции этим не ограничиваются: составители «библиографии» набрасываются на писателей, выступающих против милитаризации Западной Германии. Рядом с названием такой «книги о войне, плене и возвращении из плена» поставлен жирный крестик, автор же характеризуется как «антипатриот». Так под «крестиком» оказались произведения Ремарка, Ледига, Опитца.

«Крестами на перечне литературы уже начинали, — пишет «Нейе дейче литератур». — Затем последовали кресты на списках людей и, наконец, кресты на кладбищах».

ОСКАР МАРИЯ ГРАФ В МЮНХЕНЕ

Когда в 1933 году фашисты бросили в огонь лучшие произведения немецкой и мировой литературы, на весь мир прозвучали слова: «Сожгите и мои!». В этих словах, принадлежавших баварскому поэту и писателю Оскару Мария Графу, выражалось глубокое отвращение к нацистскому варварству, солидарность с Томасом и Генрихом Маннами, Арнольдом Цвейгом, Стефаном Цвейгом, Лионом Фейхтвангером и многими другими писателями, которым фашизм «отказал в признании».

Вскоре О. М. Граф эмигрировал в Австрию, а после гитлеровского «аншлюсса» бежал в Чехословакию. Отсюда писателю пришлось уехать в 1938 году, и он поселился в Америке. Лишь спустя почти четверть века Оскар Мария Граф ненадолго посетил родину в связи с празднествами по случаю 800-летия Мюнхена.

В беседе с корреспондентом западногерманской газеты «Дейче вохе» О. М. Граф отметил, что многие из виновников того, что он и другие прогрессивные немецкие писатели вынуждены были в 1933 году покинуть свою родину, ныне снова занимают высокие посты в Западной Германии.

Произведения О. М. Графа в Западной Германии почти не издавались. За последние годы он предлагал свои книги 18 западногерманским издательствам и всюду получил отказ. Его произведения издаются только в Германской Демократической Республике. «Восточногерманские издательства, — сказал О. М. Граф, — образцово заботятся о произведениях немецких писателей, а здесь (то есть в Западной Германии. — *Ред.*) дело обстоит наоборот... Здесь развитие было прервано и больше не продолжается».

О. М. Граф закончил недавно работу над книгой «Баварское кредо» и работает сейчас над новым романом «Бегство в посредственность». Этот роман посвящен судьбам немецких эмигрантов в США. «Для этих людей, — говорит писатель,— прекратилось всякое развитие. Они погружены в пустоту... конечно, и моя судьба неотделима от их судьбы...»

На вопрос, не собирается ли он остаться на родине, О. М. Граф ответил отрицательно, добавив, что он «не смог бы найти общий язык со здешними людьми». Корреспондент «Дейче вохе» отметил, что, говоря о «здешних людях», О. М. Граф имел в виду западногерманские условия.

ГЕББЕЛЬС МОГ БЫ ПОЗАВИДОВАТЬ

«Кинематография Западной Германии, пишет газета «Берлинер цейтунг», встала на путь открытой пропаганды новой войны. Если раньше в таких кинофильмах, как «В те дни», «Прекрасные времена», «Долгий путь», «Последний мост», и других можно было встретить хотя робкую и приглушенную, но все же критику западногерманского милитаризма, то ничего подобного нельзя сказать о кинофильмах последнего времени. Демонстрируемые ныне на экранах западногерман-

ские фильмы, в том числе «Зеленый дьявол из Монте Кассино», «Звезда Африки», «Чертов генерал», направлены на реабилитацию гитлеровского фашизма, на разжигание новой империалистической агрессии. Восстановленные киноконцерны УФА, «Бавария», за спиной которых стоят западногерманские монополисты, выпускают фильмы, полные лжи и клеветы на Советский Союз; вопреки общеизвестным фактам они пытаются убедить, что германский милитаризм не проиграл, а даже выиграл(!) прошлую войну и что немцы воевали с американцами и англичанами только лишь по ошибке.

Выходящая в Мюнхене газета «Культур» признает: «Мы проиграли две войны. Теперь же на наших экранах побеждают и побеждают они — старые приятели в бутафорских формах с рыцарским крестом и орлом, с горящими глазами. Во многих показываемых нам фильмах на военные темы больше не скрывается замысел. В последнее время этих фильмов развелось больше, чем выпускал Геббельс во время второй мировой войны. Однако народ устал от таких фильмов, народ требует правды и справедливо поступает, гневно протестуя против демонстрации таких фильмов, как «Врач из Сталинграда», «Ночью, когда пришел черт», «Фронтовая сестра Карин», и многих им подобных».

События на Арабском Востоке посвятил серию рисунков известный итальянский художник Ренато Гуттузо. Здесь воспроизведен один из рисунков Р. Гуттузо, опубликованный в римском журнале «Ринашита».

ИНДИЯ

РАССКАЗЫ БАНДОПАДХАЙЯ

В издательстве «Пиплз паблишинг хаус» вышел на английском языке сборник «Первобытный» и другие рассказы». Автор сборника — один из видных прогрессивных писателей на языке бенгали Маник Бандопадхайя.

В книге собраны рассказы о простых людях современной Бенгалии. Будучи тонким психологом и обладая зорким глазом, Бандопадхайя безжалостно вскрывает все то дурное и порочное, что не только мешает человеку жить и работать, но и приносит страдания окружающим. Эта книга, по мнению рецензента журнала «Иллюстрейтид уикли оф Индиа», еще раз подтверждает умение писателя воспроизводить «реалистическую картину» жизни. Образы, созданные писателем, «удивительно живы и человечны». «Некоторые рассказы,— пишет рецензент,— несомненно, займут достойное место среди лучших произведений мировой литературы».

Маник Бандопадхайя, умерший два года назад, известен не только в Индии. Его романы «История танцующей куклы» и «Лодочник с реки Падма» переведены на многие языки.

ИРАК

«ЖЕНЩИНА В СОВРЕМЕННОЙ ИРАКСКОЙ ПОЭЗИИ»

Так называется монография иракского ученого аль-Муфарраджи, вышедшая в Багдаде.

Тема освобождения женщины — одна из основных и актуальных тем современной арабской литературы. Естественно, что она нашла свое яркое отражение в творчестве иракских поэтов, которые всегда выступали глашатаями правды и справедливости.

По мнению арабской критики, многое в этой книге спорно, но тем не менее она дает важный материал по истории женского движения в Ираке и истории самой иракской поэзии, которой, как отмечает журнал «Аль-Адиб», принадлежит первое место в поэтическом творчестве арабского мира.

ПЕРВЫЕ РОСТКИ

Газета «Ан-Нур» напечатала статью «История кинопроизводства в Ираке». В статье говорится, что кинематография возникла в Ираке только после второй мировой войны под влиянием египетского кино. Вначале был создан совместный иракско-египетский фильм, поставленный известным египетским режиссером Ахмадом Бадерханом с участием иракских артистов, однако успеха он не имел. В 1947 году была основана первая национальная иракская киностудия «Багдад», большая часть акций которой принадлежала крупным иракским капиталистам. Под руководством французского режиссера студия выпустила фильм «Алийя и Исам», в котором рассказывалось об обычае кровной мести у бедуинов, однако и эта картина подлинного успеха не завоевала. Позднее студия «Багдад» выпустила еще один фильм — «Лейла в Ираке», который оказался совершенно неудачным. После его провала студия «Багдад» прекратила свою работу, и в течение примерно шести лет Ирак не производил своих фильмов. Затем было основано несколько мелких киностудий, выпустивших ряд настолько слабых фильмов, что иракская публика утратила интерес к отечественному кино и стала предпочитать ему иностранные фильмы.

Однако народ требовал создания национального киноискусства, которое правдиво отражало бы иракскую действительность. Лишь недавно группа молодых кинематографистов основала национальную киностудию «Сумер». Студия уже выпустила фильм «Кто отвечает?», положительно встреченный иракскими зрителями. Новая эра в развитии иракского кино, по мнению газеты, наступила с появлением фильма «Саид-эфенди», который действительно положил начало самобытному реалистическому киноискусству в Ираке.

ИСПАНИЯ

ТРЕБОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Испанская театральная общественность обеспокоена все возрастающим кризисом испанского театра. В печать, несмотря на цензурные рогатки, проникают сведения о том, что испанский официальный театр пришел к полному упадку, став достоянием крайне узкого круга «избранных». Репертуар его ни в коей мере не может удовлетворить широкую массу зрителей, не имеющих к тому же денег на покупку билета.

В мадридском еженедельнике «Эстафета литерариа», например, появилась статья «Театр для народа», написанная сотрудником редакции Луисом Молеро Манглано. Автор статьи признает: «Испанский театр, в котором народ играл основную роль и как персонаж и как зритель, перестал существовать. Цены на билеты недоступны простым людям, да и показываемые произведения не рассчитаны на трудящихся. Современный театр и по своей форме и по содержанию служит только обеспеченному классу буржуазии...»

Идея создания общедоступного театра с обновленным репертуаром принадлежит известным театральным деятелям и была поддержана видными актерами и режиссерами.

Не надеясь на помощь со стороны властей, инициаторы создания народного театра обратились к частным лицам с просьбой «внести свою лепту» в его организацию.

ИТАЛИЯ

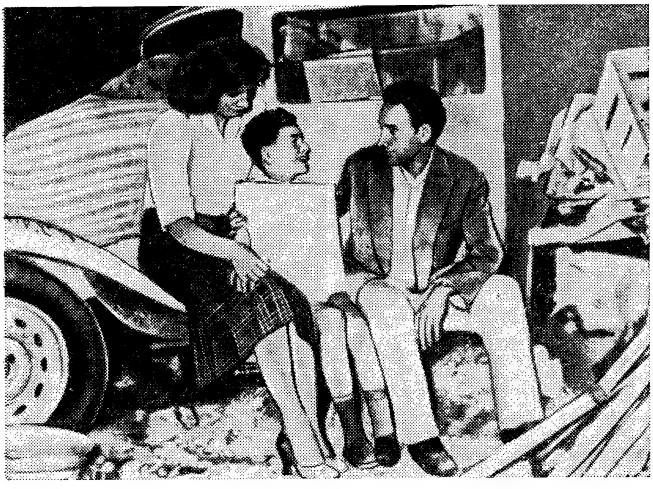
«Я В СССР И В КИТАЕ»

В первую годовщину смерти Курцио Малапарте издательство Валлекки выпустило книгу писателя «Я в СССР и в Китае», не успевшую увидеть свет при его жизни. Издание книги подготовили известные литературоведы и критики Джанкарло Вигорелли и Энрико Фалькуи. Содержательное предисловие к книге написано Вигорелли.

«Я в СССР и в Китае» — хроника последнего путешествия Малапарте, совершенного им по Советскому Союзу и Китайской Народной Республике два года назад. Эта книга, по словам газеты «Унита», имеет важное значение для правильной оценки сложного и противоречивого творчества Малапарте. Выступая на пресс-конференции, посвященной выходу книги «Я в СССР и в Китае», Вигорелли и Фалькуи отметили, что она как бы является духовным завещанием писателя, итогом его мятущейся и бурной жизни.

Повествуя с большой симпатией об открывшемся перед ним в Советском Союзе и Китае новом мире, писатель словно забывает о себе и стремится как можно глубже, детальнее объяснить, раскрыть читателю и самому себе то новое, что он увидел. С восхищением Малапарте описывает людей народного Китая — их энтузиазм и усилия в строительстве нового мира. В своей посмертной книге, отмечает Вигорелли, Малапарте предстает перед знающими его творчество читателями совсем по-другому: его произведение, посвященное СССР и Китаю, в известной степени является антитезой таких его прежних книг, как «Капут» или «Кожа».

Издательство Валлекки объявило о своем намерении издать полное собрание сочинений Курцио Малапарте. Собрание будет включать, помимо его известных романов и очерков, много никогда не издававшихся произведений — пьесы, стихи, киносценарии, а также публицистические статьи, дневники, путевые заметки, которые прольют новый свет на творческий путь и личность покойного писателя.



Артисты из труппы Сарци у старого грузовичка, служащего сценой для спектаклей. Справа — Отелло Сарци.
(Газета «Унита»)

ТРУППА САРЦИ ПРОДОЛЖАЕТ ВЫСТУПАТЬ

В своей знакомой советскому читателю книге «Семеро моих сыновей» герой итальянского Сопротивления Алчиде Черви посвящает несколько теплых страниц отважным подпольщикам-антифашистам из семьи Сарци. Действуя под видом бродячей театральной труппы, Лючия Сарци, ее отец, брат Отелло и сестренка смело выполняли поручения коммунистической партии, осуществляли связь между разрозненными группами антифашистов.

Ныне — пятнадцать с лишним лет спустя — итальянские газеты вновь заговорили о театре Сарци, выступающем в городах и селениях Италии, ставя спектакли марионеток в школах и в кинотеатрах на рабочих окраинах. Однажды ночью в фургоне бродячих артистов, когда там находился лишь маленький Микеле Сарци, вспыхнул пожар, огонь уничтожил почти все шестьсот марионеток, декорации и костюмы.

На помощь труппе Сарци, пользующейся любовью итальянских трудящихся, пришла газета «Унита», объявившая сбор средств в пользу пострадавших актеров. Значительную сумму собрал по подписке секретариат Центрального Комитета Коммунистической партии Италии; деньги внесли многие прогрессивные артисты. Кинодраматург Чезаре Дзаваттини участвовал с Микеле Сарци в проводившейся по римскому телевидению музыкальной викторине и отдал труппе Сарци полученный денежный приз.

Благодаря этой помощи бродячая труппа Сарци смогла продолжить свои выступления, неся театральное искусство в самые отдаленные уголки Италии.

ПОВЕСТИ ДЖОВАННИ ПИРЕЛЛИ

Молодой итальянский писатель Джованни Пирелли (автор переведенной на русский язык книги для детей «Джованнино и Пульчероза») опубликовал две повести — «Энтузиаст» и «Болезнь командира Гракко»; новая книга Пирелли называется по первой повести, безусловно более значительной в художественном и в идейном отношении.

Герой повести «Энтузиаст» — младший лейтенант альпийских войск — в конце 1940 года познает трагическую действительность войны на греческом фронте, где армия итальянских захватчиков терпит жестокие поражения. Младший лейтенант горит энтузиазмом, даже прозаическое, будничное зрелище тылов итальянской армии не может убить в нем стремления к подвигу: он уверен, что сумеет совершить его на поле боя. Но прежде всего ему надо добраться до своего штаба — и вот во время трудного перехода по горам в душу молодого офицера начинают вкрадываться сомнения в необходимости войны, в которой он участвует. Постепенно эти сомнения переходят в осознание ее бессмысленности и жестокости.

Написанная скупым, чуждым всякой риторики языком, повесть проникнута глубоким гуманизмом, разоблачает ужас и нелепость войны.

Вторая повесть значительно слабее. В ней рассказывается об итальянском партизанском командире в дни освобождения Италии от гитлеровских захватчиков и фашистских предателей. Однако в центре повести не героическая борьба партизан, а мелкие интриги, которые плетут вокруг заболевшего партизанского командира те, кто примкнул к движению Сопротивления в последнюю минуту и кому он мешает.

Известный критик Адриано Серони в газете «Унита» дает высокую оценку повести «Энтузиаст».

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ ДЕ СИКА И ФЕЛЛИНИ

Кинорежиссер Витторио Де Сика, постановщик «Похитителей велосипедов», «Умберто Д.», «Чуда в Милане», «Крыши» и других известных фильмов, сообщил представителям итальянской печати, что он собирается приступить к постановке картины «В шесть часов вечера начинается Страшный суд». В итальянских газетах сообщалось, что сценарий этого фильма пишет работающий в содружестве с Де Сика выдающийся кинодраматург Чезаре Дзаваттини.

В новом фильме Де Сика будут играть многие известные итальянские и иностранные киноартисты — Джина Лоллобриджида, Мартин Кэрол, Сильвана Пампанини, Альдо Фабрици, Ренато Рашель, Альберто Сорди, Паоло Стоппа, французский мим Марсель Марсо и сам Де Сика. Режиссер сказал, что по своей манере эта кинокартина будет напоминать поставленный им в свое время фильм-сказку «Чудо в Милане», однако если та картина повествовала о жизни итальянской бедноты, то новый фильм будет посвящен разоблачению образа жизни и нравов буржуазных кругов. Фильм будет совместного итало-французского производства.

Выступая по римскому радио, другой видный итальянский кинорежиссер — Федерико Феллини, постановщик фильма «Дорога», принесшего ему и его жене, актрисе Джульетте Мазина, мировую известность, рассказал, что работает над новым фильмом, главную роль в котором вновь будет играть Мазина. Как пишет газета «Паэзе-сера», на этот раз актриса, по-видимому, отойдет от того трогательного, но несколько ограниченного и условного образа, который знаком зрителям по прежним фильмам.

Джульетта Мазина и Федерико Феллини в перерыве между съемками.

(Фото «Униталиа»)

В новом фильме Джульетта Мазина выступит в роли влюбленной молодой девушки-прислуги.

КАМБОДЖА

ГАЗЕТА ПИСАТЕЛЕЙ

До недавнего времени в Камбодже не было ни одного издания, в котором могли бы печататься современные камбоджийские литераторы. Почти вековое колониальное господство пагубно сказывалось и на культурной жизни страны. Витрины книжных магазинов заполонили полупорнографические и гангстерские романы на английском и французском языках. Национальных произведений почти не появлялось.

Освобождение Камбоджи сыграло решающую роль в деле возрождения национальной литературы.

В августе нынешнего года, как сообщает камбоджийская печать, в продажу поступил первый периодический орган писателей Камбоджи «Сарпордамеан аксар састр» («Литературная газета»). Газета выходит два раза в месяц на восьми полосах. В ней печатаются новые произведения камбоджийских писателей и поэтов, а также статьи литературных критиков, что особенно важно, так как до сих пор никакой критической оценки литературных произведений в Камбодже вообще не давалось.

В первом номере камбоджийская «Сарпордамеан аксар састр» заявляет, что ее целью является «развитие литературы и культуры Камбоджи». Эту цель, разумеется, будут приветствовать все прогрессивные литераторы, которые с сочувствием следят за развитием культурной жизни народов, освободившихся от колониального гнета.

КИТАЙ

«ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ»

Недавно вышел в свет сборник мемуаров «Из искры возгорится пламя», принадлежащий к серии книг, посвященных тридцатой годовщине образования Народно-освободительной армии Китая (НОА). Эти книги должны пропагандировать среди всего народа и бойцов участие НОА в революционной борьбе, продолжать и развивать традиции революционного героизма, воспитывать бойцов и командиров в духе героической защиты социалистического строительства и мира во всем мире.

Как сообщает журнал «Вэньи бао», «центральный политический отдел НОА в 1956 году обратился к офицерам, солдатам, кадровым работникам, ветеранам с призывом взять в руки перо и описать собственную боевую жизнь для создания коллективного сборника воспоминаний, отражающих боевую жизнь армии на протяжении тридцати лет. Обращение нашло горячий отклик. В течение короткого времени было собрано много материалов, из которых редакция отобрала более девяти тысяч лучших произведений. На основе этих материалов выпускается серия книг под общим названием «Славная Народно-освободительная армия Китая».

«Во что бы то ни стало водрузим красное знамя над островами Цзиньмыньдао, Мацзудао и Тайванем!» (Фотомонтаж Чжоу Сяо).

(Газета «Жэньминь жибао»)

Произведения, вошедшие в эту серию, отражают четыре исторических периода с момента образования НОА: проведение земельной реформы, антияпонская война, народно-освободительная война и период после образования Китайской Народной Республики.

Большинство воспоминаний написано самими участниками борьбы, в том числе 65 адмиралами и генералами и 17 видными армейскими работниками. Как отмечает журнал, «из воспоминаний товарищей можно видеть, как НОА под руководством партии прошла полный трудностей путь, выросла и превратилась в могучую народную силу».

После сборника «Из искры возгорится пламя» будут издаваться другие книги этой серии.

СТИХИ НАЧИНАЮЩИХ ПОЭТОВ

Как сообщает журнал «Вэньи юэбао», редакционно-издательский комитет журнала «Мэнъя» («Ростки») выпустил первый сборник стихов, составленный из произведений, опубликованных в журнале. Сюда входят стихи о жизни, труде и борьбе рабочих, крестьян, солдат Китая. Авторы стихов — начинающие поэты, китайские трудящиеся.

По словам журнала «Вэньи юэбао», «эти стихи похожи на распускающиеся весной цветы с тонким ароматом, который поднимает силы, создает настроение, пробуждает горячую любовь к родине, к новой социалистической жизни, воодушевляет людей на борьбу за еще более прекрасное будущее».

В разделе «Песни бойцов» собраны стихи о горячей любви китайского народа к своей армии, об уверенности в победе правого дела.

Постановку балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» силами учащихся Пекинской балетной школы журнал «Пекин ревью» называет «большим событием в истории танцевального искусства Китая».

На снимке: сцена из балета. Роль Одетты исполняет Бай Шу-сян, роль принца — Лю Цин-тан.

(Журнал «Пекин ревью»)

ОБЪЕДИНЕННАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ СЕВЕРНОГО РАЙОНА

Наиболее важным событием в литературной жизни Северного района ОАР, как теперь официально именуется Сирия, за последнее время каирская газета «Аль-Маса» считает создание Союза арабских литераторов Северного района. Впервые в истории Сирии этот Союз объединил в своих рядах всех ее писателей, независимо от направлений. Создание этого Союза, отмечает газета, является первым шагом на пути создания Всеобщего союза арабских литераторов.

Другим важным событием в культурной жизни Северного района было празднество по случаю возвращения на родину после 40 лет эмиграции в Бразилии крупного сирийского поэта Селима Рашида Хури, более известного под именем аш-Шаир аль-Каравн («Поэт деревни»). Живя в далекой Бразилии, поэт не забывал о родине. В стихах он воспевал борьбу арабского народа за освобождение и единство. Селиму Рашиду Хури принадлежит несколько сборников стихотворений, которые были изданы в Бразилии на средства, собранные среди арабских эмигрантов.

«Аль-Маса» сообщает о новых работах сирийских литераторов. Каирское издательство «Дар аль-Маариф» выпускает в свет книгу сирийского писателя Сами аль-Каяли о Вали ад-Дине Йекуне. Как известно, Вали ад-Дин Йекун был выдающимся арабским поэтом и публицистом, боровшимся за свободу в мрачные годы правления турецкого султана Абдул Хамида. Книга о нем выходит в серии «Выдающиеся представители арабской мысли». Подготовлена к печати также работа литературоведа Захира Мирзы о творчестве выдающегося арабского поэта Ильи Абу Мади.

НОВИНКИ ЕГИПЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Журнал «Ар-Рисаля аль-Джадида» сообщает о новых книгах, вышедших в Южном районе республики. Среди этих книг — первый сборник стихов известного прогрессивного египетского прозаика и поэта Абд ар-Рахмана аль-Хамиси «Страсти человеческие». В сборник вошли произведения аль-Хамиси, написанные им в последние годы.

Писатель Мухаммед Сидки издал сборник рассказов «Огрубевшие руки», в котором говорится о жизни египетских рабочих.

Вышел в свет первый сборник рассказов «Длинный путь», принадлежащий писателю Наджибу Кейлани.

В ПЕРЕВОДЕ С РУССКОГО

По сообщению журнала «Ар-Рисаля аль-Джадида», египетское издательство «Дар ан-Надим» заканчивает публикацию романа Л. Н. Толстого «Война и мир», который выходит в четырех томах на арабском языке.

В текущем году, как сообщает дамасская газета «Ан-Нур», арабские читатели получили возможность познакомиться с рядом произведений русской классической и советской литературы. В числе переведенных на арабский язык книг — «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, «Слепой музыкант» В. Г. Короленко, пьесы А. П. Чехова «Три сестры» и «Дядя Ваня», а также работа В. В. Маяковского «Как делать стихи».

КОНЧИНА САЛЯМЫ МУСЫ

Египетскую литературу и науку постигла большая утрата — умер крупный арабский писатель и ученый Саляма Муса. Родившийся в 1887 году, Саляма Муса всю свою жизнь посвятил борьбе за прогресс своего народа, за популяризацию передовой науки в массах. Им написано свыше 30 книг.

ПОЛЬША

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ СТАНИСЛАВА ВЫСПЯНСКОГО

Краковское литературное издательство, как сообщает «Трибуна литерацка», решило отметить 50-летие со дня смерти выдающегося польского поэта и драматурга Станислава Выспянского изданием собрания его сочинений. Над подготовкой издания трудится творческий коллектив под руководством Леона Плошевского, принимавшего деятельное участие в издании произведений Выспянского еще до войны.

В течение текущего года издаются четыре тома, остальные тринадцать томов намечено издать в течение 1959—1960 гг.

РУМЫНИЯ

СТИХИ АНДРИЦОЮ

«Новая книга стихов Ал. Андрицою,— пишет еженедельник «Лучафэрул»,— это оригинальная и большая поэма, посвященная Великой Октябрьской социалистической революции.

Признательность, выраженная поэтом,— дань гражданина, воплотившего чувства восторга и любви всего нашего народа, горячую благодарность своего поколения. Начальный цикл, озаглавленный «Муки исканий»,— это поэтический рассказ о волнениях тех молодых интеллигентов, которых революционные преобразования, пережитые нашей страной после 23 августа 1944 года, застали на пороге отрочества и «исканий».

«Большая часть книги,— продолжает «Лучафэрул»,— состоит из стихов, которые, подобно мозаике, сделанной с искусством и терпением, воссоздают сцены гражданской войны, сражений в защиту революции; возвышенный героизм красного воина, этого безвестного Данко, жертвующего собой ради высокого идеала эпохи, является поводом для создания стихов подлинной лирической силы».

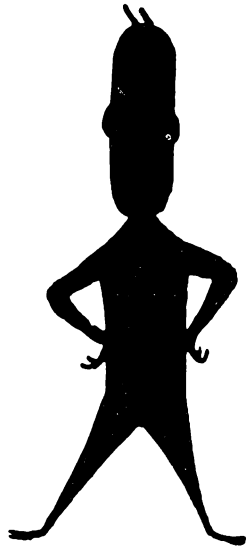
«СЕМЬ ИСКУССТВ»

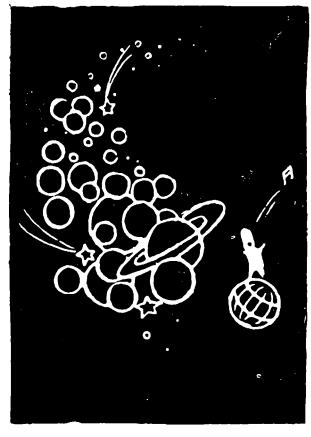
В пятом номере нашего журнала мы уже рассказывали о замечательном фильме румынского кинорежиссера Иона Попеску-Гопо «История вкратце», отмеченном в прошлом году в Канне медалью «Золотая пальмовая ветвь», а теперь известном и нашему зрителю.

На недавних международных фестивалях, в том числе в Канне, с неменьшим успехом был показан новый мультфильм режиссера «Семь искусств».

В связи с выходом на экран «Семи искусств» Попеску-Гопо пишет в журнале «Фильм»: «По привычке, выработанной еще во время создания кинофильма «История вкратце», я хотел отвести каждому виду искусства лишь одну минуту. Поэтому я предпринял своего рода сравнительное изучение искусств, затем занялся обобщением в поисках зерна для каждого отдельного вида искусства. Придерживаясь этой линии, я постепенно раскрыл в желаемой мне форме историю создания изобразительного искусства, литературы, драматургии, танца, музыки, архитектуры и кино».

Здесь мы приводим несколько рисунков из нового мультфильма «Семь искусств». Главный герой художника и режиссера И. Попеску-Гопо не отличается особой красотой: его длинная узкая голова, маленькое брюшко и короткие ноги свидетельствуют о том, что автор не идеализирует, не приукрашивает своего героя. В человеке Попеску-Гопо видит хозяина земли, выделяет его пытливый ум, изобретательность. В рисунке, показывающем рождение изобразительного искусства, автор как бы говорит: однажды человек вышел из своей пещеры,—был солнечный день, и на скале появилась тень человека. Сначала он испугался, но, увидев, что привидение передразнивает его, начал колотить тень дубинкой — и камень мало-помалу приобрел очертания человека.





Рисунки Иона Попеску-Гопо из фильма «Семь искусств».

Когда скрылось солнце, то фигура осталась, и человек принялся ее усовершенствовать. В рисунке о рождении музыки автор показывает: в мире было много звуков — крики птиц, завывание ветра. Человеку захотелось, чтобы они звучали приятнее. И он стал управлять хором природы. И вот ему, человеку, познавшему свои силы, покорились звезды и планеты.

СУДАН

ПИСАТЕЛИ ПРИВЕТСТВУЮТ ИРАКСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

В Судане, как и в других арабских странах, весть о победе революции в Ираке была встречена с огромной радостью. По этому случаю, как сообщает газета «Аль-Маса», литературный клуб крупнейшего города страны — Омдурмана — устроил литературный фестиваль, в котором приняли участие видные суданские поэты и прозаики Абдаллах Хамид аль-Амин, Тадж ас-Сирр аль-Хасан, Абу Бекр Халид, Мубарак Хасан аль-Халифа.

ПЕРВЫЙ СУДАНСКИЙ РОМАН

Суданскому писателю Абу Бекру Халиду нет еще и тридцати лет, но он уже завоевал себе известность в Судане и других арабских странах своими рассказами.

Недавно молодой писатель перешел к более крупному жанру: вышел в свет его роман «Начало весны». По словам журнала «Ар-Рисаля аль-Джадида», это первый роман в истории суданской литературы. Автор описывает жизнь молодого поколения Судана и изменения, происшедшие в суданском обществе после второй мировой войны и завоевания Суданом независимости.

США

«ЧУРБАН ЗА ЧУРБАНОМ»

Американская печать очень любит писать о бестселлерах — книгах-боевиках, пользующихся наибольшим успехом. Однако не всегда то, что завоевывает успех (зачастую нарочито раздутый выгодной издателям рекламной шумихой), является наилучшим литературным образцом. Большинство бестселлеров нынешнего года, как признает даже сама американская печать, пользуются весьма сомнительной славой в США, а в Англии их просто подняли на смех.

Наиболее шумным сенсационным бестселлером последнего времени являлся роман Джеймса Гоулда Казенса «Одержимый любовью». Книга впервые вышла в августе 1957 года, и появление ее сопровождалось таким оглушительным и торжествующим завыванием фанфар в печати, точно мир присутствовал при рождении какого-то мирового шедевра. В статье, озаглавленной «Бестселлеры», американский журнал «Ньюсуик», видимо в порядке отрезвления общественного мнения, иронизирует над теми восторженными эпитетами, которые американская печать бездумно расточала по адресу романа Казенса. Журнал приводит оценки этого романа: «Нью-Йорк таймс» — «великолепно»; «Нью-Йорк геральд трибюн» — «блестяще, мудро, изумительно»; «Нью-Йоркер» — «грандиозное достижение литературы»; журнал «Харперз мэгэзин» — «роман заслуживает Нобелевской премии» и т. д. и т. п.

Первая серьезная атака на Казенса последовала со стороны известного критика Дуайта Макдональда на страницах журнала «Комментари». Он напал и на книгу и на тех критиков, которые впопыхах расхвалили ее. Героя романа он назвал ханжой и грубияном, его точку зрения на любовь — примитивной и скотской, стиль — отвратительным, мысли автора — мелкими, вульгарными и нечистыми. В целом он квалифицировал этот «бестселлер» как «претенциозную обывательскую стряпню, компрометирующую собой литературу».

Мнение англичан об американской литературе последних лет, как известно, довольно скептическое. И книга Казенса дала им новый козырь в руки, когда вышла весной нынешнего года в Лондоне, в английском издании. Вот что по этому поводу писал журнал «Нью стейтсмен энд нейшн», предостерегая читателей от увлечения Казенсом: «У этой книги есть кое-какие данные, которые производят впечатление на обывателя и создают ложную иллюзию глубины: мировая тоска, ерундовая жизненная философия, претенциозный стиль».

Однако самый сокрушительный удар по бестселлерам нанес американец, по-видимому хорошо разбирающийся в недостатках отечественной литературной продукции. Речь идет о видном критике американского журнала «Нью-Йоркер» Энтони Уэсте, выступившем с двумя статьями об американской литературе в английской газете «Санди таймс». Уэст подверг самой едкой критике и уничтожающему анализу некоторые из наиболее нашумевших бестселлеров.

«Последний период,— пишет он,— принес мало утешения или удовольствия тем американцам, которые любят литературу. Чурбан следовал за чурбаном в списке бестселлеров. Огромный, но совершенно незаслуженный успех романа Казенса «Одержимый любовью» — этого плохо отесанного обрубка грубейшей прозы — затмил произведения еще более низкого пошиба. Я имею в виду роман под названием «Анато-

Посетитель выставки абстрактного искусства, недавно устроенной в г. Питтсбурге (штат Пенсильвания, США), четырехлетний Майкл Томас тщетно пытается что-либо понять в картине художника-абстракциониста.

(Журнал «Тьемпо»)

мия убийства» Трэвера, написанный писателем-любителем, по профессии юристом, много лет работавшим в качестве прокурора. Книга Трэвера не имеет никакого отношения к литературе, являясь более или менее точным отчетом ряда судебных заседаний, к тому же написанным сухим, бездарным языком, не представляющим никакого интереса. Эта вещь не имеет никакой художественной ценности. Если бы ее успех был случайным, исключительным, можно было бы не тревожиться, посчитав его каким-то трюком издателей, и забыть о нем. Но ведь это один из нескольких случаев успеха аналогичных книг за последнее время!»

«Само собой разумеется,— пишет далее Уэст,— успех подобных книг — не литературный успех, но это симптоматично для характеристики состояния умов читателей, которое в свою очередь в какой-то степени влияет на писательскую продукцию».

Обвиняя отдельных молодых авторов в натурализме и никому не нужной фотографичности, идущей в разрез с художественными требованиями, Уэст подчеркивает, что влияние обывательских вкусов приводит к печальным результатам. Так, во многих последних бестселлерах заметно резкое ухудшение языка, использование жаргонных оборотов, манерность стиля, нагромождение криминальных приключений, психологические и эмоциональные вывихи, болезненность — словом, все то, что, по мнению Уэста, «является публичной демонстрацией упадничества и бездарности».

Известный литературный критик, постоянный обозреватель газеты «Нью-Йорк таймс» Орвилл Прескотт на страницах «Нью-Йорк таймс бук ревю» приходит к следующему выводу: «Литература, опубликованная в 1958 году, не отличается изысканностью».

Высказывания Уэста и других критиков своевременны. Не может не вызвать опасения нынешнее состояние американской литературы. Равно и абстрактный бред многих скульпторов и художников и так называемая атональная электронная музыка из бессмысленного какофонического набора звуков вряд ли могут способствовать развитию искусства в США.

ТУРЦИЯ

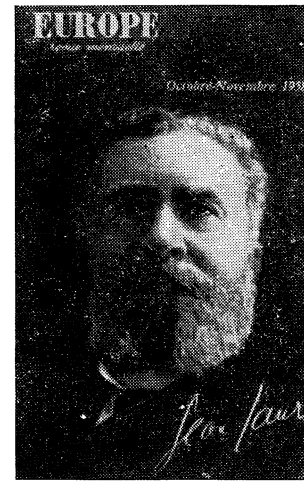
«ПЬЕСЫ БЕЗ ЖЕНЩИН»

Под таким заголовком в стамбульской газете «Едитепе» поместил статью о турецком театре поэт и критик Ферхад Сыладжи. «В 1923 году,— пишет автор,— впервые на турецкую сцену в театре Кадыкей вышла актриса-турчанка. Ее звали Афифе. Не успел опуститься занавес, как ее предали суду: турецкой женщине было запрещено выступать на сцене. Но в то время, как Афифе тащили в суд, Ататюрк аплодировал игре другой актрисы — Бедие, возвещая тем самым начало новой эры. То, что было сделано этими актрисами, — несомненно героизм, достойный похвалы. Это было подлинной революцией, когда, порвав цепи гарема, турецкая женщина вышла на сцену несмотря на то, что общество относилось в то время к актрисе так же, как к уличной женщине.

Что же мы видим и слышим сейчас? В последнее время женщине стало чрезвычайно трудно выступать на сцене даже в любительском спектакле, где-нибудь в Анатолии. Профессиональные актрисы уже не чувствуют себя спокойно и встречают всевозможные препятствия».

Автор статьи далее пишет: «В обществе все связано между собой. И положение женщины может служить точным критерием общественной атмосферы. Сегодня от нас требуют пьес без женщин, завтра потребуют школ без женщин, и трудно сказать, к чему мы в конце концов вернемся».

ФРАНЦИЯ



ЖОРЕС ГОВОРИТ СО СТРАНИЦ «ЭРОП»

Борьба между реакцией и демократией во Франции не кончилась в день референдума. Прогрессивные силы не сдают своих позиций. Об этом свидетельствует и посвященный Жану Жоресу номер журнала «Эроп» за октябрь—ноябрь 1958 года, фотоснимок обложки которого помещен выше.

«Мы хотели,— пишет журнал,— собрав материал, дать возможность Жоресу высказаться по решающемуся сегодня вопросу защиты республики и демократии».

Номер открывается статьей Ромена Роллана, в которой он говорит о Жоресе, как о «кормчем европейской демократии», «человеке, который всем сердцем был влюблен в свободу». С личными воспоминаниями о Жоресе выступают Жак Мадоль, Франсис Журден, д-р Луи Девуазен.

Наибольший интерес представляют статьи, посвященные политической деятельности Жореса (Р. Гароди «Жорес и демократия», Р. Трампе «Жорес и Кармо», Ж. Брюа «Жорес и колониальные войны», Л. Фигера «Жорес и новая армия»), а также выборка статей и речей самого Жана Жореса («Новая армия», «Военная организация Франции», «История и революция» и т. д.), где поднимаются волную-

щие французскую общественность вопросы мира и войны, гражданских свобод и военной диктатуры.

В тот момент, когда новая французская конституция узаконивает режим диктатуры, борьба Жореса, которую он вел в свое время против генерала Буланже, стремившегося овладеть неограниченной властью в стране, и его высказывания за республику и против диктатуры, приведенные на страницах журнала, приобретают особую актуальность.

Жорес мечтал о мире, «о согласии между пролетариями всех стран, угнетенными всех стран, отбросившими старый груз предрассудков, невежества и ненависти, чтобы провозгласить единую всемирную справедливость на освобожденной земле». К защите мира призывает всех честных французов и журнал «Эроп».

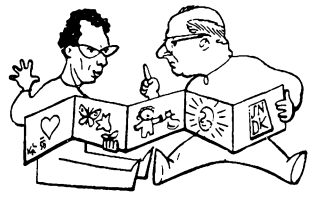
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ДЕТСКАЯ КНИГА ЗАВОЕВЫВАЕТ МИР

Чехословацкая детская книга известна повсюду. Кроме высоких идейно-литературных качеств, ее славу приумножило разнообразие и богатство выдумки в художественном и полиграфическом оформлении. Не удивительно, что детская книга из Чехословакии пользовалась большим успехом на книжных выставках в СССР, Франции, Германии, Индии, Бразилии, Аргентине, а в последнее время — на Брюссельской выставке.

Государственное издательство детской книги, как рассказывают его руководители известные детские писатели Богумил Ржига и Вацлав Стейскал на страницах еженедельника «Культура», в связи с проблемами политехнизации воспитания молодежи ставит перед собой новую интересную задачу: дополнить сухой учебник живой познавательной литературой по всем отраслям знаний.

Выйдут новые занимательные книги о СССР, по истории Чехословакии, книги о растениях, зверях, птицах. Книга «Самый, самый, самый...» в увлекательной форме расскажет о самом большом городе, самой большой горе и т. д. Появятся и книги, рассказывающие детям о чудесах техники, окружающей их в повседневной жизни.



Вацлав Стейскал и Богумил Ржига (шарж).
(Еженедельник «Культура»)

ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ

ПО СТОПАМ ГИТЛЕРОВЦЕВ

В правительственном органе «Гавернмент газет» опубликован очередной список книг, запрещенных к ввозу в Южно-Африканский Союз. Список включает несколько публицистических и художественных произведений, критикующих современную действительность в капиталистических странах или рассказывающих о странах социалистического лагеря,— в их числе роман Васко Пратолини «Современный герой», книги советских авторов и другие.

Запрещение таких книг стало обычным в Южно-Африканском Союзе. Но на этот раз, как сообщает южноафриканская газета «Нью эйдж», список содержит также несколько изданий, разоблачающих германский фашизм и возрождение его в Западной Германии.

Запрещены, например, книга известного политического обозревателя Эдварда Крэнкшоу о зверствах гестапо и сборник документов под красноречивым названием «Вчерашние кровавые судьи-гитлеровцы — сегодня высокопоставленные чиновники боннской судебной администрации».

Неудивительно, что южноафриканские власти запрещают эти антифашистские книги и беззастенчиво ограждают от общественного осуждения гитлеровских кровавых дел мастеров. Самый факт запрещения книг и публикация подобных списков свидетельствуют о духовной близости южноафриканских мракобесов и их коллег в гитлеровской Германии. Но это еще не все!

«Нью эйдж» с возмущением пишет о внесении в парламент второго варианта реакционного законопроекта о реформе высшего образования (первый вариант был отклонен под давлением общественности).

Проект предусматривает запрещение «цветным» учиться в «белых» университетах и создание для них специальных учебных заведений. В духе последовательного проведения человеконенавистнической политики апартеида — южноафриканского варианта американской расистской сегрегации — законодатели предполагают не только изгнать «цветных» из университетов «для белых», но и поставить во главе учебных заведений «для цветных» «белые ученые советы», которые будут решать, чему именно и как следует учить «туземцев».

«Нью эйдж» подчеркивает, что, видимо, «после обработки цветных студентов с помощью образования, которое воспитает у них психологию раба, государственные «университеты» выступят также в роли вербовщиков, поставляющих рабочую силу на рудники и фермы».

ЯПОНИЯ

«ПРЕМИЯ МИРА» АВТОРУ РОМАНА «ОСТРОВ ОКИНАВА»

Журнал «Син нихон бунгаку» сообщает, что «Премия мира», учрежденная собранием работников культуры Японии, присуждена двум японским писателям — Сёдзи Симода за его роман «Остров Окинава» (опубликованный в нашем журнале №№ 9—10 за 1958 г.) и Томоэ Ямасиро за ее роман «Песня тележки».

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Яна Штроблова — Jana Štroblova (род. в 1936 г.) — чешская поэтесса. В 1958 году вышел первый сборник ее стихов «Эдельвейс» ("Protěž"), откуда и взяты печатаемые в этом номере стихотворения.

Лэнгстон Хьюз — Langston Hughes (род. в 1902 г.) — американский прогрессивный писатель-негр. Первый сборник стихотворений «Утомленный блюз» ("The Weary Blues") вышел в 1926 г. Далее были опубликованы роман «Смех сквозь слезы» ("Not Without Laughter", 1930; русск. перев.— 1932), сборник рассказов «Нравы белых» ("The Ways of White Folks", 1934), автобиографическая повесть «Открытое море» ("The Big Sea", 1940), сборник «Шекспир в Гарлеме» ("Shakespeare in Harlem", 1942), книги: «Симпл высказывает свое мнение» ("Simple Speaks His Mind", 1950) и «Симпл женится» ("Simple Takes a Wife", 1953).

В «Иностранной литературе» (№ 10, 1956 г.) печатались стихи Л. Хьюза (там же см. заметки о его творчестве).

Публикуемые рассказы взяты из сборника, вышедшего в 1957 году под названием «Симпл предъявляет счет» ("Simple Stakes a Claim").

Джек Линдсей — Jack Lindsay (род. в 1900 г.) — прогрессивный английский писатель, автор романов «Час выбора» ("The Moment of Choice", 1954), «Весна, которую предали» ("Betrayed Spring", 1953), вышедшего в переводе на русский язык, «Поднимающийся прилив» ("The Rising Tide", 1953), «Великий дуб» ("The Great Oak", 1957), рецензия о котором напечатана в «Иностранной литературе» № 10, 1958 г., и др.

Публикуемая статья написана автором для журнала «Иностранная литература».

Седрик Белфрейдж — Cedric Belfrage (род. в 1904 г.) — американский писатель и журналист, автор ряда публицистических книг, в том числе «Семена разрушения» ("Seeds of Destruction", 1954). В 1948 г. начал издавать прогрессивную еженедельную газету «Нэшнл гардиан». Продолжает редактировать этот еженедельник в изгнании, живя в Англии, куда депортирован в 1955 году по обвинению в подрывной деятельности.

Статьи С. Белфрейджа неоднократно печатались в «Иностранной литературе». Публикуемая статья написана им для нашего журнала.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА „ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА“ за 1958 год (№№ 1 — 12).

«Об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба», «Богдан Хмельницкий» и «От всего сердца». Постановление ЦК КПСС от 28 мая 1958 года, № 6 (Приложение).

ВСТРЕЧИ С ЛЕНИНЫМ

Бобинская Хелена — Из моих воспоминаний о Ленине, № 4.
Галлахер Уильям — Великий гений революции, № 4.
Курелла Альфред — Незабываемые встречи, № 4.

ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ МИРА

Арагон — Стихи, № 4.
Д'Астье Эммануэль — Лету нет конца (Главы из романа), № 8.
Дольчи Данило — Расследование в Палермо (Отрывки из книги), № 10.
Лундквист Артур — Стихи, № 7.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

Айюб Зу-ан-Нун — Бурлак (Рассказ), № 9.
Александрова Лиляна — Есть одно счастье... (Повесть), №№ 7, 8.
Амарасингам С. П. — Две рупии (Рассказ), № 9.
Ашкенази Людвик — Азбука (Рассказ), № 2.
Бихари Клара — Жажда (Роман), №№ 3, 4.
Борхерт Вольфганг — Новеллы. Послесловие Генриха Бёля, № 7.
Боуэн Роберт — Какой ценой (Рассказ), № 8.
Вейс Ян — Звезда и женщина (Из книги «Страна внуков»), № 5.
Гонгопадхайя Нарайян — Кукла (Рассказ), № 9.
Дакруб Мухаммед Ибрагим — Зритель (Рассказ), № 9.
Джаи Спиро — Пять писем (Подлинная история), № 3.
Дюрренматт Фридрих — Визит старой дамы (Трагическая комедия), № 3.
Зелинский Станислав — Черные тюльпаны (Рассказ), № 2.
Исакович Антоние — Ложка (Рассказ), № 5.
аль-Каяли Хасиб — Продавец погремушек (Рассказ), № 9.
Куртад Пьер — «Дух Гакома». Профессиональное хладнокровие (Рассказы), № 3.
Лакснесс Халлдор — Летопись хутора Бреккукот (Роман). Вступление Н. Крымовой, №№ 4, 5.
Лудемис Менелаос — Рассказы, № 7.
Лю Бай-юй — Неугасимое пламя (Документальная повесть). Предисловие Алексея Маресьева, № 6.
Маккензи Комптон — Ракетная горячка (Роман). Послесловие Б. Леонтьева, №№ 6, 7.
Мартиновский Цветко — Люди с гор (Рассказ), № 5.
Ма Фын — Человек, которого нельзя забыть (Рассказ), № 9.
Михале Аурел — Тревожные ночи (Рассказ), № 2.
Моравиа Альберто — Чочара (Роман), №№ 1, 2, 3.
Нгуен Нгок — Весна белых цветов (Рассказ), № 9.
Неизвестные страницы Анри Барбюса. Вступление Аннетты Видаль, № 6.
Несин Азиз — Сатирические рассказы, № 4.
О'Хара Джон — Быстротечная слава мистера Сеймура Гаррисбурга (Рассказ), № 8.
Петров Ивайло — Нонка (Повесть). Предисловие автора, № 1.
Попович Титус — Земля (Роман), №№ 11, 12.
Прежихов Воранц — Отец (Рассказ), № 5.
Пристли Джон Бойнтон — Теперь пусть уходит (Пьеса), № 2.
Сароян Уильям — Весь свят и сами небеса. Читатель «Всемирного альманаха» (Рассказы), № 8.
ас-Сибайи Юсеф — Самородок из квартала аль-Мида (Рассказ), № 9.
Сибурапа — Деньги и труд (Рассказ), № 2.
Симода Сёдзи — Остров Окинава (Роман), №№ 9, 10.

Сингх Гурвел — Зинат (Рассказ), № 9.
Солинас Франко — Скуарчо (Повесть), № 11.
Сориа Жорж — Последний шанс (Пьеса), № 8.
Стейнбек Джон — Происшествие в доме № 5 по улице М. (Рассказ), № 8.
Сюй Хуай-чжун — Продавщица вина (Рассказ), № 9.
Фолкнер Уильям — Поджигатель (Рассказ), № 8.
Фрис Тойн де — Олень (Рассказ), № 6.
аль-Хамиси Абд ар-Рахман — Служаночка (Рассказ), № 9.
Ханчерлиоглу Орхан — Город без людей (Рассказ), № 9.
Хемингуэй Эрнест — Нужна собака-поводырь (Рассказ), № 8.
Хусейн Таха — Хадиджа (Рассказ), № 9.
Хьюз Лэнгстон — Симпл предъявляет счет (Рассказы), № 12.
Хэ Гу-янь — Клен (Рассказ), № 9.
Чандар Кришан — Звезды меркнут, звезды загораются (Рассказ), № 9.
Чапек Карел — Рассказы, № 10.
Эмис Кингсли — Счастливчик Джим (Роман), №№ 10, 11, 12.
Яневский Славко — Однажды после обеда (Рассказ), № 5.
Яшпал — Одна сигарета (Рассказ), № 9.

СТИХИ

Андраде Марио де — Песня сабалу, № 5.
Арагон — Песнь Прериаля, № 7.
Аргези Тудор — Стихи, № 1.
аль-Багдади Муфид — Бессмертная земля, № 7.
Барбоза Жоржи — Поэма о море, № 5.
Барт Илья — В горах, № 11.
Бехер Иоганнес Р. — Вселенский гимн, № 10.
Буйон Жорж — Спряжение, № 3.
Буттита Пьетро — Письмо американскому другу, № 5.
Валлатхол — Тем, кто хочет войны, № 9.
Вивье Робер — Вы были..., № 3.
Галчинский Константы Ильдефонс — Сильвестр Марош. Трубы праздничной почты, № 6.
Го Мо-жо — Стихи, написанные в Москве, № 1.
Гуерра Антонио — Кирпич. Гетто, № 5.
Дарья — Не говори!, № 9.
Даскалова Лиана — Дом в Поронино, № 4.
Депетр Рене — Избранные стихи. Вступление Павла Антокольского, № 12.
Дорж Дожоо — Миниатюры, № 9.
Зогович Радован — Хотя и не придут, № 2.
Икбал Мухаммад — Вопрос. Ночь и поэт, № 9.
Ислам Назрул — Единство рабочих Востока и Запада. Китай и Индия, № 9.
Кадмон Хайя — Кровь на границе, № 4.
Квазимодо Сальваторе — Пятнадцати с площади Лоретто. Плач о Юге, № 5.
Ким Сун Сек — Моя мечта, № 9.
Кино Раймон — Хор поэтов, № 3.
Лайчиак Милан — Стихи, № 8.
Малькольм Том — Поэты, воспойте рабочих!, № 8.
Микайя Лилинью — Тоска по родине. Боль, № 9.
Микайя Лилинью — Шангана. Песня истинной любви, № 5.
Мистраль Габриэла — Стихи разных лет. Предисловие Пабло Неруды, № 1.
Монтале Эудженио — Достигнутое счастье, № 5.
Муасс Шарль — На земле, где живет человек. Незнакомка из Марамуреша. Варшава. Поэту, который стоит у своего окна, № 3.
Муччи Вельсо — Поездка по Италии, № 5.
Новента Джакомо — Чтоб увидеть мне солнце, № 5.
Норонья Руй де — Вставай и действуй, № 5.
Павезе Чезаре — Простота. Я пройду по площади Испании, № 5.
Пирис Ашмор — Манговое дерево. В пути. Джунгли ночью, № 9.
Рипеллино Анджело Мариа — Пришел февраль, огромный, бородатый... Утро, № 5.
Саба Умберто — Три улицы, № 5.
Сас Янош — Победа, № 2.
Сетьярини С. — Ириану, № 9.
Сикирицкий Игорь — Шлем, № 11.
Силичи Драго — Албанская песня в Москве, № 11.
Сократе Марио — Из книги «Рим в наши годы», № 5.
Соуза Ноэмья де — Самба, № 5.
Сэнгээ Дашцевгийн — Стихи, № 3.
Тараньджи Джакид Сыткы — Пусть день... Я хочу, чтобы в нашей стране..., № 2.
Тарджан Месуд — Счастье, № 2.
Тауфер Иржи — Героическая поэма, № 2.
Тауфер Иржи — Мой Интернационал, № 5.
Ташер Суад — Среди ночи, № 2.
Тен Дон У — Красная звезда, № 2.
Тю Сон Вон — Джамила, № 9.
Унгаретти Джузеппе — Апрель. Июль. Ясное небо. День за днем, № 5.
Хан Юн Хо — Поезд дружбы, № 3.
Хикмет Назым — Два стихотворения, № 10.
Цзинь Цзинь — Чудесная быль, № 11.
Шахрияр Мохаммед — Зима-хозяйка, № 9.
Штроблова Яна — Из первой книги..., № 12.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Выспянский Станислав — Стихи. Предисловие С. Игнатова, № 10.
Гуань Хань-цин — Обида Доу Э (Из пьесы), № 9.
Йожеф Аттила — Лирика, № 4.
Письма и заметки Стендаля (Анри Бейля). (К 175-летию со дня рождения), № 1.

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Арабская народная мудрость, № 9.
Из вьетнамского фольклора, № 9.
Из тибетского фольклора, № 9.
Сказки народа Бауле, № 9.
Сказки народов Эфиопии, № 9.

КРИТИКА

Анисимов И.— Путь, проложенный Драйзером, № 11.
Балашова Т., Егоров О., Николюкин А., Филипчикова Р. — Октябрь и зарубежная литература, № 5.
Борев Юрий — Против ревизионизма в эстетической теории, № 4.
Вюрмсер Андре — Хроника конца века, № 10.
Гафуров Б.— Навстречу Конференции писателей стран Азии и Африки, № 9.
Дзярновска Янина — Ранние произведения Константина Федина, № 10.
Егоров О.— «Прием в свете» Г. Манна, № 1.
Елистратова А.— «Чистая поэзия» и нечистые приемы, № 10.
Зонина Л. — О почтительном произволе (Наследие Роже Мартен дю Гара и его толкователи), № 12.
Ивашева В.— Английский роман пятидесятых годов, № 1.
Ивашева В. — Крах колониализма и английская литература, № 9.
Калунгано Карлос, Андраде Марио де — Голос народа (Вступление к стихам «Поэзия колониальной Африки»), № 5.
Кеменова А.— «Земля людей» Сент-Экзюпери, № 8.
Кин Ц.— Литература итальянского Сопротивления, № 10.
Кручковский Леон — Литература человеческой солидарности, № 10.
Кун Бела — Шандор Петефи — поэт мировой свободы, № 3.
Кхали Нене — Заметки о литературе Черной Африки, № 9.
Линдсей Джек — Мировое значение советской литературы, № 12.
Мику Думитру — Новый успех румынской прозы, № 12.
Мотылева Т.— Об одной повести и ее критиках, № 7.
Наг Мартин — Путь к расцвету, № 1.
Никулин Л.— Размышления у книжной полки, № 5.
О ревизионистских взглядах Дёрдя Лукача (По страницам венгерской и немецкой печати), № 8.
Орлова Р., Копелев Л.— Мифы и правда американского Юга, № 3.
Осповат Л.— Голос непокоренной Гватемалы, № 6.
Палиевский П.— «Счастливчик Джим» Кингсли Эмиса, № 12.
Порочкина И.— Как прекрасен мир! (Заметки о поэзии Марии Пуймановой), № 7.
Саадаллах Абулькасим — О национальной культуре Алжира, № 9.
ас-Самави Казим — О современной арабской литературе, № 9.
Самарин Р. — Вопросы литературы на IV Международном съезде славистов, № 12.
Сейми Дхусван — Литература Непала, № 9.
Серебряков И.— Новая работа о Калидасе, № 12.
Смирнов Сергей — Вступление к циклу «Поэты за круглым столом», № 5.
Стоянов Людмил — О критическом и социалистическом реализме, № 11.
Трифонова Т. — Литература и действительность, № 2.
Туньон Рауль Гонсалес — Маяковский снова среди нас, № 10.
Фрадкин Илья — Вольфганг Борхерт и «поколение вернувшихся», № 2.
Хлодовский Р.— Альберто Моравиа, № 1.
Чаковский А.— Восемьдесят тысяч километров вокруг самого себя (По поводу выступлений Альбера Камю), № 12.
Челышев Е.— Субхадра Кумари Чаухан и ее поэзия, № 10.
Чжоу Ян — За развитие социалистического искусства, № 1.
Шатков Г.— Гуманизм Лакснесса, № 6.
Эми Сяо — Наш учитель и друг, № 10.
Яхонтова М.— От живой борьбы к абстракциям, № 6.

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

Злобин Ст.— Продолжение личной беседы, № 4.

Спор о поэзии, № 4

Вигорелли Джанкарло — Выступление.
Зелинский Корнелий — О назначении поэзии.
Инбер Вера — Выступление.
Квазимодо Сальваторе — Сообщение.
Мартынов Леонид — Выступление.
Прокофьев Александр — Выступление.
Рипеллино Анджело Мариа — Выступление.
Салинари Карло — Выступление.
Смирнов Сергей — Выступление.
Сурков Алексей — Выступление.
Унгаретти Джузеппе—Вступительное слово.

РЕЦЕНЗИИ

Бернштейн И.— Новые задачи и старые приемы, № 5.
Вершинин Л.— Писатель больших мыслей, № 5.
Иваньо И., Неуважный Ф. — Повесть о советском человеке, № 2.
Исаева А.— Малыш и Карлсон, который живет на крыше, № 2.
Лопырев Н.— Новый исторический роман Линдсея, № 10.
Палиевский П.— Одинокие медведи, № 2.
Симонян Л.— На верном пути, № 10.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы, №№ 11, 12.

ПУБЛИЦИСТИКА

Аллег Анри — Допрос под пыткой, № 6.
Белфрейдж Седрик — Американец в Советской России, № 4.
Бержерон Режи — В Тунисе, № 9.
Бхаттачария Бхабани — Конгресс мира в Стокгольме, № 8.
Гофмейстер Адольф — В стране пирамид, № 9.
Даля Михай — Наша дружба, № 8.
Дюбуа Уильям Э. Б.— Культурные связи необходимы, № 5.

Дюкрок Альбер — Дорога в космос (Глава из книги), № 10.
Захир Саджад — Писатели Азии и Африки выполнят свой долг, № 11.
Изаков Борис — Две исповеди Говарда Фаста, № 2.
Испытанный друг Советского Союза (К кончине Хирокити Отакэ), № 3.
аль-Каяли Мавахиб — Пять часов по багдадскому времени, № 8.
Матип Бенджамен — Голоса Ташкента, № 11.
Наумов К. — Писатели Франции в защиту республики (По страницам французской печати), № 10.
Порумбаку Вероника — Заметки о Корее, № 9.
Рава Энцо — Эра колониальных революций, № 9.
Рашидов Шараф — Самая представительная писательская ассамблея, № 11.
Ринальди Дина — Долина Чистилища (Письма итальянских детей), № 12.
Сенже Морис — Советская культура на Всемирной выставке в Брюсселе, № 10.
Стронг Анна Луиза — Воля и право народа, № 10.
Фрис Тойн де — Ярмарка мудрости, № 5.
Хогарт Поль — Люди, такие как мы, № 9.
Хэйер Сигне — Бомбы продолжают убивать, № 9.
Чжоу Янь — Общая задача писателей стран Азии и Африки, № 11.

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Болстад Эйвин — Атомные ракеты и Норвегия, № 4.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Говорят читатели, № 12.

Деятели культуры о совещании на высшем уровне

Амаду Жоржи (Бразилия), № 3.
Ананд Мулк Радж (Индия), № 3.
Аргези Тудор (Румыния), № 3.
Бенюк Михай (Румыния), № 3.
Бхаттачария Бхабани (Индия), № 3.
Д'Астье де ля Вижери Эмманюэль (Франция), № 3.
Лао Шэ (Китай), № 3.
Мерль Робер (Франция), № 3.
Монтегю Айвор (Англия), № 3.
Неруда Пабло (Чили), № 4.
Нома Хироси (Япония), № 3.
О'Кейси Шон. (Англия), № 3.
Токунага Сунао (Япония), № 3.
Уоллес Джо (Канада), № 3.
Фрис Тойн де (Голландия), № 3.
аль-Хамиси Абд ар-Рахман (Египет), № 3.
Шерфиг Ханс (Дания), № 3.
Эффель Жан (Франция), № 3.

Перспективы расширения международных культурных связей

Рендон Годофредо Гарсия — В подлинных интересах человечества, № 2.
Семлер Ференц — За более тесные связи между писателями, № 2.
Сориа Жорж — Идти все дальше вперед, № 2.
Фрис Тойн де — Мои прогнозы и пожелания, № 2.
Хорскьер Эрик — Вклад в дело мира, № 2.
Шутеричи Димитр — Искусственные препятствия не помешают культурным связям, № 2.

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

аль-Алим Махмуд Амин — Две конференции в Каире, № 4.
Захир Саджад — Фаиз и его поэзия, № 2.
Ли Ги Ен — Единственное желание, № 11.
Лю Бай-юй — За тесную связь писателей с жизнью, № 10.
Нгуен Ван Бонг — Бессмысленная граница, № 10.
Робсон Поль — Посланцы доброй воли. № 7.
Фревиль Жан — Встреча с читателем, № 3.
Эд Ханс Сельмер — Правда о моей стране, № 6.

ОБЗОРЫ

Володина Р. — В борьбе за реализм (По страницам журнала «Савременик»), № 7.
Грюнвальд Леопольд — Современная австрийская литература, № 10.
Крус Мануэль — Литература Филиппинской республики, № 10.

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Белфрейдж Седрик — «Великий шелковый путь» снова открыт, № 12.
Белфрейдж Седрик — Славный юбилей (К 90-летию Уильяма Дюбуа), № 2.
Бикар Пьер — Прощальное слово (Памяти Фредерика Жолио-Кюри), № 10.
Замбахчан К. — Моя художественная коллекция, № 2.
Лазарева Л. — Гражданин, ученый, гуманист (Памяти Фредерика Жолио-Кюри), № 10.
Симонов Константин — Рассказы о японском искусстве, №№ 7, 8.
Хананов М. — Наш друг Ивар Дигернес, № 6.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АНКЕТА «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Амаду Жоржи (Бразилия), № 6.
Асклунд Эрик (Швеция), № 6.
Ашкенази Людвик (Чехословакия), № 5.
Ба Цзинь (Китай), № 5.
Биберман Герберт (США), № 7.
Бидструп Херлуф (Дания), № 6.
Бихари Клара (Венгрия), № 5.
Болстад Эйвин (Норвегия), № 5.
Боннар Андре (Швейцария), № 7.
Брандыс Казимеж (Польша), № 5.
Браннер Ханс (Дания), № 7.
Бхаттачария Бхабани (Индия), № 6.
Вайян Роже (Франция), № 7.

Виссинг Генри П. Л. (Голландия), № 6.
Виц Игнацы (Польша), № 5.
Гилмор Мэри (Австралия), № 5.
Гофмейстер Адольф (Чехословакия), № 6.
Грин Грэхем (Англия), № 5.
Гу Юань (Китай), № 5.
Де Сика Витторио (Италия), № 6.
Де Филиппо Эдуардо (Италия), № 7.
Джаи Спиро (Албания), № 6.
Доде Карлос Руис (Аргентина), № 7.
Домбровская Мария (Польша), № 6.
Думитриу Петру (Румыния), № 5.
Захир Саджад (Индия), № 7.
Зегерс Анна (ГДР), № 5.
Ивашкевич Ярослав (Польша), № 5.
Калчев Камен (Болгария), № 6.
Карриль Уго дель (Аргентина), № 7.
Картер Дайсон (Канада), № 7.
Касона Алехандро (Аргентина), № 6.
Кент Рокуэлл (США), № 5.
Кирк Ханс (Дания), № 6.
Клер Рене (Франция), № 6.
Колдуэлл Эрскин (США), № 5.
Кронин Арчибальд (Англия), № 5.
Кручковский Леон (Польша), № 5.
Лакснесс Халлдор (Исландия), № 7.
Лану Арман (Франция), № 5.
Лао Шэ (Китай), № 5.
Ли Вивьен (Англия), № 5.
Ли Ги Ен (КНДР), № 6.
Лингнер Макс (ГДР), № 5.
Лоллобриджида Джина (Италия), № 6.
Лу-Юханссон Ивар (Швеция), № 7.
Максимович Десанка (Югославия), № 5.
Мао Дунь (Китай), № 5.
Маршалл Алан (Австралия), № 6.
Матэ Дьердь (Венгрия), № 5.
Метциг Курт (ГДР), № 6.
Минков Святослав (Болгария), № 5.
Муасс Шарль (Бельгия), № 6.
Нгуен Нгок (ДРВ), № 7.
Неверли Игорь (Польша), № 5.
Нома Хироси (Япония), № 7.
О'Кейси Шон (Ирландия), № 7.
Оливье Лоуренс (Англия), № 5.
Петреску Чезар (Румыния), № 6.
Причард Катарина Сусанна (Австралия), № 5.
Радевский Христо (Болгария), № 5.
Сароян Уильям (США), № 5.
Стоянов Людмил (Болгария), № 6.
Студия «Бимал Рой продакшнз» (Индия), № 6.
Сэнгээ Дашцевгийн (МНР), № 7.
Таслицкий Борис (Франция), № 5.
Тейтельбойм В. (Чили), № 7.
Уайлер Уильям (США), № 7.
У Цзо-жень (Китай), № 5.
Фейхтвангер Лион (США), № 5.
Филип Жерар (Франция), № 5.
Фрид Норберт (Чехословакия), № 7.
Фрис Тойн де (Голландия), № 5.
Хан Сер Я (КНДР), № 6.
Хеллман Лилиан (США), № 6.
Цвейг Арнольд (ГДР), № 6.
Шаброль Жан-Пьер (Франция), № 6.
Шерфиг Ханс (Дания), № 7.
Штробл Жигмонд Кишфалуди (Венгрия), № 6.
Якубовская Ванда (Польша), № 5.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ, № 9

НА КИНОЭКРАНАХ

Аббас Ходжа Ахмад — Начало пути, № 5.
Садуль Жорж — Я видел новый фильм Чаплина, № 1.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Сайдлер Иржи — Э. Ф. Буриан и его театр, № 5.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Абалкин Н. — Снова на венецианской выставке, № 10.
Бидструп Херлуф — Смех — мое оружие, № 11.
Боевое искусство Джона Хартфильда, № 1.
Верейский О. — Йозеф Лада, № 5.
Гверчо Антонио дель — Проблемы итальянского искусства, № 7.
Мальц Альберт — Прощание с Диего, № 4.
Неруда Пабло — Хосе Вентурелли, № 6.
Фуад Хасан — «Порт Саид» (Из серии рисунков египетского художника Жоржа аль-Бахгури), № 2.
Хоскот Ш. С. — Индийский художник Хеббар, № 3.
Цагарелли И. — Вайне Аалтонен, № 12.

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Аппель Готфред — Новый Китай в датской литературе, № 9.
Белоусов Р. — Сборник пьес-диалогов, № 2
Белоусов Р. — Сплоченность литераторов Китая, № 5.
Белоусов Р. — Стихи о героях-строителях, № 12.
Бержерон Режи — Испанский номер «Эроп», № 4.
Беркин С. — Книга об исландской литературе, № 8.
Бернштейн И. — «Летопись на граните» Олдржиха Шулержа, № 2.
Бернштейн И. — «Покинешь меня — погибнешь», № 11.
Богемский Г. — «Эшелон через Бреннер», № 3.
Борисов В. — «Верни мое сердце», № 2.
Борисов В. — Трилогия Нагиба Махфуза, № 6.
Брагинский А. — По лабиринтам истории кино, № 12.
Брагинский А. — Роман о журналистах, № 3.
Брагинский А. — Странный метод полемики, № 5.
Великовский С. — Катрин Шаррон и ее друзья, № 7.
Волевич И. — «Город черной масти», № 9.
Воробьев Л. — Жизнь народного героя, № 11.
Востокова С. — Заглядывая в будущее, № 2.
Востокова С. — Книга о Гашеке, № 4.
Востокова С. — О приметах времени и о многом другом, № 9.

Гальперина Е.— Книга об африканской скульптуре, № 2.
Григорьева Т.— Народный поэт Японии, № 9.
Дьяконова Н.— Автобиография Альфреда Коппарда, № 6.
Елистратова А.— Свобода циничного зубоскальства, № 5.
Жантиева Д.— Утопический роман Г. Фелпса, № 10.
Журавлев Г.— Кольцо преступлений, № 4.
Злобин Г.— Будущее, которого не должно быть, № 7.
Злобин Г.— Черное пламя, № 2.
Зонина Л.— «Леонар в ином мире» Элен Пармелен, № 2.
Иванова Т.— Роман о бухарестском дне, № 8.
Иванько С.— «Перемены за 60 лет», № 8.
Иванько С.— Сборник китайских рассказов, № 1.
Ивашева В.— Новая книга автора «Счастливчика Джима», № 5.
Иллеш Бела — «Вышеградская улица» Йожефа Ленделя, № 3.
Касаткина Л.— Австралийские рассказы, № 7.
Кашкин Иван — Работа по вопросам перевода, № 6.
Кин Ц.— Письма итальянских детей, № 3.
Кин Ц.— «Сжатое время», № 7.
Кириллов Г.— Сказки и легенды острова Целебес, № 9.
Клышко А.— Подвиг труда, № 2.
Кляшторина В.— Караван новой поэзии, № 7.
Кокурина Т.— «Гяур» Никоса Папаперикиса, № 3.
Коломиец А.— Повесть о большом художнике, № 6.
Кочи Р.— Книга об Александре Моисси, № 5.
Кочи Р.— Новый албанский роман, № 8.
Кривякина Е.— Классик венгерской литературы, № 12.
Кузнецов Ю.— Вулканический континент, № 8.
Ладинский Ант.— Роман о французских парламентариях, № 6.
Левидова И.— Ларегиб — сумасбродный городок, № 3.
Левидова И.— Повесть о рабочих Флориды, № 10.
Левинтон А.— Вольф Пагель среди волков, № 12.
Лопырев Н.— Четвертый роман эпопеи «Британский путь», № 1.
Лунгина Л.— Глазами ребенка, № 10.
Лунгина Л. — Новый роман Яна Мюрдаля, № 5.
Майзельс С.— Книга о трудовых людях Англии, № 1.
Марцина И.— Ленин и финны, № 6.
Мельников А.— Актуальная фантастика, № 10.
Мельников А.— Октябрьская революция в воспоминаниях, № 3.
Мельников А.— Поэзия и жизнь, № 6.
Миловидова Н. — «Великое нетерпение» африканцев, № 9.
Михайлов А.— Книга воспоминаний о М. Горьком, № 1.
Михайлов А.— Новые публикации рукописей Стендаля, № 10.
Морозов И.— Роман о путях индийской интеллигенции, № 7.
Навашин С.— Новая книга Поля де Крайфа, № 3.
Наг Мартин — Нурдаль Григ — поэт и борец, № 5.
Наумов К.— По поводу одной рецензии, № 6.
Наумов К.— Преступление и наказание Силио Транифило, № 1.
Нгуен Ван Тыок — Роман о предреволюционном Вьетнаме, № 1.
Неволина В.— Ленин в Польше, № 5.
Нечаев И.— Рассказы Карла Мундштока, № 4.
Османова З.— «Избранное» Садека Хедаята, № 9.
Османов Н.— Новые издания четверостиший Омара Хайяма, № 7.
Павлова Н.— Бехер о поэзии, № 10.
Подольский А.— Дилогия Вольфганга Йохо, № 10.
Полонская Г.— Скрипка и другие вопросы, № 12.
Померанцева Е.— «Соучастие в убийстве», № 2.
Ралов Р.— «Закон», № 1.
Рапопорт А.— Автобиография Ричарда Черча, № 2.
Рапопорт С.— Роман об американском коммунисте, № 7.
Родман Ю.— Три Дюма, № 5.
Романова Ел.— В стране, не видящей солнца, № 7.
Рубин Вл.— К вопросу о «тэках», № 7.
Симонян Л.— Журнал и его читатели, № 1.
Скатерщиков В.— Творчество художника и его оценка, № 8.
Созонова И.— Большая правда, № 11.
Старцев А.— Ирландские песни Сопротивления, № 11.
Старцев А.— Новое о молодом Твене, № 4.
Степанов Л.— Арабские макамы, № 4.
Степанов Л.— «Песни жизни», № 11.
Степанов Л.— Путешествие в юность, № 7.
Стоун Уолтер — Люди, которые создали Австралию, № 10.
Суриц Е.— Заключительная часть трилогии Боргена, № 8.
Тураев С.— Сатира Адольфа Глассбреннера, № 12.
Урнов Д.— Сборник статей о Шекспире, № 12.
Фишер В.— Рассказы Кришана Чандара, № 11.
Хамадан А.— Журнал, который несет правду, № 9.
Черкасский Л.— От чистого сердца, № 11.
Черная Л.— «Поэзо-проза» и ее издатели, № 12.
Чернышев В.— Роман об индийской деревне, № 9.
Шебеко Н.— О чем пела иволга..., № 9.

Шевелева Л.— Книга о театре африканских негров, № 9.
Шкунаева И.— «Через месяц, через год...», № 5.
Шлапоберская С.— Эскадрилья «Летучая мышь», № 5.
Эйшискина Н.— Рассказы Олдоса Хаксли, № 4.
Эйшискина Н.— Сборник рассказов Честертона, № 10.
Юрьева Л.— Новый роман Арнольда Цвейга, № 7.

ИЗ ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СВЯЗЕЙ МАСТЕРОВ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Письма Алексею Максимовичу Горькому, № 6.
Письма к Сергею Михайловичу Эйзенштейну, № 1.
Письма Петру Ильичу Чайковскому, № 4.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОШЛОГО

Ади Эндре — Публицистические статьи, № 1.
Письма Роже Мартен дю Гара и Ромена Роллана, № 10.
Россиянов О.— Эндре Ади с нами, № 1.
Рубинштейн А.— В. Г. Короленко в Румынии, № 3.
Теодор Драйзер об инсценировке «Сестры Керри», № 7.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ (Хроника), №№ 1 — 12.

РЕДКАЯ ФОТОГРАФИЯ

А. Дюма (отец) **на Кавказе** (вклейка), № 12.
А. М. Горький и Г. Уэллс (вклейка), № 10.
Анри Барбюс (вклейка), № 6.
Рабиндранат Тагор в Москве, 1930 г., (вклейка), № 8.
Чарльз Диккенс, № 3.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ, №№ 1—12.

Обращение Конференции писателей стран Азии и Африки к писателям мира, № 11 (Приложение).
О создании Постоянного бюро писателей стран Азии и Африки, № 11 (Приложение).

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Б. Г. Гафуров, С.А. Герасимов, С.А. Дангулов (зам. главного редактора), **Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, Н. И. Родионов** (зам. главного редактора), **В. П. Терешкин, М. А. Шолохов, С. П. Щипачев.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефоны: В 3-51-47; В 1-15-08.

Художеств. редактор *М. М. Милославский.* Технический редактор *В. Л. Шачнев.*

А 09916. Сдано в производство 30/IX 1958 г. Подписано к печати 14/XI 1958 г.
Бумага $70\times108^{1}/_{16} = 10{,}0$ бум. л. + 1 вкл. Печ. л. 27,4 + 1 вкл. Зак. 1757.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

в 1959 году

ЖУРНАЛ „ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА"

предполагает напечатать следующие произведения:

Грэхем Грин «Наш человек в Гаване» (роман).
Фатмир Дьята «Новь» (роман).
Анна Зегерс «Решение» (роман).
Арчибальд Кронин «Северный свет» (роман).
Мао Дунь (новые рассказы).
Джеймс Олдридж «Не хочу, чтобы он умирал» (вторая книга романа).
Зденек Плугарж «Покинешь меня — погибнешь» (роман).
Митчел Уилсон «Брат мой, враг мой» (вторая книга романа).
Юлиус Фучик «Поколение перед Петром» (незаконченный роман).
Михаэль Хорбах «Сыновья, которых предали» (роман).

В журнале будут помещены повести, рассказы, стихи и пьесы следующих авторов: **Жоржи Амаду, Арагона, Тудора Аргези, Мигель Анхель Астуриаса, Упендраната Ашка, Генриха Бёля, Иоганнеса Р. Бехера, Рэя Брэдбери, Пьера Гамарра, Стефана Гейма, Го Мо-жо, Мухаммеда Махди аль-Джавахири, Марии Домбровской, Ярослава Ивашкевича, Бела Иллеша, Ангела Каралийчева, Георгия Караславова, Эрскина Колдуэлла, Леона Кручковского, Лао Шэ, Томаса Макграта, Альберто Моравиа, Нам Као, Хироси Нома, Джона Б. Пристли, Марии Пуймановой, Эриха Мария Ремарка, Б. Ринчена, Михаила Садовяну, Джона Стейнбека, Ананта Тура, Эрне Урбана, Лиона Фейхтвангера, Орхана Ханчерлиоглу, Фрэнка Харди, Эрнеста Хемингуэя, Арнольда Цвейга, Кришана Чандара и др.**

Журнал будет публиковать статьи, посвященные важнейшим проблемам развития зарубежных литератур и творчеству выдающихся современных писателей Запада и Востока, статьи и обзоры, характеризующие литературную жизнь стран Азии и Африки. На страницах журнала будут систематически рецензироваться новинки зарубежной литературы, в том числе и выходящие в переводе на языки народов СССР.

Журнал будет публиковать выступления зарубежных и советских писателей, деятелей культуры и искусства по актуальным вопросам международной жизни, статьи и высказывания о значительных явлениях кино, театра и изобразительного искусства.

В разделе «Из месяца в месяц» журнал широко информирует читателей о событиях культурной жизни за рубежом.

Журнал иллюстрирован.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА 1959 ГОД:

без переплета:	*в переплете:*
на год — 96 р.	на год — 120 р.
на 6 мес. — 48 р.	на 6 мес. — 60 р.
на 3 мес. — 24 р.	на 3 мес. — 30 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

всеми отделами «Союзпечати», конторами и отделениями связи, почтальонами и общественными уполномоченными по подписке.

Цена 8 руб.